

НАПОЛЕОН



БИОГРАФИЯ

ЭМИЛЬ ЛЮДВИГ

Burke's

О Наполеоне написано в мире
больше книг,
чем о ком бы то ни было
кроме Христа.

В этой дается история
личности Наполеона,
история великой души,
написанная на строго
исторической основе.

Его идея основателя государства
и законодателя, революционера
и легитимиста, его отношение

к обществу,
к проблеме единой Европы,
с одной стороны,
и, с другой, его конфликты
с братьями и женой,

вспышки гнева и приступы
меланхолии,
хитрые уловки и щедрая
доброта -

все это стократ важнее
для понимания
личности Наполеона,
чем боевые порядки
его войск под Маренго,
условия Люневильского мира
или подробности
Континентальной блокады.



СЕМЬЯ БОНАПАРТА



Жозеф
король Испании
(1768-1844)



Карло Мария
(1746-1785)



Мария Летиция
(1750-1836)



Наполеон
император
Франции
(1769-1821)



Люсьен
князь Канино
(1775-1840)



Элиза
Великая
герцогиня
Тосканская
(1777-1820)



Людвик
король
Голландии
(1778-1846)



Полина
княгиня Боргезе
герцогиня
Гвастальская
(1780-1825)



Каролина
королева
Неаполитанская
(1782-1839)



Жером
король
Вестфалии
(1784-1860)



НАПОЛЕОН

Emil Ludwig

NAPOLEON

Эмиль Людвиг
НАПОЛЕОН

ЗАХАРОВ · ВАГРИУС · МОСКВА

830-94
84.4Г
Л 93

*Охраняется законом РФ
об авторском праве.
Воспроизведение всей книги или
любой ее части запрещается без
письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона
будут преследоваться в судебном
порядке.*

ISBN 5-7027-0565-3 (рус.)

© ЗАО «Захаров»,
издание на русском языке, 1998
© Е. Михелевич,
перевод с немецкого, 1998
© «Вопросы истории», 1996, статья
Б. Вейдера
© Т. Костерина, дизайн серии, 1998

СОДЕРЖАНИЕ

Книга I:
ОСТРОВ
-9-

Книга II:
ВОДОПАД
-53-

Книга III:
ПОТОК
-149-

Книга IV:
МОРЕ
-313-

Книга V:
СКАЛА
-467-

ПОСЛЕСЛОВИЕ
-574

ТАЙНА ГИБЕЛИ НАПОЛЕОНА
-577-

ХРОНОЛОГИЯ
-589-

*Наполеон отправился на поиски
Добродетели, но, не найдя ее, обрел Могущество.*

ГЕТЕ

Книга I

ОСТРОВ

*Легенда о Наполеоне
представляется мне
чем-то похожей
на откровение Иоанна Богослова:
каждый чувствует,
что за этим скрывается
еще что-то,
только никто не знает что.*

ГЕТЕ

I

Посреди бивака сидит, закутавшись в одеяла, молодая женщина и кормит грудью ребенка, прислушиваясь к доносящемуся издали шуму и грохоту колес. Что это? Осенняя гроза, гулко разносящаяся эхом в суровых горах, или просто шумит обступивший лагерь лес? Женщина похожа на цыганку — платком небрежно прикрыта лишь одна грудь, невидящий взгляд устремлен сквозь туман и дым. Она вздрагивает, когда стук копыт приближается к палатке. Он ли это? Он обещал приехать, однако линия огня далеко отсюда, да и туман сгустился.

Открывается полог палатки, и вместе с потоком свежего воздуха входит офицер лет двадцати с небольшим, стройный и гибкий. Он радостно здоровается с ней. Стремительно вскочив на ноги и передав младенца служанке, женщина велит подать вина, из красиво очерченных губ сыплется один вопрос за другим. Ее удлиненный подбородок свидетельствует о необычайной энергии, орлиный нос четко вырисовывается на фоне огня, на боку у женщины — блестящий кинжал, с которым она не расстается ни днем, ни ночью. Прекрасная амазонка — отпрыск старинного дворянского рода, предки ее были вождями и воителями в Италии, а впоследствии здесь, на этом горном острове.

Но теперь, когда все собрались здесь, в самых недоступных горах, чтобы изгнать с родного острова ненавис-

тных французов, никто не узнал бы в ней блистательную аристократку.

А он, брызжущий молодостью и энергией, рассказывает: враг разбит и прижат к берегу, у него нет выхода, к Паоли направлен посредник, завтра будет объявлено перемирие. Летиция, мы победили! Корсика получит свободу!

Каждый корсиканец мечтает иметь много детей. Ибо здесь за оскорбление мстят не сходя с места, нож выхватывают и вонзают в грудь обидчику, а обет кровной мести передается от поколения к поколению: он может продлиться век. Поэтому и этот молодой дворянин, подобно всем, хочет иметь много детей, дабы обеспечить продолжение рода. Она же усвоила от матери и бабушки, что иметь детей — почетно. Пятнадцати лет от роду Летиция родила первого ребенка, но лишь в этом году на свет появился мальчик, Жозеф.

Мечта о свободе обретает живые черты: ведь отец этого ребенка — адъютант генерала Паоли, предводителя патриотов. Да, наши дети не будут рабами Франции!

II

Однако с приходом весны все вновь падают духом. Противник высадил на берег новые отряды, островитянам приходится вооружаться, и молодая женщина отправляется со своим мужем в горы, неся под сердцем еще одно дитя, зачатое в предыдущую осень. «Частенько я выбиралась из нашего укрытия в горах, чтобы только узнать новости, и слышала, как свистели вокруг пули, но я верила, что Мадонна спасет меня», — рассказывала она позже.

В мае патриоты потерпели поражение, и им пришлось отступать; в отряде было много мужчин и несколько женщин, в их числе и беременная Летиция. В июне разбитый наголову Паоли бежал в Италию вместе с несколькими сотнями сподвижников. В июле его адъютант с группой посланцев явился к победителю, чтобы объявить о капитуляции.

В августе супруга адъютанта Паоли родила мстителя. Она дала ему имя Наполеон.

Прошли годы, и когда Летиции исполнилось тридцать, у нее уже было пятеро мальчишек и трое девочек. Растить восемь малышей не так просто, и дети постоянно слышат в доме разговоры о деньгах. В конце концов Карло, отец семейства, нашел выход: в один прекрасный день 1779 года он садится на корабль с двумя старшими мальчиками — десяти и одиннадцати лет — и отплывает во Францию, везя с собой рекомендательное письмо от правителя Корсики.

Французы подтверждают дворянское происхождение итальянского рода Буонапарте, и король повелевает выдать две тысячи франков этому корсиканцу, в течение десяти лет проявлявшему лояльность к короне, и предоставить двум его сыновьям и дочери казенные места в учебных заведениях для дворян. Один сын должен стать священником, второй — офицером.

III

В саду военного училища Бриенна сидит, углубившись в чтение книги, молчаливый мальчик, замкнутый и чужающийся общения со сверстниками.

Никакие наказания на него не действуют, и учителя, покачив головой, отступают, говоря: «Этот мальчик сделан из гранита, но внутри у него вулкан». Он создал свой собственный мир и, болезненно реагируя на всякое нарушение личной свободы, не намерен туда никого пускать. Вскоре он напишет отцу: «Я буду лучше первым среди рабочих на какой-нибудь фабрике, чем последним среди членов академии искусств». Не вычитал ли он эти идеи у Плутарха: ведь именно его книгами он зачитывается? Плутарх описывал жизнь великих мужей, римских героев, а на них так хочется походить!

Однокашникам мальчик кажется дикарем, чудаковатым и странным. Французским этот итальяшка владеет из рук вон плохо и явно не старается освоить язык своих врагов. И какой коротышка! А уж имечко у него — смех

да и только! Мундир ему велик и висит мешком, карманных денег вообще не водится, так что и купить себе он ничего не может, а еще утверждает, что дворянин! Мальчишки дразнят его: «Что это за убогие дворяне на Корсике? И уж если вы такие храбрые, почему сдались нашему войску?»

— Вас было в десять раз больше. Но ничего, погодите, вот вырасту, я вам, французам, отомщу! — огрызается взбешенный подросток.

— Да твой папаша всего лишь жалкий сержантишка!

Мальчишка пишет отцу жалобное письмо с просьбой о помощи: «Мне надоело вечно ощущать свою бедность и выслушивать насмешки однокашников, все превосходство которых надо мной состоит в их богатстве. Что же, мне и в самом деле склонить голову перед теми, кто по благодетельству чувств стоит столь ниже меня?» Но из дому приходит ответ: у нас нет денег, тебе придется остаться в училище.

И он остается еще на пять лет. С каждой новой обидой в нем растет чувство мятежа, протеста и уверенности в себе. Он делает блестящие успехи по математике, истории и географии: эти науки приковывают к себе четкий ум и любознательность подростка.

Его обостренный ощущением униженности взгляд все время обращен к родному острову. Он упрекает отца в том, что тот связал свою судьбу с французами, и сообщает ему, что уже теперь твердо решил: вынужденно принимая милости короля Франции, который дал ему возможность учиться, он когда-нибудь обратит полученные знания против своего благодетеля. Смутно мальчик предчувствует: ему предназначено судьбой принести свободу родному острову. Но пока у него нет ни власти, ни денег, четырнадцатилетний подросток просит присылать книги и архивные документы по истории острова: если хочешь двигать вперед историю, ее надо прежде изучить.

Кем станет этот мальчик — необщительный, вынашивающий мстительные планы, мечтающий все изменить, недоверчиво приглядывающийся к окружающим? Рано повзрослевшим знатоком человеческих душ и личностью, полной чувства собственного превосходства.

Когда Жозеф, его старший брат, захочет сменить рясу священника на офицерский мундир, Наполеон напишет о нем: «1. Ему не хватает смелости, необходимой для битвы... Он может стать неплохим гарнизонным офицером: прекрасный рост, легкий нрав, склонность к фривольным разговорам — все это обеспечит ему благоприятный прием в обществе. Но в бою? 2. Уже поздно менять профессию, он вполне мог бы получить богатый приход. А как это нужно сейчас семье! 3. В какой род войск он мог бы пойти? В военно-морской флот? а) нет знания математики, б) нет выносливости, необходимой на флоте. Для длительной службы в артиллерии его легкий нрав тоже не подходит». Это все — рассуждения пятнадцатилетнего знатока человеческих душ, считающего, что сам-то он как раз и обладает теми качествами, которых нет у брата. Одновременно это — точнейшая характеристика старшего брата, так похожего на отца.

Сам же Наполеон унаследовал от отца богатое воображение и находчивость, от матери — гордость, мужество и точность в делах и от обоих родителей — верность семейным узам.

IV

«Лишь португезя принадлежит Франции, а острие шпаги принадлежит мне!» — думает юноша, впервые прицепляя шпагу к поясу. В шестнадцать лет он становится подпоручиком и будет носить мундир всю жизнь, лишь ненадолго меняя его на штатское платье. Звание подпоручика он получил в Парижской военной школе, в которой пробыл один год, и провел этот год точно так же, как в Бриенне: читая запоем. Ощущая себя центром мироздания, он вскоре выводит из своего униженного положения общий закон и заявляет в одной из памятных записок, что богатство и роскошь военным не к лицу. Влезать в долги тоже не хочет, ибо дома у него царит нищета, а когда еще и отец умирает, родственные чувства этого итальянца целиком отдаются семье. Теперь этот

юноша, почти подросток, начинает копить деньги для матери.

Выдержав с грехом пополам экзамены, Бонапарт получает такую характеристику: «Замкнутый и прилежный в учебе, предпочитает занятия любым развлечениям и увлекается чтением книг хороших авторов... Молчалив, любит одиночество, вспыльчив, высокомерен и весьма эгоистичен. Немногословен, но всегда находчив и резок в ответах и обычно побеждает в спорах. Чрезвычайно самолюбив, а его честолюбие вообще не знает границ».

Молодой подпоручик в новеньком мундире отбывает в свой полк в городе Валансе, проделывая половину пути пешком, ибо беден, как церковная крыса, и унося в душе три желания: использовать людей в своих интересах, поскольку большинство из них пусты и заносчивы, а потому достойны лишь презрения. Вырваться из нищеты. Много и упорно учиться, чтобы умело повелевать. Средство и цель для него едины: он хочет возглавить борьбу за свободу родного острова и стать его властелином.

Какая мертвящая скука царит в этом гарнизоне! Приходится учиться танцевать, чтобы посещать веселые балы, — и он пытается это делать, но вскоре отбрасывает эту идею, ибо столь гордая душа хочет скрыть свою бедность. Но общаясь с горожанами-буржуа, приходится слышать удивительные вещи, о которых молодые аристократы в Париже, видимо, не имеют ни малейшего представления. Значит, это правда? Из книг Вольтера, Монтескье и Рейналя мятежный дух в самом деле уже проник в провинцию и овладел умами простых обывателей? И мы действительно стоим лицом к лицу с движением масс, о котором возвещали эти пророки, то есть с революцией?

Книги полны такими идеями. Чтение, как и дыхание, не стоит денег, ибо существуют библиотеки, а если они исчерпаны, можно иногда позволить себе потратить франк-другой и купить новую книгу. Однако переезжать еще мучительнее. В быту он строг, скуп и консервативен.

А в чувствах? Сейчас увидим, ибо его, как и любого юношу того времени, больше всего на свете волнуют проблемы общества и государства. И вот Бонапарт про-

сживает целыми днями в своей комнатухе рядом с бильярдной. Бледный, одинокий, задыхающийся от жары и духоты, в то время как его сослуживцы, отбив на службе положенные часы, отправляются на природу, в игорные заведения или волочатся за дамами, он изучает то, что ему пригодится впоследствии: основы артиллерии и ее историю, правила осады городов, устройство государства по Платону, законы древних персов, афинян и спартанцев... Историю Англии, походы Фридриха Великого, историю Египта и Карфагена, описание Индии, английские сообщения о состоянии дел в современной Франции. Книги Мирабо, Бюффона и Макиавелли, истории и законы Швейцарии, Китая, Индии, древних инков. Астрономию, географию, метеорологию...

Бонапарт не просто просматривает эти и многие другие книги, а глубоко вгрызается в них. Неразборчивым почерком выписывает слово в слово целые абзацы; когда эти тетради позже издали, они составили 400 полных страниц.

Подробнее всего выписки об Египте и Индии, включающие размеры великих пирамид и описание отдельных каст брахманов. Вот, например, выписанная им цитата из Рейналя: «При виде Египта, расположенного между двумя морями, фактически между Востоком и Западом, Александр Великий задумал перенести сюда столицу своей мировой империи и сделать Египет центром всемирной торговли. Этот самый просвещенный из всех завоевателей понял: будь у него возможность объединить все свои завоевания в едином государстве, таким государством мог быть только Египет, как бы созданный для того, чтобы связать Европу с Африкой и Азией». И тридцать лет спустя Наполеон будет помнить эти слова.

Одновременно Бонапарт сам начинает писать — более дюжины текстов и набросков за эти годы: о расстановке пушек, о самоубийстве, о королевской власти, о неравенстве людей, но больше всего — о Корсике. Его решительная деловитость, его сугубо реалистический взгляд на вещи не оставляют камня на камне от писаний Руссо, популярнейшего автора того времени. Выписки из Руссо о происхождении человечества постоянно прерываются

резкими комментариями: «Не верю тут ни единому слову». И пишет на нескольких страницах свое мнение об этом: люди жили вовсе не поодиночке и не кочевали с места на место, и счастливы они были в своей отдаленности друг от друга лишь потому, что их было мало и всем хватало земли. Когда же они размножились, «на свободу вырвались силы, долго таившиеся взаперти: в людях проявились тщеславие, страсть, гордость, появились бледнолицые честолюбцы, взявшие в свои руки все дела и подмявшие под себя молодых щеголей в ярких одеждах, этих бабников и сердцеедов».

Разве не слышно, как он гремит цепями, сидя в мрачной пещере, в которой задыхается его чудовищная фантазия? Разве не видно, как его бледное лицо искажается от ненависти к благополучным шаркунам и дамским угодникам, которых полно в полку?

Прочь от этих людишек, ведь они — французы! Взгляд его по-прежнему прикован к родному острову. Он пишет: «Как нелепо считать Божьей заповедью запрет на попытки стряхнуть иго узурпатора! Отчего же любой цареубийца, добившись трона, немедленно оказывается под защитой Господа, а при неудаче платит своей головой? Насколько разумнее признать, что народ имеет право свергнуть власть захватчика. Разве это не говорит в пользу корсиканцев? Это значит, что мы тоже можем, как Генуя, сбросить французское иго. Аминь».

Тем временем молодой ум жаждет испытать свои силы. Подпоручик начинает писать роман о Корсике и несколько новелл, пронизанных ненавистью к Франции, но все это так и остается незаконченным. Одновременно, подгоняемый бедностью, темпераментом и воображением, он напряженно изучает свое дело. «Мое единственное прибежище — это работа. Я меняю платье и белье лишь раз в восемь дней. После болезни я стал мало спать. И ем лишь раз в день».

Бонапарт изучает артиллерийские орудия и снаряды, постоянно оснащая свои записи цифрами, так что все вокруг приходят к выводу, что ему на роду написано стать математиком. Но наряду с фантастическими набросками будущий император уже намечает на карте ост-

рова пункты, где он установит пушки, выроет окопы и разместит войска. Если бы только у него была власть! Карты, карты! И он, сидя в своей каморке рядом с шумным кафе, заново продумывает все, что поддается расчету, переписывает целые речи, произнесенные в лондонском парламенте, и рисует на листах бумаги самые удаленные уголки земли. В конце последней тетради последняя его запись гласит: «Святая Елена, крохотный остров в Атлантическом океане. Английская колония».

Тут из дому приходит письмо от матери: умер правитель острова, ее покровитель и защитник, Жозеф сидит без работы, и она зовет на помощь второго сына. Испросив отпуск, Бонапарт отплывает домой.

Кто он? Таинственный победитель, возвращающийся на остров своих планов и грез? Вот что он пишет в дневнике: «Всегда в одиночестве, даже когда кругом люди, я возвращаюсь домой, чтобы предаться своим одиноким мечтам и погрузиться в волны тоски. О чем я тоскую нынче? О смерти. А ведь я как-никак стою всего лишь на пороге жизни и, вероятно, проживу еще долго. Вот уже шесть или семь лет я не был на родине. Какая радость вновь увидеться с родными! Так какой же демон толкает меня на самоуничтожение? Но если мне ни в чем не везет и ничто меня не радует, к чему влачить эту жизнь, в которой неудачи так и преследуют меня! А какое зрелище ожидает меня дома! Мои земляки, закованные в цепи, целуют руку, которая их бьет... Когда-то корсиканцы были счастливыми людьми, гордыми и знающими себе цену. Они проводили дни в трудах на благо родины. Вместе со свободой кануло в прошлое счастливое время, развеялось как мечта. Французы! Вы не только лишаете нас высших жизненных благ, вы губите наши нравы! Таким я вижу свое отечество и ощущаю полное бессилие ему помочь: достаточная причина, чтобы бежать из мира, в котором я должен славить тех, кого ненавижу... Если бы нужно было уничтожить кого-то одного, чтобы вернуть свободу острову, я бы не раздумывал ни секунды... Жизнь мне в тягость, ничто не радует, все причиняет боль... И поскольку я не имею возможности жить по-своему, мне все опротивело...»

V

Проведя дома тусклый год, заполненный денежными и семейными делами, Бонапарт в полном отчаянии возвращается в гарнизон. На этот раз город называется Оксонн.

И вдруг в один прекрасный день Бонапарту улыбается удача: генерал, успевший оценить знания девятнадцатилетнего юноши, приказывает ему построить на учебном полигоне несколько сооружений, «требующих сложных расчетов, и вот уже десять дней я с утра до вечера беспрерывно тружусь во главе двух сотен солдат. Это необычное оказанное мне предпочтение восстановило против меня старших по званию, они недовольны, что не им поручили столь важное дело».

Опять им овладевает депрессия. Вот так и придется с трудом подниматься со ступеньки на ступеньку, чтобы в чине капитана выйти в отставку и, живя на полученную от французов пенсию, вызывать презрение соотечественников, чтобы в конце концов быть захороненным в родной земле — единственное, чего они не могут у нас отнять! Значит, все мечты о свободе, внушенные прочитанными книгами, — лишь пыль да туман? Если уж могучая Франция не может освободиться от ига своей потомственной аристократии, от взяточничества и кумовства, куда уж маленькой Корсике пытаться освободиться от Франции!

Юный автор заполняет страницы своего дневника новыми мыслями. Беда, если бы узенькая тетрадка попала в руки кому-нибудь из начальников, ибо там он прочел бы: «Наметки к памятной записке о королевской власти... Описать детали узурпированной власти, которой ныне пользуются короли в двенадцати монархиях Европы. Среди них лишь единицы не заслуживают того, чтобы их свергли». Так он выпускает злость на страницы тайного дневника, в то же время вынужденный в день каждого государственного праздника надевать парадную форму и кричать вместе со всеми: «Да здравствует король!»

Еще один год молодости проходит в несении тупой

службы, в молчаливом ожидании чего-то, в занятиях сочинительством и математикой.

И тут наступает июнь 1789 года. И хмурый поручик тотчас чует приближение поры возмездия. Исчезнет ли само собой высокомерие тех, кто его так долго унижал? Разве этот зов тысячных масс не созвучен его боевому кличу к своей родине? И Бонапарт посылает свои корсиканские письма обожаемому Паоли, вождю корсиканского восстания, пребывающему в ссылке. Он пишет:

«Генерал! Я появился на свет, когда моя родина гибла. Вокруг моей колыбели слышались хрипы умирающих и рыдания отчаявшихся... С ними улетучились все надежды. Кабала была ценой нашего поражения. Дабы обелить себя, предатели взвалили на Вас горы клеветы... Когда я это читал, кровь моя кипела, и я решил рассеять туман. Теперь я намерен всех, предавших общее дело, вымазать черной краской позора. Публично бросить обвинения правителям, вскрыть подноготную всех скандалов... Живи я в столице, я бы нашел иные средства... Из-за моей молодости план мой скорее всего чересчур рискован, но мне помогут любовь к правде, к отечеству и огонь, горящий в моей груди. Если Вы, генерал, поддержите молодого человека, рождению которого были свидетелем, в этих его планах, я буду чувствовать себя намного увереннее...»

Тут возникает совершенно иная тональность: исчезает пафос прежней поры, поза цареубийцы, весь этот набор трескучих высоких слов. Решительное «Я» встает в центр всего письма, «Я» как противопоставление миру. Безграничная вера в себя пробивает себе дорогу, потому что теперь слышна поступь новой эпохи, в которой величают не по рождению, а по способностям. В письме прорывается беспримерное честолюбие, которое отныне станет одним из основных качеств Наполеона. Однако в конце письма он изящно переходит к просьбе о протекции. Какая находчивость, какая изворотливость совсем еще юного существа, остающегося в реальной жизни по-прежнему грубым и мрачным!

Паоли принадлежит к другому поколению, ему противен этот высокомерный тон, он вежливо возражает: молодые люди не должны делать историю.

Спустя четыре недели после этого письма именно молодые и начинают делать историю: они штурмуют Бастилию в Париже, великий сигнал дан и услышан, Франция берется за оружие. Толпы бунтуют и грабят, рядом с пушкой стоит поручик и стреляет в толпу. Этот выстрел Бонапарта — первый выстрел по живой цели, и сделан он по приказу королевских генералов, но наверняка и по собственному желанию, ибо он презирает толпу не меньше, чем аристократов.

Но в глубине души Наполеон чувствует, что все это ему чуждо: что ему за дело до французов, нападающих на других французов! Его мозг терзает только одна мысль: теперь бы на Корсику. Теперь бы перенести на остров этот гнев и этот восторг, этот идеал или всего лишь девиз, все равно! Сразу же взять отпуск и в сумятице новых волнений быть первым на родине!

VI

Словно пророк, несущий новое учение к чужим берегам, прибывает Бонапарт на остров: ибо он первый носит красную кокарду, обещающую свободу, равенство и братство. Разве здесь не жил свободный горный народ, некогда бывший независимым, а в последние двадцать лет страдавший под гнетом завоевателя, подмявшего под себя и церковь, и дворянство?

Юный якобинец и думать забыл о том, что до самых последних дней жил за счет своего дворянского происхождения и только благодаря ему милостью короля Франции получил казенную стипендию, а значит, и образование. Что ему за дело до короля! Разве народы, в конце концов, не имеют права управлять собой сами? Если так говорит новая, только что пробудившаяся Франция, значит, и его родной остров должен объявить себя свободным и сбросить с себя цепи. Сограждане! Пора настала! Вооружайтесь! Пусть все носят кокарды новой эпохи, мы создадим национальную гвардию, как в Париже. Отберем у войск короля оружие — средство власти. Я умею обращаться с пушками, я поведу вас!

Двадцатилетний бледный юноша с серо-голубыми холодными глазами и устами, извергающими потоки пламенных слов — так выглядит молодой Бонапарт, которого все в Аяччо знают. Он теперь то стремительно шагает по улицам во главе растущей толпы народа, в которой есть и стремление к свободе, и жажда перемен, то выступает на площади со страстными речами, полными надежд: настоящий трибун! Да, живя среди этих людей, «рано учишься понимать человеческую душу», скажет он позже.

И вдруг полный откат назад: жители гор не поддержали восставших и, когда прибыли регулярные части, революционеров раздробили на небольшие группы и разоружили, правда, вовремя сообразив никого не арестовывать. Новое разочарование: быть даже не мучеником, а всего лишь потерпевшим поражение вождем народных масс — чуть ли не шутовская роль. Однако, если кровь кипит в жилах, хватаются за любое средство, чтобы ее охладить. Бонапарт пишет жалобу Национальному собранию в Париже: в первых строках — ода новой эпохе свободы в пылком стиле времени, затем — вихрь обвинений и призывов: «На виселицу чиновников короля! Оружие — гражданам Корсики!» Поспешно созданный комитет вместе с ним подписывает эту бумагу.

Недели ожидания: что ответит Париж? Наконец прибывает курьер: остров Корсика получает такие же права, как любая провинция Франции, по предложению Мирабо Паоли вместе с другими борцами за свободу возвращается из ссылки. Поручик вне себя от изумления: Корсика — провинция Франции? Значит, несмотря на новые идеи и даже именно благодаря им мы все — французы? Странная эта свобода! Однако к церкви уже движется процессия во главе с местными властями, дабы благословить парижский декрет. И Бонапарт составляет пламенные манифесты к своим согражданам, ищет приверженцев в новом клубе, проталкивает старшего брата в городской совет. И продолжает писать историю Корсики, читая матери вслух отдельные отрывки из нее.

«Это и есть великий Паоли?» — спрашивает себя Бонапарт, наблюдая героя своих юношеских грез, после

двадцати лет ссылки вернувшегося на родину под ликование толпы. Сколько сдержанности в его речи и взгляде, какой он политик! И совсем не солдат. Однако придется примкнуть к нему, поскольку он возглавит национальную гвардию на острове.

Бонапарт пылко излагает Паоли свои воинственные планы — силой отобрать остров у новой Франции. Паоли преисполнен и гордости, и ужаса: теперь он чувствует, что автор «Писем с Корсики» в самом деле притязает на свое «Я». И Паоли говорит, сокрушенно покачав головой: «Ты отстал от времени, Наполеон, и все еще живешь в веке Плутарха».

Впервые в жизни юноша удовлетворен: его оценили по достоинству: приравнивали к героям Плутарха, этим гордым римлянам. Паоли первый увидел в нем римлянина.

Наконец-то найдено слово, которое поддерживает в Бонапарте чувство собственного достоинства. Составляя по поручению Паоли какой-то манифест, он так подписывает этот текст: «Писано 23-го января 2-го года, в моем кабинете в Мидили». Смеяться над ним или восхищаться? Ведь как ни крути, а молодому человеку на следующий день после этой диктаторской подписи приходится вернуться в гарнизон, ибо отпуск, неоднократно продлевавшийся, кончился. И нужно ли жертвовать последней опорой, помогающей ему держаться? И ради чего? Что ему теперь делать тут, на острове? Первое место занято.

VII

«Сижу в бедной хижине и пишу тебе после длительной беседы с местными жителями... Сейчас четыре часа пополудни, на дворе свежо, я с удовольствием добирался сюда пешком, снег еще не выпал, но чувствуете, что ждать уже недолго... Крестьяне, с которыми я беседовал, держатся молодцом: все готовы умереть за новые порядки... Только женщины везде роялистки: неудивительно, ведь свобода — такая красавица, которая затмевает их всех. Священники в Дофине принесли

гражданскую клятву, все смеются над этими епископами... То, что принято называть порядочным обществом, на три четверти состоит из аристократов и выдает себя за сторонников английского государственного устройства. Теретти (корсиканец по рождению) в самом деле угрожал Мирабо ножом, это не делает нам чести. Клубу следовало бы подарить Мирабо наш национальный костюм, то есть берет, жилет, брюки, патронташ, кинжал, пистолет и ружье. Мне кажется, ему бы это понравилось».

Все в этом письме дядюшке-священнику на Корсику свидетельствует о наблюдательности и расчетливости — свойствах любого политика. Тут и погода, и государственное устройство, и путешествие пешком, и способ ублажения власть имущего, а также понимание мотивов поведения людей. Тщеславие и алчность — это те слабости, на которых следует играть, а в душу Бонапарта можно глубоко заглянуть, если прочесть строки открытого письма одному из его противников, написанного в эти же недели: «Как истинный знаток свойств человеческих Вы прекрасно знали, чего стоит воодушевление каждого в отдельности: разница в их характерах выражалась Вами в количестве золотых монет: кому надо дать чуть больше, а кому чуть меньше!»

Золото! Хорошо тому, у кого оно есть! Теперь Бонапарт взял Людовика, младшего брата, с собой в Валанс, где гарнизонная служба дает ему 85 франков на все — на еду, на одежду и на образование мальчика. Тут уж приходится самим чистить свое платье.

Деньги! Не для наслаждения радостями жизни — он презирает этих сластолюбцев, — а для того, чтобы выплыть на поверхность. А тут Лионская академия объявляет конкурс на приз в 1200 франков! На эти деньги можно вооружить половину острова! Тема конкурса: «Какие истины и чувства в наибольшей степени способны сделать человека счастливым?». Поручик улыбается: эта тема как раз для меня. Вначале он старается угодить академикам, объявившим конкурс, этим последователям Руссо, восхваляет красоты природы, дружбу и созерцание — три вещи, которые не знает и не ценит. Потом

вдруг переводит все в политическую плоскость — против королевской власти, за право всех и каждого на собственность и равенство перед законом. И снова поворот — вновь звучат зловещие нотки того бледного юноши, каким Бонапарт был несколько лет назад, словно он глядится в старое зеркало: «Честолюбец с бледным лицом и сардонической усмешкой не боится преступления, его орудие — коварство. Пробившись наконец к кормилу власти, он вскоре обнаруживает, что ему претит поклонение толпы... Великие честолюбцы искали счастье, а находили славу».

Возвышенные чувства, вполне в духе героев Плутарха! Однако тут же он выражается еще яснее: его идеалом является Спарта, мужество и сила — вот великие добродетели. «Спартанцами двигало ощущение своей силы. Они были счастливы, потому что жили сообразно своей натуре. Лишь в силе заключено добро, слабость — прибежище зла». И еще раз в заключительной фразе проблескивает предчувствие своей судьбы: «Воистину великие мужи — словно метеоры: они горят и сгорают, дабы осветить землю».

Этого академики не могли вынести и сочли работу «не достойной внимания». Новое разочарование для автора: ни денег, ни славы. И тем не менее он упорно продолжает писать свой роман о Корсике и диалог о любви.

Как? Разве это слово существовало в его мрачной юности? Не услышим ли мы излияний в духе Руссо? Вот что пишет об этом двадцатидвухлетний поручик: «Я тоже был однажды влюблен и знаю о любви достаточно, чтобы презирать определения, лишь вносящие путаницу в это понятие. Я отвергаю ее право на существование, более того, я считаю любовь вредной для общества, равно как и для счастья отдельного человека. Небесной благодатью было бы освобождение от нее человечества».

Эти рассуждения политического сочинителя прерываются звуками фанфар — фанфар из Парижа! Король низложен, народ ликует, революция набирает силу. На Корсике тоже запахло гражданской войной. Скорее домой, может, во второй раз получится!

VIII

Поручик становится Кориоланом. Завоевать голоса, завоевать людей! Ибо с тех пор, как все решает простой народ, нужна популярность. Хорошо, что как раз в эти дни умирает богатый дядюшка: дела семьи немного поправились. В клуб удалось ввести другого священника, брата матери Феша. Теперь Жозеф может создавать соответствующее настроение в городском совете. Разве есть на острове еще кто-нибудь, умеющий управлять артиллерией? Возглавить национальную гвардию: это было бы реальной властью. Однако — а вдруг не выберут?

На этот раз отпуск кончается уже к Новому году. Тут придется соблюсти некоторую осторожность. И Бонапарт пишет своему начальнику: «Непредвиденные обстоятельства вынудили меня пробыть на Корсике дольше, чем повелевает мой служебный долг, но мне не в чем себя упрекнуть: меня оправдывают обязанности высшего порядка». Только бы не уволили из армии! Нет ответа? Что ж, придется рискнуть.

Начинается предвыборная борьба за командный пост. Родственников кругом хватает, но этого мало. В доме матери всегда накрыт стол для сторонников сына, да и на ночь порой остаются люди с гор: так создается общественное мнение. Один из его приятелей пишет: «В ту пору он был то молчалив и задумчив, то вновь приветлив и предупредителен к окружающим, с каждым готов был беседовать, навещал нужных людей и старался привлечь всех на свою сторону». Когда на остров являются комиссары с материка, Бонапарт одного из них насильно держит в своем доме, а сторонников своих конкурентов приказывает поколотить: выборы на Корсике — дело корсиканцев. И вечером этого волнующего дня выясняется, что поручик добился наконец своего: его выбрали заместителем коменданта, он теперь подполковник.

Подаст ли этот итальянец теперь прошение об отставке из французской армии? Нет, он опять осторожничает. Нельзя отрезать себе пути к отступлению — усвоил Бонапарт из книг полководцев. «В этой тяжелой ситуа-

ции, — пишет он в Валанс, — долг чести порядочного корсиканца — служить своей родине. По этой причине родные удерживали меня здесь. Но поскольку я не хочу торговаться из-за должности, то я намеревался просить об отставке». Однако прошения не подает, напротив, требует выплатить ему жалованье за истекший срок и называет в этом письме Францию «Ваша страна». Тут уж Франция отправляет его в отставку.

Так он становится рыцарем удачи раньше, чем ему бы хотелось. Без всякой поддержки, кроме разве что революционных прав национальной гвардии, которая, однако, может развалиться при первой же неудаче. Здесь Родос! Эту скрытую гражданскую войну между обывателями и гвардией нужно использовать, раздуть пламя, чтобы потом, когда возникнет всеобщая сумятица, выступить в роли спасителя! Над городом грозно висится крепость, защищаемая регулярными частями короля. А разве Фридрих и Цезарь не штурмовали в первую очередь вражеские крепости? Надо схватить их командира, прогнать прочь этого дворянского выродка и таким образом одним ударом освободить остров от Франции, а та, завязнув в войне на востоке, не сможет его вернуть. Вот так становятся властителем острова. Старик Паоли превращается в легенду.

На Пасху происходит бой. Гвардия его спровоцировала или обыватели состояли с ней в заговоре? И кто начал? Вопрос без ответа. Наверняка известно одно: командир батальона Бонапарт стремился овладеть крепостью. Однако гарнизон крепости не дает себя запугать, наводит пушки, вынуждает батальон восставших отступить и доносит в Париж о попытке мятежа: теперь Бонапарту грозит судебный процесс по обвинению в государственной измене. Текст его письма с попыткой самооправдания не нравится никому. Даже Паоли, с самого начала не доверявший этому излишне темпераментному земляку, спешит проявить лояльность властям и отворачивается от сына своего друга.

«Раз ты, Паоли, не хочешь быть со мной, — думает Бонапарт, — значит, я буду против тебя! Берегись! Я спешно отправляюсь в Париж! Не зря же там революция!»

По летним улицам столицы мира фланирует авантюрист, которому вечно не везет, без денег, без должности. Во Франции он — поручик, более или менее открыто дезертировавший из армии, на Корсике — смещенный с поста подполковник, обвиняемый в тягчайшем преступлении. Платье его потрепано, он стоит лицом к лицу с реальной угрозой голода. Его единственная надежда — радикалы, и Бонапарт примыкает к сторонникам Робеспьера, ибо лишь в том случае, если королевская династия наконец будет низложена и произойдет полная смена власти, он сможет спастись.

Жара стоит несусветная, а жизнь в Париже стоит дорого. Поручик кое-как сводит концы с концами, закладывает часы, впервые на двадцать третьем году жизни влезает в долги: 15 франков он должен одному виноторговцу. Потом предлагает Бурьену, своему другу, вместе заняться торговлей недвижимостью. Завидует ли Бонапарт власть имущим? Нет, он их презирует. «Приходится признать, что, когда видишь все это вблизи, оказывается, что народ не стоит того, чтобы так уж стараться ради его блага. Здесь люди, пожалуй, еще более лживы и подловаты... Подъем и восторг проходят со временем, а французский народ постарел. Всяк стремится только к своей выгоде и хочет выбиться наверх... Всех точит честолюбие. Единственная достойная роль — жить тихо и спокойно для себя и семьи, имея от четырех до пяти тысяч ренты, — конечно, если взбудораженная фантазия не мучает».

Но беда, если она все же мучает! В хаосе этой эпохи, в бурлящем котле Парижа возможно появление любого чудовища! А чужаку, итальянцу, и вовсе ничего не стоит использовать в своих интересах французов со спокойствием и холодностью стороннего наблюдателя. Но к власти уже приходят якобинцы.

Когда возбужденная толпа штурмует Тюильри и Бонапарт стоит среди зрителей, что думает он, находящийся под угрозой судебного разбирательства? Слава Богу, я теперь снова свободен! А что говорит внутренний голос офицера? «Я видел, как солдаты дрогнули под напором толпы, это меня шокировало... Стоило королю показать-

ся народу в седле, победа осталась бы за ним. Таково было настроение в то утро». А за несколько дней до того, когда король в красном фригийском колпаке поклонился толпе из окна: «Что за осел! Надо было смести пушками несколько сот этих каналов, остальные бы вмиг разбежались!»

И все же теперь Бонапарт чувствует себя свободным, его враги низвергнуты, на следующий день он пишет дядюшке: «Не тревожьтесь о племянниках, они сумеют найти себе место в жизни». Разве новое правительство не ведет себя молодцом? Оно не только вновь берет дезертира на службу, но и сразу повышает в звании: он теперь капитан. Однако его почему-то сразу отсылают в полк на восточном театре военных действий. Что ему за дело до войны с пруссаками на Мозеле и вообще до войн Франции! Он — корсиканец и им останется. Прощайте, я возвращаюсь на остров!

IX

Возможно ли? Разве свежий ветер с моря и даже чистейший воздух гор не сумели развеять затхлый дух клановой борьбы, повсеместно приглушивший борьбу идей? Клевета, коррупция и анархия — вот формы, в которых они являют себя на острове. Человек, которого Корсика делегировала в парижский Конвент, Саличетти, — заклятый враг Паоли, а потому предан семейству Бонапартов, ставших противниками Паоли. В клубе мнения раскололись, однако большинство, по-видимому, мыслит радикально и называет Паоли, единственного на острове сторонника интеграции, предателем за излишнюю умеренность его действий.

У кого же власть? У всех и ни у кого. Никто никому не доверяет, ибо в Париже придумали гильотину, обезглавили короля, и никому не ведомо, кто придет к власти завтра. Все вооружены, здесь каждый сам себе король. Разве существует лучшее поле деятельности для авантюриста, которому уже нечего терять? И Бонапарт в третий раз делает попытку стать властителем острова.

Вокруг Бонапартов собирается оппозиция — есть свои люди и у братьев Жозефа и Люсьена, и у дяди-священника. Но лишь Бонапарт объединяет их: он входит в доверие к депутату, которому нужно заручиться поддержкой знающего артиллериста, чтобы захватить власть при следующем путче. То же отношение встречает он и в клубе. А что, если взять да и обвинить в государственной измене Паоли, недаром же он в течение двадцати лет пользовался гостеприимством англичан? Не собирается ли он продать нас Англии? Если Люсьен поедет в Марсель и шепнет об этом тамошним комиссарам, то Саличетти вскоре завопит об этом перед всем Конвентом. Такой крошечный остров — высшая школа для интриг: поскольку в общественной жизни все решается несколькими семейными кланами, частная жизнь полностью растворяется в общественной.

Вскоре Конвент присылает на остров своих представителей, назначает и снимает офицеров, не спрашивая Паоли, так что вновь призванный Францией в армию капитан Бонапарт становится на острове командиром батальона. Его шансы повышаются.

Но тут из Парижа приходит страшный приказ: арестовать Паоли. Противники прославленного героя явно перестарались, и сердца островитян остаются верны престарелому патриоту: они объединяются вокруг него, и Паоли отказывается повиноваться приказу.

Молодой Бонапарт растерян. Он вслушивается в сердце толпы, стараясь выиграть время, найти какой-то третий путь. Официально объявляет себя сторонником непризнанного Паоли и в то же время — мудрого Конвента. Правда, Конвент не доверяет Бонапарту и собирается его тоже арестовать, да и Паоли не верит двойной игре своего бывшего соратника. Вот что говорится в одном из воззваний Паоли к своим сторонникам: «Поскольку братья Бонапарты поддержали возведенную на меня напраслину и примкнули к комиссарам, то иметь с ними дело — ниже достоинства корсиканцев: предоставим их раскаянию и всеобщему презрению».

Враги Бонапартов врываются в их дом и дочиста грабят его. Они прикончили бы все семейство, если бы те

вовремя не скрылись и не нашли защиту у комиссаров.

Может быть, это и входило в намерения капитана? Ведь теперь он может на пальцах доказать парижским властям, какой он нестигаемый революционер, более того: теперь ему вновь доверяют. Бонапарт, всего лишь год назад возглавивший мятеж корсиканских сепаратистов против правительственной артиллерии, получает пост командира артиллерии, долженствующей подавить корсиканский мятеж. Пушки — это все! Правда, лучшие позиции не у него, но наконец-то в его руках хоть какая-то власть, ему даны полномочия и даже приказ обеспечить безопасность побережья. Ну что ж, Паоли, вперед — на последний поединок!

Однако старик благодаря симпатиям народа оказывается на высоте и как военный: в его руках крепость, и когда молодой — теперь уже французский — офицер Бонапарт начинает во второй раз штурмовать крепость, это ему вновь не удается. Еще одна попытка взять крепость с моря: тщетно!

Бонапартам больше нельзя оставаться на острове. Народный совет приговаривает их к ссылке и объявляет всю семью вне закона. Летиция, так гордившаяся своим родом, два ее сына, две дочери и брат — все они вынуждены срочно спасаться бегством. Сквозь пустынные леса, в чаще которых Летиция укрывалась от французов двадцать четыре года назад, эта женщина теперь вынуждена бежать под защитой французов к побережью, вся ее ответственность достается врагам.

На палубе парусника, который везет их в Тулон, стоит двадцатитрехлетний поручик и сквозь сумеречный свет июньского вечера видит удаляющийся остров, где ему знакомы каждая горная вершина, каждый гребень хребта. Трижды он пытался его завоевать и освободить. А теперь его прогнали земляки как француза. Его грудь распирает ненависть и жажда мести: он обретет силу благодаря победам Франции, и тогда остров покорится ему!

Но повернувшись к западу и увидев приближающиеся берега Франции, авантюрная душа Бонапарта ощущает новый вид свободы: теперь он повсюду дома! В этом счастье и рок утратившего родину.

X

«До чего же они обносились!» — думает Летиция Бонапарт, глядя на двух девочек-подростков, возвратившихся домой с грошовыми покупками. Гордая корсиканка вместе с тремя детьми — двое младших остаются у родственников на острове — ютится на пятом этаже дома, конфискованного у марсельского аристократа. Хозяин дома казнен. Как «патриоты, подвергавшиеся преследованиям», Бонапарты получают от коменданта города кое-какую еду. Однако Летиция не жалуется. Для этого она слишком горда.

Вскоре Бонапарту удастся во время своих поездок по стране приобрести связи, с помощью которых он пристраивает брата к военным поставкам; дядя-священник сбрасывает рясу и становится коммерсантом, занявшись торговлей шелком. Тут элегантный Жозеф, внешне очень похожий на отца и, будучи старшим сыном, называющий себя — как некогда его отец — графом де Бона Парт, завладевает рукой и сердцем одной из наследниц крупного торгового дома в Марселе. Семья становится состоятельной, и Бонапарт уже подумывает о том, чтобы заполучить руку Дезире, родной сестры их новой родственницы.

В эти летние месяцы он постоянно в разъездах, то в Ницце в своем полку, то на Роне, то в Тулоне. Но его офицерский глаз и мозг артиллериста все время изучают и фиксируют в памяти рельеф местности с точки зрения создания укрепленных позиций: вскоре ему это пригодится. Между делом он сочиняет политические диалоги, один из них даже печатается в виде брошюры за государственный счет.

Богатые люди в Тулоне боятся, что их постигнет та же участь, что и друзей в Марселе: властью Робеспьера их могут казнить или — что еще хуже — лишить имущества. Из страха за свои состояния они ощущают все более глубокую преданность несчастным изгнанникам королевской крови и, чтобы спасти свои капиталы, призывают на помощь исконных врагов отечества: отдают англичанам остатки флота в обмен на обещание защиты.

Это страшный удар для молодой Франции, сражающейся с наступающей со всех сторон реакцией, когда Бельгия уже потеряна, испанцы просачиваются через горы, в Вандее усиливается прокоролевская коалиция. И в такой момент тулонская биржа ценой флота, отдаваемого исконному врагу, откупается от страха перед революцией! А революции приходится поставить под ружье всех мужчин до последнего, вооружить даже женщин и превратить Францию в военный лагерь.

Под Тулоном начинают готовиться к изгнанию англичан. Это решено возложить на некоего художника, революционное сознание которого должно возместить отсутствие каких бы то ни было военных познаний.

Случилось так, что молодой капитан Бонапарт, посланный в Авиньон за порохом, на обратном пути заезжает навестить своего земляка Саличетти, а тот ведет его в гости к художнику-генералу. После ужина дилетанты подходят к орудию, стоящему чуть ли не в миле от моря, и с жаром начинают строить смелые планы. Но среди них есть и специалист, который отрицает возможность какой-либо пользы от этого орудия и четыремя выстрелами доказывает, что снарядам не долететь до моря. Все поражены, не хотят его отпускать, он принимается за работу.

«Наконец-то! Мне кинули спасательный круг! Покрепче за него ухватиться!» — думает одинокий человек с железной волей. Бонапарт изумляет всех энергией, с которой собирает под Тулоном пушки, рассеянные ранее по всему побережью. Спустя шесть недель здесь насчитывается более ста тяжелых орудий.

Что же теперь? Молодой человек хочет показать нам еще и свое полководческое искусство? Что он надумал? Оказывается, Бонапарт хочет поставить орудия на мысе, делящем бухту на две части, и таким образом блокировать вражеский флот: английский генерал остережется попасть в ловушку, лишенную выхода, под градом снарядов он сожжет свои боеприпасы и отступит. Фантастика! — возражают дилетанты. Но Бонапарт, обзаведшийся уже друзьями в Конвенте, подает туда жалобу на своего начальника, сопровождая ее своим планом дугового об-

стрела Тулона и советами общего вида: «Артиллерийский огонь необходимо всегда направлять в одну точку. Когда брешь в обороне противника пробита, соотношение его сил нарушается, сопротивление становится тщетным, и его территория отвоевана. Чтобы выжить, нужно дробить свои силы, чтобы атаковать, нужно их объединять. Без единства в командовании победы не видать. Время решает все». Так пишет в столицу двадцатичетырехлетний капитан.

С Парижем его связывает могущественный друг, младший брат Робеспьера, решившийся назвать имя молодого талантливого офицера даже в той разреженной атмосфере, которая окружала старшего брата: «Если тебе когда-нибудь понадобится для победы над уличной толпой железный солдат, он должен быть молодым, новым человеком. Таким человеком является Бонапарт».

Да, Бонапарту однажды уже предлагали возглавить гвардию революционного террора, но он из осторожности отказался. Теперь его план одобрен, художник-генерал отозван. Кого пришлют вместо него?

От злости он скрипит зубами: опять дилетант! Новый генерал — врач по специальности, повсюду вынюхивает заговор аристократов, а противник в это время занимает важный мыс. Одновременно из Парижа в лагерь прибывает в золоченых дворцовых каретах целая куча вдохновенных революционеров, решивших наконец-то быстро взять Тулон, не снимая своих красивых мундиров. Бонапарт ведет их к батарее, лишенной укрытия, и когда враг начинает ее обстреливать, а они мечутся в поисках укрытия, он им замечает без намека на улыбку: «Укрытия ликвидированы, их теперь заменяет патриотизм». Для молодого человека с серо-голубыми глазами важно дело, а не образ мыслей. Новые жалобы, новая смена начальства, на этот раз присылают старого рубаку, тот сразу назначает Бонапарта командиром батальона и в точном соответствии с планом начинает вытеснять противника с мыса.

Когда наконец — опять-таки согласно его плану — дело доходит до штурма, под Бонапартом убивают лошадь и острием пики ранят в ногу: первая и последняя

рана Наполеона. Битва под Тулоном — его первая победа, хоть он и не был официальным командиром. Это — победа над Англией. Противник сжигает боеприпасы, бежит на корабли и уходит в море.

Огонь и смерть, битва и столпотворение в порту, куда, надеясь спастись на английских кораблях, ринулись тысячи горожан, запятнавших себя предательством. В эту полыхающую огнем декабрьскую ночь, сквозь дым и крики, над грудями трупов, проклятьями тонущих горожан и ликованием мародерствующих солдат впервые восходит новая звезда: слава Наполеона.

XI

Народное торжество, которым отмечает Париж освобождение Тулона, а также новые победы на Северном и Восточном фронтах, делают имя Бонапарта популярным. Ему присваивают звание бригадного генерала, и его командир, расхваливая его на все лады в докладе военному министерству, перемежает слова восхищения некоторыми тревожными оценками и заканчивает доклад странной фразой: «Если Конвент решит отказаться от его услуг, он все равно пробьет себе дорогу». Однако наряду с Бонапартом восхваляются пять других молодых людей, и, когда он впервые видит в «Мониторе» свое имя, его, несомненно, задевает такое соседство. Как же тяжел путь наверх!

Но вокруг Бонапарта уже собирается группа молодых офицеров, в ту ночь почуявших его будущую звезду: Мармон и Жюно вручают ему свою судьбу. Он берет их к себе, а заодно и брата Людовика, которого делает своим адъютантом. Теперь у него есть команда.

Пушки! Конвент поручает Бонапарту укрепить побережье между Тулоном и Ниццей. А разве не там находится и Генуя, исконный враг Корсики? Геную необходимо взять, тогда и остров будет в его руках. Разве Генуя не кишит дипломатами и агентами? Здесь создается позиция нейтральных государств. Имея зоркие глаза и чуткие уши, здесь можно многое узнать. Бонапарт добивается

соответствующих полномочий и рекомендательного письма правителям Генуи под предлогом необходимости урегулирования некоторых пограничных вопросов.

Это первый дипломатический шаг Бонапарта: он устанавливает связи с агентами разного рода, проверяет, действительно ли представители Франции там придерживаются радикальных взглядов или лишь делают вид, выведывает, где расположены пушки. Но когда возвращается в Ниццу, чтобы написать рапорт, его внезапно арестовывают.

Ибо за это время свергли и казнили Робеспьера. Тут же все от него отступают, утверждая, что были вынуждены общаться с тираном, и, чтобы обелить себя, ищут, кого бы подставить. Лучше всего на роль жертвы подойдут отсутствующие — они не смогут отомстить. Надо поторапливаться, не то они покажут, что мы были заодно с якобинцами! Взять, к примеру, генерала Бонапарта. Он только что был послан с секретной миссией во враждебную нам Геную: схватить предателя! Он сговорился с Робеспьером уничтожить нашу армию на юге. Доставить его на допрос в Париж!

И вот генерал препровожден под конвоем в антибский форт Карэ под Ниццей, у него конфискованы все бумаги. Сегодня его день рождения. Сегодня мне исполнилось двадцать пять, думает Бонапарт и смотрит сквозь решетку на море. Если высунуть голову, то можно увидеть берег Корсики. Сколько раз пытался и всякий раз терпел крах! Разве судьба какого-нибудь другого молодого честолюбца состояла из такого количества катастроф? Что сообщает об этом Плутарх? Отставлен, сослан, объявлен вне закона на своем родном острове, а теперь со всеми своими планами — за решеткой во французской тюрьме и через восемь дней, вероятно, окажется у крепостной стены под дулами двадцати ружей. Что делать?

Верные друзья советуют бежать. Он возражает в таком трогательном стиле, какой редко встретишь среди шестидесяти тысяч наполеоновских писем: «Благодарю за дружеские чувства, но если люди ко мне несправедливы, а я невиновен, мне этого достаточно. Моя совесть — тот суд, на котором я сам сужу свои поступки, так что моя

душа спокойна. Поэтому не надо ничего предпринимать — ты меня только скомпрометируешь». Правдиво в этом жалостливом письме мученика лишь последнее слово. Мечтателю Жюно он называет те мотивы, которые тому понятны. На самом же деле он, Бонапарт, не хочет себя скомпрометировать: ведь его связь с Робеспьером недоказуема, а побег явился бы признанием этой связи.

Он пишет из тюрьмы одному высокопоставленному дипломату: «Я немного опечален катастрофой, постигшей младшего Робеспьера, которого я любил и почитал человеком чистой души, и все же: я заколол бы собственного отца, если бы тот решил сделаться тираном». Чем не речь римлянина? И еще умнее — в письме Конвенту: «Хотя я без вины оклеветан, я никогда не стану жаловаться на Комитет общественного спасения, какое бы решение он ни принял... Однако услышите меня! Разорвите мои цепи, верните мне уважение патриотов! И если злые силы потребуют моей головы, я уже час спустя буду готов к смерти. Я не слишком ценю свою жизнь, слишком часто рисковал ею на войне. И лишь желание послужить отечеству позволяет мне спокойно выносить ее тяготы».

Через восемь дней Бонапарт на свободе. Оклеветан он был в самом начале земляком Саличетти, но потом, когда первый страх прошел и тот почувствовал себя в безопасности, этот интриган-корсиканец поручился за Бонапарта, заключив свое рекомендательное письмо фразой, в которой произвольно предсказывал будущие победы Наполеона: «Кстати, он очень пригодится в армии».

ХII

Как все начинают его сторониться! Как глухи к письмам могущественные друзья! Как ему приходится унижаться, обращаясь с мелкими просьбами, например, «на счет хорошего измерительного прибора для армии», дабы вынудить к ответу одного зазнавшегося приятеля.

Тут вдруг опять раздается сигнал с Корсики. Старик Паоли призвал на подмогу англичан — значит, его долг спасти Корсику для Франции! Вперед, в Париж, надо раз-

жечь пламя! И в самом деле принимается решение выступить на юг, Бонапарта трясет от жажды принять командование, однако посланный туда флот уже спустя две недели терпит поражение и возвращается в Тулон. Новое разочарование! Дали бы ему провести эту операцию! Разве он захватил Тулон и оградил пушками все побережье, не имея в виду военный поход против Корсики?

Но наступает эра реакции. Бонапарту не доверяют и пытаются отделить его от сторонников, послав в Вандею на усмирение мятежников. Одновременно его, артиллериста высочайшего класса, переводят в пехоту под предлогом отсутствия «штатного места»: такое оскорбление трудно вынести.

Бледный молодой человек еще больше бледнеет. Не бывать тому! Он пытается призвать к ответу члена Комитета общественного спасения по военным вопросам, а тот заявляет: «Вы слишком молоды». Бонапарт пристально смотрит ему в глаза и говорит: «На поле боя быстро взрослеют, а я как раз оттуда».

«Что делать? Сказаться больным, взять отпуск?» — думает отстраненный от дел генерал. Нет, лучше оставаться здесь: Париж — это пуп земли. Мармон и Жюно — не в отпуске, они крутятся вокруг него, и денег у них тоже нет. А что подельывает Бурьен? Ах, он пустился в спекуляции! Что ж, можно и это попробовать, но ассигнации падают в цене. Как бездарно они провели последний путч! Неужели полагают, что можно совершить государственный переворот без пушек? Но Саличетти, в свою очередь попавшему под колеса правосудия и скрывающемуся у одной преданной ему корсиканки, Бонапарт пишет: «Видишь ли, за вред, который ты мне причинил, я вполне мог бы тебе отомстить... Какая роль кажется тебе более достойной, твоя или моя? Да, я мог бы отомстить тебе, но я этого не сделал... Ладно, ищи себе спокойное прибежище, где научишься лучше думать о своей родине. Я никому не скажу о тебе ни слова. Уйди в себя и оцени по достоинству мои мотивы, я этого заслуживаю, ибо они благородны и великодушны».

Какие уловки скрываются за этими самодовольными строчками, какие призраки витают над благородными

словами, чтобы только оживить пустоту дня чувством мнимого великодушия!

Счастьем Бонапарт считает наивысшее развитие своих способностей. А они-то как раз и пропадают зря, и он ничего не может с этим поделать. Его давит и прижимает к земле растущая тоска и глухая обида. Жена одного из приятелей рассказывает, что, когда в театре идет комедия и весь зал закатывается хохотом, один Бонапарт сидит с ледяным лицом. Время от времени он встает со своего места и вскоре появляется в другом конце партера, еще более мрачный. Иногда на его губах играет деланная и совершенно неуместная улыбка. Он умеет очень выразительно рассказывать смешные эпизоды из армейской жизни, но сопровождает их грубым смехом. Часто видят, как генерал бесцельно бродит по улицам, тощий, коротконогий, с желтой кожей, болезненный, нервный, «неуклюжий и неуверенный, в старой круглой шляпе, из-под которой торчат два небрежно запудренных уха, воротник покрыт перхотью, руки непомерно длинные, худы и темны, без перчаток и в сапогах не по ноге».

Он берется даже за книжную торговлю с заграницей, но уже первая попытка продать ящик книг в Базель проваливается.

Иногда Бонапарт посещает гостиные, ведь, как пишет он брату, «в этой стране все жаждут только развлечений... Повсюду полно женщин — в театре, в парке, в библиотеке. В кабинете ученого здесь можно встретить прелестнейших малюток. Да, здесь власть вполне уместно было бы предоставить им, ибо мужчины все поголовно влюблены и живут только благодаря женщинам и для женщин».

Когда Бонапарт появляется в салоне трибуна Барраса, который никак не может насытиться блеском, мотовством и женщинами, и оказывается между двумя самыми известными красавицами — Талье и Рекамье, он, низкорослый, мрачный и угловатый, может произвести впечатление только интеллектом. Но и тут остается чудачком-одиночкой.

Нарушают его любовь к одиночеству только длинные письма к братьям. Людовика он воспитывает: «Он — хо-

роший солдат. Мне особенно импонирует, что в нем есть все: огонь, дух, здоровье, талант, надежность, сердечная доброта... Он наверняка будет лучшим из нас четверых. Правда, ни у кого из нас не было такого хорошего воспитания». Жерома, самого младшего, он теперь тоже собирается перетащить в Париж. С Люсьеном отношения у Бонапарта натянутые: этот одареннейший юноша соперничает с ним и желает его во что бы то ни стало опередить. Знарок человеческой души, Люсьен первый до конца раскусил старшего брата и в свои семнадцать пишет о двадцатитрехлетнем Бонапарте: «Я обнаружил в нем честолюбие совсем не эгоистического свойства, но оно явно превалирует над его любовью к общественному благу. В свободном государстве такой человек был бы опасен. Мне кажется, я вижу в нем тиранические наклонности и даже уверен, что, будь он королем, он стал бы тираном. По крайней мере его имя стало бы пугалом для потомков и сентиментальных патриотов». Такое замечательное предвидение не просто игра ума: собственное честолюбие жжет Люсьена до такой степени, что он считает возможным взлет Бонапарта и уже заранее ревнует брата к его будущим успехам.

Но тот покуда живет в тени. И уже завидует Жозефу, которого деньги и веселый нрав сделали независимым. Тот предлагает брату любую поддержку в виде писем и рекомендаций, советует дешево купить какое-нибудь имение, поскольку деньги быстро обесцениваются. Правда, и в письме старшему брату Бонапарт холоден: «Твое письмо было написано слишком сухим слогом, тебе еще надо учиться писать по-другому».

Свой дом! Еще как ему хочется иметь свой дом, как у Жозефа. И Бонапарт в каждом письме все настойчивее просит того сосватать ему богатую и хорошенькую золовку, от которой он уже несколько лет получает нежные письма. Но поскольку девушка тянет с ответом, он требует ясности. И брат его, и друг счастливы в браке, приятели-сверстники занимают высокие посты. Лишь он один со своими беспокойными мыслями и фантастическими замыслами остается без дела и без жены.

«Если ты уедешь на длительное время, — пишет он

Жозефу, — пришли мне твой портрет. Мы с тобой так долго жили одной жизнью, что наши души слились воедино: ты лучше кого бы то ни было знаешь, что мое сердце целиком принадлежит тебе. Набрасывая эти строки, я волнуюсь, как никогда, я чувствую, что нам не увидиться так скоро. Больше писать не могу. Прощай, друг мой».

Он настроен на сентиментальный лад, некоторые фразы даже отдают пошлостью: «Взбираться вверх со ступеньки на ступеньку к лицу скорее какому-нибудь авантюристу или ловцу удачи». А в конце письма: «Жизнь — это легкий улетающий сон».

ХІІІ

Внезапно все приходит в движение.

Прежний военный министр уходит, новый хочет добиться быстрых изменений на итальянском фронте. Не знает ли кто-нибудь человека, который возьмет на себя командование? Вопрос передается второму, третьему, четвертый рекомендует Бонапарта. Его вызывают в военное министерство. Он, чьи глаза и мысли уже много лет связаны с этим побережьем, с этой границей, не сходя с места излагает разработанный до деталей план похода в Северную Италию, против Сардинии и Австрии. Его план основан на точном знании перевалов через Альпы, погодных условий, посевов сельскохозяйственных культур, структуры органов управления, настроений и характера провинций и людей. После завоевания Ломбардии, между февралем и июлем, нужно будет отобрать у Австрии могучую Мантую, затем повернуть на север, соединиться в Тироле с французской армией, стоящей на Рейне, нависнуть над Веной и таким способом вынудить австрийского императора заключить мир и получить все, о чем мечтала Франция уже много лет.

Министр ошарашен быстротой, с какой работает этот мозг:

— Ваши мысли, генерал, столь же блестящи, сколь смелы. Необходимо все это проанализировать. Напишите

подробный доклад для Комитета общественного спасения, не надо излишне торопиться.

— Но мой план готов. Я могу изложить его на бумаге за полчаса.

— Весьма впечатляюще, — говорят члены комитета после прочтения, — хотя и невыполнимо. Во всяком случае такую голову нужно иметь в оперативном отделе.

Спустя несколько дней Бонапарт находится там, где принимаются все решения.

Это великий миг, это решающий день его молодости. Лишь теперь он стоит на пороге своей карьеры. Причем все это происходит внезапно, как и вообще все в ту взрывную эпоху. С этого дня — ему только что исполнилось 26 — он будет с неослабевающей силой тянуть за собой цепь мыслей и действий, направленных к одной и той же цели. И так же внезапно ровно через двадцать лет эта цепь оборвется.

Бонапарт приступает к работе. С этого дня он занимается «делами» и, поскольку цели у него великие, не упускает из виду ни одной мелочи. Генерал получает теперь секретнейшие донесения из всех армий республики. Одновременно ежедневным общением завоевывает авторитет у гражданских властей. Гипноз его личности начинает действовать.

Какую цель он намечает себе на первых порах? Ни Вандею, ни Рейнскую армию — эти цели вполне реальны и достижимы. Ничто не кажется ему столь заманчивым, как особое задание, рожденное лишь его воображением, как рожден воображением и театр его военных действий. Это — Азия. Сразу же после вступления в должность Бонапарт начинает настойчиво доказывать, как важно активизировать Турцию, ввести артиллерию и начать современными методами войну на берегах Босфора, чтобы позже выступить против русских и австрийцев. Мысленно он уже видит себя у султана в темной, неосвоенной, сонной, не знакомой со словом «свобода» стране, где пока еще можно делать все, что захочешь. Через двенадцать дней после вступления в должность Бонапарт подает прошение о переводе в Турцию.

Однако ему отказывают, более того, он уже приобрел

могущественных врагов, побаивающихся и желающих побыстрее выставить молодого генерала на фронт. Его протест звучит в совершенно ином ключе: предвещая успехи, которые пока живут только в его воображении, он уже пишет в категорическом тоне: «Генерал Бонапарт, командовавший артиллерией в сложнейших условиях и немало содействовавший величайшим победам, ожидает, что чувство справедливости подскажет членам Комитета общественного спасения вернуть его на прежнюю должность и избавить от страданий, которые он испытает, если на его месте окажутся люди, всегда державшиеся в стороне от опасности, а ныне выступающие на первый план, дабы пожать плоды чужих побед».

Все — от третьего лица, в отливающем металлом стиле летописца — вполне по-римски.

Ничего не помогает, во второй раз строптивца вышвыривают за борт, во второй раз он вынужден уступить. Но он чувствует, что его время близко, и уже ни от чего не приходит в отчаяние. Предстоит новая смена кабинета, Бонапарт предвещает брату новый переворот, сам он в прекрасных отношениях со всеми партийными лидерами, от которых будет зависеть подбор командных кадров для армии. «Я смотрю в будущее с надеждой и уверенностью, но даже если я ошибаюсь, жить все-таки нужно настоящим: смелый презирает будущее».

Именно потому, что Бонапарт его презирает, оно работает на него. Впоследствии то же самое произойдет и с окружающими его людьми.

Через две недели после письма брату раздражается конфликт между правительством и монтаньярами, за которыми стоят роялисты. Вновь, как три года назад, на улицах Парижа закипает бой. Национальная гвардия в четыре раза многочисленнее правительственных войск. То ли из осторожности, то ли из трусости, но представитель Конвента предлагает переговоры. Его называют предателем и бросают за решетку. Конвент беззащитен и напуган, он боится радикалов слева и справа, объединившихся по совершенно разным причинам.

Вечером Бонапарт спешит в Конвент — как же, ведь теперь им придется искать преемника, — и слышит,

кого предлагают — сплошь имена его конкурентов. Как сильно бьется сердце молчаливого зрителя: неужели никто не вспомнит о нем? А если его имя все же назовут, принять ли на этот раз предложение, которое он при Робеспьере отклонил? Не вызовет ли он ненависть в народе, особенно в случае успеха? «Назначьте Бонапарта!» Да, его имя наконец прозвучало, он раздумывает молча «почти полчаса». Славы такая миссия не принесет, зато она даст ему власть, думает он и соглашается служить Комитету общественного спасения. Полночь уже миновала, утром ожидается штурм народных толп, за несколько часов все должно быть готово.

В этой ситуации Бонапарт требует полной свободы от контроля со стороны гражданских властей: это чудовищное требование по законам революции, к новым принципам которой как раз и относился контроль за действиями военных. «Ежели вы меня назначаете, я беру всю ответственность на себя и мне нужна свобода рук! Ведь только что Комитет поставил генерала в ужасное положение. Неужели вы полагаете, что народ даст разрешение в себя стрелять?» Только с Баррасом, наиболее влиятельным в эти дни членом Директории, он согласен разделить командование: тот давно уже у него в руках. Минуты бегут, никакого выбора не остается, и Бонапарту поручают защиту правительства. И это спустя всего две недели после того, как его вышвырнули из армии.

Вот уже семь лет народ Парижа, переходя к активным действиям, всегда натывался на неподготовленных противников: именно так революция и продвигалась вперед. И только Бонапарт всерьез готовится к бою, за одну ночь превращает Конвент в крепость, вооружает поголовно всех депутатов, даже самых робких, теряющих голову от страха, когда слышат, что речь идет о пушках.

Молодой кавалерийский офицер вызывается доставить из пригорода сорок пушек. Имя его Мюрат, и он одновременно со своим командиром стоит на пороге блестящей карьеры. За городом Мюрат натывается на толпы, которые тоже рыщут в поисках пушек. Без пушек Бонапарту нечем будет прикрыть Конвент. Бегут часы

отчаянного напряжения, в течение которых, однако, нужно спокойно расставить по местам свои небольшие силы. Наконец в пять утра Мюрат доставляет пушки. Скорее! Через два часа все должны занять боевые позиции!

Толпа грозно надвигается, собравшиеся в здании Конвента дрожат от страха и приказывают отзывать войска и вести переговоры. При свете дня грозный вид наступающих толп окончательно лишает мужества гражданских правителей, во второй половине дня некоторые уже готовы брататься. Сгущаются сумерки: сейчас или никогда! Что же командиру своими руками отдать победу этим оборванцам? Ему, в свое время насмехавшемуся над королем Людовиком за слабость духа, теперь навлечь на себя такой же упрек? Да ведь его рука лежит на лафете!

Вероятно, команду открыть огонь первым дал Бонапарт, а может, добился такого приказа от Барраса, хотя в рапорте, да и позже он клялся, что «это преступление перед французским народом на совести его противников». Так или иначе, раздается канонада, пушки берут верх над толпой, мостовая окрашивается кровью, толпа разбегается, через два часа улицы пусты. Ночью Бонапарт пишет брату: «Наконец-то все позади. Моим первым желанием было сообщить тебе об этом... Мы выставили войска, противник атаковал нас у Тюильри, мы уложили кучу народа и сами потеряли 30 человек убитыми и 60 ранеными. Их сотни мы разоружили, сейчас все спокойно. На мне, как всегда, ни царапины. Бригадный генерал Бонапарт. Постскриптум: Счастье не изменило мне. Сердечный привет Дезире и Юлии».

Это первое победное сообщение Бонапарта. Его враги — французы, поле битвы — Париж, преступники — радикалы, потери убитыми в основном у противника, подпись под письмом, первый и последний раз, кроме имени, содержит и воинское звание. Все рассчитано на внешний эффект. Но в конце все же прорывается теплое родственное чувство.

«Во мне живут два человека, — скажет Наполеон позже, — один живет головой, другой — сердцем».

XIV

На трибуне Конвента стоит Бонапарт с группой своих офицеров: под гром аплодисментов всего зала Конвенту представляют молодого спасителя. Генерал почти не слышит оваций, и теперь, и в будущем он не будет придавать никакого значения таким минутным триумфам. Холодным взглядом он окидывает зал и думает: «Эти люди и есть вожди нации? Как они тряслись, когда слышали грохот пушек! Пусть они навсегда запомнят свой страх! Их защиту я взял на себя. И буду их защищать до тех пор, пока не добьюсь беспрекословного подчинения».

Бонапарта назначают командующим внутренними войсками. У него сразу появляется множество сторонников: отставные офицеры, надеющиеся сделать карьеру с побывавшим в отставке генералом, чиновники, у которых были причины бояться возврата реакции, — все те, кто получил надежду на спасение. Но народ начинает его ненавидеть, ибо сотни безоружных горожан, просто зевак и женщин погибли в тот вечер. Его это ничуть не трогает. Он не стремится к тому, чтобы его любили.

Теперь, когда у Бонапарта внезапно появились деньги, слуги, карета, ему опять-таки ничего не нужно для себя лично, все только для родни. Младших братьев он рекомендует на хорошие должности, мать вновь может начать жить в свое удовольствие и даже откладывать на черный день, Жозефу он предлагает на выбор несколько постов и даже дальних родственников как-то пристраивает. Однако письма родным пишет все реже, и тон становится совсем другой: «Я не упущу малейшей возможности быть тебе полезным и содействовать твоему благополучию». Бонапарт стал покровителем, главой семьи.

Дезире упустила свой шанс. Лишь несколько недель назад, еще служа в генеральном штабе, он настойчиво просил брата оказать ему помощь и добиться от нее положительного ответа: «Я жажду иметь свой дом!» Одно-временно в письмах появляется все больше иронических замечаний в адрес светских красавиц — вместе с появле-

нием надежд настроение его улучшается. Двум дамам он даже сделал предложение: корсиканке благородных кровей, приятельнице своей матери, и очаровательной кокетке, любовнице Шенье. Обе намного старше его. Обе ему отказывают. Но он уже вдохнул аромат дамских салонов: «Поцелуй обеим дамам, первой — в уста, второй — в щечку». Поскольку Бонапарт до сих пор почти не знал женщин, его одинокое сердце быстро поддается наплыву чувств.

Сразу после назначения Бонапарт издает запрет на ношение и хранение оружия, повсюду проводятся обыски, оружие конфискуется. Но вот в его кабинете появляется славный двенадцатилетний мальчуган и просит вернуть шпагу убитого отца, которую забрали у матери. Генерал тут же выполняет эту просьбу, и вскоре ему наносит благодарственный визит мать мальчика. Какая обольстительная женщина — как своенравна, как элегантна! Ей уже за тридцать, она не столь красива, сколь обворожительна, стройна без всякого корсета, утонченна и в то же время кажется иноземкой из-за смуглой кожи, ибо родилась креолкой, но выросла в Париже и научилась побеждать сердца, пуская в ход обаяние.

Когда генерал наносит ей ответный визит — а живет она в маленьком домике на далекой окраине, — его обостренный пережитой бедностью взгляд замечает, что тут стараются пустить пыль в глаза, но его это не смущает. Ибо этот офицер, лишь к двадцати семи годам впервые получивший достаточно средств, чтобы держаться свободно и достойно, уважает деньги, но не уважает богачей. В мужчинах ему всегда импонировал успех, а в женщинах — их умение нравиться.

Жозефина вполне владеет этим умением, ей оно нужно вдвойне. Ибо на своей тропической родине — она родом с острова Мартиника — эта женщина потеряла все, когда погиб ее муж, виконт де Богарне. Они многие годы жили врозь и соединились, лишь когда виконт приехал в Париж. Однако вскоре он погиб на плахе как роялист. Она и сама вышла из тюрьмы лишь благодаря свержению Робеспьера. Друзья поддержали вконец обнищавшую женщину, но все равно она жила очень тяжело со

своими прелестными детьми — подростками Гортензией и Эженом.

Приходилось быть любезной со всеми. Однако врожденное кокетство и неистовая жажда удовольствий в любой ситуации делали ее желанной. Жозефина была любовницей Барраса: красавица Талье, ее приятельница, уступила ей этого могущественного человека, переключившись на богатого банкира. Однако обе вертели Баррасом, и Комитет общественного спасения предоставил обеим дамам лошадей и кареты. Аристократичная Богарне умела давать роскошные обеды и общаться с обеими партиями. Единственное ограничение: графы и маркизы, завсегда таи ее приемов, не должны были привозить с собой жен. Да, она стала настоящей авантюристкой от революции.

А что же Бонапарт, которого любой новый переворот может лишить должности? Разве он сам нечто большее, чем авантюрист от революции? Если бы Мюрат несколько дней назад не достал пушек, генерала бы расстреляли. Все висит в воздухе.

Что может быть легче, чем заставить потерять разум замкнутого человека, долгое время избегавшего женского общества? Впервые в жизни Бонапарт по-настоящему обладает женщиной, да какой — настоящей искусницей в любви. С этой креолкой он сгорает в собственном пламени. Для нее же это просто удачный вариант, и она без всяких эмоций излагает в письме к приятельнице план женитьбы:

«Вы видели у меня генерала Бонапарта. Он-то и собирается стать отцом для моих сирот и супругом для вдовы. Я восхищаюсь мужеством генерала, широтой его знаний... Однако не могу не признаться: меня пугает та власть, которой он стремится подчинить себе все. В его пронзительном взгляде таится что-то настолько редкостное, что нравится даже нашим директорам. А то, что должно мне импонировать — сила его страсти, которую он мне доказывает со всем пылом южанина, как раз и удерживает меня от согласия на брак, к которому я уже не раз была готова. Теперь, когда моя юность уже позади, могу ли я надеяться, что сумею надолго сохранить в нем столь бурную нежность, похожую на приступы безумия?»

Она не понимает, что ее так пугает в Бонапарте, однако со смутной опаской чувствует, что попадает во власть некоей стихии. Ибо это человек хочет всего или ничего и он не успокаивается, пока не получает всего. И если Наполеон в первый и единственный раз в жизни бросается перед кем-то на колени, то он отдает ему всю душу и навсегда пленяет силой своей личности.

«Жду Тебя, полон Тобой, Твой образ и упоительный вечер не дают успокоиться моим чувствам. Дорогая, несравненная Жозефина, что Вы делаете с моим сердцем? Вы на меня не сердитесь? Вы чем-то опечалены? Или обеспокоены? Да разве я сам знаю, что такое покой, когда весь отдаюсь страсти, чтобы пить из Ваших губ, из Вашей груди то пламя, которое меня сжигает! Ах, в эту ночь я понял, что Ваш образ никогда не сможет заменить Вас саму. Ты выедешь в полдень, через три часа я Тебя увижу, до свидания, моя любимая, тысяча поцелуев! Но Ты меня не целуй, Твои поцелуи жгут мою кровь!»

О своих планах Бонапарт ей не сообщает, однако говорит нечто куда более важное: «Эти директора думают, что я нуждаюсь в их защите? Когда-нибудь они будут почитать себя счастливыми, оказавшись под моей защитой. Я добьюсь всего своей шпагой!»

«Что вы скажете, — пишет Жозефина, — об этой вере в успех! Может ли такая вера возникать из чего-либо, кроме как из безграничного самомнения? Бригадный генерал мнит себя возможным защитником глав правительства! Не знаю — и все таки именно эта смехотворная самоуверенность заставляет меня считать, что этот странный человек может добиться всего, чего захочет».

Создается впечатление, будто мы стоим перед железной дверью, за которой бьется горячее, живое человеческое сердце, и смотрим сквозь замочную скважину на пожар, сжигающий душу.

Однако почему Бонапарт женится на женщине, которой и без того обладает? Чтобы ни с кем ее не делить? Против этого говорит его чувство собственного достоинства, да и обмануться на этот счет легко. Ради какой-то выгоды? Она не обещает ему ни денег, ни влияния. Не-

сомненно, ему льстит ее родословная, и он рассчитал, что Жозефина в качестве супруги рассеет последние сомнения у тех, кто считает его «всего лишь корсиканцем». Однако именно будучи корсиканцем, остро чувствующим, как все итальянцы, принадлежность к клану, Бонапарт хочет слияния аристократических кровей.

Его наследник должен быть сделан из хорошего материала. Он женился на Жозефине, потому что она была отпрыском двух старинных аристократических семей. Ведь именно благодаря этому — не говоря о ее обаянии — ее принимают во всех великосветских салонах, несмотря на репутацию и бедственное имущественное положение. Баррас, наиболее влиятельный из трех директоров, делает ставку на Бонапарта и явно хочет связать его со своей любовницей. В этой атмосфере сексуальной свободы тот, кто стал бы говорить о чести, просто выставил бы себя на посмеище. Больше нет кавалеров и дам, а есть только граждане и гражданки, которые сходятся и расходятся по своему усмотрению.

Давно уже решив предоставить Бонапарту командование в Италии, Баррас теперь обещает это сделать виконтессе, все еще не покончившей со своими женскими сомнениями. У него есть свои причины отправить опасного человека на самый опасный фронт. Грандиозный план, в свое время открывший Бонапарту двери генерального штаба, отсылается в Ниццу и возвращается с резолюцией командующего: пусть тот безумец, кто это сочинил, сам прибудет сюда. Это как раз и входило в намерения директоров: они сняли командующего и назначили на его место безумца.

Теперь, когда Бонапарт получил законные права, умная Жозефина уже не медлит. Один из друзей, нотариус, удостоверяет официальным документом, что, поскольку остров Мартиника, родина Жозефины, блокирован, в настоящее время нет возможности получить ее свидетельство о крещении, и приходится верить на слово, что ей 28 лет. Невеста сбрасывает себе пять лет, а жених достаточно галантен, чтобы слегка увеличить свой возраст. Так с двух ложных дат начинается этот брак. Новобрачные подписывают договор о разделе имущества, хотя у викон-

тессы нет ничего, кроме долгов, а у генерала — ничего, кроме мундира и штатского платья. От свадьбы они отказываются.

Но на обручальном кольце Бонапарт велит выгравировать: «Женщине моей судьбы!»

Спустя два дня генерал покидает Париж. В пути он останавливается одиннадцать раз, и Жозефина получает одиннадцать пылких любовных писем. В Ницце он встречается со своей армией и принимает власть, которая поведет его через границы Европы.

Время равноденствия, море бушует. С башни Бонапарт смотрит на вражеский берег и думает: «Вот точка, которая нужна мне для прыжка. За моей спиной Париж и ее спальня, облицованная сверху донизу зеркалами. Это счастье, оно у меня есть. А там, за горами, в стране врагов, моя слава. И я ее добьюсь».

Повернувшись, он видит вдалеке знакомую береговую линию, затягивающуюся голубой дымкой. Но она больше не притягивает к себе.

Это его утраченная родина. Это Корсика.

Книга II

ВОДОПАД

*Божественное озарение
всегда связано
с молодостью и энергией.*

*И Наполеон был
одним из самых энергичных людей,
когда-либо живших на земле.*

ГЕТЕ

I

Белыми остриями впиваются вершины отвесных каменных стен в голубизну утреннего неба. Сияя вечными снегами, Альпы владычествуют над ландшафтом и грозно нависают над бухтой. Природа положила здесь естественный и непреодолимый предел для полководца, имеющий и символическое значение: в этом месте земля его предков отделена от его нынешней родины.

Но Бонапарт, никогда не полагавшийся только на силу и всегда умом преодолевавший силу, не зря днем и ночью прокручивал в мозгу старый вопрос. Если Ганнибал перешел через Альпы, то он их обойдет. Если победить этого врага в самом слабом его месте — там, где Альпы почти вплотную спускаются к побережью и узкий «карниз» облегчает доступ в горы, то не придется дожидаться лета. Чем раньше, тем плотнее снег и тем меньше опасность схода лавин. Вперед, в страну предков!

Оставаться на месте равносильно гибели. При этом противник и не думает его теснить, он себе спит спокойно на зимних квартирах — австриец на востоке, король Сардинии на западе Ломбардии, да и множество крошечных республик и герцогств, эти осколки Италии, до весны не ожидают нападения. Но французские солдаты голодают, Париж переживает не лучшие времена и может посылать им лишь смехотворные суммы, к тому же разворовываемые поставщиками. «Франция содрогнулась бы, — пишет домой незадолго до прибытия Бонапарта один французский

генерал из Италии, — если бы могла счесть всех, умирающих здесь от голода и болезней». Что делает военачальник, если не может дать войску ни денег, ни хлеба?

«Солдаты! Вы раздеты, плохо накормлены, вы требуете всего этого от правительства, но у него ничего нет. Ваше терпение и ваше мужество в этой каменной пустыне достойны восхищения, но оно не принесет вам ни славы, ни хлеба. Я поведу вас в плодороднейшие равнины мира! Вас ждут цветущие долины и богатые страны. Вы найдете там почет, наслаждение и богатство. Неужели вам не хватит мужества и упорства?»

Слабый отклик находит новый военачальник в рядах тех, к кому он обращается с этими словами на первом смотре. А когда солдаты возвращаются в лагерь, один из них говорит другому: «Непохоже, чтобы он мог вынести непогоду: больно у него кожа желтая. Только и умеет, что говорить красивые слова о каких-то там плодородных долинах. Вперед пускай даст нам сапоги, чтобы мы могли туда дойти!» Разве иные чувства испытывал народ Израиля, когда их вождь обещал им Землю Обетованную? Полководец встречает везде только сопротивление.

Да его никто и не знает здесь, в этой армии, простоявшей три года кряду на гребнях гор, из которой четверть лежит в госпиталях, вторая четверть погибла, попала в плен или дезертировала! А ее офицеры? Разве нельзя и от них ждать того же, что выказали семь лет назад офицеры в Оксонне этому странному молодому человеку: вместо преданности — молчаливое сопротивление? Вот генерал сидит, пишет, считает: напудренные волосы над ушами отстрижены под прямым углом, сзади же ниспадают на плечи и спину, мундир почти лишен украшений, он расхаживает по комнате и диктует, этот иностранец, французский которого все еще оставляет желать лучшего. Во всем штабе ему никто не симпатизирует, кроме трех или четырех преданных друзей, которых он привез с собой и один из которых пишет: «Его тут считают то ли математиком, то ли фантазером».

А что, если он и то, и другое и именно благодаря этому — гений?

На первых порах Бонапарт кажется только математиком: «То, чего вы от меня требуете, — пишет он Директо-

рии сразу по прибытии, — это чистое чудо, а я не волшебник... Лишь с умом и осторожностью добиваются больших целей. От победы до поражения всего один шаг. В крупных сражениях я понял, что важнейшие дела в конечном счете всегда решала какая-то мелочь». А Карно, великому организатору армии, он жалуется: «Вы не поверите, но у меня здесь нет ни одного по-настоящему одаренного офицера, нет даже такого, кто бы хоть раз участвовал в осаде города! Вы не можете себе представить, в каком я бешенстве: у меня здесь совсем нет артиллерии!» В самом деле, у генерала имеются лишь 24 горные пушки, 4000 больных лошадей, 300 000 франков серебром, для 30 000 человек на один месяц провианта при половинном рационе. С такими осколками армии он обязан завоевать Италию.

Но если этот человек на что-то решился, он делает все, что в его силах, и теми средствами, какие у него есть. Его энергия превращает несчастных, коррумпированных солдат, целые армейские корпуса, некоторые из которых уже вновь поют королевский гимн, в республиканскую армию.

Из документов третьего дня по прибытии: отсылка 110 рабочих на строительство дорог. Подавление мятежа в одной из бригад. Размещение двух артиллерийских дивизионов. Приказы двум генералам по делу о конокрадстве. Ответ на просьбу двух других по поводу полученных распоряжений. Приказ одному генералу, находящемуся в Тулоне, отправить свои войска в Ниццу. Приказ другому генералу сконцентрировать силы национальной гвардии в Антибе. Приказ еще одному генералу найти в мятежной бригаде надежных офицеров. Обращение к генеральному штабу. Смотр войск с приказом по части. За первые двадцать дней Бонапарт издает 123 приказа только по питанию войска, разоблачает растраты, недовес, плохое качество. Все эти приказы он пишет на марше, в двенадцати разных местах, в промежутках между шестью сражениями.

Пройдя узкие перевалы, он атакует сначала одного, затем другого противника, связанных между собой союзническими отношениями, разбивает их в двух сражениях и отбрасывает в стороны. В сущности, сражения эти всего лишь авангардные бои, в наибольшей степени соответствующие характеру французов и боевой выучке этих частей,

покуда еще не сталкивавшихся с массовыми передвижениями в открытом поле: здесь в большей степени сказываются быстрота и смелость, чем талантливый расчет полководца.

В сумятице бешеной скачки через перевалы, по высокогорным долинам и ущельям, в гуле и грохоте своих и вражеских пушек внезапно лопается стекло на сотни раз целованном медальоне с портретом Жозефины, который Бонапарт носит под мундиром. Побледнев, словно юноша, он останавливает коня и говорит Бурьену: «Стекло лопнуло. Моя жена заболела или изменила мне. Вперед».

Для него сейчас главное — выполнить первое дерзкое обещание. Бонапарт знает: если он в этот раз сдержит слово, армия поверит ему, а если она поверит ему, то вскоре поверит в него. И в самом деле спустя 14 дней после пророческого обещания армия, побеждавшая уже из последних сил, внезапно оказывается на невысказанной высоте: все ликуют и вопят от восторга! После бесконечного прозябания в ущельях она вдруг видит у своих ног равнину Пьемонта, столицы Сардинского королевства, необозримую, в весеннем цвету, предлагающую все, чего так долго не хватало. Вдали тянутся река По и более мелкие речки, наконец-то мир снегов позади. «Словно по волшебству рухнула эта огромная преграда, показавшаяся нам границей совершенно другого мира».

И все это теперь принадлежит им! Ибо их командир уже принудил короля Сардинии, одного из своих двух противников, заключить перемирие, в котором предусматривается право победителей пользоваться всем, что растет. Этому первого в своей жизни перемирия Бонапарт добился военной хитростью и прямым обманом: угрозой прибытия мощных сил, которых у него, во-первых, не было, а во-вторых, будучи зажат с двух сторон, он бы не мог пустить их в дело. Его армия только диву давалась: этот человек и впрямь умеет держать слово. За две недели выполнил точь-в-точь все, что обещал!

С этого дня солдаты полюбили Бонапарта. Так он и сам себя теперь именуется с первого дня итальянского похода: с тех пор как Италия стала его врагом, он отбрасывает итальянскую часть своего имени.

Скоро он во второй раз изменит имя.

II

Почему Бонапарт победил? Почему в последующие недели наносит удар за ударом? В чем тут секрет?

В первую очередь в его молодости и здоровье. Тело, никогда не устающее от долгой скачки в седле. Сон, который начинается и кончается по сигналу мозга. Желудок, который выносит любую еду и не требует никакой особой пищи. Глаз, который все замечает.

Однако только революции он обязан тем, что в 27 лет, находясь в самом расцвете сил, может стать первым человеком в стране и замахнуться на роль неограниченного диктатора. Только благодаря новой идее равенства могут возникнуть такие молодые лидеры, прошедшие суровую школу жизни. Значение имеет не родословная, а реальный успех.

Да разве может красавец эрцгерцог Карл с его тонкими чертами лица, носящими признаки вырождения, с его придворным воспитанием сравниться с Бонапартом в выносливости или в непредвзятости суждений о людях! Что может противопоставить ему австрийский главнокомандующий Болье: одному 27, другому 72. Генерал Колли страдает подагрой, и его носят на носилках, Альвинци уже за 60, а другой его противник, король Сардинии, вообще глубокий старик. Как честному генералу Вурмзеру, тугому на ухо и медлительному в движениях господину, соперничать с тем, кто может ежедневно менять место расположения своего штаба, окружает себя только молодыми офицерами и изрекает: «Время — это все!»

Самому старому из приближенных Бонапарта — 42, это послушный служака Бертье, который в последующие двадцать лет останется рабски преданным ему начальником генерального штаба. Рядом с ним — темпераментный Массена, побывавший и юнгой на корабле, и бродягой, прослуживший в армии при Бурбонах четырнадцать лет, но не получивший даже фельдфебельских погон. Теперь он за несколько недель становится генералом. И тут же — Ожеро, дезертировавший из трех армий, авантюрист и почти профессиональный вор. Сплошь личности с социаль-

ного дна, которых их военачальник, самый молодой из всех, быстро делает героями и полководцами, а позже — герцогами или князьями.

В каждом рапорте Бонапарт рекомендует повысить в звании тех, кто проявил смелость на поле брани. Так после трех сражений некий гренадер становится полковником, а позже взберется еще выше. Напротив, нескольких генералов, доставшихся ему от предшественника, он отстраняет от должности с резкой формулировкой: «Годен для штабной работы, не нюхал пороха». Потерпевший поражение на поле боя отнюдь не обязательно попадает в немилость: «Военное счастье, дорогой Массена, изменчиво, завтра или чуть позже мы отвоюем все, что вы нынче потеряли». Плохому дивизиону Бонапарт приказывает построиться, обрушивает на солдат град ругательств и собирает осквернить их знамя издевательской надписью. Тут весь строй хором вопит: «Завтра мы пойдём в первых рядах!» На следующий день командующий приобретает еще тысячу преданных солдат. Когда они побеждают, он называет их в боевых приказах: «Товарищи! Друзья!» Так он ведет за собой сыновей народа.

Генерал Бонапарт ведет за собой именно народную армию, в этом — вторая причина его побед, но эта причина — заслуга революции, более того — форма ее существования. Его противникам приходится беречь жизни своих наемников: они слишком дорого стоят и не так легко найти им замену. Кроме того, их армии состоят из многих наций, столько нет даже под властью германского кайзера, и нет идеи, которая бы их объединяла. А в армии Бонапарта — одна нация численностью в 30 миллионов, обладающая возможностью и решимостью самовосстанавливаться, и так в течение всех двадцати лет.

За что она борется? За то, чтобы нести в мир свою едва обретенную свободу, эти несколько простых мыслей. Она хочет всемирной революции. Она должна защитить достоинство свободы от законных владельцев, которые ополчились на нее со всех сторон и хотят оградить себя от нее еще больше, чем свергнутые Бурбоны. Этого нельзя сделать, просто закрыв границы. Окруженная королями и императорами, одержимыми желанием искоренить в своих наро-

дах всякую попытку подражания, Франция, умевшая защищаться, логикой событий оказалась втянутой в наступление. И если таким образом становятся завоевателями, то это завоевание — всего лишь справедливое возмездие именем свободы.

Это третья причина. Стремясь завоевать для Франции Ломбардию, а потом и всю Италию, Бонапарт с первого дня в своих манифестах возвещает народам, что он явился как освободитель от гнета Габсбурга или короля Сардинии, герцогов и сенаторов-дворян. Разве не было магистратов или наместников, князей или фогтов, свергнуть которых давно уже жаждали угнетенные народные массы? Разве идеи революция не перешагнули границы и не подтолкнули студентов и обывателей во многих городах соседних стран к беспорядкам? Здесь тоже была молодежь, рвавшаяся к свободе: мятеж грозно звенел цепями у ворот королей. Все эти слои ждали стремительно наступающую французскую армию с несокрушимой верой в ее высокую миссию.

Бонапарт — полководец чистых итальянских кровей с итальянским именем и родным итальянским языком — в их глазах не был французским генералом: он казался им посланцем свободы и равенства, каждый его манифест начинался с этих двух великих и опасных слов. Какое разочарование постигло бы их, если бы оказалось, что к ним вторгся обычный завоеватель! От их восприятия зависит все, и командующий знает это, но одновременно осознает: разве может он требовать железной воинской дисциплины от своих оборванных и полуголодных солдат?

«Грабежей стало меньше, — пишет Бонапарт домой, — первый голод армии, у которой ничего не было, вроде бы утолен. Этих бедолаг вполне можно понять: три года кряду проторчать у подножия Альп, и вдруг попасть в страну обетованную! Голодный солдат легко поддается таким взрывам бешенства, что становится стыдно за все человечество... Я намерен восстановить порядок или же буду вынужден вообще отказаться от должности: не могу командовать грабителями... Завтра по моему приказу расстреляют несколько солдат и одного капрала, укравших сосуды в какой-то церкви. Через три дня железная дисциплина будет восстановлена. Пусть Италия, восхищающаяся му-

жеством наших войск, удивится их дисциплинированности. Случались ужасные вещи: я содрогаюсь при воспоминании об этих минутах! Слава Богу, противник, отступая, творил еще более страшные безобразия».

Своих солдат Бонапарт убеждает беречь честь армии: «Поклянитесь мне, — призывает он в одном из первых манифестов, — щадить народы, которые вы пришли освобождать: иначе вы станете заложниками этих народов! Ваши победы, ваше мужество, кровь наших погибших братьев пропали бы даром, а также ваша честь и слава! Я и мои генералы сгорели бы со стыда, если бы наша армия утратила дисциплину!» Вряд ли выполнимо, несмотря на все заклинания. С этого дня он издает все новые распоряжения, предписывающие генералам расстреливать любого, кто в течение 24 часов не вернет то, что взял самовольно у населения, даже лошадей и лошаков.

Вспыхивают восстания и наносятся ответные удары: священники и дворяне, агенты князей подбивают жителей одного городка оказать сопротивление. Всех, поднимающих мятеж против нового властелина, в завоеванных областях безжалостно расстреливают, а дома поджигают. Но такое случается все реже, ибо в городах интеллигенция малопомалу раскрывает обывателям смысл новых порядков, сулящих большие перспективы. Бонапарт понимает итальянцев — и это еще один источник его успеха — и, используя их язык, словечки, примеры, исторические имена, будит в них давно забытую национальную гордость: «Народы Италии! Французская армия пришла, чтобы разбить ваши цепи! Франция — друг всех народов. Верьте мне! Ваша собственность, ваши обычаи, ваша религия — все будет в сохранности!» И рассказывает им об Афинах, Спарте, Древнем Риме.

Да, именно история вдохновляет его. И пока генерал быстрыми победами входит в историю, она окрыляет его дух. Мальчиком Бонапарт изучал Плутарха, поручиком — историю всех времен, и теперь он каждодневно пускает в ход эти знания. Поскольку знает, кто и в какое время владел местностью, поскольку понимает, как возникали правительства, которые теперь он свергает, Бонапарт в состоянии находить для каждой местности

свой особый подход. Перед его глазами постоянно маячат герои древних времен, до которых он хочет дотянуться и даже их превзойти. Все, совершенное собой, Бонапарт воспринимает как факт истории и навязывает своей армии и стране — а вскоре уже и всей Европе — это чувство. Именно эти первые победы, решившие фактически всего лишь исход небольших стычек, он немедленно облекал в такие слова, будто то были настоящие сражения. Бонапарт называл эти сражения «историческими» и добился половины своего влияния именно благодаря силе слов. Он постоянно внушал народам, что он их освободил, а солдатам — что они всего добились благодаря самим себе и для самих себя.

«Солдаты! — взывает он к ним в Милане. — Вы низверглись с вершин Апеннинских гор, словно водопад... Милан — ваш... Мы — друзья всех народов, в особенности потомков Брута, Сципиона и всех тех великих вершителей судеб, с которых мы берем пример. Восстановить Капитолий, воздвигнуть в нем статуи героев, пробудить народ Рима, скованный веками рабства, — вот что будет плодом ваших побед, потомки будут вами восхищаться! Вы заслужили бессмертную славу, дав новый облик красивейшей стране Европы... А потом вы вернетесь к домашнему очагу, и ваши сограждане будут указывать на вас и говорить: он был с армией в Италии!»

Разве какой-нибудь полководец до него говорил с войсками и народами, соратниками и врагами в таком возвышающем душу тоне? Кто до него взывал к мечте, а не к послушанию? При Арколе он кричит своим солдатам: «Вы кто — трусы или победители под Лоди?» А через несколько месяцев вдохновляет их победой при Арколе. «Мы преодолели реку По, начинается второй поход», — пишет он Директории. С каким совершенным мастерством стилизует он каждое свое донесение в Париж, и хотя сообщает чистую правду, но правда эта изложена в такой чеканной форме, что моментально попадает от правительства в прессу, а затем и за границу.

Пером Бонапарт укреплял позиции, завоеванные мечом.

III

«Получил ваш мирный договор с Сардинией. Армия его одобрила».

При чтении этой фразы директора насмерть перепугались: этот страх превысил радость по поводу моря знамен, заполнивших парижские улицы. Видано ли, чтобы какой-то генерал говорил в таком тоне со своим правительством! «За это письмо следовало бы поставить к стенке молодого героя!» — вопили его противники. Однако победы, завоевание Ломбардии уже создали ему в глазах народа репутацию, на которую было опасно посягать. Бонапарт уже заткнул рот комиссару правительства, своему земляку Саличетти, незадолго до того прибывшему в его лагерь, и самолично подписал перемирие с Сардинией. Во время этой первой дипломатической миссии, когда у него хотели что-то выторговать, Бонапарт вынул часы, назвал время своего следующего наступления и посоветовал господам поторапливаться, ибо «может случиться, что я буду терять победы в сражениях. Но никогда не стану терять минуты ради излишнего доверия к словам собеседников». Этим перемирием он лишил короля подвластных ему земель. Затем по собственной инициативе начал вести переговоры с герцогами, с Тосканой. Уж не решится ли он потом самолично начать переговоры с Папой? Что делать с таким опасным триумфатором?

Надо послать ему партнера, решают директора и хитро улыбаются. Пусть поделит командные функции с генералом Келлерманом, а Саличетти возьмет на себя политику: этот приказ настаивает Бонапарта в Лоди, на следующий день после сражения.

Это было первое настоящее сражение, выигранное им: с помощью военной хитрости и смелого броска вперед он взял штурмом мост через Адду и разбил перепуганных австрийцев. После этой первой будет еще много куда более значительных побед. Но для становления его души этот день — самый важный.

После битвы, длившейся всего один час, решившей исход первой части его похода, с большими трофеями и ма-

лыми потерями, Бонапарт впервые почувствовал, как сливаются воедино туманные планы и реальные победы, мечты и действительность: в нем возникало осознание своих сил и безграничных возможностей. Именно в те дни он впервые озвучивает намеченные цели. Он говорит своему другу Мармону: «Я чувствую, что мне на роду написаны такие дела, о которых ныне живущее поколение и понятия не имеет».

И значительно позже, уже в воспоминаниях: «Только вечером в Лоди я впервые понял, что я — человек, отмеченный Божьим промыслом, только в тот вечер я поверил, что действительно совершу те великие подвиги, кои до того занимали мои мысли лишь в виде честолюбивых мечтаний».

Именно в этом настроении получает он из Парижа решение директоров. Что? Видеть внутренним взором у своих ног несколько континентов — и играть на пару с Келлерманом? Сжав зубы, он ходит из угла в угол по комнате, потом диктует послание правительству:

«Если вы будете создавать мне всевозможные препятствия, если станете ставить мои поступки в зависимость от мнения комиссаров, то больше от меня ничего хорошего не ждите. Здесь необходимо оказывать военачальнику полное доверие. Если я его не заслуживаю, то готов, не жалуясь, попытаться заслужить ваше уважение на любой другой должности. Каждый ведет войну по-своему. У генерала Келлермана больше опыта, и он сделает все лучше, чем я, но вместе мы наломаем дров. Я могу служить отчизне только при полном доверии ко мне. Чувствую, что многим рискую этим письмом: после него нет ничего легче, чем обвинить меня в неумеренном честолюбии и гордыне. Но я должен излить перед вами мои чувства... Я не могу служить вместе с человеком, который считает себя первым полководцем Европы. И вообще — один плохой генерал лучше, чем два хороших вместе. С войной дело обстоит так же, как с правлением: это вопрос такта».

По-видимому, этот военачальник вовсе не склонен перед кем-то посторониться. Если продолжать настаивать на делении функций, не станет ли он по собственной воле продвигаться дальше, в силу собственного таланта одержи-

вая все новые победы, а потом не повернет ли свою армию против Франции и не свергнет ли правительство? Так что лучше ни на чем не настаивать: письмо прочли, поулыбались и отступились. После этой первой бесшумной победы над правительством Бонапарт чувствует себя хозяином положения. С этого дня он действует, в сущности, как король и полководец в одном лице. Однако продолжает писать рапорты в Париж в тоне подчиненного. В действительности же он с этого момента поступает так, словно он уже на Востоке, во владениях султана, куда влечет его деспотический характер.

Но вот в Париж отправлен с курьером его первый отказ. Еще одна беспокойная ночь в лагере, и на завтра его армия входит в Милан.

Он во всем подражает римскому триумфатору: сначала появляются пленные, правда, не закованные в цепи, как в те древние времена, затем 500 всадников. Горожане, привыкшие к блестящим мундирам, удивляются: как нищенски они одеты, какие тощие у них клячи, какие изможденные лица! Удивлены они и видом низкорослого тощего человека на неприглядном белом коне, и утомленными лицами его свиты: какое все серое в сиянии весеннего дня! Однако когда у ворот города его с почетом встречают старик архиепископ, графы и герцоги, он не остается в седле, а спешивается и, не приближаясь к встречающим, выслушивает их с вежливо-холодным видом, предвещающим строгость и терпение. Все ждут, что скажет полководцу. Еще несколько секунд тонкие губы не разжимаются, потом он цедит одну-единственную фразу: «Франция благосклонна к Ломбардии», садится в седло, отдает честь и едет дальше.

Толпа и элита под сильным впечатлением: никто не испытывает восторга, все только удивлены. В этом победителе не заметно никакого высокомерия, только решительность и воля, которой придется подчиниться. Если это впечатление было им заранее рассчитано, если все это было разыграно, тем глубже его знание людей, тем надежнее свидетельство, что он владеет искусством управлять.

Однако сегодня душа Бонапарта не на месте, ему чего-то не хватает.

Улицы заполнены ликующими толпами, люди не в си-

лах сдержат эмоции, они смотрят с изумлением и любопытством на движущуюся за военачальником колонну в тысячу солдат, усталых, почти не соблюдающих строй, в мундирах с заплатами всех цветов, без походных палаток — у них вид хуже, чем у пленных.

Их командир отдыхает во дворце архиепископа, принимает ванну. Это его единственная роскошь, Бонапарт до самой смерти будет все упорнее соблюдать этот обычай, ванны будут все дольше и все горячее, он ни разу не изменит этой привычке — единственному способу дать отдых нервам. Вечером — прием. «Вы станете свободными и будете жить в большей безопасности, чем французы. Милан будет столицей этой новой республики, насчитывающей пять миллионов жителей. Вы получите 500 пушек и дружбу с Францией. Я отберу среди вас пятьдесят человек для управления этой республикой от имени Франции. Переймите наши законы и приведите их в соответствие с вашими обычаями... Будьте мудрыми и сплоченными: тогда все пойдет хорошо. Так я хочу. Если Габсбурги еще раз завладеют Ломбардией, я вам сегодня клянусь, что буду с вами, что я вас никогда не покину! Когда эта страна погибнет, меня уже не будет в живых. Спарта и Афины тоже когда-то кончились».

Со времен героев Плутарха никто из полководцев не говорил так. В этой первой тронной речи, произнесенной завоевателем, содержатся уже элементы тех речей и воззваний, которыми он будет воздействовать на умы Европы в течение двух десятилетий. Все просто, четко, уверенность так велика, что каждому хочется за ним следовать. Вы — вассалы, но свободные. Я ваш господин, но я вас защищаю. 500 пушек и дружба с Францией. Так я хочу. И все когда-то кончается.

Как шумно ликует богатый город в эту майскую ночь под фейерверк и музыку! У окна дворца Сербеллони стоит молодой генерал, банкет окончен, вступление в город, о котором он мечтал в юности, состоялось, первый миг чистой радости миновал. О чем он думает? О прошлом? О будущем? Что его тревожит?

— Как вы полагаете, — спрашивает он адъютанта, — что думают о нас в Париже? Довольны ли там? — И когда

Мармон отвечает общими фразами, Бонапарт бросает на него быстрый взгляд и продолжает: — И все-таки Париж еще ничего не видел! Будущее таит в себе куда более значительные победы. Фортуна не потому улыбнулась мне, что я ею пренебрегаю. Чем больше эта женщина льнет ко мне, тем больше я буду от нее требовать. Через несколько дней мы будем на реке Адже, тогда Италия будет лежать у наших ног. Может статься, что мы ее покинем, чтобы двинуться дальше. Наша эпоха не принесла никаких великих свершений. Я хочу дать ей пример.

IV

Княжеское ложе в этом же дворце: на таком роскошном он еще никогда в жизни не спал. Только слишком широкое для одного. Где Жозефина? Что значат без нее победы и завоеванные города, фейерверки и флаги! Почему она не приехала? Вправду ли больна? Или завела любовника? Почти всю ночь Бонапарт не спал.

«Ты скоро приедешь, не правда ли, — пишет он в одном из писем, отправляемых почти ежедневно, — ты должна быть со мной, у моего сердца, в моих объятиях! Скорее лети же, лети!» Он знает ее легкомыслие, постоянную готовность отдаваться новым впечатлениям, новым поклонникам. Но сейчас? Что может ей мешать? Он ждал ее, честолюбие гнало его сквозь гущу сражений, чтобы здесь, в одном из этих дворцов, дать ее чарам, ее капризам княжеское обрамление.

Однако именно из-за этих побед Жозефина и не хочет покидать Париж, тут его трезвый ум просчитался. Ей хочется после долгих лет, когда она была лишь дамой полусвета, наконец-то блистать в Париже на законном основании — она теперь супруга военачальника, о котором пишут все газеты и имя которого у всех на устах. Или этот коротышка вообразил, будто она пошла за него по любви? Она показывается народу в окне кареты, и какими овациями ее встречают — нет, здесь жизнь куда лучше, чем в чужих городах среди грубой солдатни. Жозефина почти не отвечает на его письма. Но Бонапарт становится все на-

стойчивее. И наконец пишет: «У тебя есть любовник, лет этак девятнадцати? Если это правда, берегись мести Отелло!» Она только смеется, и приятельница слышит ее восклицание: «Ну и смешон же этот Бонапарт!»

На другой день, посреди самых срочных дел, он пишет Карно: «Я в отчаянии, моя жена не едет. У нее наверняка есть любовник, он-то и удерживает ее в Париже. Проклинаю всех баб!» Но тут наконец приходит письмо. Теперь, когда опасности и грязь лагерной жизни больше не могут служить отговоркой, Жозефина находит другую причину: она ждет ребенка.

Это как молния: неужели все боги счастья объединились, чтобы его благословить? Только этого ему не хватало посреди всех успехов. Он напуган: правда ли это? И от него ли ребенок?

«Я был неправ! Я тебя обвиняю, а ты больна! Любовь лишила меня разума, прости, я вряд ли сумею вновь его обрести... Моя жизнь — сплошной сон без конца, смутные предчувствия теснят грудь, я бесконечно взволнован. Напиши мне десять страниц, только это сможет меня успокоить. Ты больна, ты меня любишь, ты в положении, а я тебя не вижу. Кто подле тебя? Гортензия? Я люблю эту очаровательную девушку в тысячу раз больше с тех пор, как знаю, что она опекает тебя... Дитя, столь же восхитительное, как ты, будет лежать в твоих объятьях! Ах, как бы мне хотелось видеть тебя хотя бы один день! Ты знаешь, что я бы не мог увидеть подле тебя твоего любовника и не разорвать его в тот же миг!»

Однако кто бы мог ей помочь? Дружбы в этом мире нет, существуют лишь кровные узы. «Я в отчаянии, — пишет Бонапарт в тот же день Жозефу, — моя жена больна, я не знаю, на каком я свете, страшные предчувствия терзают мне душу. Умоляю тебя, напиши мне! С детских лет мы с тобой связаны родством и симпатией, постарайся, сделай для нее то, что я от всей души сделал бы для тебя! Ты знаешь, как горячо я ее люблю, знаешь, что я еще никогда никого так не любил, что Жозефина — первая женщина, которую я боготворю. Ее состояние лишает меня разума... Но если она поправилась и может вынести дальнюю дорогу, пусть придет: я должен прижать ее к груди, я безумно люблю ее и не могу жить без нее. Если она меня разлюбила,

то мне незачем долее жить на этом свете. О, друг мой, не задерживай курьера в Париже дольше шести часов, пусть он привезет мне ответ, который вновь вдохнет в меня жизнь! Будь счастлив! Видно, надо мной висит проклятье — одерживать лишь внешние победы!»

В тот же день, когда написаны оба эти письма, он диктует: приказ Бертье занять итальянскую провинцию Александрию, рапорт Директории с просьбой срочно обеспечить армию всем необходимым, ультиматум сенату Генуи из-за убийства нескольких солдат, назначение Мюрата членом этого сената, предложение продать те пушки, что все еще находятся на Ривьере, приказ Массене изъять боеприпасы из арсенала Венеции, приказ Ланну не продвигаться вперед, приказ ссылать всех подозрительных в Тортону, приказ отправить одно подразделение в Тулон, донесение Келлерману о том, что деньги и войска уже в пути.

Его письмо достигает цели: Жозеф предлагает Жозефине ехать в Милан вместе с ним. А что еще оставалось делать? Она вздыхает, укладывает вещи, плачет на большом прощальном празднике в Люксембургском дворце и садится в карету. Впрочем, завтра — последний день июня, сезон все равно окончен, а компания для поездки подобралась весьма удачная. Правда, Жозеф, сидящий визави, ее тайный враг, зато Жюно — весьма миловидный малый, болонка Фортюн прелестна, а кроме того, этот молодой повеса Шарль, с которым она недавно познакомилась и который с тех пор от нее ни на шаг. Чего он хочет — сделать карьеру или завоевать ее сердце? Какое странное у него первое имя: Ипполит! Какая нарядная у него егерская форма, какие занятные рассказы, какая осведомленность в наимодеjších шаях и париках! А какие стройные ноги!

Вот и Милан. А Бонапарт уехал? Новые бои у Вероны? Ничего, ведь здесь так удивительно красиво! Премиленский дворец, и весь город норовит увидеть ее и поклониться... Вот только здесь нужно вести себя предельно осмотрительно, поскольку за ней следят во все глаза. Ах, Ипполит так ловок, он уж отыщет какую-нибудь тайную лестницу...

И вдруг все пришло в движение: докладывают, что главнокомандующий едет из Вероны. И два дня и две ночи на нее изливается лава этого вулкана.

V

Трижды германский кайзер пытался добиться, чтобы его главнокомандующий прорвал блокаду Мантуи, осажденной Бонапартом, ибо Мантуя — это ключевая позиция. Теперь старик Вурмзер с новой армией спускается с гор у озера Гарда, отбрасывает войска французов, и Бонапарт вынужден поначалу оставить Мантую, чтобы удержаться в открытом бою. Но противник за это время отрезает ему путь к Милану. Страшное поражение, величайшая опасность.

«С тех пор как мы расстались, — пишет Бонапарт вечером одного из этих дней, — я все время грущу. Счастлив я бываю только рядом с тобой, все время вспоминаю твои поцелуи, твои слезы, твою очаровательную ревность, и обаяние несравненной Жозефины вновь разжигает палящее пламя в моем сердце. Когда же я наконец смогу, освободившись от всех забот и дел, проводить все свое время с тобой, тогда у меня будет лишь одно занятие — любить тебя?.. С тех пор как мы познакомились, я с каждым днем чту тебя все больше и больше, что доказывает, насколько не прав был Ля Брюйер, утверждавший, что любовь приходит внезапно. В природе все имеет свой ход и свои степени возрастания... Будь менее красивой, менее нежной, в особенности менее ревливой: твои слезы заставляют мою кровь кипеть... Скорее приезжай, чтобы мы могли сказать, умирая: «У нас было так много счастливых дней!» Миллион поцелуев, даже противному Фортюну».

Избавиться от общества этой собачки генералу так и не удалось. Впервые он познакомился с ней, по его собственным словам, вечером после свадьбы в постели хозяйки «и был поставлен перед выбором — спать всем в одной постели или вообще не спать. Мне было противно, но я мог либо согласиться, либо отказаться. Я уступил. Фортюн, напротив, оказался менее ручным. На ноге у меня до сих пор сохранился след его зубов!»

В разгар военной сумятицы в Брешии вдруг появляется генеральша. Но, едва приехав, вынуждена вернуться в Милан, ибо чуть не попала в плен вместе с рекрутами и пушка-

ми. Отныне у нее на будущее есть весьма убедительная причина для отсутствия.

В эти недели Бонапарт впервые теряет мужество — правда, всего лишь в ночные часы, но все же... Вместо того чтобы приказывать, он созывает военный совет: генералы только диву даются. В этом критическом положении он хочет отвести войска за реку По, но бешеный Ожеро стучит кулаком по столу, вопит: «Не хочу терять твоей славы! Надо атаковать!» и выбегает из комнаты. Мнения остальных разделились. Бонапарт удаляется к себе.

Он сидит над картой, совсем один, в чьей-то комнате и должен принять решение. Мотыльки кружатся вокруг пламени свечей и в конце концов сгорают, на дворе душная летняя ночь, снаружи доносятся барабанная дробь и отдельные крики. Бонапарт думает: завтрашний день решит, удержим ли мы Ломбардию. Может, решит моя слава, может, моя судьба. Должен ли я ставить все на одну карту? А если у Вурмзера больше сил, чем доносят? Сейчас Жозефина спит в просторной кровати. Почему знать, может, она тихонько посмеивается, целуя одного из этих фатов-молокососов, которые ей так нравятся.

Бонапарт решает дать бой. На следующий день — победа при Кастильоне.

Вскоре после этого он пишет: «Три дня без твоих писем, я писал тебе ежедневно. Разлука невыносима, ночи длинные и скучны, а дни однообразны». В те же дни Жозефина пишет приятельнице в Париж: «Я так скучаю». Он — в боях и победах, она — в празднествах и лести, однако обоим жизнь кажется однообразной: ему — потому, что она слишком далеко, ей — потому, что он слишком близко. Три дня спустя: «Любовь моя, враг разбит, 18 000 пленных, остальные убиты или ранены. У Вурмзера остается только Мантуя. Никогда еще у нас не было таких успехов: Италия, Фриули, Тироль принадлежат нашей республике. Через несколько дней мы увидимся, это награда за труды и усилия. Тысяча пламенных поцелуев!»

Каждую передышку в боях Бонапарт использует как политик. В Модене он собирает депутатов всех североитальянских государств вплоть до Болоньи и на торжественном заседании знакомит их со своим планом создания в Север-

ной Италии единого государства — новой республики. Чувствует ли он себя счастливым в этой роли основателя государства? Жена в Милане наверняка в кого-то влюбилась, не то писала бы иначе.

«Твои письма холодны, — пишет он ей в тот же день, — словно написаны после пятидесяти лет в браке: дружелюбие и холодность. Это гадко и подло с твоей стороны! Что тебе еще сделать? Разлюбить меня? Это уже давно дело решенное. Возненавидеть меня? Хорошо. Это я даже приветствую. Все унижительно, кроме ненависти. Но равнодушие с сердцем из мрамора, с тусклым взглядом и вялой походкой? Тысяча поцелуев, нежных, как мое сердце!»

Новое обострение обстановки призывает его на север, Бонапарт приезжает, сражается, его атаки отбиты. В тяжелые недели ноября, когда опять все поставлено на карту, Жозефина не дарит ему ни лучика утешения. Наоборот, близкие друзья, от глаз которых в Милане ничто не может укрыться, осторожно намекают, что она развлекается там от души. В день после проигранной битвы под Кальдиеро: отчаянные призывы к Парижу прислать подкрепление.

Люди теряют бодрость духа, пристают с вопросами к главнокомандующему, в эти дни Бонапарт напряжен как никогда: ибо у Арколе опять все стягивается в один узел. Этот темп, это безумие отчаяния в тот же вечер гонят его перо по бумаге: «Я тебя больше не люблю, я тебя ненавижу! Ты уродлива, глупа, неуклюжа, ты мне не пишешь, не любишь своего мужа. Что Вы делаете целыми днями, мадам? Какое важное дело отнимает у Вас время, чтобы написать своему любимому? Кто тот сказочный возлюбленный, который занимает все Ваше время и мешает написать письмо мужу? Берегитесь, Жозефина: однажды ночью твоя дверь будет взломана, и я явлюсь! Я всерьез встревожен, милая подружка, напиши мне поскорее четыре страницы, полные приятных вещей, которые наполнят мое сердце радостью и счастьем. Надеюсь вскоре заключить тебя в свои объятия и покрыть тебя миллионом поцелуев, горячих, как воздух на экваторе!»

Как колотится его сердце, не зная, можно ли ей доверять, и страдая от того, что придется отказать ей в дове-

рии: кризис в душе и кризис на полях сражений, ответственность, сомнения, буря в душе человека, который сегодня, вероятно, будет обеспечен в своем доме, а завтра и на поле боя — а ведь он хочет повелевать миром. В эти дни Бонапарт отдает приказ солдатам: «Солдат должен побеждать боль и уныние духа».

Два дня спустя после того последнего письма он стоит у Арколе на мосту через реку Адидже, осыпаемом градом снарядов, французские войска откатываются, форсировать реку нельзя, наконец он голосом возвращает бегущих, но тут кто-то кричит: «Не идите дальше, генерал! Вас убьют, тогда мы пропали!» Мармон немного впереди. Когда он оборачивается, чтобы убедиться, что солдаты следуют за ним, то видит своего командира в объятиях адъютанта Мюро: очевидно, командир ранен. Все трое замирают на месте. Поскольку командование стоит, солдаты бегут назад, вниз по склону плотины. Бонапарт, придя в себя, падает в ров перед плотиной, его брат Людовик и Мармон вытаскивают его оттуда. Коня! Общая сумятица, пули свистят, Мюирон прикрывает Бонапарта своим телом и падает мертвым. Генерал успевает вскочить в седло и спастись.

В подавленном настроении сидит Бонапарт вечером в лагере. На другой день еще одна попытка: атака вновь отбита! Эта проклятая речка словно заколдована. На третий день дела идут лишь немного лучше.

И тут, буквально в последний час, Бонапарт прибегает к хитрости. Покуда бой у реки идет с переменным успехом, он посылает барабанщиков и трубачей вместе с частью гвардии обойти противника по большой дуге. И когда в тылу австрийцев вдруг раздается страшный грохот, паника охватывает души усталых воинов, одна дивизия начинает отступать, и французы, ободренные замешательством в стане противника, быстро обращают в бегство всех остальных. Новая победа родилась из отчаяния и мужества. Вновь название одной деревушки попадает в книгу легенд: в Париже начинают чеканить монеты со словом «Арколь», а позже будут писать картины для современников и потомков, на которых полководец изображен на мосту со знаменем, которого он и в руках не держал.

На этот раз удалось избежать опасности, осада Мантуи

прорвана, вскоре город будет взят: теперь полководец перестраивает свое войско, спешит в Милан. Наконец-то он сможет управлять страной из столицы, наконец-то сможет увидеть Жозефину и ее удержать.

Однако Жозефину найти труднее, чем войска Вурмзера. «Приезжаю в Милан, бросаюсь к твоему дому — ведь я бросил все дела, чтобы тебя обнять, — а тебя и след простыл! Ты раскатываешь по разным городам и веселишься, убегаешь от меня, когда я приезжаю, и совершенно не думаешь о своем Наполеоне. Ты полюбила меня по капризу, под настроение, а теперь ты колеблешься и уже не скрываешь своего равнодушия. Привыкнув к опасностям, я знаю средство против злых ударов судьбы... Продолжай в том же духе, развлекайся, ты рождена для счастья, ведь все счастливы, если им удается тебе понравиться, только твой муж очень несчастлив».

На следующее утро: «Счастье или несчастье человека, которого ты не любишь, пусть тебя не интересует. Но мне судьбой предназначено тебя любить... Можешь не проявлять сочувствия к несчастному человеку, который живет лишь тобой. Было бы несправедливо требовать от тебя любви, равной моей: зачем требовать, чтобы тонкие кружева весили столько же, сколько золото! Это моя вина, раз природа не дала мне качеств, которые могли бы тебя очаровать. И заслуживаю я лишь немного внимания Жозефины и ее уважения, ибо я люблю ее, и только ее одну, до безумия. Прощай, моя женушка, достойная всяческого поклонения... Если она меня и вправду больше не любит, я запрю свою боль на замок и удовольствуюсь тем, что буду стараться быть ей полезным чем только смогу... Еще раз вскрываю письмо, чтобы тебя поцеловать. Ах, Жозефина! Жозефина!»

Какое признание! Со всем пылом любви и ревности он несется к цели, да только цель-то ускользнула. Что делать? Сдержанность — первая реакция на неудачу, не проклинать и неистовствовать, а держаться с достоинством и советоваться с рассудком. Слегка насмешливый тон, приправленный галантностью, должен на нее подействовать. На следующий день раздумывает: я должен ее заполучить. Чем приманить? Восхваление подвигов не произведет на

нее ни малейшего впечатления. Что ей нравится? Лесть и прислужничество. Так думает Бонапарт — и ошибается, ибо он, обращающийся с королями словно их господин, не видит, что очаровательная Жозефина не будет боготворить своего господина, даже побаиваясь его, и что уверенность ей придаст только его признание в страстной любви.

Эта ошибка великого знатока человеческой природы проистекает из его гордости. Ее он пронесет с собой на край земли, она же приведет его в конце к самой большой ошибке. Сейчас гордость мешает Бонапарту завуалировать страсть, с которой он не может совладать, потому что не хочет. Однако после всех продуманных слов — мол, мечтает быть ей полезным — все же прорывается наружу глупое человеческое сердце, и, словно зеленый юнец, он вскрывает уже запечатанное письмо и пишет: «чтобы тебя поцеловать».

VI

А что говорит Париж?

Париж счастлив, потому что после долгих лет наконец вновь обрел героя. Портреты Бонапарта в витринах магазинов, в стихах его сравнивают с античными завоевателями, его имя на устах у актеров, его знамена во дворе Люксембургского дворца, его рапорты, отредактированные директорами, печатаются в «Мониторе», песни, монеты, даже карикатура, привезенная из Англии, поднимают настроение Бульваров.

Он это знает. Знает также, что столь быстро возросшая популярность в народе заставляет дрожать от страха господ директоров, ибо им он уже давно не подчиняется. Этот человек допобеждается до нашей гибели, думают директора и начинают шушукаться. Да, народная армия, видно, необходима, однако и смертельно опасна, если ее офицеры не будут целиком в руках правительства. Разве вот уже семь лет не грозила гильотина любому генералу, пытавшемуся проводить собственную политику? Кто не подчиняется нашим приказам и пренебрегает мнением наших комиссаров, должен уйти, будь он даже Бонапартом. Саличетти слишком

ему предан, он тоже корсиканец, а кроме того, совесть у него нечиста — ведь он его однажды предал. Пошлем лучше кого-нибудь другого, например Кларка, он умен и честолюбив!

Эlegantный и надменный генерал Кларк думает по дороге в Милан, что наверняка справится с этим Бонапартом. Неужто нельзя обольстить и сделать карманным этого неказистого офицеришку в потертom мундире, которого он частенько встречал у Барраса, этого невоспитанного провинциала? А потом, в Сербеллони, Кларк весьма изумлен при виде полководца. Вырасти он, конечно, не вырос, но зато как входит, как ступает, как все вокруг замирают в ожидании, как расступаются при его появлении! Он кажется скорее властелином, чем рубакой. Комиссар встречает вполне любезный прием: да только не он выпытывает у Бонапарта его тайные замыслы, чтобы сообщить о них в Париж, а Бонапарт уже через два дня знает все тайные планы директоров, которые Кларку полагалось утаить. Кларк просто отступил перед более сильным интеллектом: этому человеку принадлежит будущее, решил он и перешел на сторону Бонапарта. А тот удостоверился в правильности своих подозрений: директора в Париже рассматривают его завоевания лишь как объект для торга при заключении мира с Германией, они вовсе не хотят сохранить за собой Италию, тем более — ее революционизировать. Теперь он это точно знает. Поэтому подготовит все, чтобы перечеркнуть их план...

Но куда они ему еще нужны. «Подкрепления! Подкрепления! Но прошу понимать эту просьбу всерьез: мне нужны солдаты не на бумаге, а под ружьем... Мои лучшие воины изранены, все штабные офицеры и генералы небоеспособны. Новые пополнения недисциплинированны и не уверены в себе. Армия растаяла и превратилась в горстку изможденных людей. Здесь, в глубине Италии, мы забыты и покинуты... Те храбрецы, что еще остались, при столь малой численности войск безотказно пойдут навстречу смерти. Вероятно, скоро пробьет час смельчака Ожеро, бесстрашного Массены, Бертье и мой час. Что станет тогда с моими славными солдатами? Эта мысль заставляет меня быть осторожным: я больше не рискую играть со смертью,

она лишила бы мужества тех, кто составляет предмет моих забот».

Ну разве не умно для начала?

Но он еще умнее. У него есть в запасе и другие средства: не угрожать гибелью армии, а подкупать дарами. Почти каждый месяц Бонапарт посылает обедневшему правительству, сидящему на куче обесцененных бумажных денег, чистое золото, собранное им во время перемирия у князей и республик Италии. Это первый полководец, не требующий денег, а отсылающий их родному правительству. И кроме того — небольшие подачки самим директорам: «Посылаю сто самых лучших лошадей, каких только смог найти, дабы заменить ими тех неказистых лошаденок, что впрягают в ваши кареты».

А когда ему пишут, что войска из южных провинций, которые он требует, нужны для несения внутренней службы, Бонапарт возражает: «Лучше пусть уличные драки случаются в Лионе, а мы сохраним за собой Италию, чем наоборот». А когда напоминают, чтобы он предоставил всю дипломатическую деятельность комиссарам, Бонапарт отвечает: «Для таких вещей нужен просто один-единственный генерал, но никто и ничто не должно мешать его действиям... Мое наступление так же четко, как ход моих мыслей... Имея слабую армию, мы должны делать все: сдерживать германское войско, осаждать крепости, охранять тылы, угрожать Генуе, Венеции, Тоскане, Риму и Неаполю и везде должны иметь превосходство в силе. Но для этого требуется полное единство военного, политического и финансового руководства... Всегда, когда командующий не является всеобщим центром, вы подвергаете себя опасностям. Надеюсь, что эти мои слова вы не станете приписывать моему честолюбию. К сожалению, я и так чересчур засыпан почестями, а здоровье мое подорвано до такой степени, что мне, вероятно, придется просить вас о преемнике. Я уже не могу даже сесть на лошадь, все, что у меня еще осталось, — это присутствие духа... Я продолжаю переговоры. Шлите подкрепления! Подкрепления! Если хотите сохранить за собой Италию. Бонапарт».

Чем популярнее он становится, тем чаще просит об от-

ставке, а сам здоров как бык и с утра до вечера носится в седле, так что лошадь валится с ног от усталости. Беда, если адвокатишки в Париже выполняют эту просьбу! Укрепляя власть Франции в Италии, он усиливает свою собственную власть в Париже: это его новая идея. Хотя Бонапарт вовсе не желает свободы народам и не считает Италию созревшей для свободы, он добивается создания Цизальпинской республики против воли господ французских правителей, среди которых только Карно симпатизирует идее свободы.

Бонапарт впервые строит из центробежных сил некий государственный организм. Впоследствии его целью будет создание Объединенной Европы. А пока он объединяет поддюжины маленьких североитальянских государств, диктует им конституцию, назначает и смещает чиновников: то есть поступает как диктатор, но все основные положения ясны и понятны, а детали поддаются толкованию. В блестяще составленных манифестах он возвещает наступление новой свободы, хотя они ее или нет. И тут же требует за нее плату наличными:

«Французская республика, давшая клятву ненависти к тиранам, обещала братство всем народам. Этот принцип Конституции действует и во французской армии. Деспот, так долго угнетавший Ломбардию, причинил большой вред Франции... Победившая армия заносчивого монарха должна была наводить ужас на побежденный народ. А республиканская армия, вынужденная воевать с вашими врагами, королями, не на жизнь, а на смерть, обещает дружбу народам, которым она принесла свободу. Уважение к собственности, человеческому достоинству и религии — вот что ее воодушевляет. Но поэтому и жители Ломбардии должны ответить нам взаимностью... Ломбардия должна поддерживать нас всеми средствами. Нам нужен провиант, который мы не можем получить из Франции из-за дальности расстояния. По законам войны он нам полагается, по законам дружбы следует с этим поторопиться. 20 миллионов франков возложены на провинции, нам эти деньги очень нужны. Для таких богатых провинций это сущий пустяк».

Потом Бонапарт просто берет все, что ему нужно, из

налогов, складов, арсеналов, государственных имений. При каждом перемирии он требует денег, мулов и картин. Картины и статуи, понимает он, хоть и не поднимут курс французских денег, зато поднимут чувство собственного достоинства у парижан, а ему сейчас необходимо общественное мнение. В период крайнего денежного дефицита Бонапарт присылает в Лувр больше драгоценных вещей, чем какой-нибудь король в зените славы.

Однако так же беспощадно, как он отбирает деньги у итальянцев, поступает Бонапарт и с французами, которые бесчестно их тратят. «Армия потребляет в пять раз больше, чем ей на самом деле нужно, — пишет он в первое время, — потому что интенданты выписывают жульнические квитанции... Роскошь, распутство и растраты достигли чудовищных размеров. Существует лишь один путь: создавать комитеты из трех лиц, полномочные в течение трех — пяти дней расстреливать каждого проворовавшего интенданта». Когда оказалось, что сенные рационы были неправильно взвешены, он пишет: «Чрезвычайно важно, чтобы ни один из этих подлецов не ускользнул от кары. Хватит армии и стране быть жертвами алчности!» Число таких документов, направленных только на борьбу с воровством и хищениями, огромно.

Потом, когда в лагере появилась какая-то шлюха, Бонапарт пишет приказ: «Если через 24 часа после зачтения этого приказа в армии будут обнаружены женщины, не имеющие соответствующего разрешения, их следует вымазать черной краской и выставить на два часа на всеобщее обозрение».

Напротив, его строгая нравственность становится человеческой, когда речь заходит об искоренении варварских обычаев, все еще существующих на войне: «Немедленно пресечь позорнейший обычай избивать людей, чтобы вырвать у них какие-то военные тайны. Допрос с применением пыток приводит только к тому, что несчастные говорят то, что нам хочется услышать. Я запрещаю применять методы, не признающие человечность и разум».

VII

В роли дипломата Бонапарт усиливает все обычные уловки дипломатии — лесть и угрозы, ложь и искренность. Иногда он изображает грубого, прямолинейного солдата. Наиболее умно он ведет свою игру с Ватиканом.

Как истинные революционеры, директора хотят разрушить это церковное государство, резиденцию разоблаченной ими религии. Позолоченный богатствами Ватикан привлекает их больше, чем все приграничные государства, создаваемые Бонапартом. Поэтому они требуют от него идти на Рим. Теперь он близко, этот город, с которым его фантазия с детских лет привыкла связывать власть, величие, славу. Теперь он сам может, как Цезарь, срывать лавры с Капитолия, ибо главных его защитников ему ничего не стоит опрокинуть.

Тем не менее Бонапарт этого не делает. В Папе он видит единственного владыку, которого нельзя лишить власти с помощью пушек. Бонапарт знает моральную силу мученического ореола и полон решимости именно против Папы не вести военных действий или вести лишь для виду. «Влияние Рима непредсказуемо, порвать с его властью — большая ошибка, Рим сумеет извлечь из нее пользу».

Затем он двигается на юг, переходя — в буквальном смысле — Рубикон, но именно здесь и останавливается. И именно Бонапарт предлагает перемирие, потому что он сильнее: это и в будущем будет его тактикой. Древний старец Папа Пий VI соглашается, потому что у Бонапарта хватило ума оставить открытыми все церковные вопросы. Папа обещает заплатить Франции несколько миллионов, отдать сто картин, а также вазы и статуи по выбору специальной комиссии. Только две скульптуры генерал называет сам: бюсты Юниуса и Марка Брутов из Капитолия. Истинный римлянин этот корсиканец: Рубикон перешел, Рим пощадил и в него не вошел, но потребовал два бюста в качестве контрибуции — обоих Брутов.

Но потом, когда Папа не дает денег и вообще создает трудности, он во второй раз двинется к Риму, но не войдет в город. Небольшой стычки достаточно, чтобы добиться

мира, а Бонапарту войска вскоре вновь понадобятся на севере, кроме того, Папа, вынужденный спасаться бегством, наверняка прихватил бы с собой все сокровища — а что пошлешь тогда бедным директорам в Париж? Теперь он своей властью даже прощает французских католических священников, отказавшихся присягнуть на верность революции и нашедших прибежище в Риме, повсюду старается сблизиться с религиозными деятелями, сравнивает гражданина архиепископа с апостолом и подчеркивает во многих посланиях к высшим церковным сановникам: «Учение Евангелия основано на равенстве, поэтому оно наиболее приемлемо для любой республики».

Что скажет на это Париж, отменивший Христа!

В конце концов Бонапарт шлет к Папе, уже готовому спастись бегством, гонца с посланием, в котором убеждает того не испытывать перед ним страха и, намекая, как Папа Лев I откупился когда-то от Аттилы, подступившего к Риму с войском, говорит: «Скажите Святому Отцу, что Бонапарт — не Аттила, а если бы и был, то пусть Святой Отец вспомнит, что сам он — преемник Льва»

Но когда папский нунций все же медлит с подписанием мира, образованный светский господин внезапно оборачивается грубым солдатом, рвет в клочки проект договора и бросает в пламя камина. «Речь идет не о мире, монсеньер, а всего лишь о перемирии». Те в испуге, он требует вдвое больше и на этот раз добивается своего. Папа же шлет «дорогому своему сыну» письмо с благословением.

Бонапарт никогда не окружал себя тайной, как это делали все дипломаты того времени. Час спустя после первого перемирия он за трапезой совершенно свободно обсуждает прошедшие военные действия с побежденными им пьемонтцами как бы уже с точки зрения истории: «Моя атака на замок Коссария была бессмысленной. Напротив, ваше перемещение семнадцатого числа было правильным».

В конце второго похода он обнаруживает истинное мастерство, демонстрируя чувство собственного достоинства и умеренность. Только что, в начале марта, он покинул пределы Ломбардии и уже в конце того же месяца оказывается в австрийской провинции Штирии, в нескольких дневных переходах от Вены. Если бы и Рейнская армия

французов добилась таких же побед, они могли бы диктовать условия мира кайзеру Францу. Однако Бонапарт именно теперь останавливается и опять предлагает мир побежденному. Правда, Рейнская армия стоит где стояла, а Австрия и Венгрия лихорадочно вооружаются. Придется нависнуть над ними и ждать: такова логика завоевателя.

Но Бонапарт еще и политик. Перед новыми выборами директорам нужен мир, а ему пока еще нужны директора. А что, если бы он сам, без посторонней помощи, принес Франции мир, которого она ждет уже пять лет? Зачем ему делить славу со своими конкурентами на Рейне? Военное счастье изменчиво. Лишь отчаянные смельчаки решаются испытывать судьбу без особой на то нужды. Он опять повалил противника, будучи далеко от Рейнской армии. Вот уже год Европа замирает от страха перед новым военным гением. Так что теперь он вполне может позволить себе миролюбивый жест, чтобы Европа научилась чтить нового государственного деятеля. Без придворных любезностей, как равный равному Бонапарт пишет разбитому им военачальнику, брату германского кайзера:

«Господин верховный главнокомандующий! Наши храбрые солдаты ведут войну, а хотят мира. Разве эта война не тянется уже шесть лет? Разве мы не уничтожили уже достаточно людей и не причинили достаточно страданий оплакивающему их человечеству? Повсюду люди поднимаются с колен, все сложили оружие перед Францией, лишь одна Ваша страна продолжает войну. Этому новому походу предшествуют зловещие приметы. Чем бы он ни кончился, каждый из нас унесет жизни нескольких тысяч людей противника, а в конце концов все равно будет заключен мир, ибо все когда-нибудь кончается, даже самая жгучая ненависть! Вы, по праву рождения стоящий так близко к трону и потому не опускающийся до мелких интриг чиновников и правительств, не испытываете ли желания заслужить титул благодетеля человечества, спасителя Германии? Я нахожу вполне вероятным, что Вы спасете свою страну и силой оружия. Но и в этом случае Германия будет опустошена. Если эти строки спасут жизнь одного-единственного человека, я больше гордился бы мирной короной, чем печальной славой сражений».

Это письмо западает прямо в душу эрцгерцога. Высокообразованный аристократ, заклятый враг всяких войн и занимающий свой пост только из чувства долга, с таким письмом в руках он сможет переубедить военную партию в Вене и самого кайзера. А что произойдет, если они откажутся? Бонапарт наверняка опубликует оба письма и сможет вновь восхвалять перед всей Европой гуманные идеалы республики, направленные против германских феодалов — сторонников войны. Тогда он начнет жечь и палить и сможет ссылаться на наше упрямство. Часть своих войск он уже послал вслед письму, город Леобен уже в его руках.

Прибывают посланники кайзера. До самой нижней ступеньки лестницы спускается им навстречу генерал, говорит о кайзере и эрцгерцоге с большим почтением, но когда они просят в ответ на его требования гарантировать им десять дней перемирия — а Вена за эти дни продолжала бы вооружаться, — он приглашает их к столу. После ужина он соглашается на пять.

Пока противник в Вене успокаивается, в Париже начинают волноваться директора. Что, этот генерал вознамерился единолично подготовить Большой Мир? Тогда стоит ему появиться в Париже, и он одной рукой смахнет нас со сцены. В вежливых выражениях они просят его дожидаться их посланца, уже выехавшего в лагерь. Бонапарт в ответ еще сильнее торопит партнера по переговорам. Он знает, что о нем сообщают в Париже, и посылает директорам послание, похожее на удар кнутом: «Я сам хочу покоя. Я оправдал ваше доверие, ставил свою жизнь на карту, покрыл себя славой больше, чем нужно для счастья, сейчас наступаю на Вену, оставив плодороднейшие долины Италии за собой, как уже было однажды, дабы добыть хлеб для армии, которую республика уже не может прокормить. Напрасно клеветники стараются приписать мне подлые намерения: моя гражданская карьера будет такой же простой и неповторимой, как военная».

Ирония, прячась за которой пишуший преследует не названные цели.

«Бесконечные переговоры! Зачем? Вы оставляете нам Бельгию и Ломбардию, а позже, в Германии, компенсируете тамошним князьям отобранную у них собственность!»

С этим принципом Габсбург соглашается, ибо ни ему, ни кому-либо из немецких князей уже не дорога Германская империя. Она насквозь прогнила, только стонет и жалуется и скоро, совсем одряхлев, ляжет в могилу. Таким образом, Франция причастна к делам и по другую сторону Рейна. Неясно только, как компенсировать самому Габсбургу потерянную им Ломбардию.

Тут как нельзя более кстати поступают донесения о том, что в Венеции бунтуют и убивают французских солдат. Наконец-то можно встать в позу мстителя. Да, Венеция тоже одряхлела и стоит того, чтобы ее похоронить. «Со времени открытия мыса Доброй Надежды и расцвета Триеста и Анконы Венеция катится под гору, — пишет Бонапарт директорам для успокоения их совести, то есть для передачи в прессу. — Вряд ли она вынесет такой удар. Это нищее, трусливое, не рожденное для свободы население без суши и побережья мы должны будем, естественно, предоставить тем, кто получит окружающие город земли. Но до этого мы заберем у них корабли, очистим арсенал, увезем пушки, закроем банк. Остров Корфу и Анкону мы тоже сохраним за собой». Лишь такая обобранная до нитки Венеция должна достаться Габсбургу.

А со старцами, членами нескольких семейств — потомками сильных личностей, которые веками правили Венецией и превратили ее в самое реакционное из государств, Бонапарт учиняет короткую расправу: «Вы науськивали на нас крестьян, — из Тироля пишет он во время переговоров дожу, — у вас на каждом углу вопят: смерть французам! Сотни солдат уже пали там жертвой. Не отрицайте: это вы разожгли эти мятежи! Вы что, думаете, в тот момент, когда я стою лагерем в центре Германии, я не сумею добиться уважения к первому народу мира? Кровь моих соратников будет отмщена! Война или мир! Если вы немедленно не выдадите мне зачинщиков, я объявлю вам войну».

Вот каков его тон, когда он хочет запутать горстку дряхлых патрициев. И когда потом посланцы сената появляются в его лагере, он изображает благородный гнев и набрасывается на них с криком: «Не хочу больше ни конституции, ни сената! Для Венеции я буду вторым Аттилой! Не желаю больше слышать никаких предложений! Я сам на-

пишу вам законы!» Позже, при передаче города, девяностолетний дож падает замертво. Это последний дож Венеции. Бонапарт до конца жизни помнил эту сцену.

Ну что, покончил он наконец с Италией? Получил все, что хотел, добрался до цели?

Такой цели нет и быть не может, ибо каждый новый шаг открывает новые перспективы. Венеция — всего лишь трамплин для прыжка в море. Его давно привлекают острова Адриатики, и теперь она вся перед ним как на ладони. Но мысленно он плывет уже дальше. Еще в Анконе Бонапарт стоял на берегу и смотрел вдаль: вон там — Ионические острова, там — Турция... Он писал: «За сутки отсюда можно добраться до Македонии: бесценная точка для нашего влияния на судьбу Турецкой империи». Разве он не мечтал туда скрыться, еще будучи бригадиром генерального штаба? В Анконе он через агентов наладил связи с могущественными пашами в Янине, Скутари, Боснии.

Теперь, в Леобене, Бонапарт закрепляет за собой острова Венеции, оккупирует острова Корфу и Занте, «чтобы получить власть одновременно над Адриатикой и Востоком. Турецкую империю больше никто не сможет сохранить, мы еще увидим ее закат. Оккупация Ионических островов предоставляет нам выбор — поддержать Турцию или оторвать от нее кусок».

С точки зрения реальной политики все это направлено против Англии, ибо Франция давно горела желанием создать опорные пункты в Средиземноморье и тем самым отрезать Англию от Индии. Но у Бонапарта эти идеи впервые приобретают движущую силу собственных целей: он не потому хочет завоевать Восток, чтобы нанести удар по Англии — смертельному врагу Франции. Наоборот, он ищет средства борьбы с Англией, чтобы выйти на Восток. Поскольку у него воображение всегда обгоняет поступки, Европа, от которой он покуда отхватил лишь краешек, начинает казаться ему тесной. Он говорит Бурьену:

«Только на Востоке существовали истинно великие империи и происходили могучие перевороты — там живут 600 миллионов! Европа — просто кротовая нора».

VIII

В высоком сводчатом зале на длинной, обитой зеленым шелком кушетке между двумя зрелыми женщинами сидит шестнадцатилетний поручик, избалованный и льстивый, как паж. Одна из женщин — его мать, но судя по тому, как ее смеющийся, кокетливый взгляд скользит по лицам элегантных офицеров, стоящих подле, кажется, что она и себе, и другим напоминает скорее о том часе, когда этот мальчик был зачат, и без слов добавляет, что креолки смыслят в этих делах лучше всех прочих. Знаток этих дел слывет и красавец генерал, стоящий за ее спиной, дабы иметь возможность заглянуть еще глубже в декольте, чем это позволяют мода и тщеславие. Это Массена, мастер атаки, слишком неистовый и слишком необразованный, чтобы прощитывать свои действия, но в минуты опасности он словно спасительный маяк для войска. Поэтому ему постоянно нужны несколько женщин, которых он вечно таскает за собой, а также деньги, так что он крадет их везде, где только может.

Все, чего ему не хватает, имеется в изобилии у низенького человечка с большой головой, развлекающего разговором дам: он уродлив, жесты его умилительно размашисты, а в данный момент он вообще опьянен симпатией, проявленной к нему хорошенькой барышней из семейства Висконти, которой он добился неизвестно чем. Это Бертье, начальник генерального штаба, безудержно деятельный, великий умелец читать карты, один из немногих, всерьез изучавших военные науки.

Разряженный, словно для сцены, весь в зеленом бархате, в руке огромная шляпа с пером — Мюрат, родившийся в рабочей семье, как и большинство мужчин в этом удивительном штабе. Он почти не участвует в разговоре и раздражается громовым хохотом, когда Ожеро — порочный, алчный и расточительный крестьянский сын — рассказывает ему какую-то скабресную шутку. И он, которому не нравятся ни пушки, ни аристократы, вдруг мучительно теряется, когда генеральша Бонапарт кричит ему чуть ли не через весь зал: она тоже хочет услышать эту шутку.

Однако Жозеф, знаток жизни, делает знак Мюрату, от невоспитанности которого он ждет чего угодно, ради Бога молчать, ибо Элиза, его сестра, сидит в нише у окна, а поскольку она не так привлекательна, как остальные дамы, и вынуждена скучать в обществе собственного мужа, то зорко следит за всеми любовными шашнями и наверняка тут же расскажет обо всем матушке Летиции, которой непристойное поведение Жозефины и без того ненавистно.

Тут из парка доносятся смех и веселые выкрики: это писклявый голосок Полины. В последние дни перед свадьбой с генералом, которого определил ей в мужья брат, она жадно отдается радостям жизни, и если, как сейчас, может играть в жмурки с Ипполитом, то радуется вдвойне, так как знает, что Жозефина злится.

По галерее медленно поднимается командующий. Два часа краду он продержал на ногах парижского поэта Арно, прохаживаясь из угла в угол по кабинету. Он знает, почему выбрал именно его: на его вопросы об армии и сражениях он ответил длинным перечислением своих заслуг, которые тот не замедлит предать гласности. Но теперь он завел речь о длительном кризисе правительства и, входя в зал, тихо, однако достаточно внятно, чтобы поэт запомнил, завершает эту тему фразой: «Сомневаюсь, что им еще удастся спастись, не укрывшись под крылом кого-то одного, одного-единственного человека. Но где этот человек?»

Когда Бонапарт входит в зал, офицеры встают, разговоры прекращаются, присутствующие выжидательно смотрят на двадцатисемилетнего генерала, которого почти все они превосходят возрастом и все поголовно — ростом. Только паж продолжает сидеть на кушетке: Эжен знает, что его покровительница — неограниченная хозяйка в этом доме.

Ибо мы находимся в Монтебелло, громадном замке под Миланом, где Бонапарт проводит всю весну и лето, занимаясь почти исключительно государственными делами, поскольку войну он закончил перемирием в Леобене, не хватало только настоящего договора о мире. Он мог бы находиться в Париже, наслаждаться там теми почестями, о которых мечтал в юности, однако остался здесь. Только когда последствия его побед отольются в бронзовые фор-

мы, а государства консолидируются, только тогда он закончит дела в Италии и приедет в Париж. А покуда он сидит здесь почти полгода, причем жизнь в замке мало напоминает обстановку военного штаба, скорее уж придворный стиль небольшого монарха.

Однако сам Бонапарт ничем не похож на выскочку: не претендует на то, чего у него нет, во всем хочет казаться тем, кто он есть: сыном революции, провозгласившей равенство. Уж если он возвысил людей из народа до высших постов в своей армии, то ему не страшны косые взгляды герцогов и принцев, когда кто-нибудь из его храбрых генералов в салоне вдруг брякнет какую-то сальность. Не находит он нужным также скрывать свое низкое происхождение, хотя смена родины, казалось бы, должна была на это натолкнуть. Напротив, генерал наглядно демонстрирует его всем: еще в прошлом году он пригласил в Милан все свое семейство, а теперь широким восточным жестом опередил родственников на жительство в замке, где им выказывают почтение все, явившиеся искать его милости. А это половина Италии, ибо его имя уже приобретает мистическую силу избранничества, и наряду с теми, кто жаждет поживиться его счастьем, приезжают издалека просто частные лица, чтобы поделиться с этим мудрым человеком своими трудностями в семье и в делах, и таким людям Бонапарт охотно дает советы.

Лишь с большим трудом согласилась его гордая и высоко нравственная матушка подать руку Жозефине, репутацию которой не одобряла, и хотя Бонапарт все простил любимой женщине и ни в чем не может ей отказать, он все же заставляет ее примириться с присутствием матери и оказывать ей знаки внимания. Но теперь мать зла на нее еще больше, чем вначале: эта креолка говорит любезности любому и каждому, каждую даму целует, вместо того чтобы рожать детей. Ее бесплодие — так ощущает это корсиканка, родившая тринадцать детей, — бесчестит сына и всю его семью. Разве не читает она в глазах некоторых недоброжелателей довольство и насмешку из-за того, что великий человек не может зачать ребенка? Но древняя кровь, текущая в ее жилах, говорит Летиции, что вина не на сыне, а на этой потаскухе.

Увидев Бонапарта впервые после всех битв и побед, она обняла сына и сказала:

— Но ты еще больше отошал! Так и помереть недолго!

— Мне кажется, я, наоборот, жив!

— Да, для потомков — а теперь!

— Ну разве это смерть?

Уезжая, он говорит ей: «Последите за своим здоровьем, матушка. А то, если вы умрете, мне некого будет уважать». Видимо, его родственные чувства так же велики, как и его безродная самоуверенность.

Три сестры и три брата вкуче с дядюшкой Фешем живут в Монтебелло своей жизнью. Очаровательная шестнадцатилетняя Полина злится на Жозефину, потому что та, по воле Наполеона, расстроила ее брак по любви. Теперь ей предстоит выйти за генерала Леклерка, и, когда их венчают в замковой часовне, хозяин замка заставляет и свою старшую сестру поторопиться с венчанием в церкви: настолько ему важна хорошая репутация в Ватикане. После празднеств мать, которой чужда вся эта суета, уезжает на Корсику.

«Этот остров, эта провинция», как теперь называет Корсику Бонапарт, словно это какой-то чужой ему остров. А ведь в свое время он посреди похода, находясь вдалеке, позаботился выгнать англичан, занявших остров, когда Паоли позвал их на помощь. Он послал два десятка людей с большим количеством денег и оружия, они высадились на берег под покровом тумана и ночи, «чтобы подбодрить патриотов», разбросать листовки, дать возможность выступить Саличетти, и таким манером добился того, чего в прошлом трижды не мог добиться личным участием.

«Неужто минуло только четыре года?» — думает синьора Летиция, когда народ, объявивший ее клан вне закона, теперь встречает ее ликованием. А это та самая крепость, которой Наполеон был предан умом и сердцем? Теперь по его приказу муж Элизы становится ее комендантом, а Люсьен уже давно интендант этих частей. Самому же Бонапарту остров издали кажется чем-то вроде родового замка — немного романтического и несовременного, — где можно поселить родственников. Недавно он с улыбкой прочел собственноручное письмо претендента на трон

Бурбонов, который предлагал ему герцогский титул или даже «наследственное вицецарство на Корсике», если генерал перейдет на его сторону.

В Монтебелло Бонапарт впервые разделяет две формы правления, чему урожденные владельцы князья учатся с детства.

Замок он поручает охранять — что само по себе достаточно удивительно — не французам, а 300 польским легионерам, служащим под его началом. Одновременно он, в бою не раз подвергавшийся опасности попасть в плен, создает лейб-гвардию из 40 самых рослых и храбрых солдат, именуемых гидами и возглавляемых отчаянным смельчаком.

В замке его окружает заградительный вал из связанных и курьеров, ибо отовсюду едут и едут посланцы. Лев с площади Святого Марка и ключи Петра сверкают на чужих эполетах, Вена, Ливорно, Генуя тоже пытаются вмешаться. Тогда Бонапарт устраивает парадный и — по обычаю этих стран — открытый для светского общества обед и разрешает пускать на галерею любопытствующих зевак в расчете на то, что они дома всем расскажут: победитель, как и они, пьет местное вино «Нострано».

Кто наблюдает его манеру общаться с деловыми партнерами — об этом свидетельствуют все источники — удивляются, как этот двадцатисемилетний вояка никогда не теряется, всегда держится с достоинством и в то же время естественно и, одеваясь более чем скромно, умеет заставить любого соблюдать дистанцию. Бонапарт ниже ростом почти каждого, кого принимает: тем не менее никто не видел, чтобы он пытался вытянуться, дабы казаться повыше. Скорее каждый, говоря с ним, слегка наклоняется вперед и уже этим небольшим поклоном заранее становится в позу просящего. Так он теперь — да и всю дальнейшую жизнь — извлекал из врожденного недостатка выгоду. «Если этому человеку, — писал в те дни один из посетителей, — не посчастливится пасть смертью храбрых на поле боя, то через четыре года он будет либо прозябать в ссылке, либо восседать на троне». Писавший это ошибся всего на три года.

Способный ученик своей эпохи, знающий, как создают-

ся репутации, Бонапарт приблизил к себе одного ловкого журналиста — первого пресс-атташе в истории, — дабы склонить общественное мнение Парижа в свою пользу и против директоров. Ученик Плутарха, знающий, кто на самом деле доносит популярные в свое время имена до потомков, Бонапарт приглашает в замок поэтов и историков, ученых и художников Италии. Еще год назад, через несколько дней после вступления в Милан, он посреди неотложных дел написал одному крупному астроному такие удивительные строки:

«В свободном государстве нужно особо защищать науки, поднимающие интеллект человека, искусства, украшающие мир и сохраняющие великие деяния предков в памяти потомков. Все гениальные личности, все люди, пользующиеся известностью в мире науки, — являются французами, в какой бы стране они ни жили. Доныне они вынуждены были жить анахоретами, теперь же воцарилась свобода мысли, нет больше ни нетерпимости, ни деспотизма. Соберитесь у меня в замке и расскажите мне обо всех своих желаниях. Кто захочет поехать во Францию, будет принят там с почетом, ибо французский народ предпочитает приобрести великого математика, художника или какого-то другого талантливого человека, а не богатейшие провинции. Поэтому прошу вас передать эти чувства выдающимся людям Милана!»

Потом Бонапарт включил в армейские списки одного скромного чиновника из свиты посланников, которому, подобно большинству его коллег, почти нечем было занять мозги и совсем нечего было делать. Ему было приказано переписать все, что хранилось в сокровищницах итальянских государств: все самое ценное Бонапарт потом потребует для Парижа.

А пока ученые по его просьбе копируют для парижской консерватории ноты итальянских композиторов, которые удается достать, ибо, как он пишет, «из всех искусств музыка оказывает наибольшее влияние на человеческие чувства, поэтому законодатель должен в первую очередь покровительствовать музыке. Запавшая в душу симфония, написанная рукой мастера, безусловно подействует на человека и окажет на него гораздо более сильное влияние, чем мора-

лизаторская книга, взывающая к разуму, но не затрагивающая привычного уклада жизни». Когда он станет членом Института Франции, основанную им же самим в 1795 году высшую инстанцию по наукам, литературе и искусству, то включит эту фразу в формуляры всех служебных бумаг верховного главнокомандующего и напишет: «Подлинная сила Французской республики должна в будущем состоять в том, чтобы не появлялось ни одной новой идеи, не принадлежащей французу». «Солдат, — говорит он в доверительной беседе, — должен считать своего командира мудрее и образованнее себя, ведь именно к этим весьма туманным для него понятиям он испытывает почтение».

«В его личности — так видел Наполеона уже в те дни один из самых проницательных людей того времени — заключалась могучая сила, которая импонировала каждому. Хотя он иногда бывал неловок в осанке и жесте, в его натуре, взгляде и речи было что-то повелительное. Все ему подчинялись. В обществе он старался еще усилить это впечатление. При общении в узком кругу он держался непринужденно, дружелюбно и даже доверительно, любил пошутить, и шутки его никогда не были обидными, а только веселыми и тактичными. Очень часто он принимал участие в наших играх. Работал он с легкостью, время его в ту пору не было расписано по часам, в минуты отдыха он всегда был доступен. Но если он удалялся в кабинет, то входить туда без особой причины запрещалось всем, независимо от чина... Ему необходимо было подолгу спать, как всем нервным натурам с деятельными мозгами, частенько он проводил в постели по 10 — 12 часов. Но если приходилось его будить, он переносил это с легкостью и досыпал потом. У него была бесценная способность спать где угодно и сколько угодно. Он любил силовые физические упражнения, часто ездил верхом, хотя и весьма неловко, зато очень быстро».

Бонапарт любит поговорить, всем темам предпочитает политику и общие проблемы, а если беседа не клеится, предлагает рассказывать разные истории. И если все молчат, начинает рассказывать сам, очень содержательно и с юмором.

Тщетно стараются его очаровать самые красивые жен-

щины: он любит Жозефину. Правда, уже не так безумно, как в прошлом году, когда она ему изменяла или обманывала: это она, только она одна, разрушила его страсть самоотдачи. Но теперь в его тоне появилось нечто трогательное, какое-то тепло, легкая улыбка, интонация просьбы: «Ты грустна, — написал он ей, еще находясь в походе, — ты мне не пишешь, хочешь вернуться в Париж? Ты больше не любишь своего друга? Эта мысль делает меня несчастным. Дорогая моя подруга, жизнь для меня невыносима с тех пор, как я знаю, что ты грустишь. Может быть, я быстро заключу с Папой мир, тогда вскоре буду у тебя». Тремя днями позже: «Мир с Римом только что подписан, Болонья, Феррара, Романья переходят к нам... Но ни слова от тебя! Боже мой, чем я провинился? Вероятно, ты слишком хорошо знаешь, какой безграничной властью обладаешь надо мной! До конца дней весь твой».

Теперь, в замке под Миланом, Бонапарт впервые наслаждается спокойной семейной жизнью, одновременно восхищаясь обаянием Жозефины в общении с людьми света. Время от времени он устраивает себе небольшой праздник любви. Тогда они едут на озеро Лаго-Маджоре, и, когда под причудливыми каменными скалами на острове Белла в кустах рододендрона звезда «Ла Скалы» Грассини голосом, полным страсти, поет «Аппассионату» Монтеверди, он молча сидит, погруженный в себя, и держит в ладонях руку своей легкомысленной спутницы.

«В карете, — рассказывает его адъютант, — он позволял себе супружеские вольности, зачастую повергавшие в смущение нас обоих — Бертье и меня. Но с непосредственностью, свойственной его натуре, он проявлял столь искреннее чувство, что мы ему все прощали».

IX

Что говорит Париж?

Со вчерашнего дня там появился страж порядка. В кабинете, где до той поры сидели одни адвокаты, в самой глубине правительственного здания, работает новый государственный деятель. Отпрыск древнего аристократичес-

кого рода, епископ, сосланный Папой за симпатии к республике, живший в Америке в ожидании своего часа, теперь Талейран вернулся и получил доступ к власти. Палаты, после перевыборов заметно поправевшие, достаточно долго критиковали директоров: ваш главнокомандующий хотел революционизировать всю Европу, увековечить войну, ограбление Венеции — позор для нас. Вероятно, кое-что из этого было сущей правдой, но когда эта правда из говорящего лагеря проникла в сражающийся, она не могла не вызвать презрения у человека власти. Он послал палатам меморандум, больше похожий на угрозу: «Предсказываю вам, — гремел текст, — причем говорю это от имени 80 000 человек: время, когда трусливые адвокаты и жалкие болтуны обрекали на казнь храбрых солдат, миновало!»

В те дни Бонапарт послал на помощь директорам Ожеро, чтобы тот защитил их, как некогда сделал он сам: ведь растущее могущество роялистов и священников все сильнее угрожало новой Конституции республики. Если бы только один из братьев Бурбонов рискнул вернуться во Францию, он бы, возглавив всех недовольных, в мгновение ока вернул себе трон. Но поскольку братья продолжали сидеть в надежных укрытиях, директора решились на небольшой государственный переворот. Вместо трех их стало пятеро, и самостоятельность их возросла.

В результате этого переворота у руля внешней политики впервые стоял профессионал. Он издали оценивал своего единственного конкурента, и поскольку признавал в нем человека будущего, хотя еще никогда не видел его в лицо, то мысленно сразу отводил себе второе место во власти, по крайней мере для начала.

Талейран противоположен Бонапарту во всем: склонный не властвовать, а договариваться, начисто лишенный страстей — за исключением страсти к деньгам, — холодный и скрытный, никогда не бывающий естественным и открытым, а всегда таким, каким нужно быть в данный момент. Сейчас его умная голова циника возвышается над позолоченным воротником республики, а в будущем будет возвышаться над императорским, потом над королевским и в четвертый раз над золотым плетением короля-буржуа: сорок лет свяжут Талейрана властью. Талейран прихрамы-

вает. Поэтому отец не мог надеть на него мундир, только сутану, под прикрытием которой великий Ришелье некогда правил страной. Он, и только он один, с этого дня не уступает в уме Наполеону, так оно и останется впредь: властелин над многими судьбами не сможет от него избавиться, даже когда начнет его ненавидеть. Лишь гений Талейрана мог свалить Наполеона.

Но сегодня Бонапарту, находящемуся далеко от Парижа, импонируют широта его взглядов и полное отсутствие каких-либо принципов. В этом отпрыске старинного аристократического рода, в этом знатоке человеческих душ эпохи рококо и холодном нигилисте Бонапарт видит инструмент, который ему понадобится. Доныне он искал и находил лишь вояк. Теперь как государственный деятель он ищет и находит первого достойного помощника, и куда Бонапарт сам ведет переговоры с австрийцами, то знакомит нового министра иностранных дел со всей своей программой государственного устройства в длинном письме, — так сказать, «предложении о помолвке»:

«Подъем французского народа, — говорится в нем, — только начался. Вопреки нашему высокому мнению о самих себе... мы, французы, еще весьма несведущи в политике. Мы даже еще не знаем, что, собственно, следует понимать под исполнительной, законодательной и судебной властью... В таком государстве, как наше, где вся власть исходит от народа, где сам народ и есть верховная власть, ...правительство должно рассматриваться как подлинный представитель нации, управляющий согласно Конституции и обладающий всей властью, которую я ему предоставляю».

«Так открыто говорит твое сердце, Бонапарт», — думает скрытный адресат, читая неделей позже это письмо, и улыбается.

«Безмерное несчастье для нации, насчитывающей 30 миллионов, в XVIII веке все еще быть вынужденной прибегать к оружию, дабы спасти отечество. Средства насилия обременяют законодателя, ибо Конституция для людей должна быть рассчитана на людей».

«Вон куда залетел! — удивляется адресат. — Он уже пресытился боевой славой и хочет с помощью новой Конституции стать диктатором». Талейран читает далее:

«Отчего бы нам не оставить за собой Мальту? У меня были все основания конфисковать имения рыцарей Мальтийского ордена... Имея Мальту и Корфу, мы стали бы господствовать над Средиземноморьем! Если уж приходится смириться с принадлежностью мыса Доброй Надежды Англии, то мы должны отобрать у нее Египет. С экспедиционным корпусом в 25 000 солдат и 8 — 10 линейными кораблями на такую операцию стоит решиться. Египет не принадлежит султану. Мне бы хотелось, чтобы вы выяснили, какое впечатление произвела бы такая операция на Блистательную Порту.

Распад огромной Турецкой империи, проявляющийся с каждым днем все яснее, заставляет нас подумать о наших отношениях с Востоком».

Дипломат с острым носом все выше поднимает брови, читая это в своем кабинете. Он чувствует, что написавший эти строки наверняка гений, а может, даже и сам дьявол. Через несколько недель он наконец читает:

«Если мы положим в основу наших действий реальную политику, которая не что иное, как учет обстоятельств и шансов, мы на много лет вперед станем великой нацией и арбитром Европы. Да, мы держим в руках весы Фортуны всего континента, и если она захочет, то через несколько лет можно будет прийти к великим результатам, которые нынче лишь смутно очерчиваются воспаленной и восторженной фантазией, но которых, однако, холодный, упорный и расчетливый человек на самом деле достигнет».

Х

Чего эти немецкие дипломаты медлят? Неделями сидят и все никак не могут решиться и подписать мирный договор, который разумный человек подписал бы через два часа переговоров! Все время оглядываются на своего кайзера в Вене, даже во время переговоров не могут обойтись без символического трона с балдахином, предназначенного для него и потому пустующего. «Уберите этот стул, прежде чем мы начнем, — говорит полководец. — Каждый раз, как я вижу стоящее на возвышении кресло, меня одолевает охота на него сесть».

Те бурные послания, которые он отправлял к новому министру, — лишь монологи человека, изнывающего от бездействия и нетерпения и вынужденного несколько недель кряду заниматься только заключением мира, пусть даже этого мира Европа требует уже много лет. Сегодня терпение его лопаается — этим, по-видимому, объясняются более резкие нотки: «Я был слишком легко доступен, — разносит Бонапарт австрийцев. — Мне надо было бы нанести вам более чувствительные удары! Вы крадете у меня мое дорогое время! По происхождению я равен вашим князьям! Меня тут развлекают рассказами о каком-то конгрессе... У нас достаточно сил, чтобы за два года завоевать всю Европу. Я не сказал, что мы намереваемся это сделать. Мы хотим как можно скорее дать гражданам мир... Вы говорите, господа, что действуете согласно данным вам инструкциям? Значит, если бы в ваших инструкциях значилось, что сейчас на дворе ночь, вы стали бы и на этом настаивать?»

В конце концов, чтобы их припугнуть, он разыгрывает приступ бешенства, бьет фарфоровую посуду и добивается-таки заключения мира, в котором есть все, что он обещал полгода назад в Леобене.

Когда Европа об этом узнает, она вздохнет с облегчением. Что же происходит в это время в душе Бонапарта? На следующий день после подписания договора в Кампо-Формио, который кладет конец шестилетней войне между Францией и Германией и который он сам и завоевал, и заключил, он пишет директорам как о чем-то само собой разумеющемся: «Нашему правительству безусловно необходимо вскоре уничтожить английскую монархию. Если этого не сделать, то этот деятельный народ уничтожит нас самих своей испорченностью и интригами. Сейчас момент весьма благоприятный. Итак: направим все силы на подъем нашего флота, уничтожим Англию — и Европа у наших ног!» После этого он обращается к флоту с открытым призывом: «Друзья! Добившись мира на суше, завоеем свободу морей! Без вас мы могли бы нести славу французской нации лишь в какой-то уголок Европы. С вами мы пересечем Мировой океан, и слава Франции достигнет самых далеких стран!»

Грудь его теснят грандиозные планы. Он спешит назад в Милан, в свой замок, чтобы дать последние распоряжения по Италии. Ибо теперь, имея на руках мирный договор, он хочет в Париж! Тоном владетельного князя, взывающего к своим подданным, он обращается к Цизальпинской республике:

«Вы — первый народ в истории, получивший свободу без партий, без революции и без войны. Эту свободу дали вам мы, теперь сумеете ее сохранить!.. Проникнитесь сознанием своей силы и достоинства, присущего свободному человеку!.. Если бы римляне использовали свою силу так, как французы, то ваши орлы и поныне украшали бы Капитолий, а восемнадцать веков рабства не бесчестили бы человечество! Ибо с единственной целью видеть вас счастливыми и упрочить вашу свободу я сделал то, что доньше делалось лишь из тщеславия и властолюбия... Через несколько дней я покину вас... Но всегда буду носить в сердце величайшую заботу о вашем счастье и славе вашей республики».

Кто это — вояка, дующий в победные фанфары? Или поэт, которому от ощущения радости жизни приходят на ум слова, способные воодушевить целый народ? В эти же дни он прогуливается с одним итальянским дипломатом в парке Монтебелло. Вся его душа полна ожидания встречи с Парижем, собеседник его умен и молчалив: в приступе откровенности, которые этот гений иногда себе позволяет, Бонапарт развивает перед ним такие мысли:

— Неужели вы думаете, что я одерживаю победы в Италии для того, чтобы содействовать возвеличению этих адвокатов Директории? Или вы действительно полагаете, что я стремлюсь к упрочению республики? Что за дикая идея: республика с тридцатью миллионами жителей! С нашими-то нравами, с нашими-то пороками! Эту химеру Франция скоро забудет. Французам нужна слава и удовлетворенное тщеславие, они понятия не имеют о свободе. Посмотрите на армию! Наши победы уже вернули французскому солдату его истинную природу. Я для него все! И если бы директора, к примеру, вознамерились меня сместить, они бы увидели, кто возглавляет армию...

Народу нужен глава, окруженный ореолом славы и побед, а вовсе не теории и правительства, лозунги и речи иде-

ологов. Ему нужно дать игрушку, и, пока они будут с ней играть, их можно повести за собой, при условии, что конечную цель от них искусно утаят! Здесь, у вас в Италии, можно еще меньше церемониться... Однако пока еще не время. Нужно сначала уступить возбуждению данного момента, так что мы оставим здесь две или три республики по нашему образу и подобию... Мир отнюдь не в моих интересах. Когда он наступает, я уже не во главе армии, и вынужден отказаться от власти и положения, которые добыты мной в боях, и должен восхвалять этих адвокатишек в Люксембургском дворце. Я покидаю Италию только для того, чтобы во Франции играть ту же роль. Однако и этот плод еще не созрел: Париж расколот, одна партия — за Бурбонов, ради них я не хочу сражаться. Со временем я ослаблю республиканскую партию, но не к выгоде старой династии!

Это подлинные намерения Наполеона. Да, все, что он теперь говорит, соответствует истине: «Все произошло так, как я предвидел, и я, наверное, единственный, кто не удивлен. Так будет и в будущем: я добьюсь всего, чего хочу».

Такого рода признания льются потоком. Конечно, он отказался бы от каждого слова, если бы знал, что его будут цитировать. Но это правда: ему не достаточно достигнутого! Сидя в дорожной карете вдвоем с Бурьеном и покидая Италию, где он провел почти два года, он говорит: «Еще несколько таких походов, и мы обеспечим себе неплохую репутацию в глазах потомков». А когда собеседник замечает, что эту репутацию он уже заслужил, Бонапарт отвечает ему со смехом:

— Ну, вы и льстец, Бурьен! Умри я сегодня, через десять веков я получу во всемирной истории не больше полстраницы!

XI

Нынче двор Люксембургского дворца превращен в амфитеатр, недавние трофеи — оружие и знамена — грудами высятся меж золотых букв лозунгов революции на древних стенах, в которых пэры Франции некогда вращались вокруг Короля Солнца. Здесь собрался весь цвет Парижа,

сверкают всеми красками, словно сегодня не сумрачный декабрьский день, а майский праздник. Красивые женщины, подружки власть имущих, сидят в передних рядах, чтобы лучше видеть низкорослого человека с желтой кожей, ради которого устроено это торжество.

— Уже неделю в Париже — и его никто не видит. Почему этот скромник избегает народного чествования?

— Трубят торжественный выход! Смотрите, смотрите, пыть правителей уже выходят на подиум!

Хор запеваёт гимн свободе, толпа подхватывает припев, потом воцаряется тишина: на каменной лестнице слышится звон сабель и шпор, из всех окон, со всех крыш зрители вытягивают шеи, ибо все понимают: пауза означает, что сейчас появится он.

В полевом мундире — скромнее некуда, с серьезным и замкнутым выражением лица, он чеканит шаг по проходу в расступившейся толпе, направляясь к возвышению, и держит в руках свиток. За его спиной — три адъютанта. Приволакивая ногу, тихо следует за скромной фигурой с военной выправкой другой человек — весь в золотом шитье и в шелковых чулках. В ту же минуту гремит пушечный выстрел: так и должно приветствовать того, кто был когда-то поручиком артиллерии. Раздается гром аплодисментов. Потом вновь воцаряется тишина. Речь держит Талейран. Он говорит гладко, блестяще, уснащает свою речь намеками, понятными лишь немногим, превозносит античную простоту этого человека — спасителя отечества, презирающего блеск и служащего идее, — и завершает речь словами: «Вся Франция будет свободной, лишь он сам, вероятно, нет: такая у него судьба».

Ему рукоплещут. И все же — есть ли среди этих тысяч, в том числе и среди посвященных, хотя бы один человек, понимающий глубокий смысл этой последней фразы?

Тише, он выступает вперед, что-то он скажет?

— Французский народ должен был победить своих королей, чтобы стать свободным... Религия, феодализм, королевская власть, сменяя друг друга, господствовали в Европе в течение двух тысячелетий. С сегодняшнего дня начинается эра демократических преобразований. Вы сумели расширить территорию великой нации до ее естественных

границ. Вы сделали больше: теперь две красивейшие страны Европы, славящиеся наукой, искусством и гениями, видят, как дух свободы, полный надежд, поднимается из могил их предков. Это — пьедесталы, на которые восходят две могущественные нации. Мне выпала честь вручить вам ратифицированный кайзером мирный договор, заключенный в Кампо-Формио... Если когда-нибудь счастье французского народа будет основываться на лучших естественных законах, тогда и Европа станет свободной.

Голос с металлическими нотками умолкает. В полной тишине проходят несколько мгновений. Потом — гром оваций. Чему они аплодируют? Этой речи? В ней совсем нет завораживающего эффекта выступлений популярных ораторов. Все удивлены, некоторые неприятно поражены, страх и благоговение заставляют сильнее биться сердца. Они аплодируют не его речи, они аплодируют ему самому. Он неоднократно выступал перед солдатами на многих фронтах, перед людьми на Корсике, но еще ни разу не говорил перед светским обществом, перед политиками.

Это была речь государственного деятеля. Вероятно, в первый момент, когда комментарии еще не успели никого сбить с толку, понял ее один лишь Талейран. Все, что Бонапарт говорит об эпохе, которая только начинается, поначалу кажется ложью: в Англии и в Америке уже давно существовала демократия. Франция же почти десять лет боролась за признание ее демократической страной. Наконец она этого добилась мирным договором с Германией, свиток с текстом которого полководец держал в руках: договор этот означал мир на континенте.

Однако ход событий еще не завершен — это сказал в последней, грозно звенящей металлом фразе государственной деятель, живущий в душе полководца. Эту фразу поняли и директора, против которых она была направлена, но Баррас быстро нашелся, произнес чрезмерно льстивую хвалебную речь, потом обнял и поцеловал в первый и последний раз генерала, чью супругу он когда-то обнимал намного теплее.

Да, ее нет здесь в этот час, и никто не знает, где она находилась в течение этих долгих недель. Только через месяц после него она появилась в Париже — веселая, очарова-

тельная, слегка утомленная. В Париже она быстро входит в свою прежнюю жизнь, включая старые любовные связи.

Тем временем с генералом сблизилась другая дама, весьма привлекательная, но слишком умная, чтобы ему понравиться. Дама была очень влиятельная, даже Талейран без ее помощи не стал бы министром. Дочь Некера, баронесса фон Сталь, она забросала Бонапарта письмами, решив во что бы то ни стало впрячь его в свою карету, но он уперся и не дал себя взнудать. Вот и теперь, познакомившись, наконец, с ней лично, он ускользает от нее под всякими благовидными предложениями, однако не может помешать ей глубже разобраться в нем. Вот что она писала тогда:

«Его худощавое бледное лицо производит довольно приятное впечатление. Из-за небольшого роста ему больше идет скакать на лошади, чем ходить пешком. В обществе он держится довольно неловко, хотя и не робок. Когда следит за собой, в нем проступает презрение к окружающим, когда ведет себя непринужденно, становится банален. Презрение ему больше к лицу... Когда он говорит, его умственное превосходство меня пленяет, хотя оно совсем иного рода, чем у людей науки или у светских львов. Когда он рассказывает какие-то эпизоды из своей жизни, то иногда в его рассказах чувствуется фантазия итальянца... Однако я всегда ощущаю в нем глубокую ироничность, которая ничего не щадит, ни возвышенного, ни прекрасного, даже свою собственную славу... Я достаточно насмотрелась на выдающихся людей, в том числе и на мужчин с неистовым темпераментом, но страх, который я испытываю перед этим человеком, совсем особого рода. Он ни хорош, ни уродлив, ни нежен, ни жесток. Это существо, не имеющее себе равных, не может ни вызывать симпатию, ни ее ощущать: он больше, чем человек, и меньше, чем человек. Его нрав, ум, язык — все имеет какой-то чужеземный отпечаток, и в этом еще одно его преимущество, привлекающее сердца французов».

«Он ненавидит не сильнее, чем любит, для него существует только он сам, все остальные — просто статисты. Великий шахматист, для которого человечество — противник, которому он замыслил объявить мат. Своими успехами он обязан свойствам, которых у него нет, в той же

степени, как и тем, которыми обладает... В том, что его интересует, он таков, как по справедливости следует оценивать добродетель: если цель хороша, то и напористость в ее достижении прекрасна... Он презирует нацию, оаций которой жаждет, и нет ни искры воодушевления в его потребности повергать человечество в изумление... В его присутствии я не могла дышать свободно».

Если исключить из этих фраз все то, что привнесено в них задетым самолюбием умнейшей женщины, к тому же пользующейся большим успехом у мужчин, все же остается достаточно, чтобы поразмыслить над ее словами. Каждой фразой она старается ущемить его, и уже в следующей склоняется перед ним. Не увлекайся она абстрактной добродетелью и добротой в стиле Руссо, с которыми диктатор не имеет ничего общего, сумей она вообще разглядеть его цель, которая, правда, обнаружится лишь много позже, она заслужила бы славу первооткрывательницы гения Бонапарта.

«Представьте себе человека небольшого роста, — пишет домой в те же дни один немец, — не выше нашего Фридриха Великого, сложения весьма соразмерного и изящного, худощавого, но крепкого, с крупной головой, лбом благородной формы, темно-серыми глазами, густыми темными волосами, греческим носом, кончик которого слегка нависает над грациозным ртом, и выдающимся вперед подбородком. Движения его всегда энергичны и в то же время исполнены достоинства и приличий. Вы можете наблюдать, как он в пять-шесть прыжков спускается с высокой лестницы, и все же после последнего прыжка стоит в совершенно изящной позе. Если он не вглядывается во что-то определенное, то почти всегда смотрит вверх: я каждый раз с истинным наслаждением глядел в эти прекрасные, глубокие, полные чувства глаза, такие же строгие и в то же время такие же добрые, как глаза Фридриха Великого».

XII

По пути в Париж ему пришлось на несколько дней остановиться в Раштатте, чтобы переговорить с кайзеровскими послами о выполнении мирного договора. Его ждали здесь

с любопытством и скептицизмом, он же держался словно король. Одних он отчитал, других обласкал, смотря по тому, что ему от них требовалось, и подарил этим австрийским дипломатам кому часы, а кому шляпные булавки с бриллиантами. «Бедняги-посланники были вконец ошарашены тем, что у меня столько денег, ибо у них самих в кармане было пусто».

Этот широкий восточный жест, доказывающий в равной степени и его умение нравиться, и его высокомерие, он сохранит и впредь. Современники будут смотреть на него как на калифа, раздающего дары направо и налево, видя в нем некое сочетание презрения и щедрости, что свидетельствует о довольно глубоком проникновении в человеческую душу. Когда же речь идет о вознаграждении за подлинные заслуги, то этот человек, в минуты опасности просто требующий высших проявлений храбрости, благодарит в такой изысканной манере, словно он — рыцарь, а весь мир — арена чести. Когда ему на память о множестве знамен, добытых в боях, вручат знамя из-под Арколе, он пошлет его генералу Ланну и напишет:

«Под Арколе был момент, когда неопределенность победы потребовала максимальной отваги от командиров. Покрытый кровью и тремя ужасными ранами, вы тогда покинули перевязочный пункт, решив победить или умереть. Я постоянно видел вас в первых рядах храбрецов. Именно вы первым во главе колонны смертников... переправились через Адду. Вам и принадлежит честь быть хранителем этого славного знамени».

Конечно, он знает, какое действие оказывает на парижан каждое сказанное им слово, и поэтому все предает гласности — даже ненависть и месть, отставку и отдачу под суд. Это его новая профессиональная хитрость. Этого требует его новое поприще.

Теперь он так продумывает свое поведение, что весь Париж, вся пресса, в том числе и его враги, говорят: «Какое скромное величие!» Еще в двух торжествах приходится ему участвовать, одно из них устраивает в его честь Талейран. Талейрана он посетил в первый же день по приезде. Тогда еще ни один из них не открыл другому своих окончательных планов. Но Бонапарт сразу же подчеркнул свое личное

отношение к потомку древней аристократии: «Вы — племянник архиепископа Реймского, бежавшего вместе с Бурбонами, — сказал он. — У меня тоже есть дядюшка, архидьякон, он меня воспитал. Вы знаете, что на Корсике архидьякон — то же самое, что архиепископ во Франции». Таким манером он пресек возможную предубежденность наследника длинной череды предков против выскочки и отобрал у Талейрана единственное преимущество, на которое тот мог бы претендовать...

Теперь он живет вместе с наконец-то вернувшейся женой, с братьями и несколькими друзьями, которые то появляются, то исчезают, в небольшом доме, который Жозефина некогда арендовала, а он впоследствии выкупил. Он часто носит штатское платье, ездит без сопровождающих, избегает званных вечеров, предпочитает, чтобы приходили в гости к нему, и, когда в театре ему устраивают овацию, удаляется в глубь ложи. И это — тот же человек, что совсем недавно в замке под Миланом содержал княжеский двор. «Если меня трижды увидят в театре, на меня перестанут обращать внимание, — говорит он в доверительной беседе. — Вы полагаете, что мне должно это льстить? Народ так же толпился бы, чтобы поглазеть на меня, если бы меня вели на эшафот».

Вот ученых он действительно любит приглашать к себе, посещает большинство заседаний Института Франции, даже делает несколько докладов, дискутирует после ужина с Лапласом о математике, спорит с Шенье о поэзии и даже о метафизике, если уж такого разговора не избежать.

Но одновременно он молча следит за каждым движением директоров, все больше теряющих власть, сторонится этих своих тайных врагов, просит братьев наблюдать за ними, узнает, какие партии в силе, какие нет, размышляет, что делать. «У Парижа нет памяти. Если я долго пробуду в бездействии, я пропал — здесь одна слава вытесняет другую. Мне нельзя здесь оставаться». Часто он в одиночестве бродит по саду, сцепив руки за спиной, и думает:

«Слишком рано. Сначала эти люди должны окончательно сесть в лужу. Стать их коллегой, директором теперь, когда опоры все больше покрываются плесенью? Хорошо, что мне еще нет сорока, как требуется по закону. Но как

быть с воображением? Покуда необходимо пленить воображение толпы». Чем? На континенте мир. Соперников вряд ли стоит бояться, самый опасный из них, Гош, к счастью, уже умер. Тоже был любовником Жозефины и был очень хорош собой, что правда, то правда. Как легко она перенесла его смерть, видно, от природы неспособна на верность. Карно отстранен, Моро разбит. Ожеро, ныне главнокомандующий на Рейне, ненавидит меня из ревности, нужно будет его понизить. Старые друзья-корсиканцы тоже мало-помалу утрачивают власть. Правда, та женщина, что недавно приходила, чтобы предостеречь меня от попытки отравления, на другой день была убита. Значит, существуют заговоры. Да, слишком рано. Нужно будет еще раз исчезнуть из Парижа.

В Англию? Если бы из-за этих глупцов флот не был до такой степени запущен! Какие меморандумы слали они после Тулона! Таким манером мы потеряли за эти пять лет морской войны полдюжины сражений. Только высадка! Вот если бы она была возможна! Кто победит Англию, станет владыкой мира. Нужно будет съездить на побережье, все изучить. А если не получится — вернуться в Средиземноморье: только на Востоке можно обрести свободу действий. Пусть это будет Египет, там побывал Александр Великий, там можно разбить Англию».

После длительной подготовки генерал объезжает северное побережье, подсчитывает, инспектирует, опрашивает всех, включая рыбаков и контрабандистов. Когда он неожиданно возвращается, Жозефина в испуге, но он ничего не замечает, не знает, что она спешно посылает записку секретарю своего старинного любовника. Что бы сказал генерал, если бы он, кому на войне сотни лазутчиков доставляли секретные письма, прочитал: «Бонапарт вернулся нынче вечером. Прошу вас передать Баррасу мое сожаление, но я не смогу поужинать с ним. Скажите ему, чтобы он меня не забывал. Вы лучше, чем кто-либо, знаете мое положение... Ла Пажри-Бонапарт».

Насколько шаток этот брак, в который Бонапарт по-прежнему верит, настолько же двусмысленна ненависть и подозрительность бессильного директора Барраса к могущественному полководцу, настолько же беззаботно порха-

ет Жозефина по высшему свету Парижа, сменяя будуары дам на спальни мужчин. Она наверняка неплохо относится и к Бонапарту, однако ставит свое девичье имя перед именем мужа, словно выбор супруга все еще за ней.

Уже на следующий день Бонапарт пишет тому же Баррасу, который, вне сомнения, проклинает его за сорванное свидание, а также остальным членам Директории большой доклад, начинающийся словами: «Несмотря на все усилия мы лишь через несколько лет сможем получить превосходство на море. Высадка в Англии — чрезвычайно рискованное предприятие, возможное только при полной неожиданности... Для этого нам нужны долгие ночи, то есть придется дожидаться зимы. Значит, поход может состояться лишь в следующем году... Но тогда легко могут возникнуть препятствия на суше. Великий миг, вероятно, упущен навсегда».

После этого удивительно ясного отказа следует нечто куда более удивительное, а именно — план, как все это тем не менее осуществить: потребуются восемь морских экспедиций от Испании до Голландии, причем все политические условия и последствия учтены. Если же ни кораблей, ни денег нет, то следует предпочесть наступление на английскую торговлю, для начала — в Египте, откуда к осени можно будет вернуться, чтобы затем начать действия против самой Англии.

Директорам стоит лишь услышать слово «Египет», как они обещают ему все: и полное согласие, и верховное командование, и всяческую помощь: только бы отослать этого опасного человека подальше! А лучше всего, чтобы его там и прикончили.

План этот не нов, в последние годы о нем не раз заходила речь, вот и Талейран уже пропагандировал его по просьбе Наполеона, написав, правда, в своем изложении: «Для руководства таким походом не требуется особо большого полководческого таланта». Что это было: желание удержать Бонапарта в стране или злоба чистой воды? Наверняка известно лишь, что Бонапарт, прочитав намного позже этот текст, написал рядом с этой фразой только одно слово: «Обезумел!» А пока он сам редактирует свое назначение командующим Восточной армией: полномо-

чия и задачи — завоевать Мальту и Египет, вытеснить Англию с берегов Красного моря, пробиться сквозь Суэцкий перешеек, дабы Франция получила в собственность это море.

Он лихорадочно берется за осуществление нового плана. С этой задачей он знаком уже давно. Средиземное море — это его родина. Еще ребенком он видел на Корсике гербы с изображением головы мавра, от африканских берегов часто приходили парусники, потом он отобрал флот у Генуи и Венеции и наладил связи с Тунисом и Грецией, с Албанией и Боснией. Но больше всего его манил дух Александра Македонского, намеревавшегося сделать Египет центром своей всемирной империи.

Теперь, когда он вооружается для похода на Египет, Бонапарт старается объединить в себе математика и мечтателя и не замечает, что остается неучтенный остаток. Его неумная фантазия заставляет его забыть, что он живет не в эпоху античности, что калиф и завоеватель больше не используют миллионы рабов, что в Африке народы пробуждаются к новой жизни. Уже теперь Бонапарт готовит себе совершенно неразрешимый конфликт, и чем больше в него втягивается, тем упорнее пытается его разрешить.

Этот гений, опоздавший родиться на два тысячелетия, вызывает на себя гнев рока и рукой полубога рисует сам себе линии судьбы.

XIII

«Я отправляюсь на Восток, — пишет он брату, — со всем, что должно обеспечить успех. Если война разразится и нам не будет удачи, что ж, я вернусь и буду еще больше уверен в общественном мнении, чем теперь. Напротив, если республике в войне повезет, и появится новый военачальник вроде меня — хорошо, тогда я на Востоке, вероятно, все же смогу добиться большего для всей планеты, чем он». Когда Бурьен спрашивает, сколько он там пробудет, Бонапарт отвечает: «Шесть месяцев или шесть лет».

В последний момент судьба еще пытается его предостеречь. В Раштатте Австрия отказывается уступить левый бе-

рег Рейна, в Вене посланник Бернадот почти провоцирует новую войну. Может, он должен остаться? Но директора настаивают: все уже слишком далеко зашло. Надо плыть. Майским днем, как раз через два года после его вступления в Милан, 400 парусников выходят в открытое море, снявшись с якоря на рейде в Тулоне. Жозефина прощально машет рукой, тревожась, пожалуй, больше о сыне Эжене. Могучая армада по сигналу командующего приходит в движение, все высыпает на палубу и смотрят, как берега Европы постепенно скрываются из виду. Бонапарт стоит на верхней палубе флагмана «Ориент» возле главной мачты и не смотрит, как все, назад, он смотрит на юго-восток.

В этот же самый час Нельсон и три британских капитана стоят на палубах своих судов и напряженно всматриваются в подозрительные трубы, чтобы напасть на след ненавистного противника, который — они знают — в эти дни должен выйти в море, держа курс на Сицилию. Где его искать? Вчерашний шторм разбросал эскадру Нельсона, несколько дней уйдет на то, чтобы найти все корабли. Вот эти-то часы, этот шторм, который на день задержал Бонапарта в Тулоне, спасают французов. Поэтому они раньше англичан прибывают на Мальту и разом внезапно захватывают этот важный остров; а когда кошка появляется, мышки и след простыл. Нельсон мчится в Египет — там никого нет, потому что он обогнал противника, потом в Сирию — никого. В Сицилию — тоже пусто! «У этого дьявола дьявольское везение!» — ругается Нельсон.

Тем временем Бонапарт проводит четыре недели плаванья большей частью в постели, дабы избежать морской болезни. Это символично: может ли страдающий морской болезнью военачальник победить флот противника?

На борту этого флота плывут на Восток не только 2000 пушек, но и целый университет. Астрономы, геометры, минералоги, химики, антиквары, строители дорог и мостов, востоковеды, экономисты, художники и поэты; 175 ученых мужей везут с собой сотни ящиков с аппаратурой и книгами. Начальник хочет, чтобы они все исследовали в этой сказочной стране, дабы добыть для Франции колонию, а для себя — африканскую славу. Солдаты называют ученых с морской грубоватостью «ослами», Бонапарт же

им покровительствует и карает взглядом и словом того офицера, который дает понять, что недолюбливает «этих бездельников». Он сам их всех отобрал и здесь продумал все до мелочей, вплоть до арабских литер, которые ему с трудом удалось достать в государственной типографии. Для себя он взял только «Вертера» и Оссиана, своих неразлучных спутников. Однако в эту поездку ему редко удастся читать.

Бурьен читает ему вслух путевые записки античных путешественников по Египту, книги Плутарха, Гомера, Арриана — рассказы о походах Александра Македонского, отрывки из Корана.

После трапезы он любит проводить заседания «Института», он подшучивает над этим названием, однако в дебатах всерьез принимает участие: намечает тему, назначает двух «противников» — один будет «за», другой «против». Математика и религия — его любимые темы, ведь он всегда сочетал в себе расчет и фантазию. Вот сидит знаменитый Монж, которого он ценит выше, чем остальных, и знает уже много лет: крючковатый нос, покатый лоб, волевой подбородок, а рядом с ним Дезе, которого Бонапарт только что вызвал из Рейнской армии, с толстым носом и толстыми губами, слегка негроидным типом доброго лица, и еще неясно, у кого из этих двоих более умные глаза: у математика или у стратега. А вот сидит Клебер — смелая голова, весь — мужество и решимость, рядом — Лаплас, который серьезно и грустно выглядывает из-под защитного козырька, а по другую сторону — Бертолле с головой по виду как у барана; Клебер ругает геометрию, но когда кто-то из ученых хочет ввязаться в спор, Бонапарт делает ему знак не утруждать себя понапрасну и с улыбкой указывает на Бертье, заснувшего в углу над «Страданиями молодого Вертера».

Вскоре наваливается жара, и командующий допоздна лежит на палубе, чтобы подышать ночным воздухом. Кружком вокруг него сидят его приближенные, разговор идет о том, есть ли жизнь на других планетах. Все приводят свои доводы — кто за, кто против. Так доходят до вопроса о сотворении мира, и эти сыны революции, ученики Вольтера, и военные, и ученые едины в том, что все сущее создано в высшей степени рационально, и, чтобы объяснить кос-

мос, не нужен бог, а нужен знающий естествоиспытатель. Бонапарт молча слушает. Потом вдруг поднимает руку к звездам:

— Говорите, что хотите, — а кто все-таки сотворил все это?

XIV

По пескам пустыни Бонапарт медленно подъезжает на лошади к сфинксам. Каменный и стальной взгляды встречаются. Он думает:

Здесь стоял Александр. Здесь стоял Цезарь. От создания этих каменных изваяний их отделяло два тысячелетия, как и меня от них самих. Беспредельные империи, поклоняющиеся Солнцу, простирались вокруг Нила. Миллионы повиновались одному человеку. То, о чем он грезил, рабы строили тысячью рук. Не было ничего невозможного. Фараон был сыном богов. Поскольку он был потомком первого завоевателя, все ему повиновались. А поскольку тот первый завоеватель называл себя фараоном и сыном богов, все этому верили. Здесь можно было сказать людям «Я — ваш Бог», и все этому верили. Европа — просто кротовая нора.

Вскоре после этого он, находясь в двух милях от сфинксов и готовясь к сражению, выстраивает свою армию в боевые порядки, так как 8000 мамелюков, лучших всадников в мире, уже приготовились уничтожить пришельцев... Он выезжает перед строем, указывает на пирамиды вдали и кричит: «Солдаты! Сорок веков глядят на вас с высоты!» Выскочив из-за укрытий, мамелюки попадают под оружейный обстрел, их лагерь быстро оказывается захвачен Бонапартом, они бросаются к Нилу — кто вплавь, кто на лодках, — а поскольку всем известно, что золото они всегда носят с собой, часами длится бой на берегу и в воде, пока победители не завладевают частью золота. После этого мамелюки обращаются в бегство.

В Каире он умело склоняет на свою сторону пашей и шейхов: заверяет, что любит и чтит турок и султана и воюет лишь с теми мамелюками, которые им враждебны. Такое общение для него вполне естественно: уроженец Среди-

земноморья, сам наполовину человек Востока, он не удивляется ни многословному титулу, ни дюжине поклонов, ни возвышенному языку переговоров, требующему цветистых иносказаний только для того, чтобы лгать более завуалированно, чем это делают элегантно-стремительные дипломаты Европы. Он следует всем формальностям их обычая. Еще на борту корабля он продиктовал переводчику послание паше Египта, которое начиналось так:

«Ты, которому подобает быть главным среди баев, лишен власти и почета в Каире. Ты благословишь мое прибытие. Тебе наверняка уже ведомо, что я явился не для того, чтобы предпринять что-либо против Корана или против султана... Поэтому помоги мне и прокляни вместе со мной безбожную свору баев!»

Чтобы как-то сблизить свою религию с верой в Аллаха, он начинает, словно фокусник, жонглировать понятием триединства Бога. Для начала сообщает, что победил Папу Римского и рыцарей Мальтийского ордена и сообщает, что для него Коран — такое же слово Божие, как и Библия. Потом он призывает египтян выступить против кораблей, которые как раз пристают к их берегу, выдвигая следующие аргументы: «Аллах велик, и Магомет пророк его! Обращаюсь к Дивану в Каире, мудрейшим, ученнейшим и просвещеннейшим мужам! Да будет с вами милость Пророка!» Он говорит, что позволит кораблям противника пристать, чтобы потом внезапно напасть и уничтожить их одним ударом, что «будет великолепным зрелищем для Каира». На борту находятся, мол, русские, которые питают отвращение ко всем, кто верует в Единого Бога, как вы и я. Русские же верят в трех Богов, но вскоре они убедятся, что существует лишь один Бог, Отец Победы, который милостив к праведникам и всегда сражается на их стороне.

Впрочем, он часто ссылается на Коран как на основу своего мышления — не зря эта книга стоит у него в библиотеке в разделе «Политика». Объясняя как-то в Каире мотивы своего поведения, он пишет, что «от Аллаха исходит все хорошее, он дарует нам победу... Все, что я делаю, должно удасться! Всем, кто называет себя моими друзьями, живет хорошо. А те, кто перебегает к моим врагам, погибают».

Ах, родиться бы ему здесь четыре тысячелетия назад!

Тогда можно было победить одной силой внушения. А теперь ему не верят даже эти смуглые туземцы! Да, он презирает тех, кого восхваляет в самых выспренных выражениях, но в то же время грозит страшными карами своим солдатам, если они нанесут какой-либо ущерб местным жителям». Народы, которые тут обитают, — говорится в первом же боевом приказе, — относятся к женщинам иначе, чем мы. Кто бы ни применил по отношению к ним силу, считается здесь злодеем. Грабежи обогащают немногих, а позорят всех, лишают нас помощи и делают нас ненавистными тем, кого в наших интересах сделать своими друзьями». По его приказу никто не имеет права войти в мечеть, запрещается даже собираться группами у ее дверей. Лестью и угрозами, терпимостью и интригами, Аллахом и мечом — всеми средствами восточного человека Бонапарт за несколько недель добился авторитета.

Да, наконец-то он может почувствовать себя господином на Востоке. Стал ли он счастливее?

Из Парижа пришло письмо на имя Жюно, речь в нем идет о Жозефине. Лучше бы он попал в руки англичан! По крайней мере ничего бы не знал! Ибо Жюно считает себя обязанным пересказать содержание письма своему начальнику и другу юности: супруга генерала вновь встретила у модного в высшем свете учителя танцев своего Ипполита, которого Бонапарт выгнал из армии. Старая любовь вспыхнула с новой силой, у молодца все еще наикрасивейшие икры, наилучшие остроты, а теперь он к тому же еще и богат. Она за истекшее время купила прекрасное имение под Парижем, правда, еще за него не расплатилась, и теперь юный повеса живет у красивой генеральши и ведет себя как хозяин.

Шагая вместе с Жюно взад и вперед по берегу, супруг становится все бледнее, его лицо дергается, два-три раза он бьет себя рукой по лбу, потом внезапно поворачивается к Бурьену, сидящему перед палаткой: «Вовсе вы мне не преданы! Эти бабы! Жозефина! Вы должны были мне обо всем сообщить! Вот Жюно — настоящий друг! Жозефина! А я в тысяче миль от нее! Чтобы она могла так меня обмануть! Горе всем этим фатам и щеголям, я их всех уничтожу! А с ней разведусь! Именно официальный сенсационный раз-

вод! Немедленно напишу ей. Я знаю все! Если она виновна — прости-прощай! Не желаю быть посмешищем для фланирующей публики на Бульварах!»

Бурьен пытается его успокоить, говорит в конце концов о славе, которая все же важнее. «Слава?! Да на что она? Я отдал бы все на свете, чтобы сообщение Жюно оказалось ложью: так я люблю эту женщину».

Однако поскольку англичане могут перехватить и опубликовать его письма, ему приходится даже брату писать обиняками. Может, именно из-за недоговоренности это его письмо так трогает душу: *taedium vitae*, отвращение к жизни — у гения на вершине его величия. В день отсылки победного, чисто мужского отчета он пишет брату Жозефу:

«Египет по зерну, рису, овощам и мясу — богатейшая страна в мире. Варварство достигает здесь своей высшей точки. Никаких денег не существует, даже для оплаты армии. Через два месяца я могу оказаться во Франции. Обращаюсь к тебе с настойчивой просьбой: у меня дома много неприятностей, туман теперь полностью рассеян... Один ты остался у меня на этом свете. Я очень дорожу твоей дружбой. Чтобы довершить мою ненависть к людям, не хватало только, чтобы я и тебя потерял и ты бы меня предал. Грустно, когда все чувства к одной-единственной персоне концентрируются в одном-единственном сердце, ты меня понимаешь! Позаботься, чтобы при возвращении я имел дом недалеко от Парижа или в Бургундии. Там я хочу прожить зиму в полном одиночестве. Люди внушают мне отвращение. Мне нужны покой и одиночество. Все великое наводит на меня скуку. Мое чувство разорвано в клочья. В 29 лет слава кажется мне пресной. Я исчерпал себя. Мне остается только превратиться в законченного эгоиста. Дом в Париже я хочу сохранить за собой и не передавать кому бы то ни было! У меня ничего нет. К тебе я никогда не был несправедлив, это ты должен признать, хотя у меня иногда и возникало такое желание. Ты понимаешь. Поцелуй жену и Жерома. Бонапарт».

Так цинизм и мизантропия, месть и обида впервые за много лет потонули в тоскливых интонациях. Судя по дневнику, двенадцать лет назад им владела меланхолия, но

с тех пор он никогда не высказывался в таком тоне. Человеческое сердце, полное жертвенной любви и, несмотря на все разочарования, вновь и вновь дарившее доверие, здесь впервые прострелено навывлет. Все начинает казаться ничтожным: завоевания, слава, поход по стопам Александра. Когда человек обманут в том единственном, где он этого не заслуживает и где он доверял сам себе с юношеским пылом, — что тогда значит величие? Начинает письмо с риса и овощей, а заканчивает одиночеством и унынием. Что еще у него остается, кроме брата? Конец всему.

XV

Новый удар возвращает его к жизни.

После верховой прогулки по пустыне он входит в палатку Мармона и видит растерянность на суровых лицах всех присутствующих. Что случилось? Уничтожен флот. Вчера Нельсон атаковал французские корабли в заливе Абукир и все, за исключением четырех, потопил или взял в плен.

Молча стоят вокруг него офицеры, и каждый, даже гренадер на часах перед палаткой, понимает, что означает этот разгром. Бонапарт бледнеет, но в тот же миг сознает, что ему одному надлежит поднять общее настроение. Поэтому, немного помолчав, он произносит великолепные слова: «Значит, мы обречены остаться в Египте. Хорошо. При шторме нужно держать голову над волнами — море еще успокоится. Может, нам судьбой предназначено изменить лицо Востока. Здесь мы останемся или же покинем эту страну великими, как герои древности».

Какой ужасный удар! Что говорит Париж? Не он командует флотом, его не было там — тем не менее это событие наверняка подорвет его престиж. Под чьей защитой мы вернемся домой? На турецких кораблях? Но будет ли султан теперь сохранять спокойствие? Колеблясь между Францией и Россией, не захочет ли он отвернуться от побежденного? А что Англия? Уничтожены все 13 боевых кораблей! Сколько лет нам понадобится — вероятно, десятилетие, — чтобы вновь на море помериться силами с Англией! Аллах велик, только за какую тучу закатилась моя звезда!

Нет, не моя! Ибо когда он в официальном письме сообщает о разгроме флота, он ничего не скрывает, но доказывает, что фортуна отсрочила возвращение Нельсона, пока французская армия не укрепилась в Египте.

Недели неизвестности! Новый настрой в жизни Бонапарта: сидеть в бездействии и ждать, пока депеши, письма или газеты не сообщат о положении в Европе. Если англичане бдительны, то вообще ни одно письмо не придет морским путем. Впервые в жизни этот человек задается вопросом: чем заняться, чтобы убить время? Потому что управление целой армией, подавление волнений, восстановление старых крепостей уже кажется ему бездельем. Что за этим следует? Он становится более нервным и чаще предается фантазиям. Бурьен успокаивает: «Подождем, пока не узнаем, что предлагает Директория».

— Ваша Директория — это кучка дерьма! Они меня ненавидят и оставят здесь погибать!

Если бы можно было хотя бы ездить верхом! Но для этого слишком жарко, тем более в мундире, который он носит с тех пор, как отказался от попытки перейти на арабскую одежду. Если он все-таки садится на лошадь, а, вернувшись, не находит депеш, сразу впадает в раздумья:

— Бурьен, догадайтесь, о чем я думаю... Если я вновь увижу Францию, моей величайшей мечтой станет чудесный поход в долины Баварии! Мне хочется именно там выиграть большое сражение. После этого я удалюсь в деревню и буду жить в покое и довольстве.

Как у него внутри все вновь бурлит и клокочет! Эта беспокойная натура из долины По рвется на Восток, а из Египта — в Баварию, и мысли его всегда крутятся вокруг сражений.

Теперь, когда он, вероятно, навсегда отрезан от родины, когда ни одна живая душа не манит его в далекую Европу, он завязывает отношения с персидским шахом и с султаном Майссуром, врагами Англии: речь идет о поэтапном пути в Индию. Все ближе ему поход Александра Великого. Однако потом, точно все просчитав, он поддается сомнениям и отказывается от этой мечты: «Только если пятнадцать тысяч солдат останутся здесь, а тридцать тысяч можно будет взять с собой, я рискну начать поход в Индию».

Хотя все это остается лишь мечтами, зато в те часы, когда он продумывает грандиозные планы, он счастлив. «Только в Египте, — скажет он четыре года спустя, — я чувствовал себя свободным от пут сковывающей цивилизации, я воочию видел средства осуществить все свои мечты. Я видел себя едущим на слоне с тюрбаном на голове и новым Кораном в руках, написанным в соответствии с новой религией, которую я основал. Я хотел объединить в этом походе опыт Запада и Востока, поставить историю на службу себе, сломить английское господство в Индии и этими завоеваниями восстановить связи с Европой».

Кто это говорит — поэт? Или завоеватель мира так близок с поэтом по духу? Словно поэт-романтик, он назвал себя в Египте султаном Эль-Кебиром, да он и всегда был немного султаном. Это его третье имя, такое же фантастическое, как этот поход.

На первых порах взбудораженная фантазия и злость на неверную жену, а также климат и слишком долгое безделье толкают его на любовную интрижку. Он берет в любовницы смазливую жену одного поручика, в Тулоне прокравшуюся на корабль в мужском платье: пикантная модисточка, дочь повара, с фиалковыми глазами и золотыми волосами. Супруга он отсылает по делам службы во Францию, и вскоре она уже с грацией и лихостью играет роль маленькой Клеопатры, сидит во главе стола, выезжает в карете вместе с военачальником, и ей неприятно, когда карету сопровождает его адъютант Эжен, сын ее соперницы. Так что Эжена отправляют в отпуск.

О скандале, связанном с его матерью, он знает больше, чем ему бы хотелось: Бонапарт сам дал ему необходимые разъяснения. Ну и положеньице! Кокетка, уже за тридцать, выставляет на посмешище своего супруга, прославленного национального героя, открыто изменяя ему с молодым щеголем и спекулянтом, по возрасту лишь чуть старше ее сына. А сам он, адъютант отчима, должен следовать за каретой, в которой безраздельный господин армии и паша новой колонии вывозит на прогулку свою молодую любовницу. Модисточка, которая, вероятно, предпочла бы красавца адъютанта, весело смеется, сверкает жемчужными зубками и, надеясь вытеснить своими чарами графиню-

креолку, приветствует новый дух равенства. Но между ними стоит генерал Бонапарт и ничего не требует от молодой женщины, кроме ребенка.

Да, если она наконец подарит ему наследника, которого он желает уже много лет, тогда он на ней женится, ибо на развод он подаст в любом случае. Так глубоко лежит в этой душе тяга к семье. Пусть даже мать его ребенка будет из простых — как, впрочем, и генералы вокруг, только бы ребенок был его законным сыном, то есть бонапартовских кровей. Насколько сильна в нем тяга к равенству людей успеха, настолько же сильна и тяга к законности. Порядок наследования королевской власти кончился. Порядок наследования самых способных начинается.

Через некоторое время он недовольно замечает кому-то из близких: «Эта глупая девка не умеет даже забеременеть!» Услышав это в другой раз, она вспыхивает и выпаливает с издевкой: «Как будто это моя вина!» Бонапарт слышит это и мрачнеет. У него нет никаких контраргументов, кроме сознания такой способности к продолжению рода, которая не воодушевляла еще ни одного смертного.

Его ум охватывал весь мир. Но если бы природа лишила его способности к размножению, он утратил бы основу для какой бы то ни было деятельности. Рухнуло бы его чувство собственного достоинства.

XVI

В походном «Институте» полководец лишь равный среди равных и никогда не пытается в споре подменить аргументы властью начальника. И все же даже тут речь зачастую идет о практических проблемах армии: необходимо фильтровать воду Нила, построить ветряные мельницы и найти сырье для приготовления пороха. Однажды, когда Бонапарт позволяет себе накричать на Бертолле, тот спокойно возражает: «Друг мой, вы сердитесь, значит, вы неправы». Бонапарт взрывается: «Вижу-вижу, вы все тут против меня. Химия — это кухня медицины, а медицина — наука для вероломных убийц». Врач возражает: «А как вы, гражданин генерал, определите, что такое искусство завое-

вателей?» В пределах ученого общества диктатор все это сносит, хотя за его пределами почти никто уже не решается противоречить.

Многие недели ежедневный приказ по армии кончается словами: «Из Франции никаких известий». Все брюзжат, бездельничают, теряются в сомнениях. Только походный «Институт» в эти недели разворачивает широкомасштабные работы. Почти всегда Бонапарт принимает в них живейшее участие — поначалу учится, затем советует, всегда оставаясь в тени. Время ожидания становится для него временем обучения. Начинаются всеобъемлющие программы по исследованию страны, впервые проводятся широкомасштабные изучения нильских рыб и минералов Красного моря, растений дельты Нила и химического состава песков пустыни, начинается разработка натриевых озер и нильского ила, исследуются причины чумы и страшной трахомы, от которой слепнет половина Египта, печатаются словари и грамматика, откапываются древние храмы Верхнего Египта... В один прекрасный день некий гениальный офицер приносит гранитную пластинку, окруженную резным веночком, на которой египетская надпись впервые сопровождается переводом на древнегреческий: найден ключ к пониманию иероглифов.

Однако ничто так не занимает мысли полководца, как Суэцкий канал. Во время длительных поездок по пустыне, всегда под угрозой нападения арабов, он прослеживает остатки античного канала, изучает возможности прокладки новой трассы, и все его наброски спустя полвека подтверждаются работами Лессепса. Он ведет себя не как авантюрист, потерпевший неудачу, а как будущий завоеватель мира: старается разделять континенты, соединять моря.

Наконец-то приходит известие! Купцы на маленьких фрегатах проскользнули мимо сторожевых кораблей англичан, их приводят к Бонапарту и расспрашивают. После уничтожения флота все изменилось: султан теперь объединился с Россией и вместе с ней объявил войну Франции, одновременно лазутчики Бонапарта доносят из Сирии, что сирийский командующий Ахмет-паша движется с армией к границам Египта. Воспрянув духом после этого известия, Каир поднимает мятеж. Его подавляют с помощью пушек.

Головы мятежников водружаются на колья в назидание недовольным. «Это окажет на них благотворное действие. Мягкостью здесь многого не добьешься».

В глубине души Бонапарт скорее доволен, чем напуган: раз турки все-таки выступают против него, то он может наконец остановить их и разгромить наголову.

Однако еще более волнующий его план он скрывает даже от большинства приближенных. Когда он покинул Францию, чтобы завоевать Египет, он уже подумывал об Индии, для завоевания которой ему требовался плацдарм. «Если у тебя есть корабли, можно пересечь океан на парусах. Если у тебя есть верблюды, пустыня перестает быть преградой». Он положил себе на завоевание и освоение Египта пятнадцать месяцев. Одновременно рассчитал, что для вооружения и подготовки индийского похода, для которого потребуется 40 000 солдат, столько же верблюдов и 120 пушек, нужны будут еще постоянные подкрепления из Франции, чтобы поддерживать сухопутные войска с моря.

Все эти планы перечеркнули события в Абукире: теперь англичане блокировали побережье, поступление подкреплений невозможно, султан обернулся противником, настроение египтян стало враждебным. Тем не менее полководец, привыкший менять свои планы в соответствии с изменившимися обстоятельствами, вознамерился обратить их к своей выгоде. Позволить туркам и англичанам совместно высадиться на берег? Это смертельно опасно. Следовательно, чтобы не погибнуть, надо атаковать. Захватить у турок все боеприпасы, вооружить сирийских христиан, поднять на мятеж друзов. Когда крепость Акко падет, настроение в Каире тоже изменится. В июне мы будем в Дамаске, наши авангарды выдвинутся вперед до Тороса на юге Турции, на восток пойдут 26 000 французов, 6000 мамелюков и 18 000 друзов, Дезе прибудет прямо из Египта. Тогда султану придется прикусить язык, а поскольку шах Персии уже предоставил нам возможность двигаться через Басру и Шираз, то в марте, если будет на то воля Аллаха, мы будем стоять на Инде.

Бонапарт вновь превращает актуальную необходимость в мечту о вечности. Он выступает в поход на Сирию.

Марш по почти сплошному бездорожью. Иногда он по

пятнадцать часов не слезает с лошади, проезжая семьдесят километров, только по ночам, без воды и почти всегда двигаясь в авангарде. Когда Яффа сдается на милость победителя, в плен попадают 3000 турецких солдат. Что с ними делать? Сохранить им жизнь? Но его собственные люди голодают, кроме того, придется выделить тысячу солдат для их охраны. Отослать их домой? Но у него нет кораблей. Обменять? Но у противника нет пленных. Просто отпустить на все четыре стороны? Но тогда они усилят Акко, следующую крепость. Так что же делать? Он собирает военный совет.

Все за то, чтобы пленных уничтожить. Разве противник только что не отрубил голову одному из наших парламентариев? Да и войска возмущаются, увидев, что из-за этих пленных сократится их довольствие. Бонапарт колеблется. Три дня он обдумывает это дело про себя, потом дает согласие. Пленных заводят в море и убивают. Многие военные историки, в особенности немецкие, позже одобрили это деяние как вынужденное.

Теперь на его пути остается еще Акко, там находится богатейший арсенал с новым оружием — затем вперед, на север! Великая мечта обновляется в эти недели: ему навязана война не на жизнь, а на смерть, он отрезан от всего мира, с тех пор как Турция объявила ему войну, теперь все можно, потому что — необходимо. Однако он медлит: в его голове возникает и другой вариант: «Тогда я пойду, — говорит он в эти дни близкому человеку, — на Дамаск и Алеппо, моя армия будет расти по мере ее продвижения, а я буду сообщать народу о свержении тиранов-пашей и вторгнусь во главе огромных вооруженных масс в Константинополь! Я разгромлю Турцию и создам новую громадную империю. Так я обеспечу себе славу у будущих поколений. Может быть, потом я вернусь через Адрианополь или Вену домой, но сначала разделаюсь с династией Габсбургов».

Все те же мечты, только теперь они усилились, потому что ситуация требует от него чуда.

Он подходит к стенам крепости Акко. Сама по себе она невелика, но очень хорошо оснащена современным оружием: ее обороняют английские офицеры и канониры. Атака отбита. Вторая тоже, за ней и третья. Одновременно на

рейде появляются грозные очертания английских военных кораблей.

Тут приходит известие прямо из Парижа, впервые за восемь месяцев! Наконец-то. Но что он читает! Талейран не поехал в Константинополь для ведения переговоров. Этот хитрец просто струсил? Тогда ясно, почему разгорелась война, а мы тут торчим перед этой каменной громадиной. Республика находится в состоянии войны с Неаполем и Сардинией. Моро, Ожеро — его конкуренты — получили многотысячные отборные войска. Почему, черт побери, мы торчим здесь в раскаленных песках? На штурм! Неужто погибать тут, у этого несчастного бастиона? Кто командир в этой крепости?

Командиром оказывается его однокашник по парижскому военному училищу, который эмигрировал и поступил на службу в английскую армию: это его Бонапарт нынче должен победить. Почему он не делает попыток прорваться внутрь? Осада — совсем не в его духе, его бурному темпераменту и стремительному темпу чуждо терпеливое и бездеятельное пересидживание неприятеля. Сам он никогда не применял осады: крепости и женщин берут штурмом. Поскольку он не умеет просить, угождать и домогаться, ждать он тоже не может. Время подпирает, мы не можем ждать — на штурм!

Тут солдаты начинают ворчать, даже среди офицеров начинается некое брожение: пусть нами командует генерал Клебер, он человек мягкий и добрый.

Бонапарт сидит в своей палатке, он занимается подсчетами. Страшный час! Что же, эта проклятая Англия так и останется навсегда непобедимой, даже на суше, даже здесь, на Востоке? Так и стоять лагерем месяцами? Невозможно. В Европе грохочут войны. Повернуть назад, так и не одержав победы? Незнакомое ему чувство, ни разу такого с ним не случалось, однако делать нечего: придется прервать этот поход на полдороге. Назад, в Египет! Что крепость Акко преградила ему путь в Индию, это только половина правды. Двинулся бы он к Инду, несмотря на тревожные известия, несмотря на события в Италии, даже после сдачи крепости, — неизвестно. Одновременность этих событий имеет символическое значение: Франция сражалась под

крепостью Акко и на реке По с одной и той же коалицией монархов, спасти ее мог только сын революции. Вопреки своему обычаю он не скачет впереди войска, а часами сидит на холме вплоть до наступления ночи и глядит на непобедимую крепость с какой-то зловещей тоской.

Путь назад ужасен, без дорог, без воды, по следам армии тащится чума. Неужели в этих песках Бонапарту суждено погибнуть от чумы? А он спокойно навещает больных в походном лазарете, подбадривает чем может. Но умирающим в муках он помогает умереть. С ответственностью верховного правителя он приказывает отравить опиумом полсотни больных чумой, которых врач назвал безнадежными. Потом врач это отрицал, и никто так и не знает наверняка, был ли выполнен этот приказ. Позже Бонапарт сказал: «В таких обстоятельствах я бы приказал отравить собственного сына».

2000 больных, 6000 здоровых бредут по пустыне. Каждые четверо несут одного тяжелобольного. Неужели лошадей не хватает даже для больных? Весь штаб шагает пешком. Когда на следующий день конюх спросил Бонапарта, на какой лошади тот хочет ехать, то получил удар хлыстом по лицу. Наконец вдаль показался Каир. Трофейными знаменами, прокламациями и маршами народ Египта не обманешь.

Что говорит Париж? И что можно ему ответить? Акко мы не взяли, из страны ушли, потому что там свирепствовала чума. В его «Институте» создается комитет, которому надлежит это доказать. Один из врачей встает и в присутствии ста ученых отказывается поставить свое имя под этой ложью. Военачальник, сжав зубы от злости, уступает и потом в течение многих лет покровительствует этому мужественному человеку.

Теперь турки приплывают по морю, чтобы его раздавить. Вновь все стоит на карте. И вновь это происходит в Абукире, через год после того злосчастного морского боя, но на этот раз он дает им высадиться. А потом со своей ополовиненной армией наголову разбивает турок. После битвы Мюрат обнимает Бонапарта и говорит ему: «Генерал, вы велики, как мир, но мир слишком мал для вас!» Сам Бонапарт пишет в Каир: «Вы, вероятно, наслышаны уже о

сражении под Абукиром: то была самая замечательная битва, какую мне довелось видеть! От всей высадившейся на берег армии противника не осталось в живых ни одного человека».

В эти же дни он заприметил среди мамелюков, взятых им на службу, высокого красивого парня: грузин по национальности с голубыми глазами, пять раз проданный в рабство, по имени Рустам. О чем говорят эти глаза, это лицо? О верности. И Бонапарт дарит ему красивую саблю, приказывает с сегодняшнего дня спать перед его дверью и в течение пятнадцати лет не отпускает его от себя ни на шаг.

Теперь, после победы, он устанавливает отношения с английским адмиралом, стоящим на рейде, якобы для того, чтобы обменяться пленными. На самом деле ему нужны только вести из Европы: сейчас газета для него ценнее, чем корона! Он сумел добиться своей цели: адъютант приносит газеты в палатку. Генерал спит. «Вот газеты, мой генерал. Плохие новости». Бонапарт рывком садится: «Что стряслось?»

«Шерер разбит. Мы вновь потеряли почти всю Италию». Тут он вскакивает с постели, мнет страницы, читает весь остаток ночи, прерывая чтение лишь гневными восклицаниями. На рассвете он велит позвать к нему командира флотилии, запирается с ним на два часа, потом уезжает в Каир.

— Я решил отправиться во Францию, — говорит он при закрытых дверях своему близкому другу Мармону. — И намерен взять вас с собой. Наши армии в Европе разбиты, Бог знает, где уже сегодня находится противник. Италия потеряна. Что умеют делать эти бездарности, сидящие у кормила власти? Бестолковщина, коррупция! Я один взвалил на себя все тяготы и непрерывными победами придал устойчивость этим правителям, которые без меня никогда не удержались бы в креслах. Не успел я уехать, как все развалилось. Если поеду немедленно, то Париж получит известие о моем возвращении одновременно с сообщением о моей новой победе. Мое присутствие вернет армии веру в свои силы, а гражданам — надежду на счастливое будущее.

«На мое будущее, — думает он, когда Мармон уходит. — Скажут: он бросил свою армию. Но ей будет еще

лучше под началом Клебера. Я прибыл сюда, чтобы основать колонию. Вот она: турок я разбил. Только один я могу послать сюда помощь из Франции. Мне тут больше нечего делать, всего нужно добиваться на полях сражений в Европе. 30 лет! Сколько дней мне еще осталось? На Тулон нет попутного ветра, считает адмирал, а в Средиземном море полно английских кораблей. На воздушном шаре до Парижа не долетишь! Но именно там бьется сердце мира. Нужно рискнуть отправиться морем».

XVII

С потушенными огнями плывут сквозь ночь два маленькие фрегата, когда-то конфискованные у Венеции. Генерал переименовал корабль: теперь он называется «Мюи-рон» — в память о том поручике, который спас его под Арколе и был убит. Через 15 лет он будет еще больше чтить память этого человека. Здесь, у мыса Бон, — самое опасное место. Они плывут буквально под носом у английских кораблей, освещенных и потому легко обнаруживаемых. Черт побери этот мистраль — как раз в эти минуты он улегся! Словно онемев и вконец отчаявшись, все сидят на палубе в эту августовскую ночь под рассеянным светом звезд. Сыграть в карты. Он играет, жульничает, радуется, что никто этого не замечает. Наутро, озорно улыбаясь, он сознается и возвращает нечестный выигрыш.

Как непохоже это плавание на то первое, 15 месяцев назад! Было 400 кораблей, теперь их два. Половина армии полегла. Правда, сказочная страна все еще в руках Франции, но надолго ли? Куда канули надежды на победу над Англией? Что стало с планом высадки в Дувре? То же самое, что с мечтой об Индии! Может, не надо было тайно уезжать из Египта? Клебер получил права главнокомандующего лишь после его отъезда. Последний приказ по войску звучал сухо и кратко. Штатские были загодя отосланы в Верхний Египет, дабы Монж и Бертолле, посвященные в его планы и находящиеся сейчас на борту, не проболтались. Вот только поэты! Один из них что-то заподозрил и тайком пробрался на фрегат, хотя цель его плавания еще никому не была из-

вестна. Пускай едет: эти люди бывают нужны, они — посредники славы. Последняя победа обеспечит нам настроение Парижа.

Неделями плывут оба фрегата, ежедневно подвергаясь опасности. «Что вы предпримете, если англичане нас обнаружат? — спрашивает Бонапарт. — Вяжетеся в бой? Невозможно. Сдадитесь? К этому вы не более склонны, чем я. Следовательно, остается лишь одно: в случае необходимости взорвать корабли». Все молчат. Монж, стоящий рядом с генералом, покрывается мертвенной бледностью. «Эту задачу я поручу выполнить вам», — добавляет Бонапарт со злобной улыбкой. И когда через несколько дней они обнаруживают прямо по курсу какой-то корабль и ошибочно принимают его за английский, Монж вдруг исчезает. Позже оказывается, что он стоит у двери порохового погреба.

Таким был авторитет Бонапарта.

Вот уже шесть недель они плывут по морю: вдруг из голубизны октябрьского утра на горизонте выплывает остров с такими знакомыми очертаниями горной гряды. Капитан смотрит на карту, отыскивая точку местонахождения корабля, Бонапарт подходит и кратко роняет: «Это Корсика». Не отдаст ли он тотчас приказ спешить к острову на всех парусах? Наоборот. Сначала он посылает лазутчиков — разведать, французский ли еще этот остров? Крепнувший ветер все быстрее гонит фрегаты к берегу, матросы изо всех сил стараются уменьшить скорость. У него есть несколько секунд, чтобы подумать:

Французский ли еще? Когда-то я каждый раз спрашивал, приезжая сюда, французский ли он уже. Сколько лет прошло с той поры? Шесть. Тогда мне было 24. Овладеть этим островом казалось тогда великой целью. За эти годы Италия лежала у моих ног, Египет покорился мне, Париж улыбался. Все происходило как бы само собой. А ветер все усиливается. Каков будет ответ? Там машут флагами: гавань свободна! Остров бездомного вновь становится его родиной.

Они пристают к берегу, и весь город Аяччо, все те тысячи, что некогда спасались от него бегством, толпятся в гавани, дабы своими глазами увидеть Бонапарта. Он скептическим взглядом окидывает бурлящую толпу, а когда схо-

дит на берег и многие обращаются к нему на «ты», и каждый выдает себя за его родственника, он равнодушно пожимает протянутые к нему руки. Лишь когда вдруг чей-то голос восклицает по-итальянски: «Сынок, сыночек дорогой!» и он узнает свою нянюшку Камиллу, крестьянку могучего телосложения лет под пятьдесят, он искренне тронут.

Поселившись в родительском доме, восстановленном и лишь недавно оставленном матерью, Наполеон приглашает к себе опытных людей.

Сведения! Сведения! Здесь, у родительского очага, он узнает, что произошло в последние три месяца с его достижениями: те территории, где он три года назад одерживал победы — Мантуя, Милан, почти вся Италия, — потеряны, Геную вряд ли удастся удержать, войско Массены теснят швейцарцы. Англичане высадились в Голландии. Что делать, что сделать в первую очередь? В Ниццу! Немедленно взять все в свои руки. Быстрыми победами вернуть все потерянное. Однако что он слышит? Двух директоров насильно удалили? Перепуганное правительство способно удержаться лишь такими подлыми приемами. Генерал Мулен — директор? Да кто он такой, этот генерал Мулен? А второго директора кем заменили? Сийесом? Значит, зревает новый переворот, может быть, даже полная смена государственного устройства. В Париж, немедленно в Париж! Скорее на корабль!

Два дня плавания курсом на Тулон. Уже в сумерках впереди видны очертания берега. Вахтенный сообщает, что видит английские корабли. «Ложимся на обратный курс!» — приказывает адмирал. «Вперед! — вопит на него Бонапарт. — На крайний случай у нас есть баркас, и мы на веслах доберемся до берега». И вновь его звезда ослепляет противника: он проскакивает у него под самым боком, а тут темнота сгущается и наступает ночь. До Тулона не добраться? Значит, идем на Фрежюс! Не знакомы с тамошними рифами? Рифы есть повсюду. Вперед, после семи недель в открытом море, у самых берегов Франции, нельзя не рискнуть.

Любит ли этот итальянец страну, на землю которой он сейчас ступил? Для него она лишь скрипка, играть на которой он умеет лучше, чем на всех других инструментах этой планеты.

На следующее утро имя Бонапарта передается из уст в уста и быстро облетает Фрежюс. Почему весь город собирается в гавани? Почему народ ликует? Что такого он совершил в Африке, чтобы жители этого провинциального городка приветствовали его как триумфатора? Один из чиновников пытается что-то вякнуть про карантин. «Лучше чума, чем австрийцы под самым носом!» — вопит толпа, радостными кликами провожая его карету по улицам города.

«Так плохи дела во Франции? — думает сидящий в карете, приветствуя встречающие его толпы. — Сдается, меня здесь ждали. Я должен был прибыть сюда не раньше и не позже. Сейчас — самый подходящий момент».

Он стремительно несется дальше на север. И беспрерывно выспрашивает всех, кто попадает к нему по пути в течение восьми дней, пока не останавливается в Эксе, где его настигает копия давно отправленного, но неполученного письма из Парижа: «Директория ждет вас, генерал, вас и ваших храбрецов!» Это явное свидетельство паники, охватившей правительство. Они ищут спасителя. Как же теперь поступить? Вот так: выждать еще несколько дней, сперва послать письменное сообщение, а затем уж прибыть лично.

«Египет, — пишет он в Париж, — огражден от любого вторжения и полностью принадлежит нам!.. Газеты я получил лишь в конце июля и тотчас вышел в море. Об опасности и не думал, мое место было там, где мое присутствие казалось мне наиболее необходимым. Это чувство заставило бы меня обойтись и без фрегата и, завернувшись в плащ, лечь на дно первой попавшейся лодки. Я оставил Египет в надежных руках генерала Клебера. Когда я уезжал, вся страна была залита водой: Нил никогда не был так прекрасен за последние пятьдесят лет».

Это письмо он шлет в Париж, дабы тамошние господа знали, кто грядет. Путь в Париж становится его дорогой победителя, в его честь гремят орудийные залпы. В Валансе он узнает в толпе хозяйку маленького кафе с бильярдной — он когда-то жил у нее — и дарит ей восточный сувенир. В Лионе ему приходится волей-неволей потратить два часа на торжественное представление, сочиненное в

страшной спешке: «Возвращение героя». Однако лучше всего демонстрирует ни с чем не сравнимое уже в ту пору воздействие его имени реакция одного из депутатов, Бодена: на весть о возвращении Бонапарта Боден издал радостный возглас и упал замертво. Так ярок был исходивший от его имени свет, что мог убить человека.

Париж все ближе. Бонапарт продолжает напряженно прислушиваться. Только о том, что касается его как частного лица, то есть о Жозефине, он не может спросить ни у кого. Разведены ли они уже? Где его братья? Со вчерашнего дня в Париже уже известно о его возвращении: почему никто из них не едет ему навстречу? А она? Не кончится ли все тем, что он найдет ее стоящей в зеркальной комнате и улыбающейся ему? Раннее утро хмуро заглядывает в окошко кареты, вот уже парижские стражники и Внешние Бульвары, вот карета въезжает в его улочку и уже виден дом. Кто это одиноко стоит у дверей?

Его мать.

XVIII

«Высадка Бонапарта — одно из тех событий, в которые поначалу не веришь. Вечером известие об этом вмиг распространилось в театрах и салонах высшего света. Даже в самых захудалых кабаках пили за его возвращение на родину. Если бы этот удивительный человек не был в курсе здешних событий, он мог бы счесть все это сном... Все нетерпеливо приветствуют его, ибо в каждом воскресает надежда... Все верят, что за ним по пятам следуют слава, мир и счастье».

Это он может прочесть в газетах уже на следующее утро. Даже враждебная ему пресса, не обманывающаяся на его счет, связывает с ним некоторые надежды: «Его египетский поход провалился, только что ему в том? Ему хватит того, что он на него решился, правда, нам дорого обойдется его смелость. И тем не менее, все, на что он замахивается, возвращает нам мужество». Все ему рады, и его планы начинают обретать конкретную форму.

Только Жозефины не оказалось на месте. Когда она ус-

лышала о его возвращении — это случилось на ужине в доме Гойе, первого из пяти директоров, — она страшно перепугалась, равно как и хозяин дома. У них были разные причины для тревоги, но была и общая: под ними заклокотал вулкан. Баррас, которому она, по-видимому, и в эту пору время от времени дарила свои милости, давно советовал ей развестись с почти пропавшим без вести авантюристом и обвенчаться с красавчиком Ипполитом. Писем от мужа она не получала: то ли их перехватывали, то ли он не посылал, почем знать. Лишь по враждебному отношению шурина она поняла, что на нее надвигалось: нужно было опередить события. Как раз в этот день Париж был наэлектризован сообщением о великой победе Бонапарта над турками. Может, все же разумнее остаться в тихой гавани? Столь же нерешительная, сколь легкомысленная, в последние недели она носилась с мыслью о примирении: в том, что ей в конце концов удастся все, чего она захочет, ее убеждали зеркало и мужчины.

Но сейчас, за ужином, она необычайно сдержанна. Гойе не уступает ей в выдержке, они улыбаются и поднимают бокалы за Бонапарта. Жозефина спешит домой, и в ее голове проносится: «Врага нужно ошарашить быстротой — разве не в этом секрет его собственных успехов? Прежде чем ему прожужжат уши злые языки, я, пробыв сутки в пути, верну себе его расположение».

Разминувшись с ним и узнав, что он проехал мимо, она спешит обратно, но теряет три драгоценных дня, за которые спешно съехавшиеся к нему братья успевают рассказать ему о ее шашнях. Близкие, правда, предостерегают его от развода: в качестве обманутого супруга он выставит себя на посмешище перед всем Парижем. Однако он решительно заявляет: «Нет, пусть уходит. Плевать мне на сплетни! На третий день все и думать об этом забудут». Одновременно он велит оставить у консьержа ее чемоданы и драгоценности, дабы ноги ее не было в его доме. Можно ли явственнее показать страх перед собственной слабостью?

Она приезжает, прорывает первую линию обороны, врывается в крепость. Он заперся в своей комнате. Она зовет и просит открыть, стоя под дверью. Ибо чем громче звучало его имя в устах толпы, тем больше надежд рожда-

лось в ее душе и тем меньше оставалось в ней гордости. Однако крепость не сдается. В конце концов она подтягивает вспомогательные силы для последней атаки: на помощь призываются Гортензия и Эжен. Они умоляют, зовут и плачут. Так проходит ночь.

Смутила ли этого великого знатока человеческих душ комичная сцена, мотивы которой были ясны всем участникам? Бонапарт дает себя дурачить какой-то бабе?

Так он лежит без сна после года отсутствия, в голове его роятся планы завоевания Франции, а точит его одна мысль: «Во время моего отсутствия все обманывали меня — и правительство, и партии, и соратники видели во мне опасного конкурента и пытались лишить той власти, которая стесняла их собственную. Никто здесь не жаждал меня видеть, пока я был далеко, даже братья. Неужели же это капризное существо, чьим прихотям я никогда не чинил препятствий, должно было провести этот год в тоске и печали, смиренно дожидаясь супруга, возвращение которого становилось все более проблематичным? Когда я здесь, она очаровательна. И если я в этот благоприятный для меня момент заключу с ней перемирие, все мои условия будут приняты и я смогу еще и получить гарантии на будущее. Какой красивый у нее голос! Видимо, она не утратила также и своей прелести, иначе не было бы у нее такого сонма поклонников. Каким жалким гусенком была по сравнению с этой креолкой та поручикова жена, да она еще и детей рожать не умела. Где мне найти такую, чтобы она была лучше Жозефины и как жена, и как любовница? И разве Жозефина не родила двоих детей?»

Он молча отпирает дверь и одним этим героическим молчанием подавляет в себе раз и навсегда все обвинения, которые вертятся у него на языке. В этом он тоже верен себе: решается единожды и до конца. На следующий день она признается, что наделала долгов на два миллиона. Он молча платит.

Братья неохотно, а сестры еще неохотнее влезают в «старую шкуру», как выразилась Полина, однако никто уже не смеет сказать ни слова против.

Да и время, не подходящее для дебатов. Уже назревают события. Братья в его отсутствие не сидели сложа руки.

Жозеф, ранее выполнявший роль его посланника в Риме, а ныне депутат, стоял на страже его интересов в Париже. Люсьен — лидер оппозиции, в свои 24 года славится как блестящий оратор и опасный противник при дебатах. Он завзятый театрал и сорвиголова, бледный от снедающего его честолюбия, однако слишком лихой, чтобы что-то создать. Только что он вместе с Сийесом разрабатывал план своего собственного государственного переворота, не хватало только крупного военачальника, который мог бы увлечь за собой войска. Теперь, когда такой человек появился, Люсьен молчит о своих честолюбивых помыслах. А когда момент для него будет упущен, он возненавидит брата. Он ведь тоже Бонапарт.

Опасен для Наполеона и новый свояк Жозефа Бернадот, всегда непроницаемый и скрытный, с нахальным носом и злыми чертами лица. Поначалу он вообще не явился с ним поздороваться. А теперь, когда Бонапарт заговорил об отчаянном положении республики, он перебивает его: «Республика как-нибудь справится со своими врагами, как внешними, так и внутренними!» и при этом сверлит его глазами. Два властных взгляда скрещиваются. Бонапарт, лучше владеющий собой, переводит разговор в общеполитическую плоскость, говорит об опасностях, угрожающих республике, потом резко критикует якобинский клуб. Бернадот: «Его основали ваши братья!»

Бонапарт вновь смиряет себя:

— Так точно, генерал! Я предпочел бы жить в лесу, чем в государстве, неспособном обеспечить мою безопасность!

Бернадот с издевкой:

— Боже мой, какой безопасности вам не хватает?

Тут уж и Бонапарту кровь бросается в голову, но Жозефина вмешивается и разводит спорщиков. Хотя именно она исподтишка подогривала их: ведь Бернадот женился на Дезире Клари, в которую некогда был влюблен Наполеон, но, получив отказ, в конце концов от нее отвернулся. Этого он не может простить ни себе, ни ему. Всю жизнь Бонапарт будет стараться загладить ту юношескую боль, осыпая подарками эту женщину, наполовину виновную в его страданиях. Ради нее он будет с тем же постоянством возвышать Бернадота, с каким тот — его предавать.

Братья и близкие друзья рисуют перед ним картину последнего года парижской жизни: картина разгула коррупции и бессильного насилия быстро обращает его предчувствия в решимость действовать. Уменьшить численность людей, причастных к власти, удлинить срок их полномочий, многоликую плоскость правительства превратить в острие вершины: триумvirат на 10 лет — это задача номер один.

В Люксембургском дворце, наверное, у всех кошки на душе скребут с тех пор, как он вернулся: каждый из пяти директоров не доверяет ему и четырем остальным. На кого же ему рассчитывать? Сийес дружен с Люсьеном, Баррас — с Жозефиной, Гойе — с ними обоими. В какую сторону склоняется Дюко? Можно ли положиться на генерала Мулена? Ему Бонапарт сразу по приезде подарил дамасский кинжал с бриллиантами. Отказаться от подарка тот не смог.

Директора перешептываются: на днях Бонапарт нанес им первый визит — разве генералу позволительно показываться на людях в таком виде? Разве он не был похож на авантюриста? В штатском зеленом сюртуке, в руке — круглая шляпа, а на поясе — мамелюкская сабля. Очевидно, задался целью ослепить Париж в роли паши. Но голова обрита наголо: видимо, хочет очаровать Париж подчеркнутой простоватостью. Однако нынче вновь явился, но уже как истинный генерал: верхом на коне, с блестящей свитой. Весь Париж сбегался поглазеть. Эта пыль в глаза не обещает ничего хорошего, а потом — как он уселся перед пятеркой власть имущих и принялся их выпрашивать! Разве это не похоже на допрос?

— Почему вы позволяете этому человеку втираться к вам в доверие? — упрекают директоров его враги. — Он провалил всю египетскую кампанию! Лучше прикажите его арестовать как бросившего свою армию. Он задумал недоброе!

Тем временем Бонапарт принимает как якобинцев, так и агентов Бурбонов, дает рекомендации каждому, кто просит его совета, никому не сообщает, что он задумал, держится как аристократ, долгое время странствовавший по миру и теперь спокойно, со скучающим видом выслушивающий рассказы своих родственников об их конфликтах. Он уже две недели в Париже. Обстановка накаляется. Госу-

дарственные дела почти не двигаются, ибо те пятеро, которым надлежит эти дела вершить, с головой ушли в интриги. Обе палаты из-за царящей в них сумятицы утратили какое-либо влияние, ветер перемен раскачивает новую Конституцию, однако никому не ведомо, откуда он веет. Кто обладает властью в этой стране? Иными словами, за кем пойдет армия — за генералом Муленом или за генералом Бонапартом?

В то время как все с тревогой ждут, что произойдет завтра между ним и правительством, Бонапарт делает в Институте Франции доклад о Суэцком канале в пору античности и демонстрирует слушателям кусок гранита с иероглифами. Первого ноября состоится торжественный официальный обед в честь какой-то победы генерала Массены. А где Бонапарт? Он что, не хочет поздравить одного из своих старых приятелей?!

В этот вечер он встречается у брата Люсьена с аббатом Сийесом. Этого умнейшего из директоров Талейрану наконец удалось уговорить прийти на встречу. И теперь эти два человека, равных по честолюбию и силе интеллекта, — новооткрыватель Конституции и новооткрыватель механизма власти — сидят друг против друга за столом.

— Я создал величие нации, — говорит Бонапарт.

— Лишь после того, как мы создали саму нацию, — возражает Сийес.

Теперь они обсуждают в деталях план государственного переворота: в условленный день сперва пускают слух о заговоре якобинцев — для того, чтобы перенести заседания перепуганных палат из центра Парижа в Сен-Клу. Для «обеспечения порядка» Бонапарт назначается командующим парижским гарнизоном. Сийес уже получил на это согласие Дюко. Трех остальных директоров угрозами или деньгами вынудят подать в отставку. Баррас возьмет деньги. А как быть с Гойе?

— Да не церемоньтесь вы с ними! — советует Люсьен. — Разгоните палаты силой!

Однако ночью, оставшись наедине с самим собой, Бонапарт размышляет:

«Силой! До чего же глупы мы все были всего четыре года назад! Теперь видно, куда ведет это насилие. Подлинное ис-

кусство переворота в том, чтобы соблюсти видимость полной легитимности. Без пушек и крови, без арестов и раскола: вот в чем секрет идеального переворота. В противном случае новая власть продержится с год, затем опять разверзнется дыра. За десять лет революции эта республика до смерти устала. Она достаточно долго сопротивлялась, эта амазонка: теперь она уже устала и ничего больше не хочет, кроме сильного человека, который повел бы ее за собой.

А надежен ли этот Сийес? У него слишком много мозгов за этим покатым лбом. Вот уже 10 лет он корпит над конституциями, он всего лишь идеолог, ищущий умелого вояку-генерала, чтобы потом вышвырнуть его за порог. Не появившись я теперь, он взял бы к себе Моро. А я возьму их обоих. Безусловно надежны Бертье, Бурьен, Мюрат, Мармон, Леклерк. Верен ли мне Люсьен? Пока верен. А Бернадот? Его злобный взгляд не был наигрышем. Тем не менее он и пальцем против меня не шевельнет. А Талейран? Поскольку он очень опасен, его нужно держать на привязи. Мулен? Да, нужно поторапливаться: в Париже слишком много генералов. И соблюдать осторожность!

На следующий вечер — новое совещание, наедине с Талейраном в его доме. Они допоздна беседуют, намечают план. Вдруг с улицы доносится шум, перед домом останавливается конный патруль. «Бонапарт побледнел, и, кажется, я тоже», — записал позже Талейран в своих мемуарах. Оба думают, что пришли их арестовать. Задув свечи, тихими шагами выходят на галерею, чтобы лучше видеть, что происходит. Ложная тревога! Просто уличная сценка с участием полиции. Они облегченно вздыхают. А все-таки — почему бы директорам в самом деле не арестовать подозрительных? Имя Бонапарта уже слишком популярно.

Шестого ноября — большой праздник в Люксембургском дворце в честь Бонапарта и Моро. Моро в одиночестве сидит на почетном месте: с таким недоверием относятся к Бонапарту хозяева праздника. Он в свою очередь велит знакомому лакею подать ему только хлеб и яйца: с таким недоверием относится он к хозяевам. Спустя полчаса он уходит, чтобы обсудить со своими сторонниками свержение тех, из-за чьего стола он только что встал. На следующий вечер у него в доме встречаются Талейран, Редерер,

Сийес. Кроме того, приглашены еще двое, которых хотят привлечь на свою сторону: Жордан и Бернадот. После ужина Бонапарт спрашивает Жордана, что должно произойти. В этом простом вопросе заключено доказательство общего кризиса: два генерала, еще ни разу не говорившие друг с другом по душам, встретившись, глядят друг другу в глаза. «Что должно произойти?» — спрашивает один. Второй многозначительно хватается за шпагу. Теперь уже и сомневающиеся переходят на их сторону.

Договариваются через 48 часов приступить к действиям. Самые преданные — Мюрат, Ланн, Мармон — должны известить офицеров трех родов войск, четвертый — Бертье — членов генерального штаба.

Люсьен берется обеспечить соответствующий настрой в Совете Пятисот, председателем которого он был избран на этот месяц, — очевидно, в честь возвращения брата. Президентов Совета Старейшин тоже вводят в курс дела, служителей зала заседаний инструктируют, кому на этот раз следует забыть послать приглашение на заседание. После назначения командующим парижским гарнизоном Бонапарт пошлет Ланна в Тюильри, а Мюрата — во дворец Бурбонов. Гойе Жозефина пригласит к завтраку на восемь часов утра, причем с супругой. В полдень Бонапарт напросится на обед к Баррасу — для усыпления бдительности. Бернадота должен соответствующим образом обработать его свояк Жозеф, дабы тот хотя бы не вмешивался. Редерер напишет текст прокламации, его сын обеспечит ее набор и печать в типографии своего приятеля.

«Не был ли Брут настроен более возвышенно? — думает Бонапарт. — Нет, все же и мы тоже замахиваемся на убийство: мы убьем анархию. Начнется новая эпоха, новый век! А какими грязными средствами, какой мелочной игрой! Армейский бивак — и то чище».

XIX

Пасмурное осеннее утро обволакивает туманом узкие улочки: 9 ноября. День 18 брюмера наступил. Перед домом Бонапарта происходит какое-то движение, верхом и в ко-

лясках сюда съезжаются офицеры. Наконец-то будет сражение? Большинство офицеров знают хозяина по итальянской кампании. Дом не вмещает всех, офицеры ожидают в саду, разминают ноги, обсуждают шансы, все бодро-весело, как на Рейне. Видимость законности соблюдается во всем, никто не сможет сказать, что в 6 утра они уже были в мундирах. Пока все идет как по маслу. Гонцы подтверждают, что намеченное выполняется: на 7 утра были созваны обе палаты — за исключением неугодных ораторов. Когда первые посвященные в планы заговорщиков прибыли на площадь, Люсьен в Совете Пятисот и его коллега в Совете Старейшин за десять минут провели голосование, утвердившее назначение Бонапарта командующим парижским гарнизоном.

Тут же появляется посыльный с запечатанным письмом. Все в высшей степени законно. Бонапарт быстро выходит и становится перед строем преданных ему офицеров. Все происходит четко, как на учениях в лагере. Потом он в окружении большой свиты скачет через весь город, сопровождаемый удивленными взглядами огромной толпы любопытных, не проявляющих, однако, никакого интереса к политике. На бульваре Мадлен к свите Бонапарта без приказа своего командира присоединяется драгунский полк. Другие командиры следуют за ними с Дюко и Мармоном, который вызвал их рано утром к себе, а когда они решили было отказаться, сославшись на нехватку лошадей, он приказал вывести перед ними партию коней, взятых им напрокат на каком-то ипподроме.

Парк Тюильри постепенно заполняется военными. Многие остаются в седле, Бонапарт спешивается и входит в зал заседаний Совета Старейшин. Зачем он хочет держать речь в этом сумрачном, неприветливом зале, перед людьми, которых он презирает? Почему бы ему просто не поклясться в верности этой Конституции, которую он как раз собирается выбросить в корзину для бумаг? С трибуны он бросает в зал:

— Республика гибнет... Понимая это, вы приняли закон, который ее спасет. Не стоит искать в прошлом примеры, способные приостановить вашу деятельность. Нет в истории ничего похожего на конец восемнадцатого века,

как нет в конце прошлого века ничего похожего на сегодняшний день... Мы хотим республику, основанную на свободе и равенстве. И мы ее создадим. С помощью всех друзей свободы я ее спасу. Клянусь вам исполнить это от моего имени и от имени моих соратников!

— Клянемся! — эхом доносится с улицы сквозь открытые двери зала. Старейшинам становится жутко. Какие еще соратники? А он с легким сердцем выходит из зала. Дряхлые старикашки! Пигмеи с адвокатскими глазками за стеклами очков. Разве он не заметил, что говорил, словно на параде, и что этот тон им не понравился?

За стенами зала его слова и голос звучат совсем иначе. Сидя в седле, он призывает свои войска спасти республику.

В этот момент приходит сообщение Люсьена: он перенес заседание Совета Пятисот на завтра. Но что это? Парадным шагом к ним приближается директорская гвардия. Друзья или враги? «Вас послал Сийес?» Командир гвардейцев отрицательно качает головой. Оба улыбаются.

Ибо Сийес, бледный как полотно, стоит у ворот Люксембургского дворца. Две недели он брал уроки верховой езды. Умный аббат замыслил присоединиться к войску своих новых друзей во главе гвардейцев, гордо восседая в седле, и тут же явить всему миру картину равенства, к примеру — прилюдно заключив Бонапарта, тоже сидящего в седле, в свои объятия. А гвардия бросила его одного: командир без приказа повел ее в Тюильри. Гвардия предпочитает более умелых всадников. Никем не замеченный и в мрачном расположении духа Сийес едет в карете вслед войскам вместе с Дюко, самым покладистым из директоров. Уж если его, Сийеса, участника заговора, одурачили, что станет с тремя остальными?

Мулен мыслит по-военному: оценив численность войск противника у Тюильри в 8000 и узнав через своих адъютантов, что все опорные пункты города в руках Бонапарта, он письменно «предоставляет себя в его распоряжение».

Вне себя от бешенства, честный Гойе мечется по дому. Хоть сам он и не принял странного приглашения к раннему завтраку, но все же послал к Жозефине свою жену, которая теперь, оказавшись как бы заложницей, пьет чай в обществе Жозефины, в то время как Бонапарт нагло обманы-

вает ее мужа — правда, не с его любовницей, а всего лишь с Францией. После первых сообщений о случившемся Гойе посылает слугу к коллегам-директорам, приглашая их на совещание. Никто не является: трое уже в стане противника, а Баррас велел передать, что принимает ванну.

Когда чуть позже к Баррасу является Талейран, посланец судьбы, тот бреется. Видимо, этот день он целиком посвятил уходу за своим телом. Однако после двух многозначительных взглядов он уступает и требует только обеспечить ему беспрепятственный проезд. Однако на его секретаря, передавшего этот ответ, Бонапарт при всех набрасывается прямо в парке:

— Во что вы превратили Францию, которую я оставил вам в таком блеске! Я дал вам мир, а вернувшись, застаю войну... Что вы сделали со ста тысячами французов, деливших со мной славу! Они мертвы! Так дальше не пойдет! Так мы через три года придем к деспотизму! А ведь мы хотим республику, основанную на свободе и равенстве, терпимости и морали!

Секретарь дрожит от страха. На самом деле Бонапарт совершенно спокоен, просто ему выгодно изображать гнев перед несколькими сотнями собравшихся вокруг зевак: они передадут его слова дальше, так что через два часа о них будет знать весь Париж.

И тут появляется Гойе. У него еще хватает мужества — он предостерегает Бонапарта, окруженного послушными ему войсками, от применения силы, взывает к его чувству долга и обязанности служить Директории.

— Директории уже не существует! — резко обрывает его Бонапарт. — Республика в опасности, я намерен ее спасти. Сийес, Дюко, Баррас подали в отставку.

В этот момент приносят письмо от Мулена.

— Вы не в родстве с Муленом? Нет? Ну так вот, в этом письме и он просит об отставке. Не станете же вы теперь отказываться уйти по-хорошему, ведь вы остались в одиночестве.

Но старик упорно стоит на своем: это незаконие. Вернувшись в Люксембургский дворец, он и его друзья вскоре обнаруживают, что пятьсот человек окружили здание и никого не выпускают, пока все не кончится. Баррас ждет ре-

шения своей судьбы дома и весьма встревожен: что если Бонапарт решит сегодня рассчитаться с ним? А Жозефина так изменчива. Но вскоре вновь является Талейран с разрешением на беспрепятственный проезд и мешочком золота, о котором нельзя точно сказать — вручил его Талейран Баррасу или же удержал в свою пользу в качестве платы за услугу.

Так генерал Бонапарт отрешил от власти пятерых властных лидеров республики. Однако то был лишь первый день переворота, назавтра в Сен-Клу ему придется потруднее. Вечером в доме Бонапарта бурное веселье. Люсьен везде побывал, все знает и имеет все основания взволнованно бросить толпе гостей:

— Нужно было покончить со всей этой историей в один день! Мы предоставили им слишком много времени! В Совете Пятисот уже вопят, что их перехитрили! Завтра все повиснет на волоске! Нужно просто разогнать депутатов с помощью военных, а самых заядлых арестовать!

Да, завтра возможны осложнения. Бернадот хотел было возглавить якобински настроенные войсковые части. Но «эти ребята оказались просто трусами». — «Чужих генералов следует посадить под арест!» Тщетно близкие и друзья досаждают Бонапарту такими требованиями, он упорно настаивает на соблюдении внешней законности:

— Иначе скажут, что я боюсь этих генералов. Не дадим никому права кричать, будто мы творим беззаконие. Никаких партий, никакого насилия! Народ должен выразить свою волю через депутатов! Никакой гражданской войны! Что начинается кровопролитием граждан, кончается позором.

Но ночью он на всякий случай кладет заряженные пистолеты рядом с кроватью.

XX

На следующее утро депутаты в каретах, колясках и крытых экипажах, а также верхом и пешком бесконечной вереницей направляются в Сен-Клу, словно спешат на парад. Бонапарт тоже едет вместе со всеми, дабы никого не про-

воцировать своей свитой: он твердо решил в этой операции до последней минуты свято блюсти видимость конституционности. Разве вчера был хоть в чем-то нарушен закон? Разве палаты не имеют права ради обеспечения своей безопасности перенести заседания за городскую черту или назначить нового командующего парижским гарнизоном? А директора — разве не имеют права подать в отставку? И разве угроза со стороны якобинцев, послужившая поводом к его действиям, вымышлена? Сегодня палаты путем открытого голосования изменяют Конституцию, назначат временно трех человек возглавлять исполнительную власть и назовут их в подражание римлянам триумвирами или лучше консулами. А потом перенесут свои заседания на более поздний срок. Разве все это совершается не строго в рамках закона?

Но депутаты придерживаются другого мнения. Словно клубящиеся по низинам клочья тумана, перекатываются они по залам этого давно заброшенного замка. Они спорят, протестуют, а поскольку залы, спешно подготавливаемые для заседаний, будут готовы не раньше часа дня, у депутатов есть время, чтобы настроиться на воинственный лад.

В маленькой комнатке с окнами в парк томятся в ожидании событий завтрашние консулы: Сийес и Дюко большей частью сидят, а третий непрерывно меряет шагами комнату, на ходу выслушивая донесения своих сторонников. Он думает: «Проклятая медлительность этих штатских! Сперва у них целое утро уходит на то, чтобы поставить в зале несколько скамей, а потом еще уйма времени на то, чтобы привести к присяге каждого в отдельности! Наши рекруты хором разделяются с этим за две минуты. Ниже моего достоинства сидеть тут в какой-то жалкой каморке и ждать, что решат в своих залах эти адвокатишки!»

Тем временем наверху, в зале Аполлона, заседают старейшины, внизу, в оранжерее, — Совет Пятисот. Там же толпятся и зрители — все поголовно люди надежные. Когда после принятия присяги дело наконец доходит до обсуждения, которым в Совете Пятисот руководит Люсьен, оппозиция своими убедительными доводами склоняет на свою сторону все больше депутатов, ораторы ссылаются на

растущую под окнами замка угрозу со стороны войск, и, когда они выкрикивают: «Мы против диктатуры! Этот новый Кромвель хочет заковать нас в кандалы!», им отвечает одобрительный гул почти всего зала. Все неутешительнее звучат сообщения в задней комнатке, теперь уже даже офицеры начинают волноваться: «Разогнать их! За стенами замка стоят наши войска!»

Но Бонапарт в ответ лишь смотрит на них холодным взглядом, берет свою шпагу и молча поднимается по лестнице в зал Совета Старейшин. Несколько близких друзей, следующих за ним, обмениваются взглядами, сокрушенно покачивая головами: «Он что, хочет опять, как вчера, держать речь, вместо того чтобы стрелять?» Председатель палаты — удивленный и даже заинтригованный его появлением — уступает ему кафедру. Получится ли сегодня лучше, чем вчера? Будет он говорить по делу, а не только о самом себе?

— Вчера я спокойно сидел дома, когда вы прислали за мной... А нынче выливаете на меня ушаты грязи и клеветы... С первого дня после моего возвращения все партии тянут меня на свою сторону... Совет Старейшин должен побыстрее сказать свое слово. Я не интриган, вы меня знаете. Разве я не дал вам достаточно доказательств моей преданности отчизне?... Неужели я стану дрожать от страха перед мятежниками, я, которого не смогла одолеть даже Большая коалиция? И если я, по-вашему, коварный и подлый человек, то пусть любой из вас будет Брутом!

Движение и смех в зале. Почему же он продолжает говорить? Видимо, просто не понимает, где он находится.

— Вся Франция должна знать то, что стало известно нам... Все партии стремятся извлечь выгоду из этого кризиса. И каждая стремилась перетянуть меня на свою сторону. Но я обратился за помощью к палатам. Если из-за вашей медлительности свобода погибнет, ответственность перед миром и будущими поколениями ляжет на вас!

Фразы его становятся все более вязкими и туманными, старейшины уже повскакали с мест и обступили кафедру, они не дают ему говорить, требуют, чтобы он назвал имена. Вдруг он поворачивается и, как бы обращаясь к войскам, находящимся за дверями зала и невидимыми изнутри,

говорит, явно пытаясь подготовить более или менее достойный уход:

— А вы, мои боевые товарищи, стоящие здесь плечом к плечу, направьте свои штыки, которыми мы вместе добились победы, в мою грудь! А если явится какой-нибудь говорун, живущий на подачки из-за границы, и посмеет объявить вашего генерала вне закона, то пусть грянет гром сражений! Бог войны и бог успеха — на моей стороне...

Не погубит ли оратора и готовящийся им государственный переворот раздавшийся громовой хохот? Бурьен наконец пробился к нему сзади и, взяв его за руку, шепчет: «Кончайте, генерал, вы уже не понимаете, что говорите!» Он быстро следует за Бурьеном и выходит из зала. Один депутат из дружеских чувств к нему спешит как-то сгладить тягостное впечатление.

Снаружи ему дышится куда свободнее. Что же это было? Какая туча затмила этот ум? В суматохе сражений он сохранял трезвую голову, из которой решения выскакивали, словно мраморные шарики — блестящие, холодные и совершенные по форме. Почему же он так беспомощен нынче, когда на карту поставлено все?

Потому, что он должен приказывать, а просить он не умеет. Хотя льстить, угрожать, тянуть резину и лгать умеет лучше дипломатов старой выучки, с которыми заключал договора. Но он держался с ними на равных и всегда помнил: не смогу уломать словами, заговорят пушки! Любые нагрузки может вынести этот человек, только не умеет помогать и признавать над собой верховенство закона, не созданного им самим. Он искренне стремится к порядку и законности — но не тем, которые были до него.

Он предчувствует, что после десяти лет хаоса привести эту страну к упорядоченному государственному устройству будет стоить ему нечеловеческих усилий. Никто не будет ущемлен из-за низкого происхождения или бедности, ибо все имеют равное право добиваться успеха. А здесь засела кучка адвокатов, за десять лет насквозь прогнивших и коррумпированных, расколовшихся на секты и прокопченных дымом партийных распрь. И этих-то ничтожных людшек он должен просить и умолять, чтобы они ему — и не только ему одному — соблаговолили на время предоста-

вить власть, которой он уже давным-давно обладает и которая вон там стоит, сгорая от нетерпения? Скорее бы уж разогнать их всех!

Он, державшийся среди ученых «Института» тише воды и ниже травы, учась и спрашивая, здесь настолько не понимает настроя этих фракций, что уже теперь считает дело удавшимся: посылает Жозефине победное сообщение, подбадривает своих сторонников и тут же спускается вниз, чтобы устроить спектакль в Совете Пятисот. Хорошо еще, что предусмотрительные друзья послали с ним четырех атлетов-гренадеров, на чью силу можно положиться.

Впереди этой группы людей, которых ему при его парламентарских намерениях не следовало бы приводить с собой, со шляпой и хлыстом в руке он входит в зал Совета Пятисот. «Бонапарт!» В мгновение ока все поворачиваются к двери, а яковинцы поднимают крик: «Долой тирана! К оружию! Смерть ему!» Несколько рослых депутатов набрасываются на него, кулаками отбрасывают назад. Гренадеры стремглав бросаются на выручку и прикрывают его, удары яковинцев приходится на их руки и плечи. В гомоне и крике все смешалось, куча дерущихся совсем обезумела. Наконец, пятерым удается, шаг за шагом отступая назад, добраться до выхода. Перед самой дверью, в окружении своих, он несколько секунд стоит в полной растерянности и не может вымолвить ни слова. Но потом быстро приходит в себя и возвращается в заднюю комнатку.

Во время итальянской кампании Бонапарт не раз оказывался в переднем ряду сражающихся, под Лоди его просто вытащили из самого пекла. А здесь он впервые попал в такую плотную массу тел, что нет никакой возможности ни стрелять, ни колоть. Такую же сцену ему доведется пережить еще раз в самом конце карьеры. В эти минуты он не мог выхватить шпагу еще и потому, что считал своих противников безоружными, хотя это лишь частично соответствовало действительности. А кроме того, он тем самым окончательно подорвал бы главную идею переворота.

Кулаки депутатов, ударов которых ему только что едва удалось избежать, разрушили его затею: против него было совершено насилие! Он в бешенстве мечется по комнате, его гордость задета, в гневе он раздирает себе ногтями

щеку — по лицу его течет кровь. Кровь? Он вмиг трезвеет. Да ведь удачнее этой крови ничего и придумать нельзя! В Совете Пятисот на него было покушение! Нужно продемонстрировать войскам, как эти типы осмелились напасть на их командующего! Внушенная самому себе иллюзия, будто противники первыми преступили закон, освобождает его от взятых на себя моральных обязательств.

А в это время внутри зала Люсьен борется за брата. «Вне закона! В изгнание!» — несетя по рядам. Люсьен пытается перекрыть шум голосом и колокольчиком. Тщетно. раздаются требования проголосовать за изгнание Бонапарта — а ведь каждый знает, что это означает в революционном Париже. Так ничего и не добившись, Люсьен, играющий роль защитника права и закона, делает величественный жест: слагает с себя полномочия председателя и сбрасывает с плеч тогу. А потом выбегает наружу с криком: «Пора!»

Брата он находит уже среди военных. Когда тому доложили, что его объявили вне закона и приговорили к изгнанию, он побледнел как полотно, подбежал к окну и крикнул во двор: «К оружию!» Потом спустился вниз, вскочил в седло, мгновенно отметив про себя, что войска настроены чересчур благодушно, таких за собой не увлечешь. В парке уже смеркается, все чего-то ждут. Тут прибегает Люсьен, тоже вскакивает в седло и вместе с братом скачет вдоль строя.

За решетчатой оградой парка, сидя в карете, за происходящим наблюдают двое, решивших либо сегодня бежать, либо завтра взять в свои руки бразды правления — в зависимости от исхода операции. Эти двое — завтрашние консулы.

Все кажется сплошным безрассудством. Лишь один Люсьен правильно оценивает момент. Этот новичок в политике лучше умеет говорить перед солдатами, чем его брат перед депутатами:

— Солдаты! Как председатель Совета Пятисот заявляю вам, что там, в зале, большинство депутатов терроризировано кучкой вооруженных якобинцев! Эти подонки, оплачиваемые Англией, осмелились объявить вне закона и приговорить к изгнанию вашего командира, назначенного па-

латой! Его даже попытались убить! Вот глядите — он ранен! От их кинжалов нас должны защитить ваши штыки! Истинными депутатами считайте лишь тех, кто вместе со мной выйдет к вам! А кто останется, гоните вон из зала!

Брат его выслушал все это, сжав губы. Потом сам крикнул, как бы вдогонку:

— А кто окажет сопротивление, убивайте на месте! И слушайте только меня! Я — Бог войны...

Люсьен, испугавшись еще одной речи, шипит ему в ухо: «Ради Бога помолчи!»

— Да здравствует Бонапарт! — дружным ревом отвечают войска, потому что видят в братьях объединение военной и гражданской власти. Однако с места никто не трогается. Все пропало, если они сейчас не двинутся! Тут Люсьену приходит на ум последнее средство: театральным жестом он выхватывает у одного из офицеров шпагу и представляет ее острие к груди брата:

— Клянусь прикончить собственного брата, если он когда-нибудь осмелится угрожать свободе Франции!

Эта фраза поднимает боевой дух солдат. Мюрат тут же приказывает барабанщикам играть «Марш», одному отряду велит встать за ним, и громовым раскатом проносится над строем солдат его голос:

— Ребята, просто вышвырните всю эту шайку из зала!

Наконец-то в ответ раздается дружный хохот. Со штыками наперевес, но никого не трогая, они, смеясь и балагурия, вытесняют из зала самых храбрых депутатов, еще пытающихся сопротивляться. В сумерках гаснущего дня все смешивается в одну кучу — красные тоги, береты и кивера гвардейцев. Последние депутаты прыгают из окон.

Бесценный Люсьен тотчас бросается в Совет Старейшин, безудержно преувеличивает случившееся с его братом, в поднявшейся панике вырывает у депутатов согласие на назначение трех консулов и на перенос заседания на ночь. Потом руководители фракций идут ужинать в маленькую харчевню, потому что все сильно проголодались.

Поздно ночью самые преданные Конституции депутаты еще раз собираются в перевернутом вверх дном зале заседаний Сен-Клу. Тридцать человек, представляющих этой ночью народ Франции, обсуждают при свечах предъявленные

им требования. И покуда сотня щеголей, красивых женщин и галантных мужчин насмешливо наблюдают за полуночным церемониалом, а высшее общество безмятежно веселится, неутомимый Люсьен с достоинством служит политическую мессу и в два часа ночи под барабанный бой принимает присягу у трех консулов. «Да здравствует республика!» — возглашают несколько усталых голосов.

В три часа Первый Консул вместе с Бурьеном возвращается в Париж. Всю дорогу он молчит, уставясь в одну точку. Только дома, в присутствии Жозефины, он вновь обретает дар речи:

— Ну как, Бурьен, я сегодня, наверное, наплел много чуши?

— Да уж немало, генерал.

— Эти ослы совсем сбили меня с толку. Не умею я выступать перед большим собранием.

Но потом он резко меняет тему и даже как бы забывает о государственном перевороте и его громадных последствиях — ведь завтра он будет правителем Франции! — и говорит только о личной вражде: вот что его по-настоящему мучит.

— А уж Бернадот куда как хорош! Захотел меня предать! Его жена... Его жена оказывает на него большое влияние. Разве я мало для него делал? Вы оба свидетели. Обидно, что я тешил его тщеславие. Ему не место в Париже. Только так я могу отомстить... Спокойной ночи, Бурьен. Кстати, завтра мы все будем спать в Люксембургском дворце.

Книга III
ПОТОК

*То, что веками смутно наблюдали,
Насквозь он видит силою ума.
Все мелкое уходит в сини дали:
Лишь море важно да земля сама.*

ГЕТЕ

I

Вокруг большого овального стола сидят двадцать с лишним человек. Есть тут и молодые, и люди в годах, взгляд у одних смелый, у других испытующий, почти все в простых сюртуках, без париков и кружев по моде 1800 года, военные — их здесь совсем немного — без золота или орденов. Все они — выдающиеся знатоки практики и теории, горожане и сельские жители, боевые вояки и ученые из лабораторий, люди, которых объединил и заставил смолodu принимать жизнь всерьез горький опыт десяти лет революции, завершить которую они здесь собрались. И окружающий их блеск, холодная роскошь Тюильри, где восседали на троне последние Бурбоны, золотисто-пурпурный блеск шелков и ковров не соответствует их буржуазной деловитости, ибо пламя свечей, преломляясь в хрустале, напоминает радужными отсветами об эпохе света и цвета.

Директора тоже устраивали в королевских покоях празднества и пиры для своих приятелей и любовниц, но они остались в Люксембургском дворце, где до них заседали пэры Франции: Тюильри казался им полным проклятий и призраков. Диктатор разрушил чары: спустя два месяца после переворота он въехал вместе с двумя другими консулами в старинный дворец. Его как магнитом притягивало это здание. Только въезд этот оказался скорее комичным, чем торжественным: когда через семь лет после ареста последнего короля сюда прибыл первый гражданин, парижане

залились хохотом, увидев под плохо наклеенными бумажными полосками номера наемных карет — анекдот да и только! Такими же неожиданными, как этот символический въезд, были и первые слова Первого Консула:

— Вот мы и в Тюильри, — сказал он своему приятелю, с наивным любопытством оглядываясь вокруг. — Теперь нужно тут и остаться. Кое-кто из сидящих за овальным столом некогда приезжал сюда в напудренном парике, кружевном жабо, туфлях с пряжками и дрожа от страха ожидал, будет ли принят Его Величеством. Потом сиживал за похожим столом в Люксембургском дворце, но стол этот был неустойчивый: законы там появлялись и исчезали, чрезвычайные распоряжения, особые постановления или временные декреты сменяли друг друга, три варианта Конституции появились и исчезли — все быстро, с шумом и блеском, но недолговечно, как фейерверк. Десять лет, в течение которых новые идеи стремились осуществиться, походили на одну долгую, освещенную мерцающими огнями и пронизанную барабанным боем ночь. Это было похоже на военный лагерь, но без фронтов и битв. С приходом и уходом вооруженных партий, с бурными столкновениями старых порядков с новыми желаниями, вызванными к жизни факелами смелых идей, с гремучей сумятицей молчаливых надежд и громкоголосого властолюбия пришла настоящая вакханалия свободы, равенства и фальши. И на все это сверху, из-за облаков, глядят Руссо и Вольтер — первый возмущенно, второй — насмешливо улыбаясь. А ведь все это сотворили они своими книгами.

Внезапно воцаряется тишина. С тех пор как приземистый человек в поношенном зеленом генеральском мундире председательствует за овальным столом, многие забились в норы — одни довольно мурлыкая, другие злобно брюзжа, во всяком случае, не смея подать голос. Ослабленная коррупцией, террором и демагогами Франция, словно авантюристка, уставшая после любовных походов, возвращается в объятия одного-единственного сильного мужчины: пусть он делает с ней что хочет.

Бонапарт был именно тем человеком, в котором нуждалась Франция, и ему не нужно было доказывать это силой: достаточно было самому захотеть. Таким человеком мог

быть только сторонник порядка, никогда прежде не находившийся у власти, не принадлежащий ни к какой партии и тем не менее пользующийся популярностью в народе: следовательно, только военный, причем увенчанный многими победами. Если бы Моро был более самоуверен и ловок, он мог бы стать его конкурентом. Другие известные генералы к тому времени либо уже умерли, либо жили в тени, штатских конкурентов не было. Так что Бонапарту после его военных подвигов государственная власть досталась легко и перешла бы к нему вообще без борьбы, если бы он не добивался с таким упорством сохранения формальной законности, что получалось у него до смешного неудачно.

И все-таки именно в этом как бы надуманном препятствии содержится признак и гарантия его политических талантов: он видит, что власть, покоящаяся на силе меча, недолговечна. «Знаете ли, — сказал он однажды, — что меня больше всего восхищает на этом свете? Насилие неспособно что-либо создать. В мире существуют только две силы: сила ума и сила меча. Но надолго всегда побеждает ум».

И то, что этот великий полководец своего времени ни в тот день, ни позже не ударял железным кулаком по столу ни в Париже, ни при переговорах о перемирии, мире или заключении союзов, лишь обнаруживает наличие у него такой политической гениальности, которая меч считает лишь одним из орудий своей власти. В тот день и потом в течение полутора десятилетий шум сражений никогда не притуплял его слуха, он всегда учитывал общественное мнение, этот глас народа.

Поскольку Бонапарт больше полагается на ум, чем на меч, он решительнее стремится к порядку и миру, чем к войне и завоеваниям. История следующего десятилетия докажет справедливость такого утверждения.

Порядок означает для него равенство, но отнюдь не свободу: лишь одно из этих двух завоеваний революции он перенимает у нее для своей диктатуры, но это одно он будет — за исключением некоторых отклонений — блюсти до конца, хотя на поверхностный взгляд кажется наоборот. Но свобода? Да что такое свобода? «Дикарь, равно как

и цивилизованный человек, нуждается в господине и мастере, в волшебнике, который держит в страхе его воображение, а его самого принуждает соблюдать строжайшую дисциплину, сажает на цепь, не дает ему кусаться, когда захочется, колотит его и берет с собой на охоту; его судьба — подчиняться, ничего лучшего он не заслуживает и прав никаких не имеет». Эти грозные слова мизантропа выражают, однако, лишь половину его тайных мыслей. Во всем он ценит только умелых и способных, только их он возвышает и дает власть над тысячами. Ведь и сам он только благодаря энергии и трудолюбию, врожденному и благоприобретенному превосходству получил власть над миллионами. Да, он все-таки сын революции.

В этом лишь частично — секрет его воздействия. Чем больше он расширяет сферу своей власти, тем увереннее чувствуют себя люди в системе, которая гарантирует каждому профессионалу положение в обществе, влияние и богатство, потому что тот, кто стоит во главе всего, вышел из их среды. Уже первые его шаги дали это понять. Должность президента, предусмотренную Сийесом в проекте закона, в обязанности которого входило лишь представлять и ставить свою подпись, он вычеркнул, сопроводив по-солдатски грубым замечанием: «Этого борова вон!» Вместо президента выступает Первый Консул, облеченный всей полнотой власти, но и выполняющий массу работы — он и главнокомандующий, и руководитель внешней политики, он же назначает министров и послов, членов Государственного совета и префектов, офицеров и судей. Тридцать назначенных им сенаторов избирают своих коллег, но у них нет права законодательной инициативы, как нет его у Законодательного собрания и Трибуната, созданных, в сущности, лишь для того, чтобы заядливые политические говоруны получили трибуну, а сенаторы — высокие оклады и тем самым шикарную жизнь.

Если все зависит от него одного, то для него важны только личности, а не их громкие имена, ибо ни происхождение, ни претензии на высокое положение, ни партийная принадлежность не приводят к должностям в государстве и армии: оцениваются только энергия и ком-

петентность. По этому же принципу образован Государственный совет.

Именно таким сообществом умнейших людей мудро окружает себя Первый Консул. Великого Лапласа Бонапарт из уважения к «Институту» немедленно назначает министром внутренних дел; правда, потом этот ученый вновь возвратится от механики государства к механике небесных тел. Редерер — чиновник и журналист, один из наиболее независимых и единственный из всех, кто будет рядом с Наполеоном в течение двадцати лет и зафиксирует на бумаге самые важные беседы с ним. Труше — один из лучших юристов того времени. И хотя за столом сидят и роялисты, и якобинцы, все они называют друг друга гражданами, ибо тут царит равенство, а во главу угла ставится интеллект.

Когда гражданину Консулу кладут на стол проект официального решения Государственного совета, он заявляет:

— Важно детально изложить мнения авторитетов в области права, это всегда впечатляет. А что думаем мы, военные и финансисты, не столь важно. В запальчивости я частенько говорил вещи, несправедливость которых сам тут же и осознавал, так что не стоит думать обо мне лучше, чем я есть.

А заметив, что кто-нибудь ему просто поддакивает, он говорит:

— Вы здесь, господа, не для того, чтобы соглашаться с моим мнением, а для того, чтобы высказывать свое. Потом я сравню его с моим и погляжу, какое лучше.

Эти заседания, начинающиеся часто лишь в девять вечера, потому что до того Консулу приходится заниматься срочными делами текущего дня, иногда растягиваются до пяти утра. И если кто-то из членов Госсовета отключается и даже военный министр засыпает, он трясет их за рукав и кричит:

— Очнитесь, граждане! Сейчас только два часа. Не зря же нам платят жалованье!

Конечно, он — главный за этим столом, один из самых молодых, ему в эту пору всего тридцать лет. Однако за три кампании он научился заботиться о сотнях тысяч людей. Разве управление армией, прошедшей путь от Альп по

морю вплоть до пустыни, — не самая лучшая школа управления государством? Там тоже приходилось обеспечивать деньги и хлеб, а также справедливость, награды и наказания, спокойствие, послушание и порядок.

Еще в ночь переворота он создает две комиссии для подготовки Кодекса законов: это было первым деянием его диктатуры. Тогдашний хаос был порожден нехваткой законов. До революции во Франции вообще не существовало единого свода законов, потом были обещания его создать, которые и одиннадцать лет спустя остались невыполненными. В первое же лето Бонапарт поручает это дело трем выдающимся юристам, и через четыре месяца проект Гражданского кодекса, позже названного Кодексом Наполеона, уже готов. Теперь он обсуждается Государственным советом. Еще через полтора года Кодекс уже ставится на голосование в палате.

Все в этом Кодексе, более века действовавшем во Франции и во всех завоеванных Наполеоном странах, основные положения которого и ныне главенствуют почти во всем гражданском законодательстве Европы, — все в этом Кодексе производит впечатление новаторского и основанного на нравственности. Этот свод законов, который диктатор обсуждал много месяцев и по многим спорным вопросам выносил свое решение, заменил рыхлые формулировки революции четкими принципами разума, беспристрастно отшлифованными опытными юристами. В результате выкристаллизовались Права Человека. В этом Кодексе и в помине нет наследственного дворянства, все дети равны по рождению, а родители обязаны поддерживать своих детей, евреи уравниены в правах с христианами, для всех доступен гражданский брак, допускающий развод.

По последнему пункту, как и по всем вопросам семейного права, Наполеон колебался дольше всего:

— Мы знаем, что нарушение супружеской верности — явление отнюдь не редкое, а вполне обычное, оно как бы относится к сфере постельных приключений... Этим дамам, изменяющим мужу ради драгоценностей или стихов, ради красавца Аполлона или девяти муз, нужно создать какую-то преграду.

Им движет любовь к порядку, и, значит, он целиком за

брачные узы. Он даже лично добивается того, чтобы разрешить женам следовать за мужьями в ссылку, «ибо как можно запретить это жене, убежденной в невинности мужа! Или же она из-за своей убежденности будет вынуждена утратить супружеские права, почтенное звание супруги и стать просто его сожительницей? Сколько мужчин преступили закон исключительно из-за жен, и теперь запретить этим особам, ввергшим своих мужей в беду, разделить их судьбу!»

Кроме того, он превозносит римский обычай при венчании торжественно объявлять, что жена переходит из-под опеки отца под опеку мужа: «Это было бы весьма полезно для Парижа, где женщины поступают как им в голову взбредет. На всех это не подействует, но некоторых все же остережет».

Поэтому он хоть и за развод, но стремится затруднить его:

— Во что превращаются даже самые тесные природные узы, когда люди вдруг становятся чужими друг другу? Если мы не создадим препятствий для развода, то некое юное существо ради моды, удобства, да просто ради собственного жилья возьмет в мужья человека, который ей совершенно не подходит. Вот закон и должен ее от этого предостеречь. В сущности, имеются только три достаточные причины для развода: покушение на жизнь, прелюбодеяние и импотенция.

Все это — мысли опытного знатока человеческих душ, который в то же время благодаря своему математическому дару умеет обобщать факты: теория уравнивается практикой, а энергия — скепсисом. Его мысли о прежней неверности Жозефины и о теперешней верности, о ее живом участии в подготовке именно этих параграфов Кодекса, по сообщениям других участников, обнаруживают ту борьбу, которая шла в душе Наполеона. Пока он размышляет, не стоит ли государству разрешить развод по причине бездетности, Жозефину пугает та же мысль и заставляет ее использовать свое влияние для укрепления в Кодексе роли брачных уз.

Есть у него и личные резоны избегать скандала ради спасения чести. Он отвергает приговоры суда по семей-

ным тяжбам и предлагает заменить их взаимной договоренностью. «Если обе стороны хотят развестись, это свидетельствует, что развод необходим. Не дело суда устанавливать факт такого обоюдного желания развода; но если это желание существует, то суд объявляет о разводе». Он добавляет, что лучше скрыть плохое обращение, пороки и измены под общей формулировкой «обоюдное желание», которое достигается между мужем и женой, а судья потом лишь утверждает это решение.

По тем же причинам он вводит новое понятие «полу-развод», предусматривающий раздельный стол и постель (раздельное существование), но непременно по тайной взаимной договоренности между супругами: если обществу об этом не известно, для них нет потом препятствия помириться. Его цель во всех этих нововведениях — сохранение семьи, ее он добивается как сторонник порядка, как антиреволюционер в государственном смысле. Это социальное требование владеет им с такой силой, что он утверждает: если измена жены не будет наказана разводом, ее следует наказывать как за уголовное преступление. Впоследствии он также повысит возрастной ценз для вступающих в брак: 15 и 21 вместо 13 и 15, введенных революцией.

Детям в этом своде законов предусмотрены все блага, которые позже мало-помалу расширились в течение столетия. Едва появившись на свет Божий, они немедленно поступают под защиту и покровительство отца, в семье которого они родились. Естественно, «отец может и не признать своего ребенка, если 15 месяцев до его рождения отсутствовал». Но, оставаясь земным человеком, он заключает:

— Хвала истине, но почему я должен жертвовать честью супруги, если от этого никому никакой пользы! И если у супруга имеются кое-какие сомнения насчет дат, он должен тем не менее помалкивать: интересы ребенка важнее.

А когда кто-то предложил ограничить право великовозрастных детей на родительскую поддержку, он взорвался: «Что же, позволить отцу выгнать из дому пятнадцатилетнюю дочь? Пусть даже отец имеет шестьдесят тысяч франков годовой ренты — разве может он сказать своему сыну:

«Ты уже большой, иди и работай»? Кто хочет ограничить эту родительскую обязанность, наводит детей на мысль побыстрее прикончить родителя».

Возникали идеи разрешить усыновление детей в революционном темпе — путем простого нотариального акта. Наполеон резко возражал:

— Усыновление — это не обычный юридический процесс. Людями можно руководить, только пробуждая их воображение, иначе они были бы животными. В этом и состоит порок недавнего законотворчества: оно ничего не говорит воображению людей. Не за пять монет в день или за какой-то там орден идет солдат на смерть, — лишь тот, кто завоюет его сердце, способен его воодушевить! Такого результата не может получить нотариус за двенадцать франков: для этого нужен законодательный акт. Что такое усыновление? Это подражание природе, своего рода священнодействие: ребенок, плоть от плоти и кровь от крови одного человека, по воле общества переходит в плоть и кровь другого человека. Может ли быть что-нибудь более величественное? Двум существам оно внушает естественную любовь, которой они не знали. Откуда же ей взяться? Она должна прийти сверху, как молния!

«На этих заседаниях, — пишет Редерер, — Первый Консул доказал, что он в состоянии уделять пристальное внимание в течение десяти часов тому или иному вопросу, причем предмет предыдущего рассмотрения не оказывал ни малейшего влияния на тот, который рассматривался в данный момент».

Вот он почтительно внимает логичным и глубоким по мысли высказываниям 80-летнего Труше, а тот в свою очередь восхищен анализом и объективностью 30-летнего Консула, который при обсуждении любого постановления задает два вопроса: «Это справедливо? Это полезно?» И не устает спрашивать о ранее принятых решениях, сравнивать их с тем, что римляне и Фридрих Великий считали справедливым.

За этим столом обсуждаются не только законы, Консул поднимает также вопросы по любому предмету: Как нам получить больше хлеба? Как нам выпустить новые деньги? Как нам обеспечить безопасность? Требуя от всех мини-

стров детальнейших докладов, он перегибает палку, но делает вид, будто не замечает, что они переутомлены, и, вернувшись с заседания домой, они обнаруживают написанные его рукой записки, требующие ответа к завтрашнему утру. «Он стоит во главе всего, — пишет один из его сотрудников, — он осуществляет властные функции, управляет, ведет переговоры, его голова так хорошо устроена, что способна работать по 18 часов ежедневно. За три года он затратил больше управленческих усилий, чем короли за сто». С каждым он говорил на его профессиональном языке, так что никому не удавалось сослаться на непонимание. Техническая точность его вопросов поражает даже самых упорных роялистов.

Безотказная память — это артиллерия, защищающая крепость его интеллекта. После инспекционной поездки Сегюр делает доклад об укреплениях на северной границе.

— Да, я прочел ваши путевые заметки, — говорит Первый Консул, — в них все правильно, но в Остенде вы забыли две пушки из четырех, они находятся на той дороге, что за городом.

Сегюр сообщает, как он был изумлен: ибо речь шла о тысячах орудий, разбросанных по всей территории.

И мало-помалу огромная махина, простоявшая втуне десять лет или работавшая лишь рывками, вновь запускается. В сообщениях последних лет все провинции жаловались на недостаточную безопасность, чистоту и порядок, луидор, стоивший некогда 24 франка, подскочил до 8000, вместо денег при Директории были выпущены так называемые «территориальные мандаты», немедленно обесценившиеся, новые богачи скупили государственные имения, монастырские земли и земли дворян-эмигрантов, налоги никто не платил. Что делает Наполеон?

Через две недели после государственного переворота он уже основал в каждой провинции учреждения по взиманию налогов, ибо «безопасность и собственность могут существовать лишь в таком государстве, где налоговая норма не меняется каждый год». Еще через два месяца был создан французский банк, на следующий год — новое таможенное управление, новая поземельная книга и карта лесов. Оставшиеся государственные имения, вместо того чтобы

раздавать их налево и направо, как делали его предшественники, он использует для выкупа государственной ренты, и она повышается с 7 до 17. Он начинает погашать долги и проценты по долгам, обновляет торговые палаты, наводит порядок на бирже, уничтожает спекуляцию, наживавшуюся на обесцененных деньгах, разоблачает жульничества армейских поставщиков и предприятий, работающих на войну. Путем этих «очистительных» мер восстанавливается промышленность.

Что за волшебство?

Во главе министерств, провинций, префектур — как можно больше людей непреклонной и неподкупной энергии, полных жажды деятельности, добросовестности и мужества, никаких больше наследственных или полученных жульническим путем sinecur, только трудолюбивые работники, без учета происхождения или партийной принадлежности. Все сверху донизу, вплоть до бургомистра, назначаются сверху, оплачиваются сверху — «иерархия, состоящая из одних Первых Консулов в миниатюре», по его собственному выражению.

Никакой политической вражды не существует.

— Никакой реакции не наступит, — предсказывал он, — потому что я не пользовался ни кредитами, ни поддержкой какой-либо партии и, следовательно, никому ничем не обязан... Эти умные головы, которые еще недавно были исполнителями преступлений, я использую ныне для строительства нового социального здания. Среди них попадают стоящие работники, плохо только, что все они хотят быть начальниками строительства. Это чисто французская черта: каждый считает себя способным управлять страной!

Он отдает два самых важных министерских портфеля двум политически несовместимым, но одинаково одаренным подлецам, характер которых впоследствии даст о себе знать самым роковым образом, и говорит: «Какой революционер не стал бы доверять строю, при котором якобинец Фуше — министр полиции? И какой аристократ не мог бы жить при Талейране на посту министра иностранных дел? Один у меня справа, другой — слева. Я открываю широкую дорогу, на которой всем хватает места».

Всем префектам и генералам рассылается указание: никаких клубов, никаких партий! «Объясните национальным гвардейцам и просто гражданам как можно чаще, что ежели кучка честолюбцев еще имеет потребность кого-то ненавидеть, то теперь бразды правления в государстве находятся в сильных руках, привыкших преодолевать препятствия». Торжественный манифест, который он провозглашает через несколько недель после переворота, чтобы возвысить в глазах народа новую Конституцию, заканчивается простыми и гордыми словами: «Революция вернулась к тем принципам, с которых она началась. Теперь она завершилась».

II

Это не объявление войны:

«Вернувшись в Европу после восемнадцати месяцев отсутствия, я вижу, что между Французской республикой и Вашим Величеством вновь разгорелась война. Французский народ призывает меня занять первое место в государстве».

Так он обвиняет германского кайзера в неправоте — гордо, словно он сам тоже император, с естественностью и достоинством. Но тот никак не реагирует. План у Бонапарта давно готов, его остается только осуществить.

Для начала он окружает себя гвардией, в которой каждый участвовал не менее чем в четырех кампаниях: не больше, но и не меньше, чем он сам. Потом, послав Моро на Рейн, начинает сам готовиться к новому походу в Италию. Двигайся он вдоль побережья, как четыре года назад, на этот раз его будут там ждать. Надо придумать что-нибудь новое. На виду у всех австрийских шпионов он набирает из молодых новобранцев несколько малочисленных резервных частей, проводит им смотр и, молча улыбаясь, выносит насмешки венских газет. Одновременно он готовит 32 000 солдат — не больше, зато самых отборных — к смелому броску, о котором никто ничего не знает, как и перед походом на Египет. Разве Ганнибал не перешел через Альпы? Разве он не заставил горы отступить? Но нынче

нужно протащить по горам пушки. Значит — валить лес, выдалбливать стволы, чтобы положить в них пушки.

Весной, после переворота, его армия совершает переход через Большой Сен-Готардский перевал, впервые после двух тысячелетий. Старики монахи в странноприимном доме высоко в горах взирают на это как на чудо. Пастух, ведущий под уздцы мула чужого военачальника, рассказывает ему о своих заботах и желаниях, а вскоре получает неизвестно от кого дом и усадьбу — как в сказке. Необычность этого похода воодушевляет самих солдат, они с восторгом тащат тяжелые пушки. Испытанный командир ведет их в ту самую Ломбардию, которая уже однажды открылась им как земля обетованная. Скрытность и быстрота увеличивают шансы на успех этой кампании. Противник до такой степени ни о чем не подозревает, что его командующий пишет своей приятельнице в Падуе, чтобы она никуда не уезжала. Через 12 часов армия Бонапарта уже в Падуе.

Тем не менее штурм ему явно не удастся. Когда в середине июня Наполеон пытается нанести австрийцам решающий удар на равнине, их превосходящие силы отбрасывают французскую армию. Дезе с обещанным резервом не появляется, создается впечатление, что вся армия обратилась в бегство. Бонапарт, стоя на обочине, нервно взбивает хлыстом дорожную пыль, а его разбитое войско спешит мимо: «Стойте! Погодите! Скоро подойдет резерв. Еще час!» Но все бегут и бегут назад. Так убегает его военное счастье? Наконец появляется Дезе, бросается на ошарашенных победителей, драгуны с ходу атакуют, и противник отступает: битву при Маренго, проигранную Бонапартом в пять часов, Дезе выигрывает в семь, однако сам погибает в этом сражении, так и не увидев одержанной им победы.

С душевной раной остается Бонапарт на поле боя. Лучший из его генералов погиб, но еще тяжелее другое: победителем был Дезе, а Бонапарт, в сущности, потерпел поражение. Слабым, но утешением было для него то, что план кампании и этой битвы разработал он один, а согласно этому плану Дезе и надлежало появиться в определенное время. Это большое сражение, начинающее и одновременно завершающее всю кампанию, Бонапарт выиграл точно

так же, как 18 брюмера: проиграл — и выиграл благодаря кому-то другому!

И все-таки и то, и другое нельзя утверждать окончательно. Ведь всего в миле от места, где он в вечер после победы диктует Бурьену отчет о битве, расположена та точка на карте, куда он четыре месяца назад воткнул булавку со словами, обращенными к тому же Бурьену: «Здесь я намереваюсь разбить их».

Но у него нет времени для сравнений. До последнего часа, пока Альпы не оказались у него за спиной, второе «Я» полководца — «Я» государственного деятеля — распорядилось вести переговоры с Веной, «поскольку войну и переговоры надо вести одновременно». И вот теперь, находясь еще на поле боя, он пишет второе письмо кайзеру Францу:

«Коварство англичан свело на нет воздействие, которое на душу Вашего Величества должен был оказать мой столь же простой, сколь открытый поступок. Война стала реальностью. Тысячи французов и австрийцев заплатились своей жизнью... Предвосхищение дальнейших ужасов такого рода настолько сильно тревожит мое сердце, что я решаюсь вновь писать Вам лично... На поле битвы под Маренго, среди раненых и 15 000 убитых, умоляю Вас, Ваше Величество, услышать зов человечности... Мне, находящемуся ближе к театру военных действий, чем Вы, надлежит настоятельно предостеречь Ваше Величество. На удалении Вашу душу, вероятно, не так волнует это зрелище, как мою. На долю Вашего оружия выпало достаточно славы. Вам подвластно так много государств... Даруйте же нашему поколению покой и мир. Если в будущем люди будут настолько глупы, что станут сражаться друг с другом, то через несколько лет войны они поумнеют и начнут жить в мире».

Это длинное письмо, из которого здесь приведены лишь главные мысли, гениально, как план сражения, и чреватое последствиями, как победа, впервые ясно и четко выявляет его стремление к миру. Впоследствии после решающих побед он разошлет с полдюжины таких писем. Что же — генерал Бонапарт стал пацифистом?

Нет. Но он не только рубака, его душа очень чувстви-

тельна к картине сражения, ум скептически воспринимает победы как таковые, и как ни мила и ни привычна для него лагерная жизнь — интеллектуальные битвы ему милее: в душе он больше государственный деятель, чем воин. Он испытывает удовольствие от игры ума. Бонапарт никогда не откажется от меча, никогда не даст ему затупиться. Однако известность и признание в Европе он заслужил тем, что, однажды выиграв Золотой Кубок, он не стремился каждый год заново его завоевывать.

Кроме того, он понимает, что Франции хоть и нужна слава, но больше ей нужен покой. Еще больше ей нужен он сам. Но в тылу у него враги, и теперь, став Консулом, он уже не может, как прежде, отсутствовать годами. Да, разнообразны причины, заставившие его написать кайзеру то письмо: такого послания не писал, пожалуй, никто из победителей, тем более находясь еще на поле боя. Сразу после этого Бонапарт спешит в Милан.

А что говорит Париж?

Доволен ли он наконец? Не похож ли на Жозефину, к ногам которой можно сложить все сокровища мира, а она лишь снизойдет до того, чтобы их принять, и всегда хочет большего? «В течение одиннадцати лет, — пишет Редерер в своем дневнике, — он просыпался с одной мыслью: когда же мы наконец избавимся от тиранов? Теперь он спрашивает себя каждое утро: дела идут хорошо? Однако эта работа, которую мы только начали, и этот капитал, и этот дом, и эти деревья — что станет со всем этим, если глава всего дела погибнет?.. Он был призван к власти не как генерал, а как государственный деятель. Его победы, конечно, заставили всех обратить на него внимание, но лишь его государственные таланты пробудили у всех надежды». Так, с тревожной доброжелательностью смотрит на него Париж. Лишь один-единственный человек предвидит будущее и пишет ему на театр военных действий:

«Генерал, я только что вернулся из Тюильри и не стану пытаться описать вам воодушевление французов и восхищение чужестранцев... Сумеют ли будущие поколения поверить в чудо этой кампании? Какие пророки подсказали вам вернуться на родину? Все империи в мире основаны на чуде. В вашем случае — это чудо правды».

Наполеон улыбается, читая это письмо: «Этот Галейран и впрямь больше, чем льстец, он настоящий авгур! Только зачем он называет словами то, о чем я только еще подумываю? Он что — изображает римлянина и хочет прельстить меня ролью цезаря?»

Рядом лежит другое письмо из Парижа: донесение министра полиции Фуше. Он пишет: «Недавно Галейран пригласил к себе несколько близких друзей, дабы обсудить, что будет, если с Консулом что-нибудь случится или он потерпит поражение. И как раз во время этого ужина пришло сообщение из Маренго!» — «Ну и перепугался же он! — думает Бонапарт. — Остатки совести зашевелились. Вот каковы они, мои друзья, мои ближайшие друзья! За их так называемой заботой обо мне скрывается тайное желание от меня избавиться».

Насмешливая ухмылка или грустная морщина тронула его губы при этом известии? Пора возвращаться! Но тут на сцене «Ла Скала», куда он отправился в этот вечер, появляется красавица Грассини, чарам которой он так упорно противился в свое время. Нынче же она так чарующе поет. И лишь с легкой обидой за то, что ее раньше не позвали, роскошная итальянка достается победителю Италии. Он не упускает случая пригласить ее в Парижскую оперу — то ли в качестве примадонны, то ли его любовницы, еще не решил.

Враг разбит, и в Германии, в Люневиле, заключается блестящий мир, который признает и всю границу по Рейну, и восстановление Цизальпинской республики. Мыслимо ли достигнуть большего всего за несколько недель итальянской кампании? Соратники и прочие лжедрузья готовятся встретить его как героя, даже заранее спрашивают его мнение касательно предстоящего торжества.

— Я вернусь в Париж неожиданно, — отвечает он злобой двусмыслицей, — и не хочу ни триумфальной арки, ни какой-либо церемонии. Я слишком высокого мнения о себе, чтобы ценить такую чепуху. Нет никакого иного триумфа, кроме общественного удовлетворения.

Несколько позже его ответ звучит еще более скромно и еще более гордо:

— Я принимаю ваше предложение воздвигнуть мне

памятник, найдите подходящее место. Однако лучше предоставим это сделать будущему веку, если он сохранит обо мне добрую славу, которой вы меня наделяете.

Он уже в ту пору предчувствовал грядущее «иконоборчество»: меньше чем через 20 лет поклонники сорвут его орлов и бросят в пыль под ногами!

Вернувшийся на родину Консул всеми силами старается установить вокруг мир. Он превосходит в этом самого себя: подобно тому, как раньше он стремительными бросками и мощными ударами завоевывал страны, так теперь он умными переговорами добивается дружбы с прежними врагами. Спустя два года после того, как он захватил бразды правления, Франция имеет мир с Австрией, Пруссией, Баварией, Россией, Неаполем, Испанией, Португалией — и даже с Англией. Сразу после ухода в отставку Питта Нестигаемого он не упускает удобного случая и приглашает только что назначенного и куда более стоворчивого Фокса приехать в Париж. Фокс возвращается после этого визита в полном восторге от прославленного ненавистника англичан.

Девять законных и поэтому в высшей степени законолюбивых князей признали республику, с которой они боролись десять лет кряду. Франция, всего лишь два года назад шатавшаяся от внутренних громовых раскатов и внешних могучих толчков, теперь стала первой державой континента.

Теперь Бонапарт не в качестве генерала и не в качестве императора, а в качестве Первого Консула ведет революцию к победе. В Центральной Европе, управляемой за исключением Швейцарии сплошь королями и князьями, он не только добивается мирного сосуществования новых идей со старыми властями, но и заставляет приграничные страны — Голландию и Северную Италию — без всяких возражений принять консульскую Конституцию. Ни Австрия, ни Англия уже не мешают ему одним движением руки прихватить Пьемонт, Геную, Лукку и остров Эльба. В то же время старейшие княжеские роды Германии ведут большой торг по поводу компенсации владельцам княжеских поместий на левом берегу Рейна, земли которых Бонапарт попросту отобрал, и заставляют его проникнуться полным

презрением к происхождению и наследству, дворянству и коронам.

Зияет лишь один пробел, и он его восполнит.

С началом революции Христос был заменен разумом, более того, эта антихристианская мысль стала наиболее популярной. Только один Бонапарт сразу же отказался от нее и уже четыре года назад в Италии сделал для Папы все то, в чем Париж хотел ему отказать. Он всегда вел себя по отношению к духовенству тактично и благородно. Теперь Бонапарт спешит после десяти лет вражды примирить государственную власть с церковью. Вовсе не потому, что вдруг стал верующим: «У турок я был магометанином, теперь буду католиком». Он чувствует, что эту старейшую из всех властей не победить ни мечом, ни разумом, с ней нужно просто-напросто уживаться — для того, чтобы ею пользоваться.

— Католицизм сохранил мне Папу, — скажет он позже, — и при всем моем влиянии и могуществе, в Италии меня не покидала надежда раньше или позже склонить его на мою сторону. Вот когда я приобрету поистине безграничное влияние. И какое мощное оружие против Европы!

Чтобы приступить к этому наиболее рискованному из всех парижских начинаний, он заходит так далеко, что пускается перед епископами в самую дешевую — на его собственный взгляд — философию:

— Я тоже философ и знаю, что в любом государстве человек не может слыть добродетельным и порядочным, ежели он не знает, откуда он взялся и куда идет. Простой здравый смысл не может ответить на эти вопросы, без религии люди топчутся во мраке. Католическая церковь дает человеку ясный и вразумительный ответ о его появлении на свет и кончине.

В Риме с изумлением воспринимают призыв, содержащийся в этой речи. Но разве ватиканских умников превзойдешь умом! И когда кардинал Консальви приезжает в Париж для переговоров и Консул при первой же официальной аудиенции хочет ошеломить его резким тоном, этот мудрый сановник церкви с улыбкой выдерживает его наскоки. Какое зрелище для Талейрана, который молча наблюдал эту сцену! На этот раз принимается решение вновь

вести безбрачие, выбор епископов Римом и старые церковные законы, лишь жалование священникам по-прежнему выплачивается государством, тем самым сохраняющим свое решающее влияние на дела церкви.

Торжественная месса в соборе Парижской Богородицы должна закрепить это решение, причем Консул, пожелавший явиться вместе со своими сановниками лишь к молитве «Тебя, Господи, хвалим», согласился прослушать всю службу с условием, что ему не нужно будет целовать Святые дары и «все прочие безделицы, выставляющие человека на смех». И когда одевается, чтобы ехать на это торжество, спрашивает брата, находящегося рядом:

— Нынче мы отправляемся к мессе. Что говорит об этом Париж?

— Ну, поглядят на это зрелище и освистают, если им не понравится.

— Тогда я прикажу гвардейцам вышвырнуть их из храма!

— А если гренадеры тоже будут свистеть?

— Не будут. Мои старые бородачи с таким же почтением отнесутся к собору, как к мечетям в Каире. Они глядят на меня, и если замечают, что их генерал строг и серьезен, то делают то же самое и говорят: «Видно, на сегодня так приказано».

III

Но земля все еще колеблется у него под ногами. Через восемь лет Консула, избранного на десять лет, может сменить какой-нибудь конкурент. Он зависит от выборов, от симпатий народа, которых он добивается и которые презирает. Да и вообще: что это за пост с точки зрения иностранных коронованных особ? Если он всего лишь президент, как в Америке, его не будут принимать всерьез. И он дает все это понять Сенату.

А тот, всегда послушный его воле, поскольку целиком зависим от него, поднимает вопрос о том, чтобы уже теперь продлить полномочия Первого Консула по истечении первого срока еще на десять лет. Он разочарован, под-

талкивает их мысль, добивается формулировки «пожизненно», при этом — подражая мудрому Цезарю — ссылается на народ: власть должна исходить только от народа. В результате народного волеизъявления четыре миллиона за него, против — всего несколько десятков смельчаков. Его полномочия увеличиваются: теперь он единолично заключает договоры с иностранными государствами, единолично назначает сенаторов, которые в свою очередь имеют право распустить палаты, и получает право назначить преемника. Когда он, оценивая такую власть, сравнивает себя с коронованными главами государств Европы, он утешается наивной софистикой: «Отныне я равен другим суверенам, ибо они ведь тоже суверены всего лишь пожизненно».

Не все миллионы, проголосовавшие за него, в самом деле его сторонники. Даже торжественный въезд в Люксембургский дворец в центре Парижа не вызывает у публики большого восторга, за что Бонапарт отчитывает министра полиции:

— Почему вы не настроили парижан соответствующим образом?

Фуше: Потому что мы все еще остаемся древними галлами, которые, как известно, не выносили ни свободы, ни угнетения.

— Что это значит?

— Что парижане видят в ваших последних шагах, гражданин Консул, утрату всех свобод и тенденцию к абсолютной власти.

— Я не стал бы управлять государством и полутора месяцев, будь я лишь тенью, а не хозяином положения!

— Будьте гуманным, сильным и в то же время справедливым правителем, — отвечает этот хитрец, никогда не обладавший ни одним из этих качеств, — и вскоре вновь завоюете все сердца.

— Общественное мнение изменчиво. Я сумею его улучшить. — С этой категоричной фразой Бонапарт поворачивается к Фуше спиной.

Этого двухминутного разговора достаточно, чтобы настроить Бонапарта на решительный лад. Он увольняет Фуше — не потому, что опасается этого беглого священ-

ника, нет, он его презирает. Кроме того, он упраздняет все министерство полиции и передает его функции министерству юстиции, «чтобы доказать Европе преданность политике мира и искреннюю любовь ко мне французов». К таким оборотам речи придется привыкать, таково облачение его политики. Самого Фуше он назначает сенатором, и, когда тот передает Консулу резервный фонд в два с половиной миллиона франков, Бонапарт возвращает ему половину «в знак личной приязни». Выйдя в приемную, Фуше мысленно прибавляет к этой сумме все то, что сам утаил.

Так поступает Консул с опасным приближенным, знающим слишком много. А общественное мнение он умеет ублажить. Постоянно заботясь о том, чтобы не быть обязанным никому — ни какой-либо партии, ни отдельному человеку, — он и прибегнул при своем назначении к народному опросу: именно в этом он видит гарантию того, что революция завершилась. «Обращение к народу приносит двойную выгоду: оно не только подтверждает продление срока, но и облагораживает происхождение моей власти: в противном случае оно так и оставалось бы сомнительным». В этом заявлении скрыты корни его опасной позиции — между революционностью и законностью. Эта проблема будет беспокоить его всю жизнь. И он так и не сможет ее решить.

Хотя Бонапарт, словно римский полководец, требует для себя единоличной власти в государстве, но он делает это — в отличие от римлянина — не потому, что в его руках сила оружия, а лишь потому, что он наиболее эффективный правитель. Поэтому и берет власть не из рук армии, которая его любит, а из рук народа, который ему чужд: он хочет быть тираном в духе античности или короля Пруссии, но хочет добиться этого на демократической основе, в результате свободного народного волеизъявления. Скорее всего он отдает себе отчет в слабости такой фикции, но ее навязывает ему дух той эпохи. Принцип преобразований — власть таланту, а не наследнику — Бонапарт может повторять со спокойной совестью: кто в этом государстве талантливее его?! Но вместо того чтобы удовлетвориться подлинным происхождением этой власти — начиная от назначения командующим, военных

побед и заключения мира вплоть до фактического сосредоточения в его руках всех рычагов управления, — он замутняет этот вполне достойный ход событий народным голосованием под моральным нажимом. И еще полагает, что этим все облагораживает! Если Бонапарт и спасает революцию, то республику он все же губит.

Эти мысли рождаются не в голове расчетливого политика, они — порождение античного настроения его души. Настроения, который гонит его на Восток, настроения, который при перевороте заставляет его нести чушь перед депутатами. «Ты похож на героев Плутарха», — сказал некогда первый человек, понявший его натуру. В Бонапарте нет ничего демократичного, если понимать под демократией власть народа. Просто он живет не в ту эпоху: в античности гению не приходилось отгораживаться от народа парламентом, он повелевал и господствовал единолично. Или не в той стране: в Азии и сегодня существует власть одного человека. В своем кабинете в замке Сен-Клу Бонапарт ставит два бюста: Сципиона и Ганнибала. Римский император или калиф: только это соответствовало его натуре. И он всегда будет стремиться к такой власти.

Сразу после переворота к нему обратились Бурбоны: с наивной откровенностью брат обезглавленного короля, граф Прованский — в будущем Людовик XVIII, — просит сына революции вернуть ему утраченную корону за значительное вознаграждение. Причем делает это трижды. Лишь на последнее письмо Консул отвечает: «Сударь, я получил Ваше письмо и благодарю Вас за содержащиеся в нем лестные слова в мой адрес. Вы не можете себе позволить желать реставрации, ведь она стоила бы 100 000 человеческих жизней. Пожертвуйте же своими интересами ради спокойствия и счастья Франции, история возблагодарит Вас за это. Меня не оставляет равнодушным несчастье, постигшее Вашу семью... Мне доставит удовольствие содействовать Вашему покою и благополучию в Вашем нынешнем уединении. Бонапарт».

Это письмо написано с таким придворным изяществом, что кажется принадлежащим перу законного принца, а написанное Бурбоном, напротив, напоминает стиль неуклюжего выскочки. Воспитание, видимо, не научило

Бурбона, что при переговорах с противником нужно сперва осторожно закинуть удочку, вместо того чтобы компрометировать себя письмами, на которые не получаешь ответа.

Совсем иначе принимает Консул роялистов из Вандеи: этих он хочет привлечь к себе. Поначалу они вообще не узнали его, когда он наконец явился к ним непричесанный и в старом зеленом сюртуке.

— Придите под мои знамена, мое правление будет эпохой молодых и талантливых!.. Вы храбро сражались за своего принца... Но сами принцы ничего не сделали для своей славы. Почему их не было в Вандее? Там было их место!

— Политика удерживала их в Лондоне, — отвечают аристократы.

— Значит, им следовало уплыть на рыбацьей лодке! — с жаром восклицает Бонапарт и, как сообщают вандейцы, «голосом, как бы исходящим из глубины желудка».

В этих словах о лодке заключен целый отрезок мировой истории, еще не остывший, еще животрепещущий: так может говорить только смельчак, проскользнувший на узком фрегате по бурному Средиземному морю мимо вражеской флотилии, чтобы добраться до берега власти. Слышите, как улещает и угрожает этот юный чудотворец, перевернувший с ног на голову весь континент?

— Кем вы хотите стать? Генералом или префектом? Вы и ваши люди могут стать кем захотят, стоит им перейти на мою сторону! Ничего не хотите? Значит, считаете позором носить такой сюртук, какой носит Бонапарт?.. Если вы не замиритесь со мной, я брошу против вас сотысячную армию и сожгу дотла ваши города!

— Тогда мы уничтожим ваши колонны в позиционной войне, — твердо отвечает граф.

— Вы мне угрожаете! — восклицает он «ужасным голосом», но, получив деловой ответ, тут же успокаивается. Графы удаляются, ничего не добившись и испытывая отвращение к этому «косноязычному фантазеру, который валит в одну кучу столь разные вещи, что его речь с трудом понимаешь и о многом приходится догадываться».

Однако Консул в это же время привлекает к себе многих

эмигрантов и обезоруживает их, окружая заботой: 40 000 семей немедленно возвращаются. Одновременно он принимает во дворце якобинцев, хотя они «своей метафизикой способны погубить двадцать правительств». В демократическом большинстве он уверен, потому что при нем они чувствуют себя спокойно: Париж больше не походит на военный лагерь. Он, как истинный отец нации, делает все, что может смягчить народную нужду.

Выдержки из его указов местным властям:

«Если наступят холода, как в 1789 году, в храмах и больших залах нужно разводить костры, дабы многие могли обогреться».

«Зима будет суровой, мясо дорогим, мы должны создать рабочие места для парижан. Велите продолжить работы на набережной Дезе, на Урк-канале, замостить боковые улицы и т.д.»

«В принципе следовало бы засадить за решетку всех нищих и попрошаек, но это было бы варварством и абсурдом. Их все же придется задерживать, но для того, чтобы дать им хлеб и работу. Следовательно, нам нужно иметь по нескольку богоугодных заведений в каждой провинции».

«Множество сапожников, портных, шляпниц и шорников не имеют работы. Примите меры, чтобы ежедневно изготавливалось по 500 пар обуви».

И одновременно военному министру:

«Нужно раздать срочные заказы на упряжь для артиллерии».

И министру внутренних дел:

«Мы должны создать рабочие места, в особенности в этом месяце перед праздниками. Сделайте заказ, чтобы в мае — июне 2000 рабочих из Сен-Антуана изготовили стулья, комоды, кресла. Жду ваших предложений завтра, дабы можно было тут же приступить».

Бонапарту подают проект постановления, запрещающего входить в парк Тюильри в рабочей одежде, он перечеркивает его и разрешает вход всем без оговорок. Другой проект предлагает закрыть читальные залы: «Этого я ни за что не допущу! Я на собственной шкуре испытал, как приятно знать, что есть теплая комната, где можно почитать газеты и свежие брошюры.

И не могу лишить этого других».

Он распорядился на воскресные спектакли во Французском театре продавать билеты в партер по низким ценам, «чтобы простой народ тоже смог там побывать».

Он запрещает игорные дома, ибо «они разоряют семьи, и терпеть их — значит подавать плохой пример».

Бонапарт создает лицеи, технические училища, а в них — 6000 бесплатных мест, из которых треть предоставляется сыновьям заслуженных людей. Спустя три года во Франции имеется 4500 народных школ, 750 реальных училищ, 45 лицеев. Он оказывает честь «Институту», избирая треть первых сенаторов из его членов. Он требует составить список «десяти лучших художников, десяти лучших скульпторов, композиторов, музыкантов, архитекторов, а также указать имена других деятелей искусства, таланты которых заслуживают поддержки», и заказывает огромные живописные полотна по мотивам сражений. Из этой эстетики, возведенной в государственную целесообразность, вышло выражение: «Жалуются, что у нас нет литературы? В этом виноват министр внутренних дел!»

Бонапарт наращивает благосостояние нации и таким образом стремится успокоить людей всех профессий. Но во что излиться французскому тщеславию: нет ни войны, ни королевского двора. И он придумывает орден Почетного легиона.

Таким манером можно привлечь к себе толпы приверженцев, ибо тому, кто торжественно поклялся бороться с любыми попытками возврата феодального правления, нелегко стать противником Бонапарта. Почетные легионеры — вовсе не офицерский клуб, поначалу туда принимали всех, имеющих реальные заслуги перед отечеством. Именно поэтому президентом Бонапарт назначил ученого-естествоиспытателя, и когда в Государственном совете ему намекнули на сходство общества Почетных легионеров с привилегированными клубами, которые были сметены революцией, он вполне серьезно возразил:

— Сомневаюсь, что когда-либо существовала республика, не имевшая знаков отличия. Пусть называют ордена детской приманкой, но на нее ловятся взрослые мужчины. Перед народными трибунами я бы так не сказал, но в Сове-

те, где сидят мудрые и государственно мыслящие мужи, я должен это сказать. Я не верю, что французский народ любит свободу и равенство, его характер за эти десятилетия не изменился. Французы тщеславны и легкомысленны, как их предки, и восприимчивы только к одному — почету. Поэтому нам и нужны эти знаки отличия... Солдата можно ублажить славой и жалованьем... Этот орден — новый вид денег и имеет другую ценность, отличную от обычных. Их источник неисчерпаем. Только эти новые деньги могут служить наградой за деяния, которые обычными деньгами не оплатить».

В этих значительных словах слышны отзвуки трех составляющих его души: презрение к людям, понимание народного духа и критика чужака, нашедшего себе новую родину.

IV

В рождественский вечер Консул едет в Оперу, за ним в другой карете следует Жозефина со своей дочерью, в узком переулке дорогу перегораживает телега без лошади. Ее сдвигают в сторону, и кучер трогает: едва он успел проехать мимо, как в той телеге взрывается адская машина. Погибают около 20 человек, случайных прохожих, но ни Консул в первой карете, ни его близкие во второй не пострадали. Спасло Консула рвение кучера, старавшегося вовремя подъехать к Опере. Войдя в ложу, он говорит приближенным:

— Эти ребята хотели меня взорвать. Дайте-ка мне либретто.

Оркестр исполняет новую ораторию Гайдна «Сотворение мира», Консул кажется совершенно спокойным.

Однако пока в зале играет музыка — а ведь обычно она вытесняет из его головы все планы и мысли, — мозг напряженно работает, обдумывая причины и в особенности последствия происшедшего. Его мало заботит, кто эти «ребята» — радикалы слева или справа. Смертельных врагов у него везде хватает, это ему известно. Вопрос в том, правые или левые сейчас нужнее. Но для него, как для по-

литика, этого вопроса как бы нет. Если бы покушение удалось, последствия для Франции были бы неизмеримы. Он полон решимости не преуменьшать последствия неудавшегося покушения: он воспользуется благополучным исходом, чтобы окончательно решить вопрос о власти, причем немедленно.

Когда на следующее утро депутаты обеих палат приходят к нему с поздравлениями и все единодушны в том, что злоумышленниками могли быть только роялисты, он с жаром возражает:

— Вы заблуждаетесь! Это были идеологи, это унтер-офицеры революции, обладающие смелым воображением и более образованные, чем простонародье, однако живущие в его среде и науськивающие рабочих!

Когда Государственный совет предлагает ему ввести особые суды и другие дополнения к Кодексу, он перечеркивает эти планы блестящей и страстной речью:

— Ошибаетесь, господа! Либо не делать ничего и простить грешников, как император Август, либо принять крутые меры, которые гарантировали бы наконец общественный порядок... Здесь нельзя обойтись обычным уголовным процессом, к этому делу нужно подойти с государственной точки зрения... Следует пустить кровь! Нужно расстрелять столько же виновных, сколько невинных людей погибло на улице. Потом необходимо будет арестовать две сотни из этой группы бешеных псов и всех выслать. Эти люди ждут момента, чтобы наброситься на добычу. Именно этим идеологам мы обязаны всеми страданиями!

Престарелый Труше качает головой: «То были эмигранты и англичане, они орудуют повсюду, замешаны и здесь».

— Что? — гневно обрывает его Консул. — Прикажете высылать из страны дворян или клириков? Но в Вандее все спокойно, а служителей самой распространенной религии мира не высылают. Мне придется отправить в отставку всех членов Государственного совета, ибо, за исключением двоих или троих, все считают виновными роялистов... Мы что — дети? Неужели надо объяснять, что отечество в опасности? Разве Франция с начала революции была когда-либо в лучшем состоянии, когда армия сильна, а страна —

спокойна? Обожаю, когда люди, которых никогда не видели среди друзей свободы, вдруг начинают за нее опасаться! Уж не полагаете ли вы спасти себя, заявив: «Я защищал патриотов в Государственном совете». Это вы можете рассказывать в модных гостиных, но не в собрании самых просвещенных умов Франции!

И резко обрывает заседание. Понимают ли его члены Совета?

В этой взволнованности нет ни грана опасения за свою жизнь, ибо испугавшийся как раз и бросился бы искать подлинного виновника, чтобы отомстить. Все это искусный наигрыш политика. Кого надо напугать внутри страны? Кого успокоить за ее пределами? Такие вопросы задает себе Консул и действует соответственно. В личном плане он тоже чувствует себя в безопасности: «Только отправив лидеров крупных городов в ссылку, — скажет он позже, — я начал спать спокойно. Я не боюсь заговорщиков, которые встают в девять и надевают свежую сорочку!»

В эти же дни его приводит в бешенство анонимная брошюра с заголовком «Цезарь, Кромвель и Бонапарт», которую проглядел министр внутренних дел и в которой выдвигается требование вернуться к наследственной монархии. Кто посмел предать огласке его тайные помыслы, да еще в сочувственном тоне! Когда один из близких говорит, что этот текст слишком рано открывает его планы, Бонапарт не возражает ни слова. Из-за этих двух покушений — на тело и дух — свободу ожидают жестокие испытания. Пятая часть Трибуната и обеих палат отправляется в отставку, правда, в соответствии с одной из статей Кодекса. Констан, Шенье и другие радикальные демократы исчезают без лишнего шума, 61 газета из 73 закрывается, каждая брошюра, каждый спектакль подвергаются цензуре. А когда Государственный совет напоминает ему о свободе прессы, то в ответ слышит:

— Вы полагаете, что в этой ситуации можно разрешить сборища?.. Разве любой журналист — не оратор, а его читатели не образуют настоящий клуб?.. Клевета похожа на масляное пятно — всегда оставляет след... Другое дело в Англии, там правление старое, а здесь у нас — новое! И начнут писать про меня всякие гадости, вроде того,

что я боюсь отравления, что целыми днями ничего не ем!.. Единомышленников можно держать в узде только, если лишить их плацдарма.

И причины основательные, и меры целесообразные — но свобода грустно стоит под дверью и испуганно взирает на власть.

V

Человек, пропустивший ту брошюру и, вероятно, бывший ее автором, сослужил Первому Консулу медвежьей услугой. Но это был тот же человек, на плечах которого Бонапарт взлетел вверх 18 брюмера и который фактически его спас. Это Люсьен, самый способный из четырех братьев Наполеона, взобравшийся по лестнице честолюбцев будучи моложе, чем его старший брат, хотя и благодаря его имени. И теперь он требует для себя большего. От покровительства и дружбы Наполеона Люсьен страдает сильнее, чем позднее от его гнева. Все время у него перед глазами та сцена в день переворота, он ощущает себя посадившим брата на трон: как же он может ему подчиниться!

А как раз это и приходится делать. Вскоре после переворота он становится министром внутренних дел, то есть исполнителем воли «мозгового центра». Как же ему не смотреть критически на все, что велит ему его шеф, и не прикидывать, а нельзя ли сделать это лучше? Будучи врагом Жозефины, он становится и врагом ее окружения, к примеру, противником Фуше, который при случае — как с публикацией той брошюры — с удовольствием свалит вину на министра внутренних дел.

Люсьен, от природы такой же беспринципный и беззащитный, как и его брат, но не обладающий таким острым умом, похож на Наполеона и внешне. Однако он более ярко выраженный авантюрист и гораздо более слабый политик. В свои 25 лет Люсьен — могущественный и все же считающий себя обойденным — из духа противоречия еще сильнее склоняется к авантюрам. Женится на дочке трактирщика, продает монопольные права, спекулирует зерном, живет на широкую ногу вместо того, чтобы зани-

маться делами, покупает красивейший замок в окрестностях Парижа, обставляет его, перестраивает и вновь обставляет, дает шумные балы, играет в театре, пишет стихи: все это делается в полусознанном стремлении затмить брата.

В результате их отношения не могли не кончиться конфликтом и разрывом: Люсьен бросает в лицо Бонапарту, что тот победил при перевороте лишь благодаря ему. Под горячую руку, едва не отправив брата в ссылку, Бонапарт только лишает его должности в Париже, дабы положить конец его денежным аферам, и назначает посланником в Мадрид, где тот ловко и успешно противодействует англичанам и набивает карманы новыми миллионами. Овдовев, Люсьен возвращается, женится на своей красавице любовнице, пользующейся сомнительной репутацией, какая некогда была у Жозефины. Этот его поступок окончательно взбесил Первого Консула: ему-то нужно было, чтобы брат заключил политический брак.

Жозеф, светский лев и бонвиван, получивший из рук брата и положение в обществе, и состояние, тоже начинает якшаться со скептиками, нарочито подчеркивает свою дружбу с мадам де Сталь и ее окружением, критично отзывается о Консуле. Ему уже мало быть посланником в Риме, посты президента Итальянской республики или председателя Сената его тоже не устраивают: никак не может забыть, что он — старший сын, глава семьи.

Людовик еще не определился, его заносит то в одну, то в другую сторону, в душе он поэт и многие годы любит одну родственницу Жозефины, но отнюдь не ее дочь. В конце концов Жозефина его женит на своей дочери, а он продолжает воспевать свою первую любовь. Младшего из братьев, Жерома, добродушного и легкомысленного, Консул посылает учиться и дает ему рекомендательное письмо, исполненное отцовской строгости: «Посылаю к вам гражданина Жерома Бонапарта для обучения в военно-морской школе. Как вам уже известно, его нужно держать в большой строгости. Требуйте от него точнейшего выполнения обязанностей».

Сестры, которых он осыпает золотом и почестями, тоже не испытывают к нему никакой благодарности и только требуют все больше и больше. Например, Элиза, на

пару с Люсьеном, своим любимцем, забавляет Париж разными выходками и выступает на любительской сцене в розовом трико. Наконец Консул напускается на них:

— Это неслыханно! Пока я изо всех сил стараюсь восстановить мораль и приличия, мои братья и сестры выходят на подмостки чуть ли не голыми!

Но стоит ему удалиться, они раздражаются смехом и делают, что хотят. Каролина, обвенчавшаяся с генералом Мюратом, вовлекает его и своего родственника Бернадота в некие интриги против Консула, которые хоть и не становятся достоянием гласности, но доходят до его сведения. Скрежеща зубами, Бонапарт цедит: «Мюрат заслужил, чтобы его расстреляли».

Полина, отнюдь не опечаленная гибелью своего супруга в одном из колониальных походов, во втором браке ставшая княгиней Боргезе в Риме, навсегда останется для Наполеона любимой сестрой. Когда беспредельная распущенность Полины подрывает репутацию брата и он делает ей выговор, тон его всегда мягок и снисходителен. Молодцеватый дядюшка, некогда носивший сан священника и сменивший сутану на сюртук армейского поставщика, теперь поддерживает политику племянника, поскольку тот назначает его архиепископом и даже кардиналом. Все они используют могущественного родственника, чтобы урвать побольше денег и блеска, устроить свою жизнь и наслаждаться всем тем, чего сам Первый Консул лишен из-за нечеловеческой занятости.

Только мать держится особняком. И хотя она по-прежнему остается корсиканкой, говорит только на диалекте и не выносит Жозефину, Наполеон сразу же после переворота приглашает ее в Тюильри жить с ним вместе. Она отказывается и остается в доме Жозефа. Во время первого большого парада во дворе замка Летиция появляется на балконе рядом с высшими сановниками государства с ног до головы во всем черном, величественнее, чем осыпанная драгоценностями Жозефина, стоящая рядом с ней. Она не доверяет блеску и мишуре, превратности жизни научили ее уму-разуму, и тому, кто восхваляет ей ее великого сына и его могущество, она возражает на своем ломаном французском: «Только бы это продолжалось!»

В чем причина этих семейных драм, из которых одни кончатся фарсом, другие трагедией?

В душе Наполеона. Если бы он был просто выскочкой, то в ответ на домогательства родных допустить их к благам, даруемым властью, выдавал бы им куски государственного пирога неохотно или в виде милости, и уж во всяком случае — тайком. Но главное — отослал бы этих мужчин и женщин подальше от себя, чтобы скрыть происхождение, не совсем французский характер которого был вынужден отрицать. Ведь матушке французского Консула стоит лишь открыть рот, чтобы напомнить всем националистам о его чужеродном происхождении! А сестрица выкидывает самые сногшибательные номера на глазах у монархического континента, который злорадствует, разоблачая аморальные нравы в ближайшем окружении выскочки. Братцы беззастенчиво плодят коррупцию, ради искоренения которой и разразилась революция. И все это в Париже, классическом средоточии иронии и критики!

Но Бонапарт не только терпит родственников, он их все время приближает к себе: дает им должности и осыпает почестями.

Врожденное чувство преданности своему клану усиливается стремлением сохранить для своих все то, что досталось благодаря выдающемуся уму и везенью. Судьба Наполеона поистине трагична, поскольку predeterminedена самими искренними чувствами и, значит, неизбежна. Именно судьба лишила его счастья иметь детей. Жозефина, которую он страстно любил, имела двух здоровых детей от первого брака, а во втором браке осталась бездетной. Эта ее ущербность, без которой история Европы пошла бы иным путем, очевидно, порождена той же изощренностью в искусстве любви, той же утонченной извращенностью, какими она завоевала Бонапарта. Ведь когда они познакомились, ей было немногим более тридцати, а несколько лет спустя Наполеон зачал трех сыновей с другими женщинами. Ему нужен был законный наследник или хотя бы наследница. Жозефина подвела Наполеона в том единственном, где он не мог обойтись без нее, и это существенно повлияло на дальнейшую судьбу его жизненных трудов.

Мог ли Наполеон при такой полноте власти быть дру-

гим? Уже в первый год его правления Редерер заводит разговор на эту важную тему: «Кто будет преемником Бонапарта?» — спрашивают роялисты. — Если вы завтра умрете, что станется со всеми нами? Вы должны назвать нам своего естественного наследника».

— То, что вы сказали, — не сильная политика.

— Но Франции было бы спокойнее, если бы она знала, кто ваш естественный преемник.

— У меня нет детей.

— Вы могли бы кого-то усыновить.

— Сейчас в этом нет насущной нужды. Я вижу такой выход: Сенат назовет имя человека, который придет мне на смену. Имя это будут знать лишь три сенатора и я. Но кого выбрать?

— Вам следовало бы выбрать двенадцатилетнего мальчика.

— Почему ребенка?

— Чтобы он стал мужчиной вашей выучки, которого вы могли бы воспитать и полюбить.

В конце концов прижатый к стене Консул выкрикивает в лицо Редереру: «Мой естественный наследник — народ Франции!»

Эту фразу произносит не старик, а тридцатилетний чиновник, избранный только на десять лет: так ясно видит он уже теперь впереди монархию. Когда Наполеон начинает всерьез подумывать о наследнике, выбор его останавливается на братьях. За все, что он им дарит, они должны дать ему наследника, которого у него нет, но в жилах которого будет течь кровь Бонапартов. Вот почему его так прогневил Люсьен: не потому, что женится на женщине с дурной славой, а потому, что у нее нет родовитости. Наполеон требует, чтобы они расстались: он хочет женить брата на особе княжеских кровей.

Но тот сопротивляется — больше из зависти к всемогущему брату, чем из привязанности к женщине, которую, впрочем, любит: честолюбивый Люсьен пожертвовал бы всем, чтобы только самому взобраться на вершину власти. Когда после какой-то бурной сцены между братьями Бонапарт входит в комнату Жозефины, его голос дрожит от волнения: «С ним все кончено. Я прогнал Люсьена с глаз долой!»

Одновременно идет длительная борьба с Людовиком, в коем Жозефина видит спасение своего собственного рода. Людовик терпеть не может ее дочь Гортензию, та его тоже видеть не желает, потому что любит другого, но мать тем не менее добивается их брака, и сын их на самом деле становится любимцем Наполеона и его наследником. А сестры тем временем затевают всякого рода интриги и распускают слух, что Наполеон и есть настоящий отец ребенка. Семейство, счастью которого завидует вся Европа, распадается из-за этой проблемы. Летиция берет сторону насильно обвенчанной пары и выгнанного за упрямство Люсьена — она едет вслед за ним в Рим. Там она чувствует себя счастливой и может жить как богатая итальянка — общаться с первыми семьями Рима, быть с почетом принятой Папой.

Что, если бы он расстался с Жозефиной? Сестры, ненавидящие «эту старуху», делают все, что могут, и знакомят брата с очаровательными женщинами. А он, с годами живущий во все более спокойном браке и нуждающийся в дружбе Жозефины, конечно, уже не пренебрегает женскими прелестями и берет себе в любовницы одну за другой несколько красивых актрис, потом то одну, то другую «компаньонку» своей сестры — на несколько вечеров, на несколько ночей.

Девушка Жорж, робеющая перед ним, как и все, находит, что Бонапарт весьма «обходительный и деликатный человек»: он с ней играет в прятки, помогает ей раздеваться, выполняет ее «детские капризы», однако не называет ее Жозефиной — ее имя тоже Жозефина, — а на корсиканский лад Джорджиной. Когда Жорж по просьбе Наполеона рассказывает ему свою жизнь, тот внимательно слушает и кивает: он заранее навел справки и теперь радуется, что она не лжет.

Иногда слуги видят, как Консул в чулках поднимается по тайной винтовой лестнице, чтобы навестить красавицу Дюшатель — нежную, изящную, светловолосую женщину излюбленного им типа. Эту «фрейлину» своей жены он частенько вечером приглашает поиграть в карты, ведет при этом игривые разговоры, а перепуганная Жозефина, в это время играющая за другим столиком, старается уловить все сказанное. Потом фрейлина уходит, он следует за ней, они встречаются в условленной комнате. Жозефина не вы-

держивает, следует за ними, дергает ручку запертой двери. Наполеон появляется взбешенный, на следующий день говорит о разводе, но ее очаровательные слезы быстро настраивают его на другой лад.

Однако эти любовные утехы редки и происходят от случая к случаю, обычно же он поглощен делами и, кроме того, помнит о своем решении исключить из своей жизни пороки королей — расточительность и фавориток, а главное — влияния фавориток на дела государства. Для любовных игр он слишком рано состарился, и его слова, в тридцать лет написанные в письме к другу, просто потрясают: «Мое старое сердце теперь знает людей».

Жозефина, ныне постоянно пребывающая в тревоге из-за него, как раньше он из-за нее, поглощена туалетами, шляпами и драгоценностями, она тратит больше денег, чем любая королева, и остается до такой степени светской, что, будучи первой дамой страны, рассказывает своим камеристкам, когда именно Консул навестил ее ночью. Ей он многое прощает. Иногда она сидит у постели усталого мужа и читает ему что-нибудь своим приятным голосом, а он благодарит ее взглядом. Этот великий преобразователь в душе остается консерватором, и уж если ему трудно расстаться с каким-нибудь генералом или чиновником, как ему развестись с этой женщиной, которую он любит со всеми ее пороками!

В уютном городке Мальмезон, где Жозефина в год Египетского похода изменяла мужу со своим Ипполитом, Наполеон бежит наперегонки с Эженом и Гортензией, с Бурьеном, Раппом и несколькими литераторами и, когда падает на землю, смеется вместе с другими. Потом садится в карету, чтобы ехать в Париж, и говорит:

— Ну вот, теперь я вновь могу надеть на себя железный ошейник.

VI

«Бонапарт почти никогда сам не пишет, обычно он диктует, расхаживая взад-вперед по кабинету, молодому человеку двадцати лет по имени Меневаль — единствен-

ному, кто имеет право входить в эту и три другие комнаты. Меневаль не так одарен, чтобы можно было возлагать на него какие-либо надежды, да он особо и не стремится вверх. Однако заметки, имеющие отношение к его главным планам, Первый Консул пишет сам. Эту чрезвычайно аккуратную папку он сам запирает на замок, а единственный ключ всегда носит с собой. Когда он ненадолго выходит из кабинета, Меневаль обязан класть папку в шкаф, привинченный к полу. Выкрасть эту папку возможно, нужно лишь учесть, что подозрение падет на Меневаля и на смотрителя, который убирает в кабинете и разводит огонь в камине. Следовательно, смотрителю придется бежать... Все секретные заметки о военных операциях консула должны быть в этой папке, и поскольку с его властью можно покончить только нарушив его планы, то эта украденная папка уничтожила бы все».

Кто это написал? Некий агент Бурбонов? Или предатель из окружения Консула?

Ничего подобного: это написал двадцатилетний молодой человек по имени Меневаль, а надиктовал ему эти строки его шеф, Первый Консул, расхаживая взад-вперед по кабинету.

Этот текст — памятка для шпиона, которого министр юстиции по приказу Бонапарта должен послать в Мюнхен, чтобы там втереться в доверие к англо-бурбонским агентам и затем вскрыть изнутри готовящийся ими заговор. Многие детали Консул сообщает министру юстиции устно: как войти в контакт с этим роялистски настроенным смотрителем, сколько ему следует заплатить за эту акцию, где он должен переночевать при побеге: целый план небольшой военной операции, составленный полководцем и направленный против него самого.

У Бонапарта достаточно оснований соблюдать осторожность. Именно в эти беспокойные зимние месяцы замыкается круг подозрений: в Лондоне, в Вандее и в самом Париже работают до сотни шпионов. Пора вмешаться? — спрашивают они то и дело. Ждать, отвечает Бонапарт. Медленно собирает он доказательства, их становится все больше. Наконец он знает все: крайние фланги его смертельных врагов, якобинцев и роялистов, объединились,

дабы общими усилиями уничтожить Бонапарта. Пишегрю, друг Бурбонов, и Моро, защитник республиканцев, едины в борьбе против диктатуры. Оба генерала — его соперники. Пора их прихлопнуть!

Весть о раскрытии заговора наполняет страхом всю Европу: законные князья восхищаются принятыми им мерами предосторожности, но еще сильнее надеются на его врагов — ведь их численность наверняка должна быть больше, чем сообщает газета «Монитор». Скомпрометированы английские министры! Великий Моро за решеткой! Бонапарт долго колебался, прежде чем решил его арестовать: слишком высоко ценил этого соратника славы. В день ареста Бонапарт так волнуется, что несколько раз посылает вестового, требуя последних сообщений. Вспоминает ли он недавнее прошлое? Ведь не минуло еще и четырех лет, как он сам перепугался ночью в доме Талейрана. Процесс над заговорщиками для него мучителен, вина Моро доказана, но Бонапарт не решается покончить с ним и, амнистировав, отсылает в Америку. Пишегрю находят повесившимся в тюремной камере. Тринадцать остальных казнят. Один из них сознался на допросе, что кто-то из Бурбонов тоже участвовал в заговоре.

Консул настораживается: сам принц Конде? Талейран подливает масла в огонь: принц уже давно отсиживается у самой границы. Он что — в бинокль наблюдает за тем, что творится во Франции? Неужто и впрямь сидит без дела в Бадене лишь для того, чтобы заниматься любовью с племянницей какого-то кардинала? Будучи к тому же внуком великого Конде и принадлежа к династии Бурбонов, принц живет на английские деньги? Вероятно, он и есть та особа королевских кровей, которая знала о заговоре, по крайней мере ему известны имена агентов, наводнивших Южную Францию. Да, это, конечно, он, вот пусть и послужит доказательством того, что свергнутая династия не будет больше нарушать покой Франции и сон своего повелителя.

В длинном письме Консул приказывает двинуться на городок Эттенгейм по ту сторону Рейна, подробно указывая число судов и запас провианта, словно речь идет об осаде Мантуи. 300 драгун въезжают в городок, похищают

Луи де Бурбона Конде, герцога Энгийенского, четыре дня спустя он уже доставлен в Париж, где его заключают в крепость. Все это происходит под покровом тайны.

Но документов, компрометирующих принца, нет. Однако Талейран, всегда думающий только о собственном будущем, настаивает на военном суде и суровом приговоре, предвидя тяжелые моральные последствия этого для своего господина и, конечно, желая их. Жозеф видит грозящую брату опасность, берет его за портупею и напоминает, с каким почтением они оба приветствовали великого Конде, когда он посетил их военное училище, даже цитирует на память стихи, которые они кадетами декламировали в его честь. Неужели теперь уничтожить принца, его единственного внука?

— Помилование предрешено, — возражает Консул, — но этого мало. Я чувствую себя достаточно сильным, чтобы переманить принца под мои знамена.

Жозеф, вернувшись в свое имение, успокаивает мадам де Сталь и других гостей.

В тот же вечер герцог — двумя годами моложе своего противника — мужественно и с достоинством выходит к группе из двенадцати штабс-офицеров. Член Государственного совета, прибывший с ними, задает ему составленные Консулом вопросы:

— Не вели ли вы переговоры с английскими агентами? — Нет. — Не собирались ли вы, если бы заговор Пишегрю удался, вступить в Эльзас со стороны Рейна? — Нет. — Получали ли вы денежное содержание от англичан? — Да. — Не собирались ли вы нанести визит английским официальным инстанциям? — Да, чтобы освободить мою родину. — Следовательно, вы пошли на службу к англичанам, чтобы с оружием в руках напасть на Францию? — Носящий имя Конде может вернуться на родину только с оружием в руках!

Герцога приговаривают к смертной казни и на рассвете следующего дня расстреливают по законам военного времени.

Этот приговор неправомерен в одном пункте: похищение за границей было незаконно. Был бы герцог на французской территории, то его и следовало бы приговорить к

смертной казни по действовавшим тогда законам — за то, что он, как следовало из его собственных показаний, намеревался с оружием в руках уничтожить существующую форму государственного правления. С этой оговоркой, которую, конечно, нельзя счесть существенной, приговор был бы справедлив.

Только он был, как позже впервые сказал об этом деле Талейран, больше чем преступлением, он был ошибкой. Во время революций сотни людей гибнут вообще безвинно, а этот принц, хоть и не участвовал в заговоре, приветствовал убийство узурпатора и с мечом в руке вошел бы в Париж, чтобы прикончить оставшихся из числа тех, кто в свое время казнил его кузена. Никто и не вспомнил бы об этом расстреле, не иди речь о Бурбоне — символе коронованных правителей Европы. Таким образом этот поступок Консула был наглым вызовом европейским тронам и многим миллионам европейцев, веривших в то, что королевская власть дается Божьей милостью. Он стал сигналом к борьбе против диктатора, который никогда раньше не прибегал к террору и за эти семь лет ни как полководец, ни как государственный деятель ни разу не совершал насилия.

Когда на следующий день после расстрела гости молча и подавленно сидели за столом, Наполеон вдруг сказал:

— Теперь они по крайней мере знают, на что мы способны. Надеюсь, отныне нас оставят в покое.

После ужина он ходил взад-вперед по комнате и раскрывал перед молчаливыми гостями свои резоны, свое настроение. Все внимательно слушали, а он, продолжая ходить из угла в угол, говорил прочувствованные слова о гении и политике, и прежде всего о Фридрихе, которого чрезвычайно чтит:

— Может ли политик быть чувствительным? Разве он не стоит особняком, всегда в одиночестве и в то же время — со всем миром? Его подзорная труба — политика, она не должна ничего ни преувеличивать, ни преуменьшать. Он вынужден следить за событиями, одновременно влиять на них. Частенько его карета запряжена разными лошадьми: судите сами, может ли он позволить себе щадить известные чувства, вообще-то столь важные для общества!.. Как часто ему приходится совершать поступки,

которые на первый взгляд не имеют ничего общего с главным делом... Постарайтесь всегда обгонять свое время, вместо того чтобы брюзжать, дайте волю воображению, и вы увидите: великими людьми, которых считают жестокими и жесткими, бывают только политики. Они знают самих себя, сами себя оценивают, и если они действительно искусные политики, то умеют владеть своими страстями, ибо умеют и точно вычислить их последствия.

Внезапно Бонапарт оборвал этот публичный монолог, приоткрывающий глубины его души, и приказал прочесть вслух документы, относящиеся к заговору.

— Вот они, бесспорные доказательства того, что эти люди хотели взбаламутить Францию и в моем лице убить революцию. Я должен был защитить ее и отомстить за нее. Герцог был заговорщиком, как все прочие, и с ним поступили, как со всеми прочими... Эти безумцы стараются меня прикончить, не понимая, что ничего хорошего им это не принесет, ибо мое место займут обозленные якобинцы... Чего стоят эти Бурбоны! Если они и в самом деле когда-нибудь вернуться, держу пари: первое, чему они себя посвятят, будет этикет. Вот если бы они появились на поле брани в пыли и крови, как против Генриха IV! А письмом, посланным из Лондона и подписанным Людовиком, королевство не отвоюешь. Тем не менее такое письмо компрометирует некоторых неосторожных особ... Я пролил кровь, я был вынужден это сделать, может быть, пролью еще больше: но не со зла, а просто потому, что кровопускание окажется необходимым. Я — человек государственный, я — французская революция, и я сумею ее защитить!

Внезапно он сделал всем присутствующим знак разойтись.

В этих словах и его настроение, и его мотивы, и его взгляды на будущее и мотивы его обид. Но в них нет выводов.

VII

Спустя восемь дней после приговора герцогу Энгиенскому к Консулу является один из комитетов Сената со странном двойным предложением: ввести Высший госу-

дарственный суд и одновременно — монархию. Что может быть логичнее и проще? Чтобы избавиться от страхов и обезопасить жизнь главы государства необходимо — на всякий случай — иметь Высший государственный суд и наследника.

Преждевременное решение об императорской власти, впрочем, как и все важные решения в жизни Наполеона, возникает под давлением обстоятельств. У него никогда не было четкого плана жизни, который бы претворялся в поступки. Отправляясь в итальянский поход, Бонапарт не видел впереди корону Милана или Франции. Таким образом, он на своем примере осуществил собственный девиз: «Далеко не пойдет тот, кто уже в начале пути знает, куда хочет прийти».

— Королевский титул исчерпал себя, тащит за собой старые идеи и сделал бы меня просто наследником славы тех, кто жил до меня. А я не хочу ни от кого происходить и ни от кого зависеть. Императорский титул величественнее, он еще не совсем понятен и действует на воображение.

Видит ли он опасность или ничего не замечает? Каково его противоядие? «Что такое трон? Кусок дерева, обтянутый куском бархата!» — многократно повторит он, будучи уже императором. Однако этим куском дерева с бархатом можно запросто привлечь к себе взрослых мужчин — он знает это по Почетному легиону и поэтому все, что окружает корону, он продумывает намного основательнее и серьезнее, чем ее саму. Политику нужны внешние знаки той власти, в которых глупый мир и признает власть.

Однако неужели Бонапарт, умеющий все предвидеть и рассчитать, не видит опасности, таящейся в символе золотого венца? Неужели не понимает, что простой народ тысячелетиями верит в родство Божьей и королевской власти? А если понимает, то как объединить эту иллюзию с политическим цинизмом? Если корона — награда за гениальность, как ее передать по наследству не гению?

И тем не менее все его помыслы уже теперь связаны с наследованием власти по примеру римских императоров. Он на собственном примере понимал, что дух всегда первичен и самобытен, видел, как наследственная власть пото-

нула в пыли и крови, его сердце одобрило покушение на голову короля, и он упрекает Бурбонов не в происхождении, а в трусости. Бонапарт ощущает свою уникальность: и почести, и богатства достались ему лишь благодаря его заслугам, мужеству и таланту, он — олицетворенный символ революции. И он верит, что сможет увековечить свою кровь — только потому, что эта кровь — его!

Для того ли он изучал своего любимого Плутарха и историю цезарей, для того ли штудировал хроники великих королей Франции, Англии, Пруссии и научился презирать их слабости, чтобы теперь вновь сделать происхождение решающим фактором для восхождения на этот единственный высший пост в государстве! В этом и только в этом пункте Наполеон, человек совершенно новой формации, хочет объединить новое со старым, чтобы, как он потом скажет словами, полными трагической глубины, «достигнуть той гармонии, какую я почитал необходимой для спокойствия в мире, и достигнуть в одиночку, лишь благодаря своим способностям и своему взлету. Поэтому я и бросал повсюду спасательные якоря на дно морское».

Однако рядом со столь возвышенными словами, достойными героев Плутарха, живут простые обывательские чувства. Когда Редерер наводит его на мысль ради наследника заключить новый брак, он вспыскивает и кричит:

— Доныне я решал все вопросы только по справедливости. И вероятно, в моих интересах развестись. Но как можно выгнать хорошую женщину только за то, что я поднялся выше! Ведь она пошла бы за мной и в изгнание, и в тюрьму. А теперь? Нет, это выше моих сил. У меня в груди бьется человеческое сердце, моя мать не была тигрицей.

После смерти жены он счел бы себя свободным. Но как он представляет себе лучшую форму наследования?

— Мои братья родились в бедности, как и я, но они не сумели возвыситься своими силами. Чтобы править Францией, нужно либо родиться принцем и с детства привыкнуть к дворцам и гвардии, либо же нужно быть человеком, способным отличать себя от других.

В этой последней мысли уже таится пагубное заблуждение, впоследствии ставшее для него роковым.

Поначалу все идет спокойно и буднично, как уже было





*Дом в Аяччо,
в котором родился
Наполеон*



Наполеон в школе Бриенна

*13 вандемьера,
подавление мятежа
в Париже*

*Итальянская
кампания генерала
Бонапарта*



*Египетский
поход*

**PROCLAMATION
DU GENERAL EN CHEF
BONAPARTE.**

Le 19 Brumaire onze heures du soir.

À tous ceux qui ont le bonheur de vivre sous le drapeau de la République, et à tous ceux qui ont le malheur d'être encore esclaves de la tyrannie, je salue la liberté, la justice, la fraternité, et le bonheur de tous les Français.

Le 19 Brumaire, onze heures du soir, j'ai été proclamé général en chef de la République par les représentants du peuple, et par les citoyens de Paris. Je me suis rendu à l'Assemblée nationale, et j'ai lu devant elle la proclamation que vous venez de voir. Elle a été adoptée à l'unanimité, et elle a été proclamée par les représentants du peuple.

Je suis donc général en chef de la République, et j'ai le devoir de vous en faire connaître les motifs. Les Français ont souffert trop longtemps de la tyrannie, et ils ont besoin de liberté. Ils ont besoin de justice, et de fraternité. Ils ont besoin de bonheur, et de paix. C'est pour eux que je me suis élevé au-dessus de moi-même, et que j'ai accepté ce grand poste.

Je suis sûr que vous serez avec moi, et que vous serez avec moi. Je suis sûr que vous serez avec moi, et que vous serez avec moi. Je suis sûr que vous serez avec moi, et que vous serez avec moi.

*Воззвание
генерала
Бонапарта
от 19 брюмера*



Наполеон Бонапарт — Первый Консул

Wally



Наполеон — император французоз



На официальном приеме в Лувре перед коронацией



Император Австрии Франц и князь Лихтенштейн обсуждают условия договора о мире с Наполеоном



Наполеон, Мюрат и Бертье осматривают войска перед битвой на Йене, 14 октября 1806



*Наполеон —
король Италии*

*Наполеон принимает
депутатов французского Сената
в Берлинском королевском дворце,
19 ноября 1806*



*Наполеон и маршал Бертье
навещают раненых
после битвы при Эсслинге*



*На поле
Ваграма*

М

Наполеон в Байонне





Наполеон и Жозефина играют в бильярд



*Наполеон
коронует
Жозефину*



*Жозефина
выбирает
новые наряды*

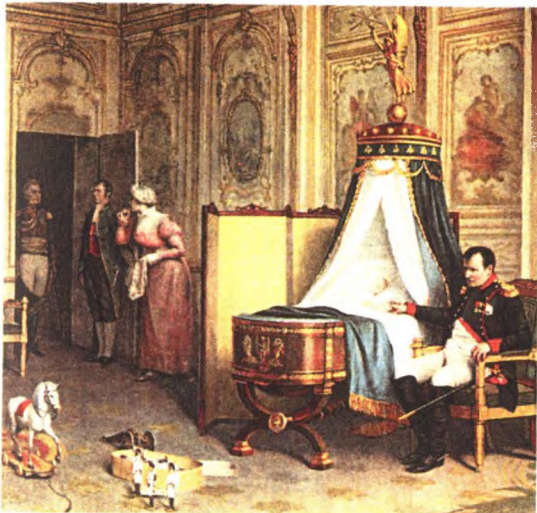


Handwritten signature or mark.



Венчание
Наполеона
и Марии Луизы,
2 апреля 1810

Наполеон
любил
подолгу
принимать
ванну,
читая
доклады



Наполеон с сыном в детской комнате
в Фонтенбло

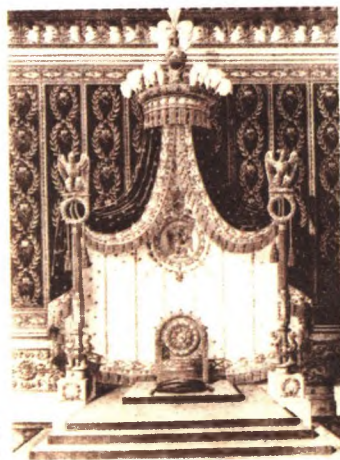


Наполеон представляет
короля Римского
своим приближенным

Жироде



*Три лика Наполеона —
таким его увидел художник Жироде
12 апреля 1812*



*Императорский
трон*

Handwritten signature or mark.

*Наполеон
на поле Бородино*



*Наполеон с Лористоном,
послом в России,
в Кремле*



Handwritten signature



Handwritten signature or mark in the top right corner.



Итальянская корона — одна из самых старых в Европе



Папская корона — подарок Наполеона папе Пию VII



Гражданский кодекс Наполеона действует в большинстве европейских стран и по сей день



Герб Великой Итальянской Армии



*Походная мебель
Наполеона*

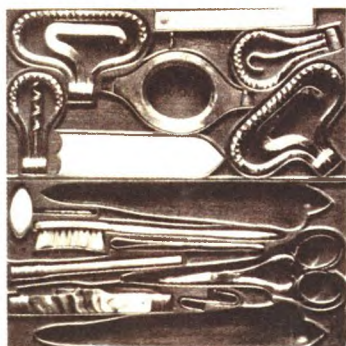
*В этом портфеле Наполеон получал
переводы статей из иностранных газет*



*Походные вещи
и кровать
Наполеона*



*Дорожный
несессер
Наполеона*



*Походный набор
Наполеона*

Самый
известный
мундир
Наполеона



На дипломатические
и военные приемы
император надевал
этот костюм



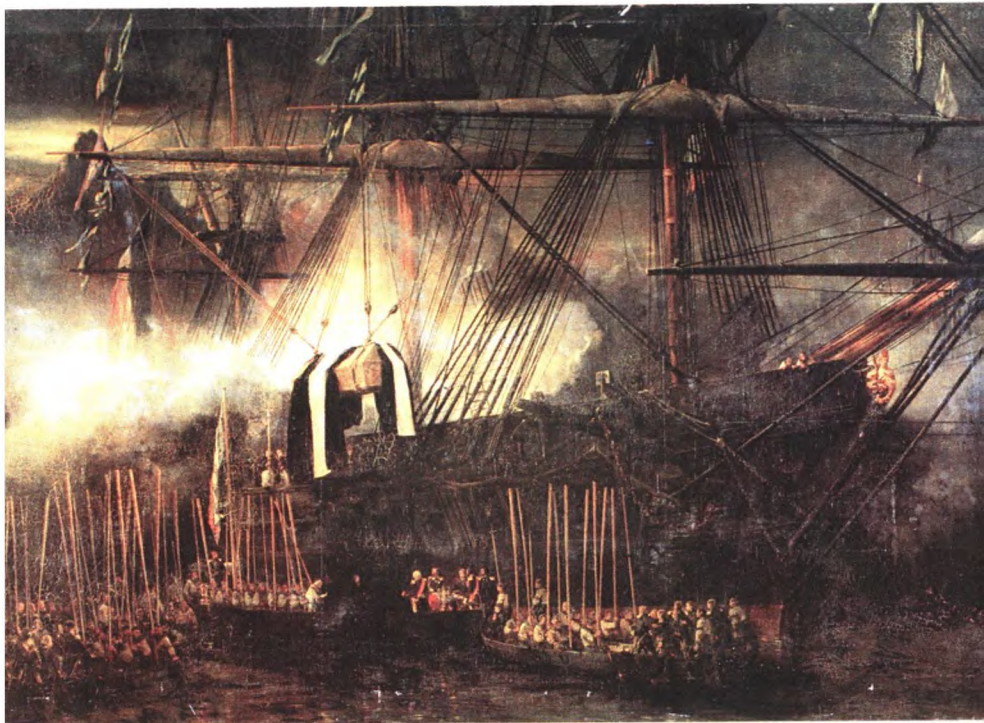
Шпага
императора



Платья,
которые
носил
Наполеон



Орден
Почетного легиона



*Французское боевое судно увозит
останки Наполеона с острова Святой Елены,
1840*

дважды: вновь, чтобы оставаться над схваткой, он требует референдума, и те же самые французы, которые двенадцать лет назад смели с лица земли не только короля, но и корону, теперь ее восстанавливают, воодушевляясь ее блеском и славой больше, чем два года назад при передаче власти тому же самому Консулу. Через несколько дней все кончено: предложения в законодательных органах, причем в Сенате лишь три личных врага голосуют против, а в Трибунате его личный почитатель Карно — единственный из всех публично заявляет о своей приверженности свободе. Потом Консул в один из майских дней приказывает доставить ему в Сен-Клу результаты референдума и новую Конституцию и в тот же день предать то и другое гласности. Все коротко и деловито, словно речь идет всего лишь о каком-то новом параграфе.

Он нигде не подчеркивает мистическое или хотя бы популярное происхождение своей власти. Несколько дней спустя после референдума он сидит после ужина в эркере гостиной верхом на стуле, опершись подбородком о спинку, и долго молчит, прислушиваясь к беседе своей жены с мадам де Ремюза, которая и сообщает нам об этой сцене. Потом встает, обращается сначала к благородной даме и, держась открыто, непринужденно и весело, как простодушный обыватель, внезапно — с той свободой, которая поражает и его окружение, и последующие поколения, — приоткрывает завесу, объясняет мотивы и словно перед лицом истории излагает свои мысли:

— Значит, вы сильно рассердились на меня за смерть герцога? Вам дороги ваши воспоминания, а мои доходят лишь до того времени, когда я начал что-то значить. Что для меня герцог Энгийенский? Эмигрант, более важный, чем остальные, — этого достаточно, чтобы предпринять против него определенные действия... Вот уже два года, как власть досталась мне столь естественным путем... Правда, герцог вынудил меня сократить время кризиса. Я рассчитывал еще два года руководить консулатом, как теперь, хотя эта форма правления противоречила обстоятельствам. Мы, Франция и я, еще какое-то время шли бы этим путем, ибо Франция верила в меня и хотела того же, что и я. Но после этого заговора, который должен был расшевелить Европу, мне пришлось убедиться в своей ошибке...

Партии, которые я хотел примирить — роялисты и якобинцы, — не падают духом, они надеются друг друга запугать. Так что я понял, что между ними никакого пакта заключить не удастся, зато можно с каждым из них в отдельности и к моей выгоде... Теперь они умолкли. Против меня — лишь республиканцы, эти строптивцы, которые воображают, будто можно возвести республику на месте бывшей монархии, а Европа будет спокойно на это глядеть... Поэтому я предпочел диктатуре империю — как никак меня оправдывает уже то, что мы все как бы оказываемся на знакомой территории...

Вскоре вы увидите, как придворный этикет привлекает эмигрантов: язык старых привычек завоевывает аристократов... Вы, французы, любите монархию, это единственная форма, которая вам по нраву. Держу пари, мадам де Ремюза, что вы чувствуете себя во сто крат лучше с тех пор, как вы называете меня «Сир», а я вас «Мадам». Вашему тщеславию необходимо приковывать к себе всеобщее внимание, суровость республики наскучила бы вам до смерти... Свобода — лишь повод, равенство — ваш конек, народ доволен, когда на троне сидит человек, вышедший из солдат... Нынче народ и армия — за меня. Кто в таких условиях не мог бы править страной, был бы очень глуп.

Внезапно он умолкает, делает строгое лицо и дает мадам де Ремюза какое-то ничтожное распоряжение — тоном абсолютного монарха.

«В такие минуты доверительного общения, когда мы все молча стоим вокруг него, слушая и глядя, как он сидит на стуле, этот новоиспеченный тридцатичетырехлетний император в старом зеленом сюртуке, как он уголком глаз оглядывает гостиную, потом начинает ходить из угла в угол, высказывая сугубо личные мысли, и вдруг одним-единственным жестом зачеркивает всю доверительность атмосферы, — в таком волнующе близком общении, полном естественности и нарочитости, полном веры в будущее и коварства в настоящем, удается услышать больше, чем он произносит в кажущемся самозабвении, тут начинают звучать все обертоны: и легкое презрение к наследственной аристократии, и скрытое желание ей понравиться, и планы, которые легко изменить под влиянием обстоятельств, и зло-

ровый цинизм по отношению к глупости человеческой, и становится явной чужеродность этого иностранца, благодаря которой он как раз и оказывается способным руководить Францией с галантной строгостью».

Создается впечатление, что поначалу Наполеон не может достаточно трезво оценить изменение своего титула:

«Велик тот, — пишет он мадам де Сталь, — кто понимает, что такие пустые титулы нужны лишь государству и не могут что-либо изменить в дружеских, семейных или светских отношениях. С тех пор как меня стали именовать «Величеством», никто в моем доме не замечает, чтобы я хоть в чем-то изменился».

Меняет он — причем в третий раз — лишь собственное имя. На первом большом приеме первые лица государства обращаются к нему и к Жозефине «Сир» и «Мадам», а аристократы, пятнадцать и двадцать лет назад на этом же самом паркете произносившие «Сир» и «Мадам», теперь взволнованы восстановленным придворным этикетом. Но натура Бонапарта, его одежда и манера держаться не меняются.

Однако теперь он подписывает воззвания, письма, ноты и декреты именем, которое он в последние десять лет почти ни от кого не слышал и которое его нетерпеливая рука вскоре сведет к одной-единственной букве. Жозефина всегда называла его Бонапартом, братья и сестры давно уже обращаются к нему на «вы» (что ввел не он сам, а Жозеф, и что, впрочем, соответствует обычаю). Только его матушка иногда, в редкие минуты душевной близости, называла его этим именем, но на своем диалекте: Наполионе.

Глубокий смысл заключается в новизне этого имени, которое он впервые в жизни ставит рядом с невиданным титулом:

Наполеон I, император французов.

VIII

При первых же шагах возникает дилемма. «Император согласно Конституции Республики» — отчеканено на монетах, и он еще четыре года будет тащить за собой этот па-

радокс. Годовщину взятия Бастилии он праздновал в императорском облачении. Этот жест был бы благородным, если бы не был политическим, ибо празднование переносится на воскресенье, а вскоре и вовсе предается забвению. А вместе с ним и новое летосчисление, мало-помалу превращающееся в старое.

Все его поддерживают, и вот уже 130 человек из числа тех, кто двенадцать лет назад голосовал за казнь короля, будут возглавлять императорские учреждения. Что же до Европы — не должна ли она улыбаться, глядя, как новые формы, а с ними постепенно и содержание, ради которых было пролито столько крови, уплывают в музей истории?

Прежде всего улыбается родовая аристократия, которую смерть герцога Энгиенского вернула к непримиримой фронде.

А в аристократическом предместье Парижа Сен-Жермен, за которым император наблюдает так же пристально, как за Сен-Антуаном, рабочим пригородом, из уст в уста передаются рассказы о новом хозяине старого дворца Тюильри. Теперь, когда Наполеона самого величают «Сир», как последнего Бурбона, он притягивает к себе все лорнетты, став главной мишенью критики. Самому Наполеону при его врожденном чувстве собственного достоинства все это безразлично, ведь в Милане он уже брал в руки бразды правления, будучи генералом, просто потому, что это был он. Но его окружение своим наивным любопытством, ребячливой ревностью и болтовней обо всем, что происходит во дворце, вскоре вызывает к себе столь язвительно-насмешливое отношение, что Европа тут же распрстраняет его и на самого Наполеона.

Англия теперь уже содержит наряду со своими агентами целую свору писак, вымыслам которых все верят, и вот уже появляется карикатура, изображающая маленького лейтенанта, берущего урок императорской осанки у великого Тальма: это он-то учится у Тальма, а ведь на самом деле он частенько объяснял актеру смысл и жесты королевских ролей у Корнеля! А как иначе было Европе обороняться от этой осуществленной легенды? Она обращает в лживый фарс то, что на самом деле смахивает скорее на пронзительно-серьезную достоверность трагикомедии.

Император знает, что ему полагается иметь двор, а он, любящий во всем доскональность, ничего в этом не смыслит и поэтому приглашает знатоков своего дела — придворных прежнего режима. Престарелый гофмейстер казенного короля откладывает в сторону перо стихотворца, чтобы вновь взять в руки жезл. Жозефина, которую поначалу признали лишь немногие дамы из числа придворных прежнего короля, совершенно беспомощна, когда ей приходится правильно, то есть по-королевски, укладывать складки шлейфа. Где старая камеристка Марии Антуанетты? Жива и содержит пансион в Париже? Вызволить ее из забвения! И та появляется во дворце и в тех же комнатах, перед теми же зеркалами укладывает шлейф вокруг этих креольских ножек, привыкших к совсем другим танцам, чем ножки ее бедной королевы.

Император обустроивает свой двор так же деловито и серьезно, как если бы речь шла о генеральном штабе новой армии. Лучше, чем кто-то другой, он понимает пустоту этих дел:

— Я прекрасно знаю, что множество людей возмущены всем этим. Даже вы, месье Редерер, не благоволите предположить у меня наличие кое-какого ума! А ведь должны были бы догадаться, зачем я присвоил новым маршалам, этим подлинным республиканцам, титул «монсеньер»: только для того, чтобы обеспечить императору титул «Величество». На него не сможет излить свою горечь тот, кто сам носит высокий титул.

Уже первые шаги втягивают его в коварные противоречия.

Теперь оба бывших консула — единственные, кого новый император оттеснил, — становятся архиканцлером и архиказначеем, а Талейран в должности обер-камергера вводит старые манеры в старом дворце. Императору теперь ничего не стоит предоставить самые престижные придворные должности кавалерам и дамам прежнего режима. Вместо этого он отдает эти должности сыновьям рабочих и буржуа, возвысившихся вместе с ним, — Бертье, Мюрату, Ланну, Нею, Даву. Четырнадцать генералов, выросших в булочных и конюшнях, бывших официантами, юнгами и бродягами, должны при дворе сменить свои

прославленные мундиры на блестящую золотыми галунами форму маршалов Франции, исполнять придворные должности, носить кружевные жабо и туфли с пряжками, а их супруги — научиться отвешивать глубокие поклоны, сидеть и стоять. И все это для того, чтобы Европа своими глазами увидела: этот император, сам бывший некогда лейтенантом, последнего лейтенанта приобщает к блеску своего двора только за заслуги. Вот Мармон, вынужденный носить простреленную руку на перевязи, стоит весь в шелку, бархате и золоте, но его распоротый из-за раны рукав насмехается над изощренным покроем его панталон.

Из чувства такта император исключает из прежнего церемониала две мелочи, унижающие достоинство: подавание сорочки во время утреннего приема и целование руки.

Но как восстановить очарование двора в стиле рококо, если всем распоряжается военный? Правда, после длительного обсуждения решают, какого цвета должны быть туалеты императрицы и их высочеств — имеются в виду родственники — во время охоты. Однако когда наступает момент подстрелить оленя, а император погружен в думы, никто не решается выстрелить вместо него, так что можно сказать, что придворный этикет спас бедное животное.

В дамском обществе императору скучно: он расспрашивает дам с наивной деловитостью о том, сколько у них детей и сами ли они кормили их грудью, пытается быть любезным, но часто забывается, поскольку мысли его заняты совсем другим.

Зато все принадлежащие ко двору сильно обогащаются. Он ежегодно раздает щедрые ренты каждому, занимающему какой-либо пост, и скуп только по отношению к нескольким родовитым аристократам, которым он по злобе навязал придворные обязанности. Большинство его приближенных нахватало миллионы, ибо «честолюбие и тщеславие — главная движущая сила людей, они добросовестно исполняют свой долг, пока стремятся вверх... Я создал сенаторов и князей, дабы стимулировать их честолюбие и тем самым сделать их зависимыми от меня». Так он воздействует на людей, осыпая их деньгами и почестями, и приобретает таким образом хоть и не друзей, но сторонников.

Наполеону известно, что значат деньги. В нем изумляет непоколебимая, чисто буржуазная расчетливость. На себе самом император экономит. Назначает себе годовую ренту в 25 миллионов — такую же, как у последнего короля, — но укладывается в тринадцать. Да и вообще его двор, несмотря на весь блеск, не тратит и четверти того, что уходило при последнем Бурбоне. Этим Франция обязана добросовестности и осведомленности человека, который некогда жил на жалованье 90 франков в месяц и теперь утверждающего, что на 1200 франков в год можно вполне сносно существовать, если имеешь коня.

В его распорядке дня ничего не меняется: в семь утра его будят, в девять — первая аудиенция, целый день в разговорном темпе диктует секретарям, все при нем должны работать быстро и четко, а если ночью ему не спится, Меневаль должен быть к его услугам и записывать то, что его шефу пришло ночью в голову. Трапеза занимает двадцать минут, он сам вряд ли замечает, что ест. В отличие от разодетых в пух и прах придворных, Наполеон всегда является в простом сюртуке без всяких знаков отличия и всегда кажется самым скромно одетым, и если во время больших торжеств ему приходится пышно наряжаться, то при одевании он выходит из себя от злости, зато потом, разоблачаясь, испытывает большое облегчение. Приехав в отремонтированный замок Сен-Клу, император выражает свое неудовольствие словами: «Это апартаменты для молоденькой содержанки, не хватает солидности».

Он нетребователен: ему все равно, какое ложе, какая еда, какое освещение. Даже табакерка, которую он вечно держит в руках, скорее просто привычка. Однако император не может обойтись без огня в камине, горячей ванны, одеколona, легкого красного вина «Шамбертэ» и ежедневного двухразового умывания. А Жозефина тратит деньги без счета. На ее 700 платьев и 250 шляп, перечисленных в гардеробном реестре, на ее шали, драгоценности и прически уходят миллионы, и хотя император хочет, чтобы она окружала себя роскошью, какой он сам избегает, все же иногда его выводят из себя немислимые суммы ее расходов.

Братья и сестры тоже пускают деньги на ветер. Он дает им все, и они всегда недовольны. Начинается смехотвор-

ное состязание между этими пятью парами — ибо Люсьен все еще в ссылке — и Жозефиной, которую они все дружно ненавидят. Четыре из шести высших постов с фантастическими окладами он отдает братьям, приемному сыну и Мюрату, шурину. Поскольку братья стали теперь Высочествами, обиженные сестры предпринимают коллективный демарш, жалуются на то, что их забросили: как же — ведь Гортензия, жена Людовика, теперь «Высочество», а они «никто». Он смотрит на них долгим взглядом и возражает фразой, достойной войти в сборник всемирного юмора: «Послушать вас, так можно подумать, что Его Величество, наш покойный отец, оставил нам корону и империю!»

И впрямь можно так подумать. Потому что он тут же уступает им из какого-то мягкосердечия, вообще-то ему не свойственного, и потом еще десять лет кряду осыпает деньгами и почестями, коронами и землями своих сестер, которые его никогда не благодарят, не слушаются и вечно только мешают. Невольно вновь задаешься вопросом: какие странные предрассудки ослепляют его! Он слишком горд, чтобы быть таким уж горячим родственником, его чувство собственного достоинства не терпит давления извне, его карьера уникальна. Его мотивы и в этом вопросе очень смутно ощущаемы.

Воображению Наполеона несомненно льстит, что он отныне может жаловать бриллиантовые диадемы, как раньше дарил шпаги и табакерки. Однако император старается доверять власть только тем людям, на которых может положиться. А что может связывать теснее, чем кровные узы? Даже своим соратникам он доверяет меньше, чем родным. И тем не менее в награду он получает лишь неблагодарность, а в конце жизни еще и узнает, что его предала собственная сестра. Но поскольку Наполеон нарушает принцип равенства и назначает не наиболее дельных, а братьев и племянников на высшие должности, обеспечивая им право наследования, он не может предоставить им свободу действий, которую оставляет за любым генералом в пределах полученных им полномочий. Наполеон обращается с родственниками как всемогущий министр, воспитывающий несовершеннолетних принцев, и это возмущает их и ожесточает его.

Жозеф кипит от ярости, велит своей дочери называть императора по-прежнему Консулом, осуждает его в демократических кругах, отказывается занять должность министра, однако как член императорской семьи принимает два миллиона апанажа в год и Люксембургский дворец в придачу. В конце концов такая позиция выводит Наполеона из себя, и хотя повод ничтожен, но накопившийся в его душе гнев бурно выплескивается наружу. Редко встречаешь более горячее чувство оскорбленного достоинства после трудного пути восхождения, чем в этом искреннем обвинении:

— Что взбрело Жозефу в голову? Он что — думает, что стал принцем для того, чтобы просиживать вечера с моими врагами и гулять по Парижу в коричневом фраке и круглой шляпе? Я пожертвовал всеми личными радостями, чтобы стать тем, кем стал. Я мог бы не хуже других блистать в обществе! И острить я мог бы не хуже любого! Но всего этого мало, чтобы управлять страной. Может, он собирается отобрать у меня власть? Не удастся!

Знаете, что он посмел мне недавно сказать в присутствии двух господ? Мне, мол, не следовало короновать мою жену, поскольку это противоречит его интересам: таким образом детям Людовика создаются преимущества по сравнению с его детьми, ведь те становятся внуками императрицы! Он смеет говорить о своих правах и интересах — мне! То есть ранить меня в самое чувствительное место! Он мог бы с таким же успехом сказать, что спал с моей любовницей или что надеется этого добиться. Да, моя любимая, вот что такое власть! Слишком трудно она мне досталась, чтобы я позволил ее у меня отнять или захотел с кем-то ее делить!

Эти признания многое значат. С горечью говорит он о братьях и сестрах и противопоставляет им Эжена и Гортензию, которые «всегда держат мою сторону, и, когда их мать возмущается, что мне приглянулась какая-то смазливая мордашка, они ей говорят: «Ну что тут такого, он еще совсем молодой мужчина, ты не права. Конечно, у него есть недостатки, но вспомни, как много он сделал хорошего для нас».

И тем не менее он, несмотря на все, тащит братьев на-

верх. Жозефа он заставляет пойти в армию, потому что от всего остального тот отказался: «Он должен получить военный чин, серьезное ранение и хорошую репутацию. Я дам ему самое легкое задание: таким образом он сможет выиграть битву и стать вровень со всеми полководцами». Это звучит как нотация мудрого родителя сыну-дегенерату.

Людовик увлекается поэзией, получает должность начальника императорской гвардии, чтобы иметь какой-то статус, но во время войны имеет право оставаться дома. Мюрат вместе с Каролиной сорит деньгами направо и налево, ест только на золоте, «и чтобы что-то объяснить его жене, моей собственной сестре, мне приходится тратить больше слов, чем в Государственном совете... Они всегда думают только о моей смерти. Это подло — всегда совать мне в глаза мою смерть... Если бы моя семейная жизнь не приносила мне немного счастья, я был бы в отчаянии! Почему они все время подозревают мою жену? Чего у нее больше, чем у них? У нее есть бриллианты и долги... Хорошая женщина, не делающая им ничего плохого. Ну, любит немного поиграть в императрицу — с драгоценностями, туалетами и прочими побрякушками, свойственными ее возрасту. Я никогда не был слепцом в любви. Но я справедлив, и она будет коронована — даже если это будет стоить мне двухсот тысяч жизней!»

Так он беспрестанно конфликтует со своим семейством, которое он мог бы стереть в порошок и с которым, тем не менее, не может расстаться.

Лишь один член семьи остается неподкупным, ничего для себя не требует и держится в тени. «Наша матушка полагает, — пишет Люсьен из Рима, — что Первый Консул поступил худо, надев на себя корону Бурбонов, ее мучают дурные предчувствия, которыми она со мной не делится. Она боится, что фанатики могут убить императора». В то время как эта гордая женщина, все еще красивая в свои пятьдесят лет, в предчувствии того, что ей предстоит пережить, держится в стороне, молчит и лишь в самом узком кругу высказывает свои опасения, в Тюильри придворные ломают голову над тем, какой ранг и титул предпочтительнее, кто должен сидеть по правую руку от императора и не

должны ли они идти впереди князей. Потом «Мадам мать» официально приглашают в Париж.

Не тут-то было — она не из тех, кто подчиняется. Она не едет, выдвигая всякие предлоги, наконец ей приказывают в категорическом тоне приехать на коронацию сына. Она выезжает, но едет очень медленно и не присутствует на величайшем торжестве. Она слышит, читает изумляющую весь мир весть, но говорит лишь: «Только бы это продолжалось!»

IX

Тем временем ее покровитель Папа Римский стал податливее, он уже на пути в Париж. А что еще ему оставалось? Император попросил приехать, надо было подогреть его хорошее отношение к Конкордату. К тому же — разве человек, которого Папе предстоит короновать, не итальянец? «В конце концов, — сказал на решающем заседании конклава один из кардиналов, — мы можем испытывать удовлетворение от того, что мстим галлам, давая возможность итальянскому роду главенствовать над этими варварами». До такой степени Наполеон воспринимается как чужак! Однако почему он сам не едет в Рим? Разве не хватило бы папского помазания, к которому стремились все императоры Запада, начиная с Карла Великого? И для чего ему Папа, если он чувствует себя в Париже как дома?

Он и здесь пытается соединить новое со старым, сначала умалчивает о подробностях и просит Папу только «придать помазанию и коронации первого императора французов высшее религиозное освящение». Неделями длится обмен посланиями, однако церемония все еще остается неясной.

Пий VII приближается к Парижу со стесненным сердцем, отнюдь не в благостном настроении. Впервые Папу призывают, словно великого врача к больному. И когда император встречает Святого Отца у ворот города, он не опускается на колени и не целует Святейшему руку в знак поклонения. Нетвердость веры в этом пронизанном

скептицизмом городе настораживает Папу: здесь его не слишком-то чтят.

Только одна Жозефина демонстрирует Папе полную преданность: она признается ему, что не обвенчана с императором в церкви, то есть с точки зрения Папы вообще не жена ему, и хочет использовать коронацию, эту уникальную возможность, для заключения брачных уз в такой неразрывной форме, которая даст ей, не имеющей от него детей, уверенность в своем положении. Тогда уже и Папа требует провести перед ее коронацией обряд церковного венчания, и за два дня до главного торжества старый дядюшка Феш с Корсики, облаченный в пурпур, совершает этот обряд в дворцовой церкви и объявляет супружеской парой тех, кому восемь лет назад не потребовался ни священник, ни чиновник, чтобы соединить свои жизни. Нет в церкви ни одного свидетеля, даже такого, кто мог бы улыбнуться, глядя на эту комедию, в которой один всегда обманывает другого, ибо даже дядюшка еще не знает, что за этим последует.

2 декабря в Нотр-Дам глаза слепит пламя тысяч свечей и сверканье драгоценностей. Собор больше смахивает на парадный зал, чем на храм. Все готовилось неделями; даже имитацию скипетра Карла Великого ушлый директор музея выдает императору за подлинник; старинные пергаменты, хранившиеся со времени Короля Солнца, тщательно изучены, чтобы коронация этого революционера ни на иоту не отступила от церемониала коронации законных властителей. Сегюр разузнал все требования этикета, Исабэ отрепетировал церемонию на куклах. Париж, Францию трясет от ожидания.

Наполеон в прекрасном расположении духа, утром он собственноручно примеряет жене корону. Длинной вереницей экипажи подъезжают к собору. В мантии, напоминающей покроем тоги античных императоров, император решительно шагает к алтарю, ведя за руку императрицу, смягчающую некоторую неловкость момента своим неизменным очарованием. В окружении кардиналов сидит Папа. Раздаются звуки молитвы и органа.

И когда наступает полагающийся по ритуалу момент и все замирают в ожидании зрелища коленопреклоненного монарха — этого человека еще никто никогда не видел

стоящим на коленях, — он, к величайшему изумлению тысяч собравшихся, хватая корону, поворачивается лицом к зрителям, спиной к Папе и, стоя в своей обычной позе — с гордо поднятой головой, — сам себе возлагает корону перед лицом Франции. Потом коронует коленопреклоненную жену.

Один только Папа узнал заранее об этом намерении императора, да и то лишь в последний момент, и у него не хватило духу пригрозить немедленным отъездом. Так что теперь ему не оставалось ничего другого, как совершить помазание и благословить обоих грешников. К тому же то, что он видит на голове императора, вовсе не похоже на корону монарха-христианина: маленький языческий венец из золотых лавровых листьев. Очевидцы события рассказывают, что император был бледен, но красив и походил на Августа, на которого с этого дня каким-то мистическим образом становился все более похожим. Так Наполеон в этот символический час обратил в насмешку все, что заимствовал из легитимных форм, даже Папу опозорил — чего тот ему не простит. Одним махом развеян аромат Бурбонов, привкус подражательности и пародии исчез. На ступенях храма стоит римский император-воин, которого с десяток лет назад никто не знал, который с тех пор не творил никаких чудес, а лишь вершил дела, и который нынче сам себя коронует золотым лавровым венком. На его мантии изображена золотая пчела — символ трудолюбия.

Несколько воспоминаний показывают, что Наполеон в этот день не испытывал ничего, кроме гордости человека, своими руками сотворившего свою судьбу.

Когда он в лавровом венце восседал на троне, украшенном золотой буквой «N», а Папа стоял перед ним, он шепотом, чтобы никто не услышал, сказал стоящему рядом брату: «Жозеф, вот если бы наш отец видел все это!» Эти слова, сказанные в тот час, звучат проникновенно, ибо он никогда раньше не говорил об отце, и позволяют заглянуть в самую глубь его натуры.

Этот поразительный церемониал ничуть его не смущает, и когда он хочет что-то шепнуть своему дядюшке-кардиналу, служащему мессу, стоя прямо перед ним, он ничтоже сумняшеся тихонько тычет его скипетром в спину.

А когда все кончается и он садится за стол наедине с Жозефиной, то со вздохом облегчения произносит: «Слава Богу, и это вынесли! Мне больше по душе целый день сражаться!» А потом просит ее не снимать короны во время еды, словно он — поэт, а она — актриса: ему просто нравится его креолочка в короне императрицы. Такими непринужденными выходками он демаскирует весь этот маскарад, и на душе становится легче, когда видишь, как этот сын революции высмеивает свою собственную империю.

Но вся непринужденность этих мелких эпизодов вырастает до великих масштабов в свете признания, сделанного им в тот же вечер одному из приближенных. С насмешливым пафосом подытоживая события дня, Наполеон говорит: «Нет, Декре, я слишком поздно родился, на мою долю не осталось великих дел... Признаю, я прошел прекрасный путь, но он не идет ни в какое сравнение с античностью! Возьмем, к примеру, Александра Македонского. Завоевав Азию, он объявляет себя сыном Юпитера, и весь Восток ему верит — за исключением его матери, Аристотеля и нескольких афинских педантов. Ежели я бы объявил себя нынче сыном Отца Небесного, любая рыбачка подняла бы меня на смех. Великих дел не осталось».

Сказано это через несколько часов после коронации, вполне искренне, вполне по-свойски. Понятно ли теперь, почему его вечно тянуло на Восток и будет тянуть впредь? Эта душа в невероятной степени осыпана — и отягощена — милостями природы, ничто не может ее удовлетворить до конца. Что ему, могущественному, просветительству Вольтера, что ему до Руссо! Да может ли он желать народного правления, то есть демократии, коли ему известна вся ущербность инстинктов народных масс и вся нечистоплотность их вождей! Распространить свою власть, нести свое имя все дальше и дальше, оставить в летописи истории больше, чем те полстраницы, о которых он говорил всего несколько лет назад, пожертвовать золотым лавровым листочкам свою жизнь, лишенную наслаждений, досуга, отдыха: больше ничего ему не остается.

Когда ему в эти дни кладут на стол эскиз имперской печати — покоящегося льва, — он перечеркивает этот рисунок и своей рукой пишет на полях: «Нет, орел в полете!»

X

Однако из золотого венца с чудовищной силой выделяется опасный флюид воли Божьей и постепенно пронизывает мозг избранника. Тщетно старается он переосмыслить или отбросить мощь тысячелетий, сконцентрировавшуюся в этой короне: она овладевает им и теснит его — пусть лишь временами — из властной сферы, созданной им. Когда он спустя полгода после того торжества в Милане возлагает себе на голову железную корону ломбардов — ибо после Французской республики хочет превратить в монархии и приграничные государства, — он громовым голосом возглашает в соборе старинный девиз Каролингов: «Мне ее дает Бог. Горе тому, кто на нее посягнет!» Это говорит Наполеон — политик, который сам не верит в свои слова, и правильно делает. Однако не всегда ему удается устранить ощущаемое им самим противоречие с такой же легкостью, как в соборе Нотр-Дам.

Поначалу новое положение требует новых оков для духа. Министерство полиции восстанавливается, Франция делится на четыре больших региона, в которых самые преданные члены Государственного совета с помощью целой армии агентов контролируют настроения народа: Наполеон желает иметь «статистику морали». Главой министерства вновь ставится Фуше, а поскольку и Талейран относится теперь к его ближайшему окружению, император запутывается в сетях этих двух великих интриганов, чью двойную игру — между Бонапартом и Бурбонами — он видит, но тщетно пытается сорвать.

Жуткие чудовища оба эти экс-священника, которые его ненавидят, он им отвечает взаимностью и, тем не менее, не сможет избавиться в течение всей своей жизни. Фуше — простолюдин без рода и племени, но с острым, нестареющим умом, бледное, холодное, молчаливое существо с пергаментной кожей, под чьим пронизывающим взглядом чуть ли не падают в обморок все эти жалкие людишки в орденах и лентах, но сам он кажется ожившей мушкетерской в парадном мундире.

Талейран ни в чем не поступается образом жизни ста-

ринной аристократии, перед этим хромоножкой не могут устоять первые красавицы. Его чары сродни чарам шарика, который все катится и катится и в любом месте достигает вершины — ровная поверхность одинаково ровна, а вершина будет там, где шарик остановится. Мнение, что он предал своего императора лишь ради блага Франции, опровергается его безграничной алчностью и продажностью. Покуда он еще служит Наполеону, но они оба с самого начала не доверяют друг другу. Один-единственный раз Талейран чем-то пожертвовал ради Наполеона: однажды вечером Наполеон в карете обсуждал с ним постельные дела и когда вдруг уснул, министр до утра просидел в кресле — якобы для того, чтобы не разбудить патрона. Но всей его натуре до такой степени чужды такие черты, как сочувствие и преданность, что его поступок скорее всего был продиктован любопытством: можно предположить, что он надеялся услышать из уст спящего что-нибудь интересное.

Наполеон никогда не видел снов. Поскольку людей он презирал и не считал их способными на благородные движения души, ему всю жизнь приходилось смирять опасные инстинкты в обществе подарками либо искоренять репрессиями.

Каждый год не менее десятка раз в присутствии Наполеона упоминается имя мадам де Сталь, которую он за ее влияние удаляет из Парижа с упорством, граничащим с восхищением. И тем не менее эта госпожа сказала о нем: «В его взгляде сквозит бесконечная нежность, когда он беседует с женщинами».

В Европе от него отворачиваются борцы за свободу духа: лорд Байрон, некогда превозносивший его, Бетховен, посвятивший ему «Героическую симфонию», а потом отказавшийся от этого посвящения. Похвалы помешанного царя Павла император прочел, вероятно, со смешанным и неприятным чувством: этот русский царь уже восхвалял Первого Консула за подавление революции.

После битвы под Маренго все усилия Наполеона были направлены на сохранение мира на континенте: четыре года кряду он поддерживал его всеми средствами. Теперь, став монархом, он вознамерился развеять последние ос-

татки враждебности коронованных особ, духовно все еще настроенных против Франции. В особенности это его желание возросло после смерти двух монархов. Царь Павел — враг Англии — был убит, и престол унаследовал его молодой и романтически настроенный сын Александр, воспитанный французскими просветителями, преданный идее демократии, мягкосердечный, загадочный, одержимый желанием стать лучшим правителем, чем его отец. Александр быстро нашел общий язык с Англией, и там, после смерти Фокса, робкая попытка установить мир уступила место застарелому соперничеству с Францией. Англия, не очистив от своих войск к установленному сроку спорную Мальту, внезапно выставила новые требования и тем самым первая нарушила мир. Вновь нависла угроза коалиции европейских государств, которая в свое время пыталась вернуть трон Бурбонам, ибо восхождение к власти талантливых простолюдинов давало их собственным народам опасный пример для подражания.

Так за год до коронации Наполеона вновь началась война с Англией. Она не кончится, пока не кончится Наполеон. Это не военная операция, а затянувшееся состояние войны, и именно поэтому этот полководец не может в ней ни победить, ни ее завершить. У Англии два преимущества перед Францией: она расположена на острове и со всеми в мире. В ней острый исторический взгляд Наполеона видит новую империю Александра Великого, простирающуюся от английских островов до Азии и Африки, непобедимую до тех пор, пока она остается цельной. В нее упирается воображение человека Востока.

На следующий день после Абукира Наполеон рассчитал, что на восстановление французского флота потребуется десять лет, но минула уже половина этого срока, а морское могущество Англии еще больше выросло. Именно на английских судах во время короткого мира были доставлены на родину французские войска после бесславного Египетского похода, мыс Доброй Надежды и другие английские колонии признаны, а в собственной стране все силы понадобились для более срочных дел, чем строительство нового флота.

Да, в сущности, чем был для императора военный ко-

рабль? Ведь он умел и нарисовать пушку, и отлить ее, и своими руками заменить любой винт, починить любое колесо и любую ось обозной повозки. Он держал в памяти время и стоимость перековки коней целого эскадрона с такой же точностью, как и производительность полевой пекарни. Именно это давало ему превосходство в компетентности, поддерживало в войсках страх перед проверкой, которую он мог в любой момент учинить и на бумаге, и в полевых условиях, внушая восхищение своими всеобъемлющими познаниями и обеспечивая точное исполнение всех его военных начинаний.

Корабль же нужно знать с молодых ногтей, как, впрочем, и пушку. Адмиралы изумленно сообщают, с каким знанием дела Наполеон задавал вопросы и отдавал приказы. Но у Наполеона не было не только могучего флота, но и блестящего адмирала, а он доньше ни разу не поручал кому-либо руководство кампанией. И он изобретает новый вид войны, чтобы все-таки поставить Англию на колени: заблокировать для английских судов все побережье Европы от Гамбурга до Таранто в Южной Италии и торговой блокадой задуть торговый народ. Одновременно он опять подумывает о вторжении — ведь стоит ему только высадиться на островах, он вновь почувствует себя полководцем, то есть в своей стихии.

Опять, как перед Египетским походом, он изучает — на этот раз в Булони — возможности выхода в море и высадки на берег. Наполеон не тешит себя красочными картинками, рисуемыми воображением, и полагается исключительно на точный расчет, но здесь, на море, он чувствует себя больше дилетантом, чем знатоком, впервые в жизни становится лишь пассивным наблюдателем. В кипах его интимных писем нет ни одной фразы сродни той, которую он пишет Жозефине после того, как с причала во время ночного шторма сорвалась канонерка: «Это было великолепное зрелище: залпы в знак тревоги, берег, усеянный сторожевыми кострами, бушующее, вспенившееся море и люди, прошедшие всю ночь в тревоге и страхе! Но между вечностью, морем и ночью парил Добрый дух: все были спасены, и я лег спать с таким чувством, словно все это я видел в романтично-эпическом

сне. Это ощущение чуть не заставило меня поверить, будто я совсем одинок».

Какое зрелище, но — всего лишь зрелище! Эмоции, словно заимствованные у Оссиана, здесь впервые за полтора десятка лет вырываются у него из груди. Наполеон становится романтиком. Как волнующа и многозначительна последняя часть заключительной фразы этого манипулятора душами, который, вдруг почувствовав себя отрезанным от своего материала — людей — судя по всему, немного побаивается неведомого ему состояния полного одиночества: это чувство едва пробивается между строк.

Чужая стихия толкает его на ошибку. Когда он, несмотря на начинающийся шторм, приказывает произвести смотр кораблей, а адмирал Брюи отказывается, император, вернувшись и не видя приготовлений, вызывает к себе адмирала: как ужасна эта сцена!

— Почему вы не выполнили мой приказ?

— Вашему Величеству это видно так же, как и мне: неужели Вы хотите при такой непогоде бесцельно рисковать жизнями наших смелых ребят?

Император, бледный, в окружении своих окаменевших офицеров:

— Сударь, приказ отдал я. Последствия вас не касаются. Выполняйте!

— Сир, я не могу подчиниться такому приказу.

Жуткая пауза. Наполеон подходит к нему, угрожающе сжав рукой хлыст, но не замахивается. Адмирал, сделав шаг назад, кладет руку на эфес шпаги. Немая сцена.

— Вы покинете Булонь в 24 часа и вернетесь в Голландию. Контр-адмирал Магон, исполняйте мой приказ!

Смотр кораблей, шторм и гроза, 20 шлюпок переворачиваются, матросы, борясь с волнами, барахтаются в воде. Император бросается в первую попавшуюся лодку, чтобы их спасти, все следуют его примеру. На другой день море выбрасывает на берег родины 200 трупов.

Этот случай, единственный в жизни Наполеона, — некий предостерегающий симптом. Однако есть и еще один тревожный симптом.

За год до этого в Париж приехал англичанин по имени Фултон, изобретатель, и предложил военно-морскому

флоту две новые модели: корабль, движимый не силой ветра и весел, а силой пара, и подводную лодку, стреляющую снарядами типа торпеды. «Шарлатан!» — говорит Наполеон про Фултона, проводящего испытания на Сене, и откладывает его бумаги в сторону. Вот если бы ему показали модель орудия навесного боя или модель полевого телеграфа, он бы купил то и другое.

Наполеон не победил Англию потому, что у него впервые не было веры в победу. Его уверенность в себе — первый раз в жизни — не была непоколебимой из-за неполной компетентности и географической недоступности противника. Вот если бы на суше! Да, если бы этот остров можно было накрыть на суше! Поэтому-то он теперь вновь, как пять лет назад, высказывает намерение совершить поход в Индию через Герат. Однако для этого нужны спокойствие и время.

Поначалу он хочет только сохранить мир, добытый властью и дипломатией за последние годы. Сразу после коронации император пишет миротворческие письма шести коронованным особам, учитывая характер каждого адресата, продумывая все детали стиля и подписи. К примеру, в послании персидскому шаху говорится:

«Слава обо мне наверняка достигла Твоего слуха, так что Тебе ведомо, кто я такой и что я совершил, как я возвысил Францию над всеми народами Запада и какой интерес я питаю к владыкам Востока... Восточные люди исполнены мужества и силы духа, но незнание некоторых приемов военного искусства и небрежение дисциплиной отрицательно сказываются на них в войне против солдат Севера... Напиши мне о своих желаниях, и мы возобновим наши дружеские и торговые отношения... Писано в моем императорском дворце Тюильри... в первый год моего правления. Наполеон».

Когда он ставит свою подпись под этим письмом, рядом лежит уже готовое послание английскому королю, пересылаемое в Англию во время войны, — послание, поражающее умением быть одновременно проповедником и политиком: «...Разве моря крови, проливаемые без малейшего намека на цель, не отягощают совесть правителей? Я не считаю бесчестьем для себя сделать первый шаг. По-

лагаю, что уже доказал миру, что не боюсь войны и ее причуд. И хотя душа моя стремится к миру, но война никогда не была препятствием моей славе. Умоляю Вас, Ваше Величество, не лишайте себя счастья вернуть миру мир! Не перекладывайте драгоценную миссию миротворца на плечи своих детей! Никогда еще не было столь благоприятного момента, дабы заставить улечься все страсти. А пропусти мы его, куда заведет нас война? Ваше Величество, в последние 10 лет Вы приобрели больше земель и богатств, чем имеет вся Европа. Чего еще Вам ждать от войны?»

С какой скептической улыбкой воспринял бы он сам этот последний аргумент, вздумай кто-то из его противников привести его — на полном к тому же основании! И этот призыв тоже остается безрезультатным: ни Англия, ни континентальная Европа не хотят терпеть ни эту власть, ни этого выскочку-императора. Опять ему грозит новый, четвертый по счету союз коронованных правителей против республики.

В мирные годы он был более-менее доволен жизнью, а в Мальмезоне даже частенько бывал весел, как пишут его близкие. Теперь он должен вновь заковать себя в доспехи и смириться с мыслью, что «природой и силой вещей нам дано продолжить эту борьбу прошлого с будущим, ибо постоянство коалиции наших противников вынуждает нас их разгромить, дабы не погибнуть самим». В этих словах — истина без высокомерия и горечи: он сам если не создал, то во всяком случае стабилизировал эту «природу вещей». Ведь если первая, революционная, война Франции была исключительно оборонительной и велась для защиты страны от чужеземных королей, то последующие войны благодаря силе народной армии и гению ее полководцев сами собой превратились в завоевательные.

Теперь, когда постоянные реваншистские потуги Европы начинают задевать его за живое, он задумывает план создания Европейской империи и затевает во второй — и в последний — раз дело величайшей и благотворной значимости. И оно потерпит крах.

Эта самая крупная политическая идея Наполеона рождается в результате личной оборонительной позиции. Против него спланивается новая группа государств, и На-

полеон впервые меняет свой идеал: его внутренний взор, годами лицезревший лишь Александра Македонского, теперь видит Карла Великого, и в сопровождении пышной свиты он посещает могилу Карла в Ахене.

— Не будет спокойствия в Европе, — говорит он в те дни ближайшим сподвижникам, — пока ее не возглавит один-единственный правитель — император, считающий королей своими вассалами, жалующий своим генералам королевства... и в то же время назначающий их всех на должности при дворе. Если этот план сочтут подражанием Римскому Кодексу, ну что ж, в мире не существует ничего абсолютно нового.

Это постепенное смещение идеала, как бы питаемое его историческим воображением, будет иметь неисчислимые последствия. Ведь именно потому, что устремления Каролингов для него уже слишком мелки, он держится так, словно речь идет не о Европе, а о какой-то одной провинции. Поспешность, с какой он пытается воссоздать империю Карла Великого, ему несвойственна и свидетельствует лишь о нетерпении, толкающем его к новым целям раньше, чем достигнуты прежние.

XI

На севере страны с весны стоит армия императора, готовая к высадке в Англии, все время откладывавшейся. И когда осенью новое наступление Австрии становится реальной угрозой, он поворачивает все войско на восток — решение принимается за 2 дня и осуществляется за 2 недели. Армия оказывается на правом берегу Рейна быстрее, чем до противника доходит известие о начале продвижения. Трогаясь в путь, Наполеон диктует Дарю полный план операции против Австрии: «порядок и длительность маршей, места встреч колонн, атаки, маневры и ошибки противника. Все это он предусмотрел в этом плане еще два месяца назад и на расстоянии в 200 миль».

У Австрии было достаточно причин выступить. На скипетре нового короля Италии выгравирован венецианский лев: это обстоятельство, а также отторжение Генуи послу-

жили грозным предостережением для Габсбурга — не посылать армию в третий раз через Альпы. Теперь надо было искать решение на территории самой Германии. Англия не жалела денег, Россия тоже была их союзником, как тогда, когда Бонапарт находился в Египте и коалиция одержала победу. Новый русский царь, судя по всему, был полон решимости развеять старую предубежденность Европы против России и повернул меч против тирана западных стран. Теперь им всем известна наполеоновская тактика ведения боевых действий: на этот раз его побьют его же оружием.

Однако военный гений потому и гений, что всегда рождает что-то новое. Стремительным маршем Наполеон обходит войско австрийцев раньше, чем те успели сориентироваться на местности, в Ульме заключает его в железное кольцо и вынуждает целую армию капитулировать без единого выстрела. «Я достиг своей цели: австрийская армия уничтожена простой чередой стремительных маршей. Теперь я повернусь лицом к русским. Они обречены».

Его стиль стал более лаконичным, чем в прежних сообщениях об очередных победах. «Я излишне напрягался всю неделю, — пишет он Жозефине, — каждый день промокал до нитки, и ноги были холодные». Между маршалами в шитых золотом мундирах, впервые щеголяющих во всем блеске за границами Франции, сам Наполеон принимает капитуляцию Ульма, стоя у лагерного костра в мундире простого солдата и серой шинели, прожженной на рукавах и полах, в помятой треуголке без кокарды и сцепив руки за спиной. Ничего похожего на пурпур императорской мантии.

Вновь, как в день битвы под Маренго, он предлагает заключить мир, посылает потерпевшему поражение кайзеру одно из тех личных писем, выдержанных в духе искренней доброжелательности, который вводит в заблуждение европейских дипломатов: «Вы понимаете, что я вполне вправе воспользоваться своим везением и при заключении мира поставить непременно условием гарантии против четвертой коалиции с Англией... Я был бы счастлив в любое время связать спокойствие моих народов с Вашей дружбой, на которую я, несмотря на большое число и вли-

тельность моих врагов в Вашем окружении, прошу Вас разрешить мне надеяться». И тут же выступает в поход на Вену.

Во время этого стремительного марша его настигает страшная весть: спустя два дня после победы на суше Англия у Трафальгара почти полностью уничтожила его флот: 18 французских кораблей потонули, Нельсон убит, французский адмирал взят в плен. Неужели повторится тот страшный час, когда в пустыне его настигло сообщение об Абукире? Не раскисать! Тогда положение было во сто крат хуже. Сегодня нас от Парижа не отделяет море, нам не нужны корабли. И с удвоенной скоростью он движется на Вену, которую противник сдаст ему без боя.

Однако после сообщения о Трафальгаре Франц Габсбург вновь обретает уверенность, царь Александр тоже воспрянул духом, оба стараются расшевелить Пруссию, переговоры затягиваются, Наполеон тщетно пытается пустить царю пыль в глаза, заверяя того, что Турция сдержит свое обещание, в Брюнне начинают играть в кошки-мышки, причем каждый хочет обвести другого вокруг пальца и дезавуировать собственных полномочных представителей. Один лишь Наполеон предлагает новую политическую идею: за 2 дня до решающего сражения, которое уже готовится, он пишет Талейрану, ведущему переговоры в Брюнне: «Я был бы не прочь уступить Венецию Зальцбургскому курфюрсту, а Зальцбург — австрийской династии. Я возьму Верону... А курфюрст сможет именовать себя заодно и королем Венеции, если захочет... Курфюрст Баварии стал бы королем... Я верну пушки, боеприпасы и крепости, и пусть мне заплатят всего 5 миллионов... Завтра, по всей вероятности, произойдет довольно серьезное сражение с русскими. Я сделал все, чтобы его предотвратить, так как кровь будет пролита напрасно. Я обменялся с царем несколькими посланиями и убедился, что он человек толковый, что его просто вводят в заблуждение... Напишите в Париж — но не о предстоящей битве: это встревожило бы мою жену. Обо мне не беспокойтесь, я нахожусь на прекрасно укрепленной позиции и сожалею лишь о почти бесполезном кровопролитии, без которого эта битва не обойдется... Напишите ко мне домой, я уже 4 дня живу

в лагере моих гренадеров и пишу только на коленях, поэтому не могу отправлять много писем».

Вот каково настроение императора накануне самого знаменитого из его сражений. Изучая по картам каждую моравскую деревеньку, ширину каждой речушки, состояние каждой дороги и спасаясь от холода у костра своих гвардейцев, он думает о министрах в Париже, ожидающих его распоряжений, о своей супруге, которая может встревожиться, и одновременно тут же, у костра, за полчаса набрасывает новую программу раздачи четырех-пяти государств, создания новых королевств, возмещения военных затрат и строительства новых крепостей. И все это освещено блеклым светом дважды повторенной сентенции о напрасно пролитой крови. Так чему же удивляться, когда такой человек разбивает наголову законных королей, которые в это время чревоугодничают за дворцовой трапезой?

Вечером, узнав о передвижении врага, он хлопает в ладоши и восклицает, как сообщает его адъютант, «дрожа от радости»: «Они попались в ловушку! Они обречены! Завтра к концу дня эта армия будет уничтожена!»

Потом сидит в крестьянском доме со своим штабом, ест, против своего обыкновения не уходит сразу после ужина и взволнованно и долго говорит о сущности трагедии. Потом меняет тему и вспоминает о Египте: «Тогда — да, если бы я тогда взял Акко, я бы надел на голову тюрбан, а моя армия натянула бы широкие шаровары, я бы пускал ее в бой лишь в самом крайнем случае, я бы сделал своих солдат бессмертными героями Священного батальона. Войну с турками я бы закончил руками арабов, греков и армян. Вместо битвы в Моравии я бы выиграл битву на реке Иссум в Вестфалии. Я стал бы повелителем Востока и вернулся бы в Париж через Константинополь». Последние слова, как пишет один из свидетелей, он произносит со смущенной улыбкой, как бы показывая, что увлекся и выдал свою мечту.

А разве сама эта сцена не похожа на мечту? Разве прошло всего сто лет с тех пор, как смертный человек, словно полубог, пронесся по современной Европе и придал ей свои собственные черты? И все это — не история из гомеровской эпохи, когда поединок двух царей определял

судьбу поколений. Словно в сказке из наших детских книжек, герой сидит в душной крестьянской мазанке на просторной равнине. Это приземистый человек лет тридцати пяти, в грязном мундире и потной рубашке, он отправляет в голодный рот несколько картофелин с луком и собирается завтра одной битвой пробудить к новой жизни империю Карла Великого, проспавшую тысячу лет, а его безудержная фантазия отбрасывает его назад в азиатские пустыни, к тому несбывшемуся плану, и следует по стопам македонца вплоть до Ганга.

Занимается новый день: ровно год назад на ступенях алтаря в Нотр-Дам он возложил себе на голову золотой лавровый венец. В пламенном воззвании к войску он напоминает солдатам о том дне и заканчивает обещанием на этот раз не рисковать своей жизнью и держаться подальше от огня.

Никогда раньше в истории не было зафиксировано такого обещания полководца: все они спешили заверить, что бросят вызов смерти во главе войск. Один лишь Наполеон настолько уверен в своих гренадерах, прошедших с ним двадцать битв и видящих в нем единственного командира, осиянного звездой военной удачи, что может себе позволить обещать сохранение собственной жизни в награду за их отвагу.

Потом он разбивает наголову обе армии и на тысячу лет вперед прославляет никому не известную пустынную равнину: Аустерлиц.

«Солдаты! — обращается он к победителям на следующий день, — я доволен вами... Давайте своим детям мое имя, и, если один из них окажется достойным нас, я завещаю ему свое имущество и объявлю своим преемником!» Все это — обычный пафос, предназначенный для солдатских ушей. А жене он пишет очень просто: «Я разбил армии русских и австрийцев. Немного устал, восемь дней жил в лагере под открытым небом, а ночи были довольно холодные. Теперь я нежусь в постели в красивом замке графа Кауница, надел свежую рубашку — впервые за восемь дней — и собираюсь поспать два-три часа».

Так просто завершилось это легендарное событие. И когда на следующий день разгромленный германский

кайзер просит ничтожного лейтенантика с Корсики об аудиенции в замке своего графа, то оказывается, что этот полубог, с быстротой молнии меняющий место своего пребывания, давно ускакал, и встреча их происходит на какой-то ветряной мельнице, и все это — лишь новая мелодия старой песни. Наполеон вежливо выходит ему навстречу и говорит: «Ваше Величество, к сожалению, я вынужден принять Вас в этом дворце, единственном, который я посетил за последние два месяца». Какое чувство собственного превосходства у этого воина по отношению к наследственному правителю, какая изящная издевка в устах человека, знающего, что у него есть настоящий дворец в столице, которая вскоре украсится флагами и зазвучит гимнами в его честь при вести о потрясающей победе.

Но родовитый наследник с острым умом, отточенным поколениями предков, удачно парирует эту насмешку: «Сир, Вы извлекли из этого столько преимуществ, что Вам здесь, вероятно, даже нравится». После чего оба улыбаются и испытующе вглядываются друг в друга, ведь доньше они лишь враждовали в течение десяти лет, но ни разу не виделись. Оба — одного возраста, оба пришли к власти в двадцать с небольшим, — правда, совершенно разными путями, — и все же в этот час ни один из них не подозревает, как сблизит их однажды воля к миру у одного и как отдалит жажда мщения у другого.

«Вчера у меня в лагере побывал германский кайзер, мы проболтали два часа... Он взывал к моему великодушию. Но я не поддался, этот военный маневр я совершил без труда... Мы договорились как можно скорее заключить мир... Битва под Аустерлицем — самая замечательная из моих битв. 45 знамен, больше 150 пушек, знамя русской гвардии, 20 генералов, 30 000 пленных, более 20 000 убитых: ужасное зрелище!» Завершалось ли когда-либо гордое восклицание победителя более странным образом? С каким наслаждением он купается в этих цифрах — и вдруг вклинивается упоминание об убитых. С этого дня учащаются, причем в очень прочувствованных простых словах, сожаления о пролитой крови.

При переговорах о мире министр Талейран выступает против императора: «Как легко, — пишет он императору

уже на следующий день после Аустерлица, — было бы нынче уничтожить Габсбургов. Лучше мы их усилим, предоставив им прочное место в структуре Франции!» Но Наполеон добивается Пресбургского мира, по которому Германская империя дробится, Австрия вычленяется из Германии и Италии. Какая картина видится Наполеону?

Европа: Союз государств при главенстве Франции, Россия — это Азия, Англия — отдельно лежащий остров. А континент нужно воссоединить — сплошь мелкие и средние государства под эгидой Франции, демократические и мирно уживающиеся друг с другом на равных основаниях. Здесь, после Аустерлица, новая мысль обретает четкие формы: осуществить высочайшую цель европейца — объединение Европы — отныне в его власти.

Когда он выступал в поход, у него не было этой мысли: она пришла к нему, как всегда, под влиянием обстоятельств. Войны, приведшие его к этой новой идее, он не провоцировал: после Маренго он всегда стремился к миру. Но Австрия была далека от этой мысли. Возобновив военные действия, она логично продолжила легитимное направление своей политики: не могут в Европе сосуществовать Габсбург и революция. Аустерлиц во второй раз решил этот спор. Теперь стало возможно заново объединить восстановленную Европу Карла Великого. Однако ни короли и императоры, которые были лишь побеждены, но не убеждены, ни он сам, добившийся всего мечом, а не убеждением, не могли пойти на объединение Европы без оружия. Собственное прошлое заставило Наполеона силой создавать эти Соединенные Штаты Европы. Лишь спустя десять лет он понял, что добивался этой великой цели негодными средствами.

И понял это слишком поздно — лишенный власти, в изгнании.

ХII

«Скажите Папе, что я держу глаза открытыми, скажите ему, что я — Карл Великий, меч церкви и его император и хочу, чтобы со мной обращались соответственно».

Так угрожающе пишет император в Рим. Уж коли ему пришлось считаться с этой кротовой норой, то пусть она ему подчиняется. После Аустерлица и Брюнна его поведение меняется. Из побежденной Австрии его приказы звучат в стиле, донныне не известном ни Папе, ни Европе. Королева Неаполя, которую он уже несколько лет предостерегал, впустила в гавань английские корабли. Приказ по армии: «Правление Бурбонов в Неаполе кончилось». Одновременно письмо брату Жозефу: «Думается, я уже Вам сказал, что собираюсь подчинить Неапольское королевство моей семье, чтобы оно, так же как Швейцария, Голландия, Италия и три германских королевства, входило в число моих федеративных государств или, другими словами, во Французскую империю».

Теперь он в самом деле начинает осуществлять тот план, по которому Европой должен управлять один император, а короли превращаются в его вассалов. Париж, встречающий своего победоносного главу необычайным торжеством, становится столицей континента. Император вернулся домой в прекрасном расположении духа: «В этой кампании я разжирел. Сдается мне, что ежели все короли Европы объединятся против меня, я приобрету кругленькое брюшко». В таком настроении он с головой бросается из только что закончившейся операции в новую и начинает ее разворачивать.

В течение нескольких месяцев, оставаясь в Париже, он создает следующие королевства: Жозеф становится королем Неаполя, курфюрсты Баварии и Вюртемберга — королями, курфюрст Баденский — великим герцогом, одна из дочерей короля Баварии достается в жены Эжену, наследный принц из Бадена женится на племяннице Жозефины, одна из дочерей короля Вюртембергского резервируется для младшего брата Наполеона, шестнадцать государств Южной и Западной Германии объединяются в Рейнский союз вассалов императора, обязанных платить ему дань и поставлять войско, с десятков мелких княжеств ликвидируются, зато учреждаются ленные поместья для Талейрана, Бертье и Бернадота.

Одновременно объявляется четко и ясно: «В Голландии нет исполнительной власти. Она должна таковую обрести.

Я дам ей принца Людовика. Мы заключим договор... Так я решил окончательно и бесповоротно, или просто включу Голландию в состав Франции. Нельзя терять ни минуты». Почему нельзя? Голландия и так давным-давно от него зависима, нет только короля-вассала, а ее полная зависимость видна из дательного и винительного падежей в этой фразе: он даст ей, Голландии, своего брата. Ах, голландцы не захотят? Тогда их проглотят, выбор невелик. Ах, Людовик не хочет — климат, здоровье? «Лучше умереть на троне, чем жить французским принцем». Гортензия должна стать королевой, Жозефина настаивает на том, чтобы голландцы сами официально пригласили к себе нового короля. И император в Тюильри благосклонно выслушивает их просьбу. Однако его ирония и презрение к ним заходят так далеко, что после этой аудиенции он велит маленькому племяннику, сыну нового короля Голландии Людовика, рассказать придворным дамам сказку про лягушек, искавших себе короля.

Что — теперь жалуются и склочничают его сестры? Разве уже не осталось королевских вакансий? Черт побери, тогда придется выделить хотя бы несколько великих герцогств! Каролина с Мюратом получают великое герцогство Клевское, Элиза становится великой герцогиней Тосканской, а красавица Полина Боргезе плачет, потому что получила лишь титул княгини города Гуасталла в Северной Италии. «Как? Только один захолустный городишко? И я должна стать его княгиней?» Однако вскоре она утешается, купаясь в алмазах и любовниках.

Никто из них не годится для новой роли. Король Жозеф в своем первом воззвании сравнивает любовь к себе своих еще вчера неизвестных ему подданных с любовью французов к своему императору, выставя себя на посмешище и ввергая императора в ярость. Король Людовик горюет из-за того, что вынужден ввести запрет на торговлю Голландии с Англией, и посылает императору вместо войск длинные жалобные письма. «Вы в самом деле надоедаете мне без всякой нужды, — получает отповедь одно Величество от другого. — Из этого видно, до чего ограничено Ваше мышление и как мало Вы интересуетесь делом... Перестаньте вечно ныть и жаловаться на нужду!..

Плачут и стонут только бабы, мужчины же принимают решения... Вы правите своей страной слишком мягко. Мне приходится одному нести все бремя военных расходов... Обеспечьте содержание армии в 30 000 человек. Вы думаете только о себе, это нехорошо и неблагоприятно... Побольше энергии!»

Элиза, которая держит супруга под каблуком, вводит в Тоскане конституцию, делает смотр войску, раз в три месяца меняет фаворитов и своим подражанием стилю брата по крайней мере веселит императора: «Мой народ доволен, оппозиция уничтожена, Ваши приказания, Сир, выполнены. Сенатом я вполне удовлетворена, он проявляет уважение к моему авторитету». Мюрат за свое слепое рвение аналогичного вида получает классическую отповедь императора: «Я видел ваши декреты, в них нет ни капли смысла. Вы в самом деле начисто утратили разум!.. Вы хотите одного — править!»

А тем временем юный Жером в Америке, куда он прибыл матросом, на свой страх и риск женился на простой женщине. Император, у которого больше корон, чем братьев, не может смириться с потерей одного из них и вне себя от гнева добивается материнского запрета на этот брак. В Лиссабоне военные окружают судно, с которого молодожены собирались высадиться на берег. При прощании Жером клянется молодой жене в вечной верности, едет в Париж без нее, император набрасывается на него, мешая угрозы со сказочными посулами, Жером отказывается от жены, чтобы стать Императорским Высочеством, адмиралом, а может быть, и королем. Его жена тщетно пытается высадиться на берег и в конце концов рождает ребенка в Англии. Там она спустя некоторое время знакомится с товарищем по несчастью — своим сосланным деверем Люсьеном: того хорошо приняли англичане, и он позже переселился с женой и детьми на остров. Люсьен пишет стихи, некий эпос. Как называется этот эпос?

«Карл Великий»!

Деятелен и серьезен, к тому же большей частью еще и понятлив лишь приемный сын Эжен. Его император любит, прилюдно хвалит, и когда тот становится вице-королем Италии и супругом баварской принцессы, император

ему пишет: «Дорогой сын, Вы слишком много трудитесь. Вам это полезно, но у Вас — молодая жена, и она в положении... Почему бы Вам раз в неделю не пойти вместе в театр? С делами можно управиться и побыстрее. Я веду такую же жизнь, как Вы, но у меня старая жена... и дел у меня к тому же побольше!» Но невестку, от которой он ждет потомство непременно мужского пола, ибо род Гортензии тоже вымирает, он умоляет «не подарить нам дочь. Могу дать вам совет: ежедневно пейте немного неразбавленного вина. Да Вы ведь мне не поверите». И когда она позже производит на свет все-таки девочку, он пишет ей: «Когда начинают с дочки, потом народают с десятков детишек».

У этого великого стилиста всегда наготове любой тон — он может напугать или польстить, похвалить или подстегнуть, наказать или убедить — и все эти перлы он, загруженный тысячами дел, рассыпает в кругу своей семьи, которая постоянно подчеркивает свою оппозиционность.

Мать его живет в Париже так скромно и уединенно, как только разрешает ей сын, и настороженно следит за всеми этими склоками, стараясь их уладить. Сын предоставил в ее распоряжение Трианон, дал миллион годовой ренты, никто не понимает, почему она на всем экономит, и вскоре она уже слывет скрягой, да в сущности ей и является. Но она возражает: «Мы, корсиканцы, пережили много революций, все это скоро кончится, и что тогда будет с моими детьми? Лучше они придут к своей матери, чем к чужим людям, ведь те бросят их в беде!» Иногда у нее бывают приемы, она держится на них с врожденным достоинством и больше похожа на королеву, чем некоторые из ее коронованных детей. Если кто-нибудь оспаривает цену бисера, которым она вышивает, она улыбается: «Нет, тут уж меня не обманешь, я ведь не строю из себя принцессу, как мои дочери». И будучи матерью императора, королей и принцев, она жалуется, что у нее нет ни одного близкого человека, и оттаивает только за партией в карты со старыми друзьями или же болтает по вечерам со старой служанкой «о счастливом прошлом». «Все называют меня самой счастливой матерью. На самом деле я вечно в тревоге: при всякой новой вести я дрожу от страха и представляю себе, что император лежит убитый на поле брани».

Каждое воскресенье по доброй патрицианской традиции Летиция обедает у детей в Тюильри. Императора она не всегда слушается, и, если все же приходится, ему это не прощается. Он чувствует: мать слишком горда для таких отношений, и, когда Наполеон глядит в зеркало, он не может не заметить все более явно проступающего сходства с ней — ее лоб, губы, глаза, руки. Иногда он ее поддразнивает:

— Вам скучно при дворе? Посмотрите на своих дочерей. Незачем копить деньги — тратьте их все.

— Тогда давайте мне не один, а два миллиона в год, потому что я не могу не копить деньги, такой уж у меня характер.

Льстецов она раскусывает с такой же легкостью, как он, и, если доводится, тихонько его предостерегает. Она никогда не хочет чего-либо для себя, но часто просит за корсиканцев — все они приходят к ней — и добивается для старинных друзей всего, чего захочет. Наконец она единственный раз высказывает свое собственное пожелание: пусть Аяччо будет столицей Корсики вместо Кортеля! В этом — специфика ее семейной гордости. Особым декретом император выполняет желание матери. Он хорошо ее понимает и как-то говорит: «Моя матушка как бы создана для того, чтобы управлять королевством».

Лишь для Люсьена она ничего не может добиться. «Его я люблю больше всех, — говорит Летиция, — потому что ему живется хуже всех». Но император неумолим: «Нынче чувство симпатии должно уступать государственной целесообразности. Я считаю родней только тех, кто служит мне верой и правдой. А кто не согласен, тот мне не родственник».

XIII

В парижском кабинете Наполеон поставил бюст одного-единственного свидетеля своей деятельности: Фридриха Прусского в бронзе.

Он вырос в период славы последнего великого полководца и был поручиком, когда король умер. Он, как и все

генералы той эпохи, учился у Фридриха Прусского новой теории военного искусства. И сейчас еще император с уважением относится к прусской армии, которую не знал, хотя преемник Фридриха Великого воевал с французским войском бездарно. Наполеону были хорошо известны глупость и слабоволие Фридриха-Вильгельма III. И если император, тем не менее, пытался включить того в свои союзы и использовать враждебность Пруссии к Австрии и России, то лишь потому, что в нем все еще жило уважение к этой единственной армии в Европе, которая в прошлом веке покрыла себя славой. Только когда он убедился, что Пруссия увлеклась политиканством, это уважение улетучилось.

Еще до Аустерлица Наполеон предложил прусскому королю союз. После Трафальгара, когда Франц Габсбург и русский царь Александр обхаживали Пруссию и она могла бы предотвратить Аустерлиц, безвольный король не мог ни на что решиться и только норовил выгадать на нейтралитете. Теперь, когда император Франции стал сильнее, чем когда-либо прежде, прусский король пользуется первым попавшимся предложением, чтобы вооружиться против него: в прошлом году французы, видите ли, прошли по прусской территории у Ансбаха.

На самом же деле это результат давления демократов, боязни национального краха и, в особенности, неуверенности в преданности некоторых не в меру воинственных генералов, оказывающих влияние на короля. В Нюрнберге военный трибунал приговорил к смертной казни какого-то книготорговца, и он был действительно расстрелян только за то, что распространял антифранцузские листки в тех населенных пунктах, где французские войска находились согласно договору. Формально приговор был справедлив, но возмущение, которое он вызвал, было справедливее, ибо базировалось на нравственности. Император понял это, хотел избежать войны, предложил обоюдный отвод войск и передал через посланника, что если короля Пруссии смущает присутствие французских войск в Вестфалии, то ему стоит лишь об этом сказать. Потом собственноручно написал королю: «Я без колебаний стою за наш союз... Но если Вы покажете своим ответом, что отка-

зываетесь от этого союза и полагаетесь лишь на силу своего оружия, то я, естественно, буду вынужден пойти на Вас войной. Однако несмотря на бои и победы останусь прежним: поскольку я считаю эту войну никчемной, я и тогда предложу Вам мир».

Между тем в интимной обстановке у Наполеона прорываются дышащие горечью и презрением слова о Пруссии, он просто никак не может поверить, «что Пруссия до такой степени обезумела... Ее правительство бездарно, король слаб, а его двор — во власти молодых офицеров, которым все нипочем».

За две недели до выступления армии он сам не верит, что эта война реальна.

И заблуждается: дворянская верхушка прусской армии, которая при Фридрихе Великом била французов, а потом была ими разбита, хочет восстановить свою честь, а обыватели пылают патриотическими чувствами и все вместе «хотят поставить все на карту и с надеждой глядят на свою зашитницу». Имеется в виду королева Пруссии — горячая сторонница войны с тех пор, как союзник Пруссии, русский царь, будучи в Берлине, произвел на нее впечатление настоящего мужчины, каким не был ее супруг-король. Но Александр на следующий день после Аустерлица быстренько удалился в свою империю, чтобы дожидаться более благоприятного случая. И вот случай этот представился.

«Скрытое беспокойство, — рассказывает Талейран, — мучает Наполеона, вынужденного вновь вынуть из ножен меч. Его все еще ослепляет слава Фридриха, он еще никогда не воевал с прославленной армией: «Думаю, тут нам придется больше повозиться, чем с австрийцами».

Значит, тем быстрее нужно перейти через Рейн! Через восемь дней марша император в первый раз побеждает пруссаков: под Заальфельдом пал в бою лучший из них, принц Луи Фердинанд — первая жертва первой же атаки.

В Пруссии король сеет смятение. Вместо того чтобы напасть на французов двумя неделями раньше, как советует его генерал Шарнгорст, нерешительный король выжидает. Он не оставляет верховное командование за герцогом Брауншвейгским, а в последнюю минуту прибывает в войска, и теперь «неизвестно, как называть Главный штаб — ко-

ролевским или герцогским». Вместо того чтобы командовать войском, герцог подчиняется приказам короля, и по иерархическим причинам армия подразделяется на три корпуса: не может же князь Гогенлоэ воевать под командованием герцога! Еще раз противник протягивает пруссакам руку: за два дня до главного сражения император, вполне уверенный в победе, вновь пишет:

«Не хочу воспользоваться ослеплением Ваших советников, толкающих Вас на такие ошибки в политике, которые изумляют всю Европу... Итак, война началась... Но из-за чего мы с Вами будем проливать кровь наших подданных? Мне не дорога победа, купленная ценою жизни множества моих детей. Находишь я в самом начале своей карьеры, я вынужден был бы бояться за исход битвы, и эта фраза была бы неуместна. Но теперь, Сир, теперь Ваше поражение неминуемо. Вы пожертвуете своим покоем до конца дней и жизнями своих подданных, не будучи в состоянии привести никакой причины в свое оправдание... Мне незачем побеждать Ваше Величество, я ничего от Вас не хочу и никогда не хотел. Эта война — вне политики! Предвижу, что этим письмом задену чувства Вашего Величества, но обстоятельства не позволяют мне деликатничать. Я пишу Вам то, что думаю... Верните себе и своим государствам мир! Если Вы впредь и не найдете во мне своего союзника, то всегда найдете человека, самым большим желанием которого будет — не проливать кровь в борьбе с правителями, не чинящими препятствий моей промышленности, моей торговле и моей политике».

Королева Пруссии Луиза, следовавшая за королем в штаб его войск, женщина с более мирными инстинктами, тем не менее соглашается с презрительными откликами прусских генералов на письмо Наполеона: оно, мол, свидетельствует лишь о страхе перед собственной катастрофой. Наполеон — в ее понимании — всего лишь поднявшееся из грязи «адское чудовище», и завтра он должен пасть.

«Дела мои очень хороши, — тем временем пишет «чудовище» своей жене, — все идет так, как я надеялся. Король и королева — в Эрфурте. Ежели ей угодно поглядеть на битву, что ж, это жуткое зрелище она сможет увидеть. Чувствую я себя блестяще. И хотя ежедневно проезжаю по

20 — 25 миль, я опять прибавил в весе. В 8 часов я ложусь спать, а в полночь уже встаю, причем иногда мне кажется, что ты в это время еще не лежишь в постели».

В последнюю ночь он вообще не ложится. В три часа ночи один из его людей советует ему немного поспать, но он возражает: «Это невозможно! Все мои планы здесь (показывает на лоб), но их еще нет на картах!» После чего быстро излагает весь план: «Вы меня поняли... Садитесь на лошадь и найдите место, с которого я смогу наблюдать за ходом боя. В шесть часов я буду там». Бросается на кровать и мгновенно засыпает.

В ту же ночь прусскому штабу доносят о неожиданном передвижении французских войск, однако там переносят военный совет на следующее утро. В это время император уже успел объехать свой фронт и воодушевить гвардию напоминанием об Аустерлице.

После этого Наполеон наголову разбивает пруссаков под Иеной, в тот же час Даву побеждает под Ауэрштедтом.

Никто не осмеливается взять на себя командование, когда храбрый герцог Брауншвейгский оказывается смертельно ранен. Все теряют голову, армия Великого Фридриха в панике бежит по Саксонии на восток.

«Дружочек мой, я провел удачный маневр против пруссаков. Вчера я добился большой победы, взял 2000 пленных, около 100 пушек и знамен... Вот уже два дня живу в лагере. Чувствую себя прекрасно. Прощай, пусть у тебя будет все хорошо и люби меня».

В Веймаре он встречается с владетельной герцогиней Саксонии. Сам герцог Карл Август уже двадцать лет настроен воинственно и пропрусски и вопреки совету своего старейшего министра всегда был против императора. Он как прусский генерал бежал из Иены, придворные тоже разбежались из Веймара кто куда. На месте остались только герцогиня и министр Гете. Император при встрече с ней: «Мне жаль вас! Как мог герцог!..» Но к его немалому удивлению, — ибо он всегда недолго любил женщин-правительниц, а уж немецких в особенности, — герцогиня ответила ему ясно, просто и с достоинством. Она так смело и твердо говорила о дружбе с Пруссией, что император умолк, стал податливым, а вечером завел с ней долгую бе-

седу и — несмотря на то, что в свое время поклялся уничтожить ее династию, — пообещал, что с герцогством ничего не случится. Почему?

Потому что эта женщина никогда не вмешивалась в политику, о своем отсутствующем супруге говорила с открытой доброжелательностью, а о своей стране — с величавым достоинством, без лести и гнева, оставаясь на грани между гордостью и почтением, которые к лицу побежденному правителю. Уже спустя много лет император вспоминает сам и напоминает другим об этой женщине, спасшей свою землю и династию благодаря свойствам своей натуры.

В Берлине он встречает еще одну замечательную женщину. Граф Хатцфельд, ведущий с победителем переговоры о судьбе Берлина, неосторожно сообщил в письме одному из потерпевших поражение генералов данные о численности войск противника. Письмо перехватили, император пришел в бешенство и решил судить графа военным трибуналом как шпиона и ликвидировать. Бертье всячески уклоняется от исполнения приказа, Рапп пытается умиловать императора. Во время одного из посещений Берлина к императору приводят графиню Хатцфельд. Она падает к его ногам, он сухо предлагает ей приехать к нему в Потсдам. «Когда я показал ей письмо мужа, она сказала с подкупающей наивностью и глубоким чувством, захлебываясь слезами: «Да, конечно, это его почерк». А когда она прочла письмо, меня до глубины души поразил ее тон. Мне стало ее жаль. Теперь ты видишь, — заканчивает он письмо Жозефине, — что я люблю добрых, наивных и нежных женщин».

Любовь ли это? Вот перед этим могущественным человеком стоит на коленях графиня. Как женщина она для него ничего не значит, он едва ли обратил внимание на ее фигуру и платье, но это безыскусное чувство, эта просительная женственность, эти слезы и молчание растрогали его до такой степени, что Наполеон бросает письмо в камин: «Там горит единственное доказательство его вины, которым я обладаю. Теперь ваш муж в безопасности».

Так поступает Наполеон-победитель с двумя немецкими женщинами — родовитыми аристократками — и их

мужьями, сражавшимися против него, только потому, что их тон трогает его сердце.

А королеву Пруссии Луизу он терпеть не может: эта женщина сует нос в политику, навязала стране и супругу войну, взяла на себя смелость подвергнуть чудовищному риску спокойную, не обесчещенную поражениями жизнь — все это для него невыносимо. Поскольку она по любому поводу изрыгала яд в его адрес, он теперь переступает через ее женское достоинство и издевается над ней в печатных изданиях: «У этой женщины приятные черты лица, но ума маловато... Ее наверняка мучают укоры совести из-за страданий, в которые она ввергла свою страну. А вот ее супруг — настоящий человек чести, желавший своему народу мира и счастья».

Наполеон въезжает в Берлин с блестящей свитой, но сам, как всегда, одет скромнее всех. На нем маленькая треуголка с грошовой кокардой. Больше всего его интересует дворец Сан-Суси. Вот он держит в руках шпагу Фридриха Великого и решает взять себе этот трофей, самый драгоценный в его жизни: он бы не променял его на прусскую корону. Современных же пруссаков император презирает до глубины души, а их королеву продолжает поливать грязью:

«В покоях королевы нашли портрет русского царя, а также ее переписку с королем Пруссии... Эти бумаги доказывают, сколь несчастливы правители, позволяющие женам влиять на дела государства. Дипломатические ноты и государственные документы пахли мускусом и валялись среди лент, кружев и прочих принадлежностей туалета».

Тон, несомненно, дешевого пошиба. Император как бы совершенно забывает о патриотическом чувстве королевы. Но если сопоставить эти шпильки с тем, что написал о ней лучший и величайший из прусских политиков той эпохи, не пруссак по происхождению барон фон Штайн, то начинаешь понимать императора, конечно же, не извиняя его.

Тем не менее важные соображения заставляют его с оглядкой на русского царя сохранить династию Гогенцоллернов, которую он в проекте одного из декретов уже хотел было упразднить. Наполеон в Берлине мыслит в масштабе Европы: «На Эльбе и Одере мы выиграли нашу ин-

дийскую кампанию, испанские колонии и мыс Доброй Надежды». Эта великолепная фраза, сказанная в Берлине, означает, правда, лишь начало пути, однако теперь он на всех парусах мчится к мысу Его Надежды. В замке Шарлоттенбург он диктует величайшее, самое бескровное и самое опасное из всех его объявлений войны: новоявленный Карл Великий блокирует все гавани Европы для английских судов. Раз уж этот остров недоступен для его меча — что ж, отныне Европа будет недоступна для острова. Все товары, посылки, письма и газеты для Англии и из нее и всех ее колоний не пропускаются, любой англичанин на континенте арестовывается.

Но как проследить за исполнением? До сих пор любой декрет, подписанный им сегодня, назавтра уже исполнялся. На этот раз ему требуется заключить государственные договоры со всеми странами, в первую очередь — с Австрией и Россией. Австрия владеет частью старой Польши, а Россия хочет эти земли вернуть. Польша же не желает больше подчиняться ни Австрии, ни России. Словно к Господу Богу взывают поляки к великому императору, чтобы он, глашатай свободы для всех народов, освободил бы и их. Что делать? Как решит Наполеон польский вопрос?

«Будет ли восстановлен польский трон и вернет ли себе эта великая нация свои земли? Один лишь Бог, в руках которого нити всех земных судеб, решит эту великую загадку». Такие туманные дельфийские пророчества он распространяет в Польше, и лишь Бог видит его улыбку, когда он их подписывает. Кроме того, Наполеон предпринимает три шага: от Польши он требует солдат, ведь «только когда у вас будет армия в 40 000 человек, вы будете достойны называться нацией». Австрии он предлагает обменять Галицию на Прусскую Силезию. Но подлинный ключ к решению польского вопроса он выуживает из Босфора: Наполеон предлагает султану вытеснить русских из Молдавии, после чего встретиться с ним на Днестре, тем самым связывая на Нижнем Дунае не только Россию, но и перепуганную Австрию.

Вот он сидит в Сан-Суси, старинные канделябры в кабинете Фридриха сияют над его головой, сбоку портрет Вольтера улыбается своему земляку. Так он сидит в одино-

честве за шахматной доской, продумывая ходы своего невидимого визави, взгляд его отрывается от доски и устремляется куда-то вдаль. Внезапно черты его нового предка резко меняются, светлая окладистая борода исчезает, нос выпрямляется, взгляд теряет мягкость, становится жестче: вместо Карла Великого на него вновь глядит Александр Македонский. Да, он разобьет Англию в Индии! Мировое господство вновь смутно маячит перед его взором.

Тут нежданно-негаданно появляется новый противник: курьеры приносят известие о восстаниях в Испании. Свидетель сообщает, что Наполеон побледнел. Его игра висит на волоске, он вновь убеждается: кто хочет уничтожить Англию, нуждается в дружбе с Россией. Но чтобы победить или привлечь на свою сторону Россию, нужно иметь опорный пункт внутри нее самой. Такой опорой может быть только мятежная Польша. Наполеон едет в Варшаву.

В эти недели его воображение поглощено судьбами континентов, а душа — душа тоскует от одиночества. Однако его не интересуют женщины, только своей собственной жене он пишет весьма галантно: «Я люблю тебя и скучаю по тебе... Эти полячки в Познани все как одна похожи на француженок, но для меня существует лишь одна женщина. Знаешь ли ты ее? Я бы ее описал, только мне пришлось бы ей слишком польстить, чтобы ты узнала в ней себя. Нет, серьезно: мое сердце сказало бы о тебе только хорошее. Ах, эти долгие ночи в полном одиночестве!»

Жозефина нюхом охотничьей собаки учуяла в этом настроении некий опасный след, которого на самом деле не было, ее ответ продиктован ревностью: она хочет к нему приехать. Он возражает: это, мол, зависит только от обстоятельств, однако «взволнованность твоего письма доказывает, что для вас, хорошеньких женщин, границ не существует: чего пожелаете, то и будет. Я же, напротив, — самый закрепощенный из смертных, мой повелитель не питает ко мне ни капли жалости, и этот повелитель — природа вещей».

Едва Наполеон закончил это сугубо приземленное письмо столь выпренней фразой, как курьер доставил ему известие о важном последствии вроде бы ничтожного события: красотка, которую прошлой зимой познакомила с ним Каролина и которая перед его отъездом ожидала ре-

бенка, разродилась. Наконец-то! Значит, доказано, что его мужская сила не иссякла! Великий дар Небес: родился мальчик! И обращаясь к одному из близких, император восклицает с наивной радостью, словно юноша: «Дюрок, у меня есть сын!»

XIV

В залитом огнями бальном зале блистают первые красавицы и лучшие драгоценности Польши — в старинном королевском замке Варшавы дают бал в честь императора французов, желая показать, какая нация хиреет здесь в неволе. То ли Наполеону нравятся польский национальный танец и музыка, то ли глаза этих женщин, в которых радость пробивается сквозь славянскую грусть, то ли льстивые титулы и обожествление его персоны в газетах, но его жесткий взгляд оттаивает. А это — делают вывод оптимисты — судьбоносно для нации.

Гости уже проследовали в зал, Наполеон в прекрасном настроении, он обменялся со многими одной-двумя фразами и теперь стоит в нише, глядя на танцующих и вяло участвуя в разговоре. Мысленно он в Париже, вот уже семь лет, как он не покидал этот город в январе.

Вдруг он всматривается в глубь зала, беседа обрывается, сотня любопытных глаз следует за взглядом охотника: где же дичь? Чуть позже он подходит к группе гостей, просит их представиться и с улыбкой, дышащей искренней душевностью, знакомой лишь его близким, подает руку даме, которая вызвала его интерес. Нежная, светловолосая восемнадцатилетняя красавица, изящная и хрупкая, небольшого роста, с мягким смиренным взглядом голубых глаз, лишённая блеска и соблазнительности, ни единым жестом не стремящаяся понравиться, одетая изысканно, однако проще, чем большинство дам. Император танцует с ней контрданс, хвалит ее внешность, ее прекрасный голос, находит ее ломаный французский очаровательным, и, пока она смущенно улыбается, по всем парадным залам из уст в уста передается имя, которое сам император еще не совсем усвоил: графиня Валевская.

— Кто она такая? — спрашивает он потом у Дюрока.

— Родом из старинной, но обедневшей дворянской семьи, поэтому отдана в жены богатому старику графу, чья младшая внучка на десять лет старше нее.

«Я видел только Вас, — пишет он ей утром, — только Вами восхищался и только Вас желал. Ответьте мне поскорее, чтобы притушить пожирающее меня пламя. Н.». Однако Дюрок возвращается к императору не солоно хлебавши: ни ответа, ни привета. Тот ошарашен: это что-то новое. Правда, десять лет назад бригадный генерал Бонапарт однажды уже получил отказ. Но Наполеон — никогда. Разве все женщины, княгини и актрисы, любые красотки не спешили к Наполеону с обворожительной улыбкой, стоило ему только остановиться взгляд? Тем притягательнее эта, по-девичьи пугающаяся любовного натиска мужчины.

«Я Вам не понравился? А я-то думал, что смею надеяться на другое. Или Ваше первое чувство исчезло? Мое только растет. Вы совсем лишили меня покоя! Дайте же бедному сердцу, которое жаждет на Вас молиться, немного радости, чуть-чуть счастья! Разве так трудно ответить мне? Вы должны были мне уже два ответа». Это второе письмо уже не подписано буквой Н. Лежи оно в общей стопке любовных писем, кто бы догадался, что оно от Наполеона! Ни мрачности, ни властности, ни пафоса, ни литературных красот, скорее в этой тональности немного романтики, но, поскольку мир видит в каждом только того, за кого он себя выдает, это желание тоже остается неуслышанным. Ужасное положение у адъютанта, ведь он и во второй раз не выполнил задания! Император, готовый уже вспылить, заставляет себя посмотреть на эти вещи снисходительнее. Он думает:

«Если уж ни моя просьба, ни мое положение не действуют на это нежное существо, придется прибегнуть к полубещанию, исполнять которое совсем не обязательно». И пишет: «В жизни бывают минуты, когда высокий пост ложится на плечи тяжким грузом. Сейчас я с особой силой ощущаю это... О, если бы Вы захотели! Только Вы одна можете преодолеть преграды, разделяющие нас. Мой друг Дюрок облегчит Вам эту задачу. О, придите! Придите! Все Ваши желания будут выполнены! Ваша родина станет мне еще дороже, если Вы сжалитесь над моим сердцем. Н.».

Здесь его рука уже узнаваема даже без буквы Н. И все же, судя по этим строкам, как потрясающе одинок этот могущественный человек! За этим третьим письмом, наконец-то вновь умным и потому принесшим Наполеону успех, проступает в трагической маске судьба человека, который хочет подчиняться только ее законам и жертвует этой героической мономании свое человеческое счастье. Вот он бродит по роскошному замку, сцепив руки за спиной, уже несколько недель предаваясь неопределенной тоске, все время в одиночестве, месяцами не зная близости с женщиной и теперь вдруг ощутив любовное томление. Он грубо разгоняет своих секретарей, не принимает генералов, отсылает депутаты, велит расседлать лошадь, оставив весь механизм власти, созданный им вокруг себя: замок, армия, Париж, Европа подождут! Он, самый закрепощенный из смертных, больше не хочет подчиняться природе вещей. Мужчина в 37 лет, уже не влюбленный без памяти в свою жену, которой сильно за 40, и которому всю душу перевернуло юное существо, дважды отвергнутый, вынужден придумывать соблазны из подвластных ему других сфер, вынужден манить ее свободой ее родины, чтобы после десяти лет молчавшего чувства впервые сложить к ногам молодой женщины свою тягу к покою!

А она, напуганная его мужским напором, в этот предвечерний час сидит в кругу своих кузенов и подруг, толкающих ее на жертву — ради Польши, ради Польши! В этом настроении она наконец приходит к нему. Те три вечерних часа, что она проводит у него, она только и делает, что плачет. Он находит тихие слова, чтобы ее успокоить, и она удивляется, обнаружив в грозном человеке из железа нежного воздыхателя.

«Мария, моя дорогая Мария, первая моя мысль — о тебе! — читает она на следующее утро. — Я увижу тебя за обедом. Мой друг обещает это. Прошу тебя, прими этот букет, он будет исполнять роль тайного посредника между нами в людской толпе. Мы с тобой будем общаться так: когда я прижму руку к сердцу, ты поймешь, что оно целиком принадлежит тебе. В ответ прижми цветы к себе. Люби меня. Мария, моя чаровница, не выпускай цветы из рук!»

Она придет снова лишь через три дня, потом будет приходить каждый вечер, но он хочет, кроме того, видеть ее на каждом торжественном приеме, иначе прием отменяется. Что она для него? Вторая живая душа на свете, которой ничего от него не надо: мать была первой. Он еще не знал женщины, которая не ждала бы, чтобы на нее посыпались как из рога изобилия все земные сокровища: бриллианты, замки, короны, деньги. А эта ничего от него не хочет, а сама дает все: только она, графиня Валевская, была той тихой и любящей спутницей жизни, к которой временами тянулась бурная душа Наполеона. Поэтому он не так скоро от нее отступится. «Она — ангел, можно даже подумать, что ее душа так же прекрасна, как ее черты».

Жозефина хочет приехать? Теперь? Он улыбается. Поскольку Бонапарт после Каира не заводил любовниц во время военных операций, в то время как его генералы частенько окружали себя женщинами, слух об этой любовной связи не мог — хоть и в искаженном виде, зато быстро — не достичь Парижа и ушей Жозефины. Теперь она ждет, чтобы ее позвали. Но теперь пришел его черед обманывать женщину, долгие годы обманывавшую его: погода не та, дороги плохие, опасности кругом, в общем — невозможно. Да, «как бы я хотел, чтобы в эти долгие зимние ночи ты была рядом... Но если ты будешь все время плакать, я сочту тебя бесхарактерной трусихой. А трусливых людей я не выношу. Императрица должна быть мужественной».

Теперь он изменяет ей. «Я смеялся, читая в твоём письме, что ты нашла себе мужчину, чтобы быть с ним вместе. В своём неведении я полагал, что женщина создана для мужчины, а мужчина — для родины, семьи и славы. Прости мне мою неосведомленность, от красивых женщин всегда что-нибудь почерпнешь. Впрочем, я не знаю, с какой дамой я состою в переписке. Но если бы я и стал отдавать своё время какой-нибудь из них, то она — уверяю тебя — должна быть хороша, как только что распустившаяся роза. Таковы ли те дамы, о которых ты пишешь?»

Разве не видно, что такие двусмысленности его забавляют? Какой легкой бывает иногда эта душа, как галантно умеет играть словами, словно в мире и не было никакой

революции. Спустя несколько недель, отправляясь на театр боевых действий, он обещает польке, что они увидятся.

Перед ним впервые расстиляется Россия: она смахивает на пустыню. Бескрайние степи, покрытые снегом или грязью, почти без дорог и без хлеба. Медленно, после нескольких стычек, царь отступает. Можно ли преследовать его? Куда он нас заманивает? Кто прокормит армию? Здесь ничего нет, так что и взять нечего. То ли дело в богатой Германии! Да и боеприпасы еще не подвезли: если бы не несколько сот толковых спекулянтов — польских евреев, взявших на себя посреднические функции, — полки вымерли бы от голода уже теперь, в 1807 году. Когда император из-за невозможности проехать в коляске едет верхом в Пултуск, из колонны войск до него доносятся недовольные выкрики. Давно забытые звуки, слышанные им восемь лет назад под Акко — в первый и последний раз. Генералы докладывают о случаях самоубийств, уже тысячи голодных солдат бегут из армии, чтобы мародерствовать на свой страх и риск. Император слышит все это, но молчит, ибо не знает, как помочь. «Я знаю французов, — сказал он как-то, — с ними нелегко совершать дальние походы. Франция слишком хороша».

Разве удивительно, что он, вынудив русских принять бой, впервые не одерживает победы? Правда, под Прейсиш-Эйлау он не разбит, но оба войска расходятся с удручающими потерями, не добившись никакого результата. Это первое предупреждение: не идти войной на Россию. Сообщение после битвы: солдаты выкапывают картошку, лошади едят солому с крыш, всюду полно больных солдат, полковники уже не знают, сколько людей у них в строю. Император: «Мы остаемся здесь еще на два дня, потом отступим на несколько миль. На всех мостах через Вислу выставить жандармские посты, на тот берег никого не пропускать, только раненых. Отставших не преследовать, никого не наказывать». Однако такое состояние войск тревожит его все больше. К тому же его мучают боли в желудке — они бывали и раньше, но теперь участились, и он говорит: «Я несущу в себе зачаток ранней смерти. И умру от той же болезни, что и отец». Это наследственная болезнь в их семье, и он умрет от нее, как умерли его отец, дед, дядя, Люсьен и Каролина.

«Мы живем здесь в снегу и грязи, без вина, коньяка и хлеба», — доверительно пишет он брату. В то время как император сидит в Остероде в одном сарае с солдатами и ест то, что они раздобыли, — равный среди равных, как в свое время в Италии, и все ютятся в нищенских лачугах, — сообщения в Париж трубят о полной победе, о бегстве русского войска и в три раза уменьшают цифру потерь: наша армия может пробыть тут еще год, так ей здесь хорошо.

Во второй раз он убеждается, что нервы не выдерживают ожидания, — здесь, как и в Египте, для него невыносимо топтание на месте. За все 15 лет его власти лишь еще раз будет такой период покоя вдалеке от Парижа, он продлится 2 — 3 месяца. Этот период покоя Наполеон заполняет идиллией.

Теперь его действия разворачиваются на фоне комнат мрачного прусского замка Финкенштейн: он ждет, что снег растает на дорогах и в сердцах врагов. В замке есть большие каминные, они успокаивают, «потому что я люблю ночью, когда не спится, смотреть на огонь», флигели и двор достаточно просторны, чтобы принимать посланников и курьеров. Отсюда император в течение десяти недель правит частью мира. Наверху, в огромной спальне, он приказал рядом с пышным ложем поставить железную походную кровать.

Никто, кроме разве Констана, его камердинера, и мамелюка Рустама не знает, что в соседней комнате живет польская графиня. Она не выезжает, проводя время в смиренном ожидании за чтением и вышиванием, пока не открывается дверь: он появляется — только для нее, дважды в день стол накрывается для них одних. В этих двух комнатах в самой глубине временного императорского дворца полководец поместил свой штаб, а император — свою мечту. Здесь ему не досаждают династическими претензиями, как в Париже, здесь нет ни ревности, ни счетов за драгоценности, ни тяги к роскоши и блеску. Лишь просьба о защите, без слов высказанная глазами этой восемнадцатилетней нежной женщины, полюбившей его.

— Я знаю, — говорит он ей, — ты предпочла бы жить без меня. Нет, это так, я знаю! Но ты добра, ласкова, твоя душа чиста. Неужели ты захочешь лишить меня этих

часов счастья, которые даришь мне каждый день? А ведь меня считают счастливейшим человеком!

Внезапно приходит депеша: его племянник и наследник, сын короля Людовика, мертв. Какой это удар для него, показывает взволнованное письмо Жозефине. О том, что его волнует, он вынужден умолчать. Разве он еще в Каире не добивался сына от ничтожной кокотки? А что, если эта красивая и утонченная женщина, которую он любит, подарит ему наследника? Сделает ли он ее тогда императрицей? Почему бы и нет? Он смотрит на нее и молчит.

А что говорит Париж?

Вот что доносится до Наполеона: рента падает, на Бульварах порхают злые шуточки в его адрес — где наши brave солдаты, спрашивают парижане. Осторожно! Тихий дождичек может быстро превратиться в грозу, а тот, кто умеет приручать гром, далеко. Теперь он предлагает разбитому королю Пруссии сепаратный мир, потом даже мирную конференцию, но королева по-прежнему предана русскому царю. Австрия тоже на его предложение отвечает молчанием.

И все-таки именно здесь, под угрозой слева и справа, он вновь берется за планы Александра Македонского. Гонцы с письмами, запечатанными императорской печатью, скачут из замка Финкенштейн, а чужие посланцы въезжают во двор замка со всех берегов, из далеких гор. В этот штаб далеко на севере прибывает посланник из Персии. Доверенное лицо царя царей склоняется перед высочайшим повелителем Запада, и уже назавтра они договариваются о том, что император вынудит русского царя вернуть Грузию шаху, за что шах поднимет афганцев и народы Кандагара против Англии, вооружит армию для войны с Индией, и, когда император французов пошлет свою армию в Индию, шах предоставит ему свободу пути.

Едва перс покинул замок, на глазах изумленной стражи туда въезжает расфранченный турок и вместе с золотыми дарами привозит послание. Император стоит перед камином в холодной Польше, преобразует витиеватые восточные завитушки в четкие мысли и диктует ответ султану: «Я очень сожалею, что Ты требуешь у меня только 500 солдат, а не несколько тысяч... Выскажи свои требования четко и

ясно, и я тотчас пошлю Тебе все, что Ты пожелаешь. Свяжись с шахом Персии, он тоже враг России... Я предложил Твоему посланцу канониров и войска, которые Тебе нужны, но он не захотел их принять, опасаясь оскорбить этим религиозные чувства мусульман. Я достаточно могуществен и слишком заинтересован в Твоих победах — как из дружеских чувств, так и из политических соображений, — чтобы отказать Тебе в чем-то».

Брату Людовику, со своего нового трона осыпающему императора отчаянными письмами, он в тот же день пишет на пяти страницах настоящее учебное пособие для начинающих королей. Сразу вслед за тем посылает инструкции Жозефу — как тому следует держаться в Неаполе. И одновременно пишет Жерому в Бреслау: «Указывайте мельчайшие детали, чтобы я мог представить себе точную картину положения ваших дел». Одновременно — личное послание каждому епископу Франции, в котором высказывается пожелание, чтобы те отслужили благодарственный молебен в честь императора. На самом же деле эти послания — не что иное, как попытка оказать личное влияние на каждого священника, ибо он прослышал, что нравственный конфликт между Папой и императором в среде духовенства разрастается. Наряду с этим он отдает с десяток приказаний Фуше касательно мадам де Сталь и круга лиц, находящихся под ее влиянием, а также салонов в аристократических кварталах Парижа. Далее следует запрос о финансовом положении и репертуаре двух главных парижских театров.

На следующий день: «Где мой библиотекарь? Умер или живет в деревне? Удобный способ избежать исполнения своих обязанностей. Я приказал ему присылать мне все новинки и списки новых книг, но от него ни слуху ни духу». Составлен проект новой Высшей исторической школы, чтобы молодежь изучала не только античность, но и новое время. Министру внутренних дел: «Литературу необходимо поощрять. Представьте мне ваши предложения по стимулированию различных форм изящных наук». Запросы по строительству новой большой биржи и церкви Мадлен. «В Государственной библиотеке хранится много необработанных драгоценных камней. Их нужно раздать

лучшим парижским граверам, чтобы обеспечить их работой и поддержать промышленность». И еще приказы: опубликовать в Париже статьи, якобы присланные из Бухареста и Тифлиса и описывающие отчаянное положение России.

И вновь — с улыбкой — своей тихой подруге: «Ты удивляешься, что я так много тружусь? Но я должен исполнять свой долг. Раньше я был желудем, теперь я — дуб, мне выпала честь повелевать народами. Меня разглядывают со всех сторон, потому что я возвышаюсь надо всеми. Тут уж приходится играть свою роль, нельзя всегда быть самим собой. Только для тебя я хочу вновь быть желудем». Такие простые, такие спокойные слова. Еще один вечер с ней, и он вновь отправляется в войска: кончается идиллия. Они еще увидятся, и оба это знают, но если бы он ее забыл, то прочел бы слова, выгравированные на кольце, которое она ему дарит: «Если разлюбишь меня, помни, что я тебя люблю».

XV

Посередине реки Мемель, против Тильзита, стоит на якоре большой плот. Бревна и балки покрыты коврами, в центре плота яркий шатер сверкает на июньском солнце, над ним колышется флаги Франции и России. На обоих берегах толпятся гвардейцы Запада и Востока. Вот лодки отчаливают от берегов, и на середине реки император и царь одновременно входят в шатер мира. Гвардейцы, еще 10 дней назад стрелявшие друг в друга, теперь кричат «Ура!», а те, что стоят поближе к реке, сообщают тысячам других: вчерашние враги обнялись, их господа стали друзьями.

Сразу после новой большой победы под Фридландом Наполеон в своей манере протянул руку побежденному и, поскольку султан не прислал ему положительного ответа, при первых предварительных переговорах с русскими дал им понять, что царь, вероятно, сможет в один прекрасный день воздвигнуть крест над Айя-Софией. Император знает наверняка: Александр — человек мягкий, с романтически-

мистическим складом ума. Царь тут же ухватился за протянутую ему руку. И вот противники, воевавшие друг с другом под Аустерлицем и Фридрихсдорфом, стоят лицом к лицу. Серо-голубые глаза Наполеона холодно рассматривают лицо единственного реального соперника на континенте и видят, что у этого юноши женственные черты: все у него нежное, розовое, пушистое, слух и зрение слабоваты. И через две секунды Наполеон решает: этого я сумею обработать.

Ему хватило двух недель, чтобы прежние враги стали не только союзниками, но и друзьями. Как это произошло?

«Царь — человек любезный и приятный, он — романтический герой», — говорит об Александре Наполеон, а поскольку он терпеть не может романы, тем более их героев, то в этом якобы положительном отзыве уже заключена издевка. Однако Наполеон добавляет, что Александр — «красивый молодой человек, и ума у него больше, чем обычно предполагают».

Позже он выскажет об Александре более глубокие мысли: «Царь — весьма привлекательная личность, как бы созданная для того, чтобы очаровать всякого, кого захочет. Был бы я склонен поддаваться внешнему впечатлению, я бы полюбил его всей душой. Однако есть что-то в его натуре, о чем я могу лишь сказать: во всех делах ему всегда чего-то не хватает. Причем самое удивительное: никогда нельзя предвидеть, чего ему не хватит в данном конкретном случае, ибо качество это изменчиво до бесконечности». Столь женственным представляется ему этот человек, от дружбы с которым для него все зависит, что в доверительной беседе он резюмирует свое суждение в виде уничижительного комплимента: «Был бы царь женщиной, я бы, кажется, сделал его своей любовницей».

Нет ничего удивительного в том, что такое мягкое существо моментально попадает в сети более сильного и жесткого человека, равно как и в том, что позже Александр отвернется от Наполеона: и то, и другое вполне по-женски. Никто не охарактеризовал Александра более метко, чем Меттерних: «Это смесь мужских достоинств с женскими недостатками. Излюбленные мысли, поверхностно понятые, приводят к неожиданным поступкам. Отсюда, от не-

продуманности, потом — внезапная растерянность. Быстро раздает обещания и попадает в затруднительные положения, чтобы их сдержать. Для честолюбия большого масштаба недостаточно силен, для пустого тщеславия недостаточно слаб, скорее светский лев, чем правитель. Есть известная периодичность в смене преданности и разочарования, а именно — пятилетними циклами, в течение которых он загорается какой-то идеей и к ней охладевает. Потом зарождается новая: либеральная поначалу ненависть к французу, потом — целиком под его влиянием».

Ровно через пять лет кончится этот новый период, они вновь начнут войну.

Все это Наполеон, знаток человеческих душ, вероятно, чует уже в праздничном шатре, где они с Александром в течение двух часов обсуждают положение в мире. Поначалу он держится как кавалер, у которого не хватает слов, чтобы воздать достойную хвалу героизму русских. Потом, как бы между прочим, говорит, будто вынужден поскорее вызвать к себе своих министров, чтобы не поддаться окончательно обаянию царя. За трапезой Наполеон охотно повествует о своем везении — о чем человек его судьбы обычно не говорит, — только чтобы поразить воображение царя. И однажды даже рассказывает нигде ранее не зафиксированную историю о том, как он в Египте заснул возле старинной стены, как она рухнула во время его сна, но его не коснулась, и как он, проснувшись, обнаружил в своей ладони камень, оказавшийся камеей дивной красоты, изображавшей императора Августа. Может ли драматург сочинить более великолепную сцену, чем та, которую выдумал за десертом император, чтобы поразить склонную к мистицизму фантазию полуидеалиста?

Как слушает царь этого кудесника! Потом задает сто вопросов по военному искусству и наивно расспрашивает во время прогулки верхом: «Это и есть позиция? Как ее оборонять, как атаковать?». «Я объяснил ему это и добавил, что если бы я еще раз стал воевать с Австрией, то дал бы ему под моим началом покомандовать корпусом в 30 000 человек, чтобы он научился военному делу».

Соблазняют ли так женщин? Вскоре договор о взаимной помощи был заключен.

«Все земли между Эльбой и Мемелем, — говорится в секретном протоколе, — должны образовать барьер, разделяющий две великие империи и скрадывающий все булавочные уколы в отношениях между народами, обычно предшествующие пушечным залпам». В этом договоре каждый дает, чтобы взять: в двух словах царь жертвует Пруссию, император — Польшу, хотя каждый из них пообещал женщине сохранить ее родину. С почти гротескным спокойствием мир смотрит, как в небольшой комнате никому неведомого захолустного городка на севере Европы, на берегу Балтийского моря, двое мужчин сидят над картой и кроют ее: император отдает Кобург, Мекленбург, Ольденбург с родственными царю династиями, чтобы за это прибрать к рукам остров Катар в Персидском заливе и Ионические острова. Лишь когда царь заговаривает о Босфоре, император отшатывается: «Отдать Вам Константинополь? Да ведь это все равно, что господство над всем миром!» Тут-то из словесной гущи переговоров вырывается наружу решающее слово, дремавшее за всеми этими трактатами и декларациями. Чувствуется, что если двое делят весь мир, то кончится это войной между ними.

Короля Пруссии тоже втягивают в переговоры, но поскольку он не выказывает ни характера, ни ума, то оба императора сбрасывают его со счетов. В узком кругу Наполеон называет его ограниченным, бездарным и безвольным и критикует в нем все, кроме разве что его костюма. Но король, опасаясь за дальнейшее существование Пруссии, хочет испробовать все средства и просит королеву приехать в Тильзит. Император, проявляющий известный интерес к красивой врагине, намекнул, что рад был бы видеть ее здесь. Воспользовавшись границей нейтральной зоны как поводом, чтобы не ехать ее встречать, он, тем не менее, велит приготовить для нее прекрасный дом, который королева, однако, не пожелала занять. Наполеон сам приезжает к ней с блестящей свитой, но в самом простом мундире. Она встречает его, стоя на верху лестницы.

В белых шелках, увешанная старинными драгоценностями, стоит она там, красивая и мрачная, и, чтобы как-то преодолеть ужасную скованность, находит вежливые слова:

— Простите, Сир, лестница так узка!

— Чего не сделаешь ради того, чтобы приблизиться к такой цели! — Но когда он пытается продолжить в том же духе и спрашивает, производят ли такой великолепный шелк в Силезии, она надменно его обрывает:

— Сир, вы прибыли сюда, чтобы беседовать о пустяках?

Потом она говорит «как супруга и мать» и взывает к его «великодушному сердцу».

— Вы будете рады вновь вернуться в Берлин?

— Не при всех условиях. От вас зависит, вернемся ли мы туда безболезненно.

— Мадам, я был бы счастлив. — Но когда она продолжает настаивать, он серьезно спрашивает: — Мадам, как могла Пруссия решиться на эту войну?

— Слава Фридриха Великого ввела нас в заблуждение относительно нашей мощи.

— Сколько раз я предлагал мир! Австрия после Аустерлица повела себя умнее.

— Но сегодня я прошу вас заслужить право на нашу благодарность.

— А разве не вы сами уничтожили мое дружеское отношение к Пруссии?

— Ваша душа слишком благородна, она заключает в себе наряду с другими свойствами также сильный характер.

— К сожалению, Ваше Величество, общие рассуждения часто противоречат учету конкретных обстоятельств.

— Я ничего не понимаю в большой политике, но полагаю, что не уроню женского достоинства, если буду молить вас...

Королева продолжает в том же духе, император с интересом слушает, она подмечает «добрую улыбку в уголках его губ, вселившую в меня надежду на успех, — но тут в комнату вошел король».

Этот разговор, при котором оба держатся с достоинством, не принес никакого политического успеха.

— Хорошо, что вошел король, — говорит император царю, и с его стороны это лишь отчасти притворство. — Я чуть не наобещал ей Бог весть что... Очаровательная

женщина, так и тянет не лишать ее короны, а положить корону к ее ногам!

И еще раз побеседовав с ней, он пишет Жозефине: «Обаятельная женщина и очень любезна со мной, но тебе незачем ревновать... Впрочем, мне бы дорого стоило, вздумай я изображать с ней галантного кавалера... За свою жажду власти она уже наказана, но, попав в беду, выказала много воли и характера. Надо отдать ей должное, она высказала много разумных мыслей».

Однако еще удивительнее впечатление, произведенное на королеву императором, кого она раньше называла «исчадием ада». «Его голова — прекрасной формы, — пишет она, — а черты выдают мыслящую личность. Весь его облик напоминает римского императора. В его улыбке сквозит скрытая доброта».

Это завоевание — самое крупное из всех его побед над женщинами: кто из них в немногих словах описал его прекраснее, чем эта, у которой было как раз достаточно причин его возненавидеть: несмотря на ее унижение, он остался непоколебим. Правда, вскоре королева начинает его раздражать, и когда наконец все подписано и император «лишь из дружеских чувств к царю» сохранил Прусское королевство, хотя и значительно сократив его территорию, она вновь принимается за свое и еще раз спрашивает, когда Наполеон провожает ее к карете, почему столь великий человек не захотел заслужить ее вечную благодарность. Тут его терпение лопается, и он насмешливо отвечает:

— Чего вы хотите, мадам? Я достоин сожаления, ибо это, очевидно, воздействие моей несчастливой звезды!

XVI

А что говорит Париж?

«Если бы я находился даже в двух тысячах миль от моей страны, я бы все равно не дал свободы действий дурным гражданам, которые мутят воду в моей столице!» Теперь, когда его отсутствие длится уже десять месяцев, дольше чем когда-либо, он круче берется за ужесточение режима внутри страны, ибо с ужасом убеждается, что критично на-

строенные парижане ускользают из-под его власти. И дело тут не только в островах и песенках, порхающих по Бульварам, дело в самом скептическом тоне, в котором этот остроумный и насмешливый город скорее смеется над его дальними вояжами, чем восхищается ими. Да, он прав, этим парижанам надобна «железная рука в бархатной перчатке». Что ж, они получают то и другое, только бархат уже слегка потерт. Что за развязный тон распространился в городе? Уж не хотят ли они вернуться во времена Директории, когда каждый говорил и печатал что ему вздумается?

Новая строгая цензура сковывает газеты и театры. Исторические пьесы допускаются на подмостки, только если речь идет о событиях многовековой давности, и даже у Корнеля, его любимого автора, вычеркиваются места, случайно зазвучавшие современно. Перед постановкой каждой оперы он требует, чтобы спрашивали его мнения относительно выбора темы, церковные сюжеты запрещаются, а мифологические рекомендуются. С огромными затратами, но совершенно в императорском стиле, точно следуя образцу ненавистных ему иезуитских школ, открывается новый университет, преподавателям которого предоставляется освобождение от военной службы, зато требуется безбрачие. Против Шатобриана ведется травля, его «Меркюр де Франс» закрывается, потому что тот критикует императора в салонах оппозиционеров и цитирует Тацита как мстителя тирану Нерону.

На новые просьбы мадам де Сталь разрешить ей вернуться отвечено отказом, потому что «она в состоянии научить людей думать, чего они либо никогда не умели, либо разучились». Государственному канцлеру Наполеон пишет: «Пригласите к себе графа Р.: будуар его супруги — позор для Парижа». А Фуше: «Вы не занимаетесь полицией Парижа, где имеют хождение всевозможные злостные слухи. Прикажите проконтролировать речи, произносимые у ресторатора Ситерни и в кафе «Фой». А чтобы молодежь знала, кто взыскан милостью Божией, каждый ребенок во Франции должен заучивать такой катехизис: «Мы обязаны любить, почитать, слушаться нашего императора Наполеона Первого, а также быть ему преданными, служить в его армии... и горячо молиться о его здравии... ибо

Господь осыпал его своими дарами для войны и мира и сделал его своим подобием на земле».

Вот до чего докатились. Кто верит в такие вещи, будучи наследником старинного рода, тому верят и другие или хотя бы часть из них. Но если бы Наполеон-то всего три года назад сказал во время коронации о таком вот божественном происхождении власти, что его подняла бы на смех любая рыбацка.

Разве он уже не тот, что прежде? Разве теперь, как и раньше, не отвергает для себя лично все, что означает роскошь и блеск? Он отклоняет расходы на свой кабинет: кроме большого письменного стола там стоит лишь банкетка, на которой он сидит, когда диктует, если не расхаживает по комнате, два высоких стеллажа с книгами, несколько светильников и бюст Фридриха Великого. В другом кабинете — только Цезарь. Просматривая счета, он пишет на полях: « В бытность мою поручиком это стоило намного дешевле. Не хочу платить больше, чем другие». А когда намеревались отремонтировать театральный зал в его дворце, наложил резолюцию: «Если не ошибаюсь, мне придется приобрести еще больше мягких кресел и люстр. Но перед коронацией уже были затрачены на это громадные суммы, так что хватит тех, что есть».

Когда Ремюза вышел за рамки 20 000 франков, предусмотренных на гардероб императора, его отрешили от должности, а его преемнику послали длинный перечень, составленный заново рукой императора: «Думаю, можно еще на чем-то сэкономить. Проследите, чтобы портной поставлял добротные вещи. Новые показывайте мне в день поставки, чтобы я мог их примерить, после чего сразу же помещайте их в мои шкафы». По поводу каждого мундира, а они обновляются раз в квартал, он замечает: «Этот мундир должен носиться три года... Далее — 48 белых панталон и жилетов по 80 франков = 3840 франков. Каждую неделю должна поставляться новая пара панталон и жилет, и чтобы носились три года... 24 пары обуви, по одной паре каждые две недели, и чтобы носились два года = 312 франков». Только сорочек он заказывает много, по дюжине в неделю, и чтобы носились шесть лет.

Да, здесь он остался прежним: совершенно лишен тяги

к роскоши. Но на все, что касается внешнего блеска, приличествующего коронованной особе, — на двор, этикет, на весь антураж отжившей и им же самим отвергнутой эпохи он тратит не только деньги, но что гораздо дороже — время и свободу своей уникальной личности.

Теперь, когда ко двору являются аристократы, император испытывает удовлетворение. И это можно понять: ведь те самые аристократы, которые некогда ранили в самое сердце юного кадета, насмехаясь над его бедностью, рвутся ко двору корсиканца, чтобы увидеть на блестящем паркете свою тень, склонившуюся в глубоком поклоне. Все они, годами клявшиеся прикончить выскочку, вновь в Тюильри — и Монморанси, и Монтескье, и графиня Радзивилл, и Ноэй, и Нарбонн, и Тюренн, а рядом с ними скользят по холодным парадным залам князя Рейнского союза в немецких мундирах. Мекленбуржец волочится за императрицей, кронпринцам Бадена и Баварии разрешено присутствовать на заседаниях Государственного совета: все это — лишь пыль в глаза родовой аристократии и политическая тактика императора, желающего обеспечить себе поддержку и этого класса.

И все же теперь происходит то, что никогда не должно было произойти: в эту осень Наполеон, который в своем Кодексе исключил все сословные привилегии и противопоставил новую идею личных заслуг старым понятиям о наследственном превосходстве — тем самым сокрушив сложившиеся веками устои, — тот же самый Наполеон учреждает новое дворянство, «ибо в человеческой природе коренится желание оставить в наследие своим детям наряду с богатством еще и знаки уважения, которого они добились». Заново появляются графы и князья, герцоги и майораты — не только для того, чтобы, как было до тех пор, воздать сугубо персональные почести храбрейшим маршалам, умнейшим сенаторам и министрам, а для того, чтобы их сыновья и правнуки, бездельники и праздные гуляки с кучей денег, щеголи и лоботрясы когда-нибудь могли пользоваться теми привилегиями, ради отмены которых целое десятилетие лились реки крови.

Да, даже Почетный легион теперь обесчещен его создателем: отборные рыцари, каждый из которых лично имел

особые заслуги перед родиной, получили право передавать по наследству блеск этих заслуг вкупе с рентой, а высшие лица ордена — еще и княжеский титул. Правда, как граждане все они равны — и тем не менее это противоречит духу Кодекса Наполеона. «Свобода, — говорит он в узком кругу при подписании декрета, и в словах его слишком много правды, — свобода требуется лишь немногим, кого природа наделила выдающимися способностями, так что ее можно спокойно ограничить. Толпа любит равенство. Я не оскорбляю ее, когда раздаю титулы, не задаваясь старым вопросом о происхождении: это гражданские титулы, которые может заслужить каждый. Умелые правители придают тем, кем они управляют, то же направление, в каком движутся сами. Я двигаюсь вверх, поэтому и вся нация должна двигаться примерно в том же направлении... Я знаю, что эти герцоги, которых я столь щедро награждаю, зависимы от меня и будут держаться от меня подальше, оправдываясь тем, что они называют сословным духом. Но я двигаюсь быстрее и скоро их догоню!»

Редко столь крупное заблуждение получало столь основательное обоснование. Всего несколько месяцев назад Наполеон в письме обвинял брата в том, что тот учредил дворянские титулы в Голландии, а свой собственный аналогичный план заранее оправдал тем, что одно дело — народ-торговец, другое — народ-воин. Однако именно в том, что он сам превратил Францию в милитаризованное государство, и заключалась первая опасность. Вторая заключалась в императорской короне, которая теперь распространяла свою издревле символическую власть на всю его империю.

В ту пору когда Бонапарт был консулом, он мог безнаказанно раздавать чины и должности, а честь и славу нации объединить в Почетном легионе и стремительностью собственного движения увлекать за собой самых сильных людей страны. Но когда он дарил своим лучшим людям целые страны, ему требовались титулы, а титулы, естественно, наследовались, и теперь для вторых и третьих заслуженных лиц тоже нужны титулы, но уже нет стран, а эти лица с полным основанием требуют того же права наследования. И в следующем поколении эти новые титулы

станут носить тысячи, а через три поколения — двадцать тысяч, без заслуг, без особых деяний, с одной лишь видимостью своего превосходства, и будут пользоваться хотя и не теми же политическими, однако теми же социальными привилегиями, которые революция извлекла из бушующей глубины масс, их лишенных.

Предательство и неблагодарность, которые Наполеон сам себе уготовил, еще откроют ему глаза. Да, этот смертный приговор равенству становится более тяжкой уликой против него, чем казнь герцога Энгиенского: там он уничтожил потомка прошлых порядков, здесь он плодит предков для их восстановления.

Это решение принято в мрачном расположении духа, этот год вообще наполнил душу Наполеона мраком, хотя ему по-прежнему все удавалось. «Вы заблуждаетесь относительно собственных движущих стимулов, — говорит он в тот год одному честному демократу. — Вы устроены так же, как и все, личный интерес всегда играет свою роль. Посмотрите, к примеру, на Массену: он заслужил столько почестей и славы, но хочет во что бы то ни стало стать принцем, как Мюрат и Бернадот. Следующим его шагом будет отдать жизнь в бою, дабы им стать. Честолюбие — вот движущая сила французов!»

Теперь он держится все холоднее, запрещает братьям обращаться к нему, нарушает регулярный ритм работы, без нужды затягивает заседания до ночи, терпит на сцене только трагедии, просыпается среди ночи и диктует до утра, а растущую раздражительность может снять, только принимая многочасовые горячие ванны. Боли в желудке усиливаются.

Тоска, испытываемая им лишь в юные годы, омрачает его сердце, он теперь любит говорить о шуме моря и ветра, велит притушить свечи, когда слушает трагические руды итальянских певцов. Но рядом нет никого, кто бы понял причину этого настроения, все только удивляются и сваливают все на политику. Общество не осознает, что именно теперь, когда фантастические мечты начинают сбываться, их осуществление не может не разочаровать Наполеона: все получается не так, как он мечтал, и чересчур медленно. «Вы такой же, как все! — набрасывается он

на одного из министров, поздравившего императора с заключением Тильзитского договора. — Властителем буду я лишь тогда, когда заключу мир в Константинополе!»

Мировое господство! Азия! Вот какие слова вновь стучат в его сердце.

Однако сразу же после приступов мрачной тоски он вновь уходит с головой в ясный мир цифр и пишет русскому царю фантастическую программу:

«Армия из 50 000 французов и русских, возможно с участием австрийцев, может через Константинополь устремиться в Азию, и стоит ей дойти до Евфрата, Англия упадет к ногам континентальной Европы... Через месяц после того, как мы придем к согласию, эта армия может оказаться у Босфора, а весь поход окончится в Индии... Конечно, все это можно было бы обсудить только при личной встрече с Вашим Величеством. Все можно окончательно решить до середины марта, и 1 июня наши армии будут в Азии, а Ваши — в Стокгольме. И Англия рухнет под тяжестью событий, которые потрясут весь мир. Ваше Величество, как и я, разумеется, предпочли бы наслаждаться миром, находясь в центре своих бескрайних владений... Но разумно и политически верно поступать всегда так, как предназначено судьбой... Тогда склонится перед нами это скопище пигмеев, которые не видят, что суть настоящего нужно искать в далеком прошлом, а не в газетных статейках... В этих скупых строках я изливаю Вашему Величеству всю свою душу».

Всю душу? Или все же только ее часть? Ведь эти перлы красноречия предназначены для парящего в облаках идеалиста, чтобы тот узрел в них воплощение собственной мечты. Тем временем им самим решение, пожалуй, уже принято и даже обрело реальные очертания. И когда Наполеон в эти же дни дает аудиенцию побывавшему в Индии генералу, который называет такую операцию не трудной и рассеивает сомнения императора, тот несколько раз обеими руками гладит его по щекам и «сияет от чистой, почти детской радости».

Таким фантастом был Наполеон.

Обстоятельства вновь возвращают его к тени Карла Великого. В прошлом году он подумывал о поездке в Рим,

чтобы там короноваться и стать императором западных стран: при этом Папа сохранил бы за собой лишь церковную власть и получил бы несколько миллионов ренты, однако кардиналы воспротивились. Тогда Наполеон взорвался: «Вся Италия будет жить по моим законам! Я не затрону независимости Папского трона, если Ваше Святейшество оплатит мне тем же в мирских делах. Ваше Святейшество остается суверенным в Риме, но я как-никак и там — император!» Эта патетически-угрожающая выходка, это каролингское упрямство противоречат всей государственно-правовой структуре его власти. В Риме он хочет, так же как в Индии, насильно добиться воплощения того, что зародилось в его мозгу лишь как видение великих образцов.

Историческое воображение Наполеона искажает точность его реалистического мышления, и добром это не кончится.

В Риме император поначалу чувствует себя сильнее Папы, однако привычка приказывать, вера в непобедимый меч настолько укрепились, что он забывает, как десять лет назад, будучи новичком в политике, интуитивно бросился на защиту Папы от неуклюжих директоров. А теперь он пишет Эжену, что некий кардинал оставил после себя историю папства, «и если там делается попытка показать, сколько зла принесли Папы Церкви и христианскому миру, напечатайте эту рукопись немедленно».

Поскольку Папа сохранил связи с Англией, император занял Анкону, сославшись на покровительство Господа, «который осветил мое дело своим Божественным сиянием... Если Ваше Святейшество пожелает отказать в приеме моему посланнику, то Вы вольны поступать по своему усмотрению и можете, если угодно, принимать англичан или калифа Константинопольского... Так что я молю Бога сохранить Вас еще долгие годы главой нашей Святой матери Церкви. Ваш благочестивый сын, император французов и король Италии Наполеон».

Наряду с этими несерьезными угрозами он еще в прошлом году предостерег Папу через своего дядюшку кардинала Феша и сравнил свою роль с ролью Константина: «Для Папы я — Карл Великий, ибо я, как и он, объединяю корону Франции с короной Ломбардии, а моя империя прости-

рается до стран Востока... Если со мной будут поступать достойно, я не стану ничего менять во внешнем церемониале, в противном случае низведу Папу до римского епископа... и введу в Италии Конкордат. Ибо все, что может принести благо Франции, принесет благо и Италии, и что в жизни одних не содействует достижению блаженства, то и в жизни других его не принесет».

Воистину слова, достойные Лютера! Разум Наполеона всю жизнь склонялся к протестантизму, и лишь из политических соображений он подавил в себе желание сделать Францию лютеранской. Теперь, решившись не особенно церемониться с верховным пастырем из-за того, что тот никак не соглашается окончательно отвернуться от Англии, он намеревается упразднить мешающий ему союз королевств Северной и Южной Италии, чтобы наконец завладеть всей Италией, королем которой он себя бесосновательно именует.

Теперь он пишет вице-королю Эжену в стиле своих военных декретов: «У нынешнего Папы слишком много власти. Священникам не полагается править. Почему он не желает отдать кесарю кесарево и не перестает баламутить мои страны? Вероятно, недалеко то время, когда я... объединю церкви Галлии, Германии, Италии и Польши в единую унию и обойдусь вообще без Папы». Он хочет увеличить число французских кардиналов в Конклаве и таким путем добиться большинства голосов, однако Папа отказывается и хочет умилостивить Наполеона, согласившись короновать его императором Запада. Однако и этот символ, к которому император еще в прошлом году столь безуспешно стремился, теперь уже утратил для него всякую притягательность: то, что становится возможным, он считает уже достигнутым. Папа хочет ему уступить и в денежных вопросах. Император требует еще больше и угрожает «немедленно воссоединить эту группу моих королевств с империей и вернуть себе этот дар Карла Великого».

Короче, Наполеон хочет поглотить все церковное государство, ибо желудок у него весьма емкий. Тут взбешенный Папа прекращает всякие переговоры, император приказывает занять Рим, и в апреле церковное государство съедивается до размеров провинции...

Наполеон, прошедший от Каира до Вены и от Мадрида до Москвы, часто стоял с армией в Италии, где его дух чувствовал себя как дома, но от Рима он всегда держался подалее — то ли из осторожности, то ли волей судьбы. Картину, которую он с детства носил в душе, действительность не опровергла, не подтвердила. Теперь его генералы во второй раз входили в город, казавшийся ему Вечным. Никто в его окружении не возмущался этой рискованной авантюрой. Лишь его матушка чувствовала, что это — ошибка, она даже заболела из-за этого события. Если доныне Летиция любила лишь с известной долей скепсиса повторять: «Только бы это продолжалось!», то теперь она признается близким людям: «Я уже вижу — он приблизит этим свою гибель и гибель всей семьи. Ему следовало бы довольствоваться тем, что у него есть. Он гонится за многим, поэтому потеряет все!»

XVII

«Чего народы Германии ждут с нетерпением — так это личностей, выдающихся не родовитостью, а талантом, имеющих равное право на мнения и получения должностей, чтобы окончательно искоренить все виды кабалы и всех посредников между правителем и пролетарием. Завоевания моего Кодекса определяют характер Вашего монархического правления. Чтобы высказать мысль до конца: я рассчитываю, что это укрепит монархию больше самых крупных побед. Ваш народ должен обрести свободу и равенство — неизвестные в Германии понятия! Этот вид правления будет сильной защитой от Пруссии, сильнее, чем Эльба, крепости и покровительство Франции. Да и какой народ захочет вернуться под прусское самодержавие, если он познал на себе благо либерального правления!»

Этими словами, обращенными к своему младшему брату в частном письме и не рассчитанными на общественный отклик, император старается объяснить ту великую миссию, которую он на Жерома возлагает, вручая власть над новым королевством Вестфалией. Его задачей было пересадить на немецкую почву основные идеи революции,

показать народу, который всегда лишь подчинялся, что можно что-то решать самому. Эти идеи не были новыми для голландцев и итальянцев благодаря их истории, а что до князей Рейнского союза, то те хоть и могли по приказу ввести у себя в стране гражданский Кодекс, но в силу традиции и малоодаренности ничего нового не могли придумать сами. В этом и заключалась историческая миссия младшего Бонапарта: широкомасштабным введением демократии он мог бы превратить четыре миллиона немцев из верноподданных в свободных граждан и этим избавить всю нацию от высокомерия князей.

Вместо этого двадцатитрехлетний король, выросший уже принцем и окруженный блеском своего родового имени, воспринял свой титул как возможность тратить деньги и силы без счета, прожигать молодость, изменять своей юртембергской супруге с бесчисленными любовницами. Он наделал долгов и детей, устраивал скандалы, ублажал больше себя, чем подданных и скомпрометировал таким поведением на десятилетия вперед саму идею отбора во власть наиболее способных людей. Уж если какой-то принц скачет на лошади по полям, не замечая при этом людей, не без основания думали немцы, то пусть он будет хотя бы принцем по рождению. А тот только смеялся над издевками современников, смеялся даже над предостережениями великого брата.

Император питал к нему слабость, какую часто питают отцы к поздно родившимся сыновьям. Жером всегда был приветлив, никогда не обижался, а когда попросил у брата назначения главнокомандующим, то стерпел обрушившийся на него поток обвинений:

«Да вы смеетесь надо мной! Сперва примите участие в шести походах и пусть под вами падут полдесятка лошадей, вот тогда и поговорим!» На войну Жером поехал со всем своим двором, правда, без королевы, но прихватив ее самых хорошеньких фрейлин; там он выпускал листовки в духе Короля Солнца, а потом без особой обиды прочел такие строки, писанные императором:

«Я прочел Ваш приказ по армии, который делает Вас посмешищем: Вы — король и брат императора? Смехотворные достоинства на войне! Прежде всего нужно быть

солдатом! В лагере мне не нужны ни министры, ни роскошь. Вы должны останавливаться на привал вместе с Вашим авангардом, сутками не слезать с седла, двигаться с авангардом, чтобы немедленно узнавать все новости, — в противном случае лучше оставайтесь в своем дворце! Вы ведете войну как какой-нибудь сатрап. Боже мой, неужели Вы научились этому у меня? Я скачу на лошади впереди стрелков и не разрешаю следовать за мной даже министру иностранных дел... У вас большие претензии, а ума мало, и несколько приятных черт характера, которые у вас есть, затмеваются вашими глупыми выходками. Кроме того, Вам свойственно огромное самомнение и полное невежество в делах».

Король, прочитав это письмо, рассмеялся. А император? Неужели он еще не понял, что все, кто получил из его рук власть, не имея никаких заслуг, создают угрозу самой власти? И что этот золотой венец и гербы, которые он им жаловал, быстро превратили их в морально неустойчивых людей? Что гомункулус улизнул из пробирки и теперь смеется над своим создателем? Эта непреодолимая слабость во всех семейных делах иногда представляет его в наших глазах таким, каким он бывал реже всего, а именно — добрым парнем. «Брат мой, я прилагаю к письму Конституцию Вашего королевства» — такими словами начинает он воспитательное письмо о высокой политике, обращенное к Жерому. Зато находясь в хорошем настроении, Наполеон заканчивает письмо, полное упреков, с истинно отеческой улыбкой: «Друг мой, я Вас люблю, но Вы ужасающе молоды!»

А сам он уже не молод. Его планы растут, а вместе с ними растет и та холодная, временами сковывающая его жесткость, которая в сущности скорее следствие перегрузок. Когда десять лет назад он спустился с Альп как завоеватель, толкая перед собой свою славу по всей Ломбардии, тогда его молодость придавала новизне этого военного похода своего рода романтическую невинность, восхищавшую современников. Теперь, когда водопад давно уже раздался вширь и превратился в реку, по глади которой большие корабли везут ему сокровища земли, а он уже приближается к Мировому океану, где воды его реки вольются в

водоемы всего мира, теперь серьезность этого труда, достойного атлантов, наложила отпечаток на его черты и на его душу. Все реже случаются у него тихие часы, минуты веселья и причуд, а героический цинизм его миссии создаст из него в глазах всего мира бронзовую статую.

Правда, польскую графиню он все-таки перевез в Париж и приготовил для нее дом на той же улице, на которой впервые поддался чарам Жозефины и потому из суеверия неоднократно поселял там своих любовниц. Ее ежедневно посещает его врач, и живет она, окруженная роскошью. Однако дни графини проходят в полном одиночестве, хотя в обществе знают о ней, но она никогда не ездит в Оперу, где он абонировал для нее ложу, и редко видится с ним самим. Это всего лишь интермедия между двумя идиллиями — прошлой и будущей. Он хочет иметь от нее сына, для него это могло бы иметь еще более важные последствия, чем раньше.

Матери его первого сына, рождение которого тогда, в Берлине, успокоило императора насчет наличия у него мужской силы, в которой многие сомневались, Наполеон подарил дом, назначил ренту и больше ее не видел. Но мальчика приглашает к себе, играет и возится с ним, у него даже ненадолго мелькнула мысль усыновить этого ребенка. Все это вынужденно происходит под покровом тайны: свободно насладиться самой естественной сценой в жизни человека ему запрещает его незримый повелитель: он называет его «порядок вещей», а иногда — «судьба». Наконец-то у него есть сын, плоть от плоти, он мог бы стать наследником Наполеона. Однако император не может выйти вперед и сказать: вот он! И чтобы дать ему хотя бы половину своего имени, он называет сына Леоном.

Точно известно, что всерьез Наполеон не предназначал Леона на роль наследника — то ли из-за его матери, ставшей ему совершенно чужой, то ли из предчувствия плохих задатков у мальчика. Император, видимо, и впрямь подозревал, что этот полу-Наполеон станет полууголовником и законченным негодяем.

Уходящие годы толкают его на новый брак. Теперь меж супругами случаются разговоры на эту тему, где разум перемешан с чувством, и не одну лишь Жозефину слуги по-

том застают в слезах. «Ах, — говорит Наполеон однажды, — как ужасно умереть бездетным!» При этом с годами его привязанность к жене только возрастает. Если Наполеон и раньше лишь изредка или вынужденно расставался с соратниками, то уж с этим старейшим товарищем, прошедшим с ним весь путь наверх, он и вовсе не в силах расстаться. «Если бы я расстался с ней, — говорит император Талейрану, считающему такой шаг необходимым, — я бы утратил все очарование домашнего очага. Со склонностями и привычками молодой жены мне бы пришлось еще только знакомиться. А императрица во все вписывается и до конца меня понимает. Кроме того, с моей стороны было бы черной неблагодарностью так отплатить ей за все, что она для меня сделала». Эти причины — признательность, порядочность и удобство, — вполне буржуазные по духу, удерживают его от развода с женой.

Но трудности нарастают, и принятие решения становится все насущнее. Раздумывая о впечатлении, которое его развод произведет на Францию, где Жозефину любят намного больше, чем его самого, он долго прикидывает разные варианты и в конце концов делает шаг, которого никто не ожидал и который, по мнению Наполеона, удовлетворил сразу два его желания. Он приближает к себе человека, в котором уже давно нуждался, а теперь нуждается вдвойне. Мать все эти годы не переставала просить его за Люсьена. И, будучи в Италии, он приглашает того приехать.

Разговор между ним и Люсьеном — самый интересный из дошедших до нас, к тому же изложен Люсьеном правдиво и образно. Наполеон в нем как живой.

XVIII

Люсьен, которому теперь немного за тридцать, проделал весь путь в страхе, что его арестуют, и декабрьским вечером приехал в замок в Мантуе, куда его пригласил Наполеон. Множество свечей, расточительно освещающих огромный зал, сначала слепили ему глаза, и он слышит только голос мамейюка, тихонько докладывающего:

— Сир, ваш брат Люсьен!

Но тот, кому докладывают, не двигается. Он сидит перед большим круглым столом, накрытым огромной картой Европы — такой огромной Люсьен еще никогда не видел. Опершись левой щекой на левую руку, он правой тыкает в карту разноцветные булавки, видимо, обозначающие корпуса или армии. Поскольку Люсьен много лет не видел императора, а тот сильно изменился, он поначалу не уверен, действительно ли это и есть его брат, и несколько минут стоит, не двигаясь. Наконец Наполеон отрывает глаза от карты, зевает, трется спиной о спинку стула, берет за стоящий рядом колокольчик и встряхивает его одним-единственным очень сильным движением. Приехавший делает несколько шагов вперед:

— Сир, это я, Люсьен.

Император быстро встает, отсылает слугу и сжимает руку брата по-дружески и с немного сдержанной нежностью. Брат полагает, что должен обнять Наполеона, тот не противится, но стоит как истукан, словно бы уже отвык от такой фамильярности. Потом вновь берет руку Люсьена в свою, немного отодвигает от себя и испытующе вглядывается в его лицо:

— Итак, это вы? Как ваши дела? Как живется вашей семье? Когда вы выехали из Рима? Поездка была приятной? А как там Папа? Как его дела? Он вас любит?

Люсьен догадывается, что за этим потоком вопросов скрывается смущение, отделяется однозначными ответами и говорит, что рад найти императора в добром здравии.

— Да, дела мои хороши, — отзывается тот и похлопывает себя по животу. — Я толстею, боюсь, что скоро совсем заплыву жирком.

После этого пристально смотрит Люсьену в глаза, сопит и заявляет:

— А вы? Знаете, вы прекрасно выглядите! Раньше вы были чересчур тощим. А теперь вы кажетесь мне чуть ли не красавцем.

— Вашему Величеству угодно шутить.

— Нет, это правда. А теперь давайте-ка присядем и потолкуем немного.

Они садятся у накрытого картой стола друг против друга, император перебирает булавки. Люсьен ждет, когда с ним заговорят, наконец произносит только одно слово: «Сир...». В тот же миг Наполеон ладонью валит все торчащие в карте булавки и спрашивает:

— Ну? Что вы хотите мне сказать?

Люсьен надеется на прощение.

— Надеяться вы, конечно, можете, тем более, что все зависит только от вас.

Люсьен готов сделать все, что согласуется с его честью.

— Прекрасно, а с чем вы собираетесь согласовывать вашу честь?

Люсьен говорит о природе и религии.

— А политика, сударь, политику вы ни в грош не ставите?

Люсьен отрицательно качает головой: он-де частное лицо.

— Только от вас зависело стать королем, как ваши братья.

— Сир, но честь моей жены, положение моих детей...

— Вы все время говорите о своей жене, а сами знаете, что она ею никогда не была, и сейчас не жена вам и никогда ею не станет, потому что я никогда ее не признаю.

— Ах, Сир!

— Да, никогда, пусть даже небеса рухнут! Вам, как брату, я могу простить неправоту. Но она навсегда мною проклята!

Последовавшая за этим длинная речь, полная оскорблений, наконец, заставляет Люсьена, нервно усмехнувшись, произнести:

— Умерьте пыл ваших слов, Сир! Итальянская поговорка гласит: «La prozessione torna, dove esce» — и на всякий случай переводит ее на французский: «Процессия поворачивает туда, откуда выходит». — Но император продолжает говорить о дурной репутации этой женщины. Заметив, что черты Люсьена исказились обидой, Наполеон примирительно добавляет: он, мол, понимает, что все это может быть и наветом, но он ее, тем не менее, никогда не признает. И вообще теперь это такой же основной закон, как Салический закон древних галлов: любой брак в семье

императора недействителен без согласия императора. А когда Люсьен возражает, что закон этот был принят после его женитьбы, Наполеон восклицает: «Так он и принят-то был из-за вас!» Услышав такой аргумент, вполне в духе наполеоновской логики, Люсьен не может удержаться от улыбки.

— Почему вы смеетесь! Мне совсем не до смеха! Знаю, что на это ответят вы, ваша жена и мои враги — ваши единственные друзья. Но нет ни одного порядочного француза, кто бы вас оправдал... Вы можете восстановить свое имя в общественном мнении только в том случае, если примете мою сторону, как Жером.

Тут Люсьен, давший зарок держать себя в руках, ибо оставался целиком во власти императора, не смог совладать с собой, вскочил и стоя произнес целую речь:

— Ваше Величество, вы ошибаетесь! Если ваши придворные оправдывают ваше отношение ко мне благодарностью за услуги, которые я оказал вам с радостью, то делают они это по долгу службы. Мои слуги тоже считают, что я прав! — При этих словах Наполеон хмурится, глаза начинают метать искры, крылья носа дрожат — «верный признак гнева в нашей породе». Однако Люсьена уже понесло, он продолжает:

— Как должна была поступить со мной Франция? Какую благодарность я был вправе от нее ожидать? Она могла видеть во мне спасителя того, кто мог ее спасти... И я горд сознанием, что она скорее поставит меня на одну ступень с вами, чем с Жеромом! Нет, Сир, общественное мнение куда могущественнее, чем все короли на свете, и оно каждого ставит на его место, что бы ни говорили ваши придворные!

Тут Наполеон надевает ледяную маску. Вместо того чтобы вскочить вне себя от бешенства, чего Люсьен весьма опасался, он берет себя в руки и спокойно говорит:

— Галейран прав. Вы вкладываете в это дело столько огня — такое было бы уместно в клубе якобинцев. Красноречие этого пошиба, гражданин, давно вышло из моды. Я хорошо помню, что 19 брюмера вы сослужили мне службу. Но что вы меня спасли, на это нет доказательств. В то же время я прекрасно помню, что вы возражали про-

тив единовластия во Франции, которое мне было необходимо для ее спасения. Нам с Жеромом пришлось потратить целую ночь, чтобы добиться от вас молчания во время переговоров по этому вопросу... И в довершение всего — после моей победы вы были склонны бороться против моего личного возвышения. Одного этого достаточно, чтобы освободить меня от какой бы то ни было благодарности к вам.

А вам самому не за что быть мне благодарным? Ведь в Сен-Клу вы были в смертельной опасности, а я послал своих гренадеров вызволить вас из рук убийц? И если бы вы, недобрый испорченный брат, действительно поставили на голосование предложение объявить меня вне закона — неужели вы полагаете, что я был настолько глуп, чтобы спокойно ему подчиниться? Разве у меня не было достаточно сторонников, чтобы с Божьей помощью защитить голову, которой судьбой предназначено носить столько корон?

Наполеон вдруг переходит на доверительный тон и меняет тему. Теперь он говорит о своих генералах и их преданности, о политических конфликтах, в которых братья были разного мнения, доказывает, что прав оказался все-таки он. Наконец умолкает и вновь меняет тему:

— Ну, хватит об этом. Ваш звездный час 19 брюмера и прочее — все это старые истории, и пригласил я вас вовсе не затем, чтобы читать лекции. — Длинная пауза. — Послушайте, Люсьен, взвесьте как следует мои слова, и давайте поговорим спокойно... Я слишком могуществен, чтобы мне нравилось сердиться. Вы пришли ко мне с доверием. Император Франции не нарушит традиции корсиканского гостеприимства. Эта добродетельная заповедь наших предков и земляков — гарантия вашей полной безопасности.

Император довольно долго молча рассказывает по залу взад и вперед, Люсьен понимает, что он собирается с мыслями. Потом он подходит к Люсьену, берет его руку и крепко ее пожимает:

— Мы здесь одни, ведь так? Мы одни. Никто нас не слышит. Насчет вашей женитьбы я был не прав... Поскольку я знал ваше упрямство, ваше себялюбие — понимаете,

все это не что иное, как себялюбие, считающее себя добродетелью, — точно так же мы, властители, называем политикой все, что на самом деле порождается нашими пристрастиями... Ну так вот, мне не следовало вмешиваться в вашу связь... Вашу жену оклеветали передо мной, хотя некоторые отважились сказать о ней что-то хорошее, в особенности наша мама, которая ее любит, потому что считает хорошей матерью... Лебрен хвалил ее столь часто, что Жозефина обвинила его, будто он сам в нее влюблен... Причем я очень смеялся над своей женой, она ведь намного злее, чем думают. Правда, по отношению ко мне Жозефина никогда не выпускает коготки. Ну так вот, я не презираю вашу жену, но я ее ненавижу, потому что ваша любовь к ней лишила меня самого способного из братьев. Однако с годами ее красота исчезнет, вы в ней разочаруетесь, но будет поздно — вы окажетесь в числе врагов моей политики, и мне — против воли — придется вас преследовать. Я вам заявляю: если вы не на моей стороне — двоим нам в Европе будет тесно!

— Да вы надо мной смеетесь!

— Нет, я говорю всерьез: либо друг, либо враг!.. Теперь вам это сделать легче, чем когда-либо! Не удивляйтесь: моя политика в отношении семьи изменилась, сейчас поймете. Ваши дети, коих я доселе хотел исключить из состава нашей семьи, могут быть мне очень полезны, но они должны быть династически признаны. Будучи рождены в не признанном мною браке, они не будут иметь никаких прав на корону. Вот и скажите, что бы вы сделали на моем месте?

Люсьен советует просто объявить об их праве наследования в постановлении Сената.

— Я, разумеется, знаю, что могу это сделать, но делать этого не следует: общественное мнение, как вы сами только что сказали, еще существует. Что скажут об этом мое семейство, двор, вся Франция, следящие за каждым моим жестом? Такое отступление от правил повредило бы мне больше, чем проигранное сражение.

Люсьен замечает, что не может просить о прощении за брак, заключенный задолго до возведения брата на трон.

— Пойдите мне навстречу, Сир, и у вас не будет слуги,

более преданного, чем я. Вся моя жизнь станет выражением моей благодарности вам!

Люсьен говорит долго и во время этой речи Наполеон непрерывно достает из табакерки щепотки табаку, но не доносит его до ноздри: он так взвинчен и взволнован, что кажется Люсьену даже испуганным. В конце концов император растерянно восклицает:

— О Боже, вы настаиваете, а я слаб. Однако не настолько слаб, чтобы провести такое постановление через Сенат. Не могу я признать вашу жену!

На это Люсьен, уже окончательно сбитый с толку и обескураженный, отвечает:

— Сир, в таком случае чего же вы от меня, собственно, хотите?!

— Чего я хочу? Очень просто — развода!

— Но вы ведь всегда утверждали, что мы не женаты. Как же мы можем развестись?

— Этого я и ждал... Какой еще вывод вы могли сделать из моего требования о разводе? Очевидно, я хотел таким образом признать ваш брак, но не вашу жену. Развод выгоден вашим детям, как и все прочее, от чего вы до сих пор отказывались и чего я так хотел добиться от вас: объявить ваш брак несостоявшимся и расстаться.

— Это было бы бесчестьем для меня и моих детей, я никогда этого не сделаю!

— Как вы с вашим умом не замечаете разницы между прежними моими предложениями и теперешним! Тогда из-за признания брака несостоявшимся ваши дети стали бы незаконнорожденными!

Но Люсьен подчеркивает разницу между династическими и гражданскими правами своих детей:

— Сир, вы можете раздавать троны кому хотите: вы завоевали это право острием своей шпаги. Но никто не может лишить моих детей их доли в скромном наследстве Карло Бонапарта, ибо они и по светским, и по церковным законам законные дети своего отца, как и все прочие. Папа даже дал одной из моих дочерей имя своей матери!

— Да успокойтесь же вы!.. Развод, который я считаю желательным, включает в себя, разумеется, признание са-

мого брака... Кроме того, я вовсе не настаиваю, чтобы вы фактически расстались со своей женой. К ней отнесутся с уважением, которого она заслуживает, если она принесет эту жертву моей политике и будущим интересам Франции. Я даже лично нанесу ей визит. Но если она откажется, то вас обоих обвинят в том, что в угоду собственному эгоизму вы пожертвовали подлинными преимуществами своих детей, и те проклянут даже память о вас!

Люсьен отвечает с пафосом:

— Вы несправимы и все воспринимаете трагически. А я не хочу никаких трагедий, поймите! Вы еще передумаете.

После того как Люсьен многократно упомянул о своем понимании чести и многократно попросился, император вновь вернулся к теме распределения корон: он бы лучше отдал Италию ему, Люсьену, — Эжену она досталась лишь временно. Наполеон жалуется на Гортензию, на всегда недовольных родственников.

— Полина, конечно, самая разумная из всех в смысле честолюбия, ибо она — королева моды. Кстати, она все хорошеет. Жозефина постарела и очень волнуется, что я могу с ней развестись.

Люсьен настораживается, но Наполеон продолжает как бы в духе светской болтовни:

— Подумайте только, она плачет всякий раз, когда у нее нелады с пищеварением, полагая, что ее отравили те, кто задумал женить меня заново. Это отвратительно. Видимо, в конце концов мне все же придется с ней развестись. Мне следовало бы сделать это намного раньше, и теперь у меня были бы уже взрослые дети, ибо вам надобно знать, — тон его сразу серьезнеет, — в том, что у нас нет детей, виноват не я, как многие полагают. У меня их несколько, в двух я абсолютно уверен.

Он упоминает мать Леона, не называя ее имени, и — удивительно! — польскую графиню:

— Это очаровательная женщина, истинный ангел... Вы смеетесь, потому что видите меня влюбленным? Да, я влюблен, но политика для меня важнее: она требует, чтобы я женился на принцессе. Само собой, мне было бы куда приятнее возвести на трон мою возлюбленную! Вот и вы

тоже должны считаться с политикой, решая, как поступить с вашей женой!

— Сир, я поступил бы точно так же, если бы моя жена была лишь моей возлюбленной.

Император оживляется, говорит, что твердо решил развестись, жалеет, что отдал баварскую принцессу Эжену, который ее не ценит, лучше было бы жениться на ней самому; мимоходом роняет, что дочь Люсьена он уже давно обручил бы с принцем Астурии или с другим великим князем, а может, даже с великим императором... Но развод Люсьена должен предшествовать его собственному или же происходить одновременно: тогда вокруг развода императора будет меньше шума. Люсьен так упорно сопротивлялся разводу, что публике он покажется интереснее.

— Окажите мне эту услугу! Да вы просто обязаны это сделать!

Люсьен бросает на Наполеона взгляд, от которого император вздрагивает, но потом произносит:

— А почему бы и нет?

Люсьен улыбается столь наглому требованию, император слегка теряется, но потом возвращается к разговору, неожиданно называет его «мой дорогой председатель», поскольку Люсьен в свое время председательствовал в Совете Пятисот, и многозначительно добавляет:

— Услуга за услугу, так полагается, — и на этот раз я не окажусь неблагодарным!

Люсьен чувствует, что «погружается в некое мечтательное состояние весьма приятного свойства», и какое-то время не слышит слов Наполеона. Потом император признается самым доверительным тоном, что хочет развода Люсьена лишь для того, чтобы смягчить в общественном мнении впечатление от его собственного. А когда Люсьен весьма деликатно намекает на преимущества своего брака — молодость жены и наличие детей, — старший брат отнюдь не чувствует себя оскорбленным:

— Ваша жена — разве я вам еще не сказал? — станет герцогиней Пармы, ваш старший сын будет ее наследником, однако без права на ваше наследство, то есть не будет французским принцем. Но это будет лишь первая ступень,

на которую я вас возведу, пока не найдется чего-нибудь лучше: какой-нибудь независимой короны.

При слове «независимой» Люсьен не может удержаться от улыбки, ибо вспоминает о роли своих братьев. Наполеон замечает улыбку:

— Да, независимой. Потому что вы наверняка сумеете управлять государством... Вам останется только выбрать! — При этих словах из глаз императора буквально сыплются искры, а рука энергично хлопает по карте. — Я не бросаю слов на ветер, все это уже принадлежит мне или вскоре будет принадлежать. Я могу распорядиться уже сегодня. Хотите получить Неаполь? Я заберу его у Жозефа... Может, лучше Италию, прекраснейшую жемчужину моей императорской короны? Эжен всего лишь вице-король. Он надеется стать королем, если переживет меня, но заблуждается: я проживу девяносто лет, эти годы нужны мне для окончательного упрочения империи. Кстати, если я расстанусь с его матерью, Эжену вообще будет не место в Италии. Хотите Испанию? Разве вы не видите, что она у меня в руках — благодаря промашке ваших любимых Бурбонов? Не хотите ли стать королем там, где были посланником? Итак, чего вы хотите? Говорите же! В вашем распоряжении все, что пожелаете, если ваш развод произойдет раньше моего.

Люсьен, потерявший дар речи из-за лихорадочной быстроты, с какой Наполеон выпалил все это, наконец отвечает:

— Даже ради вашей прекрасной Франции я не соглашусь на этот развод, Сир, и потом... — Он запнулся, но император угадал мысль и продолжил ее сухим тоном и с таким «необычайным выражением лица», какого Люсьен у него еще никогда не видел:

— Вы, вероятно, полагаете, что, будучи частным лицом, вы в большей безопасности, чем я на моих тронах? И думаете, что ваш друг Папа достаточно силен, чтобы защитить вас от меня, если я пожелаю всерьез вас побеспокоить? — И еще раз повторив свои аргументы и обещания, император торжественно произнес: — Будьте уверены: все для Люсьена разведенного и ничего — для неразведенного.

Люсьен поглядывает на дверь, как бы для того, чтобы подтолкнуть брата к прощанию, но тот берет его за руку и говорит «таким неопределенным тоном и с таким выражением лица, которое может означать что угодно»:

— Если я разведусь, вы не будете единственным, кроме меня: Жозеф тоже ждет моего развода, чтобы объявить о своем. Его жена Юлия способна производить на свет одних девочек, а нужны мальчики! Девочки годятся только для заключения альянсов. Кстати, вашей старшей четырнадцать лет, как вы сказали, это самый подходящий возраст. Не хотите ли прислать ее к нашей матушке? В случае необходимости я попрошу матушку ее пригласить. Вы же не боитесь за свое изнеженное дитя? Скажите ей, что мы с ней подружимся, и я не стану ее больше тянуть за уши как маленькую... Мне нужно больше племянников и племянниц. Ведь после развода Жозефина, бабушка детей Гортензии, навсегда станет врагинею моих законных и приемных сыновей. Нет, — роняет он как бы про себя, — это необходимо, у меня нет другого способа парализовать власть детей Людовика и Гортензии.

Потом Наполеон вновь заговаривает о рожденных от него детях, сообщает, что хочет их усыновить, входит в детали и вдруг восклицает:

— Вы что — думаете, у меня не достанет власти узаконить собственных внебрачных детей, как сделал Людовик XIV, объявив своих дважды незаконнорожденных внебрачных детей наследниками престола?

Наполеон вновь возвращается к разводу Жозефа, но Люсьен выражает сомнение в его реальности, и тогда император довольно потирает руки и говорит:

— Напрасно сомневаетесь! Вы оба обязательно разведетесь! Мы все трое разведемся, а потом вновь женимся в один и тот же день. — И добавляет еще много смешных подробностей. А потом вдруг заявляет: — А вы стали что-то чересчур серьезным. Смахиваете чуть ли не на античного мудреца. Оставайтесь у меня на три дня. Я велю постелить вам в комнате рядом с моей спальней.

Так как Наполеон настаивает, Люсьену приходится выдумать, будто у него дома больной ребенок. На самом деле он просто побаивается новых соблазнов.

— Вы хотите посоветоваться с женой? Тогда прощайте планы нашей дружбы!

Люсьен подчеркивает, что это его жена страдает от ненависти императора и опасается, как бы она от всех этих треволнений не слегла.

— В самом деле? Мне очень жаль! Но будьте настороже. Прежде всего важно, чтобы она не умерла до развода: ведь тогда я не смогу узаконить ваших детей!

Люсьен отговаривается тем, что еще подумает.

— Ну хорошо! Поезжайте домой, раз вам так не терпится. Но держите слово. — Наполеон протягивает ему руку, одновременно подставляя щеку для поцелуя, который получается не очень-то братским. Люсьен уходит и, проходя по соседней комнате, слышит голос брата: «Мене-валь!»

Люсьен ускоряет шаги — он вновь боится, как и по пути сюда, что его арестуют.

Никто не описал Наполеона лучше, чем это сделал его брат: и в литературном, и в историческом смысле этот текст чрезвычайно убедителен. Нельзя превосходнее описать эту сцену! В ту ночь император оказался в тупике, из которого его мог выволить лишь один человек. Но принудить его к этому он не в силах: в известном смысле и Наполеон, и Люсьен — одного поля ягоды.

Всеми возможными соблазнами император старается уговорить собеседника, каждая реакция продумана и рассчитана на честолюбивый характер, который он жаждет склонить на свою сторону.

Люсьен нужен Наполеону: он талантлив, как Талейран, но к тому же — его родной брат и уже поэтому, несмотря на все, внушает доверие. Трогательно то место, когда Наполеон далеко за полночь доверительным тоном пытается удержать брата хотя бы на несколько дней, чтобы выговориться, а тот уходит, потому что боится поддаться гению императора. Речь для обоих идет о глубочайшем чувстве собственного достоинства: теперь, как и семь лет назад, Люсьен в глубине души считает, что сделал бы все намного лучше.

И все-таки при всех огромных богатствах Наполеона — не только государствах и коронах, но и могучем ин-

теллекте и богатейшей фантазии — как беден этот человек, запутавшийся в судьбах, которые он сам переплел и которые теперь плетутся сами по себе — и против него! При всем своем всемогуществе император — верноподданный непредсказуемого и раздираемого конкурентами общественного мнения, которое не дает ему возможности помириться с братом, признать его детей, разрешить ему обвенчаться со своей возлюбленной. Это бессилие могущественного человека прорывается именно в его восклицаниях — он-де достаточно могуществен для того и для этого, и тем не менее не может ни на что решиться. Как ему нравится младший брат — теперь, после стольких лет выяснений и отречений, как прекрасно бы он правил, будь они вместе. Останься Люсьен у него сейчас, всего на три дня, и они бы договорились. Но нет: «Вы настаиваете, а я слаб».

XIX

Испанская династия разваливалась. Король, деградировавший до роли сутенера своей жены, королева, которой для роли Мессалины не хватало только роста, министр-предатель, ненависть между отцом и сыном, подкупы и мошенничества — до какого позора докатилась династия Бурбонов! Тот, кто захотел их сместить, должен был использовать их средства. Нигде твердая поступь Наполеона не звучала столь грозно, нигде порочность его противников не пришлась ему так кстати. Император к каждому человеку подходил сообразно особенностям его личности, и против этой прогнившей династии он с удовольствием пускает в ход то коварство, благодаря которому она еще держится. При этом император начисто забывает про испанский народ, который не несет ответственности за таких королей и совсем на них не похож. В будущем Наполеон еще пожалеет об этом.

Кто за Англию, тот против меня: по этому принципу он уже изгнал португальскую династию. А поскольку Испания тоже «за Англию», Наполеон, интригуя, использует внутрисемейную вражду между королем и кронпринцем, возводит

на трон последнего, но потом требует, чтобы тот отрекся от трона в пользу отца, и во время встречи в Байонне хитростью и угрозами добивается того, что корона Испании достается ему самому. От Гибралтара до Катара Средиземное море должно принадлежать императору — не так само море, как его берега. Так нужно для войны с Англией.

Поначалу завоевание Испании легко дается французским генералам.

— Знаете, — говорит Наполеон Меттерниху, — почему я так быстро продвигаюсь в Испании? Потому что тыл у меня надежный. Горе ему, когда эта уверенность превратится в свою противоположность.

После расправы с бывшими коронованными особами, которые сидят под арестом, Наполеон мечтает о новой короне, перед его глазами уже не Испания, а беспредельные колонии, которыми она некогда владела. «По этому поводу, — сообщает свидетель, — император держал длинную речь, вернее, он воспарял в поэзию, как человек, у которого распахнулась душа... В своем образном, красочном стиле он говорил о могущественных королевствах в Мексике и Перу, о власти их правителей и их влиянии. Сколько раз я его слышал, никогда он не разворачивал перед нами столь живописного полотна. Он был одухотворен».

Однако для Испании у Наполеона нет в запасе короля, ибо Люсьен не вернулся. Остается лишь произвести перемещение, как в чиновничьей иерархии: каждый занимает следующее по важности место. Голландия не держится на плаву, ее придется превратить в провинцию Франции, а Людовика отозвать. Тот сопротивляется: «Я не губернатор провинций! Король может быть королем только Божьей милостью... По какому праву я мог бы требовать клятвы верности у народа, когда я сам не сдержал клятвы, данной мною голландцам при вступлении на престол». Вот они опять тут как тут — последствия династии! Если бы этот римлянин поставил над провинциями генералов и регентов, он мог бы их в любой момент отозвать. А горностаевые мантии, в которые император облачает своих марионеток, весь антураж коронации, мессы, помазания будят представления, которые хотели предать забвению, и дают ничтожному королю Людовику полное право отказаться.

Жозеф более гибок: если вчера он был королем Неаполя, почему бы ему завтра не стать королем в Мадриде? И вскоре после интриги в Байонне король Жозеф I въезжает в Мадрид, — правда, не встреченный восторженными толпами народа, но зато с пушечным салютом и восхвалениями. А Мюрат, сын пролетария, жена которого и без того давно прожужжала все уши брату, чтобы он подарил ей хоть маленькую корону, становится королем Неаполя. Наконец-то эта супружеская пара получает более заметное поле для интриг, а позже — и для предательства.

За спиной императора поднимается глухой ропот, ибо гордый испанский народ не может смириться с завоеванием без боя. А за Рейном в Пруссии и Австрии получили реальный повод для нового наступления недруги императора, опасаясь, что их постигнет судьба Испании. Наполеон, заявивший в свое время в Берлине, что на Эльбе он завоевал Ганг, не видит, что на берегах Тахо он создает себе новых врагов на берегах Дуная. По-настоящему справиться с Испанией возможно только в том случае, если русский царь будет держать Австрию за горло. Значит, надо переговорить с Александром, этого слабохарактерного правителя можно склонить на свою сторону только внушением, как два года назад в Тильзите. Император быстро предлагает царю встретиться на полдороге в Германии. Возникает новая форма политики — конференция. Наполеон еще ни разу не покидал пределы Франции без меча, переговорами всегда лишь завершались его победы. Теперь же во избежание сражений принято решение сразу сесть за стол переговоров в Эрфурте.

Наполеон готовит эту встречу, как раньше готовил свои армии. Ежедневно созываются придворные чины и сановники: «Мое путешествие должно быть обставлено весьма достойно. В главном штабе должны находиться известные персоны... Я хочу поразить Германию блеском». В Эрфурт приедет не только русский царь: два светила притягивают множество мелких звезд. Как увлечь их всех? — думает император. Пусть это будет театр! Наполеон детально разрабатывает репертуар, продумывает и меняет состав актеров, намекает великому Тальма, к которо-

му испытывает дружеские чувства, какие места в тексте необходимо особо выделить. Все в расчете на зрителей: «Вы будете играть перед королями!»

Театральные вечера и в самом деле становятся высшими достижениями эрфуртских недель. В зале сидят четыре короля, 34 князя и все, кто стремится блеснуть на этом празднике тщеславия, а в ложе — императоры Запада и Востока, и чуть ли не каждый вечер они слышат, как короли легенд и истории вещают, борются и страдают. Тальма в роли Ореста бросает в зал с авансцены:

Боги — властны над нашими днями.
Но славы мы добиваемся своей рукой.
Почему сердце должно страшиться неба?
Возвысьтесь духом и сами бессмертными станьте,
Здесь, на земле, создайте себе судьбу Богов!

На следующий вечер дают «Магомета» Вольтера, эту драму Наполеон особенно любит — хотя бы из-за того, что Магомет почти не уходит со сцены, и зал слушает, как апостолы пророка восклицают:

Да, люди все равны! Не рождение,
Их отличают лишь собственная сила и уменье.
Благословенны души тех, кто сам,
Не благодаря предкам стал тем, кем стал.
Таков тот муж, коего я избрал в учителя.
Да, он один заслуживает стать владыкой мира!

После таких слов есть ли среди зрителей хоть одна душа, которая не ощутила бы восторга перед человеком в ложе? Или, наоборот, страстной ненависти к нему? Не ищут ли друг друга взглядами все эти князья по рождению? Они не смеют улыбнуться, они трясутся от страха перед тем, кто сидит там, в ложе, в простом зеленом сюртуке: перед олицетворением революции. Наполеон внимательно слушает, он знает то, чего не знают эти немецкие князья: вскоре из уст Магомета прозвучит новый, сокрушительной силы стих:

Я вижу, как Римская империя разваливается,
 И части отпадают от ее дряхлого тела.
 Необозримый Восток поднимается из руин,
 И новый Бог осветит мир слепой.
 Кто сделал господина королем?
 Победа лишь одна его короновала!
 Отныне он сумеет все же к славе
 Завоевателя добавить славу миротворца.

Наконец они уясняют себе политику императора на сегодня и завтра из слов:

Круша империи, их обращая в слуг,
 Пойдем мы на восток, на север и на юг.
 Египет, Индия подкошены под корень,
 Константинополь слаб и распадется вскоре.
 Могучий прежде Рим, что век от века рос,
 Сегодня распростерт, как умерший колосс,
 Безжизненные его отрубленные члены.
 В обломках старый мир. Пора воздвигнуть стены
 Империи, еще не виданной нигде.
 Поработим же тех, кто слаб или в беде.
 Как персам Зороастр и как Минос критянам,
 Так Нума римлянам, Озирис египтянам
 Законов мудрых дать донныне не могли,
 Теряют боги власть во всех концах земли.
 Вселенная во тьме, ей нужен светоч новый —
 Я дам ей новый культ и новые оковы.

В этот момент, когда все вопросительно смотрят на него, Наполеон нарочито легким и быстрым жестом дает понять, что это входит и в его намерения, и на долю секунды развеивает иллюзию театра.

А когда на следующий вечер царь Эдип со сцены вещает: «Дружба сильного человека — это дар Богов!», оба императора поднимаются с кресел и пожимают друг другу руку.

Наполеон знает, что Александр — человек не сильный и дружба с ним — не дар Богов, и пытается силой внушения приобрести власть над этим неустойчивым характе-

ром. Наполеон старается не отходить от Александра ни на шаг, он обхаживает его как женщину, которую хочет завоевать. Единственный, кому разрешено ему в этом помогать, — Талейран.

Хромоножка все еще поддерживает политику широко шагающего императора, и тем не менее существующие между ними противоречия совсем недавно привели к ужасающей сцене.

Великий дипломат заметил первые трещины в системе своего шефа раньше, чем кто бы то ни было, включая самого Наполеона. В прошлом году, после ничьей в Прейсиш-Эйлау, Талейран представил возможность краха в России — и видение это было столь впечатляюще, столь масштабно, что он немедленно сделал вывод о необходимости взять на себя миссию столь же масштабного государственного предательства. Политические фантазии Наполеона отдалили Талейрана от его политики. Но вместо того чтобы уйти, он под благовидным предлогом лишь отказался от портфеля министра иностранных дел, получив взамен выгодную синекуру при дворе. Оба считали себя в выигрыше: император надеялся, что сумеет лучше контролировать хитрого лиса, а Талейран — что сможет лучше знать тайные мысли Наполеона. Его преемник на посту министра постоянно подвергался насмешкам императора, а Талейран после официального развода все равно остался фаворитом и, избавившись от обременительной должности, лишь удвоил свою власть.

События в Испании подтвердили сомнения Талейрана. Уже когда он заметил первый взгляд императора в ту сторону, он сразу понял, насколько эта авантюра опасна, и именно поэтому все больше заманивал того в ловушку. Со времени Людовика XIV испанская корона всегда принадлежала правящей французской династии, говорил он ему и такими аргументами довел императора до точки кипения: дело в конце концов дошло до оккупации Каталонии «вплоть до заключения мира с Англией». Тут интриган быстро повернул кругом и стал в позу критика, улыбаясь про себя, когда император поручил ему унизительную миссию — развлекать испанских инфантов в их почетном заключении в замке в Валенсии.

Ему нужны были доверительные отношения, чтобы выяснить планы плененных принцев, а через них косвенно и Англии, и не только выяснить их планы, но и кое-что сообщить им. Следующий шаг — поставлять доверительную информацию в Париже послам русского царя и австрийского кайзера Толстому и Меттерниху. Но как скрыть такие встречи от своего патрона, которому он трижды обязан — синекурой, придворной должностью и ролью неофициального советника?

Император устраивает Талейрану сцену.

— Видите, — говорит император, вернувшись из Испании, — они все попали-таки в сети, которые я им расставил!

— Полагаю, Сир, что из-за событий в Байонне вы больше потеряли, чем выиграли.

— Почему это?

— Это очень просто доказать, сделаю это на одном примере. Когда очень высоко стоящий человек делает глупости — заводит любовниц, плохо обращается с женой и друзьями, — его пожурят, однако благодаря своему богатству и власти он вскоре вернет себе снисходительное расположение общества. Но если этот человек станет передегивать в карточной игре, от него отвернутся порядочные люди и никогда его не простят.

Император побледнел — так пишет Талейран — и в этот день больше не сказал ему ни слова. Но почему он не гонит его от себя? Почему не ссылает в Вест-Индию? Он, Наполеон, получил пощечину от родовитого аристократа — и тем не менее оставляет его при себе? Или Талейран лжет? Его мемуары правдивы хотя бы потому, что написаны спустя двадцать лет, после Реставрации, с целью показать, что он всегда вел двойную игру и — понятное дело, из душевной преданности законным властителям — всегда служил императору лишь наполовину. Но если та фраза действительно была произнесена в лицо человеку, которому никто уже давно не говорил правды, тем более оскорбительной, почему Наполеон его не прогнал?

«Он — единственный, кто меня понимает» — эти слова Наполеон часто говорил о Талейране, и они много значат. Его беспринципное мышление, которому не приходи-

лось испытывать укоров совести по причине отсутствия таковой, предоставляло императору арену, на которой он мог тренироваться в занятиях политикой. У других были какие-то принципы или соображения такта, которые еще надо было преодолеть. Поскольку у Талейрана отсутствовало чувство обиды или вражды к какому-либо классу или эпохе, но не было и той конструктивной идеи, на которой Наполеон построил свое государство, вырвав его из хаоса случайностей, то этот оппортунист чистой воды, желавший лишь наслаждений, даваемых деньгами, стал лучшим советчиком другого реалиста, буйную фантазию которого можно было ублажить лишь все новыми и новыми проектами.

Поэтому они и понимали друг друга, правда, лишь до определенного предела, разделяющего их характеры: о том предательстве, которое Талейран против него готовил, Наполеон до конца так и не узнал.

В Эрфурте наступил великий момент для мастера двойной игры.

Именно к Александру сразу же тянется его душа, тем более что тянуться-то недалеко. Ибо этот русский, уже осведомленный своим парижским представителем, проявляет к Талейрану интерес не меньший, чем к Наполеону. Вскоре они встречаются в гостиной принцессы Турн и Таксис, ежевечерне принимающей всех желающих после спектакля, и фраза, записанная Талейраном в своих мемуарах десятилетия спустя, кажется заимствованной из уст Мефистофеля: «Все искусство дипломатии, которое я считал необходимым пустить в дело, оказалось ненужным в разговоре с царем: он понял меня с первого слова, причем именно так, как мне хотелось».

В этом разговоре тет-а-тет содержится побочный смысл. Когда Талейран в первый же день говорит царю: «Сир, что вы намереваетесь здесь делать? Ведь хотя именно от вас зависит спасение Европы, вам это не удастся, если вы поддадитесь влиянию императора. Французский народ цивилизованный, его властитель — нет. Властитель России цивилизованный, его народ — нет. Значит, властитель России должен быть союзником французского народа... Вашему Величеству не следует соглашаться на ка-

кие-то угрожающие меры против Австрии, достаточно брать на себя такие же обязательства, как мой патрон».

Это всего лишь одна фраза. В долгие вечера за пуншем и чаепитием Талейран, такой же соблазнитель, как и Наполеон, внушает Александру множество истин, подлинных и желательных, дабы они прижились в царском мозгу. Насколько ценными представляются Александру эти непринужденно выбалтываемые секреты Франции, он доказывает чисто по-царски: обещает выдать за племянника Талейрана одну из русских княжон, богатейшую наследницу Востока.

Теперь, обретя подозрительность и осторожность, и без того пробужденные в нем еще дома его семейством, царь может противостоять Наполеону. Несмотря на частое общение наедине, при встречах в Эрфурте один все время старается обвести другого вокруг пальца. Сладостные флюиды ухаживания, порхавшие в Тильзите, улетучились, атмосфера влюбленности развеялась.

Наполеон недоумевает. Он приказывает Талейрану подробно, по параграфам, изложить новый союзнический договор, потом собственноручно — что ему стоит больших усилий — исписывает поправками целую страницу, а вручая текст Александру, заставляет того поклясться, что этот совершенно секретный договор не попадет никому в руки. Царь обещает, но в тот же вечер дает прочесть документ Талейрану, нарушив данное Наполеону обещание. Так автор договора узнает от Александра, что именно изменил император в его собственном тексте. Однако документ остается неподписанным.

Ночью император приказывает Талейрану явиться к нему, и тот мастерски разыгрывает роль Яго. Император говорит: «С ним я не сделаю ни шага вперед, мысли у него слишком короткие».

— Но он совершенно под вашим влиянием, Сир.

— Он только делает вид — для вас. Он вас дурачит. Если он меня действительно любит, почему не подписывает?

— В его характере есть что-то рыцарское. Поэтому он считает сердечную склонность и данное слово более обязательными, чем договоры.

— Больше не стану говорить с ним на эту тему, иначе он сочтет меня излишне заинтересованным. наших частных встреч с царем будет достаточно, чтобы Австрия поверила в наличие секретных статей... Не понимаю я вашего пристрастия к Австрии: слишком там все смахивает на политику прежнего режима!

Талейран всегда выходит из себя, когда его упрекают в чем-то принципиальном:

— Мне кажется, это больше смахивает на политику нового режима, и даже рискну сказать, что это ваша собственная политика. Как раз на вас рассчитывают, Сир, дабы сохранить цивилизацию.

— Цивилизацию... — Внезапно он останавливается перед камином, тон его меняется, он говорит совсем тихо: — Знаете, почему никто не ведет со мной переговоры прямо, без посредников? Потому что у меня нет детей, потому что мой род кончается. Вот в чем секрет. Меня боятся, каждый норовит урвать что может... Это плохо для общества. Это нужно изменить.

Проходит еще несколько дней, общение двух императоров кажется более сердечным, этикет забыт, каждый приходит и уходит, когда вздумается. Наполеон осторожно забрасывает свои сети. Он говорит царю:

— Да, мне нужен покой, мне нужен дом. Но что за дом без детей? Моя жена на десять лет старше меня, — вздыхает он, добавляя ей четыре года. — Простите меня. То, что я говорю, вероятно, смешно, просто мне хочется поделиться с вами тем, что волнует мне душу. — Пауза. — Но до ужина осталось всего несколько минут, а мне нужно еще попрощаться с бароном Винсентом.

Так изящно умеет взяться за деликатное дело этот грубый вояка, как его любят изображать салонные шаркуны, — скоро ужин, видите ли, мне придется прервать разговор. Вечером, лежа уже в постели, он приказывает позвать Талейрана и говорит, говорит, спрашивает, прикидывает так и этак, отдает кучу разнообразных приказаний, пока наконец не роняет слово «развод».

— Этого требует моя судьба, это нужно для спокойствия Франции. У меня нет наследника. Жозеф ни на что не годен, и у него одни дочери. Мне необходимо основать

династию, а именно — с дочерью какого-нибудь крупного монарха. У Александра есть сестры, одна из них как раз подходящего возраста. Поговорите с Романцевым: закончив дела в Испании, я собираюсь заняться разделом Турции. Передайте ему это, найдите и другие аргументы — я же знаю, вы давно за развод.

На следующий день Талейран говорит лично с царем. Тот все еще целиком под впечатлением, которое произвел на него вчера вечером Наполеон своими меланхолическими излияниями:

— Никто не постиг характер этого человека до глубины, — взволнованно говорит Александр. — Все беспокойство, которое от него исходит, вызвано его положением... Никто не знает, как он добр. Что скажете? Вы ведь так хорошо его знаете...

Талейран отнюдь не склонен сказать, что он думает, но достаточно умен, чтобы сейчас же передать пришедшую его патрону идею.

— Я был бы готов, — парирует царь, — но без маушки не могу отдать ему руку великой княжны.

Позже следует долгий разговор между двумя императорами, содержание которого неизвестно, новая близость в отношениях, посещения театра вместе с Талейраном — и все без результата: ни о расширенном тексте нового союзного договора, ни о брачном союзе в Эрфурте так и не удалось договориться. Наполеон разочарован: он уезжает без договора и без невесты. Лишь один Талейран везет домой нечто вполне осязаемое, а именно — миллионы новой племянницы.

Тем временем император и его приближенные обласкали, напугали, одарили или просто оставили без внимания 38 германских князей. Талейран пишет: «В Эрфурте я не видел ни одной руки, по-мужски пожавшей лапу льва... В последний день его окружили князья, чьи армии он разгромил или взял в плен, чьи государства или богатства он уменьшил, и тем не менее никто из них не решился высказать какую-нибудь просьбу: все они хотели лишь быть замеченными, по возможности — последними, чтобы надежнее сохраниться в его памяти».

Во всяком случае Наполеон еще надеется, что в Вене со-

что решенным то, что, к сожалению, осталось нерешенным, и страх заменит то, чего не удалось достичь с помощью договора. Он не знает, что Талейран уже успел предать его Меттерниху, сказав: «Только от вас зависит восстановление с Россией столь же близких отношений, какие были до Аустерлица. Лишь такой союз может спасти остатки независимости Европы». Тут уж австриец мог с полным основанием добавить к своему докладу радостную фразу: «Наконец-то мы вступили в новую эпоху, когда внутри Французской империи находятся союзники, сами предлагающие нам свои услуги».

Наступает день прощания. Окруженный толпой немецких князей император обменивается с Александром братским поцелуем, все с почтением взирают на эту дружную пару властителей мира. Лишь на лице Талейрана, стоящего со шляпой в руке, мелькает беглая улыбка: за чаем у германской княгини ему удалось сделать подкоп под эту дружбу.

Пройдут четыре года, и его труд принесет плоды, которыми отравится Наполеон.

XX

Над этой серостью германских князей ярко взмывает вверх пламя германского духа. «Я увожу с собой в Париж лишь одно достижение: что вы меня хорошо запомните». Эти прощальные слова говорит император в последний вечер в Веймаре его правителю, здесь и в Эрфурте он провел несколько вечеров в обществе этих двух истинно немецких князей, у которых не было владетельных предков, лишь собственные таланты. Только с ними этот гений без блестящей родословной чувствует родство душ, и все презрение к роду человеческому, что скопилось в его душе за эти две недели, перекрывается тем уважением и почтительностью, которые он выказывает духовному богатству немцев. При этом произведения этих гигантов духа ему неизвестны, он знает только, какой известностью они пользуются и какое место занимают в размытых границах Германии и в императорско-республиканской Франции. Поэтому ищет с ними встречи.

Еще два года назад он пригласил к себе в Потсдам Иоганнеса фон Мюллера, и о значении состоявшейся между ними беседы лучше всего говорит сдержанность, с какой этот швейцарец, принявший прусское подданство, описывает их встречу. Едва фон Мюллер появился на пороге, как Наполеон, способный мгновенно переключаться с одной темы на другую, отвернулся от своих генералов и, не задав тому никаких предваряющих беседу вопросов, с ходу заговорил о проблемах, увлекательных для любого историка, а для этого — в особенности, и уже через три минуты полностью погрузился в серьезные проблемы истории.

Он заговорил о Таците. Потом постарался наметить главные эпохи духовного расцвета и восхищался удивительным возрождением греческого образования. Какое великое умение потребовалось, чтобы Греция, потерпевшая военное поражение от Рима, смогла благодаря христианству вновь отвоевать бывшее духовное господство. Сказанное Наполеоном содержало одновременно и признание заслуг, и приглашение к сотрудничеству. Более того, Наполеон предложил фон Мюллеру то, чего никогда не предлагал никому из французских историков: написать историю Наполеона. Потом говорил об основах всех вероучений и их необходимости... «Чем интереснее становилась беседа, тем тише он говорил, так что мне пришлось наклониться к самому его лицу, и никто в комнате не мог слышать, что он сказал. Я тоже о многом никогда никому не сообщу».

Эта удивительная завершающая фраза позволяет сделать вывод, во-первых, о скрытности серьезного ученого фон Мюллера, а во-вторых, о восхитительной откровенности, с какой император излагал свои взгляды перед выдающимися умами.

В Веймаре он общался в основном со стариком Виландом, сравнивая его с Вольтером, но при этом критично замечал, что незачем смешивать роман и историю: «У такого выдающегося мыслителя, как вы, эти два вида текстов должны существовать отдельно. Смещение легко приводит к путанице».

Однако их спор только начинается, ведь когда Виланд находчиво защищает свое вольное обращение с истори-

ческими фактами и говорит о добродетели как образце для подражания, император со свойственной ему живостью пребывает: «Да знаете ли вы, что происходит с теми, кто в романах все время тычет в нос читателю эту самую добродетель? Читатель в конце концов решает, что добродетель тоже выдумана, как и все остальное».

Позже он начинает говорить о Таците, которого критикует везде, словно и сейчас еще может растревожить гостиные, как делает мадам де Сталь: «Тацит недостаточно убедительно изложил причины и движущие мотивы происшедшего. Он недостаточно глубоко изучил тайны поступков и умонастроений, дабы дать последующим поколениям действительно непредвзятое суждение. Для этого надо принимать людей и народы такими, какими они только и могли быть в их время и в их обстоятельствах... Мне доводилось слышать, как его превозносили за то, что он внушает тиранам страх перед народами: но ведь это для народов ужасное зло! Разве я не прав, господин Виланд? Однако я мешаю вам, ведь мы здесь не для того, чтобы беседовать о Таците. Поглядите, как прекрасно танцует царь Александр!»

А Виланд только и ждал этой минуты: в блестяще подготовленной речи он защищает древнего римлянина перед новоявленным, так что в конце речи собравшиеся вокруг них выдающиеся лица Веймара и участники бала не могут удержаться от возгласов восхищения.

Все внимательно следят за императором, взгляды обращены на него: что он скажет? Вежливо уклонится от спора? Наполеон использует эти минуты точно так же, как и в бою: он вычисляет, на какие данные разведки может опираться неожиданная атака противника и что надобно теперь против него предпринять. Речь Виланда явно не была импровизированной, что же могло навести его на мысль подготовиться именно к теме Тацита? И он, беседовавший за прошедшие два года с сотнями людей, мгновенно вспоминает свою беседу с фон Мюллером.

— Я вижу, что имею дело с сильным противником, — говорит он, когда старик умолкает, — вы используете все свои преимущества. Не состоите ли вы в переписке с господином Мюллером, которого я видел в Потсдаме?

Все кругом улыбаются, в том числе и Виланд, любящий умственную деятельность больше, чем самого себя. Поэтому он честно отвечает:

— От него я узнал, Сир, что вы не любите Тацита.

— Ну, тогда я еще не считаю себя побежденным в споре, — говорит император. Потом возвращается к своим идеям насчет Греции и христианства, но на этот раз заходит гораздо дальше, поскольку видит в этом многоумном старике поэте скрытый скептицизм:

— Кстати, — говорит он тихо и подходит к тому вплотную, прикрывая рот ладонью, — кстати, еще большой вопрос, существовал ли Христос на самом деле.

Завоеватель и поэт: первый — в расцвете сил, восстановитель христианской религии на руинах разума, но теперь как раз несколько потревоженный церковью. Второй, поэт и язычник, которого его собеседник только что сравнил с Вольтером, обративший разум против Христа, в то же время — представитель побежденного народа и, кроме всего прочего, такой дряхлый, что то и дело ищет спинку стула, чтобы на нее опереться. И вот они шепчут друг другу на ухо, что Христа, пожалуй, вовсе и не было. Но старик не зря слышет вот уже 50 лет самым изощренным мудрецом в германских землях, сейчас он докажет императору, что галантным можно быть не только по ту сторону Рейна. Он быстро возражает:

— Знаю, знаю, на свете существует несколько безумцев, которые в этом сомневаются. Но это так же глупо, как сомневаться, жил ли Юлий Цезарь и живете ли вы, Сир!

Так Виланд с чисто французским изяществом спасает и немецкую галантность, и Христа. Император принимает и то, и другое, не связывая себя определенным ответом, и только похлопывает старика по плечу, приговаривая: «Хорошо, хорошо, господин Виланд!» И тут же громко говорит, обращаясь к залу, о ценности христианства как опоре государства. И хотя, как сообщают, он явно хотел еще пообщаться с этим мудрым старцем, Виланд весьма недвусмысленно дал понять, что ноги его уже не держат. Так раньше времени закончилась эта беседа, которую вполне можно было бы продолжить, принеси кто-нибудь два стула.

Одним из немых свидетелей этого разговора был Гете.

С ним император несколько дней назад провел часовую беседу в Эрфурте. Разговор был чисто духовный и демонстрировал равенство двух противоположных электрических зарядов. Два величайших гения своего времени спокойно разглядывали друг друга, умалчивая большую часть своих мыслей и наслаждаясь восхищением, которое друг к другу испытывали. Гете, способный всему учиться у природы, но в действительной жизни видевший лишь подтверждения заранее известных ему картин, оценил этот разговор как важнейшее событие своей жизни. На императора он, очевидно, произвел меньшее впечатление.

Ведь Гете к тому времени уже десять лет с удивлением наблюдал путь Бонапарта и в старости высказал о нем такие глубокие мысли, которые остались непревзойденными за следовавшие сто лет. А император, в сущности, ничего не знал о Гете. «Страдания молодого Вертера», неоднократно прочитанные в юности, сейчас совершенно не соответствовали его настроению и начисто забылись. Но какое значение имеет этот поседевший поэт в данное время, тогда было известно разве что сотне немцев и никому из французов, а поскольку и на родине Гете его имя не было популярно, воспринималось равнодушно и даже холодно, то император и не мог знать о нем ничего, кроме того, что им написаны какие-то странные пьесы и что он уже в год Иены был министром саксонского курфюрста, который приводил императора в ярость. И когда Наполеон пригласил его к себе, то ждал от него наверняка меньше, чем от фон Мюллера или Виланда.

Однако такие гении, как Наполеон или Гете, — стоит им лишь взглянуть человеку в глаза — уже знают о нем все. Вот император сидит за большим круглым столом и завтракает. По правую руку — Талейран, по левую — Дарю... Вот он замечает Гете, стоящего в дверях, приглашает его войти — и умолкает, пораженный: шестидесятилетний Гете, красивый, пышущий здоровьем, Гете счастливейшего периода своей жизни, с трудом достигший гармонии, которой у него никогда не было раньше и вскоре опять не будет. Император изумленно глядит на этого ста-

рика, потом произносит — скорее для себя, чем для двоих сотрапезников:

— Се человек!

Это золотая стрела вонзилась в сердце человека и всех вокруг: идущее от души провидческое слово, скорее впечатление, чем суждение — так и должно было случиться. Ибо именно потому, что этот властитель мира не знает, что перед ним стоит другой властитель мира, это восклицание, которое Наполеон ни до, ни после не применил ни к одному человеку, доказывает божественное сродство гения с его собратом. Словно благодаря рассеявшимся облакам два небесных существа узнали друг друга в очистившемся небе и невольно простерли друг к другу руки, едва коснувшись кончиками пальцев. Потом туман времени, опустившись, вновь разделит их. Такой миг бывает раз в тысячу лет, подобно тому, как в легенде встречаются Диоген и Александр.

Гете из осторожности записал этот разговор много лет спустя и не полностью, да и из других мемуаров известны лишь фрагменты этой беседы.

Наполеон хвалит «Вертера», но «конец вашего романа я не люблю».

— В это легко поверить, Сир: вам не нравится, что у романов вообще есть конец.

Император спокойно проглатывает эту почти злобную эпиграмму, но осуждает автора за то, что в конце романа к любви Вертера в качестве причины катастрофы добавляется и честолюбие. Поэт громко смеется — это в присутствии императора совершенно необычная непринужденность — и признает, что упрек справедлив, но можно простить автору, если он пользуется искусно скрытым приемом.

Император радуется своей маленькой победе на чужой территории, переводит разговор на драму и делает «весьма важные замечания — как человек, внимательно, словно судья по уголовным делам, следящий за трагедиями на сцене и при этом чрезвычайно глубоко чувствующий удаленность французского театра от природы и правды». Он неодобрительно отзывается также о «трагедиях рока»: они-де относятся к глубокой древности.

— Чего они хотят от этого рока? Политика — вот настоящий рок!

В ту же минуту он в привычной манере доказывает правоту своих слов — оборачивается к Дарю, говорит с ним о контрибуциях, потом — к Сульту, который как раз появился в дверях. Затем опять обращается к Гете, ловко оттесняет его от остальных и расспрашивает о личных делах. Потом переходит в наступление:

— Нравится вам здесь, господин Гете?

Но тот тоже умеет учитывать политическую обстановку и отвечает:

— О, вполне, и я надеюсь, что эти дни пойдут на пользу и нашей небольшой стране.

— Счастлив ли ваш народ? — спрашивает император, не замечая, что вопрос сформулирован так, словно перед ним какой-нибудь местный князь — к ним обращаться с таким вопросом вошло у него уже в привычку. На самом деле его сейчас совсем не интересует Саксония, он думает: «Какую пользу может принести мне этот гений? Жаль, что он пишет не историю, а романы. Но и в этом случае он мог бы описать здешний конгресс, а как драматург мог бы изобразить моего римского братца. Он наверняка сделает то и другое лучше, чем наши, а кроме того, написанное иностранцем имеет двойную ценность». Поэтому он говорит:

— Во время нашего пребывания здесь вам стоило бы остаться и записать, какое впечатление производит на вас все это грандиозное зрелище. Что думает об этом господин Гете?

Этим вопросом, вообще-то совершенно несвойственным его самоуверенной манере, Наполеон заканчивает почти все свои рассуждения в разговоре с поэтом, из которого трудно выудить что-то определенное. Гете осторожно отвечает:

— Для этого мне недостает пера античного автора.

Император думает про себя: «Это ответ политика», а вслух говорит:

— Ваш герцог пригласил меня в Веймар. Некоторое время он был сердит на меня, но теперь его отношение улучшилось.

— Сердит он был, вероятно, из-за того, Сир, что кара была немного слишком сурова, однако не мне об этом судить. Во всяком случае мы все должны его почитать.

«Прекрасно, — думает Наполеон, — он заступается за своего господина, но дает понять, что считает того ослом. Конечно, этот человек должен написать мне Цезаря! Во Франции такая вещь произведет более сильное впечатление, чем выигранное сражение». И говорит:

— Трагедия должна быть школой для королей и народов: это высшая награда, коей могут удостоиться поэты! Вы должны написать смерть Цезаря — достойно, великолепно, чем это попытался сделать Вольтер. Это могло бы стать прекраснейшей задачей, главным трудом вашей жизни. В этой трагедии нужно показать миру, что Цезарь ослепил бы человечество, если бы ему предоставили время для исполнения его величественных планов. Приезжайте в Париж. Я требую этого! Там вы приобретете более широкий взгляд на мир и найдете богатейший материал для вашего творчества!

Поэт вежливо благодарит — он почитет для себя счастьем такую возможность.

А император думает про себя, что дальше заходить не стоит, не то он решит, как было недавно с царем, что я слишком заинтересован. Удивительно: этот человек ничего от меня не хочет, даже не хочет блеснуть предо мной. Чем бы его привлечь, этого неподкупного человека? Нужно, чтобы он посмотрел наши пьесы и спектакли: тогда честолюбие заставит его сделать их лучше.

— Приходите нынче вечером в театр! Встретите там многих коронованных особ. Знаете ли вы имперского барона Карла Теодора фон Дальберга? Его вы увидите в ложе спящим на плече короля Вюртембергского. А русского царя видели? Вам бы стоило посвятить ему что-нибудь на память об Эрфурте.

Это уже третий намек. Согласится ли он наконец? Но поэт вновь вежливо улыбается и говорит прямодушно:

— Сир, я никогда ничего подобного не делал, дабы потом не раскаиваться.

Этот ответ слегка смутил француза, и, удивительное дело, сын революции ссылается на Короля Солнце:

— При Людовике XIV наши великие авторы вели себя иначе!

— Несомненно, Сир, однако неизвестно, не раскаивались ли они потом.

Весьма возможно, наверняка подумал император после этого язвительного ответа, свидетельствовавшего о явном фрондерстве немца. Поэтому он не удерживает Гете, когда тот откланивается, явно нарушая придворные традиции, с которыми прекрасно знаком.

Таким образом, этот неприятный разговор двух гениев производит потрясающее впечатление: императору этот разговор показался лишь интересным, и он тщетно старался привлечь к себе поэта, а для поэта это была просто встреча с человеком, хоть и великим. Причина проста: императору поэт был нужен, а император поэту — нет.

И хотя поэт не ответил на предложение императора даже двумя-тремя поэтическими строчками, Наполеон много лет спустя, в трагическую для себя минуту, вспомнит человека, которого он выделил из всех современников двумя высокими словами: «Се человек!»

XXI

Через два месяца после разговора с Гете Наполеон стоял в Мадриде перед портретом Филиппа II. Дворец он уже осмотрел, по залам картинной галереи прошелся, но перед этим портретом император стоял так долго, что свита умолкла: казалось, он разговаривает с портретом. «Над моей страной никогда не заходит солнце» — Наполеону не было дано сказать такие слова. Может, для этого необходима инквизиция, которую он после вступления своих войск в Испанию упразднил? Он все еще слишком мягок? Слишком демократичен? Разве в десятке стран не запрягли свободу, дабы она научилась везти карету диктатора? Вероятно, слишком много говорили и писали. А этот, с непроницаемым взглядом, наверное, всегда молчал. Он кажется несчастным. А кто вообще счастлив?

Императора привела в этот город мрачная, безрадостная война. Короли и принцы, которых он весной этого

года сбросил с тронов, ничего лучшего не заслуживали. Но народ император недооценил. И когда народ поднялся, чтобы вернуть себе национальную гордость и достоинство, император назвал мятежников смешными ветрогонами, «достойными земляками Дон Кихота. Невежество, высокомерие, жестокость, трусость — вот какое зрелище представилось нашим глазам. Монахи и инквизиция совсем оболванили народ... Испанские войска схожи с арабскими, крестьяне были такими же, как египетские феллахи, монахи невежественны и распутны, а правители выродились, ни сил у них, ни влияния». Пребывая в этом заблуждении, Наполеон не заметил, что его победы здесь — победы-однодневки. Завтра этот народ, поддерживаемый Англией, у которой в Испании самая большая опорная база, вновь будет стрелять из окон, и кто сможет этому воспрепятствовать! Император предчувствует это. Он признается Винсенту, соратнику еще по первым походам:

— Это самая большая глупость моей жизни! Подскажите, как мне выйти из этого затруднительного положения.

— Вам лучше всего просто отказаться от этой страны, Сир.

— Хорошо вам говорить! Вдумайтесь в мое положение. Я — узурпатор. Чтобы дойти сюда, я должен был иметь лучшую голову и лучший меч в Европе. Чтобы здесь удержаться, каждый должен проникнуться сознанием этого. Почитание этой головы и этого меча не должны снижаться. Я не могу встать перед всем миром и сказать: я серьезно ошибся и ухожу отсюда вместе со своей разбитой армией. Посудите сами: разве это возможно? Дайте мне дельный совет!

Эта убежденность в совершенной ошибке и одновременно в невозможности ее исправить выражена простыми словами: «Дайте мне дельный совет!» Кто это говорит? Молодой Бонапарт или стареющий Наполеон? Разве не он разбил за восемь дней прославленную армию Фридриха? Но в Испании Наполеон за восемь месяцев, в сущности, мало чего достиг. Он всегда побеждал в тех странах, которые могли прокормить армию, с хорошими дорогами и развитыми городами. Но проводить операции по бездо-

рожью, в пустыне, на польских равнинах или в горах Андалузии — это слишком медленное предприятие для его темперамента и слишком неопределенное занятие для его математического склада ума.

Вместо того чтобы поддержать императора в столь трудной ситуации, его брат, король Испании, на каждом шагу создает дополнительные трудности. Он, видите ли, хочет чувствовать себя испанцем и привлечь народ своей покладистостью. Между братьями случаются стычки, король не без основания чувствует себя смешным, поскольку однажды ему уже пришлось бросить трон и бежать, так что он может только плестись в хвосте за стремительным Наполеоном. Но у последнего, с его железной волей, еще больше оснований жаловаться на короля близкому другу Редереру:

— Жозеф хочет, чтобы испанцы его любили и верили, что он их тоже любит. Любовь королей вовсе не нежности, они должны заставить себя бояться... Он пишет, что хочет удалиться в Морфонтен, в такой напряженный момент полагая, что я растеряюсь... Он предпочитает жить-поживать в своем имении, а не сидеть на троне, купленном ценой несправедливо пролитой крови... Но это кровь врагов Франции! Если он король, так сам же этого и хотел, мог бы оставаться в Неаполе. Мне ставить препоны? Не нужна мне такая семья... Мои братья — не французы. Только я, я один среди них француз... Король Голландии тоже мечтает жить как частное лицо. Но кто из нас троих больше всего заслуживает жить в Морфонтене, так это я.

Почему он не расстанется с Жозефом? Почему не передаст корону маршалу Сульту, командующему войсками в Испании, которого ценит, пожалуй, выше всех своих генералов — ведь дал же он другую корону Мюрату? «Жозеф пишет мне: если я ценю кого-нибудь другого выше, чем его, то пусть и делаю того королем. Конечно! Я посадил его на трон вовсе не за его достоинства. Реши я раздавать короны по заслугам, я бы выбрал кого-нибудь другого. Мне нужны родные для того, чтобы основать династию, ибо в этом моя система».

Несколькими декретами он вводит в Мадриде новый порядок. Мало кто приветствует его появление, никто не

любит, Англия угрожает, а народ ненавидит. Ничто его не удерживает. Император, совсем недавно написавший жене из Веймара, что русский царь танцевал, а сам он нет, ибо «40 лет — это 40 лет», посмеивающийся над своей полнотой, в снежный рождественский вечер шагает пешком через горы Гуадаррамы, словно он еще молодой генерал, как было под Лоди. Потом бьет наголову англичан, но не может их преследовать по грязным дорогам, как не мог преследовать русских под Фридландом, и, скрежеща зубами вынужден стерпеть, что враги находят спасение на своих кораблях... Следует ли ему атаковать оставшихся в горах и еще больше удалить свои главные ударные силы от Франции? А пока он сидит в Кастилии, что говорит Париж?

Тут в военный лагерь под Асторгой прибывает курьер: можно будет узнать, что происходит дома. За чтением одного из писем императора начинает трясти от еле сдерживаемого гнева, в течение часа он молча снует из угла в угол, даже приближенным не говорит ни слова. Потом вдруг приказывает штабу немедленно сняться с места и вернуться назад, бросает армию и генералов, мчится в Балладолис и к границе.

«Прав был король Филипп, неспроста такой непроницаемый взгляд! — думает император, сидя в карете. — Инквизицию нужно было бы ввести во Франции, вместо того чтобы ликвидировать ее в Испании. Заговор в Париже — среди своих! Фуше и Талейран, которые и полезны — были лишь потому, что ненавидели друг друга, следили друг за другом и доносили друг на друга, теперь помирились и стали союзниками! И Мюрат с ними заодно!»

Тревожные письма, заставившие его внезапно вернуться, написаны Эженом и матерью. Теперь, когда празднества кончились и над сыном нависла опасность, постаревшая Летиция вновь обрела активность: она корсиканка и охраняет своих детей. Как далеко зашел Талейран в своем предательстве и когда оно началось, об этом можно лишь догадываться. Наполеон не знает, что Талейран успел посоветовать послу Австрии воспользоваться ситуацией в Испании и внезапно напасть на Францию: никаких документов у него нет, а если бы и были, таких высоких сановников даже император не может арестовать. За две недели

пути гнев против своих ставленников только накапливается.

Едва приехав, Наполеон созывает Государственный совет, чтобы сенаторы и министры стали свидетелями его мести. Провинившиеся тоже тут, и император с ходу начинает кричать на Талейрана:

— Вы — вор и подлец, для которого нет ничего святого! Вы отца родного готовы были бы продать! Я осыпал вас богатствами, а вы, тем не менее, способны на все против меня! Вы сами насоветовали мне ввязаться в эту дурацкую авантюру с Испанией, а теперь поносите меня перед всеми. Это вы сообщили мне, где находится герцог Ангиенский, и заставили поступить с ним так жестоко!.. С испанскими принцами, лишившимися трона, к которым вы были приставлены для надзора, вы завязали интриги! Сегодня, когда вам кажется, что наши дела в Испании плохи, у вас хватает наглости заявлять каждому, кто хочет слушать, что вы всегда предостерегали... Верните мне камергерский ключ, который я вам доверил... Я мог бы вас сейчас разбить, как кусок стекла, власти у меня на это хватит! Но я слишком презираю вас, чтобы пачкать о вас руки!

Так продолжается с полчаса. Свидетели сидят неподвижно, как статуи. Талейран молча кланяется и выходит. За дверью он говорит, улыбаясь, одному приятелю: «Как жаль, что такой великий человек так плохо воспитан!» А в это время император в пух и прах разносит Фуше: тот не влиял должным образом на общественное мнение, поддерживал врагов императора.

Все по-прежнему сидят будто окаменели. Фуше молча кланяется — и остается... Император требует, чтобы все высшие должностные лица воздерживались от высказываний собственных мнений и лишь исполняли его приказы. Он грозно объявляет, что измена всегда начинается с сомнений, а заканчивается критикой. Так сильно возрос террор Цезаря. В Париже полагают, что теперь обоих изменников либо сошлют, либо посадят за решетку. Однако ничего подобного не происходит, оба сохраняют свои должности. Фуше остается, потому что стоглазого нечем заменить. И Талейран в своей чиновничьей должности с улыбкой появляется при дворе, на воскресных приемах стано-

вится так, чтобы его заметили, отвечает императору, когда тот обращается с вопросом к его соседу, и подтверждает справедливость по-солдатски грубоватого суждения Ланна: «Когда говоришь с Талейраном и смотришь ему в лицо, никогда не заметишь, что его пинают в зад». Вскоре все опять видят, как он, прихрамывая, следует за своим патроном из бального зала в рабочий кабинет, ибо «он — единственный, с кем я могу разговаривать». Трудные вещи предстоит им обсудить. Германия проснулась, начинает мало-помалу шевелиться, все взгляды обращены на Австрию. Правда, король Пруссии, как всегда, медлит, а барон фон Штайн выслан из Пруссии согласно приказу, подписанному в Мадриде. Но Тироль, как и Испания, бунтует, а Австрия вновь заключила союз с Англией, да еще с Турцией и готовится к пятой войне. Что толку, если на юге Саргоса после действительно героического сопротивления в конце концов сдается? Из этой мятежной страны все равно нельзя выводить войска. Как же избежать войны, когда огромная армия численностью в четверть миллиона завязла в Испании, и именно это обстоятельство толкает Австрию на войну?

Тут может помочь только русская угроза. Император осыпает русского посла в Париже подарками перед его отъездом в Петербург, он обещает очистить Пруссию и пойти навстречу царю в любых вопросах, если тот теперь же объявит по всей дрожащей от страха Центральной Европе о союзе с Францией.

Однако нерешительный Александр пребывает в собственных его характеру сомнениях: он не уступает угрозам великих князей, ненавидящих Наполеона, и не может окончательно решиться перейти на другую сторону. В Вене спохватываются и тщетно пытаются сосватать за своего эрцгерцога сестру царя. Александр остается нейтральным.

Императора обижает предательство друга больше, чем можно было предположить: задета его гордость, жаль напрасно затраченных усилий, слишком много личного доверия оказывал он царю. Ему остается одно: достать войско буквально из-под земли. Начинается мобилизация призывников следующего года, деньги черпаются из всех источников, рента из-за событий в Испании упала до 78. Не-

смотря на это, Австрия подготовилась к походу раньше Франции, и, когда в апреле поступает сообщение о выступлении противника и императора в десять часов вечера будят этой вестью, он отдает приказ о немедленном отъезде в полночь и вне себя от ярости убеждается, что штаб может быть готов лишь спустя четыре часа.

Приехав в Баварию, Наполеон видит колонны движущихся войск противника и глазам своим не верит. Как сообщает очевидец, «казалось, он стал выше ростом, глаза заблестели, и с торжеством, сквозившим во взгляде, движениях и общем настрое, он воскликнул: «Они у меня в руках, эта армия пропала! Через месяц я буду в Вене!» Наполеон слегка просчитался: он будет там через три недели. Император заставляет свои колонны проходить по сто километров с лишним за 40 часов и разбивает противника в пяти сражениях. Эти пять дней он назовет впоследствии своим лучшим маневром. В последнем бою пуля слегка задела ступню Наполеона, как бы для того, чтобы опровергнуть легенду о его неуязвимости, в которую верит огромная армия, а может быть, и он сам.

Во второй раз без боя Наполеон берет Вену и живет в тех же комнатах Шенбруннского дворца, что и несколько лет назад. Но война не окончена. Неприятные вести приходят из Испании. В Северной Италии Эжен плохо сражался, и поскольку в это же время Мюрат должен был выступить из Неаполя, римский император расправляется с Римом, как некогда Гогенштауфен. Четыре года назад за этим же письменным столом Наполеон одним-единственным декретом прекратил существование королевской династии в Неаполе. Теперь он точно так же поступает с Папой. Император уже не задумывается о морально-политических последствиях своих поступков и осмеливается издать этот опасный эдикт чуть ли не ради того только, чтобы объединить свои армии в Италии.

А еще — со злости. В Испании в начале года ему вдруг пришло в голову, что Рим его оскорбил: «В прошлом году у Рима хватило бесстыдства не прислать нам освященных свечей, как другим главам государств. Напишите в Рим, что нам не нужны их свечи, в том числе и для трех королей нашей династии. Дайте им понять, что к Сретенью я все-

гда получаю освященные свечи от моего личного священника и что пурпур и власть не придают ценности этим предметам. В мире теней тоже будет достаточно и простых священников, и Пап! Так что свеча, освященная моим священником, будет таким же святым делом, как Папская! Не хочу получать от него свечи, и все принцы моей династии должны от них отказаться!»

Таков Наполеон среди заболоченных испанских дорог и в гуще боев. Теперь, в Шенбрунне, он просто-напросто лишает Святого Отца княжеской власти, ограничивает его владения Ватиканом и назначает ему два миллиона ренты.

Некоторые из приближенных пугаются: среди них много благочестивых католиков, и через пять дней — Святая Троица. Не бросает ли он вызов Богу? Кто доводит веру до суеверия, может быстро убедиться в правоте своих предчувствий: ровно через пять дней, в день Святой Троицы, Наполеон впервые в жизни терпит поражение.

Можно сказать, что в сражении под Асперном и Эслингом в предместьях Вены не было победителей, но уж ни в коем смысле это не было победой французов. И если рухнул большой мост через Дунай, то это было такой же случайностью, как и под Лоди, Риволи, Маренго и во многих других местах, когда именно благодаря таким Господним импровизациям Наполеон добивался успеха. Один из его друзей юности, маршал Ланн, погибает смертью храбрых. В тот вечер император долго сидит в одиночестве, не хочет никого видеть и молча глядит на стоящий перед ним ужин.

«Побежден? Значит, меня можно победить? — думает он, мрачно уставясь в одну точку. — Может, все дело в том, что рана на ноге болела? Тот стрелок целился лучше, чем Талейран. Нет, я сам во всем виноват. Переправляться через реку на виду у противника слишком рискованно! Ланн был прав. Что скажет Париж? Как сообщить о случившемся?»

В тревожном настроении он возвращается в Шенбрунн. Огромный, стоящий на отшибе замок посреди враждебной страны. «Полька! Если бы красавица Валеvская была рядом! Сидит сейчас, наверное, тоже в каком-нибудь замке в глубине Польши и думает обо мне. В прошлом году она так и не родила».

И Наполеон посылает за ней.

Тут приходит странное послание из Рима: Папа отлучил Наполеона от церкви. Император только рассмеялся.

Он, солдат, сам сотворивший свою карьеру, смеется над католическим Средневековьем:

«Это что — месть за то, что я сам надел себе на голову корону, которую Святой Отец надеялся возложить на меня там, в Нотр-Дам. И вообще: что значит «святой»? Жил ли некогда Христос? Сомнительно. Безусловно лишь, что он бывает очень полезен. Однако в наше просвещенное время боятся церковного проклятья одни дети да старухи. Разве меня не объявляли вне закона и 18 брюмера, и еще на Корсике? Такие фарсы приносят счастье!»

В явно повеселевшем настроении Наполеон готовит противнику ответный удар на Мархфельде, а затем, как в тридцати предыдущих битвах, побеждает благочестивого эрцгерцога Карла под Ваграмом. К концу этой битвы, длившейся двое суток кряду, когда все шло хорошо, он вдруг почувствовал упадок сил от перенапряжения и приказал своему мамелюку разостлать прямо на полу медвежью шкуру и разбудить его ровно через двадцать минут. Война окончена, наступило перемирие. На следующий день, сообщая в письме Жозефине о новой победе, Наполеон добавляет: «Я дочерна загорел на здешнем солнце». Настроение улучшилось, здоровье вновь окрепло.

Император возвращается в Шенбрунн и встречает там графиню Валевскую. Сколько красивых женщин проскальзывало сквозь потайные дверцы и уединенные покои огромного замка, чтобы внести оживление в душу какого-нибудь Габсбурга! Теперь к авантюристу со Средиземноморья каждый вечер привозят живущую неподалеку графиню, причем он каждый раз наказывает камердинеру следить, чтобы ее карета не опрокинулась на плохой дороге. Во второй раз они проводят вместе три долгих месяца.

Через несколько недель она чувствует, что беременна. Подарит ли она ему на этот раз то, о чем он двенадцать лет просит разных женщин, и лишь однажды не напрасно? Так идиллия приобретает новый смысл, и полночь 15 августа Наполеон проводит в объятиях двадцатилетней пани Валевской, встречая день своего сорокалетия и думая о том,

как утром пушечными залпами и колокольным звоном отметят эту дату во Франции и во всех подвластных ему странах. Именно в этот день расположенный к нему некогда Папа хотел канонизировать имя нового святого — Святого Наполеона.

Изменился ли Наполеон за последние два года? Ведь он уже не созидатель всемирной империи, к которому шлют послов короли Запада и Востока. Теперь император должен защищать им же созданное и каждую победу использовать с большой осторожностью.

В Риме он в день Ваграма из-за тупости своих помощников допустил оплошность, о которой узнает лишь теперь: «Я очень раздосадован тем, что арестовали Папу, это была глупость чистой воды! Арестовать следовало кардинала, а Папу не трогать и оставить в Риме». Хотя Наполеон и насмеялся над символической силой отлучения от церкви, считая ее пустой затеей, как политик он сразу почувствовал, что арест и выдворение Папы означают нечто существенное: изгнанный — морально могущественнее изгоняющего.

Вместе с сообщением о Папе пришли донесения из Испании: Англия постепенно возмещает свои потери, а народ уходит в леса и оказывает все более упорное сопротивление. Одновременно из Парижа сообщают, что Фуше превысил свои полномочия и повсюду вербует рекрутов в национальную гвардию: очевидно, для того, чтобы раздуть страх перед Англией и вызвать недовольство новобранцев и их родителей.

Весьма опасное положение. Депеши из Парижа и Рима были в пути 8 дней, из Испании — 16. Пока новые приказы доберутся из Шенбрунна до Балладолиса, там все переменится. Если бы у него была власть передавать приказы со скоростью света, то можно было бы управлять миром из этого кабинета. А теперь волей-неволей приходится закруглить переговоры, которые Австрия, подбадриваемая Англией и Венгрией, тянет уже несколько недель. Когда Наполеон недавно потребовал третью часть монархии с девятью миллионами жителей, то получил немедленный отказ. Теперь он действует в другом стиле: с той прямодушной открытостью, которая совершенно обезоруживает

европейских дипломатов старой школы, император описывает свои собственные трудности во время этих бесконечных переговоров. К примеру, его беседа с венским графом Бубной длилась семь часов.

«Я сам был виноват под Асперном, за что и заплатился. Но доверие войск ко мне не пошло на убыль». Потом он широкими мазками очерчивает свою тактику ведения боя: «...я хочу указать вам на ошибку, которую вы все время повторяете. Вы отдаете распоряжения за день до битвы, когда вы еще понятия не имеете о передвижениях противника, знаете лишь, где он. Я же никогда не отдаю приказы накануне боя и особенно осторожен ночью... С рассветом я посылаю разведчиков и сам убеждаюсь в достоверности их донесений, а войска держу в компактной массе, пока я еще не совсем уверен... Потом набрасываюсь на врага и атакую его там, где позволяет рельеф местности... Вы правы, упрекая меня в большой крови, причиняемой артиллерией. А что мне делать? Мои солдаты устали, они хотят мира. Вот мне и приходится меньше полагаться на штык, и больше, чем раньше, на пушки...

Сегодня я уверен в русском царе, но кто даст мне гарантии, что так оно и будет? О Пруссии я давно знаю, что она колеблется между вами и мной».

И вдруг требует от Австрии лишь половину того, что требовал в последний раз, дезавуирует своего министра и предлагает заключить союз. У него нет другого выхода, так как ему необходимо вернуться в Париж. Возникает новая почва для переговоров: Австрия уступает часть своей территории Рейнскому союзу, другую часть — России, так что для Наполеона путь на Балканы свободен. Еще несколько недель тянутся переговоры, красивые глаза польки гасят нетерпение императора.

В октябре Наполеон принимает в Шенбрунне большой парад. Вдруг к нему протискивается некий юноша, его поведение кажется подозрительным, его задерживают, находят у него огромный кухонный нож и портрет молодой девушки. Он отказывается отвечать на вопросы стражи: хочет ответить только самому императору. Вскоре серьезный светловолосый юноша восемнадцати лет стоит перед Наполеоном, держась свободно, бесстрашно и вежливо. Зо-

вут его Фридрих Штапс, он сын протестантского священника. Император задает вопросы по-французски, Рапп переводит.

— Да, я хотел вас убить.

— Молодой человек, вы безумны или больны.

— Я не болен и не безумен, я совершенно в своем уме.

— Так почему же?

— Потому, что вы причиняете вред моей стране.

— Вам лично?

— Мне, как и всем немцам!

— Кто вас послал?

— Никто. Сердце сказало мне, что, убив вас, я сослужу службу Германии и Европе.

— Вы меня уже видели раньше?

— Да, в Эрфурте. Тогда, думая, что вы не станете больше воевать, я был вашим искреннейшим почитателем.

Император велит пригласить своего врача, ибо ему очень хочется, чтобы юношу признали невменяемым. Врач обследует, расспрашивает молодого человека и заключает: он совершенно здоров.

— Вот видите, я же вам сказал!

Император волнуется, но берет себя в руки, начинает все сначала, ему вовсе не хочется уничтожить юношу с таким смелым и открытым взглядом. Что происходит в душе Наполеона? Этот юноша — не член какой-то партии, не заговорщик, тех он ликвидирует из принципа. Юноша — не идеолог, скорее, идеалист. Германия присылает Брута с кухонным ножом.

— Вы все преувеличиваете и только приносите горе своей семье. Попросите у меня прощения и раскайтесь: тогда я сохраню вам жизнь.

Никогда Наполеон не говорил так, по крайней мере с убийцей. Но молодой человек стоит с каменным лицом. Неужели император утратил силу внушения?

— Не нужно мне ваше прощение! Я ни в чем не раскаиваюсь, лишь сожалею, что потерпел неудачу.

Теперь император начинает кипеть:

— Черт побери! Преступление кажется вам безделицей!

— Убить вас — не преступление, а заслуга! — говорит юноша, причем почтительно, даже любезно.

— Гм. Чей это портрет?

— Девушки, которую я люблю.

— Одобряет ли она вашу авантюру?

— Она будет горевать, что затея не удалась, потому что ненавидит вас, как и я.

«Прелестное дитя, — думает император, глядя на портрет. — В самом деле, что мне за вред от этого юноши? Нет, я спасу его, помилую, пусть себе ненавидит, что мне за дело». Он еще раз вглядывается в лицо юноши, держа портрет в руке:

— Если я вас помилую, это обрадует девушку?

Голубые глаза юноши расширяются, и он решительно заявляет:

— Я все равно вас убью!

Император отворачивается, велит его увести. Потом долго говорит об умных людях с Шампаньи, присутствовавшим при этой сцене. И внезапно, без всякого перехода, заявляет:

— Нужно заключать мир. Вернитесь в город. Созовите австрийских представителей. В главных пунктах мы почти пришли к согласию, дело лишь за размером контрибуций. Разница составляет 50 миллионов. Уступите половину этой суммы. И подпишите. Последний вариант договора мне понравился. Можете добавить несколько статей, какие сочтете нужным. Я целиком полагаюсь на вас, только заключите мир.

Такое глубокое впечатление произвел на Наполеона этот сын священника. Страхом это чувство не назовешь, осторожностью тоже: слишком мелко. Это помрачение души. Император перекладывает заключение мира на своего министра ради того, чтобы сэкономить один день, — и это после трех месяцев переговоров! Одновременно он еще раз посылает к юноше, чтобы узнать, не изменил ли тот своего решения, но молодой немец не хочет спасти свою жизнь. В шесть часов утра министр привозит согласованный ночью документ. Император долго держит его в руках, очень довольный, хвалит министра.

В то же утро юношу расстреляли.

Перед отъездом Наполеон вновь заводит речь об этом: — Это неслыханно! Молодой человек, немец, протестант, хорошо воспитан, — и такое преступление! Как он вел себя в последние минуты?

Ему отвечают, что под дулами ружей он громко крикнул: «Да здравствует свобода, смерть тирану!»

Император молча выслушивает и потом приказывает захватить с собой немецкий кухонный нож.

XXII

Императрица лежит на полу в обмороке. Наполеон зовет начальника дворцовой стражи, чтобы он отнес ее наверх, в ее комнату, и сам идет впереди со светильником в руке. Лестница слишком узкая, поэтому он отдает светильник одному из слуг, а сам вместе с начальником стражи несет жену, осторожно кладет ее на кровать и, страшно взволнованный, выходит из комнаты. Едва за ним закрывается дверь, Жозефина лукаво подмигивает — вскрик и обморок были наигрышем. Начальник стражи потом выдал императрицу: пока он ее нес один, она прошептала, что он схватил ее слишком грубо и делает ей больно.

Тем не менее испуг и горе Жозефины абсолютно искренни, ибо теперь ей предстоит покинуть Тюильри, где она царила целое десятилетие: сегодня вечером Наполеон ей об этом сообщил. Дольше ждать нельзя: все рассчитывают на его смерть: в Германии немцы с этим кухонным ножом, во Франции — Фуше, заигрывающий с англичанами. Ему нужен сын, причем от особы королевского рода. Сразу по возвращении из Шенбрунна Наполеон сообщил об этом Жозефине. Возможно, это была идеальная месть за то, что он не мог посадить рядом с собой на трон красавицу польку вместе с сыном, которого она ждала. Точно известно лишь, что в тот день он еще не знал имени своей будущей супруги.

Вскоре молча, с каменными лицами сидят вокруг стола мать, сестры, братья: идет большой семейный совет. Жозефина тоже здесь, но, несмотря на молчание этих свидетелей, она явственно слышит их скрытое торжество: сегодня

ня они наконец-то достигли своей цели — ей придется уйти. Срывающимся голосом взволнованный император говорит, что теперь уже нельзя больше надеяться получить наследника от императрицы, и только поэтому он вынужден с ней расстаться. «Одному Богу известно, как трудно мне сделать этот шаг... Но нет такой жертвы, какую бы я не принес ради блага Франции... Пятнадцать лет кряду императрица скрашивала мою жизнь. Я своей рукой возложил на нее корону. Я хочу, чтобы она сохранила титул императрицы, но главное — чтобы она считала меня своим лучшим другом до конца своих дней». Жозефина держится достойно и просит премьер-министра прочитать вслух ее письменное согласие.

Потом все подписывают протокол о разводе. Подпись Наполеона намного более четкая и энергичная, чем обычно бывает даже под государственными бумагами. Длинный росчерк, которого никогда не было, завершает его полное имя: очень серьезное дело он заканчивает по-мужски. Жозефина робко ставит свою подпись справа, почти рядом с его именем, словно хочет довериться его защите.

Вечером Жозефина неожиданно появляется у ложа Наполеона с распущенными волосами и слезами на глазах. На следующий день она, опираясь на его руку, покидает дворец, словно окаменевшая от горя Ниобея, и едет в Мальмезон, но до того еще раз показывает свою вздорность, высказав Меневалю желание, чтобы он почаще говорил о ней с императором.

Император в одиночестве направляется во временно пустующий Трианон, где устраивает по жене такие поминки, какие не устраивал ни один возлюбленный своей умершей или навеки расставшейся с ним подруге: он три дня никого не принимает, ничего не диктует, не читает, не записывает. Вскоре он навещает Жозефину в Мальмезоне, а потом пишет ей:

«Дружок мой, ты сегодня выглядела хуже, чем следовало бы. Не поддавайся мрачной меланхолии. Заботься о своем здоровье, которое мне так дорого. Если ты меня любишь, покажи, что ты сильная и всем довольна. Не сомневайся в моей нежной дружбе и не думай, что я могу быть счастлив, если ты несчастна... Мне было очень грустно, когда я вер-

нулся в Тюильри, — огромный замок казался мне таким пустым, я чувствовал себя таким одиноким... Прощай, дорогой мой дружок, спи крепко и помни о том, что я тебе этого желаю». Это пишет сорокалетний мужчина после пятнадцати лет привычной близости: так естественно и так тепло.

Потом начинаются бесконечные счета: Наполеон назначает Жозефине ренту в три миллиона в год, но рубиновые украшения оплачивает особо: «Они обойдутся мне примерно в 400 000 франков, но я сначала отдам их оценщикам: не хочу, чтобы меня обманывали ювелиры... В шкафу в Мальмезоне ты найдешь еще 500 — 600 тысяч франков. Возьми их, чтобы дополнить столовое серебро и белье. Я заказал для тебя очень красивый фарфоровый сервиз, но нужно, чтобы ты высказала свои пожелания: хочется, чтобы он тебе понравился... Паж, встреченный мною нынче утром, сказал, что видел тебя плачущей. Обедать я буду в полном одиночестве... Ты действительно потеряла всю свою жизнерадостность, переехав в Мальмезон? И все-таки этот замок — свидетель нашего счастья и наших чувств, которые никогда не смогут и не должны измениться, по крайней мере с моей стороны... Мне очень хотелось бы навестить тебя, но сначала я должен знать, что ты — сильная и не поддаешься грусти. Я тоже немного поддаюсь и очень страдаю. Прощай, Жозефина, доброй ночи».

К Наполеону вернулся некий умильный тон. Кажется, будто страстные письма полководца из Милана своей неверной супруге в Париж переведены в минорный регистр, и та же самая мелодия, которая в те дни бушевала во всем оркестре, теперь повторяется одной виолончелью, одиноко звучащей в холодных залах Тюильри.

Вскоре после этого на маскараде у канцлера некто в зеленом домино берет под руку княгиню Меттерних, супругу бывшего посла Вены при парижском дворе, и уводит ее из зала. Все узнают императора: хотя Наполеона без маски никто по-настоящему так и не узнал, Наполеона в маске мгновенно узнавали все: трагикомедия гения. После нескольких шуточных фраз император спрашивает княгиню, думает ли она, что какая-нибудь австрийская эрцгерцогиня примет его предложение руки и сердца.

— Этого я не знаю, Сир.

— А вы, будь вы на ее месте, приняли бы?

— Я бы решительно отказала! — смеясь, отвечает та.

— Вы злючка, напишите супругу, спросите, что он думает об этом деле.

— А вы скажите об этом князю Шварценбергу, Сир, ведь теперь посол он.

Таким великолепным возвратом к импровизациям, характерным для него в период революции, Наполеон начинает новое сватовство после развода. В тот же вечер он поручает Эжену передать этот вопрос австрийскому послу. В семействе Габсбургов никто не понимает поспешности и простоты таких ходов, для императора же они вполне естественны. Царь отмалчивается, Вена, потерпевшая поражение в четырех войнах, должна наконец обрести мир: что может быть проще такого решения? Зачем разводиться, если тут же не сделать всего, что нужно для достижения недостижимого? Его стенания по поводу отсутствия наследника скоро станут смешны.

Наполеон, почти никогда не собирающий военный совет, вновь созывает семейный совет. Как и шесть недель назад, все сидят за овальным столом, присутствуют также главные сановники. Свидетель сообщает, что на всех лицах написана растерянность. Император объявляет о желании иметь наследника и тут же проясняет свою позицию:

— Если бы я мог позволить себе руководствоваться только личными чувствами, то выбирал бы жену среди дочерей кавалеров Почетного легиона, героев Франции, и самую достойную из них сделал императрицей. Но приходится считаться с обычаями своего времени, с традициями других государств, с задачами политики. Некоторые суверены искали союза со мной, и мне кажется, сегодня я мог бы предложить этот личный союз любому из них. Речь идет о трех странах: Австрия, Россия, Саксония. Хочу выслушать ваши мнения.

Так заклатье легитимности вновь вторгается в сферу интересов могущественного диктатора: это та скала, о которую разобьется его корабль. Почему не Валевская, которую он действительно любит? А если уж выбирать среди француженок, почему не дочь одного из героев-соратни-

ков, которым он подарил королевства? Для того ли он, Наполеон, сотрясал основы старого мира, своей рукой возлагал себе на голову две короны, наследственных властителей заставлял ожидать в прихожей, а одного из них даже согнал с трона и на его место посадил сына трактирщика, чтобы теперь, разлучившись с любимой подругой, в надежде получить законного наследника «считаться с обычаями своего времени», которые сам же нарушал?

Но об этом и речи не идет в холодных дворцовых покоях, потому что здесь предубеждены против французов. Эжен и Талейран — за Австрию. Мюрат возражает им, потому что Мария Антуанетта принесла стране много горя. Некоторые склоняются в пользу России или Саксонии. Император всех выслушивает, закрывает заседание и делает то, что сам заранее решил: в тот же вечер посылает гонца в Вену. Один из министров, настоятельно советовавший выбрать Россию, осмелился назвать причину такого выбора лишь в частной беседе: «В течение ближайших двух лет мы наверняка окажемся в состоянии войны с одной из этих империй, а именно с той, с которой наш император не породнится. А такая война не опасна для нас лишь с Австрией».

В Петербург император сообщает, что его заставили ждать слишком долго, кроме того, русский поп странно смотрелся бы в Тюильри, и главное, он узнал, что «великой княжне Анне всего пятнадцать лет, и она еще не созрела как женщина. А поскольку у молодых девушек между первыми признаками половой зрелости и полной зрелостью зачастую проходит два года, в намерения императора не входит еще три года не иметь детей, будучи женатым». На этом гинекологическом экскурсе заканчивается «русское сватовство», начавшееся меланхолической беседой в Эрфурте.

У Габсбургов же, наоборот, всегда рождалось много детей, так что плодовитость их была, так сказать, гарантирована. Когда император узнает, что мать его избранницы родила 13 детей, а ее прародительницы — 17 и даже 26, он восклицает: «Это именно такая матка, которая мне нужна для женитьбы!» Не вызывало сомнений, что император Франц примет его предложение, как и то, что его восем-

надцатилетняя дочь подчинится. Тут же отсылается и первое письмо, написанное Наполеоном собственноручно, отчасти даже разборчиво и с большим старанием, чем можно было ожидать:

«Дорогая кузина, блестящие достоинства, свойственные Вашей личности, вызвали у нас желание служить Вам и Вас чтить. Обращаясь к императору, Вашему отцу, с просьбой вверить нам счастье Вашего Высочества, смеем ли мы надеяться, что Вы благосклонно отнесетесь к чувствам, толкающим нас на этот шаг? Можем ли мы льстить себя надеждой, что Вы решитесь на этот шаг не только из чувства долга и дочернего послушания?.. Если Ваше Высочество питает к нам хотя бы слабый намек на склонность, мы будем заботливо лелеять это чувство, сделаем своей высшей задачей всегда и во всем быть Вам приятными и будем счастливы в один прекрасный день заслужить всю Вашу любовь...»

Разве кто-нибудь из великих умов кропал что-либо подобное этому смехотворному посланию? Наполеон прекрасно знает, что она согласится разве что из дочернего послушания и не питает ни малейшей склонности к этому дьяволу в облике человека, который с самого ее малолетства отбирал у ее отца одну провинцию за другой. Она привыкла осеять себя крестным знаменем при одном упоминании его имени. Наполеон знает, что перед ним стоят более важные задачи, чем быть приятным этой глупышке, не отличающейся никакими достоинствами, кроме одного — габсбургской крови, и не обладающей ни красотой, ни умом, ни мужеством, ни страстностью натуры. И тем не менее двойственность положения заставляет Наполеона, никогда никого ни о чем не просившего, унизиться до такого письма.

Широким жестом восточного владыки он посылает невесте с Бертье, представляющим его в Вене, свой портрет в алмазной раме и женские украшения стоимостью в полтора миллиона. При официальном бракосочетании в дворцовой церкви его замещает, однако, дядя невесты, эрцгерцог Карл, разбитый Наполеоном в десятке сражений.

Тем временем император занимается больше обстановкой покоев новой императрицы, чем государственными

делами, подбирает мебель и ткани, выделяет в приданое ей пять миллионов, в то время как сама она привозит с собой всего полмиллиона, детально изучает путешествие Марии Антуанетты из Вены в Париж, дабы не дать повода Габсбургам злорадствовать из-за нарушений этикета, примеряет у портного модные фраки, у сапожника — туфли с пряжками, охотится, много ездит верхом, чтобы похудеть, более того — опять учится танцевать.

В пути императрица получает нежное письмо, написанное так неразборчиво, что лишь большая буква «Н» в конце объясняет ей все, а в Компьене на следующий день она наконец своими глазами видит этого страшного человека.

Однако сквозь замшелые формальности этикета вдруг прорывается, словно свежий ветер молодости, железная воля императора и пламенный темперамент сокрушителя устоев: вместе с Мюратом он садится в простую коляску без гербов, снимает расшитый фрак, натягивает старый мундир и едет навстречу веренице карет невесты. Наполеон хочет устроить невесте сюрприз неожиданным появлением, но ее шталмейстер узнает его и распахивает дверцу: «Его Величество!» И вот он уже сидит рядом с ней в карете, отсылает фрейлину, целует невесту и весело смеется, потому что промок до нитки. А она, смущенная, произносит очень мило: «Ваш портрет, Сир, вам не льстит!»

«Красивой ее никак не назовешь, — думает он, — на лице небольшие оспины, губы толстые, глаза блекло-голубые, да и слишком пышногруда для своих лет. Но все же свежа и молода».

Церемониймейстеры вечером приходят в ужас: вся их программа встречи, готовившаяся неделями, пошла прахом, семья императора прибыла отдельно, все приходят и уходят как хотят, девушки с цветами вынуждены сократить поздравительные речи, ибо все приехавшие промокли и продрогли. Наскоро накрывается ужин на троих — молодоженам и Каролине. В час ночи в Компьене все укладываются спать. Но до этого император отводит дядюшку-кардинала в сторону и спрашивает: «После обручения в Вене нельзя ли уже считать Марию Луизу моей женой?» — «По гражданским законам можно, Сир», — с полным пониманием ситуации отвечает тот.

На следующее утро Наполеон велит принести завтрак на двоих к кровати императрицы. Через час это известно всем.

Этой ночной импровизированной атакой Наполеон победил легитимный мир точно так же, как побеждал в бою: он взял габсбургскую крепость штурмом, как и подobaет завоевателю...

На следующий день он пишет ничего не подозревающему тестю: «Она отвечает всем моим надеждам, и мы не можем остановиться, доказывая друг другу нежные чувства, связывающие нас. Мы прекрасно подходим друг к другу... Позвольте мне поблагодарить Вас за этот прекрасный подарок». Лишь после блестящего въезда в Париж их венчает дялюшка-кардинал. Жозефину он обвенчал на восемь лет позже, чем следовало, теперь он опоздал со своим благословением на 14 дней.

Император находит Марию Луизу премиленькой. «Женитесь на немках, — говорит он своему окружению, — они ласковы, не испорчены и свежи, как розы». Мария Луиза ладит с его семьей, за что он ей очень благодарен: покой в доме — это для него внове. Он внимательно оценивает ее туалет, щиплет ее за щечку, называет «мой милый зверек».

Спустя несколько недель приходит сообщение из Польши: родилось дитя, зачатое в Шенбрунне, — мальчик. Противоречивые чувства разрывают душу Наполеона: именно из того замка, в котором он жил всегда в отсутствие хозяина дома, он взял новую жену, которая, разумеется, еще не готова выполнить возложенную на нее задачу. Он колеблется, приглашает польку приехать в Париж. Но вскоре и Мария Луиза замечает, что собирается стать матерью. Император «находится в состоянии неописуемого торжества», пишет Меттерних в Вену. Сенату и народу торжественно объявляется о беременности императрицы, в церквах служат мессы в честь наследника трона, вся страна веселится на празднике радости, как в языческие времена.

Когда красавица Валевская приезжает в Париж, он дает ей все, что она только пожелает, навещает ребенка и ласкает его, присваивает ему титул графа, назначает канцлера

его опекуном, но больше ничто не объединяет любящих: Наполеон — добропорядочный буржуазный супруг.

Но когда приходит время рожать, императору предстоит принять решение, важное, как судьба. Париж и Франция знают, что молодая женщина рождает, и все ожидают наследника. Враги его заранее боятся, народ, в такие моменты всегда мыслящий династически, молится за мать и дитя. Всю ночь Наполеон бодрствует у постели жены, потом удаляется. Тут приходит врач и произносит страшные слова: ребенок лежит неправильно, жизнь и матери, и ребенка в опасности.

Император зримо ощущает, как покачнулась вся конструкция его династического плана. Не должен ли этот железный человек, которого врач спрашивает, что делать, — не должен ли он распорядиться спасти прежде всего ребенка, чьего рождения вместе с ним ожидают миллионы? Кто для него Мария Луиза? Если она родит ему здорового мальчика, тем самым ее миссия на земле исполнена. Может ли император решить иначе?

— Поступайте так, как если бы принимали роды у простой женщины. Спасайте в первую очередь мать.

Спустя два часа спасены оба. Париж напряженно считает орудийные залпы: 19, 20, 21 — это пока что девочка. И только с 22-м город охватывает буйная радость. И в то время как шум народного ликования, прерываемый залпами, окружает кольцом старый замок Бурбонов, приземистый лейтенант-артиллерист стоит у окна и, машинально определяя по выстрелам калибр орудий, смотрит на изменчивую толпу под окнами и думает о том, что было давно, и о том, что ждет его впереди.

В этот час камердинер увидел слезы на холодных серо-голубых глазах императора.

Книга IV

МОРЕ

*Человек должен
вернуться во прах!..
Но поскольку здесь,
на земле, все происходит
естественным путем,
то демоны все время
подставляют человеку ножку:
так в конце концов
погиб и Наполеон.*

ГЕТЕ

I

Теперь путь перед Наполеоном открыт так же безоговорочно, как одиннадцать лет назад, когда победа под Маренго обеспечила ему спокойствие внутри страны. И хотя победить Англию так и не удалось, зато Россия, по всей видимости, стала дружественной державой. И если Испания так и не покорилась, зато вся Европа зависима от него. Последний раз в жизни Наполеон имел полную свободу выбора при принятии важного решения.

Был бы он только расчетливым политиком, то его расчетливость вполне могла удовлетвориться империей Карла Великого, и Соединенные Штаты Европы под главенством Франции заменили бы мечты о мировом господстве. Был бы только фантастом, то вновь устремился бы вслед за Александром Македонским к Гангу, и Англия была бы лишь реальным поводом для похода в Индию. Но Наполеон был и тем, и другим, и потому ему все время угрожала опасность опровергать самого себя. Ибо его расчеты совершенно не учитывали такой в высшей степени реальный, но не поддающийся цифровому выражению фактор, как настроение гражданского населения в Испании и в Германии: ум полководца, привыкшего думать об армейских корпусах и пушках, просто сбрасывал со счетов такие вещи.

Все эти решающие годы — после рождения наследника и перед принятием решения начать войну — Наполеон пребывает в колебании, и все зависит от настроений, влия-

ющих на его решения. Предостережет ли его фантазия, нарисовав картины бунтующих народов, или же расчетливый ум укажет на опасности дальних походов? Что, если он по обоим проводам пустит не тот ток? Вспыхнет пожар.

Император понимает, что вступил в пору зрелости. «Я чувствую, что меня несет к какой-то цели, мне неизвестной. Но как только я ее достигну, как только меня не будет больше вести высшее предназначение, одного атома хватит, чтобы меня изничтожить. До той поры все человеческие силы ничего не смогут со мной поделать. Дни мои сочтены».

Они и впрямь сочтены, и в этих провидческих словах уже слышится предчувствие конца, хотя путь к нему неизвестен. Лишь теперь, на пути к трагедии, затуманивается его доселе ясная душа, и он сам называет поход на Россию «пятым актом». «Я вконец исчерпал себя» сказано было им на берегу Нила, когда ему было тридцать. Теперь, в сорок три, он заявляет на Государственном совете: «Все это будет длиться, пока я жив. Когда меня не станет, мой сын, наверное, будет счастлив, получая сорок тысяч франков ренты».

Но одновременно с новой силой разгорается в Наполеоне его прежняя страсть. Со времени Египетского похода его преследовала идея стать вторым Александром. Что же теперь, впервые обладая достаточными средствами для ее достижения, он забыл о ней? Канцлер поздравляет Наполеона с Новым годом, а тот отвечает, словно вдруг помолодев: «Чтобы вы могли повторять свои поздравления еще тридцать лет, мне придется поумнеть».

Мудрым Наполеон никогда не был, но умным был и остается. Убедившись, что товарная блокада наносит ущерб его собственной стране, он в нарушение собственных запретов выдает лицензии на ввоз из Англии некоторых видов сырья и красителей, поскольку они частично незаменимы, а частично без них просто немыслима присущая Парижу роскошь. Однако этими лицензиями вскоре начинают торговать во всех странах, так что в конце концов контрабандисты и спекулянты на берегах Северного и Балтийского морей продают втридорога те самые колониальные товары, сбыт которых император хочет пресечь. Что, ему, тертому калачу, дать обвести себя вокруг пальца ка-

ким-то там спекулянтам? Уж лучше он возьмет в свои руки этот промысел и наложит на все колониальные товары, обнаруженные в Европе, пятидесятипроцентный таможенный сбор, идущий в государственную казну. А поскольку Наполеон одновременно отдает приказ повсеместно сжигать английские шерстяные изделия, то он открывает тысячам бездельников поле для жульнических доходов. Возникла партизанская война наподобие испанской, в которой торговцы одержали победу над императором.

Одновременно начинается война декретов. Поскольку Париж запретил торговлю английскими товарами, Лондон требует от всех нейтралов платить высокие пошлины за разрешение входить в блокированные гавани. Париж же, в свою очередь, объявляет любое нейтральное судно, входящее согласно этому декрету в гавань Лондона или Мальты, своим военным трофеем. В ответ на это Лондон отправляет свои товары в Европу под чужими флагами, на что Париж отвечает введением контроля за всеми нейтралами в Средиземном море. Америка запрещает своим гражданам всякую торговлю, а временно — и всякое общение с Европой, и император даже обещает американцам всевозможные виды лицензий, если их суда не будут заходить в английские порты: к таким парадоксам приводит ограничение морской торговли, с помощью которого хотя и добьются свободы на морях.

Надежды Наполеона все растут. Английский фунт стоит 17 франков, английские банки лопаются, в парламенте оппозиция выступает против продолжения торговой войны. Тем не менее его новые мирные предложения отклоняются. Причина и одновременно следствие английского упорства заключаются в испанских мятежах.

В этой стране все еще находится армия французов и их вассалов численностью в четверть миллиона, которая никак не может вытеснить тридцатитысячную армию Веллингтона, потому что отряды партизан, руководимые офицерами и монахами, стреляют в оккупантов из тысячи укрытий. Конфликт между Папой и императором усиливает позиции монахов, и в то время как французских детей на северных склонах Пиренеев учат в школе, что Наполеон сидит на троне наместником самого Господа бога, испанс-

ких детей на южных склонах тех же гор учат, что Наполеон — исчадие ада, и потому убийство каждого француза — в высшей степени богоугодный поступок.

Наполеоновские генералы начинают ссориться между собой. Император посылает Массену в Португалию. Одновременно он отбирает у короля Жозефа четыре провинции, а когда тот в Париже требует отмены этого декрета, Наполеон объявляет, что его брат сам отказался от этих стран, передает каждому генералу в управление по одной провинции и ставит над ними маршала. Так жестоко и так запоздало он вводит наконец римскую систему губернаторов. Тем временем ужасные бои, усиленные голодом и болезнями, заставляют Массену отойти назад. Наполеон, вне себя от бешенства, отзывает его.

Поймет ли наконец император, что его присутствие необходимо этой стране? Маршалы, офицеры и, главное, солдаты ждут его. Он знает об этом и все же не приезжает. Бойтся ли он покушений фанатичного народа? Или заговоров в своем отечестве? Но что для него эта Испания! И Наполеон посылает туда старейшего своего соратника Мармона, чтобы тот покончил с беспорядками.

Второй брат-король тоже не справился со своим королевством, хоть и не было в том его вины. Император сначала отобрал у него все голландские земли на левом берегу Рейна, с оставшейся территории обязал собирать пошлину в казну Франции и, главное, восстановил против себя этот народ торговцев и мореплавателей строгими запретами на торговлю с Англией. Он ожидал от обоих братьев, что они подавят национальные движения в своих новых странах, в равной степени недооценив тем самым и силу патриотических чувств народа, и чувство гордости у этих насильно посаженных на трон королей. С тем и с другим куда легче справились бы опытные губернаторы, чем короли под тяжестью исторических корон.

Людовик не мог больше выносить опеку императора, он отрекся от престола в пользу своего младшего сына и под покровом ночи скрылся из королевства. Ищейки Наполеона обыскали всю Европу и нашли его наконец в Австрии.

Император скрипит зубами от злости, однако понима-

ет, что сам виноват в случившемся. Он посылает к брату врача: король-меланхолик объяснил свой поступок болезненным состоянием. А матери пишет, что Людовик нашелся, ей не о чем тревожиться, однако «он ведет себя так, что это можно объяснить только его болезнью. Ваш преданный сын Наполеон».

Столь редкая подпись производит впечатление нарочитой — слишком уж необычен тон письма, слишком непохож на тон бесчисленных посланий диктатора Европы. Тем временем беглому королю легко дышится в Гарце, он живет там анонимно, предаваясь поэзии, и в трех томах описывает историю своей любви, некогда растоптанной императором: «Мария, или Страдания любви». Но когда и Жозеф, беря с него пример, выражает желание вернуться в свой замок, он тут же чувствует на своем плече железную руку: императору кажется опасным предоставить брату-демократу возможность плести интриги в Париже, и он отсылает его в армию, поручив командование какой-то мифической частью. Так что Жозефу приходится вновь овладевать военным ремеслом, в котором он, к огорчению императора, ничего не смыслит.

Тем временем легкомысленные Жером и Полина развлекаются любовными связями, Мюрат и Каролина по уши погрузились в старые и новые интриги, а Элиза выпускает в свет такое количество печатной продукции о своих парадах и охотах, что императора больше выводит из себя ее самореклама, чем ее наряды и кавалькады. Он пишет ей: «Европу мало заботит, что поделявает великая герцогиня Тосканская».

Однако Наполеон еще не понимает, кто из его родственников представляет собой главную опасность. Престарелого короля Швеции за его дружеское расположение к Англии он заставляет отречься от престола в пользу его дядюшки, а преданного императору дядюшку — объявить войну Англии. Но тот ввиду преклонного возраста и отсутствия детей счел за лучшее назначить своим преемником одного из родственников императора. Так Бернадот, свояк Жозефа, во время войны приобретший друзей в Шведской Померании, путем интриг и в особенности с помощью Фуше внезапно становится кронпринцем Швеции. Если

императору было уже само по себе тяжело отказаться в чужом троне французскому генералу, то уж совсем невозможным казалось ему так поступить со своим старым соперником, едва не перечеркнувшим его планы 18 брюмера и женившимся на покинутой им в юности возлюбленной. «Хороший вояка, — сердился император, — но абсолютно бездарный правитель, один из этих старых якобинцев с кашей в голове, как они все, а с кашей в голове невозможно удержаться ни на каком троне... И тем не менее я не могу вмешиваться в это дело, хотя бы уже из-за того, что французский маршал на троне Густава Адольфа — самая лучшая шутка, какую мы когда-либо сыграли с англичанами... Я рад, что избавился от него».

Он так беззаботен? Раньше он старался не отпускать сомнительных персонажей со своих глаз.

Бернадот торжествует. Вскоре и он наконец-то получит корону и даже не будет обязан ненавистному Бонапарту. И он пишет тому, кто еще вчера был его Верховным Главнокомандующим, письмо, выдержанное в кисло-сладком тоне, где как кронпринц Швеции предлагает Наполеону солдат и железо, но за это требует денег. Император улыбается: он прекрасно понимает, что скрывается за этими строчками, и не отвечает на письмо, лишь велит написать, что не состоит в переписке с кронпринцами. Этой пощечины старинный враг ему не забудет: не пройдет и двух лет — он страшно отомстит за эту пощечину и за все, что ей предшествовало!

С горьким чувством император видит, как тут и там вспыхивает пламя, зажженное им самим, и не скрывает от близких свое разочарование родственниками и аристократами: «Мне не следовало раздавать короны ни Мюрату, ни братьям, но, чтобы поумнеть, надо время!.. И эмигрантам я зря вернул их поместья, надо было перевести их в государственные, а им самим дать по небольшой ренте. Я не люблю этих людей прежней закваски, их легкий стиль жизни не совпадает с тяжелым ритмом моей. Сам я не присваивал чужого наследства и взял лишь то, что никому не принадлежало. При этом я ведь мог все повернуть иначе: назначить лишь губернаторов и вице-королей. Даже среди маршалов кое-кто уже мечтает о величии и независимости».

Наконец Наполеон увидел опасные последствия игры в императорство! А ведь сама идея родилась в минуты слабости человека, который почти не переставал верить в бессмертие своих дел и своей славы, не нуждаясь в их династическом подкреплении после смерти. Ах, как они ему вскоре отомстят, все эти братья, шурины и маршалы, сверкавшие лишь отраженным от него светом! Когда его свет померкнет, они еще будут пытаться отблесками былого величия осветить Европу, впавшую в новый мрак.

Глубоко укоренилась в Наполеоне маниакальная вера в свою врожденную везучесть. Когда после рождения сына весь высший свет является во дворец с поздравлениями, в числе прочих склоняются в поклоне и Шварценберг с супругой: австрийский посол в Париже во многом способствовал тому, чтобы этот брак состоялся. В порыве благодарности император вытаскивает из-под ворота мундира булавку, украшенную скарабеем, протягивает ее супруге посла и говорит: «Этот камень я нашел в гробницах египетских фараонов. С тех пор всегда носил с собой как талисман. Возьмите его: теперь он мне не нужен».

Нигде больше не чувствуется с такой силой эта в общем-то совершенно не свойственная Наполеону наглая самоуверенность, как в этих словах гениального и суеверного человека. В сыне он видит спасение от всех опасностей, в талисмানে теперь нет нужды.

До какой же степени короли и братья были для него лишь заменой сына! Только теперь, при виде живого младенца, плоть от своей плоти, Наполеон осознает свою ошибку, и роковые последствия бездетности Жозефины проявляются со всей ясностью. Слишком много усилий и лет ушли на то, чтобы предоставить этому наследнику ту великую роль, для которой он явился на свет слишком поздно. Ибо при таком жизненном темпе, когда ты в 22 года еще лейтенант, а в 34 уже император, поздно родить первенца в 41 год.

Трогательные сцены: с безжалостной быстротой стареющий император качает на коленях это долгожданное существо, напяливает на него свою шляпу, позволяет ему являться к завтраку, даже забегать в кабинет. Если Наполеону приносят мальчика в те минуты, когда он разложил на пар-

кете круглые палочки, имитируя войска и раздумывая, как бы наконец разбить Веллингтона в Испании, то гувернантка, согласно заведенному в доме порядку, не имеет права переступить через порог. Он сам подходит к двери, берет ребенка на руки, сажает на пол и терпеливо смотрит, как мальчик ломает ему все боевые порядки. Потом смеется, строит перед зеркалом рожи, пристегивает к поясу двухлетнего малыша свою шпагу...

Ребенка Наполеон находит «гордым и чувствительным. Он как раз такой, как я люблю... Мой сын толстенький и чувствует себя прекрасно. У него мои легкие, мои глаза и мой рот. Надеюсь, из него получится что-то стоящее». Так по-обывательски просто пишет император только своей старенькой подружке, навязывая ей прежний приятельский тон, после того как она обратилась к нему в письме: «Ваше Величество».

«Ты написала мне плохое письмо. Я все такой же, чувства мои не изменились... Больше я ничего не скажу, пока ты не сравнишь это мое письмо с твоим. И потом суди сама, кто из нас двоих лучший друг — ты или я». Ни с кем из людей он не говорит так просто, разве что с Бертье. Однако его сердит, что Жозефина все еще делает долги: лучше бы откладывала из своих трех миллионов ежегодной ренты полтора миллиона: «Через десять лет они превратились бы в пятнадцать миллионов для твоих внуков... Сообщи мне, выздоровела ли. Говорят, ты так растолстела, что стала похожа на добрую норманнскую крестьянку».

Наполеон не навещает Жозефину, других приятельниц прежних лет он тоже не подпускает к себе, ибо брак воспринимает как стопроцентный буржуа и одновременно как итальянец, а как коронованная особа желает дать своим подданным хороший пример. Поскольку Мария Луиза не предъявляет никаких сугубо национальных требований и ее неустойчивый, скучный и легкий нрав быстро офранцузивается, то супруги легко уживаются друг с другом. У императора всегда есть для нее время, и когда Мария Луиза учится ездить верхом, он терпеливо шагает рядом с лошадью. Даже когда она опаздывает к обеду, он ждет ее, хотя никогда не умел ждать. Она его не боится и даже дерзко заявляет послу своего отца, что, как ей кажется, Напо-

леон сам ее немного побаивается. Императору важно произвести на венский двор хорошее впечатление, и, когда из политических соображений понадобилось, чтобы в Вене официально узнали о том, что его супруга счастлива, он привел Меттерниха к императрице, а сам вышел, сунув ключ от гостиной в карман. Лишь спустя час Наполеон выпустил обоих, с хитрой улыбкой спросив, знает ли теперь Меттерних, что императрица счастлива.

Это все только шутки, но они немного снимают тяжесть с этой перегруженной трудностями души, и некоторая душевная разрядка, которую ему в эти годы дарит свежесть Марии Луизы, останется ее единственной заслугой.

Но политической разрядки, как он надеялся, брак ему не принес. Отец молодой жены, привыкший обогащаться за счет замужества дочерей, надеялся получить несколько провинций в качестве дара новобрачной, но ничего не получил. Тем неистовее император Франц злился на ничтожного корсиканца за пережитое по его милости унижение, ибо хоть бракосочетание в Хофбурге совершалось при закрытых дверях, тем не менее этот брак казался всем постыдным. Чтобы успокоить свое легитимное сердце, Габсбург приказал перерыть все тосканские архивы в поисках предков Буонапарте. Однако когда Франц при встрече сообщил зятю, что проследил его генеалогическое древо вплоть до XI века в Тревизо, столице Тосканы, первый и последний Буонапарте дал ему великолепный ответ:

— Благодарю, Сир. Я предпочитаю быть Рудольфом моего рода.

Гордые слова выскочки о Рудольфе фон Габсбурге, родоначальнике династии Габсбургов, глубоко въелись в душу потомка старинной династии, и когда вскоре лишь от настроения австрийского суверена будет зависеть, воевать ему на стороне своего зятя или против него, то несколько запомнившихся возмутительных оскорблений немало повлияют на его выбор. Слишком поздно осознает это и сам император: «Стоило мне тогда смириться с его капризами, — почем знать, может, на равнине под Лейпцигом против нас было бы на 100 000 солдат меньше!»

Больше всего Франца бесит история с Папой. После насильственного выдворения из Рима Наполеон все больше

ограничивал его свободу и в конце концов стал содержать в своего рода почетной ссылке в Савоне. Назревал церковный раскол. 13 кардиналов не приехали на бракосочетание императора, поскольку провозглашенный Фешем развод не был признан Папой. Теперь Наполеон приказывает перевезти в Париж огромные ящики с ватиканскими государственными бумагами, как будто в самом деле решил объявить этот город столицей христианского мира, затем созывает прелатов его европейской империи и заставляет их принять декрет, согласно которому Папа лишается канонической инвеституры епископов в случае расхождения во мнениях, который тот в конце концов и подписывает, по крайней мере по Франции.

Из-за всех этих вопросов по Европе идет брожение и раскол. Русские и поляки в принципе рады, что дела у Папы плохи, пруссаки и англичане — тем более, и только одному обстоятельству все удивляются: почему сами граждане церковного государства поддерживают императора?

Отлученный от церкви император пускает в ход всю свою хитрость, чтобы обратить гнев на самого Папу. Принимая священников в недавно аннексированной Голландии, он в присутствии протестантов набрасывается на епископов: «Вы исповедуете религию Папы Григория VII? Я нет. Я придерживаюсь учения Иисуса Христа, который сказал: «Дайте кесарю кесарево», и, повинувшись Евангелию, я даю Богу Богово. Мой скипетр дан мне Богом. Я несущу мирской меч и умею с ним управляться. Троны воздвигает Бог. Не я сел на свой трон: на него посадил меня Господь! А вы, простые смертные, хотите этому воспротивиться? Не хотите молиться за своего монарха из-за того, что римский священник отлучил его от церкви? Вы думаете, я создан для того, чтобы целовать туфлю Папе? Докажите-ка мне, глупцы, что Иисус назначил Папу своим наместником на земле и что тот имеет право отлучать от церкви монархов! Будьте добропорядочными гражданами, подпишите Конкордат. А вы, господин префект, примите меры, чтобы я не слышал больше ни слова об этих вещах!»

Вот до каких мыслей дошел Наполеон. И хотя он не верит ни одному своему слову и в узком кругу высмеивает эту официальную точку зрения: все-таки на венце из золотых

лавровых листьев, который он на глазах римского первосвященника однажды сам возложил себе на голову и нести который оказалось так тяжело, все-таки на этом венце — символ господнего благоволения.

II

«Сообщите мне, почему цена на соль в районе Страсбурга повысилась на одно су».

Рядом с этим запросом к военному министру лежит письмо в Министерство морского флота: в течение ближайших трех лет необходимо построить два мощных флота — средиземноморский и атлантический. Первый — против Сицилии и Египта, второй — против Ирландии. Как только дела в Испании пойдут на лад, они объединятся для экспедиции к мысу Доброй Надежды, доставят 60— 80 тысяч человек в Суринам и на остров Мартинику и, «избегая встреч с вражескими крейсерами», распространятся на оба полушария.

«Хотят знать, куда мы идем? Мы покончим с Европой, затем по-разбойничьи набросимся на менее храбрых разбойников, чем мы, и завладеем Индией, хозяевами которой они стали... Еще в Акке я сказал себе, что путь Александра до Ганга был не более длинным. Ныне я должен, двигаясь от края Европы, захватить Индию с тыла, дабы поразить в самое сердце Англию... Представьте себе, что Москва взята, царь усмирен или же убит своими в результате дворцового заговора, тогда можно будет основать новый, зависимый от нас трон, — и скажите мне, не сможет ли французская армия, усиленная вспомогательными отрядами из Тифлиса, дойти до Ганга, чтобы там одним своим появлением разрушить всю пирамиду английского меркантилизма! Одним ударом Франция сломала бы независимость Альбиона и добилась свободы мореплавания!» Свидетель рассказывает, что при этих словах «глаза его горели необычайным пламенем, и он продолжал излагать причины и трудности, средства и перспективы».

«Царь усмирен или же убит своими» — это тема целого года, ведь Наполеон предпочитает видеть в Александре

друга, а не неприятеля, он отнюдь не заинтересован в военном поражении России. Император даже побаивается развязывать именно эту войну и старается избежать ее, как уже бывало раньше с другими войнами, но только в том случае, если царь, как было ранее решено, станет его союзником. Наблюдая за действиями царя и убеждаясь, что тот все больше ускользает из-под его влияния, Наполеон пишет одному из князей Рейнского союза примечательные слова: «Эта война разразится вопреки воле царя, вопреки моей воле и вопреки интересам обеих империй».

Никогда еще Наполеон-император или Наполеон-Консул не объявлял, что война неизбежна, такими словами: именно потому, что у него нет никакого разумного обоснования, он может списать предстоящую войну с Россией на злой рок. Зародыш этой войны зашевелился еще при первом рукопожатии в плавучем шатре мира на реке Мемель. При близком общении императора и царя, перешедшем в дружбу, зародыш этот рос неприметно для глаз. Позже государственная измена Талейрана весьма содействовала его росту, и, заключая друг друга в объятия в Эрфурте, оба монарха чувствовали между собой змею. Потом им не удалось породниться путем женитьбы, и это было не случайностью, а следствием недоверия, которое овладело царем, не ослабевало в дальнейшем и в конечном счете оказалось вполне обоснованным. Два человека, замысливших поделить между собой Европу, не пожелали делить ее поровну, и насколько поначалу честны были их намерения, настолько же невыполнимыми они оказались потом. Неотвратимо приближался момент их поединка. «Только он один еще давит сверху на вершину построенного мной. Мой соперник молод, силы его с каждым днем растут, а мои слабеют».

Несколько раньше император уже призывал царя конфисковывать суда нейтральных государств, как делал он сам, дабы тем самым «добить Англию». Царь не может согласиться с такой мерой, ибо она причиняет вред его собственному судоходству, и поэтому хочет лишь изымать контрабанду, что делал раньше. Но колониальные товары, доставляемые нейтралами, ему нужны. Поскольку дыру в блокаде не удалось заткнуть на востоке, императору при-

шлось вдвое усилить охрану побережья германских государств. Он прибирает к рукам устья Везера и Эльбы, ганзейские города и часть территории Ганновера: «Этот новый залог в борьбе с Англией продиктован обстоятельствами». Заодно прихватывается и близкородственный царю Ольденбург.

Эти логичные действия императора не могут не задеть царя, назвавшего такой шаг Наполеона кулачным ударом по Европе и нарушением Тильзитского договора, гарантировавшего ему Ольденбург. И когда Александр рассылает главам европейских государств протест против этого поступка императора, оскорбительного для его семьи, то это уже похоже на объявление войны. В этом послании царь задает вопрос, какой же смысл в союзах, если союзнические договоры не соблюдаются, и все министры Европы покатываются от хохота, читая заключительную фразу, в которой альянс с Францией признается действующим. Потом Александр своим указом открывает колониальным товарам вход в российские порты, однако устанавливает непомерно высокие пошлины на вино и шелк — товары из Франции.

В Петербурге и Париже разложены карты: где можно ущемить другого? Царь хочет заключить мир с Турцией, император выбирает в пику царю Австрию — пусть, мол, она завладеет Сербией, введет войска в Молдову и Валахию, он посмотрит на это сквозь пальцы: так он запугивает царя. Меттерних кивнул, но палец о палец не ударил. А ведь есть еще и Польша. Разве он уже не прирастил Варшавское герцогство Галицией? Кто поручится, что император не восстановит независимость Польши? Коленкур, посол императора, почитающий царя и желающий мира, ручается, что этого не случится. Но император согласен ратифицировать эту договоренность лишь без предания ее гласности, ведь Польша ему необходима как опора против царя, если война все же грянет. Значит, нужно поддерживать в поляках эту надежду. Именно поэтому царь и требует публикации договора, дабы лишить их этой надежды.

Когда Массена терпит поражение в Испании, у императора возникают новые сомнения. Коленкур, вернувшись в Париж, старается их раздуть, расписывает миролюбие царя

и слишком далеко заходит в его защите. Император сначала резко обрывает его, потом все же выслушивает, подробно расспрашивает о царе, его благочестии, о дворянстве, о придворных, о крестьянах, а потом — в знак доверия — притягивает его к себе за ушко и спрашивает:

— Уж не влюблены ли вы в царя?

— Я влюблен в мир.

— Я тоже. Но никому не позволю мне что-либо предписывать. Вывести мои войска из Данцига! Не хватало еще, чтобы я спрашивал у Александра, не разрешит ли он мне провести парад в Майнце... Да вы просто глупец. А я — старый лис и знаю своих людей... Русского колосса нужно лишить возможности наводнить своими ордами Юг... А я пробьюсь на север и восстановлю там границы прежней Европы.

Сплошь неделовые причины, какие-то умолчания, поводы. Дабы предостеречь, посол приводит императору собственные слова царя: «Я извлеку пользу из его уроков, их давал мне мастер своего дела. Мы предоставим ведение войны нашему климату, французы менее закалены, чем русские, и чудеса происходят лишь там, где присутствует император, а он не может быть везде». При этих словах Наполеон начинает в волнении ходить из угла в угол по комнате, беседа тянется часами. Поскольку ему нечем крыть, он дает туманные ответы, за которыми смутно угадываются грандиозные устремления:

— Одна настоящая битва положит конец прекрасным планам вашего друга Александра... Он лжив, тщеславен и слабоволен, у него натура грека. Он лелеет тайную надежду на эту войну, это он ее хочет, поверьте мне... Нас отделила друг от друга лишь моя женитьба на австрийской принцессе, он сердит на меня за то, что я не взял в жены его сестру. — А когда собеседник доказывает обратное, он возражает:

— Эти подробности я уже забыл.

Забыл? Новое для него слово. Он чувствует слабость своих аргументов и потому отмахивается от фактов, которыми прежде жил.

Потом посылает к царю более опытного посла, и, когда Петербург предлагает поменять Варшаву на Ольденбург,

император отвечает русскому представителю громовыми раскатами на весь зал: «Ни одной польской деревни!»

Однако все эти политические увертки лишь игра судьбы. Мозг Наполеона пронизан множеством планов, душа изъедена желанием, и душу свою он откроет скорее такому опасному врагу, как Фуше, чем такому умному служаке, как Коленкур. Отказаться от услуг якобинского священника он не в силах. Уволив Фуше в прошлом году с поста министра полиции за явные связи с англичанами, он не арестовал его и не выслал из страны, а, наоборот с почетом пригласил в Сенат и лишь присовокупил к своему письму язвительную фразу, проливающую свет на жесточайшую борьбу между монархом и главным соглядатаем: «Хотя я не сомневаюсь в вашей привязанности и преданности, я все же вынужден установить за вами постоянное наблюдение, что меня чрезвычайно утомляет и чем заниматься я никоим образом не обязан».

Однако и увольняя, и подвергая главного шпика слежке, император все равно не может без него обойтись, более того, он поверяет ему самые сокровенные мысли:

— Со времени моей женитьбы думают, что лев спит. Еще увидят, спит ли он. Мне нужно 800 000 солдат, и я их имею: потащу за собой всю Европу. Европа — это всего лишь старая баба, с которой я при моих 800 000 могу делать, что захочу... Разве вы сами не сказали мне, что преклоняетесь перед гением за то, что для него нет ничего невозможного? Разве я виноват в том, что слишком большая власть толкает меня к установлению диктатуры в мире? И разве вы и прочие, кто нынче упрекает меня и хочет превратить в эдакого добренького правителя, не содействовали этому? Я еще не исполнил своего предназначения и хочу завершить то, к чему только приступил. *Нам нужен общеввропейский закон, общеввропейский кассационный суд, единая валюта, единые меры размера и веса, нам нужны одинаковые законы для всей Европы. Из всех народов я хочу сделать один народ.* Это единственное решение, которое мне нравится.

Потом вдруг дает ему знак выйти.

В этих фразах явственно проступает наполеоновское видение Соединенных Штатов Европы. И план этот до-

шел до нас в мемуарах человека, который скорее был склонен навредить своему шефу, — план с вполне разумными выводами и столь же демоническими причинами. Европа уже не кротовая нора, какой была в пору Милана и Риволи, когда Наполеон был еще только генералом и любой противник казался юному гению слишком ничтожным. Теперь, спустя пятнадцать лет, Европа стала материалом, из которого великий сторонник порядка и враг анархии, ею же порожденный, хочет вылепить нечто цельное и благородное. Позади остались миражи единой Европы в стиле Карла Великого, впереди смутно вырисовываются новые формы, а между ними стоит Цезарь, который точно знает, что разум в конечном счете сильнее меча.

III

В то время как идеи Наполеона попадают в уши Фуше, золото Александра попадает в карман Талейрана, который, вероятно, делится с Фуше. Справку об этом мог бы дать банк, куда граф Нессельроде, новый секретарь российского посольства, кладет деньги за информацию Талейрана. Из месяца в месяц таким удобным способом в России узнают, как во Франции продвигается вооружение армии и когда следует быть готовыми. Стоило бы поглядеть на улыбку этого хромоногого Мефистофеля, когда он иногда получает вместо денег российские торговые лицензии, дающие право на ввоз английских товаров в российские порты: их можно продать в Париже за хорошие деньги.

Разве царь богаче императора? Первым делом царь, будучи все еще союзником императора, закрыл для него внутренний рынок. А поскольку Англия и Испания уже давно не выступают в качестве крупного покупателя, французская промышленность начала приходить в упадок. Однако, когда министр финансов рекомендует сохранять мир, поскольку трудное финансовое положение нуждается в стабильности, император его перебивает: «Наоборот! Финансы испытывают трудности, и именно поэтому нам нужна война!»

Этот аргумент раньше и впрямь соответствовал дей-

ствительности: как некогда генерал присылал из Италии деньги погрязшей в долгах Директории, так и Консул и император всегда извлекал деньги из своих войн. Правда, теперь государство, больше всех страдающее от установленной им самим континентальной блокады, впервые оказалось в бюджетном дефиците, хотя и небольшом — около 50 миллионов. Но и теперь император отклоняет введение какого бы то ни было государственного займа: «Он безнравствен, ибо ложится на плечи следующих поколений». Тем не менее Наполеон разрешает ввести косвенные налоги и государственные монополии и в общем-то прав, ожидая от войны с Россией новых рынков и тем самым улучшения финансового положения страны. Конечно, если удастся победить.

С жаром раскрывает он свои планы:

«Своей блокадой Англия навредила больше всего себе самой, а мы научимся обходиться без ее товаров. Через несколько лет Европа привыкнет к новой системе питания. Скоро мы будем иметь вволю свекольного сахара и обойдемся без тростникового... Ежегодно мне поступает 900 миллионов дохода только из своей страны, и 300 миллионов лежат в подвалах Тюильри. Во Французском банке полным-полно серебра, в Английском — ничего нет. После Тильзита я получил для страны больше миллиарда контрибуций. Австрия уже вылетела в трубу. Англия и Россия скоро последуют за нею. Только у меня есть деньги».

Несмотря на все это, никто ему уже не доверяет. Наполеон все бдительнее следит за спокойствием внутри страны, и усиливающаяся благодаря этому диктатура лишь еще больше омрачает настроение граждан. Преследуется любой намек на критику даже в самых отдаленных уголках провинции, более трех тысяч государственных преступников сидят за решеткой без суда лишь потому, что «он ненавидит императора» или «по причине религиозных взглядов», либо «из-за антиправительственных высказываний в частной переписке». Создается новое пресс-бюро с циничным названием «Бюро общественного мнения» для присмотра за политическими публикациями, и если в какой-нибудь голландской газете напечатано, что Папа Римский имеет право отлучать королей от церкви, то газету запре-

щают, а автора сажают в тюрьму. Из какой-то книги приходится изъять фразы, одобряющие английскую конституцию, другую книгу переименовать: вместо «История Бонапарта» — «Военные кампании Наполеона Великого».

При таком духовном гнете вполне императорским жестом кажется присвоение Монжу и Лапласу, а также Герену, Жерару и другим деятелям искусства баронских титулов. Когда в Гамбурге, входящем теперь во Французскую империю, запрещается постановка «Разбойников» Шиллера, то последние республиканцы с горькой иронией вспоминают, что двадцать лет назад Революция за эту же драму присвоила автору почетное гражданство.

Только императору нет дела до настроений этих фантазеров. Всецело в плену собственной мощи, узрев впереди цель своей жизни, Наполеон, как было и при борьбе с Папой, не обращает внимания на впечатление, производимое им на общество, и если раньше он интересовался общественным мнением, теперь манипулирует им с помощью одноименного бюро. «Что мне за дело до мнений салонных болтунов! Я знаю только одно мнение — мнение крестьян». Те, естественно, были самыми верными его сторонниками, поскольку он поначалу спас их собственность от угрозы полного разорения. Но теперь, когда война в Испании требует все новых и новых рекрутов, отцы платят до 8 000 франков тому, кто пойдет в солдаты вместо их сына. Уже тысячи этих несчастных юношей уклоняются от призыва, и если раньше молодые люди с восторгом «становились под знамена», то теперь их приходится тащить туда с помощью «летучих отрядов» и угроз семье и общине.

Могло ли удивить императора такое изменение? Разве генерал Бонапарт выступил в поход не для того, чтобы нести идеи Революции народам, угнетенным императорами и королями? Разве не пришлось Первому Консулу в его единственной военной кампании, а императору в трех войнах отбивать все новые и новые нападения монархических союзов? В этих навязанных ему войнах Наполеон завоевал больше, чем только свободу родины, под Аустерлицем, Йеной и Ваграмом он отторг у противников новые провинции, и именно это воодушевляло французскую ар-

мию на очередные славные победы. Даже соперничество с Англией было понятно французам: так повелось при их отцах и дедах. Но что должен был думать крестьянин из Прованса об этих политически рассчитанных походах в Испанию и Россию? О Соединенных Штатах Европы император не мог с ним говорить. Крестьянин видел, что в реках Андалузии, названий которых он и произнести не мог, исчезают его сыновья, на чьи плечи он надеялся опереться в старости: вот он в сердцах и выкупал у императора своих сыновей.

А уж что было сказать германским крестьянам, называемым «контингентом», когда они по зову своих королевей покидали дома, чтобы идти за чужим императором в дальние страны? Тысячи крестьян с Майна должны отправиться в Испанию, 30 000 вестфальцев Жером посылает на Одер, саксонцы прикрывают Вислу, вюртембергцы и баварцы тоже устремляются на восток, ибо «если князь Рейнского союза, — пишет император одному из них, — из-за своей склонности к совместной обороне позволят возникнуть малейшему сомнению во мне, они погибнут, признаю открыто. Врагов я предпочитаю ненадежным друзьям». Так звенит металлом властное слово хозяина. С Габсбургом он обходится немного вежливее, даже обещает ему в награду Силезию, если все кончится благополучно.

Клочковатая Германия, состоящая из множества мелких территорий, вообще очень удобна императору для обмена и перетасовки народов в соответствии с его надобностями. Трех южногерманским государствам приходится неоднократно обмениваться землями и гражданами, их населяющими, а поскольку Эжен вынужден уступить свое королевство сыну императора, носящему теперь титул король Римский, то самому Эжену приходится довольствоваться наскоро слепленным Великим герцогством Франкфуртским...

Но что будет с Пруссией? Зачем она вообще нужна? Разве Наполеон не сохранил ее в Тильзите лишь ради русского царя, которого теперь собирается уничтожить? Записки и рапорты намекают, что Пруссия и теперь, перед самым началом русской кампании, должна быть расчленена. Знает

ли он, что Пруссия уже год как связана секретным договором с русским царем, пообещавшим ей помощь? Во всяком случае император довольно наслышался о либерально-патриотическом Тугендбунде, о бурлении в университетах, о добровольческих отрядах и бунтарских песенках. Осторожно! Вспомни об Испании, не полагайся на «терпимость и холодность этих северных немцев». Разумнее сначала использовать прусскую армию, а уж потом ее уничтожить.

Благородный Шарнгорст с жаром уговаривает своего слабовольного короля: сейчас момент настал. Однако в Вене Меттерних обводит вокруг пальца прусского генерала и, когда тот ставит вопрос о союзе, прямо советует ему на этот раз идти вместе не с Габсбургом, а с Россией. Ибо только если его партнер по переговорам о мнимой дружбе станет его противником, Габсбург сможет в конце концов вернуть себе Силезию. В то же время Гарденберг, как всегда, колеблется, и король, который ни на что не может решиться и считает Наполеона непобедимым, заключает с ним новый альянс — слишком поздно, чтобы выторговать для себя выгодные условия. Уже Силезия и Польша кишмя кишат войсками, так что Пруссия взята в клещи: тут уж приходится терпеть, что с тобой обращаются как с вассалом, разрешать свободный проход войск и реквизиции, отдавать собственные восточные крепости и вспомогательный корпус под командование чужим маршалам, и Меттерних имеет все основания радостно написать своему монарху: «Пруссию больше нельзя ставить в ряд с другими державами».

И тем не менее! Хотя вся Европа от Капуа до Тильзита в начале 1812 года поставляет Наполеону войска, хотя его власть простирается от Финистерре до Буковины, он чувствует бесперспективность затеянного им похода и на глазах графа Сегюра, оторвавшись от своих бесконечных списков и расчетов, вдруг вскрикивает: «Я еще не готов к столь дальнему театру военных действий! Мне нужно еще три года!»

Однако заведенная машина уже сама собой катится, и никто не в силах ее остановить. Теперь императора толкает вперед внутренняя необходимость, и его, построившего множество гаваней, дабы было где укрыться при любой не-

погоде, в конце концов стремительно выносит в открытое море раньше, чем он того хотел. Теперь он с дикой решимостью великого авантюриста хватается за штурвал, которым так долго управлял, руководствуясь разумом государственника.

«Разве вы все не видите, — кричит он брату, — что я могу удержаться на этом троне только благодаря славе, которая меня на него возвела? Что простой человек, возвысившийся до властелина, не имеет права на передышку? Что он должен беспрерывно подниматься вверх и погибнет, если остановится?»

Мятущееся пламя взволнованной души жаждет последнего сражения — и не хочет его. Его письмо царю, которым он, как всегда, предвещает войну, написано еще в весьма теплых тонах. Одновременно он обращается к русскому полковнику, шатающемуся по Парижу с явно пинионскими целями, с таким слабо завуалированным предложением:

«Поскольку царь молод, да и мне еще довольно долго жить на этом свете, я полагаю, что мир в Европе упрочен нашими чувствами. Мои чувства остались прежними. Передайте ему это и добавьте: если судьбе угодно, чтобы две могущественнейшие державы мира сражались из-за какого-то ребяческого каприза, я подчинюсь ей, но буду вести себя, как галантный рыцарь, без вражды и ненависти, и предлагаю царю по возможности позавтракать вместе возле наших с ним форпостов... Я все еще надеюсь, что мы не станем проливать кровь сотен тысяч храбрецов только потому, что не пришли к единому мнению о цвете какой-то ленты».

Как прорывается собственная обеспокоенность сквозь эти блестящие обороты речи, нацеленные на женственные инстинкты Александра! Кто бы догадался приписать этот улыбчивый вызов с галантной шпагой в руке всегдашнему противнику стиля рококо! На самом же деле здесь одна мировая держава бросала железную перчатку другой, великая борьба между высокородностью и гениальностью представлена на ярчайшем примере, — а Наполеон, наконец-то видящий, как мечты двух десятилетий спускаются с небес на землю, говорит о каком-то якобы ребяческом капризе и цвете какой-то ленты, в то время как речь идет о целом мире.

IV

Что происходит в душе Александра?

Разошедшийся со своим дворянством, находящийся под давлением матери, обманутый в надеждах на Айя-Софию и все время боясь потерять Польшу, освобождением которой угрожает его противник, он все же может обосновать перед самим собой свое охлаждение к бывшему другу. Пятилетний период, по истечении которого Меттерних отметил происходящие в душе царя перемены, как раз кончается, если начинать отсчет от Тильзита, и хотя в этом нервном существе все решают настроения, весьма возможно, что борьба с другом и в душе царя возвысилась до уровня параболы. Но великой цели у него и в помине нет, как нет и великой идеи. Он борется отнюдь не за свободу — для этого он слишком царь, но и не за мировое господство — для этого он слишком мечтатель, и даже не за боевую славу в войне с сильнейшим. Он борется, лишь погружаясь в расплывчатую мистику, в которой и топит иссиякую симпатию к тильзитскому магу.

В политике ему удастся сделать два хода конем, один из которых обоснован сущностью натуры вовлеченных лиц и именно поэтому приведет к тяжелым последствиям. Чтобы собраться с силами, ему нужен мир на юге и севере своей страны: султана он сумел склонить к нейтральной позиции, а со Швецией даже заключил союз. На границе он встречается с Бернадотом, и здесь царь всех россиян во второй раз поддается обаянию французского революционера. Разумеется, Швеция открыта для мести англичанам, и если Россия в обмен на помощь в войне гарантирует Швеции присоединение к ней Норвегии, принадлежащей франкофилам-датчанам, то близость их интересов не вызывает сомнений.

Но отнюдь не эта близость вдохновляет Бернадота: его, ставшего королем вопреки воле Наполеона, волнует благо его новых подданных так же мало, как тех, кто получил королевства по милости Наполеона. Но и у царя есть воображение: он уже теперь в общих чертах предвидит, что если выиграет эту партию, то Наполеона постигнет не только

военное поражение, но и гибель, и покуда Наполеон медленно приближается к границам его страны с такой многочисленной армией, какой еще не знала история, царь обещает старинному врагу юности Бонапарта не что иное, как трон Франции.

На такой высоте кружат в это лето орлы, целясь клювом друг в друга.

В Дрездене император устроил перед всеми князьями смотр войск, как четыре года назад в Эрфурте. Отсутствует нынче лишь тот, на кого он идет войной. Зато на сей раз присутствует Габсбург, с которым Наполеон доселе имел случай беседовать лишь однажды — на следующий день после Аустерлица.

Теперь Мария Луиза сидит за пиршественным столом между отцом и супругом, внешне все выглядит вполне благопристойно: с тестем Наполеон договорился о союзе, свою супругу объявил регентшей. Однако император тщетно пытался запретить этой глупышке во время празднеств затмить мачеху драгоценностями: теперь парижская императрица плачет из-за запрета, а венская — из-за того, что у нее жемчуг мельче. Застарелое соперничество держав и принципов прорывается в семейных сценах, о которых шепчутся придворные, и, подняв тост за здоровье наследника, присутствующие доверяют свои мысли лишь бокалу с шампанским, но каждый знает, о чем молчит другой или другая.

А между тем на пространстве между Кенигсбергом и Лембергом сконцентрировалась полумиллионная армия, и ее главнокомандующий объявляет о начале «Второй Польской войны», ибо хочет отхватить у царя только Польшу — правда, в несколько расширенных размерах, то есть до Смоленска. «Там или же в Минске, — говорит Наполеон в конфиденциальной беседе, — поход будет окончен, я перезимую в Вильне, упорядочу дела в Литве и прокормлю армию за счет России. Если за зиму мир не будет достигнут, то на следующий год я дойду до центра России и там останусь, покуда царь не смягчится». К этому плану привязаны все этапы операции. За счет России? А что может дать Россия? Достаточно ли он осведомлен о возможностях снабжения армии в чужой стране?

В Гумбиннене Наполеон беседует с одним из прусских министров и, упомянув о запасах муки, которые он намеревается переправить в Ковно, спрашивает:

— В Ковно ведь имеется достаточно мельниц?

— Нет, Сир. Там очень мало мельниц.

После этих слов император «бросает на Бертье встревоженный взгляд».

В этом взгляде Верховного Главнокомандующего на начальника своего генерального штаба таится первое разочарование, ожидающее чужестранцев на земле по ту сторону Мемеля. Он напуган не столько отсутствием мельниц, сколько неожиданностью самого этого факта. Целый год император готовился к этому великому походу: войска из семи государств, резервные корпуса, склады боеприпасов, 1400 орудий, новые осадные приспособления, восемь крепостей на берегах Балтийского моря в качестве резервных складов, сотни судов, тысячи фургонов, везущих муку и рис. В часть повозок были впряжены волы, которых затем надлежало забить, — символ принудительной воинской обязанности: сперва послужи, потом помирай. А теперь вдруг оказывается, что в этой стране нет мельниц? Конечно, можно бы и построить какое-то количество, только сколько времени и людей на это потребуется. И какие сюрпризы еще ждут впереди? Невозможно везти с собой корм для 150 000 лошадей, поэтому приходится ждать до июня, чтобы появилась свежая трава. А если степь и тут подведет?

А если подведет боевой дух войска?

Здесь, на границе, звучат предостерегающие голоса — мол, молодые новобранцы не выдержат длительных переходов и жары, которые их ожидают. Мюрат еще в Дрездене безуспешно просил об отпуске. И когда теперь он в Данциге ужинает у императора вместе с Бертье и Раппом и за столом все обиженно молчат, Наполеон вдруг спрашивает Раппа: «Далеко ли от Данцига до Кадикса?» Тот осмеливается ответить: «Слишком далеко, Сир», и патрон язвительно замечает:

— Я вижу, господа, что война вам больше не нравится. Королю Неаполя хочется вернуться в свое прекрасное королевство, Бертье предпочел бы лучше охотиться в Груа-

Блуа, а Рапп — наслаждаться в своем дворце прелестями Парижа!

В ответ все молчат, потому что так оно и есть. Смириться с этим император еще не готов.

Добравшись до реки Мемель, он настолько взволнован видом русского пограничного столба, что первым перебирается на другой берег, в полном одиночестве галопом удаляется на целую милю на восток, потом медленно возвращается к строящемуся мосту. Однако вскоре уже все перебираются через реку, и на этот раз Рубикон действительно перейден. По его сигналу три армии медленно продвигаются в глубь Польши. Основные силы — под командованием Наполеона, вторая армия — во главе с Эженом, третья — во главе с Жеромом. Почему он доверяет целую армию легкомысленному дилетанту, опозорившемуся на последней войне? На этот раз можно и рискнуть: у противника всего 300 000 солдат.

Да где он, этот противник? Две русские армии под командованием Баркляя де Толли и Багратиона стоят где-то далеко в Литве, и обе насчитывают всего 170 000. В переоценке Наполеоном численности вражеских сил заключена гибельная ошибка, ибо, приведи он сам меньше войск, он легче смог бы их прокормить. Почему вообще весь расчет покоится на собственном численном превосходстве? Ведь генерал Бонапарт с 40 000 побеждал противника, многократно превосходившего его численностью, благодаря тому, что разбивал его по частям, атакуя на флангах. Эта огромная, малоподвижная масса армии порождена возрастом и всесилием — Наполеон увеличивает вес, вместо того чтобы окрылить дух. Он уже не тот полководец, что был под Риволи?

Нет, Наполеон еще прежний, ибо и с этой огромной армией он собирается победить русских, расчленив их силы — первая армия должна двинуться из Тильзита на Вильну и прорваться между двумя русскими армиями, чтобы затем две другие его армии могли разбить русские армии по отдельности. Однако российские расстояния ослабляют личное влияние полководца — на фронте такой протяженности он не может быть везде сам. А Даву и Мюрат перессорились до

того, что чуть ли не готовы драться на дуэли, и слишком зависят от него.

Оба русских военачальника чувствуют свою слабость, никто из них не решается принять бой, и оба отступают, поначалу без взаимной договоренности, чтобы воссоединиться в глубине территории. Не гениальная тактика, а лишь страх перед превосходящими силами противника и благоговение перед именем их командующего толкают русских на этот правильный шаг. Они поступают как невольные помощники судьбы, власть которой выше человеческого разума.

Но император принимает этот маневр русских за ловушку. Он говорит в Вильне:

— Если господин Барклай полагает, что я побегу за ним до самой Волги, то он заблуждается. Мы последуем за ним до Смоленска и Двины, где один хороший бой создаст для нас квартиры... Форсировать Двину в этом году безусловно было бы гибельным. Я вернусь в Вильну, там проведу зиму, приглашу туда труппу из Французского театра и из Оперы. В следующем мае кампания будет завершена, если еще зимой не будет заключен мир.

Издали поступают хорошие вести: Америка наконец объявила войну Англии и уже одержала несколько побед на море, в Лондоне множится оппозиция, требующая мира. В Испании дела тоже пошли на лад. Значит, вперед! Скорее в бой!

Однако где же противник? В Ковно, где император в сопровождении лишь одного офицера ищет лучшее место для переправы, не видно и следов противника на другом берегу. Тревога растет, а поскольку кругом пусто и войска движутся слишком быстро, часть армии из-за плохих дорог, дождей и жары отрывается от обоза, а значит и от снабжения всем необходимым. В Вильне, где царь только что был, его уже нет. Одновременно приходит сообщение, что фургоны обоза застряли в болотах, а та часть его, что плыла по реке, села на мель. 10 000 лошадей подошли. Все это невозможно скрыть от солдат, они бросаются в город и грабят его так, что для пришедших позже уже ничего не остается.

Он ненавидит грабежи, потому что они приводят к ха-

осу, но не может на сей раз ни запугать, ни задобрить жителей этой страны. Литовцы убедились, Наполеон и на этот раз не дал обещанную свободу Польше, и не верят, что он даст ее им, как верили ему некогда народы Ломбардии. Они ничем ему не помогают, ничего не дают для армии и почти не принимают в оплату фальшивые рубли, несколько миллионов которых по приказу императора были напечатаны в Париже. Литовцы молятся.

Что делать? Сейчас подходящий момент, чтобы склонить царя на свою сторону. И он пишет царю, что все происшедшее доселе «не вяжется с характером Вашего Величества и личным уважением, которое Вы мне подчас выказывали... Еще когда я переправился через Мемель, я хотел послать к вам адъютанта, как всегда делал во время военных кампаний». Но когда царь не пожелал принять его последнего гонца, «я понял, что незримое Провидение, чью силу и господство я признаю, должно решить исход этой кампании, как, впрочем, и многих предыдущих... Мне не остается ничего другого, как закончить это письмо просьбой помнить, что я по-прежнему неизменен в своей симпатии к Вам».

Длинному гладкому письму, в котором подлинны только растерянность и вера в судьбу, предшествует разговор Наполеона с одним пленным генералом, которому поручается передать письмо царю. Император с наигранным гневом набрасывается на русского:

— Чего царь ждет от этой войны? Я без единого выстрела овладел одной из его лучших провинций, и мы оба понятия не имеем, почему, собственно, воюем!

Потом в течение часа и даже дольше осыпает генерала упреками в свойственной ему манере: какие чудовищные ошибки вы наделали, почему вы не обороняли Вильну — так, словно он отчитывает своих генералов в Испании. Рефреном повторяется вопрос: «Неужели вам не стыдно?» После чего превозносит презрение к смерти, присущее полякам, коих в остальное время поносит, клянется, что у него в три раза больше войск, чем у царя, и намного больше денег, он может воевать хоть три года. Все это сплошная ложь, и наигранный гнев то утихает, то вновь разгорается. Тут генерал включается в игру и тоже лжет в ответ,

что русские приготовились воевать пять лет. Внезапно император начинает откровенничать перед этим случайным воякой — в расчете на то, что все услышанное будет передано царю:

— Я человек расчетливый. Тогда, в Эрфурте, я рассчитал, что мне выгоднее идти рука об руку с Россией, чем рвать с ней. То же самое могло бы произойти и теперь... Царь заключил со мной мир, когда его народ этого не хотел, а теперь он воюет со мной, хотя его народ хочет мира. Как мог столь утонченный человек окружить себя такими ничтожными людьми! Как можно вести войну посредством военного совета! Если мне в два часа ночи приходит в голову хорошая мысль, то через четверть часа отдается приказ, а еще через полчаса мои форпосты его уже выполнили. А у вас что творится? — И он показывает генералу перехваченное донесение русского штаба. — Возьмите его с собой, чтобы не скучать в дороге... Скажите царю: я даю честное слово, что 550 000 человек находятся по эту сторону Вислы. Но я человек расчета, а не азарта. Я и сейчас не против переговоров. Каким счастливым было бы его правление, не порви он со мной!

У генерала мороз продирает по коже от этого потока признаний. Но вечером, приняв приглашение на ужин с императором и тремя маршалами, он неожиданно наталкивается на высокомерное обращение и расспросы, похожие на допрос:

— Есть ли у вас киргизские полки?

— Нет, но мы создали на пробу полки из башкир и татар, которые очень похожи на киргизов.

— Правда ли, что царь, находясь в Вильне, каждый день пил чай у некой красивой дамы? Как ее звали-то?..

— Царь галантен со всеми дамами.

— Правда ли, что барон фон Штайн обедает у царя?

— Всех высших сановников приглашают откушать в обществе царя.

— Как можно терпеть этого Штайна за царским столом! Неужто царь думает, что тот его любит? Ангел и дьявол плохо подходят друг к другу... Сколько жителей в Москве? Сколько там домов? Сколько церквей?.. Почему так много?

— Потому что наш народ очень набожный.

— В наши дни набожных уже нет. Какая дорога в Москву короче других?

— Все дороги ведут в Рим, Сир, а в Москву можно попасть по-разному. Например, Карл XII пошел через Полтаву.

После этого злобного ответа, намекающего на гибель шведа, император наконец прекращает допрос, но у генерала хватает ума, чтобы сообщить в Петербург о нервозности Наполеона.

А нервозность эта растет с каждым днем. Император ищет битвы, русские ее избегают. В ожидании Багратиона Барклай без всякой цели отводит свои войска назад, а Багратион не появляется потому, что принял армию Жерома за главные силы под командованием Наполеона. Кто быстрее? Жером, который должен его преследовать, не очень-то спешит, так что Даву, поджидающий Жерома, вынужден упустить противника. Вне себя от бешенства, император отрешает брата от должности, отправляет его, обиженного, в Кассель, а его армию передает Даву — слишком поздно! Слабость императора к этому ветрогону выхватила у него из-под носа решающую битву. С ростом лишения император удваивает скорость передвижения, но с ростом скорости удваиваются лишения. Войско совершенно нечем кормить: отступая, русские сжигают свои склады, хлеба и овощей нет совсем, есть только мясо, распространяется дизентерия, лошади едят солому с крыш и дохнут во множестве, их трупами отмечен путь французской армии. На этом марше без битв один только командир баварцев насчитывает у себя в корпусе 900 смертей в сутки.

А что говорит Париж?

Удивительно мало известий, в том числе и от императрицы. Создается впечатление, что курьеров перехватывают. Но вот приходит письмо из Тюильри от гувернантки наследника, сообщающей о здоровье ребенка. Он пишет в ответ: «Надеюсь вскоре услышать от Вас, что прорезались, наконец, последние четыре зуба. Я обещал няньке дать ей все, что она захочет, можете ей это подтвердить».

Император сидит посреди пышущей жаром степи, впереди — дым сожженных деревень, в которые он еще не

вошел, позади — трупная вонь. От непривычной пищи и жары боли у него в желудке усиливаются, ему трудно ездить верхом, а поскольку кареты частенько не могут проехать, он вместе со всем своим штабом проходит пешком большие участки пути, мучимый одной мыслью: где же битва? Курьеров прибывает мало, и они не привозят ничего, что могло бы его при таком нервном напряжении заинтересовать. Вот он на привале, в своей палатке, снует из угла в угол, а перо безгласного секретаря торопливо набрасывает на бумаге слова о том, что у ребенка в далеком прохладном замке в тысячах миль отсюда не хватает еще четырех зубов. Вскоре мы будем в Витебске. Далеко ли оттуда до Парижа?

— Слишком далеко, Сир, — отвечает чей-то голос из темноты.

Наконец-то он у нас в руках! Мюрат остановил Баркляя. Завтра он хочет удрать от нас в Смоленск, донесли лазутчики. Час настал. Но император как раз в эти минуты чувствует себя больным и не может принять решение. С необычной для него заботливостью он не хочет посылать изможденную маршем по жаре армию в еще более жаркое пекло боя, а с непривычной для себя осторожностью хочет подтянуть больше войск, чем необходимо, чтобы устроить противнику «второй Аустерлиц». И решает ждать до завтра.

Русский военачальник смеется. Под покровом густого утреннего, поздно рассеивающегося тумана он скрытно отступает, а когда проясняется, не видно и следов, куда он направился. Вернувшись с поисков противника к полудню, император швыряет шпагу на стол:

— Остаюсь здесь. Нам надо собраться. Поход этого года окончен. — А когда Мюрат начинает настаивать на дальнейшем продвижении, он обрывает его: через год я буду в Москве, еще через год — в Петербурге. Эта война продлится три года.

Пора наконец-то привести в порядок рассыпающуюся армию. Почти треть приходится вычеркнуть из списков, а ведь сражения покуда еще и не было: их поглотила эта страна. А где фланговые корпуса? Где пруссаки во главе с Макдональдом, где австрийцы во главе с Шварценбергом?

Надежных сведений нет. Все слишком далеко. Что это за страна! Что тут делать, если сражаться не с кем? Надо ждать. Небольшое письмо императора отражает настроение, какого у него не бывало с лейтенантских времен:

«Вышлите нам несколько книжек для развлекательного чтения, — пишет секретарь парижскому библиотекарю. — Если есть хорошие новые романы — или даже старые, но которых император еще не видел, а также приятные для чтения мемуары, то мы были бы рады их получить, так как у нас здесь случаются минуты досуга, которые нечем заполнить».

Вы не видите, как Наполеон стоит перед своей палаткой в старом зеленом мундире? Он берет одну понюшку табаку за другой, иногда смотрит в маленькую подзорную трубу на расстилающуюся перед ним равнину, потом к нему подходит один из гренадеров с какой-то бумагой, император читает ее, откладывает в сторону, из сумрака палатки наружу выглядывают два секретаря, словно дрессированные зверушки, ожидающие сигнала дрессировщика, Рустам сидит, по-турецки поджав ноги в сторонке, — только ему одному никогда не бывает слишком жарко, — всякая деятельность замирает, движение останавливается: ни назад, ни вперед. И тут он кричит в палатку:

— Меневаль! Закажите романы!

Наконец приходит известие: Англия добилась, чтобы царь заключил договор и с испанским регентом. Император содрогается: это начало новой коалиции, а возможно, и изоляция! Что ж в самом деле — так и сидеть тут, ожидая, пока Европа не забурлит или не зевнет? Там впереди Смоленск! И два русских военачальника наверняка именно там соединятся. Только там начинается собственно Россия. Этот старинный город русские не оставят просто так, тем более не сожгут, как те польские и литовские медвежьи углы! Одержав победу в Смоленске, можно дальше двигаться куда угодно — хоть на Москву, хоть на Петербург. Наполеон спрашивает мнение генералов. Некоторые предостерегают. Но император говорит:

— Русские не могут больше сдавать свои города. И только после серьезного сражения Александр согласится на переговоры. Покуда еще не пролита кровь. Даже если

мне придется идти до самой Москвы, их священного города, я буду стараться развязать эту битву и победить!

Наконец объединившись, обе русские армии планомерно уклоняются от боя, а атаки изможденного войска разбиваются о стены города. Ветераны вспоминают об Акке, с той поры утекло тринадцать лет. В конце концов русские войска оставляют Смоленск, но город полыхает пожарами, и победителям достается груда развалин. Понимает ли теперь император моральную силу этого народа? Видит ли он, как этот народ с каждым днем все больше ожесточается, предпочитая жечь старинные иконы — лишь бы они не попали в руки врагов? Здесь не осталось ничего, чем могло бы поживиться голодное войско.

Ужасно положение императора: он — как король Лир в степи. Власть как бы кусками отваливается от его тела, каждый жест растворяется в воздухе, где-то вдали раздается смех разумного мира и замирает в пустоте. Надо кончать. Император посылает к царю второго гонца. Писать он ему не может, потому что то письмо из Вильны осталось без ответа. Вновь приводят к нему пленного генерала, и он пускается перед ним в длинные рассуждения, а потом вдруг говорит:

— Не можете ли вы написать царю? Нет? Но вы можете все же написать своему брату в главном штабе то, что я вам сейчас скажу. Вы окажете мне любезность, если сообщите брату, что видели меня и что это я поручил вам ему написать. Я был бы чрезвычайно ему обязан, если бы он сам или через Великого князя сообщил царю, что мое самое большое желание — заключить мир... С чего бы нам с ним воевать? Другое дело, если бы вы были англичане. Русские не сделали мне ничего плохого. Вы хотите покупать кофе и сахар по низким ценам? Хорошо. Это можно легко уладить. Или вы полагаете, что меня легко победить? Тогда пусть ваш Военный совет изучит ситуацию и, если верит в победу, укажет место сражения... В противном случае мне придется взять Москву, и, несмотря на всю осторожность, я, вероятно, не смогу уберечь ее от разрушения. Столица, занятая противником, похожа на непотребную девку... Как вы думаете: если бы царь захотел заключить мир, может кто-нибудь ему перечить?

В молодости генерал Бонапарт никогда никого ни о чем не просил: он просто этого не умел, он умел только повелевать. Королям он тоже писал в приказном тоне, и слово «пожалуйста» за последние десять лет лишь дважды слетело с его уст: когда он просил Папу о помазании и когда просил императора Франца отдать за него свою дочь. А теперь — какой тон! Что должен подумать пленный генерал, когда ему вдруг возвращают его шпагу? «И это властелин мира? — наверняка подумает он. — Разве он не попросил меня, простого человека, чтобы я и мой брат оказали ему услугу? Как же это? Неужто у французского императора некого больше послать? Значит, только из-за кофе и сахара здесь пропадает армия численностью в сотни тысяч? Словно превосходный игрок предлагает нам сыграть с ним блестящую партию в шахматы, — а ведь матушка Россия лежит в слезах и страданиях и смотрит, как один русский город за другим превращается в руины и пепел!»

Письмо к брату пленного генерала, просмотренное Бертье, отсылается, доходит до адресата, но ответа нет. Тут император приказывает выступать: это период внезапных решений. А когда Рапп спрашивает куда — вперед или назад, — он отвечает: «Раз вино налито, его надобно выпить. Я хочу в Москву... Хватит мне быть императором. Буду вновь генералом». Как загораются глаза офицеров, вновь услышавших его прежний голос! На дворе начало сентября.

Наконец-то Кутузов, преемник Барклая, должен встретить французскую армию на священном поле под Бородином. Теперь армии равны по численности: это и есть та партия, которую предложил Наполеон. Никто не спит, ибо завтра — завтра! — наконец произойдет сражение. Тогда златоглавая Москва будет лежать у ног, и все беды останутся позади. Тут среди ночи вдруг приезжает курьер из Парижа. Император, сидящий над картой, велит узнать, есть ли что-нибудь срочное. Секретарь молча подает ему депешу из Испании: под Саламанкой Веллингтон одержал решительную победу над Мармоном. Император читает, молчит, продолжает работать с картой. На восточном краю Европы он должен через несколько часов разбить русских. Тут нет времени обдумывать, что означает эта

ужасная победа британцев на юго-западном краю Европы. Наступает день, и гвардия, как всегда, гаркает: «Да здравствует император!»

Наполеон велит показать гвардейцам портрет мальчика, привезенный ночью курьером из Парижа. Солидные бородачи стоят в строю, и никто из них не узнает, что Францию разбили в Испании, зато всем дана возможность полюбоваться хорошеньким ребенком, родным сыном их императора. Но когда портрет вносят обратно в его палатку, император внезапно реагирует словно поэт: «Уберите его подальше. Он слишком юн, чтобы смотреть на поле боя».

В жестокой схватке в этот день опорные пункты берут, сдают и вновь берут. Гвардейцы кричат от нетерпения: они хотят броситься в самую гущу, чтобы решить исход битвы, как уже бывало не раз. Генералы просят отдать приказ, ближайшее окружение настаивает. Император молчит. В этот день Наполеон впервые ни разу не покинул своего места. Задыхаясь от кашля, страдая от высокой температуры и опухших ног, он сидит на лошади и никак не может решиться пустить в бой гвардейцев, от которых, по всей видимости, зависит победа: «А если завтра будет еще одно сражение? С кем я останусь?» Ночью русские отходят, на другой день на поле боя обнаруживают 70 000 мертвых и полумертвых воинов: больше, чем в любом из прежних сражений. Император молвит: «Военное счастье — как продажная девка. Я это часто утверждал, теперь начинаю ощущать на себе».

Но дорога на Москву свободна. 500 000 выступили в поход, чтобы в нее вступить. Сегодня за Наполеоном идут всего 100 000. С высокого холма он смотрит в сумерках на город тысячи куполов и тихо произносит:

— Москва! Пора бы уж.

V

— Где ключи от города? И где члены магистрата, чтобы вручить их мне?

Несколько часов, почти всю вторую половину дня, его

армия движется мимо, а он стоит и ждет, когда ему принесут ключи. В Вене и Мадриде, в Милане и Берлине он входил в ворота города как победитель. А эти татары не знают, что ли, о благородном римском обычае? Никакого движения на улицах, издали доносится звяканье оружия недобитой кутузовской армии, покидающей город, вблизи раздаются топот сапог наполеоновской, входящей в город. Арьергард одной и авангард другой чуть ли не соприкасаются друг с другом. Его армия движется в гробовом молчании — город почти пуст. Но домов-то здесь много, думает уставшая армия, найдется что поесть и где переспать.

Император со своим штабом медленно въезжает в зловещую тишину, Кремль — его цель. Вот и он. В безмолвном изумлении глаза всматриваются в эти невиданные стены, ворота открыты, но их никто не встречает. Безлюдны, словно пригрезившиеся во сне, золотые и красные палаты, а когда все входят в огромный зал и гренадеры прикладами ружей выламывают доски, которыми заколочены окна, император, увидев балдахин, понимает, что это — старинный коронационный зал царя. Но трон закрыт чехлом.

В этот миг ему не хватает для полного удовлетворения только мира. А чего не хватает для мира? Победы. Кто лишил его этой победы? Огромные пространства этой незнакомой страны — на этот раз степь, тринадцать лет назад то была пустыня. Почему он не освободил крепостных крестьян в Литве и не получил таким образом подкреплений и проводников, как намеревался поступить некогда с освобожденными арабами? Что, если сделать это теперь: обратиться к крестьянам окрестных деревень с призывом прийти в обезлюдевший город и заключить с ним соглашение? Мы покуда еще на высоте положения, и эта загадочная страна может дать нам все, что пожелаем.

Ночь, но сон не идет к императору. «Давайте поработаем, чтобы отвлечься», — говорит он Коленкуру. Наполеон разворачивает карту Польши, убеждает себя, что оставаться там было невозможно и что через шесть недель он будет в Петербурге. Списки личного состава армий, его Библия, которую он всегда возит с собой, показывают, что у французов осталось еще порядочно войск: колонки цифр не-

много улучшают настроение императора: «Через несколько недель у меня здесь опять будет четверть миллиона. Крыша над головой найдется для всех, а вот как быть с провиантом? Вокруг города — все пусто».

За окнами полыхнуло пламя. Пожар! Ничего страшного, еще вчера мы видели кое-где столбы дыма. Но тут вдруг являются один за другим связанные, генералы, курьеры: одновременно сто гонцов сообщают, что город пылает со всех сторон, более того, он подожден, поскольку все насосы исчезли. Неужто эти безумцы решились сами сжечь свою священную Москву? Как поступит император? Об этом последующим поколениям рассказывает Сегюр, бывший в эти часы рядом с Наполеоном:

«Казалось, что кольцо огня повредило мозг императора. Он то вскакивает, то садится или же быстрыми шагами мечется по залам, его короткие резкие жесты свидетельствуют об ужасной душевной муке, он то бросает срочную работу, то вновь берется за нее и вновь бросает, чтобы распахнуть окно. Из его груди вырываются обрывочные восклицания: «Какое жуткое зрелище! Они это сами сделали! Столько дворцов! Какая невиданная решимость! Это невозможно было предвидеть! Какие люди! Они — скифы!»

...Внезапно приходит сообщение, что Кремль хотят взорвать. Несколько слуг сходят с ума от страха, гвардия стойко ожидает приказа. Император не верит, отвечает улыбкой, но его походка становится порывистой, возле каждого окна он останавливается, смотрит на бушующую стихию огня, пожирающего мосты и ворота. Воздух перенасыщен золой и дымом, сильный порывистый ветер усиливает буйство огня.

Тут прибегают Мюрат и Эжен, врываются в комнаты императора и торопят его срочно бежать из Кремля. Тщетно. Наполеон, наконец-то почувствовавший себя хозяином царского дворца, упорствует в своем желании не отступать в этом дворце даже перед пламенем. Внезапно раздается вопль: «Кремль горит!» Но император хочет увидеть опасность вблизи...

В одной из башен арсенала обнаружили стражника и привели его к императору. Русский признался, что по приказу своего начальника поджег Кремль. Император делает

рукой жест, означающий гнев и презрение. Русского выводят, и гренадеры приканчивают его в первом же дворе. Только после этого допроса Наполеон принимает решение.

И вот мы все поспешно спускаемся по большой северной лестнице, император приказывает вывести его из города. Но пламя отрезает нам доступ ко всем воротам крепости и делает невозможным выход. Наконец удается найти канаву, выходящую к Москва-реке. По этому узкому проходу мы все покидаем Кремль. Но чего мы этим добились? Как переплыть реку? Солдаты, ослепнув от пепла, оглохнув от грохота, уже не узнают друг друга. Лишь одна извилистая и пылающая пожарами улочка позволяет нам выйти из этого ада.

Без малейших колебаний император вступает на этот страшный путь. Сквозь треск горящих балок и грохот рушащихся сводов он торопливо идет вперед... Пронизывающий жар, разъедающий легкие воздух, разбушевавшиеся пожары воспаляют наши хрипящие гортани. Здесь мы все и погибли бы, поскольку никто не знал, куда дальше идти, если бы мародеры из первого корпуса не узнали императора и не провели его и нас через дымящиеся развалины.

Мы повстречали Даву. Раненный на Москва-реке, он приказал нести его в гущу пожаров, чтобы спасти императора или погибнуть вместе с ним. Даву с жаром обнимает Наполеона. Император говорит с ним дружелюбно, с тем спокойствием, которое никогда не покидало его в минуты опасности».

Из загородного дворца, в котором он переживает пожары, император на четвертый день возвращается в мало пострадавший Кремль и на пятый день, теряя терпение, уже в третий раз пишет царю. Теперь, вроде бы овладев столицей, Наполеон опять чувствует себя полностью отрезанным от противника и вновь вынужден прибегнуть к помощи пленного офицера, на этот раз — капитана, которого он принимает в тронном зале. Чувствует ли император комизм этой сцены? Святую Русь представляет здесь какой-то безвестный рядовой офицер, не имеющий ни власти, ни влияния, а перед ним в знаменитом тронном зале русских царей стоит великий император французов,

перед которым дрожит вся Европа. Император обращается к нему с предложениями, выдвигает условия, словно находится еще в Тильзите и перед ним не армейский капитан, а сам царь.

— Я веду чисто политическую войну, — вновь подчеркивает он, — и могу потребовать здесь лишь выполнения наших договоренностей. Если бы я взял Лондон, я бы не ушел из него столь быстро. Но тут я собираюсь вскоре повернуть назад. Ежели царь хочет мира, пусть он меня известит... Я отпускаю вас на свободу — при одном условии: что вы тотчас отправитесь в Петербург. Царь наверняка захочет увидеть свидетеля московских событий, и вы обо всем расскажете.

— Меня не допустят к царю, Сир.

— А вы обратитесь к обер-гофмаршалу Толстому. Он человек порядочный. Или же велите камердинеру доложить о вас царю, либо же сами подойдите к царю во время его ежедневной прогулки.

У капитана мороз продирает по коже — ему чудится, будто его склоняют к покушению на царя, и он лишь бормочет, что не может ничего обещать. «Тогда я напишу вашему царю письмо и поручу вам его передать». Это последнее письмо, передаваемое одним императором другому столь необычным путем, самое странное из всех трех:

«Государь, брат мой... Великолепной красавицы Москвы больше нет... Это деяние отвратительно и бесполезно. Вы хотели лишить меня источников снабжения армии? Но они находились в погребах, куда огонь не добрался. Разве допустимо разрушить один из красивейших городов мира, создававшийся веками, ради столь ничтожной цели! Из гуманных соображений и в интересах Вашего Величества и этого великого города я взял его под свою опеку, когда русская армия его покинула. Следовало бы по крайней мере оставить там органы власти и полиции, как было в Берлине и Мадриде и дважды в Вене. Так поступала Франция и в Милане, когда туда вошел Суворов. Невероятно, чтобы Вы сами, с Вашими принципами и с Вашей душой дали согласие на эти мерзости, недостойные великого народа и его властителя.

Увезя пожарные насосы, оставили в городе 150 пушек... Я пошел войной на Ваше Величество, не тая на Вас злобы. Несколько строк от Вас до либо после последнего сражения остановили бы мое продвижение, ради Вас я даже захотел бы избежать вступления в Москву... Если в Вас осталось хоть что-то от прежних дружеских чувств ко мне, Вы воспримете это письмо с приязнью. Во всяком случае Вы должны быть благодарны мне за то, что я ставлю Вас в известность о происшедшем».

Письмо учителя, озлобленного одиночеством, своему нерадивому ученику, дабы его немного встряхнуть: так написал бы отчаявшийся моралист какому-нибудь шалопаю. А написано оно только ради двух слов: «воспримете... с приязнью», в этих словах — цель и надежда. Подействует ли?

В Петербурге продвижение врага, его угрожающая близость, пожар в Москве заставили все сердца замереть от ужаса. Двор царя — за мир. Разве сейчас не самый благоприятный момент? Растерянность врага растет день ото дня, он просит начать переговоры. И сумасброд великий князь Константин, и даже сама матушка царя, всегда ненавидевшая выскочку и запретившая выдать за него свою дочь, советуют Александру пожать протянутую ему руку: сейчас самое время.

Однако царь упорно стоит на своем. Два человека укрепили это упорство в его неустойчивом характере. Один из них — француз Бернадот, с которым царь только что еще раз встречался в Финляндии. Бернадот не только поддержал Александра, но даже вернул ему русский вспомогательный корпус, посланный для завоевания Норвегии. Жгучую ненависть питает Бернадот к Наполеону, к тому же он одержим стремлением сесть на французский трон, обещанный ему царем.

Другой человек — немец, лучший, кого выдвинула нация при своем падении и освобождении. Уже четыре года барон фон Штайн, изгнанный Наполеоном из Пруссии, скитается вдали от своей родины. Теперь он стал советчиком царя. Штайн во всем полная противоположность Наполеону. И борется с ним не на жизнь, а на смерть.

Теперь он победит.

VI

Среди умных и энергичных людей, в последние семнадцать лет поднявшихся во многих странах на борьбу с генералом, Консулом и императором Наполеоном, никто не мог сравниться с последним, кроме Талейрана и фон Штайна. Первый — благодаря тому, что сковывал деятельную волю Наполеона гениальным коварством, второй — тем, что аморальной энергии императора противопоставлял свою моральную энергию, к тому же соединенную со страстностью. Штайн обнаруживал добродетели немца, Наполеон — концентрированные таланты итальянца, но поскольку одно не исключает другого, обе натуры понимали друг друга до такой степени, что Штайн, будь он французом, — а он очень походил на Карно, — мог бы стать сильнейшей опорой императора: их соединили бы гордость и деловитость.

Тем не менее взаимное уважение не смогло преодолеть глубокой враждебности. Ибо если Наполеон вполне обходился без родины, мог завершить свою карьеру с любым народом и предпочитал французов, в сущности, лишь ради себя самого, то Штайн жил целиком для родины и ради родины, и его натура, укоренившаяся в родной земле, его богатая душа всегда были чужды быстроте и проворству, с которыми тот, другой, ориентировался везде и всюду, всегда чувствуя себя как дома. Фон Штайн был государственным деятелем, который думал только о немцах и о Германии и хотел объединить лишь народы, говорящие на одном языке, пусть даже вопреки желаниям их слабовольных князей. А Наполеон думал только о европейцах и о Европе, которую он хотел объединить в равноправной борьбе против равноправных князей.

Небогатый, но независимый дворянин, Штайн был достойным отпрыском своих предков, в течение 700 лет обрабатывавших один и тот же кусок германской земли. Поскольку он оторвался от имени своих отцов только для того, чтобы служить своей нации, то он с недоверием, а вскоре и с возрастающим презрением взирал на других

князей вокруг, продававших и земли и свободу, своих подданных и самих себя ради всемирной победы чужака. Наполеон, потомок обедневшего аристократического рода, лишенный родины и рано согнанный с виноградников своего отца, презирал этих князей, сдавшихся на его милость, точно так же, как и Штайн, втайне уважая лишь немногих несмирившихся.

Но Наполеон наблюдал деградацию европейских князей с радостью, а Штайн — с горестью. Потому что именно их врожденное бессилие, из которого этот выскочка-француз извлекал свое право на самоуважение, у потомственного рыцаря Штайна подрывало уважение к собственной личности. Штайн научился презирать короля Пруссии с таким же жаром, с каким ненавидел императора французов.

Так изгнание, в которое первый отправил второго, стало роковым для двух народов, целых сословий и эпох. Был бы барон фон Штайн королем, он защищал бы от сына революции идею законности власти достойнее, чем Габсбург, Гогенцоллерн и все прочие лукавые властители, — а ведь немецкий народ боролся за эту идею с таким же пылом, как и против пришельца. Не считая герцога Брауншвейгского и нескольких молодых принцев, барон фон Штайн был единственным, кто спасал гордость и честь германских князей в ту эпоху.

Теперь пришел его звездный час. Изгнание, в которое некогда император французов, находясь в Мадриде, отправил прусского министра, бумерангом ударило по нему самому. Ведь лишь изгнание привело Штайна к русскому царю, за душу которого он теперь борется со своим заклятым врагом.

Ничто не повлияло на колеблющегося Александра сильнее, чем мужество и страстность этого немца. Штайн — единственный из царских придворных, который ничего не выигрывает своими советами. Лишенный родины Наполеоном, он готов завтра же сменить приютившую его страну на любую другую. И царь знает, что имеет дело не с придворным, стремящимся занять министерское кресло, поэтому он верит ему в эти дни больше, чем своему министру-франкофилу. Вероятно, Александру передали велико-

лепные слова, произнесенные немцем, когда пришло известие о пожаре Москвы. Тогда Штайн поднял бокал и воскликнул: «За свою жизнь я уже дважды или трижды терял имущество, нужно привыкнуть к тому, чтобы бросать все, уходя. Поскольку нам грозит гибель, следует быть храбрыми».

Наполеон скоро поступит в Москве так же. Он повернется спиной к своему прошлому, полный решимости отступить. Ибо из Петербурга не пришло в ответ ни слова. Пять недель потеряно — а зима близится. Император провел эти недели в тягостном ожидании, а этого настроения не выносят ни его нервы, ни его деятельная натура, и, хотя заказанные романы все еще не доставлены, он принимается за те, что нашлись во дворце. Только Наполеон их вряд ли читает: после трапез, которые он вопреки своему обычаю затягивает, близкие видят, как император иногда часами лежит с книгой в руках, а взгляд его устремлен в одну точку над книгой.

Да и что ему делать в сожженном городе, где не к чему устанавливать порядок! Один-два вечера он пытается отвлечься, глядя французские спектакли одной оставшейся в городе труппы, продумывая во время этих вынужденных каникул устав театра Французской комедии. Полдня уходит на приказы по армии, которые звучат отнюдь не устало или расплывчато, а ясно и прозрачно, как хрусталь — то есть как прежде. Но когда уже никакой надежды не остается — запасы иссякают, холода приближаются, — в середине октября он созывает военный совет, хотя знает, что лишь один путь еще открыт.

Однако, когда Дарю советует перезимовать здесь, дожидаться подвоза провианта из освобожденной Литвы и весной выступить на Петербург, он долго молчит, раздумывая, а потом говорит:

— Это совет льва. А что говорит Париж? Кто может вычислить воздействие такой шестимесячной разлуки? Франция не может привыкнуть к моему отсутствию, Пруссия и Австрия им воспользуются.

Остается отдать лишь один реальный приказ: все — кругом! Что привезут французы в Париж? Наполеон приказывает выломать огромный золотой крест с купола Свя-

того Ивана, чтобы в Париже водрузить его на Дом Инвалидов. Разве нет лучшего способа отомстить мнимому другу? И он приказывает взорвать Кремль. Так глубоко сидит в нем злость на самого себя за то, что он себя трижды опозорил.

Теперь император — уже в трех часах пути от Москвы — стоит в ожидании сообщения о взрыве. Бесконечной вереницей тянется мимо него великая армия, отдохнувшая, но одичавшая в Москве, темп ее движения замедляют больные и раненые, а также трофеи. Наконец доносят: взрыв не удался. Император молчит. Но когда Рапп высказывает свою озабоченность по поводу холодов, он резко обрывает его: «Вы что — не видите, какая прекрасная стоит погода еще сегодня, девятнадцатого октября? Разве вы не верите в мою звезду?»

Такие слова император почти никогда не говорит. Но сегодня он очень озабочен. Наполеон видит, что обоз будет тормозить движение колонн, но не может запретить своим солдатам привезти домой кое-какие трофеи. Кроме того, кругом много русских войск, только недавно они атаковали эскадроны Мюрата. Когда Наполеон шел на восток, он больше всего желал боя. Теперь же, отступая на запад, он его боится: «Не создавать никаких затруднений!» Только бы быстрее добраться до Смоленска, там нужно перезимовать.

Есть ли аналогия между концом его карьеры и ее началом? Вновь, как в Египте, французская армия движется с обозом в середине колонны, вновь ей приходится обороняться от кишаших вокруг врагов, один раз императора спасает от плена лишь присутствие духа у его ближайшего окружения. «Это казаки! Поворачивайте назад!» — кричит Рапп, указывая в лесок, но император отказывается, и тогда адъютант хватается уздечку и поворачивает его лошадь вспять: «Вы должны!» Никогда в жизни Наполеон не слышал таких слов. Как он поступит? Разум подсказывает: бегство.

Но император не трогается с места и обнажает шпагу. Рапп, Бертье, Коленкур делают то же самое, они становятся на обочине слева от дороги и ожидают конной атаки. Казаки в сорока шагах. Офицеры свиты прикрывают собою

императора, а прискакавшая тут же конная гвардия рассеивает казаков.

После этого приключения в голове у Наполеона начинают роиться новые мысли. Неужели судьба сложится так, что Александр впряжет его в свою триумфальную колесницу? Император велит врачу дать ему яду и отныне носить его в черном шелковом мешочке на шее: на случай пленения. После того неудавшегося нападения все летучие отряды русских начинают буквально охотиться за головой этого «злого басурмана». Русское командование издает листовку с портретом императора и приказывает всем командующим корпусами лично знакомиться со «всеми низкорослыми» среди пленных для возможного опознания императора.

Если в Египте невыносимая жара доконала на марше сотни солдат, то русские морозы приканчивают уже тысячи. От снега и гололеда лошади падают, орудия застревают, повозки с боеприпасами приходится взрывать, кавалеристы тащатся пешком, на обочинах валяются трупы замерзших.

До Смоленска добираются менее 50 000, то есть десятая часть вышедших в поход. Все запасы истощились, зимовать невозможно. Дабы уберечься от морозов, войско стремится вперед, на запад. Уже тысячи побросали оружие, теперь заколебалась и гвардия. И император пришел к своим гвардейцам:

— Вы видите, какое безобразие творится в моей армии. Эти слепцы бросают свои ружья. Если и вы последуете этому позорному примеру, то мы потеряем последнюю надежду. От вас зависит будущее армии!

И становится во главе их колонны. В гробовом молчании шагает колонна. Во главе ее — так описывает это зрелище очевидец — группа генералов, лишь немногие еще в седле. Какие-то призраки в тряпье, в обгоревших шинелях, истощенные, с землистыми лицами и торчащей щетиной, молчащие и согбенные: пленники судьбы. За ними тащится Священный легион, состоящий из одних офицеров, большинство опирается на палки, ноги обмотаны обрывками овечьих шкур. Затем едут остатки конной гвардии.

Позади всех идут пешком трое: справа — король Не-

аполя, ни следов прежнего щегольского великолепия, слева — вице-король Италии. В середине — самый низкорослый из них — молча бредет по России, опираясь на березовый сук, в польской шубе и рыжей лисьей шапке.

VII

Что говорит Париж?

Император не знает. Впервые после Египта его расчеты на Париж повисают в воздухе. Не зная, что делается в его столице — тоскливое чувство, похожее на то, какое испытывает человек в пути, не зная, изменяет ли ему дома жена. «Вот уже 14 дней, — пишет он в Вильну своему министру Маре, — нет ни одного курьера, так что я пребываю в неведении... обо всем, что происходит во Франции и в Испании... Армия страшно разбросана, нам нужно не менее двух недель, чтобы ее собрать, только где взять время! Сможем ли мы удержаться в Вильне? Только если на нас не нападут в первую же неделю. Продовольствие! Продовольствие!.. В Вильне ни одному иностранцу не следует появляться на улицах: армия не в состоянии показываться на глаза. Необходимо удалить отсюда всех посланников».

Наконец прибывает курьер. Но почему император бледнеет? О каких страшных событиях он мог узнать? Какой ужас может превзойти тот, что он сам переживает здесь? Разумеется, Франция давно узнала из английских листовок, из писем и слухов всю правду, которую императорские бюллетени пытались от нее скрыть, и часть парижан, с такой же легкостью впадающих в отчаяние, как и в восторг, уже поставила крест на императоре, на Бульварах царят либо паника, либо насмешки. А вот что дальше!

Намечался государственный переворот, он провалился, однако какие закулисные факты вскрылись! Один из генералов республики, много лет назад вовлеченный в заговор, был схвачен, потом посажен в сумасшедший дом. Теперь этот генерал Мале, пользуясь недостатком известий от императора и страхом, вызванным пожаром Москвы, сбежал из психиатрической больницы и вместе с сообщниками подделал депешу, сообщавшую о смерти императора. Они

арестовали министра полиции, назначили временное правительство, создали национальную и городскую гвардии, убедили даже старых генералов, пока наконец в комендатуре два бесстрашных офицера не узнали их, схватили, связали, потом крикнули с балкона: «Да здравствует император!» — и шумиха улеглась.

В заваленной снегом палатке император с ужасом смотрит на эту бумагу. Это пострашнее, чем недавнее известие о Саламанке. Виновные расстреляны, ничего не произошло, шутовство закончилось комедией. Что же, быть шефом парижской полиции — значит ли быть главой Франции? Ни один экипаж не рискнул появиться на улице! А когда некий пожилой дворянин спросил, что случилось, какой-то рабочий рассмеялся ему в лицо: «Гражданин! Император испустил дух! В полдень объявят республику!» Потрясенный этими подробностями император опускает бумагу и говорит окружающим:

— А как же династия? О моей жене, о моем сыне, о всех учреждениях империи никто не подумал?! Мне срочно нужно ехать в Париж.

Наполеон думает: этот рабочий, который рассмеялся, — это ведь и есть народ! Для того ли он годами искусно строил разумную структуру государства, для того ли оттолкнул любимую женщину и привел в дом императорскую дочь, дабы в огромном дворце незримо подрастал его наследник — залог земного бессмертия, чтобы какой-то отчаянный смельчак офицер, которого никто не знает, сразу стал героем дня: стоило ему крикнуть, что император мертв, как народ вновь потребовал республики! Регентша, наследник, Государственный совет — все это ничего не значит? Это сосуд Данаид! А я все же хочу дать моему сыну твердую почву под ногами, хочу немедленно короновать его по примеру Капетингов — и произвести проверку моих людей в Париже!

Обретя из-за новых опасностей новый прилив сил, император твердо берет в свои руки бразды правления. «Он бледен, но лик его спокоен, черты его не выдают испытываемых им страданий», даже здоровье его пришло в норму. Они приближаются к Березине. Получив плохие вести из армий на флангах, Наполеон плотнее концентрирует войс-

ко, приказывает сжечь остатки обоза, дабы высвободить лошадей для последних орудий. Только бы мост через Березину оказался цел! «Если противник овладел предмостным плацдармом, — пишет он, — и сжег мост, так что нельзя будет переправиться, это будет для нас большим несчастьем».

На следующий день они уже на берегу: ни моста, ни лодок, на другом берегу две армии, превосходящие их численностью, а между ними — широкая река с болотистыми берегами. Возможно ли здесь как-то оторваться от неприятеля?

Наполеон придумывает план, достойный прежнего генерала Бонапарта: ложным маневром он отвлечет русских и заманит их в ловушку. Страха как не бывало, он энергично действует: 1800 спешившихся конников своей гвардии, из которых лишь 1100 еще при оружии, образуют два батальона. Затем Наполеон велит принести и сжечь знамена всех корпусов: в столь страшный час так сильна в нем мысль о славе и чести, символы которых он не хочет оставить врагу. После полуночи император наконец ложится спать в своей палатке, но слышит, как Дюрок и Дарю, думая, что он спит, тихо обсуждают возможность катастрофы. До его слуха долетают слова «арест за преступления против государства». Он трогает черный мешочек, висевший у него на шее, и садится:

— Вы полагаете, что на это могут решиться?

— На великодушие противника я бы не стал рассчитывать, — отвечает быстро нашедшийся Дарю.

— Но Франция? Как поступит Франция?

Уклончивый ответ, потом, так как вопрос повторяется, Дарю говорит:

— Лучше всего, Сир, вам быть в Париже. Оттуда вы бы скорее спасли нас.

— Значит, тут я вам в тягость?

— Да, Сир.

— А вы не хотите быть арестованы за преступления против государства?

Долгое молчание. Потом император спрашивает:

— Все ли донесения моих министров уничтожены?

— Вы куда еще не отдавали такого приказа.

— А придется. Уничтожьте все. Мы в очень тяжелой ситуации.

Это единственное признание, какое делает император своим ближайшим соратникам за все долгие недели отступления. Так говорит идущий на смерть. Однако спустя несколько минут он уже крепко спит.

На следующее утро, пока Наполеон отвлекает противника ниже по течению и удерживает его сильным орудийным огнем, саперы быстро наводят меж плывущих льдин два понтонных моста. Затем два дня длится переправа. Вместе с конницей, которая переправляется вплавь, армия насчитывает около 25 000 человек. Император, постоянно подвергаясь опасности попасть в плен, стоит на берегу, пока не переправился последний солдат. Только после этого, на третий день, он сам вместе с гвардией переходит на другой берег. Но отставшие от армии, выбравшиеся на берег в последующие дни, гибнут под огнем среди льдин.

На следующей неделе жизнь спасшихся дважды висит на волоске. При нападении казаков над Наполеоном вновь нависает опасность, но тут же и сами французы пытаются убить императора. Пятого декабря майор Лапи перед палаткой императора призывает офицеров прусской почетной гвардии: «Пора, господа! Момент настал!» Пожилой капитан должен был сперва прикончить мамелюка, потом его господина. Наверное, видели шиллеровского «Валленштейна» на немецкой сцене. Но пруссак перекладывает эту задачу на француза, а тот возражает, что не уверен в своих подчиненных. Тут из палатки выходит Коленкур, выражение лиц и жесты стоящих у входа кажутся ему подозрительными, он хлопает в ладоши и кричит: «Итак, господа, в путь!»

Вечером император, так ничего и не узнавший об утреннем происшествии, собирает своих маршалов:

— Я чувствую себя увереннее, когда говорю со своего трона в Тюильри, чем находясь во главе армии, которую уничтожили морозы... Родись я Бурбоном, мне было бы легче не наделать ошибок.

Потом говорит с каждым из них по отдельности, спрашивает их мнение и просит совета, чтобы им польстить,

хвалит и подбадривает, улыбается и очаровывает: очевидно, хочет таким путем предотвратить мятеж.

После этого Эжен зачитывает последний бюллетень, в котором впервые содержится намек на катастрофу: «Люди, недостаточно закаленные от природы, чтобы подняться над изменчивостью судьбы и военной удачи, утратили силу духа и бодрость и думали только о несчастье и поражении. Но тот, кто был выше всего этого, тот сохранил бодрость духа и стойкость и увидел в новых трудностях новую славу».

Далее говорится о том, что армия пострадала только из-за холодов. «Здоровье Его Величества лучше, чем когда бы то ни было».

Тон, грозно звенящий металлом. Наполеон завершает русскую кампанию, начатую шесть месяцев назад, тоном героического цинизма. Потом он передает командование над остатками армии Мюрату, а сам решает вернуться с 9000 вооруженных людей.

Однако тут происходит нечто неожиданное: император обнимает каждого генерала, находящегося в палатке. Что это — последняя уловка соблазнителя, желающего укрепить покачнувшуюся верность? Или взволнованность души? В эту ночь все почувствовали, как бьется сердце императора.

Вместе с Дарю и Коленкуром он садится в сани и уезжает, для вящей безопасности взяв себе имя своего секретаря Райневаля: это уже его пятое имя. Четвертым было Наполеон.

Внезапно император велит остановиться на каком-то перекрестке посреди польских снегов. Неподалеку расположен замок графини Валевской, он хочет ехать туда. Лишь настойчивые предостережения его спутников — мол, мы здесь одни в этих двух санях, а кругом рыщут казаки, — заставляют его отказаться от идеи. Он закутывается в мех и засыпает.

Спустя пять дней Наполеон останавливает сани на мосту перед Варшавой и среди дня идет пешком вместе с Коленкуром в город: того, кто нас узнает, объявим духовидцем и помешанным. Своего спутника император отсылает в посольство, а сам идет инкогнито в небольшую гостини-

цу, которая к тому же еще и называется «Англетер». В низенькой беленой комнатке холодно, служанка тщетно пытается разжечь в камине сырые дрова, Наполеон снует по комнате из угла в угол в шубе, меховой шапке и сапогах и хлопает себя по бокам, стараясь согреться. В таком виде застают его два польских аристократа, за которыми по его просьбе послал министр. Они не верят своим глазам, однако привидение смеется им в лицо:

— Давно ли я в Варшаве? Восемь дней? Нет, два часа. От великого до смешного всего один шаг. Как дела, господин Станислав? Опасности? Ничего подобного! В острые моменты я оживаю. Чем больше меня кидает из стороны в сторону, тем лучше себя чувствую. Короли-трусы наливаются жирком в своих замках, а я — в седле на войне... Значит, вы все тут в тревоге за меня? Но моя армия в полном порядке. У меня еще сто двадцать тысяч. Я разбил русских повсюду. Они не осмелились сопротивляться. В Вильне мы станем на квартиры. Я собираюсь в Париже набрать в армию еще триста тысяч резервистов. Через шесть месяцев я вновь на Мемеле...

На моем веку бывали и не такие сражения! Под Маренго противник бил меня до шести вечера, на другой день я стал повелителем Италии. Под Эслингом я стал хозяином Австрии, хотя эрцгерцог надеялся там меня остановить. Я не мог помешать Дунаю за ночь повысить уровень воды на 16 футов. Если бы не это, с Габсбургами было бы покончено. Но звездами мне было предначертано жениться на эрцгерцогине!

То же самое в России. Я не мог помешать наступлению морозов. Каждое утро сообщалось, что за ночь погибло десять тысяч лошадей. Да, приятное путешествие! Наши норманнские лошадки не могут вынести столько, сколько российские, как и наши солдаты... Вероятно, меня упрекнули за то, что я слишком долго пробыл в Москве. Но погода была отличная, кроме того, я ждал мира. Такова большая политическая игра! Кто не рискует, не выигрывает! От великого до смешного всего один шаг. Кто бы мог подумать, что Москву сожгут! Я чувствую себя лучше, чем когда-либо, и если бы сам дьявол уселся мне на шею, я чувствовал бы себя еще лучше.

Такой сумбур слетает два часа кряду с уст человека, после безумных потерь изображающего храбрость безумца.

Наполеон становится авантюристом. Полякам, которые разнесут его слова дальше, он плетет ложь об армии, которой на самом деле давно уже нет, о морозах, которые в действительности погубили лишь остатки разгромленной армии, о битвах, в которых он не победил. Все это Наполеон перемежает историческими сопоставлениями мирового масштаба, трактуя происходящее как фатум истории, ссылается на провидение и четырежды повторяет великолепную своей циничностью фразу о великом и смешном. Наполеон медленно поднимается до высокой иронии.

Всего этого оба поляка не чувствуют: они думают о долгах своей страны и надеются получить деньги от все еще великого человека. По приказу Наполеона казначей быстро выдает им шесть миллионов, которыми император хочет стяжать симпатии Польши, они желают ему счастливого пути и со сдержанной насмешкой смотрят, как император садится в сани и уезжает.

Днем и ночью они несутся на запад, Германия тоже вся в снегу. Днем и ночью в его мозгу теснятся вопросы, приказы, проекты. Действительно ли Англия непобедима? Теперь ее торговле с балтийскими государствами, а также с Кадиксом и Левантом нет препон. Индию придется пока отложить, но больше никаких шагов, никаких планов! Будет ли Рейнский союз подчиняться, как всегда? Как объяснить провал кампании, поскольку долго отрицать его будет невозможно? Поставит ли Франция еще 12 000 новобранцев? Придется заранее мобилизовать резервистов следующего призыва. С Папой нужно будет быстро помириться, так же как и с испанцами — тыл должен быть обеспечен. Необходимо создать везде национальные гвардии, это была лучшая идея революции, так удастся за три месяца поставить под ружье миллион сограждан.

Ночь. Очередная смена лошадей. Он высовывается из саней:

- Где мы?
- В Веймаре, Сир.
- Веймар? Как дела у герцогини? А у господина Гете?

VIII

Дома побежденного господина встречают сорок согнувшихся в поклоне спин, и вид этих фраков, расшитых его презрением, возвращает ему веру в глупость и слабование людей, желающих одного: подчиниться чужой воле. Сколько горя и усталости накопилось в его столице и в его народе, Наполеон так и не пытается узнать, и, вместо того чтобы, как в юности, с подкупающей прямоотой признать свои ошибки, император выступает перед своими склоненными сановниками словно Цезарь и грозно валит все на Бога погоды, в то время как еще позавчера сам мнил себя Богом погоды для Европы.

Хотя зима в России на этот раз наступила позже, чем обычно, Наполеон отмахивается от этого обстоятельства словами: «Армия понесла большие потери лишь в результате рано начавшейся зимы... Оказалось, что король Неаполя не способен командовать войском, после моего отъезда он совсем потерял голову... Несмотря на это, у меня еще есть 300 батальонов, причем я не отзываю ни одного человека из Испании».

Как? Неужто его презрение к людям дошло до такой степени, что он говорит это тем, кто уже несколько месяцев знает правду? Но ведь их гнетет сознание своей вины: за путч в октябре они все несут свою долю ответственности — ведь не задушили его в первые же четверть часа, а император, тоже мучимый угрызениями совести, рад возможности играть роль обвинителя, ибо не может им простить, что в решающий час они забыли об императрице и наследнике престола.

Весьма знаменательными словами он втолковывает эту мысль своим советникам при первом же приеме во дворце:

— Во всем виноваты приверженцы естественного права. Кто, кроме них, вменил себе в обязанность принцип мятежа? Кто льстил народу, признавая за ним суверенность, к которой он неспособен? Кто подорвал уважение к закону и поставил себя в зависимость от скопища людей, не имеющих никакого понятия об управлении и юриспру-

денции, вместо того чтобы придерживаться природы вещей! Кто решает строить новое государство, должен следовать как раз противоположным принципам. История дает нам свидетельства сущности человеческой души, из истории и следует извлекать преимущества и недостатки того или иного законодательства... Когда я взялся за восстановление Франции, я испросил себе у провидения несколько лет, ибо то, что один может вмиг разрушить, другой сможет восстановить лишь за много лет. Государству нужны мужественные чиновники. «Король умер, да здравствует король!» — таков был девиз наших предков. В этих словах заключено преимущество монархии.

Если бы в этой речи не было красивых слов об истории и о душе человека, ее вполне мог бы сказать император Франц. Из-за чего же борются теперь эти господа? Ведь конфликт между традицией и ее насильственной ломкой закончен, поскольку сын революции объявил себя ярым сторонником традиции; носит ли наследник престола имя Бурбона или Бонапарта, какая разница. Проклятье династического брака и его последствия только запутали проблему и связали гения по рукам и ногам.

А может, Наполеон лишь наполовину верит в то, что говорит?

Перед походом в Россию он без тени смущения рассказал Меттерниху о своих планах: «Законодательный корпус послушен мне, осталось лишь класть себе в карман ключ от зала заседаний. Франция еще меньше годится для демократии, чем другие страны... Поэтому, вернувшись, я превращу Сенат и Государственный совет в верхнюю и нижнюю палаты, депутатов большей частью буду назначать сам. В палатах будут сидеть подлинные народные представители — сплошь опытные деловые люди, и никаких пустомель-фантазеров. Тогда Франция получит разумное управление и при бездейтельном монархе — ибо грядут и такие — и обычного воспитания, какое дается принцам, станет вполне достаточно».

Необходимо срочно создавать новую армию, а именно — в считанные недели: 140 000 рекрутов даст набор 13-го года, а где взять остальных? У императора есть волшебная палочка, он находит людей, когда ему нужно.

Чтобы использовать восьмидесятитысячные национальные гвардии также и за пределами страны, нужен только новый закон, тогда можно будет призвать и старшие возрасты, что даст еще 100 000, и одновременно рекрутов следующего года: вновь под ружьем окажется полмиллиона человек. Ибо «французский народ, — уверяет Наполеон прусского посланника, — безусловно пойдет за мной, а если будет нужно, я и женщинам дам в руки оружие!»

Однако как объяснить народу столь неожиданные меры? Ведь враги не стоят у границ.

Тут на его счастье прусский генерал Йорк в конце года на свой страх и риск заключил договор с русским соседом и объявил собственный корпус нейтральным. Именно это и нужно императору, чтобы накалить атмосферу во Франции. Это предательство бывшего союзника Наполеон тут же использует, издав манифест в Париже и разослав князьям Рейнского союза письма с требованием о помощи: он-де не нуждался бы в ней, если бы из-за измены Йорка его армия не была вынуждена отступить.

Призывам Франции подчиняются. Немецкие князья, включая Габсбурга, вновь собирают деньги и войско, а один из них даже добавляет с лакейским подобоострастием, что он «счастлив дать императору возможность завоевать новую славу». Король Пруссии отправляет генерала Йорка в отставку, заверяет императора в верности их союзу, но одновременно делает намек царю, потом едет в Бреслау, лавирует между двумя лагерями, в то время как патриотический подъем охватил молодежь, политиков, литераторов уже далеко за пределами Пруссии и угрожает смести слабого короля. Теперь Штайн — именно тот человек, который может вместо царя вести переговоры со своей собственной страной, и он начинает их в Кенигсберге.

Император настораживается. Особым циркуляром он предостерегает князей от происков всех тех, кто «хочет путем переворотов и революции преобразить Германию. Ежели этим людям удастся внушить Рейнскому союзу свои идеи, страны союза будут ввергнуты в неисчислимые страдания».

Он чует этот чуждый дух. По-видимому, император

только теперь обнаружил и у немцев наличие национального чувства, как ранее у испанцев. А ведь еще незадолго до русского похода ему казалось, что этой нации даже ночной сторож не нужен: «Поскольку в Германии нет ни Америки, ни моря, ни англичан, как в Испании, то ее нечего опасаться, даже если бы немцы были столь же ленивы, бездеятельны, суеверны и послушны монахам, как испанцы. Да стоит ли бояться такого порядочного, разумного, выдержанного и терпеливого народа, который настолько далек от любых эксцессов, что во время войны в Германии ни один солдат не был убит местным населением!»

Удивительно верно сказано о немцах, и просчет лишь в одном-единственном пункте: Наполеон не заметил склонности этого народа к романтике, а романтикой можно этот народ увлечь и повести за собой. Конечно, итальянец со своей патетической фантазией не может себе представить фантазию столь тихую, лишенную пафоса, и поскольку он знает, что все немцы в душе монархисты, то и считает, что раз немецкие князья с ним, значит, и весь немецкий народ также.

А разве это единый народ? Разве эта империя, уже и формально ликвидированная благодаря отречению последнего императора, на самом деле не «метафизическое образование»? Лишь совсем недолго — в течение двух лет — народы Германии будут едины. Потом, одолев чужака, они вновь распадутся, и им понадобится еще полвека и еще один грозящий смертью Наполеон, чтобы наконец осознать себя единой нацией. Чутье к народному духу у Наполеона настолько атрофировалось, что он на основании вечных конфликтов и конкуренции между немецкими князьями сделал вывод о постоянном расколе среди немецких племен, вместо того чтобы увидеть в этих ревнивых князьях единственное препятствие, мешающее объединению братьев.

Однако возвышенное дыхание истории временами определяет ритм эпохи вопреки воле гения. Если некогда Бонапарт именем свободы побеждал князей и поднимал народы, то теперь народы поднимаются именем свободы, чтобы победить его, одного из этих князей. Естественно, эта главная линия судьбы затушевывается множеством ме-

лочных желаний и общественных течений, и уж, конечно, вовсе не законные власти теперь, через двадцать лет, вдруг собрались убить революционный дух. Ничтожные, вечно колеблющиеся, подверженные упадочническим настроениям и лишённые сильного лидера, прежние князья, как и раньше, оказались лицом к лицу перед тем единственным, кто сам себя создал.

Но народы Испании и Германии вынуждают своих князей противиться узурпатору, и это придает трагическому краху завоевателя видимость справедливого суда, тем самым приближая миг, когда под натиском множества объединившихся охотников лев наконец падает бездыханным.

IX

Летиция озабоченно глядит на своего сына. Его нахмуренный лоб говорит ей то, о чем он умалчивает. Что она может сделать, чтобы ему помочь? Привести к нему родных. Летиция видит, что ее сына предают со всех сторон, — значит, ему нужны братья, чтобы опереться на надежных людей, даже если их интеллект его не устраивает. По секрету от него она пишет в Лондон и Грац, подготавливает почву, и однажды после десяти лет обиды приходит письмо от честолюбивого Люсьена — мол, к Вашим услугам.

Однако император не хочет смириться с тем, что он, самый могущественный из всех, нуждается в людях. Люсьена, которого Наполеон всегда считал самым способным из братьев, он готов лишь формально пристроить и отвечает ему по-императорски, поручая матери написать письмо: «Напишите ему, пожалуйста, от моего имени, что его письмо нашло отклик в моем сердце. Я предназначил ему трон Тосканы, он будет править во Флоренции и сможет возродить эпоху Медичи, ведь он так любит изящные искусства». Сказано свысока, как бы из поднебесья. А Людовик, тоже предлагающий отечеству свои силы и прилагающий к письму свои новые стихи, получает еще более высокомерный ответ: «Ваше представление о моем теперешнем положении абсолютно неверно. У меня более миллиона

человек под ружьем и 200 миллионов франков в военной казне. Голландия остается французской... Тем не менее я принял бы Вас как отец, воспитавший Вас».

Этот ответ император сам читает вслух своей матери. Но та, стараясь смягчить впечатление, прилагает к этому ответу длинное письмо от себя, в котором расхваливает Людовику красоту его детей и умоляет на всякий случай все же приехать в Париж. «Император забыл вернуть тебе твои стихи. Я попрошу их у него и в следующем письме сообщу тебе свое мнение».

На следующий день Летиция читает в «Мониторе» возмущенную статью против короля Неаполя, в которой требуют, чтобы тот отозвал своего посланника из Вены. А когда она спрашивает окружающих, что это значит, ей объясняют, запинаясь на каждом слове, что Каролина подговорила Мюрата завязать дружеские связи с Веной, и теперь эта пара ведет двойную игру. Летиция в жестких выражениях призывает дочь одуматься. Затем пишет Жерому, которого император открыто отчитал и отослал домой, и под конец — Гортензии, которая хочет воспрепятствовать возвращению в Париж ее мужа Людовика.

Летиции уже далеко за шестьдесят. Вот она сидит в окружении сыновей, дочерей, зятьев и невесток и видит, что из того величия ее семейства, которому завидует весь мир, не возникает ничего, кроме раздоров и ревности, высокомерия, изгнания и предательства, и вспоминает о своем родном острове, где ее клан всегда был един в борьбе с другими кланами. Но звезда ее семьи явно начинает закатываться, ее старые неподкупные глаза отчетливо это видят.

В своем теперешнем положении император остается безучастен к этим вещам, он смотрит на них с точки зрения политики. И хоть называет про себя Мюрата и Каролину предателями, но одновременно задается вопросом, как бы ему привязать вспомогательные войска Мюрата к себе. Поэтому пишет сестре, посреднице между ним и Мюратом, поручает ей информировать супруга о предстоящей кампании, требует войск, которые тот в конце концов обещает, ибо супруги прикидывают: а вдруг и на этот раз победит император, тогда мы вмиг лишимся нашей

короны. На всякий случай они страхуют себя с обеих сторон, заключая секретные договоры с Англией и с бывшим королем Сицилии, изгнанным ими же самими.

С Бернадотом император склонен примириться, несмотря на все вероломство кронпринца Швеции, но предлагает ему в случае союза и победы лишь Померанию. В результате этот француз предпочитает вместе с создающейся коалицией идти против Франции, ведь там он собирается стать королем, а Франция как-никак лучше, чем Померания. Особым договором Бернадот связывает себя с Пруссией, и на балу у мадам де Сталь в Берлине встречаются эти двое земляков и ненавистников императора.

Третий враг, которого император улещивает в эти стремительные недели, — это плененный Папа. В Фонтенбло, куда он того поместил, Наполеон с помощью преданных прелатов, а потом и личным внушением добивается того, что старик уступает. Как возрастает величие церкви, вещает ему император, когда он вернет всю Германию в лоно католицизма! Незначительными уступками в формальных вопросах, хитростью и коварством император добивается в конце концов нового Конкордата, в основных вопросах поддерживающего его победу. За этим следуют большие торжества во всех его странах, под впечатлением которых он вербует новых солдат-католиков в свою армию. И когда Папа задним числом, через восемь дней после подписания, хочет отозвать свою подпись, император говорит ему, улыбаясь: «Ведь Ваше Святейшество непогрешимы, а значит, никакой ошибки и быть не могло».

В эти недели по всей Европе внезапно поднимается волна стремления к миру. Папа хочет заключить мир на Висле, Меттерних — в Лондоне, граф Бубна, с которым Наполеон некогда вел переговоры в Шенбрунне, приезжает в Париж, чтобы предложить императору мир, ибо Вена в настоящее время не может ни выставить требуемое количество войск, ни отказать. В эти недели февраля мир наверняка можно было заключить. Почему же человек, которому мир нужен больше, чем кому бы то ни было, предъявляет невыполнимые требования?

Десять лет кряду войны навязывались Наполеону как следствие его первых побед. Теперь же, когда кругом опас-

ность и он оказался во все возрастающем одиночестве, он сам рвется на войну, как в первые годы. Непобедимый не нуждался в войнах, побежденный страстно мечтает о новых победах. Его честь полководца сильно пострадала в России, а французы так любят славу, и Наполеону хочется, чтобы и честь, и слава вновь замерцали впереди. Но это всего лишь поводы. А в реальности Наполеон отказывается заключить мир и будет в 13-м году повторять это на трех конгрессах, потому что все стихии его натуры пришли во вращательное движение. Он «по природе вещей» вышел на ту последнюю прямую, которую нужно пробежать до конца, и никто этому помешать не может.

Вперед! Во всех концах Европы союзники лихорадочно вооружаются, все понимают, что дело идет к войне, Англия заключает альянс со Швецией и Пруссией, царь отказывается от Восточной Пруссии, чтобы заполучить Пруссию, Пруссия призывает всех немцев к восстанию, Австрия заключает перемирие с русскими и ищет контактов с Саксонией и Баварией, даже с Жеромом, отводит свои войска в Краков — якобы для того, чтобы сохранить их для будущего похода.

— Это первый шаг к разлуке! — восклицает император, получив сообщение. Теперь и ему придется отвести остатки своего войска с Вислы на Одер. Вене он вновь предлагает Силезию. Ему с благодарностью отказывают, беря на себя временно роль вооруженного посредника, и в то время, как все продолжают вооружаться и в середине марта в Париже раздается первый сигнал объявления войны Пруссией, Талейран заявляет, сидя в открытой засаде: «Момент настал: император Наполеон должен стать королем Франции».

Блестящая идея, высказанная тем, кто надеется, что столь разумное событие не произойдет — да, в сущности, кто еще хочет, чтобы оно произошло. Слишком далеко зашел процесс подготовки к войне, слишком ясно у всех на глазах вырисовывается последний путь к конечной битве: все в движении, ничего не остановить. Только Наполеон может все остановить, но не хочет: он уже ведомый, а не ведущий, и он устал. На это указывают некоторые новшества.

Прежде всего это спартанская простота, которую император заводит в быту: «Я хочу ввести иной порядок: намного меньше свиты, поваров, посуды, трапеза должна состоять только из трех блюд... Не хочу также везти с собой пажей, они мне совсем не нужны, только две кровати вместо четырех, две палатки вместо четырех и так далее». Одновременно он заказывает чертежи маленького палаццо — «скорее приятный, чем красивый небольшой дворец, и чтобы окна моих покоев выходили в парк... Это должен быть дом для жилья и отдыха для богатого частного лица на закате жизни».

«Для войны человек годится лишь недолго, — сказал Бонапарт в 1805 году, находясь на вершине своей славы. — Я потяну еще лет шесть, потом надо будет остановиться». Теперь он вновь отправляется на войну — через четыре месяца после своего возвращения. Во дворе замка Сен-Клу часто видят, как в молчаливой задумчивости Наполеон идет к своей карете, откидывается на подушки сиденья и прижимает ладонь ко лбу. Внезапно он признается Коленкуру, который его сопровождает, что ему горько «вновь покидать милую Луизу и очаровательное дитя. Я завидую самому бедному крестьянину моей империи. В моем возрасте он уже выполнил свой долг перед родиной и может оставаться дома с женой и детьми. Только меня эта загадочная судьба вновь и вновь ведет на бой».

Что это — четвертый акт жизненной драмы или помрачение души как следствие русской катастрофы? А не глубинные ли это причины новых поражений? То, в чем Наполеон во время похода в Россию за обедом в Данциге упрекал своих маршалов, что им бы хотелось спокойно откусать чего-нибудь повкуснее, насладиться своими поместьями, охотой и замком, — так это вполне понятное желание человека, два десятка лет трудившегося в поте лица и для своего герба выбравшего пчелу.

Однако за экстазы молодости приходится расплачиваться в старости. Слишком многое удалось в жизни Наполеону, чтобы ему довелось еще и насладиться достигнутым. Он бросил вызов богам: и вот они явились.

X

Уже первый смотр войск в Майнце показывает, что вместо 300 000 набралось только 180 000 солдат, кавалерии слишком мало, вооружение непродуманно, лучшие орудия пропали в России или нужны в Испании, генеральный штаб сильно сокращен, санитаров и штабистов недостаточно. Наполеон все это видит, но недоукомплектованная армия напоминает ему прежние времена и прежние везенья. Император вспоминает апрельские дни в Каннах и Ницце, когда он принял толпу оголодавших и оборванных вояк и повел их через горы к победе. С той поры минуло семнадцать лет. Вспомнив об этом, Наполеон с трудом сдерживается, чтобы не вспылить, и произносит слова, продиктованные туманной надеждой:

— Я буду вести эту войну как генерал Бонапарт.

С этим девизом, как бы соединяющим в себе подъем духа и самоотверженность, Наполеон бросается в первую битву под Лютценом, появляется на переднем крае чаще, чем все последние годы, после первого дня битвы вообще не ложится спать, а на второй день, когда все идет хорошо, расстилает медвежью шкуру прямо посреди расположения корпуса Мармона, и, когда час спустя его будят, чтобы доложить о победе, он вскакивает и иронически замечает:

— Сами видите, все лучшее случается во сне!

Но едва одержав эту победу как генерал, он вновь позволяет взять верх сидящему в нем политику и императору: рассылает во все концы преувеличенные сообщения о победе, принуждает колеблющегося короля Саксонии присоединиться, говорит князьям Рейнского союза о провидении и военном счастье, дабы удержать их на привязи, даже посылает своего министра к русским форпостам, не долго думая и вполне бесцеремонно предлагает царю обменять Польшу на Пруссию и произвести другие перемещения. Царь уклоняется от ответа, и тогда Наполеон пишет императору Францу письмо, в котором даже прибегает к совершенно необычному для него самохвальству: «Хотя я сам руководил всеми передвижениями своей армии и временами выдвигался вперед на досягаемость кар-

течного выстрела, со мной ничего неприятного не случилось». Так действует только тот, кто чувствует себя слабым, а хотел бы казаться сильным. Отныне сигналы рокового исхода начнут учащаться.

Правда, под Бауценом император вновь побеждает, но противник ускользает от него. На второй день Наполеон в сопровождении Коленкура и своего близкого друга Дюрока, который уже десять лет не отходит от него ни на шаг на поле боя, вновь бросается вскачь в самую гущу боя, видит вокруг падающих под огнем противника, затем взлетает галопом на холм, адъютанты в пыли и дыму, рядом с ним валится дерево, на вершине холма его догоняет молоденький офицер и, запнувшись, выдавливает: «Маршал Дюрок убит».

— Этого не может быть! Он только что был рядом со мной!

— Ядро, свалившее дерево, угодило в него.

Император медленно возвращается в лагерь и говорит:

— Когда же судьба наконец войдет в мое положение! Когда же это кончится! Коленкур, мои знамена еще побеждают, но моя звезда вот-вот померкнет.

Дюрок, однако, не убит, он смертельно ранен. Ужасен вид растерзанного тела друга, последнее свидание, оба в слезах. Умиравший говорит:

— Я же говорил тебе еще под Дрезденом, внутренний голос... Дай мне опиум...

Этот тон, это внезапное обращение на «ты», последняя просьба человека, презиравшего смерть... Император, шатаясь, выходит из палатки.

Он долго стоит возле крестьянского дома за ржаным полем и смотрит на то место, где погиб его друг, потом кружным путем поднимается на холм, где, образуя каре, стоит лагерем его гвардия. В середине каре — две его палатки. Весь вечер Наполеон сидит в одиночестве, обняв спинку стула и погружившись в невеселые думы. До него доносится шум лагеря, гвардейцы готовят ужин и перекликаются, вдали корпус егерей запекает песню. В сумеречной майской ночи вспыхивают сторожевые костры, две горящие деревни похожи на предвестников мрачных событий, а гора на горизонте носит название, в переводе означаю-

щее «Корона страны». Входит офицер, не сразу решается сообщить то, ради чего пришел, но император по его лицу догадывается: Дюрок умер.

На другой день Наполеон велит купить участок земли, поставить на нем памятник и высечь: «Здесь почил на руках у императора, своего друга, сраженный во время боя пушечным ядром прославленный генерал Дюрок, великий маршал императора Наполеона».

У генерала Бонапарта никогда не было времени на такие настроения. Скрывая сердечную боль, он несся вперед, даже когда узнал, что утратил любовь своей жены. И теперь ему надо бы дальше мчаться по Силезии, преследовать русских до Польши, воспользоваться сомнениями союзников, быстрыми ударами связать руки колеблющемуся Габсбургу. Ничего этого он не делает, что позже назовет величайшей ошибкой своей жизни. Вновь имперские соображения сдерживают генерала: из Франкфурта во всех письмах от близких друзей звучит призыв к миру. Но главное: «на меня влияет весть о том, что Австрия вооружается, а также желание выиграть время». В начале июня Наполеон заключает в Силезии перемирие на шесть недель и оставляет своим противникам время, чтобы окончательно объединиться на двух конгрессах — в Райхенбахе и Праге.

Разве император может обманываться насчет умонастроений колеблющихся немецких князей? Он их всех знает. «Саксонцы — такие же немцы, как и все прочие, и предпочли бы последовать примеру Пруссии, их король верен мне, но их войску я не доверяю... Наглость Австрии беспредельна. Сладкими речами они пытаются отобрать у меня Далмацию и Истрию... Нет в мире ничего более лживого, чем венский двор! Отдай я им сегодня то, что они просят, завтра они потребуют Италию и Германию».

Теперь, почувствовав, что Габсбург вот-вот перекинется к противнику, он задним числом осознает ошибочность своей женитьбы: благодаря ей он ничего не выиграл и многое потерял. И теперь из его души, рожденной свободной, наконец вырываются прежние нотки презрения, и перед близкими вновь и вновь звучат оценки королей по праву рождения.

— В среде этих людей, рожденных королями, кровные

узы не имеют ровно никакого значения. Интересы дочерей и внуков не заставят императора Франца ни на iota отступить от расчетов его кабинета министров. В их жилах — не кровь, а замороженная политика! Разве они не похожи на младенцев, эти короли Божьей и моей милостью? Моя снисходительность была глупостью. В Тильзите я мог их раздавить, а я повел себя великодушно. Мне бы следовало уяснить из истории, что такие деградировавшие династии не заслуживают ни веры, ни верности! А теперь Англия накачивает в них деньги... Но я лучше владею политикой, чем эти короли по рождению, не покидающие своих позолоченных клеток.

В этой атмосфере интриг, зажатый между князьями, больше не решающимся идти с ним, но еще не решившимся выступить против, Наполеон избирает явных предателей своими доверенными лицами.

Поэтому император призывает к себе Фуше:

— Ваши друзья Бернадот и Меттерних — мои злейшие враги. Ваш Бернадот в состоянии причинить нам величайший вред, передавая противникам ключи к политике и тактике наших войск... Лесть законных властителей бросилась ему в голову!

Вот они вновь, эти слова: «законные властители». Половину жизни Наполеон испытывает исходящую от них мистическую силу, то толкающую вперед, то вызывающую тревогу. Он так никогда и не сможет преодолеть легкую дрожь при упоминании об этих «легитимных» королях — иногда это презрение, иногда зависть. Копирует ли он их или оскорбляет, но выскочку всегда волнует проблема родovitости.

Вместо того чтобы прислушаться к голосу нации, Наполеон со злорадством воспринимает только махинации кабинетов: как Англия скупится на помощь деньгами Пруссии, как Франц и Александр договариваются ослабить собственного союзника — короля Пруссии, а тот, опасаясь за свою власть, распускает патриотически настроенное ополчение, не допускает к руководству делами королевства храбрейшего Шарнгорста и умнейшего Штайна... Император посылает Фуше с секретной миссией, а точнее — как шпиона, на Пражский конгресс.

А тем временем, пока император двумя победами укрепил свое положение, в Испании Веллингтон наголову разбил армию Жозефа под Витторией. Тот бежал, и, когда князья, съехавшиеся в Прагу, узнают, что Англия может вторгнуться во Францию с юга, злорадство быстро настраивает их на упорное сопротивление. Император, отдавший в помощь брату своих лучших генералов, вне себя: «Жозеф один во всем виноват! — пишет он в Париж. — Английские сообщения показывают, как глупо он командовал своей армией. Неслыханно глупо! Правда, он не военный, но должен нести ответственность, а браться за чужое дело — величайшая ошибка... Я твердо настаиваю — объясните это королю, — чтобы он до моего возвращения ни с кем не виделся... В противном случае его дом в Париже превратится в гнездо интриг, и мне придется его арестовать, ибо терпение мое лопнуло. Не хочу долее подвергать опасности мое дело из-за снисхождения к глупцам, не способным быть ни солдатами, ни политиками».

Император вынужден опасаться старшего брата в его дворце в Париже больше, чем на королевском троне в Мадриде! Поумнеет ли наконец император после стольких бед, оставит ли Жозефа после этой вспышки в покое? Вряд ли. Ибо и молодой Жером вновь получил под свое командование армию и вновь безобразничает: дает одному из генералов новый маршрут движения, заметив, что делает это по поручению императора. Наполеон узнает об этом слишком поздно: «Такого поведения — не хочу его точнее определять — не могу больше терпеть! Ежели вы еще раз позволите себе обман, я объявлю приказом по армии, что все ваши слова недействительны».

Вскоре после этого Жюно, один из старейших соратников императора, страдающий манией величия, потерпев поражение в бою в Иллирии, выбрасывается из окна. Бурьен, некогда отстраненный из-за каких-то сомнительных сделок, потом ставший посланником в Гамбурге, теперь изгоняется и оттуда за растраты. «И если он еще раз займется такими делами, я его арестую и велю возместить все, что он наворовал в этом городе». А предатель из предателей Бернадот действительно прибыл со шведами в Поме-

ранию и убедил союзников сопротивляться, чтобы потом и их обмануть. Ко всем ним вскоре добавится еще один заклятый враг императора: генерал Моро, посланный после заговора в Америку, возвращается — он хочет присоединиться к врагам Франции и разделить с Бернадотом славу борца против родины.

В таком положении, зажатый со всех сторон, слишком осторожный, чтобы воспользоваться только что одержанными победами, и слишком сильный, чтобы соглашаться на любые условия для достижения мира, император прибегает к своему испытанному средству: он приглашает Меттерниха в Дрезден, надеясь на свою силу внушения. Их беседа, продолжавшаяся по наполеоновскому обычаю девять часов без перерыва, не принесла императору желаемого результата, зато представляет большую ценность для последующих поколений.

Император принимает министра, стоя посреди комнаты со шпагой в руке и треуголкой у локтя, справляется о здоровье тестя и сразу же переходит в наступление:

— Итак, вы хотите войну? Что ж, вы ее получите. Под Люценом я уничтожил пруссаков, под Бауценом разбил русских. Вы хотите, чтобы наступил ваш черед. Прекрасно. Увидимся в Вене. Люди неисправимы. Трижды я восстанавливал императора Франца на троне и обещал ему мир до конца моих дней, даже женился на его дочери. Тогда я говорил себе, что совершаю глупость, но я ее сделал и сегодня в этом раскаиваюсь.

Сразу видно, что он настроен не слишком куртуазно и держится с представителем своего тестя, которого хочет в чем-то убедить, суровее, чем в день после Аустерлица. Министр говорит о мире в Европе, который возможен, только если французский император согласится в известной мере ограничить свою власть: вернет Варшаву царю, Иллирию — Габсбургу, ганзейские города освободит и расширит границы Пруссии.

— Значит, вы хотите, чтобы я сам себя обесчестил? Я скорее умру, чем уступлю хотя бы пядь своей земли. Ваши урожденные короли могут двадцать раз терпеть поражение и все же вновь возвращаться в свои резиденции. Я — сын военного счастья, для меня это невозможно!

Моя власть держится, лишь пока я силен, то есть внушаю страх... Я все потерял из-за этих русских морозов, кроме чести... И теперь у меня новая армия, не угодно ли поглядеть, я устрою ради вас смотр!

Опять в Наполеоне говорит гордость урожденного солдата, восстающего против урожденных королей. И когда министр утверждает, что именно французская армия хочет мира, император перебивает его, заявляя с поразительной искренностью:

— Не армия, а мои генералы хотят мира! У меня не осталось настоящих боевых генералов, московские морозы их деморализовали, самые храбрые плакали там, как дети. Две недели назад я еще пошел бы на заключение мира, но теперь, после двух последних побед, уже не могу.

— Европа и вы, Сир, — возражает министр и тем самым лишь приоткрывает проблему, — никогда не придут к взаимопониманию. Ваши мирные договоры всегда оказывались лишь перемириями, успехи и неудачи с одинаковой силой толкают вас к войне. Теперь с вами будет воевать вся Европа.

Император раздражается злобным смехом:

— Вы хотите расправиться со мной, вступив со всеми в союз? Сколько же вас всего, господа союзники? Четыре, пять, шесть, двадцать? Тем лучше!

Наполеон предлагает заключить вооруженный нейтралитет, покуда в Праге ведутся переговоры, в то время как министр настаивает на вооруженном посредничестве. Эти тонкие уловки старой дипломатии должны прикрыть собою полный разрыв. Затем они битый час спорят о численности обеих армий, причем оба заявляют, что точно знают, сколько у противника войск.

— У меня есть список вашей армии, — говорит император. — К вам в боевые порядки посланы тучи шпионов, так что нам все о вас известно, вплоть до количества барабанщиков... Но я знаю лучше любого другого надежность разведки. Мои расчеты основаны на математике: в конце концов никто не может иметь больше, чем может. — И император показывает министру Австрии списки австрийской армии, еще вчера бывшей его союзницей, и просит проверить, все ли верно. Потом часами описывает рус-

скую кампанию. Но когда Меттерних заговаривает о молодых солдатах императорской армии и под конец спрашивает, что тот будет делать, если и эти безусые юнцы сгинут на войне, император впадает в бешенство, бледнеет, черты его искажаются гневом, и он кричит:

— Вы не солдат! Вы не знаете, что происходит в душе солдата! Я вырос на поле боя, такой человек, как я, плюет на миллионы жизней! — С этими словами Наполеон швыряет треуголку в угол, теперь его и впрямь понесло: эти слова — самая глубинная правда. Человек, покрывающийся бледностью при виде подыхающей лошади, не выносящий вида умирающего, остается спокойным — и должен таким оставаться, — когда он по спискам складывает или перемещает сотни тысяч людей и вычеркивает павших. Разве война ведется не людьми и заканчивается не трупами? Здесь мастер своего дела задет за живое: как же без людей? Теперь министру легко выиграть эту партию, Меттерних бы очень хотел, чтобы вся Франция слышала этот разговор.

— Франции не на что жаловаться, — говорит император уже спокойнее. — Чтобы уберечь французов от потерь, я жертвовал немцами и поляками. В России я потерял 300 000 человек, но из них лишь каждый десятый был французом. — За этим разговором он сам поднял с пола свою треуголку, чего наверняка не делал лет десять, — значит, держался разумно и по-генеральски. Но потом вдруг вплотную подошел к австрийцу:

— Да, я совершил большую глупость, женившись на эрцгерцогине... Я хотел сплавить новое со старым, старые предрассудки с моей новой эрой: только теперь я ощутил всю значимость моей ошибки. Она может стоять мне трона, но под его обломками я похороню весь мир!

Это трагическое признание завершило разговор, а заодно и вопрос о войне и мире. Ибо именно горечь от сознания собственной ошибки заставила Наполеона вопреки разуму вступить в борьбу с союзом государств, трижды превосходящим его по силе. Как азартный игрок, понявший непоправимую ошибку, он еще неистовее ставит на одну карту: хочет доказать самому себе, что может победить несмотря ни на что.

Прощаясь с министром, Наполеон уже спокоен. Придерживая ручку двери, спрашивает:

— Надеюсь, мы еще увидимся?

— Так точно, Ваше Величество, только я уже не надеюсь выполнить свою миссию. — Император смотрит на него, похлопывая по плечу:

— Знаете, что произойдет? Вы не станете воевать со мной.

После трехдневных переговоров Меттерних собирается уехать, но император боится разрыва, приглашает его еще раз и принимает утром в парке, прохаживаясь взад и вперед:

— Вы делаете вид, что обижены?

Потом они за десять минут договариваются о продлении перемирия и переговоров в Праге, все остается в подвешенном состоянии, и, ставя подпись, император фактически признает вооруженный нейтралитет своего тестя, который может быть только переходом к войне. После этого Наполеон едет в Майнц, чтобы повидаться с женой, дочерью того самого Франца. В Париже он назначил ее регентшей и запретил лишь подавать ей на подпись определенные бумаги, ибо «нельзя некоторыми подробностями отягощать душу молодой женщины».

Если бы дочь австрийского императора была человеком доброй души, она бы тотчас отправилась в Вену и добила бы единения, которое на самом деле сорвалось только из-за душевного разлада. Ведь кое-какой ум у нее есть, всего несколько недель назад император уверял ее отца, что «Мария Луиза справляется с обязанностями премьер-министра к моему величайшему удовлетворению». Не может быть, чтобы Наполеон в самый разгар кризиса утаил от жены, что поставлено на карту, — хотя бы лишь для того, чтобы убедиться в ее чувствах на случай разрыва с Габсбургами. Но эта дуреха сидит сиднем и думает только о дорогих подарках, чтобы понравиться своей родне.

В Праге все тянут резину. Фуше вредит императору всяческой болтовней, Бернадот укрепляет дух своих новых друзей, и, когда Наполеон в последний момент все же хочет пойти на уступки, царь и король Пруссии пугаются и заставляют Меттерниха выдвинуть более высокие

требования: оба понимают, что такой благоприятный момент вряд ли представится еще раз. Тут император в гневе идет на попятный и на следующий день после конца перемирия получает от своего тестя объявление войны. Естественно, император за это время тоже усилил свою армию, но поскольку он больше не доверяет Рейнскому союзу, то вынужден контролировать его вспомогательные части. Вот Наполеон стоит с армией в Саксонии и Силезии, против него — три армии под общим командованием Шварценберга, причем Блюхер и Бернадот размещены с двумя армиями из трех в Силезии и на севере, а у Шварценберга есть еще и Моро, только что прибывший из-за океана.

Так парадоксально сложилась эта шахматная партия: под командованием французского императора сражаются три немецких короля против одного немецкого генерала, который только что в качестве офицера французской армии участвовал в русской кампании. Против Наполеона сражаются два французских генерала, одному из них он много лет делал карьеру, а теперь тот ведет против него прусские войска: вовсе не роялист, а скорее тоже сын революции. Так что в сущности Блюхер — единственный настоящий враг, ибо он никогда не сражался на его стороне и ему не симпатизировал, а семь лет назад даже был им разбит. На руку Наполеону только то обстоятельство, что в лагере Шварценберга три монарха во все вмешиваются, хотя все трое понимают в военном ремесле так же мало, как Жозеф.

Большой победой под Дрезденом в конце августа император начинает новый поход, но когда он на третий день получает возможность догнать и расчленить войска союзников, с ним случается острейшая желудочная колика, целый час он думает, что отравлен, и ни на что не может решиться. Вместо того чтобы двигаться вперед, император отступает, теряет из-за этого один корпус и «таким образом становится причиной трагедии 1813 года»: такой вывод делает Дарю, его постоянный спутник. В своем первом же бою против ненавистного Бонапарта — не знамение ли? — убит Моро, и когда император слышит об этом, в нем вновь вспыхивает старое юношеское соперни-

чество и откуда-то из глубины души вырывается: «Моро мертв! Моя звезда!»

Но одновременно Блюхер на реке Кацбах громит его вторую армию. И вновь вместо генерала говорит политик: как раздробить противников? Поэтому Наполеон хочет сохранить Богемию для Австрии: поражение потрясло там всех, лучше он неожиданно повернет на Берлин, чтобы выманить пруссаков из Силезии.

Однако все складывается так, как когда-то сформулировал русский царь: чудеса происходят только там, где Наполеон лично присутствует. Не справившись с большим замыслом, он вынужден из-за падения боевого духа, плохого питания или дезертирства во фланговых армиях всегда мчаться туда, где горит. Из-за этих его метаний молва дала ему прозвище Бауценский курьер. Одновременно усиливается нужда армии в самом необходимом: скученная на небольшой территории, она давно высосала из нее все, что там было.

У Наполеона слишком мало войск, а поскольку резервисты 14-го года уже под ружьем, он требует от Сената призвать 15-й год и даже тех, кого по возрасту уже поздно призывать. Но когда эти войска придут? Кто будет их обучать и сколько времени это займет? Тщетно шлет император к Францу нарочного с предложением мира: он, мол, готов на большие жертвы, «если только его захотят выслушать». Франц непреклонен, более того, ему наконец удается вбить клин в Рейнский союз: король Баварии из него вышел. Тут обеспокоенный игрок, видя, что тучи над его головой все больше сгущаются, говорит своему старому боевому товарищу слова, которых раньше не знал:

— Мармон, моя игра запутывается.

Этим признанием император утрачивает свою гениальность.

XI

На Дюбеновской равнине стоит саксонский замок Дюбен. Поутру там сидит в кабинете император и разрабатывает план похода на Берлин: там он разобьет Бернадота,

потом — Блюхера и так, внезапными ударами, разрушит планы врага.

Докладывают о приходе генералов. Наполеон выходит к ним, он знает, зачем они пришли: близкие люди из его окружения давно рассказали ему о растущем недовольстве среди офицеров, стремящихся спокойно перезимовать на Рейне. «Я больше уже не хозяин в своей армии», — недавно доложил ему маршал Ней. Запинаясь и неудачно обосновывая свою просьбу, один из пришедших осмеливается наконец что-то сказать, ему вторит другой, потом все кивают в знак согласия: они ни в коем случае не хотят идти на Берлин, скорее уж на Лейпциг.

Император молча выслушивает их, думая: неужели власть уходит из моих рук? А вслух говорит: «Бавария собирается выйти из союза с нами. Марш на Лейпциг, то есть назад, действовал бы на войска как признак отчаяния. Хорошо, я подумаю». Потом весь день сидит в одиночестве, никого не принимает, корпит над своими картами. За дверью ждет Коленкур, прислушивается, но слышит только, как дрожат стекла под ударами октябрьского ветра. Наконец ему разрешают войти. Император снует из угла в угол и говорит скорее самому себе: «Французы не умеют сносить неудачи». Потом как бы погружается в раздумье.

На следующий день, 15 октября, он объявляет приказ идти на Лейпциг. Начинается суматоха, звучат команды, у всех бодрое настроение. Разговаривая с Мармоном о последних шагах Габсбурга, Наполеон делает вывод: «Я предпочитаю человека чести, который просто держит слово, человеку совести, который руководствуется собственным суждением... Император Франц сделал то, что счел за благо для своих подданных, он поступил по совести, но он не человек чести».

На следующий день начинается битва народов. У императора — 180 000 против 300 000 у союзников. К вечеру он отвоевал лишь один участок поля боя. На второе утро с севера подошел Бернадот с подкреплением, император хочет отступить, но не может решиться: как бы не пробудить в армии пораженческие настроения. И опять пытается найти выход в переговорах. Пленному генералу Мервельдту он под честное слово возвращает шпагу, дабы тот, вер-

нувшись к себе, передал императору Францу предложение о перемирии.

— Я могу, если будет угодно, отступить за реку Заале, русские и пруссаки уйдут за Эльбу, вы — в Богемию, Саксония останется нейтральной.

Потом, оживившись, даже излагает вражескому генералу новый план раздела Европы: Ганновер отходит к Англии, побережье Северного моря свободно, из князей Рейнского союза свободен тот, кто захочет, Польша, Испания, Голландия — независимы, лишь Италию он не хочет вернуть Австрии. «Вперед! Ваша миссия мира прекрасна. Если она удастся, вы пожнете любовь великого народа. Если нам откажут, мы сумеем себя защитить».

Генерал удаляется вне себя от изумления, его монарху сообщение генерала представляется невероятным. Как? Император Наполеон в разгар войны, между сражениями, вдруг отказывается от половины Европы и поручает пленному об этом доложить? Мы и не знали, что он так слаб.

В волнении ожидает император возвращения Мервельдта, поэтому откладывает отдачу приказов до глубокой ночи, долго беседует о родне, о жене и ребенке. Внезапно его пронзает острая боль в животе, мертвенно бледный, он приваливается к стенке палатки, близкие хотят вызвать врача.

— Нет! Моя палатка просматривается всеми! Если я на месте, то и каждый на своем посту.

— Вам надо прилечь, Сир!

— Нет! Я хочу умереть стоя!

— Но нужен врач, Сир!

— Я сказал, нет. Больному солдату я даю направление в госпиталь. Кто даст его мне...

Страшные минуты.

— Уже проходит. Смотрите, чтобы никто не вошел в палатку.

Полчаса спустя он отдает приказы, но не к отступлению: лишь подтягивает войска поближе к Лейпцигу. По численности теперь у него ровно в два раза меньше войск, чем у противника.

На следующий день Наполеон останавливается возле какой-то мельницы. Противник раскалывает его армию на

три части. В средней начинается паника: разносится слух, что Бернадот уговорил саксонцев повернуть пушки против французов. «Это подлость!» — воскликнул император. Все вопят вслед за ним: «Подлость!» Саксонские офицеры, сохранившие верность Наполеону, ломают свои сабли. Один драгун из его эскорта поворачивает коня: «Сейчас мы дадим жару, этим негодьям! Среди нас еще есть французы! Да здравствует император!» Весь эскорт мчится вслед за ним, молодой офицер, вырвав из рук саксонцев императорского орла, молнией летит назад, чтобы вручить орла императору, и падает от ран замертво.

— Какие сыновья есть у Франции! — тихо произносит император.

За два дня боев он потерял 60 000 солдат. Это, конечно, поражение, однако даже немецкие критики пишут о битве: «Союзники все же не добились убедительной победы, которая соответствовала бы огромному превосходству их сил».

Когда его армия отступает, растекаясь по улицам Лейпцига, император диктует Бертье приказы о порядке отступления. «Ему принесли деревянную скамеечку, — пишет свидетель, — и он опустился на нее в полудреме и изнеможении после перенесенного напряжения, небрежно уронив руки на колени. В мрачном молчании стояли генералы вокруг костра, войска двигались мимо на некотором удалении».

На следующее утро наседающий сзади противник вносит в город смятение, один мост взрывают слишком рано, так что арьергарду приходится сдаться, один маршал спасается вплавь, другой тонет, многие ранены и взяты в плен. Макдональд встречает Ожеро, которого он зря прождал с его корпусом, тот смеется ему в лицо: «Что я — совсем с ума сошел, чтобы дать себя изрубить в пригороде Лейпцига? Да еще ради этого безумца! Благодарю покорно!»

В тот же день другой товарищ юности пишет императору: во вчерашнем приказе по войску его имя не упомянуто, меж тем он один в течение десяти часов удерживал за собой ту часть равнины, за оборону которой император похвалил кого-то другого. «Еще ни разу в жизни я не

служил вам столь доблестно и верно, как на этот раз... Сир, нельзя нанести человеку большей обиды, чем забыть о нем в таких обстоятельствах». Написал эти слова Мармон.

Два эти свидетельства, датируемые одним и тем же днем, — предвестники роковых событий: оба они, Мармон и Ожеро, предадут Наполеона в решающий час.

В тот же день в нескольких милях от Лейпцига Гете сидит в своей комнате в Веймаре. Портрет Наполеона упал с гвоздя, из Лейпцига глухо доносится грохот канонады, приходят и первые вести о катастрофе. И в то время, когда никто из генералов не знает, не придет ли приказ стягиваться в одно место или не одержит ли император очередную победу, поэт, несколько месяцев назад объявивший Наполеона непобедимым, предчувствует истинное значение этого момента и в день отступления пишет об императоре так, словно все это было сто лет назад и давно стало легендой.

О, муж с отвагой царственной в груди
 Не дрогнет перед тем, что впереди.
 Он знает, как опасен к трону путь,
 Но никуда не жаждет он свернуть,
 И тяжесть златоглавого венца
 С решимостью приемлет до конца.
 Легко и дерзостно несет свой груз,
 Как некий лавр, и не страшится уз.
 Таков был ты. Лишь ты единый мог
 Свершить так много за недолгий срок
 И ярость, что мрачала жизнь твою,
 Спокойно принял, как удел в бою.
 День радости настал: ты призван был,
 Тот день твой жребий ясно озарил.
 Стоял ты, верен правоте своей,
 Средь войн, среди врагов, среди смертей.
 Народам зрелища нужны порой,
 Они пустой увлечены игрой.
 О, лживый мир! На все, чем мы живем,
 Он посягает в рвении своем.
 И если ты и полюбил кого,

Он пожелает царства твоего.
 Так было здесь! — Поведай остальным,
 Что жизнь твоя угасла вместе с ним.
 Познает каждый, млад он или стар,
 Прощальный день, прощальный счастья дар.*

В эти же дни пишет Шеллинг: «Я думаю, конец Наполеона еще не очень близок. Если я что-нибудь понимаю, его еще отложат на какое-то время, и когда Наполеона покинут все его сподвижники, он еще будет жив, чтобы испить горькую чашу унижения до дна». Вскоре баварцы окончательно переходят на сторону союзников, и Гегель пишет: «В Нюрнберге простонародье приветствовало с диким ликованием вступление в город австрийцев... Более подлого умонастроения и поведения горожан невозможно себе представить».

Так отзываются три выдающихся мудреца Германии о дне Битвы Народов.

Но день этот далеко еще не последний. Император отступает, ведя бои и одерживая победы. В Эрфурте Мюрат откланивается: ему необходимо вернуться в свое королевство. Патрон не удерживает: «До мая у меня будет на Рейне армия в четверть миллиона». В Майнце его армию охватывает эпидемия тифа, он быстро отводит остатки войск обратно за Рейн. При этом трудится с 3 — 4 часов утра до 11 ночи.

Тем временем в следующем за ним по пятам главном штабе союзников нет отбоя от переметнувшихся князей, все быстро забыто и прощено, и лишь один находит для них бьющие в самую точку слова: «Что вы скажете о поведении этих несчастных!.. С ними обходились лучше, нежели они того заслуживали... Все эти принцы — слабые люди, которым предоставляют куда более почетное существование, чем они заслуживают своим жалким поведением... За суверенитет, который состоит из чванства, сластолюбия и властолюбия, они заплатили кровью своих поданных».

Это некролог барона фон Штайна собратьям по сословию, германским князьям.

*Перевод Г. Ратгауза специально для этого издания.

XII

Летиция сидит у камина, держа в руках письмо от сына из Майнца. Наполеон выдвигает определенные условия ее заступничеству за Людовика, но не это тревожит ее душу, а та часть фразы, в которой император сообщает о повороте в своей судьбе: «когда вся Европа восстанет против меня и мое сердце опечалено множеством забот». Никогда Летиция не предостерегала сына, этого не позволяла ее гордость, тем более — его гордость, но с близкими людьми часто делилась своими предчувствиями: «*Pourvu que cela dure!*» Душу ее омрачала не опасность, грозящая ей самой, а только опасности для ее родных: кто им поможет, если все развалится? На кого еще может положиться император, вновь и вновь спрашивает она себя.

Теперь, когда Наполеон вернулся, она видит, что предавать его начали ее собственные дети. Мюрат, всегда находившийся под влиянием более умной Каролины, заключает перемирие с Англией и союз с Австрией. Элиза держит подле себя Фуше и слушается его советов, а сам Фуше избегает появляться в Париже до свержения императора. «Единственный способ нам всем спастись, — говорит он теперь сестре императора, — это его смерть». Одновременно Элиза спрашивает мать, какие балы намечаются в Париже на эту зиму. Людовик нарушает прямой запрет Наполеона и без его разрешения приезжает в Париж, так как он не может больше выдержать в Австрии, и протестует, когда император хочет выслать его из города за 40 миль. Мать пытается их помирить, но прохладная встреча братьев вновь отдаляет их друг от друга. Жером бросил свою страну и подданных на произвол судьбы и тайком удрал из Касселя. Жозеф, на которого Наполеон неоднократно пытался возложить оборону Парижа, категорически отказывается. Обиженный Люсьен по-прежнему далеко.

Так выглядят братья и сестры императора, на которых вот уже десять лет он пытается опереться в создании династии. Каково приходится матери, всегда переживавшей сильнее за того из своих детей, кому выпадала самая тяжелая доля!

Но в Морфонтене все пребывают в прекрасном настроении: у Жозефа, испанского короля в изгнании, гостит супруга Жерома, такая же королева без страны, отец которой перешел на сторону союзников, изгнанный из Испании великий инквизитор, который иногда служит во дворце мессу. Кроме них, там живут еще два епископа из заморских провинций, германские, итальянские и испанские придворные без двора. Лишь одна из дам связывает свои надежды с близящимся кризисом власти: это жена Бернадота, свояченица Жозефа, бывшая в юности покинутой невестой императора. Она знает, что ее муж, военачальник союзнических войск, стоит уже на Рейне, и мечтает, как он возложит корону Жозефины на ее все еще не поседевшие, красиво уложенные локоны.

В этом загородном дворце плетется больше интриг против вернувшегося императора, чем известно самому хозяину дворца, ибо он совсем не интриган, просто тщеславный и добродушный человек. Только теперь, слишком поздно, император все осознает и говорит своему близкому другу Редереру:

— То была одна из моих ошибок. Я думал, что братья понадобятся мне для укрепления династии, но ей безопаснее без них. Она возникла благодаря природе вещей в вихре бурных событий. Достаточно одной императрицы... В этом году все было спокойно. Только когда Жозеф живет близ Парижа, все летит кувырком... Он считает себя старшим среди братьев, потому что родился первым. Ну можно ли придумать большую глупость? Да, для виноградаря нашего отца он и впрямь старший. Он любит женщин, дома, роскошную мебель, любит охотиться на зайцев и играть с дамами в жмурки. Я ничего этого не люблю, к своим дворцам не привязан, к женщинам тоже, немного привязан к сыну.

Наполеон быстро возвращает испанский трон королю Фердинанду, вернее, он просто выпускает его на свободу, а Кортесы должны еще дать свое согласие. Это делается по совету Талейрана, который теперь вновь вхож в Тюильри, — благодаря такой затяжке этот предатель надеется задержать на юге французскую армию и ослабить свою родину к выгоде союзников.

«Мое положение не позволяет мне, — пишет ему император, — думать о верховной власти в какой-то чужой стране, я буду счастлив, если мне удастся, заключив мир, сохранить Францию в прежних границах. Все вокруг меня угрожает рухнуть. Мои армии разбиты, потери трудно будет восполнить, Голландия утрачена, Италия колеблется... Бельгия и Рейнские провинции недовольны, испанская граница во власти врагов. Как можно при таком кризисе думать о чужих тронах!» И когда префект полиции советует ему на время грозящих военных действий оставить национальную гвардию в Париже, он возражает: «Кто гарантирует мне вашу преданность? Разве разумно оставить такую силу у себя в тылу?»

Наполеон в отчаянии — иначе не назовешь эти мысли: семья, союзники, даже собственная столица кажутся ему ненадежными. Так в корне изменилось его настроение после битвы под Лейпцигом. В тяжелой депрессии находит его граф Лавалет, один из порядочнейших людей в Париже, которого он теперь частенько принимает вечерами в спальне, стоя у камина и протягивая руки к огню. Этот бесстрашный человек советует ему заключить мир, предупреждает об изменчивости французов, но когда однажды осмеливается упомянуть Бурбонов, которые, возможно, унаследуют трон Наполеона, император резко отворачивается от огня и молча бросается на кровать. Спустя несколько минут граф подходит поближе и видит, что тот спит.

Эта здоровая реакция свидетельствует о новом приливе отваги. Наполеон накануне своего падения и в предчувствии катастрофы, однако когда ему говорят о Бурбонах, трон которых он унаследовал, его нервы расслабляются, ибо эта тема для него слишком скучна, и он засыпает.

Проснувшись окрепшим, император вновь осознает грозящую опасность: в северных провинциях растут симпатии к этим Бурбонам. Он обдумывает падение ренты до 50, падение до половины стоимости акций Французского банка, видит, что ему уже не удастся создать новую национальную гвардию, которая необходима несмотря ни на что. Поэтому он с радостью хватается за предложение союзников, пришедшее из Франкфурта. Те настолько разобщены, что лучшего и желать нельзя. Меттерних, будучи

политиком, не хочет наступать на Париж, тогда как царь, будучи романтиком, хочет отомстить за Москву, взорвав Тюильри. Побеждает Австрия: Франции предлагают остаться в ее прежних границах: Рейн, Альпы, Пиренеи. У императора словно гора свалилась с плеч. Он хочет тут же принять франкфуртское предложение, Маре уже набросал текст депеши.

Внезапно Наполеон меняет свое решение. Почему? Вероятно, его возмутило, что палаты осмелились перечить. Наконец-то они решились выложить ему свои резоны: мы хотим вновь вооружаться только в том случае, если правительство решит, что это необходимо для обороны, император должен гарантировать исполнение всех законов, защищающих свободу граждан. Весь парламент взрывается аплодисментами оратору: впервые за пятнадцать лет какое-то собрание людей высказалось критически в адрес Наполеона. Император, ненавидящий вообще всякие собрания «народных представителей», выходит из себя, запрещает печатать речь оратора, упраздняет парламент и, согласившись принять нескольких депутатов, напускается на них:

— Трон — это всего лишь деревяшка, обтянутая бархатом. Я один представляю народ. Я и есть государство. Если Франция хочет иметь другую Конституцию, пусть ищет себе другого монарха. Вы считаете, я слишком заносюсь? Только потому, что обладаю мужеством и Франция обязана мне своим величием. — После этих слов в духе Короля Солнца он в день Нового года бросает в лицо депутатам, что установит за ними слежку.

В тот же день Блюхер форсирует Рейн.

В Нотр-Дам, где уже двадцать лет звучали только благодарственные молитвы, впервые молятся за победу французского оружия. А те, кто столько же лет слышал, что победа французского оружия — это символ освобождения их побежденных народов, теперь объявляют побежденной Франции, что они пришли как «освободители».

Так законные правители наконец переняли у своего главного врага тактику его боев и его воззваний. И если они теперь применяют то и другое вполне успешно, то только благодаря своему численному превосходству и уста-

лости французов, которые после двадцати лет славы жаждут только покоя.

Но пока они портят все дело, выдвигая слишком высокие требования: Наполеону предложили остаться в границах 1792 года, он прервал переговоры и начал готовиться к отъезду на фронт, который, несмотря на все препятствия, сумел укрепить. Его настроение поднимается. И когда один набожный граф советует императору отправить императрицу с ее фрейлинами поклониться мощам Святой Женевиевы, он раздражается смехом: «Вам самому в пору отправиться на богомолье! Нет уж, я буду сражаться».

Кому же передает Наполеон в этот тяжкий момент столицу? Кому доверяет до конца?

Жозефу. Жозефу, который ничего не смыслит в войне и гостеприимно принимает противников императора, становится генерал-лейтенантом и комендантом Парижа. Этот внутрисемейный мирный договор помогает понять все одиночество императора: ему не на кого положиться, кроме как на родню. Перед самым отъездом Наполеон холодно предложил брату на выбор: либо официально признать себя сторонником регентши-императрицы, либо быть изгнанным из Парижа. «Там вы будете спокойно жить, пока я жив. Умри я, вас либо убьют, либо засадят за решетку. Там вы, правда, не принесете пользы ни мне, ни своим друзьям, ни Франции, но по крайней мере мне не сможете повредить. Выбирайте. Чувства — дружеские или враждебные — сейчас не нужны и не уместны».

Предполагая для себя летальный исход, Наполеон сжигает много государственных бумаг и обеспечивает будущее своих родных сыновей: маленький Леон получает ренту, сын польской графини — большой майорат. А наследника, которому скоро три года, он держит на руках, когда прощается с офицерами национальной гвардии: «Я верю вам самое дорогое, что у меня есть. Вы отвечаете мне за него!» Еще раз вдалбливает Жозефу, что нужно проявить выдержку, еще раз уверяет жену, что ей нечего опасаться за будущую империю их сына. И на следующее утро покидает Париж.

Он вернется сюда только ровно через год, день в день.

XIII

Через несколько дней Наполеон разбит.

Первый его удар был еще удачным: под Бриенном он отразил атаку Блюхера. В тот момент, когда жизнь Наполеона была в опасности и ему пришлось выхватить шпагу, он вдруг узнал то дерево, под которым стоял: «Под этим деревом я в двенадцать лет читал Торквато Тассо». Романтическая встреча с началом своих фантазий. В такие минуты его чувство своего места в истории вырастает до масштабов легенды.

Сразу после этого Блюхер побеждает его в Ла Ротьере. Над Парижем нависла угроза. Император кажется сломленным. Коленкур в письме умоляет его уступить, Маре умоляет о том же в личном разговоре. Поначалу Наполеон не очень вслушивается в аргументы Маре, рассеянно листая томик Монтескье, но потом тычет пальцем в одно место и приказывает: «Прочтите вслух!» Маре читает: «Не знаю ничего более благородного, чем решение монарха наших дней скорее похоронить себя под обломками своего трона, чем принять предложения, которые королю и слышать-то унизительно».

— Но я знаю нечто еще более благородное! — восклицает Маре. — Пожертвуйте своей славой и заполните ею ту пропасть, в которой в противном случае вместе с вами погибнет и Франция!

— Ну, хорошо, — говорит император, — заключайте мир. Пусть это сделает Коленкур, пусть все подпишет, позор ляжет на мою голову. Только не требуйте от меня, чтобы я сам продиктовал слова своего унижения!

Министр пишет Коленкуру в Шатильон, где тот ведет новые переговоры с противником. Коленкур в испуге, просит более точных указаний. Между тем император пытается вернуться и пишет Жозефу в Париж: «Мужественно защищайте ворота города! Прикажите подкатить туда по два орудия и проследите, чтобы солдаты национальной гвардии заняли там позиции... У каждых ворот должны находиться 50 солдат с армейскими ружьями, 100 с охотничьими ружьями и 100 с пиками, то есть у каждых ворот по 250 человек».

Крез стал нищим. Еще полгода, даже еще три месяца назад он добавлял к таким числам три нуля, а теперь, зажатый со всех сторон объединенными армиями стольких князей, он надеется двумя орудиями и сотней охотничьих ружей спасти Париж! Наполеон и сам понимает тщетность этой надежды, ибо в тот же вечер совсем падает духом, и Маре удается уговорить его продиктовать условия: Бельгию и левый берег Рейна он освобождает, Италию отдает, все, что завоевал Бонапарт и Наполеон, возвращает прежним владельцам, чтобы только сохранить за собой Париж и «эту деревяшку, обтянутую бархатом». Подписать обещает завтра. Все, кто его любят, содрогаются от ужаса: эта подпись перечеркнет его военные достижения.

Однако судьба ограждает от этого Наполеона. Новые донесения, поступившие ночью, свидетельствуют, что положение противника вовсе не так благополучно, как казалось еще вчера, и фантазия полководца вновь оживает: когда утром министр является к нему на подпись с готовым текстом, он застаёт императора над картой. Не оборачиваясь, император роняет через плечо:

— Сейчас речь идет о других вещах. Я собираюсь разгромить Блюхера!

В этот же час приходит письмо от Жозефа, в котором насмерть перепуганный брат сообщает, что Париж в опасности. Наполеон, отдавая текущие приказы, одновременно диктует твердый, словно высеченный в граните, ответ, идущий из глубины души, полной смертельной решимости:

«Если Париж будет взят, меня уже не будет в живых... Ради императрицы, ради короля Рима и всей нашей семьи я приказываю Вам сделать то, чего требуют обстоятельства... Я имею право требовать помощи от своих родных, потому что сам часто им помогал.

Ежели Талейран полагает, что императрицу в любом случае надо оставить в Париже, то это — тайное предательство. Не доверяйте ему! Вот уже шестнадцать лет я с ним общаюсь, часто осыпал его милостями, тем не менее он наверняка ярый враг нашей семьи — с тех пор, как нам изменило счастье. Послушайтесь моего совета! Я понимаю больше, чем молодые! Если я проиграю битву и по-

гибну, Вы узнаете это первым... Мне кажется, наша матушка может оставаться вместе с королевой Вестфалии в ее дворце. Только ради Бога не допустите, чтобы императрица и мой наследник попали в руки врага! Тогда Австрия потеряла бы интерес к этой войне, и императрицу увезли бы в Вену. После этого Англия и Россия навязали бы французам свою волю, и наши сторонники были бы уничтожены...

Вероятно, я все же через несколько дней заключу мир... С тех пор, как существует белый свет, ни один суверен не позволил захватить себя в плен в открытом городе... Пока я жив, все должны мне подчиняться. Если погибну, то во имя чести Франции нельзя позволить, чтобы мой владетельный сын и регентша попали в плен: они должны под охраной последних солдат удалиться в какую-нибудь глухую деревню. В противном случае могут сказать, будто я махнул рукой на трон моего сына... Я предпочел бы видеть своего сына убитым, чем знать, что его воспитывают в Вене как австрийского принца».

На каком большом дыхании бьется сердце этого человека, загнанного в угол обстоятельствами! Впервые со времен юности Наполеон видит прямо перед собой угрозу смерти или краха, а может, и того, и другого.

Наполеон делит пополам свою последнюю армию и в блестящем броске разбивает одной половиной войско Блюхера — эти шесть боев за девять дней, от Шампобера до Монтеро, напоминают своим стремительным темпом генерала Бонапарта. Только названия населенных пунктов теперь французские — и это все меняет. До сих пор его победы всегда носили чужеземные названия. Под Монтеро он вновь становится артиллеристом, сам наводит пушки, как под Тулоном, и кричит: «Вперед, друзья! Еще не отлита та пуля, которая меня сразит!»

Блюхер побежден. Теперь — очередь Шварценберга! Но тот опасается за свою славу и ни за что не хочет ввязываться в какую-либо аферу, более того, пишет непосредственно Бертье, что ведь на этих днях в Шатильоне будет подписано перемирие. Императору стоило лишь прочесть эти слова, как его боевой дух удвоился. Тут он собственно-

ручно пишет письмо Жозефу — письмо, полное упорства, ума и смелости:

«Вы говорили с моей женой о Бурбонах, избегайте таких тем. Я вовсе не хочу, чтобы моя жена оказывала мне протекцию. Это лишь испортило бы ее и разлучило нас... Оваций парижан я никогда не искал, я не театральная кукла... Впрочем, сущность Парижа не имеет ничего общего со страстями 3000 человек, учинивших весь этот шум. Обнимаю Вас».

Сколько уже лет этими словами не завершалось ни одно письмо! Ни братьям, ни командирам — а Жозеф сейчас то и другое вместе, — со времени Маренго он не писал так. На следующий день письмо к Савари, сообщившему императору о челобитной монарху, о регентстве, страхах и интригах:

«Вам надобно знать: я сегодня все тот же, что был под Ваграмом и Аустерлицем! И не допущу никаких интриг в моем государстве... Заверяю вас: если челобитную против официальных властей составили по чьему-то приказу, я арестую короля Жозефа и всех подписавших! Мне не нужны народные трибуны! Я сам великий трибун!»

Между тем у союзников начались разногласия: царь хочет видеть Париж под властью русского губернатора, пока французы не решатся на Бернадота или кого-то другого, Австрия хочет только Бурбона, Шварценберг хочет немедленно заключить мир, а Блюхер, успевший оправиться от ударов Наполеона, просто кричит «Вперед!» и двигается ему навстречу. Поскольку при этом вновь требуют старых границ, император взрывается: «Я так взбешен, что чувствую себя обесчещенным одним этим предложением!» А когда ему доказывают тройное превосходство противника, он отвечает как истинный герой: «У меня есть пятьдесят тысяч плюс я сам: итого — сто пятьдесят тысяч!»

Теперь, в начале марта, когда Наполеон вновь выступает против Блюхера, ему нужно найти наилучшего командира для сковывания других армий противника, и он в этот решающий момент выбирает старейшего сподвижника — Мармона.

Однако Мармон, начавший служить ему первым, те-

перь первым же его предает. Мармон ведет боевые действия лишь для виду, оставляет свою артиллерию на месте, тем самым лишает патрона победы и даже позволяет противнику напасть на него на биваке. «Император мог бы пронзить его шпагой, — говорит Бертье, — но он так его любит, что, закатив ему бурную сцену, оставляет командование за ним».

Что может быть естественнее в эти дни, чем обратить свое сердце к друзьям юности. Мармон — не единственный. Ожеро, сражавшийся бок о бок с Бонапартом под Риволи, потихоньку начинает перекидываться к австрийцам и не является в срок. На него тоже сыплется град упреков, но в давно забытом тоне лагерной дружбы: «Что? Шести часов отдыха Вам мало? Какие грустные причины приводите Вы мне, Ожеро! У вас нет денег, нет лошадей?.. Приказываю вам через двенадцать часов по получении этого письма выступить на поле боя. Ведь Вы все еще тот прежний Ожеро, каким были в Кастильоне, так что сохраняете за собой командование. Если же шестьдесят прожитых лет таким тяжким грузом легли на Ваши плечи, то передайте командование старшему из Ваших генералов! Отечество в опасности! Будьте же первым под градом пуль! Теперь нужно шагать широко и возродить в душе мужество 1793 года! Когда французы увидят Ваш плюмаж в авангарде, Вы сможете их повести куда захотите!»

Это пишет опять-таки генерал Бонапарт. Мерцание закатывающейся звезды напоминает о блеске восхода.

Из-за отступления Мармона император при Арси-сюр-Об остается без подкрепления и с несколькими тысячами солдат оказывается лицом к лицу с целой армией: поражение неотвратимо. Когда в самый разгар боя вдруг надвигается облако пыли и тысяча драгун с криком «Кзаки!» в панике бегут назад, император врывается в толпу бегущих: «Драгуны! Назад! Вы бежите, а я стою!» Выхватив шпагу, он бросается в гущу врагов, увлекая за собой лишь свой штаб и эскадрон лейб-гвардейцев. 6000 казаков обращаются в бегство. За много лет это первая кавалерийская атака, которую возглавил Наполеон. Конь под ним убит, он вскакивает на другого. «Видно было, — сообщает Бертье, — что в этот день император искал смерти».



*Летиция Бонапарт —
мать Наполеона*



*Папа Пий VII,
в миру Грегорио
Луиджи Барнаба
Кьярмонти*



*Дезире Кларе
любила Наполеона,
но вышла замуж за маршала
Бернадота и стала
королевой Швеции*



*Люсьен Бонапарт,
князь Канино*



Людовик Бонапарт



*Жером Бонапарт,
король Вестфальский*

Жозеф Бонапарт



*Сестра Наполеона Элиза,
Великая герцогиня
Тосканская*



*Скульптор
Антонио Канова
показывает Элизе
ее бюст, работу
над которым
он только что
закончил*

*Принцесса Полина Боргезе,
герцогиня Гвастальская —
любимая сестра
Наполеона*





Жозефина в коронационном костюме



*Гортензия де Богарне,
дочь Жозефины
и падчерица Наполеона,
вышла замуж
за Людовика Бонапарта.
Их сын стал императором
Наполеоном III*



Жозефина в Мальмезоне





Мария Луиза — регентша

*Мария Луиза
собирается к Наполеону*



*Наполеон и Мария Луиза
прибывают в Антверпен,
1811*



*Мария Луиза
и король Римский*



Короны и бриллианты Марии Луизы



*Мария Валуевская —
возлюбленная Наполеона*





*Король Римский,
сын Наполеона
и Марии Луизы*



*Граф Леон,
сын Наполеона*



*Александр Валуевский,
сын Наполеона и Марии
Валуевской*



Жозеф Фуше

Шарль Морис Талейран



Маршал Ней



Маршал Ожеро



Маршал Даву



Маршал Мюрат



Маршал Виктор



Маршал Лефевр

Маршал Констан



Маршал Бертье



*Генерал Бертран
в конце жизни*



Мария Тетиция Рамолино. мадам Бонапарт, «мадам мать»

С этого дня удары сыплются на него все чаще и чаще, и каждый может быть роковым.

В конце концов, кого удивит, что люди покидают того, кто их презирает? Солдаты, которых он сделал князьями, предпочитают свои княжества солдатской смерти на поле боя. Женщина из старейшей королевской династии, насильно выданная за выскочку, быстро отказывается от него и вновь возвращается в лоно Габсбургов. Братья, которым он слишком доверял, в беде думают только о себе, а не о том, кому всем обязаны.

Когда в главном штабе союзников узнали, что англичане высадились в Бордо и вывесили там флаг Бурбонов, все наконец согласились идти на Париж.

В этой обстановке крайней опасности стиснутый со всех сторон император придумывает еще один отчаянный план: он хочет вооружить крестьян и создать ополчение. Они, может, и были бы готовы, ибо ненавидят вторгшихся в их страну чужаков. Тут приходит известие: Мармон дал себя еще раз разбить и вместе с Мортье отступает к Парижу. Как человек, услышавший, что его дом горит, император лихорадочно устремляется в столицу, передает командование своим войском Бертье, скачет с лейб-гвардией к городу, в конце концов всех покидает и вместе с Коленкуром бросается в карету, чтобы ухватить ускользающие бразды. Всегда его мысли сводились к одному и тому же вопросу: что говорит Париж? Как там обстоят дела? Сегодня в его мозгу бьется лишь один вопрос: удержатся ли до моего приезда три человека, увижу ли я три пары глаз, которым доверил защиту империи? Императрицу как регентшу, Жозефа как коменданта города и Мармона как командира самого сильного корпуса.

Ночь, смена лошадей, отряд солдат во главе с офицером. Его окликают. Офицер докладывает: приказ маршала Мортье найти квартиры для отступающих войск.

— Отступающих? А где императрица? Где король Жозеф?

— Ее Величество вместе с королем Рима вчера выехали в Блуа. Король Жозеф покинул город сегодня.

— А Мармон?

— Этого я не знаю, Сир.

Пот выступает на лбу императора, губы начинают нервно дергаться, он в ужасе, услышав все это. И тут же вопит: «Вперед! Завтра подойдет гвардия! Национальная гвардия за меня! Стоит мне только оказаться в стенах Парижа, я покину его либо победителем, либо трупом!»

Коленкур с трудом удерживает его от этой авантюры. Император приказывает корпусу Мармона занять позиции за Эссоном. Потом, обращаясь к министру: «А вы мчитесь в Париж! Задержите подписание договора! Я предан и продан! У вас все полномочия! Жду вас здесь! Это недалеко! Вперед!»

Подъехав еще на несколько сотен шагов, Наполеон видит Сену. Но что это за огни отражаются в ней? Это сторожевые костры врагов, чьи передовые части готовят себе ужин и поют, пока император на другом берегу стоит во мраке возле двух почтовых карет и нескольких слуг.

Он велит поворачивать назад и едет в Фонтенбло.

XIV

На следующее утро Талейран сидит в спальне своего дворца, слуга прилаживает на его голову парик. Вдруг распахивается дверь, и в комнату так стремительно, что о нем не успевают доложить, входит граф Нессельроде — ему не терпится радостно поздороваться со старым другом. Двумя часами позже в гости к своему ближайшему другу приезжает сам царь и остается жить здесь, так как боится останавливаться в Елисейском дворце, опасаясь бомб. Минута, которую министр Наполеона готовил, интригуя против своего шефа, наступила, его великие усилия оценены, и завоеватели с радостным смехом пожимают друг другу руки, испытывая моральное удовлетворение: добродетель победила!

После двадцати двух лет тщетных попыток перед легитимным трилистником наконец распахнулись ворота Парижа, сегодня звездный час для королей: они въехали триумфаторами в этот город. Немногочисленная партия Бурбонов встретила их аплодисментами как освободителей, аристократы из кварталов Сен-Жермен тоже собрались для

встречи, но остальной Париж как бы замер: он спокойно ждал, пишет свидетель, кто назовет себя завтра его правителем — Наполеон или Людовик.

Жозеф при своем трусливом бегстве из города вопреки всем предупреждениям императора не увез с собой Талейрана, оставил в Париже этого умнейшего и опаснейшего врага, и теперь это самым роковым образом повлияет на судьбу Наполеона. Ибо нация отнюдь не полна решимости покончить со своим потерпевшим поражение властителем. Даже у четверых союзников-победителей нет единого мнения касательно его судьбы: лишь сговор слуг-предателей и друзей-изменников, возглавляемый Талейраном, приводит императора к гибели. По милости русского царя именно Талейран духовно руководит событиями следующих десяти дней; теперь этот человек в своей стихии.

Вчера он принимал другого гостя. Талейран не испытывает к императору личной ненависти, да ему и не за что мстить, его больше всего устроило бы просто исчезновение этого лишнего теперь человека. Поэтому он пообещал некоему Мобрэю, офицеру-монархисту с авантюрным прошлым, весьма высокое вознаграждение, если «тот согласится выполнить важное поручение на дороге, ведущей в Фонтенбло». Но авантюрист этот в последний момент испугался, напал вместо Наполеона на храбрую жену Жерома и, вместо того чтобы лишить того жизни, лишил эту даму ее бриллиантов. Одновременно Блюхер по собственной инициативе выделил отряд с четкой задачей: уничтожить императора.

«А чего хочет Франция?» — спрашивает царь многоумного аббата. Талейран уже давно думает о реставрации своего прежнего короля, однако отвечает вопросом на вопрос: кого бы хотел предложить царь? Царь нерешительно произносит имя Бернадота. Талейран лишь улыбается: «Франция больше не хочет солдата. А если бы хотела, то мы сохранили бы того, кого имеем, он как-никак лучший в мире. После него за другим солдатом не пошло бы и сотни». И это Талейран говорит в лицо царю-победителю: большего восхищения, высказанного этими устами и в такой ситуации, пожалуй, не мог бы себе представить побежденный император, находящийся сейчас в Фонтенбло.

На следующий день Талейран созывает Сенат, и этот законодательный орган подтверждает: император должен уйти. Все покидают Наполеона. Единственный, кто продолжает за него бороться и пытается вызвать сочувствие у царя, это Коленкур. И действительно в мятущемся сердце царя на какие-то мгновения оживает лицо его великого друга, Александр колеблется, обещает, что постарается убедить союзников сохранить корону за королем Рима.

Однако покуда бессильный министр Наполеона уговаривает колеблющегося царя спасти династию Бонапартов, в те же часы того же 3 апреля Талейран приглашает к себе маршала Мармона, под началом которого на том берегу Сены стоят 12 000 солдат, все еще представляющих собой известную силу, ибо основного ядра союзнических армий пока нет в Париже.

И вот сидят друг против друга — старейший боевой соратник Наполеона и старейший министр императора. С губ дипломата тихонько льются в душу солдата аргументы разума, но он их почти не слышит, он уже давно устал и сыт по горло войной. Еще три года назад Испания сломала его веру в императора. Мармон думает: нужно ли следовать за мертвецом? Король умер, да здравствует король! В военном училище мы все были монархистами. Поражение Наполеона доказывает, что право на стороне Бурбонов. Сдается мне, что у меня один выбор: либо меня поставят к стенке, либо приставят к трону. Присяга? Она отменена. Дружба? Да ведь вон как он накричал на меня после дела под Лаоном. И под влиянием хозяина дома Мармон пишет Шварценбергу, командующему противника:

«Декретом Сената армия и народ освобождены от присяги Наполеону. Я готов содействовать сближению народа и армии, дабы избежать гражданской войны». Этими мнимыми причинами Мармон впоследствии будет защищать всех перебежчиков. Старейший маршал императора уничтожает Наполеона. Подписав постыдную листовку, к нему вскоре присоединяется Ожеро.

В тот час, когда министр успешно уговорил маршала, император проводит в Фонтенбло смотр своей гвардии. Он взывает к строю: «Мы не потеряем, чтобы белые ко-

карды эмигрантов появились в Париже! Через несколько дней мы атакуем врагов в городе!» Офицеры восторженно выхватывают из ножен сабли: «На Париж! Да здравствует император!» Наполеон с улыбкой приветственно машет им рукой и быстро поднимается по лестнице в окружении оставшихся верных ему министров.

Вскоре во двор въезжает карета, к императору направляется Коленкур, бледный, невыспавшийся. Его останавливает Бертье: «Ну, дорогой, как дела?» Коленкур на миг замирает на пороге, этот тон ему совсем не нравится. Неужто последние отвернулись? Императора он застает за работой.

— Чего от меня требуют? — спрашивает Наполеон с большой тревогой.

— Больших жертв — чтобы сохранить корону вашему сыну.

— Значит, вести переговоры со мной они уже не желают! Хотят превратить меня в раба, как пример в назидание всем, кто своим гением подчиняет себе людей и заставляет урожденных королей дрожать за свои троны!

Министр излагает самое мягкое требование царя: отречься в пользу сына, потом начнутся переговоры о регентстве. После этого он говорит о шансах Бурбонов. Тут император вскакивает:

— Вы с ума сошли! Бурбоны во Франции! Да они и года не продержатся! Девять десятых французской нации терпеть их не могут, мои солдаты никогда не станут им служить! Двадцать лет жить на подачки чужаков, в открытой борьбе с принципами отчизны! В Сенате сплошь и рядом сидят люди, которые либо сами, либо их отцы привели короля на эшафот! Я! Я был новым человеком, мне не за что было мстить, я хотел лишь созидать... Еще можно понять, если они в замешательстве захотят сослать меня и мою семью. Но возвести на трон Бурбонов — никогда!

Потом он вновь становится солдатом: «Они требуют, чтобы я отрекся. Наверняка ли достанется корона моему сыну? У меня покуда пятьдесят тысяч в строю. И мои люди хотят идти со мной на Париж! А после победы пускай решает народ. Если французы захотят, чтобы я ушел, я уйду». Видно, что как политик он полон решимости от-

речься в пользу сына, а как солдат еще на что-то надеется для себя.

Однако пока настроение солдат повышается — они горды тем, что идут защищать своего императора, недовольные происходящим маршалы собираются группками, и хотя они еще не знают о сегодняшнем предательстве Мармона, но испытывают сходные желания и хотят как-нибудь поприличнее улизнуть. На другой день старейшие из них — Ней, Макдональд, Удино, Лефевр, собравшись с духом, почтительнейше излагают Наполеону выгоды отречения.

Не тут-то было! Император подводит их к картам, они вновь утыканы булавками, он показывает слабые места противника, перечисляет собственные силы: тщетно! Ему противостоит такое же настроение, какое царило в замке Дюбен, только еще во сто крат мрачнее. Наполеон молча отпускает их и продолжает продумывать свой план. Он сложил численность своих корпусов: набралось не так мало. Поэтому отказ на определенных условиях означает всего лишь перемирие, а значит — отсрочку.

Через несколько часов после аудиенции маршалам он зовет к себе Коленкура и показывает тому лежащий на столе собственноручно исписанный лист:

— Вот текст моего отречения. Отвезите его в Париж.

Министр читает:

«Поскольку государства-союзники заявили, что Наполеон — единственное препятствие европейскому миру, то император Наполеон, верный присяге, готов ради блага отечества, неотделимого от прав его сына, регентства императрицы и соблюдения законов империи, отречься от трона и отдать Францию и даже жизнь».

Что за стиль! Язык канцелярского документа, прикрытый дипломатической вуалью, осторожные, поддающиеся разному толкованию формулировки — вполне в духе дипломатов старой школы и абсолютно непохожие на стиль Наполеона. Ввиду важности миссии министр просит двух маршалов для сопровождения.

— Возьмите Мармона и Нея, — говорит император и добавляет, — Мармон — мой старейший соратник.

— Но Мармона здесь нет.

— Тогда Макдональда.

Спустя три часа, уже поздно вечером, трое уполномоченных стоят в Елисейском дворце перед главами союзных войск и их министрами, но царь обращается главным образом к Коленкуру. Речь Коленкура о том, что Франция очень сильно настроена против Бурбонов, производит определенное впечатление, переговоры продолжаются довольно долго. Внезапно адъютант докладывает о чем-то по-русски, французы не понимают, о чем речь. А царь говорит: «Господа, вы исходите из несокрушимой верности войск императорскому правлению. Только что сообщили с передовых линий, что Шестой корпус перешел на нашу сторону и находится уже на наших позициях».

Все тут же облегченно вздохнули и потребовали безоговорочного и немедленного отречения. А Коленкур тем временем принимает одного за другим курьеров из Фонтенбло, император пишет ему:

«Если они не хотят вести со мной переговоры, чего тогда стоит любой договор! Верните мне текст моего отречения, я приказываю! Я не стану подписывать никакого договора!»

На следующее утро в шесть часов — император работает вместе с Бертье — докладывают о прибытии капитана, адъютанта Мортье.

— В чем дело?

— Шестой корпус перешел к противнику. Он сейчас движется к Парижу. — Император трясет капитана за плечи:

— Мармон?! Вы уверены?! А войска знали, куда их ведут?

— Их ночью привели к позициям австрийцев и сказали, что ведут на врага.

— Только обманом можно увести от меня моих людей! Где Мортье?

— Он послал меня, чтобы сообщить, что его корпус предан вам не на жизнь, а на смерть. Он ожидает приказов Вашего Величества. Молодые гвардейцы готовы умереть за вас. Вся молодежь Франции готова!

Тут император подходит к капитану вплотную, смотрит

рит ему в глаза и очень доверчивым движением просовывает ладонь под бахрому эполет — как бы желая почувствовать его плечо. Так стареющий Наполеон опирается на молодежь Франции.

Когда Коленкур привозит новое требование победителей, с Наполеоном в комнате только Макдональд.

— А Ней?

Молчание. Пауза. Потом он узнает, в чем состоят новые требования. Они метят в самую душу! Отказаться от династии! Вот уже десять лет она была его целью.

— Моей отставки им мало. Я еще должен своей подписью пустить по миру жену и сына. Этого я не сделаю. Ведь их трон я завоевал своими руками!

Этот абсурд так глубоко в нем укоренился, что он уже не чувствует всей бессмыслицы своих слов.

— У меня здесь в наличии двадцать пять тысяч человек, еще восемнадцать тысяч я могу быстро перебросить из Италии. У Суше пятнадцать тысяч, у Сольта сорок. Я буду сражаться. Мое место здесь.

Остаток войск еще за него. Но командиры хотят сохранить свои замки, а граждане — покой. Почему Наполеон не становится сам во главе гвардии? Потому что он может мыслить только маршалскими масштабами, потому что феодальная атмосфера отделяет его от верных ему людей.

Они появляются в Фонтенбло во второй раз, с ними приехал уговаривать Наполеона и Бертье. Он выслушивает их с достоинством. Потом кратко спрашивает, готовы ли они идти с ним до Луары и далее — в Италию, чтобы соединиться с Эженом. За этими словами проглядываются новые авантюрные планы. Но ему говорят о гражданской войне и советуют отречься. Для него выторговали остров Эльбу, надо быстрее соглашаться. Когда они уходят, Наполеон говорит:

— Ни у кого из них нет ни души, ни сердца! Я подавлен не столько невезением, сколько неблагодарностью моих соратников. Это подло. Теперь все кончено.

А в гостиных тем временем собираются группы придворных и сановников, все говорят приглушенными головами, словно перед смертью короля. Все ожидают, когда он подпишет отречение. Император знает об этом, никого не

велит принимать — пусть подождут до завтра. Доверенные лица приходят к нему утром: после трудной бессонной ночи он сидит у камина в шлафроке — сломленный и жалкий.

Они приносят ему документ, подписанный ими ночью в Париже: он получает остров Эльбу и два миллиона ренты, сохраняет титул императора и четыреста гвардейцев. Талейран возражал против такой близости к метрополии, предлагал остров Корфу, даже остров Святой Елены. Фуше в изящном письме призывает императора не впадать в уныние и предлагает уехать в Америку, где он сможет начать новую жизнь свободным гражданином — как можно дальше от европейских берегов.

Все это не интересует императора. Он видит нечто другое. Только теперь он заметил, как благородно держится Макдональд, сравнивает его в душе с другими, неблагодарными, и решает, что обделил того почестями. И теперь, в час отречения, это волнует Наполеона, и он говорит:

— Я не воздал вам по заслугам. И теперь уже не могу этого сделать. Примите на память обо мне саблю, подаренную мне султаном Селимом.

И пока все ждут, когда император подпишет отречение, он велит принести позолоченную саблю и обнимает генерала. Так император в свой последний день возвращается к подаркам, которые некогда раздавал, будучи генералом. Потом подписывает свою отставку:

«Поскольку государства-союзники заявляют, что Наполеон является единственным препятствием к миру в Европе, то император Наполеон, верный присяге, отказывается для себя и своих потомков от тронов Франции и Италии и готов пожертвовать в интересах Франции всем, в том числе и жизнью».

Итак, это произошло. Все облегченно вздыхают. Все генералы и придворные, кроме министра Маре, покидают Фонтенбло, все спешат в Париж, даже Бертье бросается в объятия временного правительства, которое возглавляют Талейран и Фуше.

Однако еще девять дней император остается в своем замке, причем не один. Вокруг замка стоит лагерем его гвардия, все еще насчитывающая 25 000 человек. Кто еще?

Братья исчезли. Что делает Жозефина в Мальмезоне? Поплавав и поклявшись, что последует за покинутым всеми бывшим супругом, она принимает, блестя глазами и нацепив на себя драгоценности, победителя Наполеона, русского царя, который хочет показать себя кавалером и восхищается знаменитым шармом первой императрицы Франции. Но ее дочь Гортензия, стоя рядом, смотрит на этого врага ее семьи с холодным презрением и, как только царь удаляется, спешит в Фонтенбло и остается с императором до его отъезда.

Поначалу с ним была еще и мать, но он отослал ее вместе с Жеромом — мол, он хочет быть спокоен за их безопасность, они еще увидятся.

От жены и сына, которым император шлет курьеров и письма, он не получает ни слова. Не требуя для себя ни земель, ни денег, он пишет жене, которая согласно договору с союзниками становится герцогиней Пармы, чтобы она потребовала себе и Тоскану или хотя бы часть ее, чтобы быть поближе к острову Эльба и облегчить связь друг с другом. Он указывает Марии Луизе, где ей следует ночевать в пути, напоминает захватить с собой ее собственный ларец. Потом пишет ее префекту: все бриллианты, не принадлежащие лично императору и императрице, необходимо вернуть в казну, так как они собственность Франции.

А тем временем правительство прислало в Тюильри некое доверенное лицо, чтобы завладеть императорской сокровищницей: конфисковано, то есть украдено, все золото и все ценности, принадлежавшие лично императору, общей стоимостью около 150 миллионов, сэкономленные Наполеоном за четырнадцать лет; все серебро, все личные вещи, начиная с золотых табакерок и кончая носовыми платками с вензелем N. Приказ об этом подписан наряду с другими лицами и Талейраном. У императора, еще вчера бывшего самым богатым человеком в Европе, остаются три миллиона, которые он берет с собой на Эльбу.

Настроение у него спокойное. Что еще может его разочаровать — братья и сестры? Люсьен на следующий день после отречения императора написал Папе и стал князем Рима. По совету Фуше — он в последние недели держал в своих руках сеть интриг — Мюрат вошел в Рим и вторгся

с войском во владения Элизы — все время понукаемый Каролиной, все время в союзе с Англией, занявшей Тоскану. Элиза, в последний момент поставившая не на ту карту и благодаря этой ошибке сохранившая верность брату, спасается бегством от войск сестры, рождает в какой-то горной гостинице ребенка и в Болонье попадает в плен к австрийцам. Порядочно вели себя только Жером с женой.

В зловещей тишине протекают последние дни. Когда во двор замка въезжает карета, все настораживаются: кто еще приехал проститься? Нет, приезжают только те, кого присылают с поручением. И когда за несколько дней до отъезда вечером появляется дама под вуалью, которую никто не знает, о ней не докладывают императору. Всю ночь графиня Валевская прождала, а утром оставила для него письмо, Наполеон посылает за ней вслед, но ее уже не находят. Тогда он пишет ей:

«Мария!.. Ваши чувства тронули меня до глубины души, они так же прекрасны, как ваша душа, как ваше доброе сердце... Вспоминайте обо мне по-хорошему! И никогда не сомневайтесь во мне! Н.»

Вернув покой своей душе, император сразу же начинает строить новые планы. Разве у него нет острова, где он сам себе хозяин? Почему знать, какие события зародятся там! Корсика — тоже остров в Средиземном море. Он просит доставить ему книгу по географии и статистике Эльбы: «Воздух там чист, и люди честны, надеюсь, моя дорогая Луиза будет себя там хорошо чувствовать». Потом отбирает полагающихся ему 400 гвардейцев, а остаться с ним хотят они все, хотя для этого им придется разлучиться с женами и детьми. Среди них есть те, кого капитан Бонапарт привлек к себе еще в Тулоне двадцать два года назад и кто прошел с ним через шестьдесят сражений путь от Каира до Москвы.

Настроение императора улучшается, и когда он беседует с префектом дворца о предначертанности судьбы и рассказывает, как он в последних битвах чудом избежал гибели, то добавляет:

— Насильственная смерть от своей руки — просто трусость. Я не вижу никакого величия в том, чтобы укрыться в смерти, словно спустивший все деньги игрок...

Самоубийство не согласуется ни с моими принципами, ни с местом, какое я занимал в мире.

Они молча прохаживаются по террасе, потом он с улыбкой добавляет:

— Между нами: живой тамбурмажор дороже мертвого императора!

Но вот все формальности выполнены, прибыли четыре комиссара союзников, которым надлежит сопровождать его на Эльбу, сегодня к вечеру все тронутся в путь. Император спокойно сообщает об этом своей супруге и заканчивает письмо словами: «Прощай, моя дорогая Луиза. Можешь быть уверена в мужестве, спокойствии и дружеских чувствах твоего мужа. Н. — Постскрипtum: Поцелуй за меня маленького короля!»

Отъезд проходит вполне гладко, ведь и прощаться здесь не с кем.

Ан нет, есть. Во дворе замка стоит старая гвардия, выстроившись в форме каре. Когда он спускается по лестнице, тысячи взглядов прикованы к императору: сейчас он будет говорить. Однако что это? Вот уже двадцать лет он обращался к ним с речью только перед битвой и после победы: вдохновляя или благодаря. И теперь он должен их поблагодарить, но без победы. Наполеон выходит к ним: «Да здравствует император!» Он входит внутрь каре:

— Солдаты моей старой гвардии! Я прощаюсь с вами. Двадцать лет кряду я постоянно видел вас идущими по пути чести и славы. В последнее время вы были образцом храбрости и верности — точно так же, как в дни военных побед... Но я не хотел гражданской войны. Поэтому я пожертвовал всеми другими интересами ради интересов отчизны. Я ухожу... А вы, друзья, продолжайте служить Франции. Ее счастье всегда было моей единственной целью. Все мои пожелания связаны с вами. Не сожалейте о моей судьбе. Если я решил жить, то только для того, чтобы возвеличить вашу славу. Я хочу описать великие подвиги, которые мы с вами совершили вместе. Прощайте, дети мои! Всех вас я хотел бы прижать к сердцу. Дозвольте мне по крайней мере поцеловать ваше знамя!

Генерал протягивает ему знамя, Наполеон обнимает генерала и целует полотнище. «Прощайте, боевые мои дру-

зья!» Он садится в карету. «Да здравствует император!» Карета трогается.

Седые ветераны плачут навзрыд. Их отца больше нет с ними. Никогда он не говорил с ними так душевно, как сегодня. Весь пафос Древнего Рима, вся пламенная образность его манифестов, все притчи и вся экзальтация его речей исчезли вместе с азартом битв. Этот император говорил как полководец, этот полководец говорил как отец солдат: по-мужски, кратко и скупно. А как он целует знамя! Никогда Наполеон ничего похожего не делал. Ветераны расскажут своим внукам, что говорил им сегодня их великий император. А внуки рассказали об этом своим внукам, так это дошло до нас.

Но едва император покинул эту атмосферу солдатской дружбы, в которой он вырос и обрел величие, пришел черед черни. После рыданий ветеранов — какие проклятья, какие злобные возгласы и ругательства раздаются вокруг! Когда вереница карет проезжает через Прованс, в ушах у Наполеона звенит от хора зловещих голосов: «Долой тирана! Смерть ему, негодяю!» В деревнях, где меняют лошадей, к дверцам кареты проталкиваются разъяренные женщины и кричат ему проклятья прямо в лицо, в карету летят камни. В одной деревне рядом с почтовой станцией, где приходится сделать остановку, повесили на виселицу соломенную фигуру с его лицом, вымазанную кровью и калом, а собравшаяся вокруг толпа вопит: «Смерть убийце!» Теперь кареты несутся во весь дух. Наполеон впервые спасается бегством.

Император сидит неподвижно, уставясь в одну точку и вслушиваясь. Неужто это те же люди, что прежде бежали рядом с каретой, стараясь поймать его взгляд? И клялись при виде его, что обязаны одному ему величием Франции? Да, это они и есть, и то, что теперь он видит и слышит, он заранее предвидел своим умом мизантропа еще при первом триумфальном въезде в Париж, когда народ приветствовал победителя. Наполеон, бледный, сидит молча, забившись в угол, и на остановках комиссары выскакивают из кареты, чтобы его прикрыть. Хватит ли у него терпения вынести все это? Или он выхватит шпагу? Но у него уже нет шпаги. Император покидает родину в темном костю-

ме обывателя, а вовсе не в зеленом мундире. В том единственном случае, когда Наполеон столкнулся с чем-то подобным — 19 брюмера, — он под угрозой кулаков таких же негодующих радикалов не вытащил шпагу из ножен. Тогда, как и теперь, он беспомощно стоял, окруженный беснующейся толпой, которую никогда не умел ни победить, ни уговорить. У него другая профессия и другой талант. Нет, он не трибун, он — император. Кто умеет так приказывать, как он, умеет только приказывать. И если он борется, то только на поле боя.

Движения! Воздуху! Он велит остановить карету на безлюдной дороге и выпрячь почтовую лошадь. Потом прицепляет к круглой шляпе большую белую кокарду и скачет впереди кареты, слуга — за ним. Так они скачут вплоть до города Экс, однако перед воротами он поворачивает обратно, останавливается на ночлег в бедной харчевне и называет себя британским полковником Кемпбеллом. Это его шестое имя.

Бедная хозяйка харчевни, подавая ему еду, тараторит: «Его прикончат раньше, чем он доберется до моря!» — «Конечно, разумеется», — поддакивает он ей. Оставшись наедине со слугой, он буквально валится на его плечо, чтобы подремать после двух бессонных ночей. Добрая мать-природа, каким чудным даром одарила ты величайшего из борцов! Проснувшись, он вновь мысленно видит и слышит вчерашние картины и в тихом ужасе говорит:

— Нет, хватит! На Эльбе я буду счастливее, чем когда-либо раньше. Только науки. Никакой короны Европы я бы теперь не принял. Я увидел, что такое народ. Разве я был неправ, презирая людей?

Когда подъезжают отставшие кареты, он, напуганный происшедшим, переодевается. Поскольку делается все в спешке, на нем оказывается австрийский мундир, прусская фуражка и русская шинель. Так, в карнавальном костюме трех держав-победительниц, наряженный словно шут гороховый, император Наполеон бежит из своей страны.

Наконец-то Фрежюс! Та же гавань, к которой он пристал тогда, воротясь из Египта, — потерпевший поражение полководец, потерявший весь флот Франции, — его бы судить военным трибуналом! Но нет! Какой прием уст-

роил ему этот бестолковый народ в честь прежнего победоносного похода, с какой радостью встречали его на всем пути до Парижа, того самого пути, который он теперь проделал в обратном направлении.

XV

Велика ли Корсика? Какой высоты ее горы? Бастия — вполне приличная гавань, в подзорную трубу видны ее укрепления...

На его прежней родине все больше, чем на его теперешнем острове. В сорок раз больше сам остров, в десять раз больше жителей — все эти цифры он держит в памяти. Эльба — всего лишь кротовая нора.

Когда он в то солнечное майское утро высадился здесь и делегация местных крестьян и горожан смущенно пожелала в Порто Ферраджо счастья своему новому господину, он, к их изумлению, не захотел откусать угощение, а сразу вскочил в седло и поскакал осматривать укрепления. Уже на следующий день над дремлющим в истоме островом стали разлетаться приказы: поставить еще две батареи, мол расширить, все дороги отремонтировать. А когда вскоре на берег высадились 400 гренадеров, островитяне дивились на них, словно на чужестранцев. А их господин еще и добавил к ним иностранный батальон, создав таким образом национальную гвардию численностью свыше тысячи человек, а затем — небольшую флотилию. Зачем? Для их же пользы. Создается Государственный совет, в него входят генералы Бертран и Друо, прибывшие вместе с императором, а также с десятков местных жителей, и под его председательством они обсуждают реконструкцию железных рудников и солеварни. Разве вы не разводите тут шелковицу? Шелкопрядильные фабрики в Лионе хорошо платят за сырье, а если наложат пошлину — ну что ж, тогда продадим в Италию.

Экономить на всем! У нас мало средств, а Франция как будто и не собирается прислать обещанную ренту. Белый домик, в котором он здесь живет, даже меньше того, что был в Аяччо, и намного скромнее, но на строительство де-

нег нет, и когда маршал Бертран кладет ему на стол перечень матрацев и простынь, то его патрон подчеркивает ошибки в цифрах, так как держит их в голове.

Неужели этот неутомимый труженик не осознает, насколько пародийна его активность в управлении этим островком, этим домиком, этим войском? Нет, не осознает! Именно теперь, здесь, на Эльбе, где Наполеон поначалу в наилучшем настроении и состоянии здоровья погружается в новые дела, он доказывает, что его привлекал вовсе не масштаб деятельности. Строить, упорядочивать, формировать податливые, как воск, человеческие души — вот чего требует его врожденный инстинкт творца. Однако поскольку люди все же не воск и созданное им живо, а значит, никогда не может быть завершено, поскольку материя сопротивляется, даже когда кажется побежденной, то он может исполнить свою миссию творца только путем принуждения и завоевания человеческих душ, только приказами и убеждением, то есть управляя. А поскольку Наполеон никогда не был дилетантом и простым выскочкой, он крутит маленькое колесико с той же серьезностью и точностью, с какой еще вчера вращал маховик всей планеты.

Однако вскоре, когда большая часть работ выполнена, Наполеон начинает томиться от безделья, даже если занимается математикой, и заставляет себя по-новому взглянуть на свое положение:

«Совсем не трудно, — пишет он, — привыкнуть к спокойной, созерцательной жизни, если имеешь резервы в себе самом. Я много работаю, сидя в кабинете, а когда выхожу из дома, испытываю мгновения счастья при виде моих старых гренадеров... Урожденные короли наверняка очень страдают, лишившись трона, их существование немислимо без помпезности и этикета. Для меня же, который всегда был солдатом, а королем стал случайно, эти вещи всегда были в тягость, война и полевой лагерь мне больше подходят. Из моего великого прошлого мне жаль только моих солдат. А из моих сокровищ и корон для меня самым ценным представляются те несколько мундиров французской армии, которые мне оставили».

Так говорит затаившийся король. Верят ли ему? И смеется ли Европа, которая вскоре почуяла, что на этом остро-

ве скрывается какая-то тайна, над потугами императора соблюсти видимость государства при лилипутских размерах острова? То врожденное достоинство, которое некогда заставляло носителей наследственных титулов испытывать уважение к молодому генералу, сегодня вновь удерживает любого заезжего путешественника от заранее заготовленных насмешек, все восхваляют естественную простоту, с которой одинокий человек без дворца, придворных и министров именуется «Величеством» лишь за славу своих деяний.

Покой в душе Наполеона порожден также возвращением на родину, ведь здесь тоже Италия. Крестьяне отвечают ему на его родном языке, и разве это Средиземное море, которое его создало и взрастило, и этот тихий остров с округлыми очертаниями не способны вернуть его душе настроения юности? Пинии, смоквы, скалы, а посреди виноградов — белые домики с плоскими крышами, паруса и сети, гордость семейных кланов и головной платок при посещении церкви — все мягко ведет его к картинам детства, и его перенапряженные нервы наконец-то получают передышку для отдыха. В эти месяцы здоровье императора приходит в норму, все окружающее кажется ему порой полетом на крыльях мечты в страну его детства, и только посмотрев на ветеранов-гвардейцев, он явственно убеждается, что между Корсикой и Эльбой кое-что происходило.

«Император очень доволен жизнью на острове, — пишет один из сопровождающих, — создается впечатление, будто он позабыл прошлое. Он занимается оборудованием своего дома, ищет подходящее место для постройки загородного домика, мы много ездим — в карете, верхом и под парусом».

Поскольку теперь у Наполеона много свободного времени и приходится экономить, он вникает во все мелочи быта. В Тюильри император собственноручно составлял перечень предметов своего гардероба, так и теперь он пишет Бертрану: «Мое белье в ужасном состоянии: часть еще не распакована и нет списка. Распорядитесь, чтобы все поместили в шкафы и чтобы слуги не брали оттуда ничего без расписки. В моих домах не хватает обычных стульев,

прикажете подыскать в Пизе что-нибудь подходящее — но не дороже пяти франков за штуку».

Европа смеется, прослышав об этом. Новые поколения только диву даются, узнав о столь энергичном скопидомстве.

Лишь однажды окружающие услышали горестный вздох императора, глядящего, как-то под вечер с вершины горы на все свои владения: «Надо признаться, этот остров очень уж мал». В этих словах словно слышатся удаляющиеся и замирающие вдаль громовые раскаты бурной судьбы человека, которого слишком буйная фантазия сжала в тисках Европы XIX века.

Летом приезжает его матушка. Лишь она одна вполне счастлива. Теперь ее сыну больше не угрожают покушения и битвы, здесь тепло и тихо и почти так же красиво, как на Корсике. Ежедневное общение с сыном возвращает Летицию к доброму старому времени. Хорошо, что она приехала, ибо из тех миллионов, которые она одна и копила, Летиция теперь привозит сыну столько, сколько ему нужно, и оба, наверное, улыбаются, когда мать вручает сыну ассигнации. В день его именин она устраивает небольшой деревенский праздник.

В Париже Летиция присутствовала на многих подобных торжествах. Тогда грохотали орудия, служили торжественную мессу, сенат и министры, придворные и дипломаты, все прибывали в Тюильри, вечером залы заполнялись танцующими, а за открытыми окнами в августовское небо взвивался фейерверк, и тысяча мелких лампочек выписывала в небе огромную букву N. Тогда Летиция стояла между королями, гордая и молчаливая. Сегодня она весела, сравнивая нынешний радостный праздник со скромным торжеством в ее родном Аяччо. Сегодня Летиция, пожалуй, впервые думает: «Все же мы многого достигли!»

В Риме ей удалось залечить кое-какие раны, нанесенные церкви общей сумятицей, вернувшийся Папа простил мать своего врага. И когда теперь весь двор и даже ее собственный секретарь-корсиканец быстро переходят на сторону короля Бурбона, она не удивляется, поскольку все это предчувствовала. Только Каролине, дочери, запрещено показываться на глаза.

Напротив, Полина, веселая княгиня Боргезе, не испрашивая разрешения, — она всегда теплее всех относилась к брату и была достаточно умна, чтобы предпочесть сомнительным коронам настоящие бриллианты и ночи любви, — теперь приезжает на остров, чтобы вместе с матерью отвлечь императора от мрачных мыслей и вываливает перед ним целую корзину сплетен и новостей.

От братьев ни слуху ни духу. Лишь однажды приходит письмо от Люсьена. Что же он предлагает сосланному брату? Уж не предложит ли он, живущий в королевской роскоши в Риме, широким жестом деньги или влияние? Он пишет, что у него теперь имеются доменные печи, а на острове Эльба есть ископаемые, которыми можно эти печи заполнить. Вот их-то Люсьен и просит у императора. От корон и золота он в свое время отказался, но вот железо, которым все еще владеет брат, ему пригодится. Вероятно, Люсьен и сам чувствует — как-никак он же поэт — коичность этой истории с печами. Ну разве не мило, что о Наполеоне еще кто-то вспоминает?

Жозефины уже нет. Через несколько недель после его отъезда она умерла в Мальмезоне, о ее письмах к нему ничего неизвестно, она оставила лишь три миллиона долгов, которые императору придется заплатить. Гортензия, разведясь с мужем, стала герцогиней и склонилась перед Бурбонами в низжайшем придворном поклоне на том же самом паркете, где царила вместе с матерью. Маленький Леон, которого Летиция некоторое время воспитывала в Риме, говорят, похож на отца, он храбр и силен. Это — последнее, что Наполеон слышит об остатках своей семьи.

Тут на английском судне на остров приезжает незнакомая дама из Фонтенбло. В палатках под старыми каштанами в разгар лета император принимает графиню Валевскую, проводит с ней два дня и две ночи, выходя наружу только затем, чтобы отдать необходимые приказания, и четырехлетний мальчик в польском национальном костюме играет на лужайке с ветеранами-гренадерами. Императору очень хочется оставить графиню на острове, но он боится дать повод для развода своей жене, которую все еще ждет: так Наполеон теперь уже во второй раз жертвует какому-то фантому свое счастье. Потом, когда мать с сы-

ном уже уехали, а на море поднялся шторм, император не находит себе места от беспокойства, пока из Ливорно не приходит известие об их благополучном прибытии.

Наполеон непрерывно писал Марии Луизе, он приготовил для нее жилище и начертил план нового дома. А поскольку никаких известий от нее нет, он решает, что ее письма перехватывают, и в конце концов обращается с просьбой о посредничестве в доставке сообщений к великому герцогу Тосканы, ее дядюшке:

«Надеюсь, Ваше Королевское Высочество, что Вы, несмотря на события, изменившие души столь многих людей, все еще сохранили ко мне дружеские чувства... В этом случае прошу Вас также отнестись благосклонно к этой маленькой деревушке, которая питает к Вам такие же чувства, как Тоскана».

Да, так пишет князь крошечного острова, имеющий всего 20 000 подданных, могущественному великому герцогу, но тот не отвечает.

Убедившись еще раз в косности человеческой души, Наполеон весь дрожит от обиды, как бывало встарь, но после подавленного настроения, вызванного этим просительным письмом, близкие с облегчением слышат его прежние речи:

— Эти суверены, посылавшие ко мне торжественные посольства, называвшие меня братом и положившие в мою постель одну из своих дочерей, нынче проклинают меня как узурпатора и плюют на мои изображения, так как им не доступен оригинал. Они покрыли грязью величие королей! Что такое титул императора! Если бы я в другом звании предстал перед потомками, они бы только рассмеялись! В античности у побежденного похищали детей, дабы победитель мог показать их народу при своем триумфе!

Каково было Наполеону услышать, что его четырехлетний сын в тот день общей паники и сумятицы наотрез отказался покинуть дворец отца, а когда потом познакомился с дедушкой, сказал по-детски смущенно: «Я видел императора Австрии. Он некрасивый». Мальчику уготовили именно то, чего Наполеон хотел избежать: ребенок знает, что ему не следует произносить имя отца. Мальчик полу-

чил символическое имя Наполеон Франц и таким образом даже в имени своем заключал злосчастное объединение двух миров, которое он был обречен олицетворять во плоти. Правда, первое имя — Наполеон — вскоре исчезнет, и кукушкино яйцо, попавшее в гнездо Габсбургов, будет именоваться только Францем. Когда секретарь императрицы, собираясь вернуться в Париж из Вены, приходит прощаться, мальчик утаскивает его в нишу у окна и говорит украдкой горячим шепотом: «Скажите моему отцу, что я его ужасно люблю!»

Каково было Наполеону услышать о некоем австрийском офицере, который вошел в историю лишь через спальню дочери Габсбурга, хотя она и сама-то сгинула бы бесследно, не будь женой Наполеона. От таких ударов судьбы император стонет, и близкие не удивляются, видя его плачущим перед портретом сына.

Но вот приходит Полина, все еще очаровательная и всегда в прекрасном расположении духа, и показывает брату в лицах, какие удивленные рожи были вчера у местных мещан и их жен, пришедших к императору на еженедельный прием, когда он спросил, сколько у них детей и не следует ли построить больницу. С течением времени на остров все чаще приезжают итальянцы с континента, и, если привозят с собой рекомендательные письма, император принимает историков, поэтов, аристократов, даже англичан и часами говорит с ними — однако только о прошлом и никогда о будущем. И если кто-то из приезжих начинает ругать нынешний австрийский режим, он в душе радуется, но когда заговорщики зовут его возглавить восстание в Италии, Наполеон отсылает их домой. Ибо мысли его, прикованные к другому берегу, мало-помалу превращаются в новые планы.

А что говорит Париж?

Это по-прежнему единственный вопрос, который интересует императора, и то, о чем рассказывают доставляемые дважды в неделю газеты, о чем сообщают посетители, заставляет его продумывать новые возможности. Приехав на остров, он даже не представлял себе, что когда-нибудь его покинет, теперь им движет лишь инстинкт искателя приключений. Таким он стал после Москвы: «Живой ко-

ных значит больше, чем мертвый император!» Медленно, в соответствии с изменением обстановки, он составляет и отбрасывает, обновляет и корректирует свои планы. Все они связаны с Парижем и Веной.

Что говорит Париж о Бурбонах? Едва Наполеон уехал, они «торжественно прибыли» в город, ибо короли всегда начинают с этого, и хотя газеты по привычке, оставшейся еще от наполеоновской цензуры, печатали много лжи, император у себя на острове узнал и смешную правду. В маленькой карете ютились четверо, и насмешливым французам было над чем посмеяться. В странном одеянии — гражданское платье, но с огромными эполетами, в карете сидел толстяк-король с тройным подбородком и улыбался зевакам, рядом с ним — грустная утонченная дама, герцогиня Ангулемская, в слезах, навеванных воспоминаниями, напротив — дряхлый принц Конде и герцог Бурбон, оба — в мундирах доброго старого времени, знакомых теперь лишь поколению отцов. Но эту карету с ожившими через двадцать два года призраками обрамляли наполеоновские гвардейцы с мрачно насупленными лицами, и их старые простреленные мундиры символизировали титаническую борьбу, произошедшую между той последней и этой первой каретой Бурбонов.

Император жадно расспрашивает о привычках своего преемника и не без удовольствия узнает, что тот поселился в его комнатах, не внося никаких изменений. Правда, вид у этого Бурбона не слишком королевский. «Он очень толст, — говорится в одном немецком сообщении того времени, — и, так сказать, лишен возможности пользоваться ногами. Засунутый в черные замшевые сапоги и поддерживаемый с двух сторон, он мог бы споткнуться и о соломинку. Одет он в некое подобие голубого сюртука с отложным красным воротником и очень старыми, обвисшими золотыми эполетами». Чтение таких строк доставляет императору несказанное удовольствие. Десять лет английские газетчики и карикатуристы изображали его грубым солдафоном, а теперь этот законный король, посаженный на трон той же Англией, сам похож на карикатуру.

А что делает король, чтобы понравиться своему народу? Дал ему новую Конституцию? Однако вскоре приходит

сообщение, что этот милостивый дар существует лишь на бумаге, что прежнее неравенство, прежние сословные привилегии, за которые его брат в конце концов заплатил головой, потихоньку возвращаются. Дворянские сыновья не призываются на военную службу, а у детей низших сословий нет никаких перспектив сделать карьеру. Над новым титулованным дворянством насмеваются. Сообщают, что новым королем, вполне разумным стариком, руководит его брат, мрачный граф д'Артуа, окруженный толпой жаждущих мести эмигрантов. Теперь им возвращают их собственность, они становятся пэрами, король платит этим бездельникам большие пенсии.

Священники тоже вновь приобретают власть. Они действуют к выгоде аристократов, угрожая адом, они выманивают у умирающих завещания в пользу посторонних, а по воскресеньям под угрозой штрафа никто не работает, хотя новая Конституция провозглашает свободу вероисповедания, по улицам вновь тянутся церковные процессии. Однако когда церковь запрещает похоронить по религиозному обряду прелестную актрису, любимицу парижан, дело доходит до первых уличных столкновений.

Вскоре народ видит, сколь многим он обязан своим чувственным освободителям, и с нескрываемым удовольствием ссыльный император смотрит на карикатуру: король Людовик сидит на лошади за спиной казака и скачет во Францию по трупам французов. И когда Веллингтон, победитель французов в Испании, став британским посланником в Париже, прогуливается по улицам, он ловит на себе злобные взгляды. А что делает новый режим для тысяч, лишенных права остаться в армии? Офицеры получают половинное жалованье, а кто не показал себя ревностным католиком, тех увольняют. Зато на новую королевскую гвардию, формирующуюся из аристократических отпрысков, льется золотой дождь, вновь открывается офицерская школа для дворянских сыновей, а сироты Почетного легиона попадают под покровительство герцогини Ангулемской. Быстрее, чем предчувствовал император, во Франции поднимается волна разочарования.

Однако на Эльбе никто и не думает изображать из себя якобинца. Император ни от чего не отказывается в своей

государственной системе, даже когда признает совершенные ошибки: «Франции нужна аристократия. Но чтобы ее создать, нужно, разумеется, время и воспоминания о прошлом. Я сделал князей и герцогов, дал им земли и состояния, но при их низком происхождении не мог сделать их благородным сословием. Поэтому я пытался путем брачных уз связать их с родовитыми семьями, и если бы у меня были те двадцать лет, которые были мне нужны для величия Франции, я многое бы успел сделать. Но судьба распорядилась иначе».

Наполеон открыто признает свои роковые ошибки, словно шахматист после проигранной партии, и даже не учитывает того, кому он делает подобные признания. Незнакомым англичанам сообщает, что мир ему надо было бы заключить еще в Дрездене. Но когда они спрашивают, почему он не заключил его в Шатильоне, император гордо отвечает:

— Я не мог заключить мир, пятнающий честь Франции. Ведь Бельгия входила в ее состав, когда я пришел к власти. Другие страны, завоеванные мной, я имел право вернуть, но чтобы отдать собственно французские земли? Никогда!.. Я родился солдатом. И неожиданно оказался в гуще революции. Трон был свободен. Я просто занял его и удерживал, покуда мог. А теперь, теперь я вновь стал тем, кем был с самого начала: простым солдатом... Лишь трус может убояться страданий после того, как он наглядился на страдания людей.

Кто знает этого человека, узнает в этих словах несомненной судьбой, удивительна лишь полная свобода, с которой он говорит о прошлом. На Эльбе Наполеон ни разу не проявил желания как-то фальсифицировать свою историю. И все же именно в эти первые месяцы он считает свою карьеру оконченной, не помышляет ни о каком насильственном перевороте, скорее подумывает о том, не стать ли ему в Англии мировым судьей. «Что предприняли бы против меня, если бы я поехал в Англию? Будут ли побивать меня камнями? Лондонская чернь весьма опасна». Англичане, которым он это говорит, заверяют его в своем традиционном гостеприимстве. Император отвечает, что подумает.

И только Венский конгресс приводит его в беспокойство. Четыре монарха, объединившихся против одной республики, через десяток лет смогли наконец ее уничтожить. А пять монархов-союзников, собравшихся, чтобы заново установить порядок в Европе, но не сплоченных более борьбой против общего врага — четыре полных победителя и один «половинный», как себя представляет Бурбон, — непременно должны перессориться из-за врожденной зависти к собратьям по знатности. Что? Царь хочет отхватить всю Польшу, а Пруссия — Саксонию? Что же тогда станет с Галицией и с королем Саксонии, родственником Бурбонов? Раскол уже произошел. Через три месяца после начала конгресса, к новому году, коалиция распадается, и те же самые министры и вельможи, праздновавшие свою победу, изменяют друг другу и закрепляют эту измену документально: Габсбург заключает союз с Англией и Францией против России и Пруссии, с которыми только что воевал плечом к плечу.

Легкомыслие Меттерниха, его лень, тщеславие, интриганство правили бал в те дни, пишет барон фон Штайн, «и добродетельные монархи-победители были втянуты в грязные махинации». «Король Пруссии, — пишет из Вены некий саксонский дворянин, — всегда выглядит мрачным и злым... Король Дании доброжелателен и иногда бывает понятлив... Король Баварии похож на грубого, угрюмого возницу... Великий герцог Баденский — высок ростом, темноволос, пустоголов и здоров как бык... Престарелый герцог Веймарский продолжает жить так, будто он все еще молод».

Со все возрастающей надеждой изгнанник на Эльбе из всего, что он читает и слышит, делает вывод: если Венский конгресс провалится, наступит тот самый момент! Тайные агенты, в особенности преданный ему Марс, держат императора в курсе царящих в Вене настроений. Однако в то время, как конгресс, словно прогулочная яхта, легкая и изящная, колеблется из стороны в сторону, интригует и празднует, с мостика тревожно всматривается вперед его старинный враг: Талейран стоит на вахте. В Ливорно сидят его люди, которые докладывают о каждом суденышке, плывущем на Эльбу, и его пассажирах.

Талейран верен себе как знаток человеческих душ: он советует отослать Наполеона, а заодно и Мюрата, с Эльбы на Азорские острова, в 500 милях от суши, но тут в дело вмешивается его застарелая страсть — любовь к деньгам. Мюрат, тоже тертый калач, теперь, на конгрессе, припертый к стенке и борющийся за то, чтобы сохранить свое королевство, обещает Талейрану дорого продать его княжество. Так план с Азорскими островами срывается. Но Талейран придумывает новый: императора следует похитить. Однако его люди в Ливорно уверяют, что это возможно только, если удастся привлечь к операции одного из четырех капитанов, командующих кораблями императора.

Стоило Наполеону прослышать об этих планах, как в нем вновь закипает кровь завязатого авантюриста-корсиканца. Он тут же приказывает починить защитные сооружения, а канонирам тренироваться в стрельбе: «Я — солдат, меня можно застрелить. Но я не потерплю депортации. Пусть сперва попробуют взять мою крепость осадой!» Но никто не появляется у острова. В Вене вновь достигли взаимопонимания, перспектива провала уменьшается, однако во Франции крепнет недовольство, все как бы сходится для того, чтобы ускорить принятие императором решения. Теперь он думает:

«Если Конгресс завершится празднованием мира и все будет подписано, то фаланга вновь будет стоять стеной. А сейчас, пока силы ее раздроблены, ее можно свалить одним-единственным ударом. Франция бурлит недовольством против Бурбонов, Париж их высмеивает, а союзников, их защитников, открыто ненавидят. Старая армия — за своего императора, об этом свидетельствуют сто признаков. Бурбоны — трусы и пустятся в бега. А если я вновь твердо сижу на троне, то и наследник вернется домой».

Чистый расчет, никогда он не считал более трезво. И все же, как ни продумывает Наполеон свои цифры, в конце концов все строится на человеческой психике. «Я рассчитываю, — говорит он близким, — на внезапность. Отчаянно смелый поступок приводит к всеобщей растерянности, а потрясающая новость ошарашивает всех». — И до-

бавляет: «Я причинил Франции много бед. Я должен загладить свою вину».

В конце февраля он зовет своего казначея: «Сколько у вас денег? Сколько весит миллион золотом? Сколько весят сто франков? Сколько весит чемодан книг?.. Возьмите несколько чемоданов, сложите в них все золото, а сверху прикройте книгами, камердинер даст их вам. Увольте местных слуг, уложите свои вещи и расплатитесь. Все держите в тайне».

Казначей в страхе бежит к генералу Друо: их взгляды встречаются, оба не произносят ни слова. На следующий день все суда получают приказ оставаться в гавани. Наполеон все подготовил втихую, как экспедицию в Египет, только в малом масштабе.

В предпоследний вечер он играет с дамами партию в карты, но вскоре поднимается из-за стола, выходит в сад и не возвращается. Мать находит его — по ее собственным словам — стоящим под смоковницей. Помолчав, он кладет ладонь ей на лоб и говорит взволнованно:

— Вам я скажу. Больше никто не должен знать об этом, в том числе и Полина. — Потом переходит на свой прежний тон, словно разговаривает с Бертье: — Сообщаю вам, что я нынче ночью уезжаю.

— Куда?

— В Париж. — Пауза. — И прошу у вас совета.

У матери замирает сердце. Все, что ее так радовало здесь — общение, тишина, безопасность, — пошло прахом. Но гордая Летиция еще и умна: она знает, что этого сына не удержишь словами, а ее страх только повредит его твердости. Поэтому она говорит:

— Подчинитесь своей судьбе. Господь не допустит, чтобы вы умерли от яда или от дряхлости, скорее всего он захочет, чтобы вы погибли с мечом в руке. Станем же полагаться на защиту Мадонны!

В последний вечер всем местным начальникам велено явиться к повелителю острова, тот сообщает им о своем отъезде.

— Я чрезвычайно доволен моим пребыванием здесь. В знак доверия оставляю на острове мать и сестру. Доверяю вам и сам остров, которому придаю большое значение.

Комендант и бургомистр выражают живейшее сожаление. По стилю все это похоже на прощание высокопоставленного гостя, после нескольких месяцев отдыха покидающего прекрасный остров: к сожалению, он вынужден вернуться к делам.

Потом Наполеон идет на корабль, и утром семь небольших фрегатов выходят в море, имея на борту сто тысяч человек и несколько пушек и держа курс на побережье Франции. Он стоит на капитанском мостике. Сдвигаются назад смутные очертания Эльбы, где он жил так тихо и беззаботно, потом Корсики, где он некогда жаждал взлета, и, когда из тумана первого мартовского дня постепенно начинает проступать берег Ниццы и Канн, император думает:

«Что может быть минимумом? Отпор и смерть. Что максимумом? Европа? Не хочу и слышать о ней! Мечта о Соединенных Штатах Европы улетучилась, во второй раз ни миллион французов, ни другие народы не готовы к этому. Надо дать Франции Конституцию, создать палаты парламента. Время диктатур кончилось. Впрочем, мы еще не в Париже. Как поступит армия?»

XVI

Как зовут к себе горы! Как гулко отдаются эхом долины! Тысяча человек высадилась в Каннах и двигается от одной альпийской деревушки к другой. Восторженная толпа окружает старую гвардию, идущую с непроницаемыми лицами — ни торжества на них, ни печали — сквозь исторические события. Именно они, эти крестьяне, сыновья гор, в этих же деревнях некогда встречали его — худощавого, низкорослого, никому неизвестного генерала. Он избавил их от набегов мародеров и повел через Альпы. Эти люди, первыми увидевшие творимые им чудеса, с тех пор всегда хвастались, что император вышел из них, — и вдруг он неожиданно-негаданно тут, опять среди них! Разве эта тысяча ветеранов не должна была произвести впечатление чуда, разве они могли не принять их за пророков и освободителей!

Они спустились с гор с женами и детьми, вот уже зазвуч-

чали песни против короля, а в маленьких городишках старейшины выходят навстречу прибывшему. На сто миль вокруг Наполеон встречает только крестьян.

На это он и рассчитывал. И ни за что не пошел бы через Экс и Авиньон, то есть через монархически настроенные провинции. А теперь император без сожаления бросает немногочисленные пушки на заснеженных тропах, чтобы только побыстрее добраться до Дофинэ. Здесь крестьяне получили землю в основном от государства, конфисковавшего имения, раньше принадлежавшие аристократам, и теперь обозлены на короля, священников и эмигрантов, собирающихся оспорить их право на собственность, которой они владели четверть века. Разве великую революцию совершали не для защиты бедняков, разве ее совершали не крестьяне и пролетарии? Первый Консул ничего у них не отнял, да и став императором, призвал под ружье только их сыновей, и в их замедленном и косном мышлении Наполеон всегда оставался своим. А теперь вдруг откуда-то взялся этот толстяк-король, и у них хотят отнять землю.

Их души помрачились от этого нового поворота судьбы, и никто не воззвал к ним. Такое настроение царило и пятнадцать лет назад, когда покоритель Египта пристал к берегу на своем утлом суденышке, и весь юг Франции славил его как триумфатора. Но что произошло за последние десять месяцев, почему проклинаемого и оплеванного человека теперь встречают с радостью? Просто тогда Наполеон ехал по другим провинциям, и после постигшего нацию несчастья нужно было найти виноватого. Поражение императора длилось так же недолго, как и его поругание в народе. А вера в него длилась так же долго, как и его слава.

Как поступят первые войсковые части, с которыми он встретится? При прощании Наполеон сам призвал их служить родине, то есть королю. Кто же будет на стороне императора? Все зависит от его способности убеждать. Смутные чувства теснятся в его душе, и когда Наполеон уходит с побережья и покидает Канны, слева он видит Антибскую крепость. Может, даже различает зарешеченную башню, в которую его заключили после свержения Робеспьера. В такую же башню посадит его Бурбон, к такой же стенке по-

ставит Европа, если завтра его взгляду и слову не удастся совершить то, что так часто удавалось.

Перед Греноблем навстречу ему движется первый королевский батальон. Батальону приказано уничтожить мятежников, офицеры принимали присягу королю, как раньше — императору. И теперь раздается команда атаковать. Неужели должна пролиться кровь граждан? Именно этого он всю жизнь избегал. Неужели эта полевая дорога станет полем сражения? Наполеон соскакивает с лошади, выходит на десять шагов перед первым рядом колонны и кричит:

— Солдаты пятого корпуса! Вы меня узнаете? Ежели есть среди вас кто-то, желающий убить своего императора, он может это сделать! — И с этими словами распахивает серую шинель.

Жуткая тишина. Что же будет?

— Так ведь это же наши братья! А это наш генерал! Мы его столько раз видели! Во время боя — на холме, потом — в биваке, у костра!

Разве естественное чувство и воспоминания не заглушат голос недавней присяги?

Несколько солдат хором кричат: «Да здравствует император!» Гвардия откликается: «Да здравствует император!» Офицеры переглядываются: «Да здравствует император!» И все устремляются навстречу друг другу и сбиваются в кучу. Уже спустя час за кумиром следуют две тысячи штыков вместо одной.

Эта встреча на дороге под Греноблем, этот миг, его слова, его взгляд решили все. Здесь этот человек действия, этот поседевший солдат, своим поступком, взглядом и словом отвоевал жизнь, власть и империю. И вот они уже в Гренобле. Манифест возвещает его мысли народу:

«Французы! После падения Парижа сердце мое было разбито, но дух не был сломлен... Моя жизнь принадлежала вам и еще вам послужит. Находясь в изгнании, я слышал ваши жалобы и призывы... Вы были недовольны, что я так долго сплю и жертвую интересами отчизны ради собственного покоя. В кольце опасностей я приплыл по морю. И теперь пойду вперед вместе с вами, чтобы вернуть себе свои права — они ведь и ваши тоже.

Солдаты! Нас не разбили в бою! Измена Мармона сдала

врагам нашу столицу и подорвала мощь армии... Теперь я, ваш генерал, которого народ избрал на трон, а вы — подняли на щит, вернулся к вам. Сплотитесь вокруг меня! И нацепите вновь трехцветные кокарды, видевшие наши победные дни! И вновь возьмите в руки древки знамен, реявших над вашими головами под Ульмом и Аустерлицем, под Иеной, Эйлау, Фридландом, Экмюлем и Ваграмом, под Смоленском и на Москва-реке, под Люценом и Монмираем! У собственности, чести и славы вашей и ваших детей нет злейших врагов, чем те правители, которых вам навязала заграница! В бою нас поведет вперед победа, наш орел полетит от одной церковной колокольни к другой — и так вплоть до Нотр-Дам!»

«Да здравствует император!»

Гренобльский полк переходит на его сторону вместе со старыми императорскими знаменами. На Лион за ним идет уже семь тысяч. Лион переходит к нему. Массена, служивший королю, приезжает из Марсея и восхваляет императора.

— А где Ней? — Смущенное молчание. — Он с королем?

И Наполеон узнает о Военном совете в Париже. Там со дня получения страшной вести дрожат от страха и толстый король, и его тощий двор. «Монитор», пятнадцать лет главивший в пользу Наполеона, теперь лжет в пользу короля: пишет, что императора уже нет в живых. Военный совет обсуждает, что делать. Король пишет воззвание к армии. Однако кто это рядом с ним — его главная опора и истинный глава бурбоновской армии, кто это и как его имя?

Это маршал Ней. Когда во время отступления из России Наполеону показалось, что тот отрезан и обречен, он воскликнул: «Ней погиб! Я бы отдал все мои двести миллионов из подвалов Тюильри, если бы мог его вернуть!» Теперь он встает из-за зеленого стола, имея на руках полномочия короля, бормочет какое-то ругательство и клянется уничтожить своего бывшего патрона. Однако когда отголоски всеобщего воодушевления достигают его слуха, Ней поворачивается, как флюгер по ветру, его корпус нацепляет трехцветные кокарды и перед встречей в Безансо-

не он просит передать императору, что хочет сначала письменно оправдаться перед ним. Тот ласково проводит ладонью по щеке гонца: «Скажите ему, что я его все еще люблю и завтра заключу в свои объятия».

Каков прием! Хоть он и прощает маршала, но до завтра заставляет помучиться. На другой день Ней лепечет: «Я люблю вас, Сир, но как сына отечества! Я был вынужден стать на колени перед этим боровом, чтобы получить Крест Людовика! Не приходи вы, мы бы его сами прогнали!»

Странно! Как он бледен, как неустойчив его дух, думает император и задает ряд вопросов.

Граф д'Артуа только что скрылся. Еще утром гвардия поклялась, что готова умереть вместе с ним, а к полудню перешла на сторону императора. Такие резкие повороты Наполеону не по душе, он держит эту часть гвардии на отдалении. И только Нея он зовет к себе и собственной рукой вручает ему орден Почетного легиона.

Однако как он сам меняется! Чем быстрее растет лавина солдат, идущих за ним к столице, тем более мирно звучат речи, с которыми император обращается к магистратам и жителям городов: «Война окончена. Мир и свобода! Принципы революции нужно защитить от эмигрантов, договоры с Европой соблюдать, Франция вернет себе славу без войны. Нужно довольствоваться тем, что мы будем самой уважаемой нацией, не подчиняя себе другие народы!»

Улавливает ли народ эту новую окраску? А если улавливает, то верит ли в ее искренность? Нужно довольствоваться славой без войны? Встретив на марше одного высокопоставленного чиновника и обнаружив в нем наконец-то достойного слушателя — среди тупых горожан и ограниченных офицеров таких не нашлось, — Наполеон объясняет тому политический смысл своих речей:

— Дух народа изменился. Раньше все думали только о славе, теперь — о свободе. Тогда я принес им славу, теперь дам свободу. Свобода бывает полной только в том случае, если сила основывается на хорошей Конституции... И никакой анархии! Она вернула бы нас к временам деспотов-республиканцев, когда каждый творит что ему вздумается. Я хочу сохранить за собой ровно столько власти, сколько мне нужно, чтобы управлять государством.

Когда Наполеону советуют простить перебежчиков, он возражает: «Нет, писать им я не буду. А то они еще подумают, будто я им чем-то обязан. Как дела в Тюильри?»

— Там все осталось как было, даже ваши орлы не сняты.

Император в прекрасном настроении, смеется:

— Наверное, сочли их декоративными. А что дают на театре? Как поживает Тальма? Вы бывали при дворе? Говорят, у Бурбонов вид выскочек, не умеют ни слова сказать, ни шагу шагнуть.

Как ему интересно все, что происходит в Париже, как хочется глотнуть его воздуха, как он злорадствует! И старается насмешливым тоном отомстить тем, кто так долго насмехался над ним. Ему описывают скудость двора и показывают профиль короля на двадцатифранковой монете.

— Видите? Опять написано: «Боже, храни короля!»! А при мне на монетах чеканили: «Боже, храни Францию». Они всегда были такими: все — для себя и ничего — для Франции!

Потом за три минуты успеваешь расспросить про двадцать человек, но когда ему сообщают, что Гортензия стала герцогиней, он как бы между прочим роняет:

— Лучше бы звалась мадам Бонапарт. Это имя дороже всех других.

В этих словах заключается новая эпоха. Если он вновь назовет себя Бонапартом, гарантирует Конституцию, даст свободу, если в самом деле возьмет себе лишь столько власти, сколько необходимо, чтобы управлять страной, тогда Наполеон уже сейчас может стать королем Франции. Тогда великий урок, который император извлек в изгнании из провалившейся попытки объединения Европы, дал бы этому континенту удачный образец современного правителя Божьей милостью, и он, управлявший всегда лишь в зависимости от обстоятельств, теперь, во второй раз придя к власти после фантастического взлета, покажет себя мастером самоограничения. Путь для этого открыт.

Как и путь в Париж: король удрал, большинство народа — за императора. Кто еще побаивался, что последние воинские части, оставшиеся верными королю, окажут сопротивление, тот их переоценил. Император еще стоит в

сорока часах марша от столицы, а последние королевские гвардейцы уже разбегаются. Но императорская армия, догнав короля, дает тому возможность добраться до спасительной гавани. И отбирают у него только серебро на шестидесяти повозках и пушки. Тогда половина Франции смеется вслед толстяку, который прибыл в Париж из Англии в сопровождении вражеских войск, а теперь вновь удирает в Англию, сопровождаемый уже армией собственной страны.

В Париже все спокойно. Парижане уже давно разучились действовать по собственному разумению. За те двадцать дней, что потребовались императору, чтобы пройти маршем от побережья до столицы, реакция прессы день ото дня менялась:

«Изверг рода человеческого улизнул из ссылки... Корсиканский оборотень высадился под Каннами... Ему навстречу посланы войска, он кончит свои дни в горах как жалкий авантюрист... Чудовище в самом деле благодаря предательству добралось до Гренобля... Тиран был в Лионе, ужас сковал всех и вся... Узурпатор решил приблизиться к столице на 60 часов марша... Бонапарт шагает семимильными шагами, но никогда не дойдет до Парижа... Завтра Наполеон будет у городских стен... Его Величество император прибыл в Фонтенбло».

И когда в конце концов, без единого выстрела пройдя путь от Эльбы до Парижа, император вновь поднимается по ступеням дворца Тюильри, покинутого им тринадцать месяцев назад, город целиком занят его войсками, а группа эмигрантов уже исчезла вместе с королем. Все тихо. Наполеон подмечает это, прислушивается и говорит: «Они дали мне прийти — так же, как тем, другим, уйти».

Первое разочарование! Марш на Париж был слишком прекрасен, позже он назовет его прекраснейшим временем своей жизни. Но здесь, в этом городе, который в конечном счете решает все, за благосклонность которого он боролся дольше, чем за какую-либо империю и который так никогда окончательно и не завоевал, здесь и теперь ему не хватает морального сопротивления. Как если бы, больше не заставая неверную возлюбленную в объятиях нового поклонника, он счел бы, что бесчисленные интрижки на-

столько иссушили ее, что она утратила способность любить. Тем не менее: «Мы теперь здесь, и надо пошевеливаться».

Наполеон глядит в сторону Вены.

Через восемь дней после высадки Наполеона в Каннах Меттерних распечатывает послание, которое гласит: «Английский комиссар Кемпбелл только что прибыл, дабы выяснить, не появлялся ли Наполеон в Генуе. Ибо с острова Эльба он исчез».

Вот это бомба! Все, кто вчера еще интриговал друг против друга, теперь вновь друзья не на жизнь, а на смерть, все вновь клянутся всеми клятвами, которые столь часто нарушали. Барону фон Штайну первому приходит в голову мысль объявить беглеца вне закона, пять лет назад обсуждался, но Габсбург, приходясь как-никак тестем Наполеону, не может решиться на этот шаг, поэтому хотят спросить сначала у Марии Луизы. Четыре года она была сердечно привязана к нему, ни разу не пожаловалась на мужа ни отцу, ни приятельнице — так ведь и впрямь не на что было! Наполеон выполнял все ее желания, она была богата и окружена поклонением, он был с ней спокойным и ровным, они вместе играли с сыном. Встанет ли она на его защиту?

Но жена императора и любовница австрийского офицера берет лист бумаги и торжественно заявляет конгрессу, что не имеет с Наполеоном ничего общего и просит у союзников защиты. Только после этого заявления Марии Луизы решаются объявить императора вне закона.

Известие об этом Наполеон воспринимает спокойно. Трижды его уже объявляли вне закона. В первый раз — когда вместе с семьей выслали с Корсики, потом — те же слова кричали ему в лицо в зимнем саду замка Сен-Клу, затем Папа предал его анафеме — и все три проклятья отскочили от него, как будто он был для них неуязвим. Четвертое его свалит.

Наполеон пишет жене:

«Я — властелин Франции! Весь народ и вся армия пребывают в величайшем восторге! Так называемый король удрал в Англию... Жду тебя с сыном в апреле!»

Одновременно он пишет тестю, который только что объявил его вне закона: «Ныне, когда Божий Промысел вновь привел меня в столицу моей страны, самое большое мое желание — вновь увидеть предмет моих нежнейших чувств — жену и сына».

Потом пишет о благородной душе супруги, которая, конечно, тоже страстно жаждет встречи с ним: «Все мои устремления направлены на то, чтобы упрочить этот трон, сохраненный и возвращенный мне любовью моего народа, чтобы однажды оставить его моему сыну, имея на то неопровержимые юридические основания... Для достижения этой святой цели необходим длительный мир, поэтому нет для меня ничего дороже, чем оставаться в мире со всеми державами».

То ли благородно, то ли смехотворно: Наполеон отрекается от войны, отказывается от притязаний на страны Европы, он хочет только Францию — и все это правда. Монархи, победившие его, объединились в новый союз и объявили выскочку вне закона. Император Франц подписал соответствующий документ в своей столице, Мария Луиза недвусмысленно дала ему на это право. Она ушла от Наполеона, оставив регентство и забрав с собой сына, бросилась в объятия другого мужчины и живет с ним: все это император знает. И тем не менее, вместо того чтобы начать новую эру ясным и четким разрывом со всем тем, что принесло ему поражение и разочарование, Наполеон действует так, словно ничего не видит и не понимает — ища дружбы и родственных чувств у старой династии, победившей его молодую.

XVII

Авантюрист становится искусителем.

Наполеон знает: теперь нужно убеждать и улыбаться. Те, кто проявил стойкость и по своей воле отправился в ссылку вместе с императором — Маре, Даву, Коленкур, — пожав ему руку, занимают свои прежние должности.

На одном из утренних приемов, на которые опять сотнями сбегаются чиновники, офицеры и вельможи, к Напо-

леону подходит некий граф из старинного аристократического рода. Когда-то император вернул его из ссылки и сделал сенатором, однако граф вернулся к своему королю. Теперь, приблизившись к императору, он лишь молча поднимает глаза к небу, словно просит извинить его. Император улыбается. Оба так и не проронили ни слова. Граф больше не появился во дворце. Но когда некий генерал, произнесший на военном совете у Мармона решающую речь, приведшую к их общей измене, теперь пытается вылезть вперед и бормочет что-то невнятное в свое оправдание, император не улыбается, а яростно набрасывается на него: «Что вам от меня надо? Вы что — не видите, что я вас знать не знаю?»

А вот и Удино, бывший соратником Бонапарта около двадцати лет, но потом ревностно служивший королю в чине маршала. Теперь он тоже вернулся. «Видите ли, Удино, вы были божеством для Лотарингии, двести тысяч крестьян пошли бы за вами в огонь и воду — еще в прошлом году. А теперь мне придется защищать вас от этих крестьян!»

Тут и Рапп. Он колебался дольше других, да и теперь очень неуверенно держится. «Долго же вы заставляете себя ждать! Неужели вы в самом деле собирались со мной воевать?»

Рапп — родом из Эльзаса, а значит — наполовину немец и уже поэтому в большей степени человек долга, чем сердечной склонности: «То был мой долг, Сир, я был вынужден».

— Черт вас побери! Да ведь солдаты не пошли бы за вами, ваши эльзасцы забросали бы вас камнями!

Но Рапп не сдается:

— Сир, согласитесь, что положение было трудное — вы отрекаетесь, покидаете Францию, советуете нам служить королю, потом возвращаетесь...

— А вы часто бывали здесь? Как с вами обращались? Сперва обласкают, потом вышвырнут за дверь — естественно, таков был бы ваш жребий! Читали вы памфлет Шатобриана? Разве правда, что я трушу на поле боя? А еще меня обвиняют в честолюбии — просто потому, что не знают, что еще сказать. Разве честолюбцы бывают такими

толстенькими, как я? Господин генерал, нам с вами придется еще раз послужить Франции. А уж потом отправимся к праотцам!

Так непринужденно, словно играючи, Наполеон бросает этого мужественного и порядочного человека из стороны в сторону. Но тот гнет свою линию: «Сознайтесь, Сир, что вы были неправы, не заключив мир в Дрездене. Вы тогда отнеслись к моим сообщениям о настроениях в германском обществе как к нонсенсу!»

И император отвечает по существу: «Вы просто не знаете, что означает такой мир!» — И вдруг переходит на близкий душе Раппа и совершенно неуместный здесь, в этом дворце, тон дружеского общения где-нибудь на биваке: «Уж не боишься ли ты новой войны, ты, 15 лет прослуживший моим адъютантом? Когда ты вернулся из Египта, ты был просто солдат. Я сделал из тебя человека. И сегодня можешь требовать у меня чего угодно! Я никогда не забуду, как стойко ты вел себя под Москвой. Да и под Данцигом ты совершал величайшие подвиги! Ней и ты — вы оба относитесь к немногочисленной категории людей с сильным характером!» — И вдруг бросается его обнимать и целовать, а потом, игриво потянув за ус, спрашивает:

— Что? Один из первейших храбрецов Египта и Аустерлица — и хотел меня покинуть? Ты примешь Рейнскую армию, пока я буду вести переговоры с Пруссией и Россией. Надеюсь, месяца через два встретишь мою жену с сыном в Страсбурге. И с сегодняшнего дня будешь исполнять обязанности моего адъютанта.

— Слушаюсь, Сир!

Рапп нужен Наполеону, он безусловно честен и столь же безусловно храбр, он самый израненный офицер великой армии. И к королю перешел из чувства долга: таких воинов не надо обольщать. Не проходит четверти часа, и Рапп уже не только снова свой человек для Наполеона, но соглашается наряду с командованием армией исполнять адъютантские обязанности, ибо понимает: преданность — это именно то, что нужно сейчас императору как воздух.

Труднее с Неем. Правда, он вновь служит императору с первого дня, но угрызения совести лишают его сна. С ис-

каженным лицом и срывающимися с губ словами маршал через некоторое время приходит к шефу:

— Вы, вероятно, слышали, Сир, что когда я пошел на Безансон, то я на военном совете... Здесь, в Тюильри, пообещал королю...

— Что?

— Что доставлю вас в железной клетке к его трону...

Император застывает от неожиданности, потом говорит:

— Чепуха! Такой мысли не может быть у солдата!

— Вы ошибаетесь, Сир! — восклицает маршал еще более взволнованно. — Разрешите мне договорить. Я действительно это сказал, но... Я хотел только скрыть мои подлинные намерения...

Вот когда император по-настоящему гневается. Ней поспешно удаляется и лишь спустя два месяца приходит вновь, чтобы принять участие в боевых действиях. Так легко поселяется безумие в этих железных солдатских головах, когда они начинают метаться между долгом и душевной симпатией, а великой Единой Воли, которая их всех сплачивала, уже нет. Бертье, тоже перебежавший к королю, заплатил за это собственной жизнью.

— Ну и осел он! — говорит император, испытывающий к нему прежние теплые чувства. — Но он хороший малый, и я от него ничего не требую, кроме одного: пусть явится ко мне в мундире королевской гвардии!

Однако с того дня, как император вернулся, Бертье ночами мечется по залам своего дворца и в конце концов бросается с балкона, чтобы, как и Жюно, после стольких битв расплющиться на булыжниках мостовой.

Вперед! Нам нельзя топтаться на месте! Кого еще не хватает? А, мадам де Сталь вновь появляется? Старинная противница пишет Наполеону, что восхищается его выдержкой, и если император вернет ей два миллиона, которые Франция осталась должна ее отцу, то она впредь будет писать только на благо Франции. Разозленный Наполеон передает ей, что весьма тронут, но, к сожалению, не сможет выполнить ее условие, так как недостаточно богат.

Кто еще? Мармон? Ожеро? Их император объявляет вне закона — за то, что продали родину чужестранцам. И, на-

конец, Талейрана тоже! Так заканчивается эта дружба-вражда. При этом оба думают без волнения: «Жаль, что такая голова служит другой стороне!»

Однако второй из близнецов-братьев — Фуше — вновь тут как тут. Полицейскую службу во благо своего патрона он понимает как службу против него. «Ну, вот он опять здесь, — говорит Фуше. — Хотеть мы его не хотели, так что теперь будем за ним зорко следить... Этот человек вернулся еще большим безумцем, чем был, когда ушел, но его не хватит и на три месяца!» Тем временем он переписывается с Меттернихом, однако старые шпики Наполеона вскоре до этого докапываются. «Вы предатель! — бросает ему в лицо император после одного из приемов, и Лавалет, дожидаящийся в прихожей, слышит это через полуоткрытую дверь. — Почему остаетесь моим министром, если меня предаете? Мне известно, что вы обмениваетесь письмами с Миттернихом через одного банковского служащего в Базеле. Я мог бы вас повесить, и все одобрили бы мое решение». Неизвестно, что ответил на это Фуше.

Императору Фуше нужен в кабинете министров лишь как приманка для демократов, однако Фуше обманывает не только императора в союзе с Меттернихом, но и Меттерниха в союзе с радикалами: его цель — республика, а во главе ее — Фуше. Впервые после Директории в правительство входит и Карно — более ярый враг короля, чем сам Наполеон.

В качестве духовного главы император приглашает в правительство своего старейшего врага — Бенжамена Констана, старого демократа, друга мадам де Сталь, который еще незадолго до появления Наполеона в Париже клеймил его в злобных памфлетах, сравнивая с Аттилой и Чингисханом. Теперь императору нужны эти демократы 1813 года, ведь он хочет править не единовластно, а опираясь на палаты Законодательного собрания. Поэтому Наполеон сразу приглашает Констана к себе и беседует с этим человеком, которого не видел пятнадцать лет, о самых важных делах государства. То, что сказал ему император при их первой встрече, Констан записал весьма подробно, и эти четыре страницы текста объясняют без пустых фраз

и обиняков все реально-политические причины последних изменений в умонастроении Наполеона:

— Народу вновь понадобились трибуны и митинги. Не всегда они были ему нужны, он бросался мне в ноги, когда я пришел к власти... Я взял себе меньше власти, чем мне предлагали. Нынче все по-другому. По всей видимости, вернулась склонность к конституциям, выборам и речам. Однако всего этого жаждет лишь меньшинство. Большинство по-прежнему хочет только меня... Я не только солдатский император, я еще и император для пролетариев и крестьян... Поэтому-то народ, несмотря ни на что, возвращается ко мне. Я держу их в строгости, никогда не лщу, а они все же кричат: «Да здравствует император!», потому что между нами существует естественная общность...

Другое дело аристократы. Они толпились в моей приемной, выпрашивая и получая выгодные должности... Но общности между нами никогда не было. Лошадь прогибалась под всадником, она была хорошо объезжена, но я чувствовал, как она дрожит... Да, я стремился создать всемирную империю, для этого мне была нужна неограниченная власть. Кто бы на моем месте ее не захотел! И разве все кругом не подталкивали меня к ней? Князья и подданные — все спешили попасть под мой скипетр... Но если хочешь управлять одной Францией, то лучше — на основе Конституции...

Скажите мне, чего вы хотите! Публичности ораторских выступлений, свободных выборов, ответственных министров, свободы прессы? Всего этого хочу и я. В особенности свободы прессы. Подавлять ее было бы абсурдом... Я — человек из народа. И если народ на самом деле хочет свободы, я обязан ему ее дать... Я уже не завоеватель, не могу больше им быть. И знаю, что возможно, а что нет. У меня остается лишь одна миссия: поднять Францию с колен и дать ей такое правление, какое нужно стране...

Я не питаю ненависти к свободе, хотя на своем жизненном пути избегал ее. Я понимаю ее ценность, ведь я вырос на ее идеях. Ныне труд пятнадцати лет пошел прахом, чтобы начать все сначала, мне понадобилось бы двадцать лет и жизни двух миллионов... Я хочу мира, но могу добиться

его только победив. Не хочу внушать вам ложных надежд: предвижу впереди тяжкую войну. Чтобы ее вести, мне будет нужна народная поддержка. За это народ потребует свободу. Хорошо, он ее получит... Мое положение изменилось. Кроме того, я старею. В сорок пять человек уже не тот, что был в тридцать. Мне может понравиться спокойная жизнь конституционного монарха. И наверняка она еще больше понравится моему сыну.

Таковы были главные идеи императора Наполеона, когда он, будучи князем острова Эльбы, выступил в поход, чтобы стать королем Франции. Искренность его намерений показывает реалистичность мотивов. Наполеон не похож на человека, нарочито выставляющего напоказ перемены в своей душе, или на героя, который обрел на своем острове святость в результате диалога с Богом. Нет, он просто человек, сообразующийся с обстоятельствами и прислушивающийся к общественному мнению. Наполеон признает, что наступила новая эпоха. Хотя наступила она не благодаря его усилиям, а благодаря его провалу. Наполеон чувствует, что ни одна страна не может от диктатуры гения вернуться к диктатуре наследника. И если дух революции окаменел в образе одного-единственного человека, то после разрушения этого идола из его осколков может возникнуть новая структура. На смену сыну революции, даже если он и стал тираном, уже не придет монарх Божьей милостью. На смену ему придет демократия.

Теперь император решительнее, чем раньше, обращается с эмигрантами, конфискует их поместья, распускает королевскую гвардию и в конце своей карьеры совершает то, что не сделал в ее начале: отменяет привилегии старой аристократии, за чьи лживые комплименты ему пришлось заплатить столь высокую цену. Этими декретами Наполеон сильнее поднимает революционный дух, чем за одиннадцать лет, прошедших после коронации. Аппарату исполнительной власти император дает следующее объяснение:

— Я вернулся, как из Египта: потому что моей родине плохо... И не хочу больше войн... Нам надлежит забыть, что мы господствовали над миром... Тогда я хотел создать Соединенные Штаты Европы и ради этого откладывал некоторые реформы внутри страны, долженствовавшие

обеспечить свободу ее гражданам. Теперь я хочу только укрепления и спокойствия Франции, защиты собственности, свободного мыслиезъявления, ибо правители — первые слуги государства.

Среди слушателей присутствует много тех, кто еще год назад, в самый накал катастрофы, слышали из его уст: «Государство — это я». Тем не менее они доверяют новой Конституции, которую разрабатывает Констан.

Но когда Конституция готова, все пугаются и тут же слышат из Вены: союзники разгромят Наполеона, но Франция не пострадает. Это сигнал! По стране пошли разговоры: двадцать лет мы искали мира, наконец-то нашли — и теперь он опять кончится? Народ не хочет больше идти в армию, его призыву следуют всего 60 000 вместо ожидаемых 250 000.

Приговор властителей Европы подрывает власть императора. Поначалу Франция была за него. Но если державы-союзицы против, то Франция больше не желает приносить ему жертвы. Рента, подскочившая вверх по прибытии Наполеона, вновь падает.

Теперь император пугается по-настоящему. Один из приближенных, которого он спрашивает, как идет набор в армию, отвечает: «Ваше Величество не останется в одиночестве». И Наполеон тихо произносит, как бы про себя: «Я уже почти боюсь этого».

Император стал менее подвижен, заметно растолстел, черты лица расплылись, он подолгу принимает горячие ванны и много спит. «Он выглядит озабоченным, из его речи исчезли уверенность в своей непогрешимости и авторитарный тон».

Всего четыре недели назад, появившись во Франции, Наполеон казался помолодевшим и оживленным. Чем же вызван этот спад?

Во-первых, разочарованием в жене. К нему в руки попадает некое полуанонимное письмо из Вены, адресованное Лавалету и подтверждающее презрительное отношение Марии Луизы к императору и ее любовную связь с молодым австрийцем. Императора видят молча сидящим у камина в скудно освещенном кабинете с этим письмом в руках. В письме содержатся постыдные подробности.

И когда Меневаль возвращается из Вены, куда сопровождал императрицу, он находит императора лежащим на диване и предающимся мечтам. В такое ответственное время! Меневалю приходится тут же много часов кряду и половину следующего дня подробно рассказывать тому все, что он там видел. Речь императора «была овеяна тихой грустью и так печальна, что тронула меня до глубины души. Он больше не был исполнен прежней уверенности в победе и, казалось, утратил веру в свою счастливую звезду, воодушевлявшую его на пути в Париж». Наполеон заставил Меневалья поведать ему мельчайшие подробности о сыне. Вот император, стареющий и одинокий, бродит взад-вперед по парку, освещенному майским солнцем, и слушает, как посторонний человек рассказывает ему, на кого становится похож его ребенок — на отца или деда.

Все это омрачает душу. Вновь все в ней трагически переплетается. Теперь, когда он хочет стать демократом, потому что этого требует дух времени, и исполнен желания дать народу Франции мир и свободу, извне создаются непреодолимые преграды тому и другому. Если бы в Европе никто не помышлял вновь вернуть короля Людовика на престол, то Наполеон, вероятно, стал бы в старых границах Франции править с соблюдением всех обещанных свобод.

Никогда еще Наполеону так решительно не навязывали войну. И никогда так не нужны были ему быстрота и четкость диктатуры. Именно теперь свобода, которую он провозгласил своим главным принципом, мешала ему как никогда. На этом пути назад, к свободе, Наполеона ждет гибель.

Так великое обновление разбивается о нерешительные меры. Принять «Дополнительный акт» к Конституции, как некогда свои великие декреты, император предоставляет «суверенному народу» путем плебисцита.

Несмотря на это, 67 статей «Дополнительного акта», придуманные Констаном, содержат все новые элементы демократии, кардинально продвигают вперед английское государственное право и остаются образцом для всего столетия: граждане равны перед судом и не могут

быть незаконно посажены в тюрьму или сосланы, вероисповедание и пресса свободны. Законодательное собрание преобразуется в нижнюю палату парламента, Сенат — в верхнюю, но без прежних привилегий, все заседания палат проводятся гласно, обе палаты могут вносить законопроекты и отклонять бюджет, министры подотчетны парламенту, депутаты палат имеют право трактовать законы.

Сплошь новые права! Как удар ножом в сердце диктатора. Однако Наполеон смиряется и вводит после ожесточенных дебатов с Констаном только два пункта: наследственное пэрство, к которому «после двух-трех выигранных сражений» вновь устремится дворянство, и право императора на конфискацию, ибо «без этого права я был бы беззащитен. Ведь я — не ангел, а человек, который не даст безнаказанно нападать на себя».

Оба эти пункта производят плохое впечатление, равно как и само название — «Дополнительный акт», а поскольку Наполеон не терпит никаких обсуждений и полностью доверяется плебисциту, то демократы недовольно ворчат, и никто не замечает, сколько в этом труде их вождя достойного всяческих похвал. Вместо прежних четырех миллионов в плебисците участвовали лишь миллион с четвертью, большинство граждан просто промолчали.

Однако некоторые осмеливаются возражать. К примеру, честный Карно. Он говорит: «Ваш «Дополнительный акт» не понравился народу, народ его не принимает. Обещайте мне, что вы его измените! Я вынужден сказать вам правду, поскольку и ваше, и наше благо зависит от вашей терпимости». Тон вполне приличен, но совершенно нов. Со времени его лейтенантства никто так не говорил с Бонапартом. Он делает недовольное движение, но Карно продолжает: «Это слово пугает вас, Сир, но я повторю, от вашей терпимости к воле нации».

— Но враг у нас на носу, — возражает старый солдат. — Сначала помогите мне его прогнать. Потом я найду время заняться либерализмом.

Это выше сил императора!

Наполеон умеет только приказывать.

XVIII

Солнечным весенним утром толпы парижан блистают рядами, как в дни больших праздников. Все высыпали на Майское поле, где выстроились старые и новые войска, а вокруг трибун развеваются трехцветные знамена. Шестьсот депутатов и несколько сот пэров ожидают императора, который сегодня собирается дать присягу новой Конституции — и опять двинется в поход. Сегодня впервые за последнее время жажда развлечений, присущая парижанам, может утолиться ярким зрелищем, ибо при короле все было смертельно скучно и благочестиво.

Наконец появляется голова процессии, следующей из города, — издали слышны трубы, все ожидают увидеть императора в боевом виде, соответствующем моменту, — ведь через несколько дней он отправится во главе своих войск воевать за трон и страну. В Париже говорили, что Наполеон по-прежнему носит старый зеленый сюртук, и в таком виде он особенно нравится парижанам.

Однако что за зрелище разворачивается перед ними!

За гвардией следуют наполеоновские орлы и знамена, за ними шагают герольды и пажи в ярких и блестящих костюмах, словно на аллегорической картине, и завершает процессию коронационная карета, запряженная восьмеркой лошадей, везущая одинокую фигурку человека, облаченного в белый шелк, уложенный живописными складками, и почти придавленного шляпой с огромным плюмажем и в еще большей степени — широчайшей императорской тогой. И это — император?

Народ, собиравшийся торжественно побрататься со своим вождем, озадаченно глядит на этого цезаря, который словно намеренно душит холодной роскошью народные симпатии. Одиночеством и покинутостью веет от этого сидящего человека, в блеске золота, но без жены и детей медленно проплывающего мимо толпы в своей сказочной карете.

Потом вперед выходит спикер новой палаты и голосом, разносящимся по всему Майскому полю, возглашает: «Доверяя вашим обещаниям, депутаты проявят мудрость при обсуждении новых законов и согласовании их с новой

Конституцией». Это означает: Конституция еще не готова, мы хотим большего, чем этот «Дополнительный акт». Потом спикер желает императору победы.

Императору приходится подавить вспыхнувший было гнев, он приказывает зачитать новые статьи Конституции и приносит им присягу. Затем присягу приносят войска. Но солдаты не узнают своего кумира в этом человеке, стоящем на трибуне. Они хотят видеть старый зеленый сюртук и героя с такой же кокардой, как у них, а вовсе не в золоте и перьях плюмажа. Хор солдатских голосов звучит вяло: «Он был совсем не похож на восторженный рев перед Аустерлицем или Ваграмом. Император наверняка это заметил», — пишет свидетель.

Восемь дней спустя, открывая тронной речью заседание обеих палат, Наполеон избегает всего, что не понравилось народу на Майском поле. Нижняя палата предоставляет в его распоряжение войска для защиты нации, но «даже воля победоносного властелина не имеет права вывести нацию за пределы ее защиты». А император стоит, вынужденный молчать, хотя и дрожит от гнева и желания вышвырнуть их всех за порог. Но все же не может обозвать их лжецами.

Среди новых пэров находится и Люсьен. Он все-таки поспешил в Париж на помощь брату, они помирились без слов, обменявшись лишь взглядом и рукопожатием. Теперь Люсьен впервые в жизни носит титул принца, к нему обращаются «Ваше Императорское Высочество», он повсюду сопровождает императора, произносит речи, даже делает доклады о поэзии в Институте Франции и получает кучу денег. Людовик разболелся и не приехал. Жером, как всегда, любезен и готов на все. Гортензия замещает отсутствующую первую даму империи, ее сыновья вновь приобрели большую важность в глазах человека, лишённого сына: Наполеон выходит на балкон вместе с племянниками, чтобы толпа перед балконом, а с ней и вся Франция, видели, что у императора все же есть наследники. Этим ироническим жестом завершается трагическая история династической одержимости.

Один раз Наполеон съездил с Гортензией в Мальмезон, побыл один в комнате, в которой умерла Жозефина, и молча оттуда вышел.

Завтра император вновь уходит на войну. Он искренне хочет, чтобы она была для него последней. Она и будет последней.

Карно, только теперь посвященный в его план, настоятельно советует подождать, пока слабая армия французов не получит подкреплений, поскольку до конца июля ни русские, ни австрийцы не придут на место, а значит, и англичане с пруссаками не нападут раньше этого срока. За оставшиеся шесть недель император мог бы удвоить свои силы, превратить Францию в военный лагерь и укрепить Париж с той стороны, где он открыт врагу. Но император отрицательно качает головой:

— Все это я знаю. Но мне нужна блистательная победа как можно скорее!

Наполеон знает, что все поставлено на карту — как и то, что если нападёт первым, будет считаться агрессором. И тем не менее этот мастер цифровых выкладок не желает выждать, дабы увеличить свои силы. «Мне нужна блистательная победа как можно скорее» — разве это ход мысли побитого победителя? Может, и так, но наряду с этим капризом цезаря живет в нем и воспоминание генерала: выступить в поход с небольшим войском, подвижным и быстрым, без резервов — на такое Наполеон не решался со времен юности. Его план таков: не дать времени четырем противникам собраться вместе, отрезать друг от друга тех двух, что, вероятно, уже наготове, и отбросить их в разные стороны. Вот что родилось в его мозгу и что он теперь начинает осуществлять под Карлсруэ, отрезая англичан от пруссаков. То же самое совершил некогда никому не известный генерал Бонапарт под Миллезимо, отрезав австрийцев от пьемонтцев. Последняя битва повторяет первую. Судьба.

Но за прошедшие двадцать лет все полководцы Европы усвоили тактику нового мастера ведения войны. А он сам за эти годы истощил свои силы. И быстрота, с какой Наполеон и на этот раз хочет поразить внезапностью, ему самому уже не по силам, а сомнения, как и в последних походах, заглушают присущую императору смелость: взяв с ходу Карлсруэ, он не наступает всеми силами на Блюхера и не гонит его дальше, а посылает Нея с половиной армии на

Брюссель против англичан и только к вечеру с ужасом убеждается, что против него стоит вся прусская армия. Он хочет вернуть Нея и пишет ему: «Судьба Франции в ваших руках». Ней должен немедленно прекратить движение к Брюсселю и окружить противника. Поздно: Ней уже ввязался в бой с Веллингтоном под Катр-Бра и может выделить только один корпус. Этот корпус прибывает на место, где он уже не нужен, а из-за его отсутствия Ней упускает возможность победы над англичанами, которые отбрасывают его назад.

Однако Наполеону удается в этот день с половинными силами добиться победы под Линьи. Это его последняя победа. Блюхер падает с подстреленной лошади и считается погибшим, но Гнейзенау не дает себя запутать, упорядочивает отступление и сообщает своему союзнику Вэйвру место завтрашней встречи. С тем удивительным спокойствием, которое можно объяснить только ранним старением, а главное, болезнью Наполеона, он не двигается с места весь следующий день и слишком поздно посылает 30 000 человек во главе с Груши в погоню за пруссаками. Наполеон полагает, что как вчера он разбил пруссаков, так завтра разобьет отрезанных от них англичан. А для этого хватит тех семидесяти тысяч, какие у него есть. Он не рассчитывает ни на хладнокровие Гнейзенау, ни на напористость Блюхера.

Впервые в жизни император недооценивает противника. Впервые объектив его бинокля не настроен на фокус, и один пункт в его расчетах виден расплывчато. Дело тут не в высокомерии, да и родственные чувства нынче тоже не заставляют его верить командование войском неумелым рукам. Более того, если бы Наполеон не отослал Груши, у противника почти не было бы численного перевеса. И тем не менее ход решающей битвы доказывает, что ошибка в расчетах не была главной причиной поражения.

Основная причина — это возраст.

Боли в животе мешают Наполеону утром в день битвы под Ватерлоо немедленно атаковать противника. Середина июня, солнце поднимается над горизонтом уже в четыре утра, и если пруссаки могут шагать по раскисшим после недавних ливней дорогам, то опытные ветераны-францу-

зы тоже способны на это — а у Наполеона в этот день были самые отборные части. И тем не менее император ждет до полудня, чтобы лучше установить пушки на подсохшей почве. Под Йеной, в октябре, он стоял в густом предрассветном тумане перед строем своих войск, воодушевлял их словами, первым бросался вперед и будил противника, не успевшего очнуться от сна. А теперь он ждет до полудня.

Эти упущенные полдня приведут к гибели. Наполеон скачет к высоте с фатальным названием Бель-Альянс (прекрасный союз), ставит свои войска в три эшелона боевого порядка, скачет вдоль фронта, возбуждая боевой дух своими звенящими металлом призывами: император хочет пробиться сквозь боевые порядки противника и двинуться на Брюссель, воззвание к бельгийцам уже лежит у него в кармане. Только полдня он упустил.

В разгар сражения, ближе к вечеру, приходит сообщение: корпус Бюлова на подходе! Император бледнеет, рассказывают очевидцы, потом посылает приказ Груши: назад! Дойдет ли этот приказ до него? А если и дойдет — выпустит ли его противник? Все решится в течение часа: англичане должны быть разбиты раньше, чем подойдут пруссаки. Наполеон бросает на прорыв всю кавалерию. Англичане выдерживают эту атаку. Бросить туда же старую гвардию? Ни за что! Бюлов уже начинает пальбу. Любой ценой обеспечить пути для отступления: если не удастся, это катастрофа. Английские части уже наполовину перебиты, пять часов вечера, теперь, пожалуй, можно было бы пробиться назад со старой гвардией, ибо именно в это время Веллингтон посылает гонца к пруссакам: «Если ваш корпус задержится на марше и не ввяжется с ходу в бой, битва будет проиграна!» Тут был момент для броска старой гвардии — но в критический час императора вновь удерживает осторожность. И вдруг он видит, что в бой ввязывается второй прусский корпус.

Ужасно трудно принять решение! У него настроение гениального игрока, рискующего последними фигурами. А ведь именно сегодня он не может себе позволить пора-

жения! Только в семь часов Наполеон наконец бросает в бой последние пять тысяч гвардейцев-ветеранов. Но теперь это уже просто акт отчаяния. «Да здравствует император!»

Этот клич потрясал половину Европы. За одно десятилетие он приобрел силу легенды и пронесся над целым континентом как магическое заклинание. Однако все преходяще в этом мире, и после захода солнца этот клич потеряет свою магическую силу. Завтра его уже не слышно.

Второй прусский корпус в упор расстреливает гвардию ветеранов, она подается назад, и когда численное превосходство нарастает, в восемь часов появляется третий корпус, и сто двадцать тысяч союзных войск стремительно теснят вдвое меньшую армию французов. Сломленная, она обращается в бегство, и Бонапарт впервые видит свою армию бегущей с поля боя. Весь последний час он простоял открыто под огнем англичан, теперь император уходит под защиту двух последних замкнутых каре, а когда и они разбегаются, он скачет галопом прямо по полю, не разбирая дороги, под прикрытием лишь нескольких конных гренадеров. Ему приходится терпеть физическую боль, до пяти утра оставаясь в седле, пока наконец они не находят какую-то старую повозку, и он может немного отдохнуть.

В отчаянии ли он?

Отнюдь! Что говорит Париж? Эта единственная мысль гонит его вперед, Наполеон даже не обдумывает, как в прошлом году, возможность собрать гвардейцев в Лаоне или Суассоне или же укрыться в крепости, он думает только о Париже, источнике новых сил, он рассчитывает, что 150 000 можно еще мобилизовать, вместе с национальной гвардией это составит 300 000, с такими силами можно будет остановить противника. «Мужайтесь! Крепитесь!» — добавляет он к последнему приказу, отправляемому в Париж.

Через два дня он вновь входит в Елисейский дворец, в котором поселился перед походом. А не был ли этот поход страшным сном? За девять дней он потерял империю, которую некогда завоевал за девять лет.

XIX

Еще не потерял!

В кабинете министров и в депутатском корпусе мнения разделились. Император совещается с братьями и с министрами, он очень устал, но держится начальственно. Что он предлагает? Действовать рука об руку с палатами? Нет — диктатуру. В этом критическом положении нации Наполеону нужна полная свобода действий — ненадолго. Ему намекают, что палаты ему больше не доверяют. Тут поднимается Люсьен и с юношеским жаром закликает императора немедля распустить палаты, объявить в Париже осадное положение, взять в свои руки всю власть и собрать все войска в единый кулак: только так сегодня еще можно спасти нацию.

Наполеон внимательно слушает. Шестнадцать лет прошло с того ноябрьского дня в Сен-Клу, когда Люсьен предложил то же самое и потом одной-единственной речью спас брата от падения в пропасть и поднял выше, чем сам того хотел. Император соглашается с ним, однако не вскакивает с места, чтобы приступить к действиям, только слушает, как Даву, его военный министр, отказывается предоставить в его распоряжение всех оставшихся под ружьем. Покуда они спорят, приходит сообщение из палаты: она объявила, что будет заседать непрерывно, любую попытку роспуска будет рассматривать как государственную измену и отдаст под суд всякого, кто на это покусится. «Я вижу между нами и миром только одного человека, — бросил в зал с трибуны старик Лафайет. — Пусть он уйдет, тогда и наступит мир!»

Это и есть глас народа? Но в городе царит полное спокойствие. Значит, это всего лишь голос освобожденной демократии. Сенаторы требуют, чтобы император явился перед ними. Почему же он этого не делает? Ведь никто не решится открыто выступить против него. «Мне следовало бы пойти к ним, — скажет он позже, — но я был совершенно без сил. Я мог бы распустить палаты, но на это у меня не хватило духу: ведь я тоже всего лишь человек. Меня пугало воспоминание о 19 брюмера».

Тогда депутаты потребовали, чтобы к ним явились министры. Император запретил. В ответ депутаты заявляют, что они объявят о его смещении, если министры не явятся. Император уступает. По его поручению Люсьен и министры сообщают, что император создал комиссию для переговоров с противником. Но союзники не желают вести с ним переговоры! — вопят депутаты. — Они объявили его вне закона! Он должен отречься! А если не захочет, мы его свергнем!

Пока идет это заседание, Наполеон в сопровождении Констанана взволнованно мечется по парку. Наконец император находит возвышенные слова, соответствующие моменту, его вялость как рукой сняло, он пламенно вещает:

— Речь идет не обо мне, а о Франции! Взвесили ли они последствия моего ухода? Я — центр притяжения для армии! Неужели они полагают, что своими утопиями сумеют побороть всеобщий развал? Если бы меня сбросили в море при высадке, это я бы понял. Но ныне, когда враг стоит в двадцати пяти милях от Парижа, нельзя безнаказанно свергать правительство. Сегодня я — часть того, что атакует враг, то есть часть Франции, которую необходимо защищать. Поступившись мной, она обесчестит себя. Не данная мной свобода пытается отречься от меня, а Ватерлоо и связанный с ним страх. Я хочу впредь быть только командующим войсками, а если какая-то часть войск отступится от меня, я возьму их рабочими, которых легко поднять на мятеж.

В этот момент с улицы донеслось: «Да здравствует император!» Кто же эти люди — последние, встречающие императора ликованием? Это рабочие из Сен-Антуана, о которых он позаботился в трудные времена. Теперь они тут — висят на ограде парка и кричат ему сквозь железные прутья, которыми сын революции отгородился от них точно так же, как делали это короли, — кричат сквозь решетку клетки, в которую он сам себя посадил: «Диктатуру! Национальную гвардию! Да здравствует император!»

— Видите? — обращается он к Констанану. — Этих людей я не осыпал почестями. Они ничем мне не обязаны. Я оставил их прозябать в нищете. Только инстинкт ведет их ко мне, и, если бы я захотел, я бы мог за час распустить

эту мятежную палату... Одного моего слова хватило бы, чтобы расправиться со всеми этими строптивыми депутатами. Но для одного человека такая цена слишком высока. В Париже не должна пролиться кровь!

Это смирение, полный отказ от насилия в последний час, очень похоже на умонастроение Бонапарта в тот первый час шестнадцать лет назад. Но одновременно этот отказ от штыков, с помощью которых Наполеон и сегодня мог бы еще разогнать депутатов, свидетельствует о его понимании духа новой эпохи, требующей большей свободы и меньшего насилия.

Тем временем Люсьен на тайном заседании палаты огласил послание императора. Многие — за переговоры, некоторые мягко говорят об отречении как жертве ради блага нации. А честнейший Карно решается взойти на трибуну, чтобы в дни бедствия выступить в защиту императора, против которого почти в полном одиночестве поднимал голос в его счастливую пору, когда все преклонялись перед ним. Сийес тоже вдруг держит речь в пользу императора и говорит как римлянин: «Наполеон проиграл битву... Поможем же ему выгнать варваров из страны, только он один еще может это сделать. А если он потом захочет стать деспотом, мы его вздернем. Но сегодня мы должны идти с ним в ногу».

Тут на трибуну вновь взбирается Лафайет: «Вы что — забыли, где гниют кости наших братьев и сыновей? В Африке, на реке Тахо в Испании, на Висле и во льдах России: два миллиона погибли по воле одного человека, пожелавшего поставить на колени всю Европу! Хватит!»

Заседание длится до трех часов утра. Решение: императору отречься.

Тот медлит. Утром он нервно ходит из угла в угол по кабинету, насмешливо отзывается об «этих якобинцах», предсказывает новую Директорию. Но тут по поручению палаты появляется комендант дворца и, заикаясь от страха, выдавливая: палата объявит императора вне закона, если он не отречется от престола. Савари и Коленкур присоединяются к общему хору приближенных: все настаивают на отречении, даже Люсьен отказался от дальнейшей борьбы. Император говорит:

— Я приучил вас к великим победам, теперь вы не мо-

жете и дня прожить в беде. Что же будет с Францией... — И тихо добавляет: — Я сделал все, что мог.

После этого эпилога из пяти слов, в которых выражено все, Наполеон диктует обращение к народу: он приносит себя в жертву, его политическая карьера окончена, он провозглашает своего сына Наполеоном II, палаты должны ввести регентство. Кому он диктует эти слова? У кого из близких не дрогнет рука, предавая бумаге эти слова?

Под его диктовку пишет Люсьен, его брат, много лет живший на вражеском берегу, не спускавший ревнивого взора с этого города и с этого трона. Будь Люсьен в меньшей степени поэтом, он бы давно сплотил вокруг себя недовольных и теперь мог бы выйти вперед — хоть и не в роли второго Наполеона, но в роли второго Бонапарта, а это тоже кое-что значило. Теперь он сидит тут, ему и самому уже сорок, и жизнь его, жаждавшая бури и блеска, тихо протекает в безопасной роли эстета и мецената, только в течение месяца пребывавшего в роли Его Высочества. Со скрытой в глубине души улыбкой пишет Люсьен отречение своего великого брата.

Ибо на самом деле все повторяется. Вновь, как тогда, в самом начале, с противной стороны доносится: «Объявить вне закона!» Вновь на сцену выходят пять директоров — как две капли воды похожие на тех, которых Бонапарт скинул, но называющие себя временным правительством.

Но палата стала снисходительнее. Те, что еще вчера хотели убить императора, сегодня посылают к нему депутацию с выражением благодарности. Этим вежливым господам император говорит:

— Боюсь, без главы государство плохо кончит. Пусть Франция не забывает, что я отрекся от престола лишь ради блага народа и ради своего сына. Лишь под властью моей династии Франция останется свободной и счастливой.

Однако в то время, как Наполеон это говорит, Фуше и другие агитируют за потомка герцогов Орлеанских, за представителя рода князей Брауншвейгских, даже за короля Саксонии в качестве преемников Наполеона. Да и тех избирают для управления страной, а не для регентства, в своих указах Фуше говорит только о нации и никогда не упоминает Наполеона II.

Все это император замечает, но молчит. На его глазах медленно умирает недостижимая цель — династия, ради ее воплощения он потратил полжизни. Когда Лавалет заходит к нему вечером, оказывается, что Наполеон уже несколько часов сидит в ванне.

— Куда? — спрашиваете вы. Почему бы не в Америку?

— Потому что туда отправился Моро.

Этот ответ кажется императору излишне патетичным, потому что он всерьез подумывает найти там политическое убежище и просит у правительства предоставить ему для этого фрегат. Но правительство в ответ лишь просит его покинуть Париж, ибо толпы народа окружают Елисейский дворец и требуют диктатуры. Наполеон сжигает бумаги и едет в Мальмезон.

В какой-то задумчивости он проводит в саду Жозефины два полных дня. С ним последние оставшиеся преданными ему люди: мать, Гортензия, Коленкур, Лавалет, Люсьен и Жозеф. Однако когда император спрашивает, кто поедет с ним в изгнание, то получает уклончивые ответы. Мать хочет ехать, но сын боится, что ей это уже не по возрасту. У Лавалета — дочь-подросток и жена в положении, он, вероятно, приедет, но попозже. Друо, последовавший за ним на Эльбу, нужен во Франции. Секретаря, который еще вчера обещал поехать, ослепшая матушка умолила остаться. «Вы правы, оставайтесь с вашей матушкой», — говорит император и отворачивается.

Полина еще перед последним походом уговорила его взять ее бриллианты, теперь и Гортензия предлагает ему бриллиантовое ожерелье: необычный способ возврата императорских даров, столь вяжущийся с его необычайной жизнью. А император опять назначает Гортензии миллион ренты, про которую никто не знает, будут ли ее вообще платить. Люсьен и Эжен получают деньги, маленькому Леону Наполеон дает деньги для его матери — всем по несколько сот тысяч.

И все эти события происходят как-то необычайно тихо, как если бы кто-то пережил сам себя. О последних неделях Наполеон не говорит, только о далеком прошлом и в основном — о Жозефине. «Я обещал министру, что уеду. Этой ночью тронемся в путь. Я устал от самого себя, от Франции и от Парижа. Готовьтесь к отъезду».

Куда? Предположения, размышления. Призрачным кажется и манифест к армии, который он теперь пишет:

«Солдаты! Я с вами, даже если я отсутствую. Я знаю каждый корпус. И я буду восхвалять мужество любого из вас, кто добьется победы в бою... Покажите в будущем, что вы, подчиняясь мне, служили прежде всего отечеству и что вашим симпатиям, которые вы в самом деле хоть немного ко мне питаете, я обязан моей горячей любви к нашей общей матери — родине. Еще один натиск — и коалиция развалится! Наполеон распознает вас по ударам, которые вы нанесете. Спасите честь и свободу французов! Оставайтесь до конца такими, какими вы были в течение двадцати лет, и вы будете непобедимы!»

Правительство припрятало этот документ. Оно могло бы спокойно его опубликовать. Нельзя выразить свои мысли более отрешенно и более возвышенно, чем сделал это человек, пишущий о себе словно о ком-то постороннем. Он производит впечатление отсутствующего.

Внезапно Наполеон вскакивает! Знакомые издавна звуки достигают его ушей: с равнины Сен-Дени доносится канонада, враг уже у ворот города. Офицеры и солдаты, полуборванные, вновь сбивающиеся в группы, приносят ему обрывочные вести. Наполеон сразу как бы просыпается — от музыки, взыгравшей в его душе. Две батареи? Нужно атаковать и разгромить одну, потом другую. Ночью он разрабатывает план обороны Парижа. Утром Наполеон кажется помолодевшим, и он вновь пишет так, как некогда писал пяти директорам молодой генерал Бонапарт:

«Если я встану во главе армии, она при виде меня вновь обретет все свое мужество, бросится на врага и его покарает. Даю слово — как генерал, солдат и гражданин, — что, как только победа будет завоевана, не стану ни часу долее сохранять за собой этот пост. Клянусь, что добьюсь победы — не для себя, а для Франции».

После таких слов не победить невозможно, остается лишь погибнуть при последней атаке. В такой готовности к смерти и написано это великолепное письмо. Теперь Наполеон стоит в парке, окруженный своими последними офицерами, и в волнении ожидает ответа.

Наконец Фуше дождался своего звездного часа: он не удостоивает своего ненавистного патрона письменным ответом. А император, который рвется в бой и впервые с дней юности должен испрашивать чье-то разрешение, буквально вырывает ответ из уст вернувшегося гонца: мол, император заблуждается, считая членов правительства настолько безумными, чтобы согласиться с его предложением. Ему дают один-единственный совет: побыстрее уехать. Император отворачивается, потом роняет: «Мне давно следовало бы его повесить. Теперь я предоставлю позаботиться об этом Бурбонам».

Штатское платье, поспешные сборы, Гортензия зашивает свое ожерелье в черный шелковый пояс. На несколько минут в разговоре всплывают Корсика и Люсьен в должности губернатора острова, глаза матери загораются радостным блеском. Но нет, это невозможно. Остается только Америка. Не хватает фрегата, о котором он просит уже три дня. Все чувствуют, что каждый час промедления угрожает его свободе. Уже известно, что Веллингтон требует его выдачи и что все больше депутатов согласны на это. Лавалет торопит Наполеона, но тот упорствует:

— Я не могу отплыть без приказа правительства капитану фрегата.

— Но почему же, Сир? Прикажите поднять якоря, посулите экипажу денег, а капитана, если откажется, ссадите на берег. Фуше наверняка уже уступил вас союзникам.

— Поезжайте к морскому министру!

Государственный советник едет к Декрэ, тот принимает его, лежа в постели, и вяло выслушивает:

— Поезжайте к Фуше, я ничем не могу вам помочь.

Никого нет на месте. В час ночи советник возвращается в Мальмезон, императора будят, он встает, не прощается с мыслью об Америке, однако колеблется:

— Там, за океаном, мне дадут землю или же я ее куплю. И буду обрабатывать. Я окончу свои дни там, где началось человечество. Я буду жить на доход от моих полей и стад.

— А если вас захотят выдать? — спрашивает секретарь.

— Тогда я уеду в Мексику. Там я найду патриотов и возглавлю их отряды.

— Их вожди могут враждебно отнестись к вам.

— Хорошо. Тогда я их покину и уеду в Каракас, а если мне там не понравится, то переберусь в Буэнос-Айрес или в Калифорнию. Я буду бороздить океан до тех пор, пока не найду прибежище, где буду чувствовать себя в безопасности от людских преследований.

— А если вас схватят англичане, Сир?

— На этот риск я вынужден пойти. Правительство Англии ни на что не годно, но англичане — великая, благородная и великодушная нация. И примет меня достойно. Впрочем, чего вы-то хотите! Неужто я такой болван, чтобы добровольно сдать в плен Веллингтону и потом плестись в конце его триумфального шествия по Лондону, как случилось с королем Иоанном Добрым в XIV веке! Раз на родине во мне не нуждаются, мне придется уехать. Какова моя участь — покажет время.

— Но вы не созданы для роли беглеца, Сир.

— Кого вы называете беглецом! — Он бросает на секретаря «вопрошающий горделивый взгляд».

— Англичане наверняка уже готовы схватить вас. Вам следовало бы подумать о наиболее достойном способе выйти из игры.

— Покончить с собой, как Ганнибал? Предоставим самоубийство слабохарактерным и душевнобольным. Что бы ни ожидало меня в будущем, я никогда не сокращу свою жизнь ни на день!

— Я не это имел в виду, Сир. Вот если бы вы добровольно вверили свою свободу и жизнь врагам Франции, для того чтобы спасти страну, я бы сказал: так поступает Наполеон Великий!

— Все это прекрасно, однако... кому мне сдаваться? Блюхеру? Или Веллингтону? У них на это нет полномочий. Они бы просто бросили меня за решетку и делали бы со мной и с Францией что захотят.

— Может быть, царю.

— Вы не знаете русских! И все же... Я подумаю... Мне не трудно принести себя в жертву. Вопрос в том, будет ли от этого польза Франции.

Перед нами — авантюрист, жаждущий новых путешествий, пристанищ и континентов. Перед нами —

бесстрашный и храбрый, бездомный и гонимый всеми ветрами пират, не имеющий рода-племени, вечный странник по океанам, не знающий иной жизни, кроме жизни на борту корабля. Да, бесстрашный! Ибо разве эта сухая манера, в какой Наполеон вновь отвергает мысль о самоубийстве, эта деловитая реалистичность, эта мгновенная готовность воспользоваться идеей секретаря, эта врожденная отвага островитянина не свидетельствуют о неистощимой жизнестойкости этого человека!

И вот император наконец готов тронуться в путь. В последние минуты он тихо беседует наедине со своей матушкой. Но в комнату вдруг врывается человек в солдатском мундире, и человеком этим оказывается великий Тальма: подвижимый искренним сочувствием и искренней жаждой видеть трагедию, он приехал, чтобы стать свидетелем великого расставания и потом передать потомкам сцену сдержанного прощания матери с сыном в патетических тонах. Но вот император уже просит сесть в его прежнюю карету молодого генерала Гурго, рассеянного идеалиста, за ним садятся Бертран с женой, которые были с ним на Эльбе, и еще двое сопровождающих. Все они направляются в Рошфор — гавань, где стоит на причале фрегат, и едут слишком медленно для бегства, все время с оглядкой, все время прислушиваясь, видимо, ожидая, что в последний момент беглеца все-таки позовут обратно. По пути им встречаются два армейских полка, марширующих на север. Карета останавливается, и, услышав восторженные приветствия солдат, император начинает вести переговоры с генералами: нельзя ли повернуть полки против правительства в Париже. Разговор кончается ничем, карета трогается и после долгой езды наконец достигает Атлантического океана. Жозеф уже тут и торопит императора зафрахтовать бриг, доставляющий в Америку крепкие вина. Император заявляет, что отныне будет носить имя Мюрон.

Однако Господь рассудил мудрее.

Дабы исчерпать до дна его трагическую судьбу, Он уготовил для этой великой жизни эпилог, не достававшийся покуда никому. Он усмиряет авантюрные инстинкты, бу-

шующие в этой душе, и десять дней уходят на расспросы, переговоры, колебания и принятие решения.

Император должен перебраться на маленький остров, для чего нанимают два небольших суденышка — на каждом по мачте, чтобы обмануть англичан. Но император отказывается от этого плана. Два американских судна изъявили готовность. С датским судном ведутся переговоры. К императору приходят восторженные юноши из мореходного училища и просят разрешения тайком вывезти его. Шестнадцать прапорщиков хотят ночью вывезти императора из гавани, все набились в тесную комнатку и с жаром обсуждают этот план с Лас-Казом, новым приближенным императора. После этого человек, ради которого устраивается эта рискованная операция, спокойно спрашивает мнение каждого из участников: большинство склоняется к тому, чтобы он вернулся в армию, поскольку на юге положение еще вполне сносное, но Наполеон живо отклоняет эту идею:

— Я отнюдь не хочу стать причиной гражданской войны. Я вообще больше не хочу заниматься политикой, я хочу покоя, я хочу в Америку!

Однако чувство собственного достоинства удерживает его от переодевания в чужое платье.

На рейде появился английский крейсер с грозным названием «Беллерофонт». Одновременно приходит сообщение, что Бурбон под защитой союзников вновь вернулся в отечество.

Император упустил момент. Теперь он думает: «Возвращение в Париж мне заказано. Гавань блокирована. Неужто дать себя схватить, словно морского разбойника, и отправить в Лондон в кандалах? Англия была моим врагом в течение двадцати лет. После французов англичане — самый большой и самый цивилизованный народ на земле. Разве я не был императором? Разве в античности великодушный поступок противника не вызывал уважения? На Корсике убили бы любого, запятнавшего обычай гостеприимства».

Внезапно Наполеон приказывает одному из приближенных писать под его диктовку. Получается следующее письмо принцу-регенту:

«Ваше Королевское Высочество! Я завершил свою по-

литическую карьеру и надеюсь, как Фемистокл, найти прибежище в стране британского народа. Я отдаю себя под защиту Ваших законов и прошу Ваше Королевское Высочество как самого могущественного, стабильного и великодушного из моих противников оказать мне эту защиту. Наполеон».

Восемь строк, почтительное обращение, ни намек на высокомерие или униженность, почти изысканный стиль. Но среди прочих слов есть одно-единственное, впитавшее в себя весь пафос этого шага и предполагающее моральную гарантию того, что в этом веке и после такой жизни он будет благосклонно принят врагами, как некогда Фемистокл персами. Последний шаг в его карьере, как и некогда его первый шаг — по отношению к Паоли, — продиктован историческим самосознанием Наполеона. Оно его и погубит.

На следующий день Лас-Каз, вручающий это письмо капитану «Беллерофонта» для передачи по назначению, ведет с ним переговоры. Капитан, будучи военным и к тому же доверчивым, как все англичане, может быть, и воспринимал величие противника как залог его безопасности. Но вышестоящий адмирал никаких переговоров не вел, давно уже получив приказ захватить беглеца. С точки зрения международного права это было вполне допустимо, так как Англия тоже подписала в Вене документ, объявляющий императора вне закона. Однако капитан, как хозяин корабля, бесспорно гарантировал свободу своему гостю, сказав: «Наполеона примут в Англии с должным уважением. Люди у нас великодушны и демократичны».

Тем не менее этот всемирно-исторический шаг — властитель Европы добровольно отправляется на борт вражеского корабля — не был документально оформлен. А ведь дело это заняло не часы, а дни и вовсе не было похоже на поспешный шаг отчаяния и скорее представляло собой логическое завершение даже слишком долгого хода мысли. Неоднократно испытывший за двадцать лет шаткую ценность слова и чуть большую надежность договоров, Наполеон предпринял этот шаг без всякого письменного подтверждения за подписью и печатью — он явно просто не мог дожидаться ответа из Лондона. И доверил-

ся он не столько легковесному слову какого-то капитана, сколько моральному воздействию своего поступка, ибо, прежде чем взойти по трапу на корабль, он написал вышшему лицу этой страны и тем самым начальнику капитана вышеприведенные героические строки.

Потом Наполеон, надев свой мундир, поднялся на борт британского корабля.

XX

На палубе стоит капитан. Наполеон снимает шляпу, которую не всегда снимал перед князьями и королями, и громко повторяет слова, разносящиеся по воздуху между небом и водой:

— Я пришел, чтобы отдать себя под защиту вашего короля и ваших законов.

Ему представляют всех офицеров корабля, он спрашивает их о битвах, в которых они участвовали. Капитан, очевидно, не понимающий разницу между словами «сир» и «сэр», называет его просто «сэром». Наполеон сносит все это с достоинством. Со свойственным ему неподражаемым спокойствием он заводит разговор о матросах, заявляет, что английские моряки опрятнее и добросовестнее всех прочих, оспаривает справедливость некоторых наказаний на флоте. Потом начинает обобщать:

— Собственно говоря, я не понимаю, почему ваши корабли так легко победили французский флот, ведь ваши лучшие корабли раньше были нашими. Французский корабль в любом отношении солиднее, чем английский того же типа, на нем больше пушек, и пушки эти более крупного калибра, да и команда его превосходит английскую по численности.

— Но я уже объяснял вам это, сэр. Наши моряки превосходят ваших опытностью.

У Наполеона не дрогнул ни один мускул. Разговор остается чисто академическим, они беседуют об искусстве мореплавания в своих странах.

— Если бы вы попытались сбежать на фрегатах, — говорит капитан, — вы бы увидели, как метко мы стреляем.

Ни слова против, никакого протеста: этот игрок уже закончил игру. Потом Наполеон осматривает визиры, что-то хвалит, что-то критикует. Позже капитан скажет своим офицерам, что он поражен компетентностью императора.

Корабль выходит в открытое море.

Между тем министры и короли совещаются. В этом кругу нет никого, кто порекомендовал бы сделать широкий жест перед историей и перед Европой. Через десять дней после отплытия «Беллерофонт» бросает якорь в Плимуте. В это июльское утро в гавани качаются на волнах тысячи мелких суденышек, все хотят посмотреть на плененного льва. Поскольку из Лондона еще не поступило никакого решения, на корабль никого не допускают. У матросов сегодня великий день: только они могут постоянно видеть великого человека, он и с ними разговаривает, если они владеют французским. А вокруг роятся тысячи людей, которые последние двадцать лет слышали в его адрес только проклятия и насмешки и видели бесчисленные изображения страшного чудовища. Теперь их всех тянет сюда любопытство: ну как не поглядеть на этого изверга!

Наполеон безвыходно сидит в каюте, он не хочет выставлять себя на всеобщее обозрение. Да ведь это и не может длиться долго, корабль скоро опять выйдет в море, и он будет свободен. Но в конце концов Наполеон не выдерживает, хочется подышать свежим воздухом, он поднимается по лесенке и выходит на мостик. Вот стоит император, великий низверженный враг в старом, всемирно известном мундире — он совершенно беззащитен. Тысячи взглядов вмиг устремляются в одну точку, кажется, он вот-вот задымится от огня этих глаз.

Однако от человека со строгим, непроницаемым лицом, стоящего здесь как у позорного столба, очевидно, исходит обаяние достоинства и страдания, ибо тут происходит нечто из ряда вон выходящее: тысячи людей, заполнивших гавань, обнажают головы, на всех кораблях и лодках, насколько хватает глаз, только обнаженные головы. Он ничуть не удивлен. Все его приветствуют, и только он один остается в своей неизменной треуголке: так было всегда, и ему уже кажется, что эта нация хочет вернуть ему почет, в котором отказал капитан судна.

Таков был приговор английского народа, в эти мгновения Наполеон освободился от всех обвинений, которые вскоре повалятся на него. Три дня длится ожидание. На четвертый день в каюту императора входят британские офицеры и вручают ему послание — однако не от принца-регента, а от правительства Англии:

Не желая предоставлять генералу Бонапарту средства и возможности для нового нарушения мира, необходимо ограничить его личную свободу. Поэтому он будет отправлен на остров Святой Елены, где его ожидает здоровый климат и полная изоляция. Ему разрешается взять с собой трех офицеров, одного врача и двенадцать слуг.

Наполеон, как сообщают документы, «положил бумагу на стол и после паузы начал энергично протестовать»:

— Есть ли на борту этого корабля судебная инстанция? Я отнюдь не военнопленный! Я явился сюда добровольно, чтобы отдать себя под вашу защиту и воззвать к вашему гостеприимству. Трехцветный флаг еще развевался над Рошфором и Бордо. Я мог бы пойти в армию или годами скрываться в гуще народа, который был мне предан.

Вместо этого я прибыл в эту страну как частное лицо. Я спросил у капитана одного из ваших военных кораблей, согласен ли он доставить меня и сопровождающих меня лиц в Англию. Он утверждал, что имеет на этот счет прямое приказание своего правительства. Если это была ловушка, то ваше правительство поступило бесчестно и запятнало ваш флаг... На острове Святой Елены я умру через три месяца. Я привык ежедневно по тридцать миль проезжать в седле. Что мне делать на этой крохотной скале на краю света! Я не хочу!.. Ежели ваше правительство вознамерилось меня убить, пусть сделает это здесь... Я дал вашему принцу-регенту шанс выставить ваше правительство в самом выгодном свете. Я был величайшим врагом его страны и оказываю вам величайшую честь, добровольно прибегая к вашей защите... То, что вы сейчас делаете, ляжет вечным позором на всю британскую нацию!

Самым важным в этом протесте, который Наполеон потом почти дословно воспроизведет в письменном виде, является его благородный гнев. Международного права он лишь едва касается, а на праве героя настаивает. Слова, ска-

занные в первые минуты в тесной каюте перед смущенными офицерами, записавшими их потом, тем не менее полны ощущения исторической значимости момента, некоторые фразы сформулированы как бы специально для потомков. Его душа ранена и опечалена не столько лишением свободы, сколько непризнанием его величия.

После той первой вспышки гнева это сердце с несокрушимостью скалы выносит постигшую его несправедливость, еще десять дней терпит позор в Плимуте и спокойно смотрит на то, как Англия отбирает у него все вещи и деньги, какие удастся найти.

Наконец раздается лязг железа, гремят якорные цепи, в сопровождении двух фрегатов «Нортумберленд», на который перевезли Наполеона и его спутников, медленно выплывает из гавани. Берег исчезает из вида. Тихо появляется в тумане этого августовского утра силуэт французского берега, Наполеон знает его очертания, только ему нет до него дела. Там, восточнее, в глубине страны, которая всегда была ему ближе, чем море, расположен Париж, которого он добивался более горячо, чем господства над миром, Париж, который его отверг.

Вечером исчезают берега Европы, которой он владел. Темнеет вокруг неоглядное море, которым ему так и не удалось овладеть. Всю ночь император стоит на носу корабля, не глядя ни назад, ни вперед. Как во время плавания в Египет, он смотрит на звезды. Он ищет свою звезду.

Великая легенда близится к концу.

Книга V

СКАЛА

*Страшный суд настал, и у Божьего трона
Узрели героя Наполеона.
Дьявол все его грехи перечислил
И все злодеянья, что он замыслил.
Тогда Бог-Сын или Бог-Отец
С престола Господня изрек наконец:
«Не оскорбляй божественный слух!
Как немецкий профессор, ты глуп и глух.
А если желаешь с ним по квитаться,
То можешь с ним вместе в ад отправляться».*

ГЕТЕ

I

Человек стоит на скале, заложив руки за спину и неподвижным взором вглядывается в морскую гладь. Он очень одинок.

Кто наблюдал за ним издалека, видел толстого коротконого мужчину в шелковых чулках, на зеленом мундире — звезда Почетного легиона, которую он почти никогда не снимает, в руках — треуголка. Голова у него крупная, довольно плоской формы, коричневатые волосы на затылке взъерошены. На сильных плечах — короткая шея. Лицо желтоватое, как на потемневших от времени мраморных античных статуях, черты лица кажутся окаменевшими, ни единой морщинки, однако слишком выдающийся вперед подбородок нарушает некогда классическую линию профиля. Красивые в обычном смысле этого слова у него только нос, зубы и руки. Последние он так берег, что даже когда правил надиктованные им приказы и письма, то делал это только карандашом, чтобы не испачкаться чернилами.

Врачи кое-что знают о нем: пульс не бывает больше 62 ударов, толстая, почти женская грудь, слегка поросшая волосами, *partes viriles exiguitates insignis sicut pueri* (обращают на себя внимание малые, как у мальчика, размеры половых органов).

Сам Наполеон тоже изучал свой организм, чтобы и здесь правильно расходовать силы:

«Я никогда не слышал, как бьется мое сердце, словно его у меня и нет», — сказал император, лишь наполовину про-

нично. Работоспособность Наполеон сохранил благодаря умеренности. «Природа наградила меня двумя ценными дарами: способностью спать в любое время суток и неспособностью к излишествам в еде и питье... Как ни мало люди едят, все же они едят слишком много. От обжорства можно заболеть, а от недоедания — никогда». Чередование военных походов и кабинетной работы, которыми была наполнена вся его жизнь, дало Наполеону возможность часто менять комнатный воздух на свежий загородный во время поездок верхом и в карете. «Вода, воздух и чистота — вот главные лечебные средства моей аптеки».

При таком закаленном организме Наполеон был в состоянии проехать сто часов в карете от Тильзита до Дрездена без единой остановки и прибыть на место совершенно свежим, а также верхом проехать из Вены в Земмеринг, там позавтракать, а вечером продолжить работу в Шенбрунне. Мог он и проскакать галопом из Валлидолида в Бургос 35 испанских миль за пять часов. После огромных переходов пешком и в седле по Польше Наполеон в полночь прибыл в Варшаву, а в семь утра уже принимал представителей новой власти. Если ему приходилось подолгу вести сидячий образ жизни, то потом он вскакивал в седло и проезжал полсотни миль или охотился целый день. После большого напряжения сутки не выходил из комнаты. Наполеон был убежден, что именно благодаря своей энергии спас себе жизнь: «Смерть — иногда всего лишь нехватка энергии, — говорил он Меттерниху. — Вчера, когда я вылетел из кареты и сильно расшибся, то подумал уже, что это конец. Но все же успел самому себе сказать, что умирать не хочу. Любой умер бы на моем месте».

Насколько сильны мышцы Наполеона, настолько слабы его нервы. Привыкший приказывать, он не выносил ничего, хотя бы отдаленно напоминающего принуждение. Мундиры и башмаки, которые были ему чуть тесны, он сбрасывал и швырял в лицо слугам, а когда приходилось одеваться для парадных выходов, слуги ловили поданный им знак, чтобы тотчас одеть императора. Погруженный в свои мысли, Наполеон отталкивал завтрак, переворачивал вверх ногами стул и сновал по комнате, отдавая распоряжения. Его почерк — это ряд энергичных сокращений

мышц руки, не успевающей за мыслью, своего рода невольная стенография, в которой некоторые места и после ста лет изучения остались нерасшифрованными. Свежей краски и обойного клея Наполеон не выносил и вообще всегда прибегал к одеколону для защиты от дурных запахов. При полном нервном истощении он лечился горячими ваннами. В начале войны с Англией он работал три дня и три ночи с четырьмя секретарями, потом шесть часов кряду проводил в горячей ванне, диктуя при этом депеши. Эту нервозность Наполеон считал противовесом медленному кровообращению, полагая, что «при таком состоянии нервной системы мне угрожало бы умопомешательство, если бы моя кровь не текла так медленно по жилам».

Утверждения, что у Наполеона бывали судороги и он страдал эпилепсией, абсолютно бездоказательны. Против этого свидетельствуют его однокашники, утверждающие, что он ничем не болел, а ведь такие болезни сначала проявляются в детстве. Противоречит этому и скудость медицинских документов, которых должно было бы быть множество при жизни, протекавшей на виду у всех, но еще больше — недостоверность некоторых свидетельств и, наконец, их расплывчатость.

Покуда организм Наполеона оставался здоровым, он мог выносить все потрясения и перегрузки. Ближе к сорока Наполеон почувствовал первые признаки одной из желудочных болезней, которые в те времена суммарно именовали раком. Болезнь, очевидно, была наследственной, и острые желудочные колики выводили императора из строя в решающие часы последних трех лет войны. Не было бы этих приступов, его вряд ли покинули бы обычные мужество и решительность, и история заката Наполеона была бы другой.

II

Душа, владевшая этим телом, приводилась в движение тремя основными силами: уверенностью в себе, энергией и фантазией.

«Я не такой человек, как другие, законы морали и услов-

ности не могут применяться ко мне». Этими холодными словами Наполеон подтверждает великое «Я», которым начиналось его первое политическое послание. «Я один благодаря своему положению знаю, что такое управление государством, — сказал Бонапарт, став молодым Консулом. — Я преисполнен этим, кроме меня никто не мог бы в этот момент управлять Францией. Умри я — это было бы большим несчастьем для нации». Когда во время поражения на просторах России Наполеона спросили, кто бы стал его защищать во Франции, он ответил: «Мое имя».

Современники и потомки ошибочно называли это движущее им чувство тщеславием. В действительности же обычное тщеславие отличается от наполеоновской уверенности в себе, как суетливый ползающий зверек от хищной птицы, чей свободный полет по законам природы ввинчивается кругами на все большую высоту. Стремление вверх у Наполеона не суетливо и не завистливо: это его сущность, которую он сам в бытность Консулом очень хорошо объяснил близкому другу Редереру:

— Я начисто лишен тщеславия, а если оно во мне и есть, то настолько врожденное и так связано с самим фактом моего существования, как кровь, текущая по моим жилам. Оно не толкает меня двигаться вперед быстрее других людей... Мне никогда не приходилось бороться с ним или за него, оно никогда не забегало вперед, а всегда шло в ногу с обстоятельствами и с моими идеями.

Став генералом, он уже знал, что является именно тем человеком, который сможет поднять с колен Францию. Именно ощущение избранности стоит за словами, сказанными им тому же Редереру: «Теперь дела обстоят иначе. Я принадлежу к тем, кто основывает государства, а не к тем, кто дает им погибнуть». В другой раз, говоря о Корнеле, Наполеон, конечно, имеет в виду себя: «Откуда у него это античное величие? Из него самого, из его души... Это гениальность. А гениальность, знаете ли, это такое пламя, которое падает с неба, но редко попадает на голову, готовую его принять... Это был человек, который знал мир». И когда собеседник возражает: мол, поэт вовсе не видел мир, как же он мог его знать, император презрительно цедит: «Именно поэтому я и утверждаю, что он — великий человек!»

Интерес Наполеон называет ключом к обычным действиям, а волю к властвованию над умами — сильнейшей из всех страстей: «Да, я люблю власть, но я люблю ее как человек искусства: как музыкант любит свою скрипку, дабы извлекать из нее звуки, аккорды и благозвучия».

Уверенность в себе придает Наполеону то естественное достоинство, которое так удивляло и раздражало именно законных правителей, полагающих, что достоинство передается по наследству и прививается воспитанием. Сопратники говорят о нем с естественным уважением: «Когда он говорит, все его слушают, потому что он говорит со знанием дела. Когда он молчит, то все уважают его молчание, и никто не отважится его нарушить, — не потому, что боится испортить ему настроение, а лишь потому, что чувствует: между ним и нами живет какая-то важная мысль, которая его занимает и исключает панибратскую близость». Это тем более удивительно, что на первых порах речь идет о жизни в полевых лагерях и на биваках, которая как бы снижает внешние дистанции. При полной естественности, с какой Наполеон играл и болтал в Мальмезоне с друзьями и дамами, он тем не менее мог вдруг сказать: «У меня нет чувства юмора. Власть никогда не бывает смешной».

«Доброта короля, — поучал Наполеон своего брата Людовика, короля Голландии, — должна быть королевской, а не монашеской... Любовь, которую внушают к себе короли, должна быть мужским чувством, включающим в себя почтительность, страх и уважение. Если о короле говорят, что он добрый малый, значит, он никудышный правитель».

Однако чувство собственного достоинства, отдаляющее Наполеона от людей, вовсе не есть нечто искусственное, ибо соседствует с потрясающей естественностью, которая с годами и успехами только растет, вместо того чтобы застыть и окаменеть. Естественный цинизм, иными словами — непосредственность его натуры, проявляется в сотне жестов и слов, в той живости, с какой он то и дело пародировал собственный пафос. Наполеон дает глубокую характеристику этой своей особенности: «Человек, по-настоящему великий, прежде всего поставит себя выше событий, им же самим вызванных». О своих величайших победах, которые Наполеон понимал только как волю Судьбы, он часто рас-

сказывал близкими, даваясь от смеха, словно школьник. Очевидцы свидетельствуют: император владел всеми нюансами смеха — от грубого солдатского хохота до утонченного движения губ.

Непосредственно перед коронацией: «Неплохой результат: теперь короли будут вынуждены называть меня братом!» Или другой случай: Наполеон посылает свое доверенное лицо в Петербург: «Наш брат, царь России, любит роскошь и празднества. Так что устройте ему празднества на его деньги». Его непосредственность нарушает этикет, законные короли бледнеют. «Когда я еще был никому неизвестным лейтенантом...» — начинает он за столом королей в Дрездене. Общая растерянность, все опускают глаза в тарелки, а он как ни в чем не бывало откашливается: «Так вот, когда я имел честь служить лейтенантом во втором артиллерийском полку в Валансе...» Или: Наполеону сидит с русским царем за столом в Тильзите, и поскольку всегда хочет узнать что-то новое, то просто спрашивает у царя: «Сколько вам приносит в год налог на сахар?» Письма придворных сообщают, что этот вопрос поверг всех в величайшее смущение. Почему? А потому, что император, как деловой человек, называет деньги деньгами, а короли любят их получать, но никогда не станут о них говорить.

Поскольку Наполеон не тщеславен, чувство собственного достоинства позволяет ему в любой момент признаться в своей ошибке. Во все периоды его жизни близкие слышали от него, что завтрашнюю битву он может проиграть, в любых положениях он интересовался мнением приближенных или специалистов. Наполеон стойко выносил сказанную в лицо правду, об этом пишет Мармон, а ему можно верить, потому что Мармон писал свои мемуары очень долго и после того, как император публично заклеил его как предателя. Мармон пишет: «Наполеон имел обостренное чувство справедливости, и, если жалоба была обоснованна, он легко прощал неуместное слово или излишнюю горячность — естественно, наедине. Кроме того, выполнял чужие желания не в качестве платы за былые услуги. Он сочувствовал человеческим слабостям и не мог вынести вида глубокого горя. Если правильно выбрать место и время, ему можно было высказать все. Он никогда не отказы-

вался выслушать правду, и хотя иногда это оставалось втуне, но и опасным тоже не было».

Льстецов Наполеон видел насквозь и не устаивал их вниманием, широкие жесты, лишённые политической значимости, приводили его в бешенство: «Как вы можете изображать французского орла, терзающего английского леопарда, в то время как я опасаясь послать в море даже рыбацкую лодку! Прикажите немедленно уничтожить эту медаль и больше никогда не предлагайте мне ничего подобного!»

Наполеону импонируют те, кто бесстрашно говорит ему правду. Он хвалит Шатобриана, нападавшего на него, и в бытность Консулом после заседания Государственного совета приглашает к обеду того, кто энергичнее других с ним спорил. Пленного русского генерала, сказавшего ему правду о пожаре Москвы, император поначалу в гневе выгоняет из комнаты, но потом посылает за ним и пожимает ему руку: «Вы храбрый человек!»

Мадам де Сталь, рупор свободных голосов Европы, раздражала Наполеона в течение 15 лет. Император конфисковывал ее книги, потом выслал из Парижа, преследовал, даже находясь в России, называл опасными дрожжами, вызывающими брожение, но при этом оказывал ей большую честь, боясь ее, в чем открыто признавался во многих письмах.

Когда Наполеон нашел в баварских списках старого однопольчанина, завязанного роялиста, то назначил его своим военным атташе. Они не виделись 14 лет, и теперь, встретившись в полевых условиях, император вместе с ним отрывается от свиты, спешивается и садится на камень. Тот хочет поддержать под уздцы его лошадь: «Оставьте, не ваше это дело», и егерь отводит лошадь в сторону. А император заявляет: «В Безансоне вы тогда, сидя за лейтенантским столом, швырнули салфетку на стол и крикнули: «Не желаю сидеть рядом с офицером — членом якобинского клуба!» Дело прошлое, нынче пора его уладить». Потом жестом подзывает приближенных: «Вот, познакомьтесь! Могучий интеллект Старой Школы! Мы с ним вместе решали уравнения». И тут же другим, деловым тоном: «Много ли у вас боеприпасов? В каком состоянии артиллерия? Когда будете готовы?»

Вероятно, единственную в жизни Наполеона сцену устроил ему веймарский канцлер фон Мюллер в 1813 году в Эрфурте. Из-за ареста двух тайных советников, чьи зашифрованные письма были перехвачены на сторожевом посту, Мюллер явился к нему, выдержал вспышку гнева императора, который кричал, что сожжет Йену, а этих двоих велит расстрелять, а потом сам взорвался: «Нет, Сир, вы не совершите таких мерзостей! Вы не омрачите навеки свою славу и не прольете невинной крови!» В волнении немец так близко подошел к императору, что тот, чувствуя угрозу, положил руку на эфес шпаги, а спутник Мюллера оттащил того назад. Пауза. «Вы очень смелы. Я вижу, что вы — настоящий друг. Бертье еще раз займется этим делом». Тайные советники были помилованы.

Эта сцена, высвечивающая обоих участников в самом благоприятном свете, показывает, как и все вышеописанные, что Наполеону присуще чувство собственного достоинства, выдерживающее все в силу своей неуязвимости.

— Если французский народ ждет от меня каких-то выгод, — говорил он в бытность Консулом, — то ему придется смириться с тем, что у меня есть свои слабости, и главная из них — я не терплю оскорблений.

Именно Наполеону принадлежит прекрасная фраза: «Я — человек, которого можно убить, но нельзя оскорбить». Бурьен рассказывает, что уже в самом начале карьеры Бонапарт ни во что не ставил закон и мораль и выше всего почитал честь. Этого самого Бурьена, близкого друга и тайного секретаря, Наполеон, будучи Консулом, немедленно удаляет от себя, как только узнает, что тот впутался в какую-то темную денежную аферу, и даже спустя много лет отказывается принять его в Почетный легион, ибо «кто чтит золотого тельца, тому нужны деньги, а не честь». И когда Жером, уже будучи королем, доводит дело до того, что его векселя опротестовывают, Наполеон пишет ему: «Продайте бриллианты, столовое серебро и сервизы, мебель и лошадей, но заплатите долги! Честь превыше всего!»

Наполеон до такой степени раним в вопросе чести, что после коронации приглашает к себе нотариуса, отговаривавшего Жозефину выходить замуж за человека сомнитель-

ной репутации, чтобы как бы реабилитировать себя перед ним. А на острове Святой Елены император все еще вспоминает своего учителя немецкого языка в Бриенне, который его всегда третировал: «Хотелось бы знать, дожил ли господин Бауэр до моего триумфа».

«Безнравственность — самое отвратительное качество властителя, ибо благодаря ему она становится модной и отравляет общество». В Наполеоне говорит не только неприятие дурного примера Бурбонов и Директории, это — врожденная порядочность, которую требует его чувство собственного достоинства. Никто из современников не вспоминает, что Наполеон когда-нибудь рассказал или с удовольствием выслушал непристойность. Жозефине он запретил приглашать светских приятельниц, и когда, она спустя много лет все же принимает у себя Тальен, император сердито отчитывает ее в письме: «Я не приму никаких оправданий. Какой-то бедолага женился на ней с ее восемью бастардами, и я презираю ее теперь еще больше, чем прежде. Она была миленькой кокеткой, теперь она подлая баба».

От Талейрана Наполеон требует, чтобы тот женился на своей многолетней пассии, в противном случае он уволит его в 24 часа. Бертье он присваивает дворянский титул, но ставит ему такое же условие: «Ваша любовная связь длилась слишком долго, она становится смешной. Вам сейчас пятьдесят, но будет и восемьдесят, и эти тридцать лет вы должны прожить в браке». Мифологическую обнаженность статуй времен революции Наполеон отменяет, и, когда хотя в общественном месте соорудить фонтан с наядами, из груди которых льется вода, он велит убрать «этих кормилиц» и накладывает резолюцию: «Наяды были девственницами». Его собственным любовницам тем более возбраняется показываться в его обществе, он дает им много денег, но никогда не содействует их продвижению на сцене театров. Напротив, словно простой обыватель, Наполеон превозносит супружеское ложе, ибо «общая постель оказывает значительное воздействие на совместную жизнь, усиливает влияние мужа, обеспечивает его привязанность к жене, содействует доверительности их отношений и поддерживает добрые традиции: если супруги всю ночь спят вместе, они

никогда не станут чужими друг другу. Пока мы с Жозефиной придерживались этого обычая, ей были известны все мои мысли».

Одним из самых возвышенных вариантов уверенности в себе была его потребность отблагодарить. Речь вовсе не идет об обычной доброте, а скорее о гордости человека, чувствующего себя уникальной личностью и осыпающего ответными дарами каждого, кто отважится оказать ему услугу — дабы ни в коем случае не оказаться у кого-то в долгу. Это и явилось самой глубинной причиной многократно обсуждавшегося политического принципа Наполеона не опираться ни на какие партии, дабы не быть никому и ничем обязанным. Все это вовсе не следует воспринимать в романтическом духе. Точно известно, что Наполеон, получив в руки власть, тянет за собой не только друзей юности, однокашников по военной школе в Бриенне, даже школьному священнику он дает синекуру: место библиотекаря в Мальмезоне, где не было никакой библиотеки. Школьного сторожа Наполеон берет сторожем в свой загородный дом, помогает бедной дворянке, за которой ухаживал один вечер в бытность лейтенантом и которая спустя шестнадцать лет обращается к императору с просьбой устроить на работу брата: к сообщению о назначении того на должность он прилагает очень милое письмецо. В его завещании упоминается множество подобных фактов.

Спустя много лет после романа с некой Гиоргиной Наполеон, узнав, что она нуждается в деньгах, посылает ей целое состояние, хотя бывшая возлюбленная даже не обратилась к нему с просьбой.

Все это деньги или то, что стоит денег. Совершенно иначе выглядит его благодарность, когда он любит: речь о Жозефине. По отношению к ней абсолютно верны слова его врага Мармона: «У него было отзывчивое, доброжелательное, даже чувствительное сердце». В дни коронации Наполеон говорит Редереру: «Да как я мог оттолкнуть от себя эту добрую женщину только для того, чтобы еще больше возвыситься! Прежде всего я человек справедливый». А Жозефине самой пишет некоторое время спустя: «Лично я считаю неблагодарность величайшей слабостью души».

III

Лишенный какой-либо помощи извне, презирующий всех, чья гордость покоится лишь на факте высокого рождения, Наполеон не может не уважать чувства собственного достоинства у тех, кто, как и он, доказывает право на уважение своими успехами. И тем не менее Наполеон, в сущности, не может терпеть рядом с собой равного: с одной стороны, он должен отбирать достойнейших, с другой — учитывать интересы массы. Из этого противоречия, естественно, возникает трагическая двойственность.

«Почему французскую армию боятся во всем мире? Потому что офицеры эмигрировали, их заменили унтер-офицеры, которые стали генералами. Только опираясь на унтер-офицеров и можно командовать народной армией, потому что они — выходцы из народа». Годами Наполеон отказывал Меттерниху и Шварценбергу в Большом Кресте Почетного легиона. И только когда они оба проявили личную отвагу при пожаре во дворце Шварценберга, Наполеон наградил их Крестом. Он запретил носить в Париже ордена, которые его брат, король Голландии, раздавал направо и налево, и послал брату такую «Памятку для королей»:

«Разве можно людям, которых не знаешь, которые могут вскоре оказаться мерзавцами, давать это непреходящее доказательство благоволения. Познакомьтесь сначала поближе со своим окружением! Желание раздавать ордена не приходит внезапно, как желание поехать поохотиться, с ним должно быть связано какое-то знаменательное событие... Вы куда еще не совершили ничего такого, чтобы заслужить честь одаривать других своим портретом».

Чувство собственного достоинства заставляет Наполеона всегда подчеркивать свою самобытность. Он называет глупостью намерение льстецов канонизировать одного из его итальянских предков. И когда Меттерних кладет на стол императора изображение его генеалогического древа из Тосканы, изготовленное в Вене, Наполеон роняет: «Уберите эту бумажку». В официальном государственном вестнике он сам приказывает напечатать: «На вопрос, с какого года начинается династия Бонапартов, очень легко отве-

тить: с 18 брюмера. Разве можно быть настолько бестактными и бесчувственными по отношению к императору, чтобы придавать значение вопросу о его предках». И выйдя из себя кричит: «Я не потерплю, чтобы меня оскорбляли как какого-нибудь короля!»

Но потом начинаются колебания, а с ними и раздвоение души: «Я буду Брутом для королей и Цезарем для республики». Уже это звучит двусмысленно. «С высоты моего положения я не вижу других аристократов, кроме тех мерзавцев, которым я дал возможность скрыться, и никаких мерзавцев, кроме аристократов, которых сам создал». Это уже почти однозначно. «Тацита восхваляют за то, что он внушает тиранам страх перед народами. Но это великое зло для народов». А это уже вполне однозначно.

Перед лицом такого интеллекта нельзя удовольствоваться простой констатацией того, что он провозглашал принципы свободы, лишь покидая не достиг власти. В его душе явно происходила борьба. И это, пожалуй, единственная проблема, с которой пришлось справиться этому почти беспроblemному человеку и с которой он до конца так и не справился.

Конечно, смешно, когда Наполеон, воздающий лишь по заслугам, велит повесить на колыбели своего сына Большой Крест ордена Почетного легиона. Или когда он передает через Талеярана свергнутому им королю Испании, называющему его кузеном, чтобы тот именовал его «Сир». Эти слабости, конечно же, резко контрастируют со всем остальным, но они лежат на поверхности, Наполеон их видел и иногда подавлял. Когда Наполеон колебался, кого послать в Эрфурт для подготовки «встречи королей» — Эжена или все же родовитого Талеярана, он вдруг по-мужски резко оборвал эти раздумья: «Впрочем, мне безразлично, будут ли меня критиковать. Я хочу им показать, что это мне безразлично».

Серьезнее эта проблема становится, когда она сталкивается с истоками и законами правопреемства. «Неправильно называть меня узурпатором, я занял свободное место, которое Людовик не смог удержать, на его месте я бы воспрепятствовал революции, несмотря на огромный духовный прогресс, который она с собой принесла... Моя сила в моей

удачливости, я — нов, как и моя империя». Однако вскоре после этих довольно-таки замысловатых выводов Наполеон заходит много дальше: «Я не собираюсь ничего сваливать на моих предшественников, — пишет он брату Людовика, — и считаю себя ответственным за всех — начиная от короля франков Хлодвига вплоть до Комитета общественного спасения — и рассматриваю все плохое, что злонамеренно говорят об этих правлениях, как вызов мне лично».

Всю жизнь Наполеон кружил вокруг проблемы сословий. Вечером после Аустерлица, находясь в замке Кауница, куда каждую минуту доставляли австрийские и русские знамена, пленных генералов, депеши разгромленных военачальников, он отодвинул все в сторону при виде курьера из Парижа. Парижские новости его тоже перестали интересовать, как только он заметил среди писем знакомый почерк одной дамы, рассказывающей в стиле светской болтовни о фронде в аристократических кварталах, где недавно поклялись никогда больше не появляться при его дворе. Тут Бонапарт взорвался: «Ах, эти люди считают, что они сильнее меня? Ну что ж, уважаемые господа аристократы, мы еще поглядим кто кого! Мы еще поглядим!» И все это — вечером после Аустерлица.

Это похоже на внушенную себе мужчиной ненависть к женщине, которая никак не поддается его настойчивым домогательствам. Однажды вечером, незадолго до только что описанной сцены, Бонапарт тянет Редерера за рукав из гостиной в бильярдную, ударяет одним шаром по другому и без всяких обиняков заявляет:

— Ваш сенат не имеет никакой склонности к аристократизму, никакой общности с духом империи!

— Сир, сенат предан лично вам.

— Но это не то, что мне нужно: он должен быть предан моей мантии, независимо от личности того, на ком она. Мантия должна обеспечивать безопасность этой личности. Вот что такое аристократический дух, которого вам не хватает, утописты!

С этой точки зрения объясняется вся проблема престолонаследования, приведшая ко второму браку и, тем самым, к трагедии. Поскольку Наполеон не мог в одиночку

сделать только две вещи — детей и предков, то он требовал от легитимных правителей заранее узаконить первых и не совсем категорично отказывался от законности вторых. Он вовсе не человек из народа, он дворянин, и как не понять его чувств, выраженных в следующем пассаже:

«Мое положение особое. Одни специалисты по генеалогии хотят проследить моих предков вплоть до всемирного потопа, другие утверждают, что я происхожу из мелких буржуа. Правда лежит посередине. Бонапарты — хорошие корсиканские дворяне, не знаменитые, а все же куда лучше этих балбесов, вообразивших, что имеют право нас уничтожить».

Это вновь тон шестнадцатилетнего юноши, того бедного дворянского сына из провинции, над которым насмехались несколько отпрысков графских семей в военной школе и которого унижали в парижском интернате. Неодолимо жмет Наполеона воспоминание об этих давних уколах его самолюбию, и вполне вероятно, что вся проблема легитимности его власти, двора, женитьбы, вся его судьба, а с ней и судьба Европы, были бы решены иначе, не будь этих не забытых им оскорблений со стороны нескольких глупых аристократов.

Его чувство собственного достоинства проявляется в борьбе с Францией и очень похоже на борьбу с аристократами. Он принадлежит ей и им лишь условно. Наполеон хоть и был дворянином, однако неродовитым, и поэтому всю жизнь относился критически к этому классу. И хотя формально Наполеон был французом, однако же это была не кровная принадлежность.

Франция так и не стала его законной супругой, оставаясь любовницей, Наполеон это знал и извлек из этого состояния — ухаживания, полной самоотдачи и разрыва — самые сильные наслаждения своей жизни.

«У меня только одна страсть, только одна любовница, это — Франция. С ней я сплю. Она никогда мне не изменяла, свою кровь и свои богатства она отдает мне. Если мне понадобится полмиллиона солдат, она мне их даст!» И когда Наполеон брал эту любовницу, то это лишь полностью подтверждало неутраченную ревность в отношениях такого рода. Он всегда обращался с нею как уро-

титель «с железной рукой в бархатной перчатке», давал ей все, что ей взбредет в голову, и как никто умел привлечь к себе славой и фантазией. За это она и радовалась ему, когда он возвращался с победой, и давала ему своих сыновей.

Однако ревность между обоими никогда не утихали, как и взаимное желание властвовать друг над другом. Наполеон говорит совершенно как деспотичный любовник: «Клянусь, что все делаю только ради Франции! Клянусь, что дам ей столько свободы, сколько она захочет!» Он стоит посреди гостиной и произносит эти слова громким голосом, пристально вглядываясь в лица своих гостей. А в своем кругу с его губ часто слетают горькие фразы: «Все еще остаются прежними галлами! То же самое легкомыслие, то же тщеславие! Когда же они наконец сменят это на подлинную гордость!»

Но и французы относятся к своему правителю скептически. И разве у них нет разумных оснований сказать об этом итальянцу почти те же слова, что он однажды написал брату Людовику: «С тех пор, как Вы взошли на трон, Вы напрочь забыли, что были французом, и натянули все пружины своего ума, уговаривая себя, что Вы — голландец. Вы ощущаете чуждую среду как некий зуд, но чуждой она останется навсегда».

«Он заблуждается, — пишет Редерер о Наполеоне, — они вовсе не в таком восторге от него, как были от Лафайета, который не дал им республики. В сущности они восхищаются им и почитают его только потому, что он им нужен».

Такая любовная связь должна кончиться трагически. Женщина бросает своего любовника, когда он больше не может быть ей полезен.

Трагически кончается и другая, самая возвышенная форма его самолюбия. «Мне хотелось бы быть своим собственным потомком и прочесть, что поэт, подобный Корнелю, напишет о моих чувствах, поступках и речах». С дней отрочества до дней изгнания, на первом острове и на втором, самолюбие Наполеона питается историческими сравнениями. Без его чувства истории, которую он называл единственной истинной философией, жизненный путь Наполеона не только был бы другим, он был бы просто не-

возможен. Именно история давала так много пищи его политически расчетливому уму, так же, как и его бурной фантазии. Наполеон нигде не находит людей своего масштаба, и лишь в истории он ищет образцы для подражания, на которые можно ориентироваться при этом бешеном беге. С Цезарем начинается патетический полет духа у лейтенанта, с Фемистоклом оканчивается жизненный путь императора, слишком доверившегося его героическому образу в гавани Рошфор.

Между началом и концом пути рассеяно бесчисленное множество его высказываний об античной и новой истории, по которым можно заключить, что Наполеон постоянно проводил параллели. Почему он против Тацита и Шатобриана? Потому что они оба настраивают народ против тиранов. Почему он осуждает убийство Цезаря? Потому что хочет оправдать свой приговор герцогу Энгиенскому. Будучи Консулом, он даже намеревается написать несколько глав по римской истории, дабы доказать, что «Цезарь вовсе не хотел становиться единовластным правителем и был убит только за то, что хотел восстановить порядок». И когда Наполеон добавляет, что Цезарь был убит в сенате, куда он сам назначил сорок приверженцев Помпея, своих личных врагов, то для себя он решает: следовательно, и ему придется почистить свой сенат, что затем и происходит.

Наполеон делает наброски для восьми великолепных рельефов в римском стиле для Триумфальной арки, посвященных эре его правления, — простые констатации фактов без самовосхваления, самой формой свидетельствующие о его понимании своей роли в истории. Он приглашает к себе историков и поэтов всех стран и часами беседует с ними — тоже для того, чтобы через них передать память о себе потомкам. И когда его портрет кажется ему излишне натуралистичным, он замечает, что Александр Македонский никогда не позировал Апеллесу, своему другу-художнику, и что его портрет должен написать Давид «в спокойной позе на горячем коне». Писать приказы по армии в кабинете Фридриха Великого, обедать в Сан-Суси с биографом хозяина дома, взглянуть в Ломбардии на арку Августа, а в Египте — на статую Помпея и высечь на ней имена только что погибших, в Мадриде и Москве изучать покои и при-

вычки Филиппа и Екатерины — все это представляет для Наполеона не просто эстетический интерес, а осуществление юношеских мечтаний.

Наполеон сам непрерывно писал свою историю. Своим первым победам молодой генерал в приказах по армии день ото дня придавал все более явный исторический смысл и с каждым новым походом, с каждой новой битвой искусно создавал новое звено в длинной цепи подвигов — всегда с оглядкой на будущее. Когда ему предложили итальянскую корону, он написал нечто вроде краткого очерка своих деяний за неполных пять лет. Это похоже на какую-то древнюю легенду: «Когда мы несколько лет спустя на берегах Нила узнали, что наша цель уничтожена, мы мучительно пережили постигшее нас несчастье и благодаря мужеству наших воинов появились в Милане, в то время как Италия думала, что мы все еще стоим на берегу Красного моря». В действительности же Наполеон в это время на глазах всего мира рушил французскую Конституцию, да и самый последний пастух в Апеннингах знал о его возвращении из Египта.

На вершине жизненного пути Наполеон говорит своему посланнику в Вене:

— Пережьте, я и есть римский император из несравненного рода Цезарей. Шатобриан сравнил меня с Тиберием, который из Рима мог выезжать только на Капри. Надо же такое придумать! Другое дело Траян или Аврелий — это мужи, сделавшие себя сами и перевернувшие весь мир. Не видите ли вы сходства между моим правлением и правлением Диоклетиана? Эта туго натянутая сетка над всей Европой, и глаза императора повсюду, а гражданская власть всевластна в насквозь милитаризованной империи... Цезарем надо родиться, стать им нельзя.

Это не воззвание, не политическое послание, не попытка оболъщения. Это слова, сказанные тихим голосом в гостиной, без особой цели и пафоса, со всем прямотушием человека, знающего себе цену.

Иногда Наполеон вообще производит впечатление человека, желавшего выиграть партию лишь ради удовольствия: он дружески обсуждает с проигравшим, какие промахи и удачные ходы они оба совершили в процессе игры.

Пленным или присланным к нему на переговоры генералам император говорит: вот это вам следовало бы сделать так и этак, а здесь преимущество было на вашей стороне, это был хороший маневр. Сразу после победы под Ваграмом он говорит графу Бубне:

— Я убедился, вы чертовски сильны и прекрасно сражаетесь. Как вы считаете — какова численность моих войск? Вы кажетесь мне человеком осведомленным, не хотите ли посмотреть на мою армию? Нет? Тогда посмотрите хотя бы на этой карте мои позиции... Под Эслингом я упустил победу по своей вине. И был заслуженно наказан.

Только в одном вопросе Наполеон не объективен и не бесстрастен: в вопросе о Ватерлоо. Когда на острове Святой Елены один врач-англичанин осмелился спросить, что он думает о Веллингтоне, — мол, в Англии этим многие интересуются, — то ответом ему было гробовое молчание.

Ибо слава — это высшая и, в сущности, единственная цель его самолюбия. К ней устремлены все его силы. И славу он воспринимает в латинском понимании, то есть — взгляд в будущее. Это желание демонического существа обрести бессмертие. «Лучше вообще не жить, чем умереть, не оставив следа».

Наполеон первым формулирует присягу властителя, клянясь не только защищать империю и счастье Франции, но и править во славу народа. На одном из полей сражения Генриха IV в Нормандии он велит соорудить стелу и высечь на ней: «Великие мужи чтут славу тех, кто с ними сходен». Шпага Фридриха ему «дороже всех сокровищ прусского короля». Однако Наполеон думает о будущем не только на поле боя. Когда он велит строить дома для безработных, приказ соответствующему министру внезапно заканчивается патетической фразой: «Нельзя пройти по этой земле, не оставив следов в доброй памяти потомков». А перед самым концом своей карьеры Наполеон отказывается заключить мир ценой потери стран, завоевание которых и составляло часть его славы.

В самом конце жизни император придумал грустную и темную параболу, стоящую особняком, как его собственная судьба:

«Любовь к славе похожа на мост, который сатана стро-

ит, дабы попасть в рай. Слава соединяет прошлое и будущее, от которых ее отделяет пропасть. Моему сыну не останется ничего, кроме моего имени».

IV

Энергия, жажда деятельности — вторая черта его натуры.

Прежде всего она проявляется в расчетливости. Ничего похожего на внезапные озарения, скорее постоянное взвешивание «за» и «против», корректировка и отбрасывание: «Я видел самого себя дискутирующим о плане одного сражения, причем сам себя опровергал... Когда я составляю план битвы, я самый трусливый человек на свете, я преувеличиваю все опасности и инциденты и пребываю в ужасном волнении, даже если кажусь веселым: в такие минуты я похож на роженицу». Это внутренняя концентрация художника, задумывающего концепцию своего творения.

Трезво деловая и медленная подготовка его планов изложена им Редереру еще откровеннее:

— Я всегда работаю, я много времени думаю. И если кажется, что я всегда ко всему готов и любая задача мне по плечу, то на самом деле я долго продумываю малейший свой шаг и стараюсь заранее представить себе, что может получиться. Нет никакого гения, который бы прошептал мне по секрету, что я должен сказать или сделать, я все должен обдумать и предусмотреть — поэтому думаю всегда, в театре, за едой, иногда даже ночью просыпаюсь, чтобы поработать.

Из этих постоянных размышлений у него складывается то, что он называет духом дела: та точность, которая пронизывает все, за что он берется, то мышление в цифрах, которому он частично приписывает свои успехи и которому обязан усердным занятиям математикой. В этом мозгу нет мелочей, миллионы деталей складываются в картину мира. Если какой-то генерал пишет ему, что все приказы выполнены, то его буквально убивает общий характер такого сообщения: он требует деталей. Нет таких мелочей, которые Наполеон счел бы лишними и незначущими. Вот

что он пишет Эжену в Италию по поводу его поэтапных расчетов:

«Что касается мяса, то я не могу взять в толк: как Вы распределяете 3 747 000 рационов? То же самое я мог бы Вам вычислить по сушеным овощам, вину, соли, спиртному. Мне нужны расчеты по корпусам. Меня обкрадывают на 50 процентов, иногда на 70. Как это Вы рассчитали, что понадобится 1 371 000 рационов сена! Для такого количества у меня должно было бы быть 12 000 лошадей, не считая истрийских и далматинских! А Вы знаете, что у меня их всего 7000... Штабные расходы вообще безумные: 118 000 франков на 4 месяца, что составляет примерно 400 000 в год. Этого хватило бы на всю Италию!»

Это всего лишь один пример. Тысячи таких писем из всех сфер деятельности, надиктованные Наполеоном, заполняют тома его переписки и разочаровали бы всякого, надеявшегося найти там одни идеи и чувства. Он такой человек, который посреди боев в Италии пишет домой, чтобы там изготовили письмо о политике Австрии, якобы написанное каким-то германским патриотом, и распространили его в Германии. Прямо во время военной кампании ему приходится объяснять королю Мюрату, как он должен вести себя на балах и в театре, кого приглашать к себе, кого не замечать. При подготовке «встречи королей» в Эрфурте император вспоминает, что нужно взять с собой кого-то, кто будет представлять актрис галантному Великому князю. Наполеон выражает судьбы людей цифрами, и нигде это не проявляется столь ярко, как в следующей «социальной идее»: «Каждая семья должна иметь шесть детей, из них в среднем трое умрут, из трех оставшихся двое должны будут заменить мать и отца, а третий пригодится для непредусмотренных случаев». Его точное мышление доходит даже до такой гротескной формулы.

Еще одним его орудием является темп. «Энергично! Быстро!» — несколько раз собственноручно дописывает Наполеон к своим приказам. Эту его черту точнее всех сформулировал король Пруссии: «Достаточно посмотреть, как он скачет на лошади: всегда галопом, не заботясь о том, что творится за его спиной!» «Нельзя терять ни минуты!» — говорил Наполеон даже тогда, когда не было ника-

кой срочности в принятии решения: инстинкт перенасыщенной, но короткой жизни гнал его вперед, казалось, ему не терпится приблизить свой конец. Вот что пишет император Бернадоту на марше: «Из-за вас я потерял целый день, а от одного дня зависит судьба мира».

Эта вечная спешка заставляла Наполеона торопить своих подчиненных, причем не только на театре военных действий, но и в случаях, когда у других правителей дело месяцами пылилось бы на полке. От Талейрана он требует, чтобы текст государственного договора с Россией был готов через несколько часов. Как-то ночью ему пришло в голову, что надо бы подновить Париж.

— Я хочу, чтобы через десять лет в Париже было два миллиона жителей, — говорит он на следующее утро министру внутренних дел. — Я хочу сделать для города что-нибудь масштабное и полезное. Что вы об этом думаете?

— Тогда доставьте Парижу воду, Сир! — И министр излагает план получения воды из Урка, правого притока Марны.

— Хорошее предложение. Вызовите Г., пусть он завтра же пошлет пятьсот человек в Ла-Вилет и начнет рыть канал.

Еще одно его орудие — память. «Я всегда знаю, в каком положении нахожусь. Не могу запомнить наизусть ни одного александрийского стиха, но никогда не забываю ни одной цифры своих текущих планов». Таково свойство практической памяти. Наполеон помнит названия всех важных для него мест во всех странах, в которых он вел войны, хоть и произносит эти названия с ужасающим акцентом. Главный почтмейстер пишет, что император держал в голове все расстояния, в то время как ему приходилось заглядывать в справочники. Возвращаясь домой из лагеря в Булони, Наполеон встретил заблудившихся солдат, увидел номер их полка, спросил, когда и откуда они вышли, и указал направление: «Шагайте туда! Ваш батальон должен сегодня вечером прибыть в Х». А ведь в той местности на марше находилось 200 000 человек.

Технология его памяти заключается в делении головы на ящички: «Если какое-то дело заканчивается, я запираю его ящичек и открываю новый, так что они никогда не пе-

репутываются. А когда ложусь спать, запираю их все и отключаюсь».

Из всех гербовых фигур, предложенных ему и рассчитанных на то, чтобы польстить выскочке — звезды, святые или хищники, — Наполеон не выбрал ни одной. И предпочел им всем пчелу, тем самым вновь подчеркнув, что одаренный человек, неустанно трудясь и стремясь к своей цели, может достичь всего. «Гениальность — это трудолюбие», — сказал Наполеон, но хотел, видимо, сказать: «Гениальность включает в себя трудолюбие». И если бы Наполеон ничего после себя не оставил и все его труды пошли бы прахом — его трудолюбие и его слава все равно воспринимались бы молодежью следующего тысячелетия как образец для подражания.

Наполеон отнял здоровье и молодость у сотен своих подчиненных, потому что требовал от них слишком многого, то есть столько же, сколько и от самого себя. Его секретарь, поднятый ночью с постели, ложился поспать в 4 часа утра, а в 7 часов получал новые задания, которые обязан был выполнить к 9 часам. Но если они вдвоем просиживали по полдня или по целому дню — один диктовал, другой записывал, — то Наполеон всегда заказывал еду на двоих и съедал ее вместе с секретарем на уголке стола. Будучи Консулом, он начинал заседания в шесть вечера и заканчивал в пять утра, его служебная корреспонденция за три месяца в Шенбрунне составляет 435 писем на 400 печатных страницах — только по политическим и управленческим вопросам, к которым нужно добавить устные распоряжения и частные письма.

В планах и приказах Наполеон любит употреблять слова «в данный момент». Не связанный никакими принципами, всегда готовый изменить свой план согласно повороту судьбы, он бдительно следит за малейшими изменениями обстановки. Человек железной воли, Наполеон обладал гибким умом, и, навязывая другим свои решения, он всегда с изящным поклоном уступал воле обстоятельств.

«Слабость одного капитана, который, вместо того чтобы взять гавань штурмом, позволил охотиться на свой корабль в открытом море, а также другие мелкие недостатки на фрегатах помешали изменить облик мира. Если бы кре-

пость Акка пала, мы бы стремительным маршем двинулись на Алеппо, привлекли бы в свои ряды христиан, друзей и армян, быстро дошли бы до Евфрата, и я вступил бы в Индию и везде ввел новые порядки».

Остается под вопросом, насколько это исторически достоверно. Но Наполеон в это верит — и это характеризует весь его реализм.

Трудолюбие Наполеона лишь совсем немного замутили страстные увлечения. Владеть собой ему помогали врожденное достоинство и уверенность в себе, а привычка к неожиданностям вообще сделала его готовым ко всему: «Поскольку я привык к крупным событиям, то в тот момент, когда мне о них докладывают, они не производят на меня никакого впечатления. Боль я ощущаю лишь час спустя». Из-за этого Наполеон иногда кажется более философичным, чем полагают другие и чем ему самому хотелось бы. Когда у Гортензии умер сын, он требовал от нее большего самообладания и так обосновывал свое требование: «Жить — значит страдать, но храбрый человек борется постоянно, чтобы в конечном счете остаться хозяином своей судьбы».

Несмотря на все это, Наполеон не может удержаться от вспышек гнева. Наветом являются рассказы о том, будто бы он замахнулся кулаком на посланника или пнул ногой в живот министра. Но чистой правдой — та страшная сцена, которую навлек на себя Бертье своей бестактностью. Когда он, поддавшись дьяволу в облике Талейрана, заговорил в Тюильри с Консулом о королевском достоинстве, к которому все в конечном счете должно сводиться, взгляд оскорбленного Наполеона загорелся гневом, губы задергались, он подпер кулаком подбородок Бертье и толкнул его к стене, выкрикивая: «Кто тебе насоветовал таким способом вызвать у меня разлитие желчи? Горе тебе, если хотя бы еще раз возьмешь на себя подобную задачу!»

Наполеон так быстро и точно соображает даже в минуту гнева, что сразу догадался: такие слова исходят не от его славного спокойного Бертье. По своей психологической значимости эта сцена уникальна.

Частенько император ведет себя как солдат, грубо и раздраженно: в гневе выламывает плохо закрывающуюся

створку окна и выбрасывает ее на улицу, бьет хлыстом конюха, при диктовке отпускает ругательства в адрес получателя письма — секретарь их не записывает — и даже в разговоре с архиепископами допускает отнюдь не смиренный тон:

— Кто из вас руководит этим болваном епископом?

Отзывается некто, недавно вернувшийся после длительного отсутствия.

— А вы где же были, несчастный?

— У своей семьи.

— Как вы смеете так долго отсутствовать, когда ваш епископ такой осел!

Важнее сцены наигранного гнева, устраиваемые им из политических соображений. Иногда Наполеон сам сознавался в наигрыше: «Вы думаете, я был разгневан? — говорит он раз в Варшаве. — Ошибаетесь, у меня гнев никогда не поднимается выше шеи». Однажды, когда император играл с маленьким племянником и весело болтал о пустяках с придворными дамами, вдруг доложили о приходе английского посланника. Вмиг его лицо изменилось, черты как бы сжались, он мертвенно побледнел. Быстрыми шагами Наполеон устремился к англичанину и в течение часа призывал на его голову громы небесные в присутствии большого количества людей. Его злость на Англию была вполне искренняя, как и раздражение, вызванное неожиданным появлением посланника. Но выражение лица, поза и сама речь — сплошная политика.

Такие случаи привели большинство свидетелей к мнению, что Наполеон был свирепым человеком. Наиболее глубоко понимал его Талейран: «Этот молодец обманывает нас всех, даже насчет сжигающих его страстей, ибо умеет их изображать, хотя они и на самом деле имеются!»

Расчетливость и холодность были в нем так велики, что он, в сущности, никогда никому не мстил. Ни соперников, ни предателей Наполеон не наказывал излишне жестоко: лишь ссылал того, кого не желал больше видеть, и считал истинным рыцарством отпускать на свободу разбитых врагов, как больших, так и малых.

Очень показательна сцена с посланником Бадена: когда тот стал просить о компенсации герцогу Брауншвейгскому,

император ему отказал в резкой форме. Не потому, что герцог, как говорили, толкал Пруссию к войне с Наполеоном, а потому, что он при первом походе на Францию в 1792 году издал знаменитый Кобленский манифест, согласно которому обещал не оставить в Париже камня на камне. «Что ему сделал этот город? — кричит спустя два десятка лет император, который в ту пору был лейтенантом. — Это оскорбление вызывает к мести!»

V

Даже мужество — первородная сила солдата — у Наполеона отличается от общепринятого. Он слишком часто доказывал его, особенно в юности и потом, в последних кампаниях, чтобы не иметь права сказать: каждого солдата когда-то покидает мужество, поэтому нужно уметь воспользоваться этой минутой панического страха у противника. Но, пожалуй, Наполеон чуть ли не единственный, кто обладает так называемым «мужеством второго часа ночи», то есть способностью мужественно встретить нечто неожиданное, внезапное и требующее присутствия духа и решительности. Напротив, рыцарское мужество дуэлянтов он презирает и именует уничижительно «храбрость людоедов». «Раз вы сражались под Маренго и Аустерлицем, вам больше нет нужды испытывать свое мужество. Счастье непостоянно, как женщины. Вернитесь в свои полки к боевым товарищам!»

Наполеон-полководец ясно видит разницу между человечностью и холодностью. Тот же, кто сказал Меттерниху: «Миллион жизней — это пустяк для такого человека, как я!», на поле битвы произносит: «Если бы короли всего мира увидели такое зрелище, они бы меньше жаждали войн и завоеваний». В другой раз он пишет Жозефине: «Земля покрыта мертвыми и окровавленными людьми, это обратная сторона войны, душе моей больно видеть такое множество жертв». «Кто не может смотреть на поле боя без слез, тот бессмысленно потеряет убитыми много людей» — это тоже Наполеон.

Поскольку Наполеон вел все свои войны лишь ради по-

литических целей, большей частью принуждаемый к ним, но всегда не испытывая ненависти к противнику, то после победы для него и врага нет. «С ужасом я узнаю, — пишет он из Шенбрунна, — что 18 000 пленных на острове Лебау голодают, это бесчеловечно и непростительно. Немедленно пошлите туда 20 000 хлебов, а также муку для пекарен». Но если после заключения перемирия озлобленные тирольцы продолжают убивать французских солдат, Наполеон приходит в бешенство и приказывает «разграбить и сжечь минимум шесть крупных деревень... как напоминание жителям гор об отмщении».

Война для него — искусство, причем «самое важное, включающее в себя все остальные», и как человек искусства он в конце жизни объявляет, что этому искусству нельзя научиться: «Вы думаете, что умеете воевать, раз вы прочли Жомини? Я провел шестьдесят сражений и могу вас заверить, что ни в одном из них ничему не научился. Цезарь тоже последнюю битву воспринимал как первую». Как истинный человек искусства, Наполеон часто противоречит сам себе. Вот как он отчитывает одного генерала, прощтрафившегося в Испании: «Исход войны зависит в большей степени от стратегического расчета, чем от наличия материальных возможностей». В других случаях он называет решающим фактором то численное превосходство, то моральное состояние войска, а иногда говорит даже об озарении: «Исход битвы висит на волоске и большей частью является результатом внезапной мысли. Мы сближаемся с противником согласно заранее продуманным планам, схватываемся врукопашную, деремся какое-то время, исход близится, вдруг одна-единственная мысль пронзает мозг, и небольшой резервный отряд довершает дело».

Более рационально, хотя и не менее художественно говорит Наполеон в другом случае о решающих минутах, которые после нескольких битв можно без труда определить: «Всегда они длятся не более получаса... В каждом бою бывают минуты, когда храбрейшие солдаты хотят обратиться в бегство: тут нужна какая-то мелочь, какой-то повод, чтобы вернуть им веру в себя». С помощью этой силы внушения он выиграл несколько битв, ибо солдаты — это единственные люди, на которых его речь действовала безотказ-

но. Солдаты его понимали, потому что он прост, он даже «военное искусство» называл «простым, как все прекрасное» и этим как бы подтверждал свое определение войны как высшего из искусств. «Военные — они словно вольные каменщики, масоны, а я — великий магистр их ложи».

Личный авторитет Наполеона покоится прежде всего на истории его восхождения, которая известна каждому солдату. Наполеон сознает опасность дилетантизма и пишет Жозефу: «Если король сам берется командовать, солдат не чувствует над собой командира. Армия приветствует его точно так же, как приветствует проезжающую мимо королеву. Ежели король — не генерал, он должен предоставить командование генералам».

Поскольку Наполеон — единственный в Европе глава государства, прошедший службу с низов, в нем живо знание деталей и чувство фронтового офицера. «На войне нет ничего, — говорит он с полным основанием, — чего бы я не мог сделать сам: порох, осадные приспособления, пушки». Однако лично занимается мелочами, только если это абсолютно необходимо, и смеется над романтическим вымыслом автора одной книжки, в которой описывается, как император ночью подменил на посту заснувшего часового: «Это обывательская выдумка какого-то адвокатишки, солдат такого никогда бы не написал».

В то же время Наполеон обеспечивает в армии безусловное равенство и в этом вопросе остается верным революции до конца. Он никого не повышает в чине незаслуженно, и если делает исключение для братьев, то и отчитывает их, сидящих на троне, как если бы они были простыми лейтенантами. Вот как он отвечает на доклад Жерома из Силезии: «Впрочем, для меня Ваше послание слишком остроумно, что на войне вовсе не надобно. Тут нужны точность, надежность и простота». Когда Жозеф в Булони изображает из себя принца и вместе с маршалом Сольтом устраивает приемы, император выговаривает ему, ибо «в армии командующий не должен брать на себя другие функции. В день войскового смотра давать обед полагается генералу, а не принцу. А если принц — полковник, то на смотре он и должен быть только полковником. Дисциплина не допускает исключений. Армия — это единое целое. И кто ею

командует, для нее значит все. Немедленно отправляйтесь в свой полк».

После ранения, напротив, командующий — такой же солдат, как все. В день битвы под Прейсиш-Эйлау, стойвшей многих жизней, император запрещает знаменитому военному врачу ехать к раненому генералу: «Вы должны служить всем, а не кому-то одному». Согласно сообщению одного немецкого офицера, после боя Наполеон часто останавливается подле раненых и приказывает их скорее выносить: «Если поправится, будет по крайней мере одной жертвой меньше».

Во всех дневниках пишут, что император на биваке стоял у костра в окружении солдат, расспрашивал их о полевой кухне, смеялся над ответами, и когда они поверяли ему свои заботы и иногда говорили ему «ты», то вовсе не в расчете на пресную снисходительность добродушного монарха. Это было сыновнее отношение к отцу — то есть их же товарищ, но несущий за них ответственность. «Я получил ваше письмо, дорогой мой товарищ, — пишет он одному старому гренадеру, желающему вновь поступить на службу. — О ваших боевых делах вам ничего и говорить не надо, вы — самый храбрый гренадер в армии. Я очень хочу повидаться с вами. Военный министр пришлет вам приказ».

К своим планам Наполеон никого не подпускает, а вот о награждениях советуется с простыми солдатами. После боя он часто собирает в кружок офицеров, унтер-офицеров и солдат, с каждым заговаривает, спрашивает, кто вел себя наиболее храбро, тут же награждает. «Офицеры называли, солдаты подтверждали, император соглашался», — рассказывает свидетель Сегюр.

Наполеон любит войну, но именно как искусство, власть он любит точно так же. Он недоверчиво смеется над путешественником, рассказывающим о каком-то китайском острове, где вообще нет оружия.

— Что? Но у людей, конечно же, есть оружие?

— Нет, Сир.

— Ну хотя бы пики или по крайней мере луки и стрелы?

— Нет, ни того, ни другого.

— Тогда кинжалы!

— Тоже нет.

— А как же там воюют?

— На этом острове никогда не было войн.

— Что? Не было войн?

Путешественник чувствует по его тону, что существование такого народа на земле представляется императору невероятным.

Тем не менее Наполеон предвидел наступление другой эпохи, которая ему, вероятно, не нравилась, но которую он уверенно предсказывал. Лучший полководец нового времени признавал приоритет духа над шпагой, и уже это доказывает его превосходство над всеми полководцами его времени. О своем скульптурном портрете работы Кановы, изобразившего императора с угрожающе поднятым кулаком, Наполеон презрительно отозвался: «Он что — думает, будто я завоевал полмира одними кулаками?»

И сам же на заседании Государственного совета дал такое определение полководцу:

«В чем состоит ныне превосходство полководца? В свойствах его духа: в остроте его взгляда, в умении рассчитывать и принимать решения, в его красноречии и знании людей. Но все это относится к гражданским делам... Если бы полководцу было достаточно обладать физической силой и мужеством, то любой храбрый солдат мог бы взять на себя командование армией... Ныне грубая сила повсеместно уступает нравственным качествам. Штык склоняется перед мужем, выказывающим превосходство в знании и понимании... Я точно знаю, почему я, возглавляя армию, носил титул члена Французского института: самый юный барабанщик в армии меня понимал».

Позже он выразил эту мысль еще более категорично:

«Война — это анахронизм. Когда-нибудь победы будут одерживаться без пушек и штыков... Кто нарушает мир в Европе, тот жаждет гражданской войны».

Это сказал полководец Наполеон.

VI

Никто из смертных не победил больше людей, чем Наполеон, подчинявший себе не только армии и народы, но нечто большее: отдельных людей.

Его оружием было презрение, его средствами — слава и деньги. Чувство собственного достоинства и опыт жизни укрепили в нем убеждение, что каждый человек движим лишь своим интересом, что жажда наслаждений, алчность или преданность семье заставляют всех рваться к деньгам, а тщеславие, зависть и честолюбие — к публичному успеху. Наполеон отрицал все идеальные стимулы и прибегал лишь к реальным средствам, и если жало честолюбия иногда порождало в нем стремление к вечной славе, то это происходило вопреки его воле. Гете: «Наполеон, целиком преданный своей идее, не мог охватить ее умом. Он начисто отрицает все идеальное и не признает его реальности, хотя сам энергично стремится претворить его в жизнь».

Тем не менее Наполеон так же далек от мефистофельской трактовки людей, как и Гете. Она полностью выражена в его словах: «Большинство людей носят в себе зачатки добра и зла, героизма и трусости. Воспитание и обстоятельства довершают дело». Из всех материй, какими владел Наполеон, человеческая душа была ему известна лучше всего.

«Я — большой любитель анализа... Почему и как — это настолько нужные вопросы, что ими никогда не лишне задаваться».

Произносить речи и расспрашивать — вот способы составлять коллекцию человеческих типов, которая постоянно пополняется. Он спрашивает и спрашивается, пока человек окончательно не смешается, не растеряется и не перепугается, иногда это доходит до смешного. Наполеон всегда должен чему-то учиться, если уж нельзя действовать. Вот он на Святой Елене сидит за столом рядом с врачом:

— Сколько заболеваний печени было у вас на судне? А сколько случаев дезинтерии? Сколько в Англии платят за врачебную консультацию? Какую пенсию получают военные врачи?.. Что такое смерть или какое вы можете дать ей определение? Когда душа покидает тело? А когда она в нем появляется?

Другой способ — произносить речи. Более того, один из приближенных считает, что право императора беспрепятственно витийствовать — единственное настоящее наслаждение, какое доставил ему его высокий пост. У нас

имеется много свидетельств о других людях дела. Но никто из них не говорил так много, как Наполеон. Поскольку он всегда противостоял миру один на один, ему приходилось постоянно раскрывать перед ним свою суть. Его беседы длятся от пяти до восьми часов, а изредка даже десять-одиннадцать, и всегда большую часть этого времени говорит он сам. Это, конечно, черта скорее итальянская, чем римская, равно как и быстрота его речи и иностранный акцент. А вот на жестикуляцию Наполеон, наоборот, скуп и, лишь очень сильно распалившись, расцепляет руки, обычно сцепленные за спиной, — словно для того, чтобы противостоять миру с открытой грудью.

Всем, кто ему служил, Наполеон раздает деньги с поистине восточной щедростью. Ему самому нужно немного: «Если за твоей спиной столько войн, — говорит он, будучи Консулом, — то волей-неволей накапливается небольшое состояние, у меня от восьмидесяти до ста тысяч франков ренты, дом в Париже и за городом, а больше мне и не надо. Если я буду недоволен Францией или она мной, я спокойно уйду в отставку... Но в моем окружении все воруют, министры слабохарактерны. Наверняка скопили уже огромные состояния... Что поделать. Эта страна прогнила насквозь. Так было всегда: раз стал министром, тут же строит себе замок... Знаете, сколько требуют за мое обустройство в Тюильри? Два миллиона... Надо будет сократить эту сумму до восьмисот тысяч. Я окружен одними мошенниками».

— Но ваши военные кампании, — возражает Редерер, — стоят наверняка больше, чем эти жульничества.

— Тем бдительнее мне нужно контролировать мои личные расходы.

В этом разговоре видно отношение тридцатилетнего главы государства к деньгам: лично ему ничего не надо, он осуждает взяточничество и роскошь вокруг, признает, что сам стал богатым благодаря войнам и в заключение обзывает своих поставщиков жуликами, потому что те требуют за обстановку дворца два миллиона, в то время как на его взгляд вообще не надо на это тратить. В период чудовищной коррупции, доставшейся ему от революции, Наполеон боролся с армейскими поставщиками, кравшими на

войне, но когда с помощью ужасных штрафов добился того, что на войне никто больше не наживался, вскоре назначил своим маршалам фантастические ренты, иногда свыше миллиона в год. На плечи государства, которое он освободил от расхитителей национального достояния, Наполеон взвалил такие жалованья, которые смахивали на подкуп.

Однако были и такие, кто зарабатывал большие деньги благодаря ему, но без его ведома.

— Когда у меня больше ничего не будет за душой, — говорит он Талейрану, — я обращусь к вам. Скажите положу руку на сердце: сколько вы на мне заработали?

— Я небогат, Сир, но все, что имею, в Вашем распоряжении.

Общение Наполеона с людьми определяется сотней разных обстоятельств, и если задаться целью охарактеризовать его гибкую тактику, придется объединить людей в группы.

Генералов и маршалов легче всего поставить в зависимость от себя, ибо у них всегда в цене военная слава, а поскольку он платит за успех, растет и их богатство. Деньгами Наполеон добивается сразу двух целей: окружает себя блеском и держит в зависимости самых высших военачальников. Он с удовольствием смотрит на то, как эти солдаты, не привыкшие к деньгам, залезают в долги и просят у него помощи: так он ведет их от мотовства к обнищанию и вновь к мотовству. Одновременно Наполеон почти всегда держит их в служебной зависимости, планирует и решает все сам и редко предоставляет даже командующим армиями возможность проявить свой талант.

В результате генералы питают к императору своего рода любовь-ненависть, привязывающую их к нему прочнее, чем могла бы привязать чистая симпатия. Всей душой преданы ему, пожалуй, лишь Бертье и Дюрок, чью любовь Наполеон сравнивает с любовью ребенка и собаки. Ней называет себя заряженным ружьем, стреляющим туда, куда прикажет император. Сам же Наполеон привязан лишь к тем, кто был рядом с самого начала, и в своих мемуарах он создает им «доску почета»: Дезе за душевное равновесие, Моро — больше за инстинкт, чем за талант, Ланну — скорее за мужество, чем за ум. По его мнению, Клебер видит в

славе лишь средство к жизненным радостям, Массена обретает мужество лишь под огнем, Мюрат «не имеет искры Божьей, но какова прыть! Он и герой, и скотина!» С этими спутниками жизни император не хочет расставаться, хотя почти каждый из них испытал на себе его гнев. Мармон, которому он после Ваграма учинил в своей палатке настоящий разнос за промахи в бою, через четверть часа получил звание маршала.

Иногда на Наполеона нападает приступ мизантропии, «тогда я начинаю подозревать во всех грехах даже моих соратников. Но потом меня пронзает такая душевная боль, что я собираюсь с силами и избавляюсь от этих злых мыслей». Смерть Ланна он принимает очень близко к сердцу, однако тех трогательных прощальных слов, которые Наполеон публикует, Ланн, очевидно, не произносил, ибо император признается Меттерниху: «Ланн меня ненавидел. И когда мне сказали, что он, раненый, шептал мое имя, я понял, что он умрет. Он звал меня, как атеисты взывают к Богу перед смертью».

Но дружба с юности не мешает Наполеону отчитывать высших маршалов как мальчишек, если они натворили глупостей или тем более трусили. К примеру, Жюно: «Вы вели себя до того бестактно, что просто не знаю, с чем сравнить... У вас искаженное представление о ваших армейских обязанностях, я вас знать не желаю!» Или одного генерала в Ломбардии: «Под вашим командованием наблюдалось мало честности и много алчности, но доныне я не знал, что вы еще и трус. Покиньте армию и больше не показывайтесь мне на глаза!» А когда другой генерал, капитулировавший в Испании в открытом поле, спустя полгода осмеливается на войсковом смотре попасться ему на глаза, император распекает его в присутствии солдат целый час и никак не может успокоиться: «Можно сдать крепость — военное счастье переменчиво, — можно потерпеть поражение. Можно попасть в плен. Завтра такое может случиться и со мной. Но честь! На поле боя полагается сражаться, сударь, а тот, кто вместо этого капитулирует, заслуживает расстрела... Солдат должен уметь умирать. Разве нам всем не грозит смерть?.. Как подданный вы своей капитуляцией совершили преступление, как ге-

нерал — глупость, как солдат — трусость, а как француз — вы обесчестили славу!»

Современных ему дипломатов Наполеон сначала перепугал своей открытостью, которой никто не поверил. «Такт и открытая игра приносят дипломатии больше удачи, чем хитрость. Мошенничества старых дипломатов уже устарели, все их уловки давным-давно разоблачены... Ничто так не характерно для слабости, как лживость».

Незадолго до начала войны с Англией Наполеон объясняет английскому посланнику, сколько лет ему нужно, чтобы сравняться мощностью с английским флотом, но зато как быстро он может довести численность своей армии до 400 000. В Шенбрунне император говорит австрийцу-посреднику: «Это мой ультиматум. Если вы меня разобьете, я предложу более благоприятные условия, если победа будет за мной, мои условия будут еще жестче. Но больше всего я хочу мира».

Когда Наполеон хочет повлиять на представителей других государств, он рассчитывает каждый нюанс своего поведения. Специально дожидается дня своего рождения, чтобы во время торжественного приема остановиться перед стоящими полукругом дипломатами в двух шагах от Меттерниха и обратиться к нему с такими словами: «Ну что, господин посол, чего хочет ваш император? Желает ли он, чтобы я явился в Вену?» Этим Наполеон хочет и запугать Меттерниха, и одновременно обнародовать перед Европой угрозу. Но когда Меттерних два дня спустя приходит на личную аудиенцию, император говорит ему: «Давайте не будем изображать императора французов и посла австрийцев. И не будем произносить красивых слов, ведь сегодня нас никто не слышит».

Незадолго до заключения первого мира Наполеон хочет избежать встречи в Шенбрунне с побежденным эрцгерцогом, чтобы тот не стал что-то для себя выторговывать, и договаривается о рандеву в охотничьем домике: «Там я пробуду два часа, из которых один час придется на ужин, а второй уйдет на беседу о войне и взаимные заверения».

Довольно-таки рафинированно Наполеон обращается с коронованными особами, охотнее всего встречается с ними у себя, и за годы своей прочной власти, в сущности,

не удостоил никого из них посещением. В Тильзите он уже через два дня становится хозяином дома, в Дрездене, будучи гостем короля Саксонии, держится как хозяин. Общаться с королевами он избегает, и, когда королева Луиза патетически взывала к его чувству справедливости, Наполеон предложил ей сесть, «ибо ничто так не сбивает трагизм сцены, как это. Когда люди садятся, трагедия превращается в комедию».

Меньше всего удается ему общение с народами, лишь с французами и итальянцами еще кое-как получается. «Моя политика сводится к тому, — говорит Консул на заседании Государственного совета, — чтобы управлять людьми так, как того хочет большинство. Мне кажется, это и называется уважением к суверенитету народа. Я стал рьяным католиком — только ради того, чтобы покончить с войной в Вандее, потом турком в Египте, еще позже — ультрамонтаньяром в Италии, чтобы привлечь к себе сторонников Папы. Если бы я правил иудеями, я бы восстановил храм царя Соломона. Поэтому на освобожденной части Сан-Доминго я буду говорить о свободе, а на порабощенной, наоборот, укреплять рабство».

Больше, чем в этой негритянской республике, ему повезло в Польше, которую он стремился привлечь празднествами и красивыми словесами. Но еще лучше у Наполеона получилось с евреями. Благодаря идее равноправия, привнесенной в жизнь Европы революцией, некоторые из них занялись ростовщичеством в рейнских землях, чем причиняли людям ущерб. Однако Наполеон, признающий высокие способности этого народа к коммерции, остерегся просто их выслать и, вспомнив еврейские обычаи, пригласил в Париж их высший совет, Синедрион, не собиравшийся уже много веков. Он предложил Синедриону решить этот вопрос. Синедрион запретил евреям ростовщичество как грех.

Самым удивительным народом для Наполеона были немцы: в них он обнаружил все, чего ему самому не хватало, и ничего из того, чем он обладал. Поэтому император сохранил по отношению к ним в пору своих успехов какую-то робость и почтительность, с ними ему было не по себе. Когда он поехал в Эрфурт и решил там повлиять на немецких князей с помощью театра, то велел директору

не готовить комедий: «Этого по ту сторону Рейна не понимают. Нужно поставить «Цинна, или Милосердие Августа» Корнеля, там показаны большие интересы в динамике, а кроме того, есть сцена милосердия, это всегда полезно». Ремюза цитирует эту пьесу: «На этом святом поприще, куда поставила короля милость Божья, прошлое становится справедливым, а будущее свободным. Кто туда попадает, не может быть виновным, что бы он ни делал, он сам неуязвим».

— Великолепно! — восклицает император. — В особенности для немцев, они вечно топчутся на одних и тех же идеях и нынче все еще толкуют о смерти герцога Энгиненского! Нужно расширить границы их нравственности. Это очень хорошо для людей с унылыми идеями, которых в Германии полным-полно.

Кажется, будто Наполеон говорит о немецкой музыке, которую почти не знает, а на самом деле он думает о немецкой философии. И то, и другое наверняка кажется ему одинаково унылым, так как он любит итальянские арии и вольтеровскую мудрость. «Кант — человек мрачный». На этой трактовке основывается беззаботность императора: он просто не допускал мысли, что такой унылый народ может когда-нибудь воодушевиться.

Вероятно, причина такого недопонимания заключается в невозможности проникнуть в массу чужого народа. В Северной Италии это ему удалось благодаря молодости, свежести идей, жажде свободы, это удалось ему как глашатаю революции. Но диктатор уже не мог нести народам факел свободы. Тем не менее Наполеон всегда оглядывался на толпу. «Править нужно для массы, не спрашивая, нравится ли это господину такому-то... Люди высокого полета смотрят сверху, остаются над партиями, партийный человек — самый несвободный». Таковы были его принципы, но действительность рисовала другую картину.

Толпа, даже во Франции, видела в нем человека, который заставил себя бояться. Она боялась его десять лет, но при первых же неудачах стала проявлять скепсис. «С народом надо обращаться достойно, — говорил Наполеон, — но не льстить ему, иначе он будет считать себя обманутым, если не получит всего, чего ожидал. Вы спрашиваете, для

чего мне мои строгие речи и меры? Чтобы избавить себя от исполнения своих угроз!»

Однако в течение длительного срока этой строгости не могли выдержать ни его естественность, ни инстинкты толпы. Он не мог ее соблазнить ни славой, ни деньгами, он демонстрировал ей символы власти, корону и помазание, двор, блеск и принца, но она чувствовала растущую дистанцию и не давала себя обмануть.

Когда народ Парижа узнавал, что император в своем театре заменил реплику короля Генриха «Я дрожу» на «Я содрогаюсь», потому что король хоть и может дрожать, как любой человек, но не должен об этом говорить, — то народ либо сердился, либо смеялся. А вот о разговоре императора с актером Тальма о том, как следует играть Цезаря, народ ничего не знал:

— Когда Цезарь произносит длинную тираду против королей: «Для меня, у которого трон мог вызвать только презрение», он не верит ни одному своему слову. И говорит так лишь потому, что знает: за его спиной стоят его римляне, и хочет убедить их, что для него трон — мерзость. В действительности же трон — желанная цель. Поэтому эти слова не надо произносить убежденно.

Религию Наполеон также использовал для убаюкивания толпы, как и театральную постановку. «Я вижу в ней, — говорит он на Государственном совете со всей непосредственностью молодого Консула, — не таинство воплощения, а социальный порядок. С небом ее связывает идея равенства, которая не позволяет бедному человеку расправиться с богатым. Религия так же ценна, как прививка от коровьей оспы: удовлетворяя нашу жажду сверхъестественного, она защищает нас от шарлатанов, ибо священники — люди более достойные, чем разные Калиостро, Канта и все прочие немецкие мечтатели... Общество не может существовать без имущественного неравенства, а значит, и без религии. Кто помирает с голоду рядом с обжорой и мотом, тот может остаться человеком только благодаря вере в небесную власть и в бессмертие души, когда распределение ролей будет иным».

С демократией Наполеону не по пути, и его предсказания относительно парламентской формы правления не творческие, а скорее критические:

— Республика — это такая форма государства, которая возвышает душу и содержит зачатки великих дел, но именно благодаря своему величию она раньше или позже погибнет, потому что для власти ей необходимо единство силы, которое приводит к деспотии или к господству аристократии. А это худший вид деспотизма. Примеров тому множество: Рим, Венеция, Англия, сама Франция. Если республика хочет добиться какой-то великой цели, то центральная власть должна опираться на неизменное парламентское большинство, которое, однако, сохраняется только с помощью подкупа, этой раковой болезни народов: страшное оружие в руках центральной власти! Либералы придумали конституционную монархию, это такое *mezzo termine*, такое половинчатое решение, в котором есть и хорошее, но только в том случае, если органы народного представительства, целью которых является ограничение королевской власти, избираются на основе всеобщего избирательного права.

Наполеон осознал все проблемы своего века. Только социальной проблемы, с которой началась его история, он так и не понял.

VII

«Не знаю, что стану делать, все зависит от событий. У меня нет собственной воли, я лишь ожидаю их исхода... Чем больше ты значишь, тем меньше у тебя прав на собственное волеизъявление. Всегда зависишь от событий и обстоятельств». В этом смысле весь жизненный путь Наполеона был импровизацией, только в противоположность другим людям он мелкие вопросы продумывает и точно рассчитывает заранее, а планы всемирного масштаба возникают и преобразуются в зависимости от обстоятельств и развития событий. «Когда знаешь дело, то презираешь все теории и пользуешься ими как землемер: не для того, чтобы шагать вперед строго по прямой, а лишь для того, чтобы придерживаться того же направления».

Его самой пламенной мечтой и его самым холодным расчетом, его политической целью, надеждой и честолю-

бивым устремлением была Европа. Но Наполеон мог осуществить свои планы лишь с помощью оружия — из-за той жгучей ненависти, с какой все коронованные особы континента нападали на первую европейскую республику. Сам он жаждал мира. Но властный характер его солдатской природы с трудом вынес бы мир, если бы такой был ему предложен. Наполеон, что вполне объяснимо эпохой, обстоятельствами и собственным характером, прибегает к негодным средствам, но это отнюдь не умаляет величия его цели, которая через сто лет после свержения императора вновь становится мечтой многих государств.

«В Европе насчитывается более 30 миллионов французов, 15 миллионов испанцев, 15 миллионов итальянцев, 30 миллионов немцев. Из всех этих народов я хотел создать единый и цельный национальный организм. С единством законов, принципов, мнений и чувств, точек зрения и интересов... Тогда можно было бы подумать о Соединенных Штатах Европы по образцу Америки. Какие перспективы роста силы, величия и расцвета! Для Франции это уже сделано, для Испании сделать нельзя, для создания итальянской нации мне понадобилось бы двадцать лет, в Германии понадобится еще больше терпения, я мог бы только упростить их чудовищно сложное мироощущение. Тем самым я хотел подготовить объединение основных интересов Европы — примерно так же, как у нас в стране объединил партии... Возникающее недовольство народов меня мало заботило — результат все равно повернул бы их ко мне.. Европа вскоре фактически стала бы единым народом, путешествуя по ней, каждый находился бы в общем отечестве... Это объединение... раньше или позже произойдет. Толчок к этому дан... В Европе будет невозможно никакое другое равновесие, кроме союза народов».

VIII

Над фантазией Наполеона господствует его ясный ум. Наполеон меньше ненавидел и больше любил, чем готов был сам признать. По сравнению с чувством жалости на войне тут у него все наоборот: он спокойно жертвует мил-

лионом жиней, а один солдат в крови трогает его душу. Поскольку его фантазии требуется огромный размах, то его раздражает, когда Жозеф заявляет, что только он его любит: «Это ерунда. Мне нужно, чтобы меня любили пятьсот миллионов». За ледяным тоном этих слов клокочет вулкан, глухой рокот которого слышал еще его школьный учитель.

Ощущая свою цель — упорядочение жизни народов — как миссию, Наполеон сознательно исключает все отвлекающее и сохраняет себя как личность только благодаря преданности одной идее. Даже в драме он отвергает вставные любовные истории, ибо «любовь — это такая страсть, которая может быть только главной темой трагедии, ее нельзя рассматривать как второстепенный эпизод... Во времена Расина она составляла все содержание человеческой жизни. Такова судьба праздного общества».

Если чувство императору в тягость, он его просто отбрасывает:

«У меня нет времени мучиться от переживаний и раскаиваться, как другие люди... Людьюми движут два рычага: выгода и страх. Любовь — это просто глупое ослепление, поверьте! Я не люблю никого, даже братьев, — правда, по привычке немного люблю Жозефа как старшего из нас. Еще я люблю Дюрока, он человек серьезный и решительный, мне кажется, он никогда не плакал... Чувствительность давайте предоставим женщинам. А мужчины должны иметь твердое сердце и сильную волю, в противном случае им не следует заниматься войной или правлением». И в другой раз: «У меня нет друга, кроме Дарю, он холоден и бесчувствен, он мне подходит». И под конец жизни, на острове Святой Елены: «В пятьдесят лет человек уже не в состоянии любить... У меня сердце из железа. Я никогда не любил по-настоящему, может быть, немного Жозефину, — правда, тогда мне было двадцать семь. Я склоняюсь к мнению Гасьона, однажды сказавшего мне, что он недостаточно любит жизнь, чтобы дать ее другим существам».

Всегда немного смущен, всегда готов добавить слова «может быть», «немного», и все-таки это тот же человек, который сказал: «Я — раб своих чувств и действий, ибо цену душу намного выше ума».

Человек, обладающий столь острым чувством собственного достоинства, должен поддаваться ревности легче, чем любви. Его первые письма к Жозефине показывают, что он весь объят пламенем. Несколько лет спустя Консулу, осматривающему строительство нового моста через Сену, и сопровождающим его лицам приходится сделать несколько шагов назад, чтобы пропустить карету: в ней сидит Ипполит, его давнишний соперник. Прошли годы, никогда больше это имя не упоминается ни им, ни при нем. Однако теперь, случайно увидев Ипполита на улице и будучи вынужден уступить ему дорогу, Наполеон бледнеет, теряется и не сразу приходит в себя.

Наряду с этим в императоре живет, как бы вопреки его принципам, своего рода невольная доброта. В Италии на поле битвы рядом с трупом хозяина сидит и тоскливо скучит пес. «Казалось, что бедное животное ищет помощи или мстителя. Я был потрясен страданием пса и в этот момент согласился на просьбу противника о снисхождении. Тут я понял, почему Ахилл выдал плачущему Приаму тело Гектора. Таков уж человек. Так мало он может отдавать себе отчет в своих чувствах. Ведь я со спокойным сердцем посылал своих солдат на бой, и глаза мои были сухими, когда я смотрел на наступление, грозящее гибелью тысячам жизней, а вой несчастного пса потряс меня».

Доброта и сердечность видны во многих его письмах: «Очень сожалею, что вы нездоровы. Надеюсь, болезнь скоро пройдет. Если не будете принимать лекарства, почувствуете себя намного лучше... Во всяком случае постарайтесь выздороветь, хотя бы ради дружеских чувств, которые я к вам питаю», — пишет он Камбасеру. И Корвисаресу: «Прошу вас, дорогой доктор, загляните к верховному судье и Ласепеду: первый болен уже восемь дней, и я боюсь, как бы он не попал в руки какого-нибудь шарлатана, а у второго давно больна жена. Посоветуйте им что-то и полечите. Вы спасете жизнь чрезвычайно значимого человека и другого, очень дорогого мне существа».

Шенье, попавшего в стесненные обстоятельства, Наполеон радушно принял и вызволил из беды, хотя тот много лет занимал антинаполеоновские позиции. Карно, уже десять лет враждующий с императором, погряз в долгах. Им-

ператор узнает об этом и не только оплачивает его долги, но и вычисляет денежное содержание, которое генерал Карно получил бы, не будучи в отставке. Наполеон приказывает выплатить содержание полностью вместе с высокой пенсией и, поскольку Карно предлагает свои услуги, поручает управлять военным заводом, дабы не заставлять его служить в армии вопреки убеждениям.

В период Ста дней Наполеон анонимно передает через третьи руки большие суммы денег бурбонским принцам. Если секретарь спит, а сам император бодрствует и не перегружен делами, он берет пачку прошений и пишет на полях размер ренты, которую следует выплачивать просителю. Сотни офицеров, которых он в гневе поклялся расстрелять, остаются на своих постах, но в конце концов покидают его. Когда Наполеон приказывает Жерому расстаться с женой, то сам пугается своей суровости и, уже отправив адресату грозный приказ, просит мать в письме тут же написать Жерому: «Поговорите об этом и с сестрами, чтобы они тоже написали ему, ибо раз уж я вынес ему приговор, то останусь непоколебим, и он будет страдать».

От немногочисленных друзей он требует слепой преданности, и нигде этот вращающийся вокруг себя самого характер Наполеона не проявляется с такой четкостью, как в словах изгнанника, сказанных Монтолону, чья преданность на какой-то миг показалась Наполеону иссякшей: «Я люблю вас как сына, поскольку верю, что вы любите одного меня: в противном случае вы вообще не могли бы меня любить. Я чувствую, что наша натура не позволяет нам любить несколько человек одновременно. Люди заблуждаются на этот счет, даже собственных детей нельзя любить одинаково сильно. Я хочу по крайней мере для тех, кого я люблю и кому оказываю честь своим доверием, быть главным предметом их склонности. Терпеть не могу делиться. Для меня это — как удар ножом в грудь, я по природе ужасно обидчив: яд на душу действует сильнее, чем мышьяк на тело».

Вполне логично, что вся западная система женского просвещения не должна ему нравиться, Наполеон и в этом вопросе предпочитает Восток, о котором постоянно тоскует, ибо «природой женщинам предназначено быть наши-

ми рабынями, лишь вследствие наших диковинных взглядов они осмеливаются выдавать себя за наших повелительниц... На одну, влияющую на нас в хорошем смысле, приходится сотня таких, которые лишь толкают нас на безумства... Дикая мысль — требовать равноправия! Женщины — наша собственность, а мы им не принадлежим, ибо они дают нам детей, а мужчина им детей не дает. Мы владеем ими, как владеет садовник деревом, приносящим плоды... В этом отличии нет ничего позорного, каждый имеет свои преимущества и обязанности. Вы, милые дамы, обладаете к своей выгоде красотой и соблазнительностью, но зато и зависимостью от мужчин».

IX

Мысль о творце небесном всю жизнь мучила творца земного. Этого властителя человеческих душ очень раздражало, что якобы есть еще какой-то Владыка. Не то чтобы Наполеон считал самого себя божеством, он смеялся над такой мистификацией своей силы. Но оставалась какая-то высшая сила — можно было называть ее Богом, Судьбой или Смертью, — и она была непреодолима. Как же его уверенность в себе и его фантазия выбираются из этой петли?

Поначалу путем отрицания любой догмы. «Я твердо убежден, что Иисус... был казнен как любой другой фанатик, выдававший себя за пророка или мессию, такие люди бывали во все времена. Я же, обращаясь к Ветхому и Новому Завету, нахожу там одного поистине выдающегося человека: Моисея... Да и как я мог допустить религию, которая проклинает Сократа и Платона! Я не могу поверить во всезнающего и всемилостивого Бога, поскольку вижу честных людей несчастными, а мерзавцев счастливыми. Талейран умрет в своей постели... Как бы я мог остаться независимым, подпав под влияние духовника, который пугал меня ужасами преисподней. Какую власть способен обрести на этом посту подлец!»

В этом вопросе Наполеон неизменен с самого детства, когда он ни за что не хотел идти к мессе, и до старости. Человек, отрицающий все чудеса и приписывающий все

здравому рассудку, храбрости, гибкости ума, знанию человеческой души и фантазии, не может поверить библейским чудесам и решительно отрицает с логикой начальника тыла, что источник Моисея мог утолить жажду двух миллионов человек.

Еще более чужд ему страх перед каким-либо судом. Слово «нравственность» упоминается им лишь в политических целях. Только в последние дни на острове он говорит однажды вечером в кругу близких: «Как счастливы были бы мы здесь, если бы я мог поверить свои страдания Богу и ждать, что он пошлет мне здоровье и счастье! Разве у меня нет на это права? Прожив столь необычайную жизнь и не совершив ни одного преступления, я могу без страха явиться на Суд Божий и ожидать Его приговора».

Поэтому Наполеон и в несчастье не испытывал сомнений, и если за пять лет до смерти сказал, что надеется умереть без исповедника, это значит, что его железное сердце устояло и перед страхом смерти.

А вот представление Наполеона о сотворении мира, наоборот, изменялось, и как он из революционера сделался легитимистом, так и из материалиста стал теистом. Вся жизнь его сопровождается ощущение природы: «На охоте я велел однажды разделать убитого оленя и увидел, что внутри он устроен так же, как человек. Только человек существо более совершенное, чем собака или дерево. Растение — первое кольцо цепи, в которой последнее звено — человек». При этом император не был знаком ни с морфологией Гете, ни с учением Ламарка — последнего он даже не захотел принять.

Еще более важны выводы императора о психофизических процессах. В рождественской беседе на острове Святой Елены Наполеон высказывает свои сомнения: «Как понять, почему Господь допускает, что какой-то властитель по своему капризу посылает тысячи людей на поле боя умирать ради него! И еще: где находится душа у ребенка? Или у помешанного? Что такое электричество, гальванизм, магнетизм? В этом скрыты тайны природы. Я склонен предположить, что человек — продукт флюидов и атмосферы, его мозг впитывает их и после смерти возвращает в эфир, где они будут впитаны мозгом других людей». После этих

гетевских мыслей император пугается самого себя, умолкает и после паузы говорит Гурго как солдат солдату: «Ну что тут рассуждать, дорогой Гурго, когда умрем, то будем покойниками».

Наполеон говорит Лапласу, отрицающему Бога: «Вам бы следовало с большей радостью, чем любому другому, признавать существование Бога, поскольку вы глубже других проникли в чудо сотворения мира. А если наш глаз его не видит — значит, он просто не захотел, чтобы наше познание простиралось так далеко». И в другой раз: «В Бога люди верят потому, что все вокруг нас о Нем вещает». И на Святой Елене: «Я никогда не сомневался в существовании Бога. Если моего разума не хватило, чтобы Его понять, то в Нем я видел всю свою душу. Все мое существо было созвучно этому чувству».

Как должна такая душа относиться к судьбе? Поскольку чувство собственного достоинства не позволяет Наполеону быть побежденным кем-либо из людей, значит, существует судьба, она-то и побеждает. Это чувство появляется, однако, не после поражения, оно сопровождает императора всю жизнь. Наполеон ведет со своей верой в судьбу поистине героическую борьбу. В минуты наибольшей уверенности в своей силе император чувствует себя неуязвимым для ее ударов: «Моя душа тверда, как мрамор. Молнии не смогли ее разрушить, им пришлось отскочить». А однажды он нашел у кого-то из поэтов понравившуюся ему фразу: «И если небо обрушится на нас, мы вздернем его на острия наших пик!»

Но такая строптивость для Наполеона редкость, большей частью он смиряется перед судьбой. Свидетели приводят великое множество таких высказываний: «Все, что происходит, предначертано, наш час предопределен, и никто не может остановить время... От судьбы не уйдешь». Веймарской герцогине он говорит: «Поверьте, существует Провидение, главенствующее надо всем. Я — лишь его орудие». А Иоганнесу фон Мюллеру: «В сущности, все связано единой цепью, находящейся в незримых руках неисповедимой власти. Я обрел величие только благодаря моей звезде».

Наполеон верил в свою звезду совсем не так, как люди верят в Бога или в талисман. Он даже возмутился, когда его

успехи преуменьшали, подчеркивая его везучесть. Поэтому был отнюдь не так суеверен, как другие люди его склада. Драгоценный кинжал, который Людовик никак не решится ему подарить, Наполеон вырывает у того из рук со словами: «Чего уж там, им только хлеб и резать!» Император отчитывает Жозефину за карточную гадалку, а потом из любопытства просит рассказать о ее уловках. Когда Шварценберг умирает, Наполеон чувствует облегчение, потому что пожар во дворце Шварценберга при второй женитьбе Наполеона был истолкован им как плохое предзнаменование для него самого, и теперь выяснилось, что его предчувствие относилось к другому.

Однако наряду с этими мелочами вся его жизнь, перенасыщенная судьбоносными решениями, за двадцать лет не содержит ни единого дня, когда бы Наполеон из суеверия принял, отложил или изменил свое решение. А вот в политических или риторических целях он охотно пользуется словами «звезда» и «судьба». Поскольку император хочет прослыть в Европе как «человек судьбы», то старается подействовать в особенности на податливые души, например на русского царя, такого рода фразы: «Мудро и политически верно делать то, что велит судьба, и идти туда, куда нас ведет непреодолимый ход событий».

Иногда Наполеон валит все в одну кучу — талант, судьбу и власть и оказывается энергичным фаталистом. Чего стоит такая, например, фраза: «Против покушений у меня есть мое везенье, мой гений и моя гвардия».

В этом тоне мужественной жизнестойкости Наполеон в конце концов и обретает опору между жизнью и смертью.

В одной современной ему трагедии он хвалит мастерское изображение мужчины, желающего умереть, но называет сам образ противоестественным: «Надо хотеть жить и уметь умереть». Поэтому он с молодых лет борется против самоубийства — сначала в статье, потом в приказе по армии, причем аргумент у него один и тот же: самоубийство — это трусость, особенно в беде. Документы доказывают, что история с попыткой уйти из жизни перед первым отречением вымышлена. В последних сражениях Наполеон, безусловно, хотел пасть смертью храбрых, но яда он не принимал никогда.

И все же минуты, когда на него нападало *taedium vitae*, отвращение к жизни, бывали не только в Фонтенбло и после Ватерлоо. И если вообще задаться вопросом, может ли гений быть счастливым, то нужно признать, что эта не созданная для счастья натура на вершине своей карьеры испытала все же сколько-то минут довольства и даже восторга. Но были и часы сомнений:

— Для спокойствия Франции, — говорит он у могилы Руссо, — было бы лучше, если бы этого человека вообще не было.

— Почему же, гражданин Консул?

— Он подготовил революцию.

— Однако вы не тот человек, чтобы сокрушаться по этому поводу.

— Будущее покажет, не было бы лучше для спокойствия в мире, если бы нас обоих — Руссо и меня — вообще не было.

Эти сомнения мало-помалу утихают. Но что никогда не исчезало, это чувство бесконечного одиночества: «Бывают минуты, когда я призываю опасность, и бывают дни, когда жизнь становится невыносимой». Поскольку море всегда оставалось ему чуждым, потому что было ему враждебно, Наполеон нашел себя, в сущности, лишь в единственном родственном его душе ландшафте: пустыня служила ему прообразом бесконечности.

Никогда Наполеон не был более свободен от навязчивых мыслей, можно даже сказать, никогда не был так счастлив, как сидя в одиночестве в своей ложе, когда на театре давали трагедию.

Только она одна возвращала свойственный его душе настрой, ибо поскольку он любил меньше, чем большинство людей, то был приговорен к трагическому одиночеству — плате за самодостаточность.

«Нет ни счастья, ни несчастья, — сказал он как-то. — Жизнь счастливого человека похожа на картину с черными звездами по серебряному фону. Жизнь несчастливому человека похожа на картину с серебряными звездами по черному фону». Более волнующие настроения проявляются во вполне земных темах повседневности:

— Разве вы не понимаете, Коленкур, что здесь проис-

ходит? Люди, которых я сплотил в один кулак, желают, видите ли, наслаждаться жизнью, эти бедняги вовсе не понимают, что перед покоем, которого они жаждут, нужно сперва побороться. А я? Разве у меня нет дворца, жены и ребенка? Разве я не напрягаюсь до изнеможения во всех видах деятельности? Разве я ежедневно не отдаю всего себя отчизне?

На самом деле Наполеон отдает всего себя своему делу, а называет это дело отчизной. Но вполне по-человечески, с тихой жалобой и высокой иронией конца прозвучали на острове слова:

— Я нес этот мир на своих плечах. Все же довольно утомительное занятие.

Х

Этот остров был создан вулканом, извергшимся тысячи лет назад. Теперь посреди моря высится мрачная группа скал, из воды в небо торчат отвесные стены из черного базальта, изрезанные глубокими трещинами. Когда судно приближается к острову, ущелье над гаванью кажется воротами ада, а черные стены — созданными руками демонов. Человеческой рукой произведены лишь пушки, стоящие меж выступов скал и жерлами встречающие приезжего. Земля, когда делаешь первый шаг, как-то странно звенит под ногами — следствие землетрясения, застывшая лава. Путь, на который мы вступаем, это путь смерти.

Потухший вулкан в Мировом океане, в двух тысячах миль от Европы и почти тысяче миль от Африки, утыканный английскими пушками: остров Святой Елены — скала, на которой окончится жизнь этого одержимого человека.

Внутри острова стараниями нескольких фермеров и Ост-Индской компании построен прелестный городок. Сотни фрегатов постепенно навезли сюда плодородной земли, строительного камня и древесины, но, поскольку без принуждения жить на острове никто не желает, нужны 1200 черных рабов и китайцев, чтобы обслуживать 500 белых, оседающих здесь на несколько лет.

Но навсегда не остается никто. На этом острове никто не доживал до шестидесяти и лишь немногие — до пятидесяти: климат тут убийственный. Тропики — без солнца, экваториальная жара в сочетании с ливнями, в течение часа дикий зной сменяется холодным дождем. Человек, только что истекавший потом, вдруг подвергается порывам внезапно налетевшего холодного юго-восточного пассата, приносящего влагу, паром отскакивающую от раскаленных скал. Человек, решившийся после знойного дня выйти на воздух, тут же начинает задыхаться. А проживший тут год страдает от дизентерии, головокружений и лихорадки, от рвоты и сердцебиения, но прежде всего — от болезни печени. Каждый раз, когда Англия пыталась стационарно разместить здесь эскадру военных кораблей, она теряла сотни матросов. Чиновники и плантаторы, как и члены их семей, заболели и через некоторое время покидали остров, если только не владели одним из четырех или пяти участков, защищенных от ветра.

У местных жителей самым гиблым местом считается холодная плоская скала, нависающая над морем на высоте 500 метров. Скала эта расположена на подветренной стороне острова и всегда окутана туманом, круглый год порождающим дождь. Там растут жалкие каучуконосные деревца, иссушенные пассатом, искривленные, изуродованные могучими ветрами. Это и есть Лонгвуд — место, которое Англия выбрала, чтобы наверняка изничтожить своего больного врага. До этого он жил несколько месяцев в скромной, но более здоровой обстановке.

Дело в том, что Лонгвуд в течение пятидесяти лет использовался как скотный двор, и только в последний момент его превратили в жилой дом. Негры и матросы прямо поверх навоза настелили половые доски, даже не убрав оставленные скотом экскременты. Поэтому вскоре после вселения в этот дом императора сгнившие доски провалились, вонючая жижа разлилась по полу, и он вынужден был перебраться в другую комнату. Из коровника, прачечной и конюшни сколотили для Наполеона и его спутников некое подобие дома, в котором ему отвели шесть каморок. В спальне, темной и тесной клетушке, на бумаге, которой обклеены стены, видны большие пятна азотной кислоты,

здесь пахнет кухней, как и в той задней комнатухе кафе, где Бонапарт жил в лейтенантские годы тридцать лет назад. Но там книги оставались сухими, а здесь они покрываются плесенью. Столовая освещается только через стеклянную дверь, скудную мебелировку гостиной составляют несколько предметов красного дерева, источенных червем, мансардные каморки для слуг после дождя заливаются, так как эта часть кровли покрыта всего лишь толевым картоном.

Император живет в двух комнатах, каждая имеет четыре метра в длину и три в ширину, высота — два с половиной метра. В спальне — потертый ковер, муслиновые занавески на окне, камин, крашенные деревянные стулья, два столика, комод, диван. В расположенном рядом кабинете вокруг пустого стола стоят несколько стульев, на грубо сколоченных стеллажах теснятся книги, стоит тут и кровать, так как он ночью, страдая от бессонницы, иногда переходит из комнаты в комнату. В спальне находятся и несколько привезенных им вещей: его походная кровать из Аустерлица, серебряная лампа и серебряный таз для умывания.

Эти комнаты и весь дом населены огромными крысами, которые загрызают кур во дворе и кусают за ноги лошадей, генерала Бертрана однажды укусили в руку. А иногда они выскакивают из треуголки императора, когда он до нее дотрагивается.

Кто живет в этом доме, кроме крыс?

Три графа и один барон с семьями, все они — офицеры и вельможи, кроме того — два камердинера и прочие слуги императора с семьями: всего около сорока человек прибыли сюда с ним. Через шесть лет, в конце, здесь оказывается только половина прибывших.

Лас-Каз, приехавший сюда с подростком-сыном, выдерживает только год. Маркиз и эмигрант, старше императора, отпрыск аристократов, в империи Наполеона он стал графом, но только в период Ста дней вошел в его ближайшее окружение. Столь же достойный уважения, сколь и умудренный опытом, к тому же литератор, выпустивший ряд книг по страноведению, он заранее рассчитывает на ценность дневника, который напишет и который позже принесет ему миллионы. Ростом он еще ниже императора и так худ, как когда-то был генерал Бонапарт. Высокообра-

зованный, с ровным характером, услужливый и предупредительный, Лас-Каз стал самым приятным компаньоном и секретарем для пленника, он рассказывает ему парижские анекдоты о Наполеоне и таким образом раскрывает императору забавную оборотную сторону его великой карьеры. Давая императору уроки английского, он расширяет круг его чтения, а просматривая письма Наполеона, адресованные англичанам, подчеркивает языковые ошибки. И когда Лас-Каз под благовидным предлогом уезжает с острова, Наполеон чувствует возникшую пустоту, которая в последующие годы так и не заполнится.

Потому что Бертран, некогда губернатор Иллирии, всей душой предан императору, но легко раним и слишком горд, чтобы писать под диктовку. В остальном он был бы безупречно пассивен, если бы не боялся собственной жены. Красивая креолка-полукровка с головой молодого лорда, еще при отъезде из Англии она была против жизни на острове и в Плимуте хотела броситься с борта в воду. Теперь она с первого дня устраивает мужу сцены, мечтает о Париже, оплакивает свою молодость, много общается с англичанами, и, когда император за обеденным столом видит ее место пустым и говорит, что его дом — не табльдот, Бертран обижается и на следующий день тоже не является к столу. Хозяин дома грустнеет, отказывается от еды и тихо произносит трогательные слова: «Когда в Лонгвуде проявляют неуважение ко мне, это ранит меня больше, чем в Париже».

Гурго невыносим. Молодым генералом и адъютантом императора он участвовал в последних походах, из привязанности к нему последовал на остров, но оказался совершенно неспособным проникнуться пафосом возложенной на него миссии. Увидев спустя несколько недель после приезда первую элегантную женщину, Гурго восклицает — уже в дневнике: «О свобода, зачем я пленник!» Император его ценит как генштабиста, с ним он может обсуждать стратегические проблемы: Гурго разбирается в картах и в математике. Но не проходит дня, чтобы Гурго не обиделся: врожденное тщеславие и зависть чудовищно обостряются из-за ужасающей узости круга лиц, и он становится главным носителем гротеска, закручивающегося вокруг императора с первого дня на острове. У Гурго голова злобного

пса. В дверях он не хочет пропустить Лас-Каза вперед, император тщетно пытается утихомирить его и только приказом предотвращает дуэль: «Вы последовали за мной, чтобы смягчить мою участь, так относитесь друг к другу по-братски! Разве меня, заботящегося о вас, уже нет с вами и разве вы не видите устремленных на вас чужих глаз?»

На этом скалистом острове император учится терпению и снисходительности, в первую очередь по отношению к Гурго. Много раз он по-отечески уговаривает его ладить с другими людьми, соблазняет женитьбой на своей богатой родственнице с Корсики, посылает, словно сына, повеселиться на небольшом празднестве в городке: «Там вы увидите баронессу Штюрмер и леди Лоу, в вашем возрасте красивые женщины всегда возбуждают, ночью вы погрузитесь в приятные видения и утром будете больше настроены по-рабать. Мы будем беседовать о русском походе, я бы очень хотел услышать ваше мнение о его подготовке». Глас из преисподней. Но назавтра Гурго вновь устраивает скандал, возмущенный тем, что на групповом портрете, написанном камердинером, он изображен в штатском. А послезавтра он утверждает, что в Бриенне спас жизнь императору, пронзив кинжалом напавшего казака. И когда оказывается, что император ничего об этом не знает, Гурго возмущается: весь Париж говорил об этом случае! Император улыбается: «Вы храбрый человек, но удивительно ребячливы».

Слуга Лас-Каза украл у Гурго крест с бриллиантами, и император, дабы избежать очередного скандала, вынужден положить крест себе в карман и вернуть его владельцу, сообщив, что сам его взял. Но когда Гурго после этого начинает брюзжать, что ему мало платят, а его матушка живет в нужде, то император вдруг набрасывается на него: «Мы здесь на поле боя, генерал! И кто обращается в бегство из-за того, что ему мало платят, тот трус! Я не обязан испытывать к вам благодарность! Во Франции вас бы повесили, потому что в пятнадцатом году вы командовали войском!» Так в редкие моменты из души императора бурно вырывается правда. Потом Наполеон объявляет, что тот спокойно может уехать. На следующий день:

— Ну, Гурго, какую же кислую мину вы состроили! Ра-

зотритесь лучше холодной водой, это помогает. И умерьте свою фантазию, она сведет вас с ума... Когда умру, у меня не останется никого из близких, кроме вас. Правда, я уже не богат, но несколько миллионов у меня все же осталось. Помимо этого вам достанутся мои записки. Мне хорошо известны ваши заслуги. Но мне хочется видеть вокруг веселые лица, а унылые наводят на меня еще большую тоску... Не полагаете же вы, что у меня не бывает тяжелейших минут, особенно ночью, когда я просыпаюсь и думаю о том, кем я был и кем стал?

Когда перед немногочисленной компанией, собравшейся за столом, внезапно произносятся такие страшные слова, и все молчат, содрогаясь от ужаса, — то на несколько дней умолкают ссоры и свары, чтобы потом вновь вспыхнуть из ничего. После двух лет ссылки Гурго не выдерживает и, подружившись с англичанами, покидает императора и остров, заручившись рекомендательными письмами от губернатора, смертельного врага своего патрона.

Граф Монтолон дольше всех верен императору. Десятилетним мальчишкой он учился математике у капитана артиллерии Буонапарта, потом под командованием своего учителя сражался бок о бок с ним в сорока битвах, часто бывал при дворе и докажет свою верность этой семье еще десятилетия спустя: шесть лет жизни жертвует он императору на этой скале, а впоследствии еще шесть лет проведет в заключении вместе с его племянником, Наполеоном III. Жаль только, что его супруга, спокойная и преданная женщина, не выносит графиню Бертран и слишком громко заявляет, что новорожденная дочь этой графини потому и теряет в весе, что у той молоко негодное.

Тем временем графиня Бертран рассчитывает на то, что ее старший сын наверняка станет маршалом, если к власти придет Наполеон II. Какие завистливые помыслы гнездятся в этих придворных умах! В конце концов и графиня Монтолон вместе с детьми покидает императора и остров.

Кто же действительно предан, от всей души и до конца?

Трое слуг: камердинер Маршан, служащий у императора последние четыре года, и двое корсиканцев, которых Наполеон прихватил с собой при последнем прощальном визите на Корсику и таким образом невольно связал остров сво-

его начала с островом своего конца. Эти слуги не помышляют о том, чтобы общаться с англичанами, которые очень хотели бы их порасспросить. У Киприани есть на то еще особая причина: однажды, будучи сержантом французской армии, он внезапным налетом занял остров Капри, а губернатором на Капри был тот, кто теперь губернатор на Святой Елене. Второй корсиканец, Сантини, иногда берет выходные, чтобы поохотиться на птиц, но потом выясняется, что он поставил себе целью сначала пристрелить «это чудовище, губернатора», а потом и себя самого.

Император гневно запрещает ему это, ибо в Европе после такого поступка все заподозрят его самого. Однако, когда слуга уходит, Наполеон удовлетворенно думает: вот каковы мы, корсиканцы!

XI

Худощавый господин средних лет с суетливыми движениями, рыжеволосый, веснушчатый, с лишаем на щеке и острым кадыком, с белесыми бровями и глазами, избегающими смотреть в лицо собеседнику, облаченный в английскую генеральскую форму, и есть главный тюремщик, губернатор острова.

Он живет в своего рода загородном замке, окруженном самым старым и пышно разросшимся парком острова, в той его части, что наилучшим образом защищена от ветров. После его первого визита Наполеон сказал: «Отвратительно! Роба настоящего висельника! Он глядел на меня глазами гиены, попавшей в капкан. Вероятно, он и есть мой палач».

Не за должность так презирал Гудсона Лоу его узник: с английскими офицерами, жившими на острове, а также с английским адмиралом Наполеон был в хороших отношениях. Но Лоу был некогда английским Фуше в миниатюре, шефом шпионажа в Италии, и понимал новое деликатное задание в духе своей прежней должности. Конечно, покой Европы зависит от его бдительности, и, поскольку там ценят спокойный сон выше величия, часть общественного мнения подстрекает его на жестокое обращение с узником.

Ведь в английской прессе его пленник сравнивается со знаменитым лондонским мошенником, чья ссылка как раз в это время произвела сенсацию, и если один из самых влиятельных английских журналов клеймит его позором как убийцу военнопленных в Яффе, называет его сестер шлюхами, а Мюрата — кельнером, то честь Англии спасает только либеральная партия и протест двух аристократов в верхней палате парламента — герцога Суссекса и лорда Холенда. Леди Холенд осмеливается посылать Наполеону книги и фрукты, другая аристократка, раньше намеревавшаяся создать для борьбы с императором отряд амазонок, теперь мужественно выступает в Лондоне в его защиту, известный английский юрист доказывает двадцать одним тезисом неправомерность пленения Наполеона после заключения мира, Томас Мор и лорд Байрон защищают честь Англии перед историей. Честь Германии спасают многолетние нападки газет на позицию Лоу.

Ибо губернатор превращает весь остров в застенок. Инструкция из 24 пунктов указывает каждому пристающему в гавани судну, какие кары здесь грозят за совершение тех или иных действий, на улицах городка развешаны объявления, запрещающие любые контакты с французами, для доступа в Лонгвуд требуется особый пропуск. Любое передвижение поблизости от этого места контролируется: шесть лет кряду английские офицеры наблюдают в бинокли за домом узника, но им редко удается обнаружить еще что-то, кроме ящериц на его крыше. Сигнальными флажками губернатору сообщают, когда генерал Бонапарт выехал за пределы четырехмильной зоны, с сопровождением или без оного. Только один флажок ни разу не поднимался, — голубой, сообщающий страшную весть: генерал Бонапарт исчез.

Лонгвуд окружен каменной оградой длиной в четыре километра, вдоль нее каждые 50 метров стоят часовые, ночью они подтягиваются ближе к дому. Если император зовет к себе Бертрана после девяти часов вечера, то тот является под конвоем двух солдат со штыками наперевес — так положено по инструкции.

Император, за тридцать лет привыкший к поездкам верхом, не имеет права покидать свою территорию без со-

провождения английских офицеров, а в их сопровождении может удаляться только на расстояние до восьми английских миль. Он протестует, «не потому, что вид красного мундира мне досаждаёт больше, чем какого-нибудь другого, все солдаты после боевого крещения равны. Но я не желаю терпеть действий, показывающих мне, что я пленник». В первое время, когда Наполеон ещё бывал в хорошем настроении, он однажды приказал английскому офицеру отстать, помчался вместе с Гурго, не разбирая дороги, и влетел в сад одного фермера: «Только никому не говорите, что мы здесь были». Однако позже, задумав выехать на прогулку, он вдруг отказывался ехать, когда лошади были уже оседланы, так как не мог вынести вида сопровождающего англичанина.

Последствием всего этого были болезнь и ускоренное приближение конца — в довершение того, что уже сотворил климат. Из-за недостатка движения у него опухли ноги, и, поскольку ему неделями не привозили ни свежей питьевой воды, ни молока, в то время как губернатор беспрерывно пировал, боли в желудке узника быстро усилились. А когда больной захотел получить кровать пошире, чем его походная койка, то оказалось, что для этого комната мала и пришлось диван придвинуть к кровати.

Деньги у Наполеона и его свиты отобрали. А так как письма во Францию, в которых император просит выслать ему денег, перехватываются, то он несколько раз выставляет на аукцион часть столового серебра. Когда оптический телеграф сообщил об этом губернатору, тот запретил жителям острова покупать серебро у затворников. Когда спустя полгода на остров приходят газеты, отражающие возмущение Европы этим поступком, губернатор приходит в бешенство, измысливает новые ограничения, посылает в Лонгвуд несъедобное мясо и скисшее вино.

Буквально как злодей в сказке, Лоу изобретает все новые и новые гадости без всякой цели, только чтобы оскорбить пленника. В день годовщины битвы под Ватерлоо он устраивает большой парад у самого Лонгвуда, приглашает императора к себе на празднование дня рождения принца-регента. Если почта доставляет очередную карикатуру на Наполеона, Лоу пересылает ее в Лонгвуд. Когда на остров при-

бывает бюст короля Рима работы одного из поклонников императора, губернатор пытается воспрепятствовать его передаче под тем предлогом, что внутри могут быть спрятаны какие-то послания. Письмо пленника принцу-регенту, в котором Наполеон просит сообщить ему что-нибудь о жене и сыне, Лоу утаивает от своего законного правителя. Приезжего ученого-естествоиспытателя из Вены, своими глазами видевшего ребенка, он не разрешает пропустить в Лонгвуд, а когда благодаря сжалившейся над пленником уборщице и преданности камердинера локон мальчика в конце концов все же попадает в руки отца, Лоу посылает в Англию длинный отчет, предупреждающий об опасностях, явном исходящих от узника.

В самом начале тюремщик несколько раз получал возможность видеть пленника. «Выбросите эту чашку с кофе, — сказал после его ухода император. — Этот человек до нее дотронулся». Лоу делает все, чтобы приблизить смерть императора. Когда силы императора слабеют, он отзывает английского врача, пользующегося доверием пациента, поскольку тот отказывается сообщать ему другие сведения, кроме чисто медицинских, и за самим доктором устанавливается слежка. Ибо вокруг Лонгвуда и по всему острову губернатор сплел целую сеть шпииков, следящих за всеми офицерами и, в конечном счете, друг за другом: так вокруг этого небольшого домика вскоре возникает клубок интриг, а внутри него — клубок ревности и зависти таится по углам всех комнат, как некогда в Тюильри.

На третий год пленения доктор О'Мира сообщил в Лондон, что из-за климата, сырости в доме, малоподвижного образа жизни и постоянных оскорблений болезнь печени у императора угрожающе усилилась: «Удивительно, что болезнь не прогрессирует еще быстрее, это можно объяснить только энергией, с которой пациент борется со своей болезнью, и благодаря его организму, не ослабленному какими-либо эксцессами». Это сообщение попало на стол к министру иностранных дел и наверняка также к принцу-регенту, но, несмотря на это, императора еще три года держат на скале, вместо того чтобы перевести, например, на Азорские острова. Все это доказывает злонамеренность властей, а Лоу лишь с готовностью им подчинялся.

Политическая дьявольщина души Лоу выпирает из одной фразы его служебного донесения: «Я устрою, чтобы он мог вновь выезжать на лошади, иначе он еще умрет от апоплексического приступа, что может поставить нас в неловкое положение. Мне кажется, будет лучше, если он зачахнет от длительного недуга, чтобы наши врачи могли констатировать естественную причину смерти».

В первое время император пишет официальный протест, занимающий двенадцать печатных страниц, в котором суммирует все свои претензии, и тайком дает скопировать его на шелке, чтобы потом тайно переправить в Европу. В этом тексте Наполеон заявляет также, что возражает против обращения «генерал», потому что тем самым дезавуируются его посты Консула и императора, на которые он был избран народом. Кроме того, он предлагает называться впредь Дюроком или Мюироном, в память о своих павших адъютантах, однако Англия отказывает ему в этой «привилегии коронованных особ». А губернатор даже попытался вернуть ему букву «у» и превратить в «Буонапарте».

Вскоре дело доходит до стычек. Мужская воинственность вновь вспыхивает в обоих, император испытывает к своему тюремщику ненависть, которую раньше не выражал словами. В Лонгвуде тоже есть своя сигнализация, хотя и не передающаяся флажками. Когда губернатор приближается к ограде, император поспешно скрывается в доме, чтобы через камердинера отклонить его визит. Но однажды, когда тот неожиданно застает его в саду и прямо требует сократить расходы, из императора выплескивается офицер:

— Как вы смеете говорить со мной о таких мелочах! Вы, обыкновенный тюремщик! Вы командовали лишь бандитами и дезертирами! Я знаю имена всех английских генералов, отличившихся в боях. А о вас я знаю только, что вы были писарем у Блюхера и главарем разбойников, не имевшим чести командовать настоящими солдатами... Не посылайте мне вообще никакой еды! Я буду есть с храбрыми солдатами вашего полка, никто из них не откажется разделить свою трапезу со старым солдатом. Вы можете распорядиться моей жизнью, но не моим сердцем. Оно и на этом каменном острове такое же гордое, как тогда, когда вся Европа слушалась моих приказаний... Вы с вашей гру-

бостью и сноровкой способны на любые поступки. И яду бы мне дали, коли б хватило мужества или был бы получен приказ!

Губернатор молча поворачивается кругом, вскакивает в седло и скрывается из виду. Император опять сравнивает Раньше и Теперь, но не добавляет, что раньше он бы его уничтожил. Нет, он говорит: «В Тюильри я бы покраснел от такой сцены».

Теперь губернатор день и ночь выжидает, из-за каждой мелочи торгуется с приближенными императора, но его самого больше не видит... Однажды он все же вновь является, получает отказ, настаивает: он должен своими глазами удостовериться, что генерал еще тут. Слуга докладывает об этом хозяину. И губернатор слышит из-за двери, как император кричит:

— Скажите ему: он может захватить с собой топор палача, когда захочет. Но войдет в мою комнату только через мой труп. Дайте мне мои пистолеты!

Губернатор воочию убедился в присутствии генерала только на его смертном одре.

XII

Император старается вставать с постели как можно позднее — так день кажется короче. Он звонит, входит Мармон, император надевает халат из бумазеи, но куда не снимает красный ночной колпак из мадраса, в котором спал, — эту слабую пародию на столь желанный ему некогда тюрбан. Обтирается холодной водой, но одеколону у него тут уже нет. Потом приходит доктор О'Мира — с ним можно говорить по-итальянски, — и император выслушивает мелкие «новости острова». Иногда к кофе нет сахара. Прибыл ли уже ожидаемый корабль со свежими газетами? Нет. Затем приходит Гурго, начинает записывать под диктовку. На чем мы остановились? На пирамидах? Диктуя, Наполеон расхаживает по пустой комнате, карта Египта лежит на столе.

Завтрак с Гурго, поскольку он все равно тут. Разговор о палисадах большей частью — в спальне, лежа на старом,

просиженном диване с полотняной обивкой. В родительском доме на том, другом острове было куда уютнее. Несколько номеров «Монитора». Если чтение наскучит и книга начнет клониться на грудь, его взгляд падает на портрет жены и сына, написанный Изабэ. Рядом, на выкрашенном белой краской возвышении, он видит двух орлов из Сен-Клу, служащих светильниками, а между ними — мраморный бюстик сына и на поблекшей позолоченной раме зеркала — четыре миниатюры его ребенка. Там же висит и портрет Жозефины, золотые часы из Риволи с цепочкой, сплетенной из белокурых волос Марии Луизы, а рядом — серебряные часы с боем, принадлежавшие некогда Фридриху Великому.

Переодевание к обеду: старый зеленый сюртук, орден Почетного легиона, чулки и туфли с пряжками. Слуги облачены в парижские ливреи с золотом, в душевной комнате на столе сервиз северского фарфора, украшенный картинками наполеоновских битв, стеклянные колпаки для сыра, увенчанные орлами, канделябры. Киприани нарезает мясо для Его Величества и церемонно подает на стол. Обмен краткими репликами, к примеру о парижских ценах. При этом Наполеон сухо упоминает, во что обошелся трон и скипетр. После трапезы в гостиной читают вслух Корнеля — всегда одни и те же пьесы. Император читает темпераментно, то есть плохо. Некоторые клюют носом. «Мадам, вы спите! Гурго, проснитесь!»

— Слушаюсь, Сир.

Иногда — партия в шахматы с Бертраном или в карты с Монтолоном. Потом император удаляется к себе.

— Который час?

— Одиннадцать, Сир.

— Еще одна победа над временем. Еще одним днем меньше.

Так прошло более двух тысяч дней и ночей. На походы в Египет, Италию и на государственный переворот Наполеону понадобилось вдвое меньше времени.

Лучшее времяпрепровождение — чтение и диктовка. В течение последних двадцати пяти лет у Наполеона не было времени читать, а до того он проглотил и законспектировал целую библиотеку. Что он читает теперь?

То, чего не читал в юности. Раньше его интересовала история, сегодня — поэзия, причем именно те поэты, которые затрагивают и его судьбу. Героический эпос Наполеона окончен, и он сравнивает его с героическим эпосом других героев.

«Илиада» для императора — идеал. Иногда он до полуночи читает из нее вслух: «Только теперь я понимаю Гомера, он, как и Моисей, сын своего времени: поэт, оратор, историк, законодатель, географ, теолог... Более всего меня поражают грубые манеры героев, при том что мысли их парят в идеальной вышине». Так Наполеон успокаивает себя «Илиадой». «Одиссея» волнует его меньше, он чувствует, что ее герой — всего лишь авантюрист, а сам он — нечто большее. Помимо Гомера Наполеон восхищается также «Эдипом» Софокла — трагедией изгнания, «Агамемноном» Эсхила, «Потерянным раем» Мильтона и Библией. Корнель и Расин утверждают на французский лад античного героя, к которому вот уже тридцать лет тянется душа Наполеона. Оссиан слышится ему в шуме волн Атлантики, он читает его по-итальянски. Наряду с древними авторами император читает, например, Мольера, которым пренебрегал в свои зрелые годы, «Фигаро», «Севильского цирюльника». А также все современные мемуары и брошюры, в особенности те, что направлены против него.

День, когда с родины привозят по морю новые ящики книг, — великий праздник. Так что мало-помалу в пустой и сырой комнате библиотеки набирается три тысячи томов. Жаль только, что читает Наполеон по диагонали, поэтому слуга часто уносит обратно охапки книг, только вчера взятых с полок: все прочитанное или отвергнутое тут же летит на пол.

Поначалу император выдерживает свой прежний темп, за тридцать лет привыкнув делать все очень быстро, он забывает, что нынче его задача — тянуть время.

Когда при первом расставании с гвардией Наполеон обещал, что на острове Эльба опишет ее подвиги, то это был для него просто выход из положения — на случай, если ему придется там страдать от вынужденного безделья. Во время той, первой ссылки он ни к чему такому даже не приступил. Зато теперь в первый же год император диктует

все тома своих мемуаров. Но и это, как и все в его жизни, начинается случайно, под влиянием сиюминутного настроения: как раз прибыли брошюры, искажающие его высадку в Каннах в 1815 году. Он тотчас начинает рассказывать доктору, как все было на самом деле, втягивается в повествование, расхаживает по комнате, жестом подзывает графа Монтолона и диктует тому на одном дыхании, не прерываясь, главу о своем возвращении с Эльбы — воспоминания о Ста днях. И вдруг умолкает: до чего все это бессмысленно!

В другой раз Наполеона взволновало сообщение из нижней палаты парламента: он диктует четырнадцать часов кряду без перерыва, секретари выбиваются из сил, смеются друг друга, он смеется над ними и продолжает говорить. А однажды ночью, мучаясь от бессонницы, император зовет Монтолона, чтобы продиктовать тому какой-то раздел, относящийся к последнему времени.

Поскольку больше всего он любит рассказывать о своих первых победах, то люди из его окружения вначале советовали ему: «Может быть, Ваше Величество, могли бы заняться Италией, Египтом и консульством?» — «Заняться...» Никто не замечает, и меньше всех — он сам, что об этих событиях говорят, словно о Тридцатилетней войне. Несколько недель Наполеон диктует рассказ о событиях 1896—1899 годов, все время шагая по комнате, под хлопанье входной двери, под приглушенные разговоры в соседних помещениях. Все это мешает пишущим, а император ничего не замечает. Чем решительнее его поступь, сообщают они, тем лаконичнее его фразы. Если он возбужден, то дышит громко и учащенно.

Когда Лас-Каз, закончив описывать под диктовку сражение при Арколе, восклицает: «Это прекраснее «Илиады»!» — император корчит хитрую мину и смеется: «Ба! Вы все еще думаете, что находитесь при дворе! Я перепису эту главу раз двадцать, пока не останусь доволен». Эти слова — лишь циничная защита от лести, ибо Наполеон и не думает ее переписывать: когда ему читают вслух написанное, он лишь кое-что исправляет.

Но сражение под Ватерлоо он диктует много раз. Поскольку никак не может постигнуть исхода сражения, пере-

вернувшего его судьбу, и все время ищет новые формулировки. И когда благодаря содействию симпатизирующих ему английских офицеров выпадает случай переправить его записки в Европу, он опять долго работает над текстом о Ватерлоо, дабы принизить во мнении Европы заслугу Англии, но: «Эта работа всегда настраивает меня на грустный лад».

В томах воспоминаний Наполеона попадают искаженные данные, но не потому, что его подвела память, а потому, что им руководило желание закрепить за собой определенное место в истории. Однако таких искажений не больше, чем в трудах Цезаря, да они и несущественны. Например, император утверждает, что, будучи еще лейтенантом, получил от Лионской академии Золотую медаль за решение ценовой проблемы и вырученными за нее деньгами помог матери. Или приписывает себе заслуги в некоторых сражениях, которые на самом деле принадлежат его генералам, например при Маренго. Либо придумывает проект договора, в котором царь до войны с Россией якобы предложил ему раздел Европы. Во всех этих случаях лишь смазаны характеры некоторых персонажей, но не основные линии его собственных поступков. Поскольку Наполеон описывает время своего подъема, он не может коренным образом исказить истину: по сравнению с безмерными последствиями этих первых побед хвастовство рассыпалось бы в прах как клевета. Несмотря на это, все тома продиктованных воспоминаний, касающиеся почти исключительно полководческих дел, ничего не дают для понимания сути Наполеона — по сравнению с другими томами, содержащими его последние признания, сделанные в разговорах с окружающими и записанные ими.

Наполеон, почти всегда идущий от событий к идеям и почти никогда от идей к событиям, и теперь, прочитав какую-то парижскую новость, диктует возражения специалиста или расчеты финансиста. Сидя на крошечном скалистом острове, в тесной комнатухе, он отвечает на мнения, доносящиеся извне, хотя они вовсе не обращены к нему и его опровержений никто не услышит. Иногда Наполеон вдруг решает, что начнет писать книгу по военному искусству, но потом бросает эту мысль, «ибо тогда генералы,

терпевшие поражения, скажут, что они лишь следовали моим принципам... Я бы мог сделать из них превосходных полководцев, если бы они попали ко мне в ученики, ибо я — хороший преподаватель, но публиковать свои принципы не стану». Так сильно не доверяет любой теории этот человек практики, сиюминутной ситуации. Но если наталкивается — к примеру, в книжке — на какой-то частный вопрос, то просит Гурго рассчитать, сколько воды может дать пожарный насос, используемый как средство борьбы с пороховым взрывом.

Иногда удается скоротать день благодаря общению с окружающими или гостями. Он охотно принимает английских путешественников, ученых и колонизаторов: они распространят в Европе весть о сохранившейся живости его ума. Наполеон хочет этого: ведь публикация дневника возвратившегося в Европу Лас-Каза породила на всем континенте новые симпатии к императору.

— Пусть ваши жалобы услышит вся Европа! Сам я жаловаться не стану. — И добавляет мрачно: — Я приказываю или молчу.

Иногда визитеры рассказывают ему интересные вещи. Один английский адмирал, чьи корабли во время битвы под Ватерлоо стояли на якоре у побережья, признался, что Веллингтон уже отдал приказ войскам возвращаться на корабли, поскольку Блюхер не появился в условленный срок. И когда император позже слышит от своих близких, в каком восторге уехали от него эти вражеские офицеры, то говорит тоном революционера: «Ясное дело, эти люди — нашего поля ягоды. Все они родом из третьего сословия и потому прирожденные враги своей надменной аристократии».

Солдаты всегда на его стороне. Английские матросы, приставшие к берегу на несколько дней, дожидаются ночи, прокрадываются к его дому и предстают перед ним с цветами в руках, запинаясь и бормоча что-то непонятное. Император похлопывает их по плечам. Когда на острове происходит замена гарнизона, Наполеон принимает у себя офицеров так, словно они — французы, а он — их командующий: все стоят полукругом, он спрашивает: сколько лет служите? сколько раз ранены?

— Я был весьма доволен полком. И всегда с интересом выслушаю сообщение, что ему удалось отличиться. Вы опечалены, адмирал Бингхэм, что эти brave солдаты покидают вас? Чтобы утешиться, сделайте вашей супруге маленького Бингхэма.

Солдатский хохот. Адмирал заливается краской. Когда на следующий день фрегат отчаливает, солдаты кричат своему пленнику троекратное «Ура!». Три месяца спустя об этом случае знает вся Европа.

Союзники Англии посылают на остров по одному представителю — лишь для удовлетворения личного любопытства своих суверенов. Поскольку пленник отказывается их принять, четверо господ проводят годы на затерянном острове посреди океана, даже в глаза не видя того, ради кого они здесь: новый центр интриг со скуки. Единственный, с кем император позволяет общаться своей свите, это маркиз Маркиз, которого благонравный король Людовик XVIII послал на остров для наблюдения за своим могучим предшественником. Маркиз Маркиз посылает императору свежие газеты и регулярные выдержки из получаемых им новостей, за это император дает ему почитать книги из своей библиотеки, а когда приходит известие, что во Франции убит герцог из рода Бурбонов, генерал Бонапарт через аристократа графа Бертрана выражает аристократу Маркизу свое соболезнование. Чистой воды комедия.

В часы хорошего настроения император старается развлечься. Однажды он целый вечер листал императорский альманах, а закрыв его, сказал: «Прекрасная была у меня империя. Я правил восьмьюдесятью тремя миллионами — больше, чем половиной народов Европы!» Другой вечер он проводит, болтая с Лас-Казом о событиях юности, оба помногу смеются, император приходит в веселое расположение духа, велит принести шампанское, и, когда часы показывают одиннадцать, он удовлетворенно замечает: «Как быстро нынче летело время! Какой приятный был вечер! Дорогой мой, сегодня вы расстаетесь со счастливым человеком».

Слова, сильнее потрясающие душу, чем жалобы.

Или Наполеон сажает к себе на колени семилетнего сына Монтолона и рассказывает ему басню Лафонтена о волке и

ягненке, мальчик не все понимает и очень смешно путает ягненка, волка и императора, подарив ему тем самым счастливые полчаса. В другой раз он прохаживается после трапезы по комнате, тихонько напевая какую-то итальянскую арию и посмеиваясь: он только что прочел, что король Людовик всегда называет его господином Буонапарте.

Если императору не спится, Лас-Казу приходится рассказывать ему разные истории из жизни парижского высшего света. А однажды Наполеон предлагает Гурго: «Давайте обменяемся рассказами о своих любовных приключениях. У меня на них вечно не было времени. А то бы они завладели мной целиком». Если вдруг заскучает, принимая ванну, начинает доказывать Гурго, почему давление воды на погруженный в воду предмет равно весу этого предмета, помноженному на толщину водяного слоя. В другой раз локтем измеряет свой рост и рост всех окружающих, делая пометки на косяке двери в гостиной.

Иногда Наполеон вообще утром не одевается и не выходит из дому, чтобы отодвинуть то и другое на вторую половину дня. Однажды после очень знойного вечера он возвращается домой только в полночь и называет это настоящей победой. В другой день поднимается по лестнице в мансарду камердинера, об уютной обстановке которой был наслышан, велит показать его собственный гардероб, хранящийся там, удивляется, что у него еще есть так много всякой одежды, проводит рукой по своему консульскому мундиру, подаренному городом Лионом, по шпорам времен Ваграма, по плащу дней Маренго. Не говорит ни слова и спокойно спускается вниз.

На острове есть человек, вызывающий искреннее сочувствие Наполеона. Это раб-малаец по имени Тобиас. Его захватили в море вместе с рыбацкой лодкой, продали в рабство и поселили здесь. Император часто видит его работающим в саду или на дороге и не устает наблюдать за ним. Каждый раз он представляется: «Наполеон». И каждый раз малаец говорит на ломаном английском: «Хороший господин».

— Бедняга, — говорит император своему спутнику и, по всей видимости, видит в этом цветном, в этой твари Божьей, отражение самого себя, — у бедняги отняли все:

его семью, его родину, его самого украли и продали. Может ли быть преступление гнуснее этого? Если это совершил какой-то капитан, то он — худший из злодеев. Если же команда матросов, то с нее и спросить нечего: испорченность всегда индивидуальна, а не коллективна. У братьев библейского Иосифа не хватило духу его убить, а Иуда предал своего Учителя.

Какое же все-таки убогое существо — человек! И внешне люди непохожи друг на друга, и душа у каждого своя. Кто этого не понимает, делает много ошибок. Превратите Тобиаса в Брута, и он пойдет на смерть, в Эзопа — и он нынче был бы уже губернатором, в ревностного христианина — и он благословит свои цепи. Но он всего лишь бедняга Тобиас и поэтому не особенно обо всем этом задумывается, а просто смиряется перед судьбой и трuditся в поте лица.

Они идут дальше:

— Разумеется, бедному Тобиасу далеко до короля Ричарда Львиное Сердце. Но постыдность совершенного преступления от этого не меньше, потому что у этого человека были семья, друзья, своя жизнь. Какое злодейство — приговорить его к пожизненному рабству на этом острове!

Внезапно он останавливается, вперившись глазами в лицо Лас-Каза:

— Я читаю по вашим глазам: вы думаете, что он здесь — не единственный, кому приходится сносить такое. — И когда Лас-Каз кивает, император продолжает с юношеским жаром:

— Такое сравнение совершенно ложно! Пусть даже нас убивают здесь более изощренно, но ведь мы и жертвы другого полета... На нас смотрит весь мир! Мы — мученики бессмертного дела! Миллионы оплакивают нас, отечество горько вздыхает, слава грустит. Мы здесь боремся против угнетения всех Божьих созданий... Несчастье тоже включает в себя и героизм, и славу. Если бы я скончался на троне, на вершине власти, я остался бы для многих загадкой. Ныне оболочка слетела, благодаря моему несчастью каждый может судить обо мне просто как о человеке.

Позже император выкупает раба у его господина и хочет послать на родину, к семье, однако губернатор запре-

щает: «Очевидно, генерал Буонапарте хочет привлечь на свою сторону цветных, живущих на острове, чтобы создать вторую негритянскую империю, как в Сан-Доминго».

Так малаец Тобниас остается пленником и рабом в чужом краю, как и император.

XIII

«Я уже очень стара и не знаю, вынесу ли путешествие в две тысячи миль. Но что с того. Если умру там, то по крайней мере умру у тебя».

Лишь один такой голос из внешнего мира проникает на Святую Елену. С тяжким стоном читает и перечитывает император первое письмо матери, которое пропустили к нему спустя год. Но державы-союзницы отказывают ей в разрешении на поездку к сыну — почем знать, может, старуха сумеет его освободить. Высланная из Франции вместе со всем семейством, Летиция во второй раз в жизни не может вернуться на Корсику: в первый раз — из-за путча, теперь — из-за того, что сыну не задалась Европа. Вся ее жизнь в Риме, при поддержке Папы, посвящена беспрестанным попыткам добиться для сына места ссылки с более здоровым климатом. И хотя царь соглашается на это, но Австрия и Англия — против, и никто не может это решение изменить. Матери и сестрам даже не разрешают послать на остров деньги.

Когда короли собираются в Аахене, мать пишет им: «Мать, подавленная горем сильнее, чем это можно выразить словами, долгое время надеялась, что Ваши Королевские Величества и Высочества, собравшись вместе, вернут ей жизнь. Не может быть, чтобы Вы не стали обсуждать пленение императора Наполеона и чтобы Ваше великодушное, могущество и воспоминания о более давних событиях не подвигли Ваши Королевские Величества и Высочества к освобождению одного человека, которому Вы некогда выказывали дружеские чувства. Молю об этом Бога и Вас, поскольку Вы — его наместники на земле. Государственные интересы имеют свои пределы. А грядущие поколения, да-

рующие бессмертие, будут восхищаться благородством победителей».

Никакого ответа.

Позже пленник прочтет, что королевские особы обвинили его мать в корсиканском заговоре, нити которого протянулись по всей Франции, и даже точно называется количество миллионов, пожертвованных ею на этот заговор. Папа римский вынужден послать к престарелой даме своего государственного секретаря для выяснения обстоятельств. «Скажите Папе, — отвечает та, — чтобы и король об этом услышал: если бы у меня были все эти миллионы, которые мне приписывают, я не стала бы тратить их на вербовку сторонников для моего сына, у него их и так предостаточно. Я бы лучше снарядила флот, чтобы вывезти его с острова, куда его заточили без всяких оснований!»

С какой гордостью, с каким возвышающим душу чувством читает сын этот твердокаменный ответ своей матери! Но о словах, с которыми она отсылает домой одного австрийского аристократа, он так никогда не узнает: «Почему моя невестка слоняется по Италии, вместо того чтобы отправиться к своему мужу на Святую Елену?»

Вокруг каких светил вращаются другие планеты? Газеты приносят пленнику сообщения об иронии их судьбы.

Люсьен и Жозеф — в Америке, позже туда переселяется и Жером. Все трое принимают экзотические графские титулы. Своему бывшему королю испанские революционеры предложили корону Мексики. Это известие взволновало узника:

«Жозеф обязательно отклонит это предложение. Он слишком любит радости жизни, чтобы вновь добровольно взвалить на себя тяготы короны. Все же это было бы большим везением и для Англии, потому что таким путем она получила бы в свои руки всю торговлю с Латинской Америкой: ведь Жозеф, став королем Мексики, был бы вынужден порвать с Францией и Испанией. Для меня его согласие было бы весьма важно: он меня любит и использовал бы эту торговлю как средство давления на Англию, чтобы заставить ее изменить отношение ко мне. К сожалению, он наверняка откажется». В первый год плена Наполеон еще

преисполнен надежды и напряженно ждет новых поворотов в своей судьбе.

Остальные братья и сестры пребывают в неизвестности, лишь Жером проживет много лет и еще появится при дворе Наполеона III. От них император почти не получает писем. Каролина просит у матери денег, та отказывается: «Все принадлежит императору, от которого я это получила». Люсьену она пишет: «Если ты утратил королевскую корону, то роскошью лишь людей насмешишь. Кольца украшают пальцы, но кольца исчезают, а пальцы остаются». Гортензия и Полина вновь играют комедию, как некогда в Мальмезоне.

Другие известия занимают ум императора. Бернадог стал королем, и Дезире, юношеская пассия Наполеона, наконец становится королевой. Она тоже еще своими глазами увидит Вторую империю. Валевская, овдовев, выходит замуж за французского аристократа. Наполеон одобрительно относится к этому, прикидывает ее финансовое положение и то, что он сделал для ее сына, и говорит, обращаясь к Гурго совсем как авантюрист к авантюристу: «Наверняка у нее немало припрятано». Но бестактный Гурго напоминает, что император давал ей лишь 10 000 франков в месяц. Император заливаясь краской и немного смущенно спрашивает: «А вы откуда знаете?»

Короля Мюрата и маршала Нея расстреляли. Их патрон воспринимает эту участь как солдат и только задним числом сердится, что Мюрат был настолько глуп, чтобы высадиться на сушу в Калабрии. От прежней обиды на них — ни следа. Даже о Мармоне, преуспевающем при Бурбонах, он теперь судит более чем снисходительно: «Я сожалею о Мармоне, ибо я его любил. Он славный малый, а эти люди задели его чувства: он подумал, что спасает отчизну, и совершил безумный поступок. Лучше бы застрелился, чем сознательно идти на измену. До чего же слаб человек».

И тем не менее именно Мармон теперь вновь подавляет всякое движение в пользу изгнанника. По всей стране растет недовольство Бурбонами, и люди видят, что новые эмигранты и новые титулованные дворяне без всяких оснований вновь оказываются на высших должностях, а Ришелье, всю жизнь в эмиграции питавшего злобу к Фран-

ции, возносят на вершину исполнительной власти. Лафайет, старый борец за свободу, во главе пролетариев готовит новую революцию, в армии сплачиваются «люди грядущего дня», чтобы прогнать Бурбонов, которые удерживают власть только силой чужих армий. Радикальные провинции уже готовы поднять трехцветное знамя, и большая группа людей хочет посадить на трон Наполеона II. В это время именно Мармон, старейший соратник Бонапарта, подавляет восстание и становится министром.

Император очень внимательно читает обо всем этом, читает, как король распускает парламент, часть депутатов которого симпатизировала Орлеанской династии, другая часть — Наполеону, и казнит их главарей. Но кто же становится наиболее доверенным лицом Бурбонов? Кого же король часто называет «дорогой мой сын»? Ничтожного корсиканца, которого Летиция некогда сделала своим секретарем, чтобы дать ему средства на жизнь, хотя делать ему у нее было почти нечего. Поскольку все это происходит в первые годы ссылки, когда здоровье императора еще не было подорвано, он загорается надеждой и продумывает шансы нового переворота:

— Как жестоко поступает со мной судьба, — восклицает он, — именно теперь держа меня в плену! Кто возглавит все это? Кто изберет правильный путь, дабы спасти тысячи храбрецов от эшафота?! — потом долго сидит в одиночестве.

Вскоре в пределах видимости появляются чьи-то суда, английские крейсера их преследуют, на море опускается туман, до берега доносятся выстрелы, люди на берегу считают залпы. Что же это такое? Император посылает своих узнать, они возвращаются ни с чем, но все полны надежд.

— Какие же мы все дети, — говорит Наполеон на утро. — И я, вместо того чтобы служить вам примером, туда же. Будь я в Америке, я думал бы только о своем саде-огороде.

Однако Наполеон никогда не уехал бы в Америку. Вскоре он признается:

— Будь я в Америке вместе с Жозефом, вместо того чтобы страдать здесь, обо мне не вспомнила бы ни одна живая душа и дело мое погибло бы. Таковы люди. Может, я

проживу еще пятнадцать лет, но моя судьба — умереть здесь. Разве что Франция позовет меня к себе.

И все же надежды императора не напрасны. Правда, Англия увеличила численность местного гарнизона с 200 до 3000 человек и тратит ежегодно восемь миллионов франков на то, чтобы сторожить одного человека. Тем не менее кое-какие шансы остаются, ибо все солдаты на его стороне. Однажды бросают за решетку шесть офицеров из Рио-де-Жанейро, намеревавшихся похитить Наполеона с помощью плавсредства, похожего на подводную лодку. В другой раз два капитана судов, направлявшихся в Индию и ненадолго причаливших к здешнему берегу, предлагают Наполеону похитить его с острова. Он выслушивает это и отказывается. В третий раз Монтолон прерывает императора, диктующего Гурго, так как пропуск какого-то незнакомца истекает через час и нужно срочно принять решение. Монтолон пишет: «Императору было предложено вывезти его в Америку за миллион франков, оплата при высадке. Поначалу достаточно лишь его слова. К сожалению, я не могу сообщить подробности этого плана, потому что тем самым я невольно предал бы людей, которым должен быть вечно благодарен за проявленную ими верность императору. Император выслушал меня в глубокой задумчивости, молча прошелся по комнате, потом спросил меня и Гурго, каково наше мнение. Сам он никакого участия в обсуждении не принял. В завершение разговора он только сказал: «Отклоните».

Вот стоит император, еще не прошло и года, как он в заточении. Перед ним открывается возможность бежать, очевидно, с помощью английских офицеров. Что это связано с риском, не может отпугнуть человека, привыкшего к риску. Вот он стоит, диктует историю своей юности, и вдруг в конце его жизненного пути перед ним возникает некий друг и предлагает нечто, не похожее на мыльный пузырь. Наполеон молчит, спрашивает что-то, опять молчит. Затем: «Отклоните». Почему?

Именно волнения во Франции заставляют его остаться. Он до такой степени уверен в том, что настроение народа переменится в его пользу, что и позже, когда какое-то судно появляется в гавани и сигналист о чем-то береговым службам, Наполеон говорит окружающим:

— Вероятно, они сообщают, что мы должны вернуться. Ежели принц-регент скончался, то молодая королева позовет меня в Англию, она всегда была против Святой Елены.

Однако когда после новых волнений в Париже обсуждается возможность того, что его позовет Франция, император делает следующий вывод:

— Но чего они могут ожидать от меня? Что я опять начну воевать? Для этого я слишком стар. Что я опять погонюсь за славой? Я ею сыт по горло... Для моего сына будет лучше, если я останусь здесь. Если бы Христос не умер на кресте, никто не считал бы его Сыном Божьим. Мое мученичество вернет корону моему сыну, если он жив.

Так глубоко жило в нем династическое чувство. Так сильно в зрелые годы его жажду деятельности, риска и даже славы перевешивала мысль о семье.

Наряду с этими высокими надеждами и героическим смирением душу Наполеона снедают мелкие неприятности, тогда он впадает в отчаяние, и малейший инцидент в доме может повергнуть его в уныние. Когда Бертран, обидевшись на что-то, не является к ужину, он несколько дней пребывает в плохом настроении:

— Я же знаю, что повержен наземь, но зачем близкий человек дает мне это почувствовать!

Однако когда Лас-Каз хочет уладить конфликт, Наполеон перебивает его:

— Нет, я запрещаю вам вмешиваться. Просто я не мог этого не сказать. Но теперь я уже все забыл и сделаю вид, будто ничего не заметил.

И если в такие дни его хотят видеть какие-то заезжие посетители, он отказывает им: «Передайте, что мертвые не принимают гостей». Потом привычный ночной часовой перед окном внезапно выводит его из себя. Иногда Наполеон вечером вообще не выходит из своей комнаты, посылает за кем-нибудь, говорит два слова и просит уйти.

Крупный спор между Монтолоном и Гурго: кому из них полагается обставить комнаты в первую очередь. Императору приходится вмешаться, графиня плачет, император предлагает сыграть партию в шахматы. Ужин. Потом чтение вслух из Ветхого Завета — «Книга Есфири». Случаются и сцены без слов, на грани безумия: одна из коров сбежала,

император раздосадован, за столом Гурго ни с кем не разговаривает, потому что он несет ответственность за корову и обижается на своего шефа за его досаду. После ужина император говорит об исламе и его достоинствах, о триединстве Отца, Сына и Святого духа, потом с трудом сдерживаемая досада все же прорывается наружу, и он цедит сквозь зубы: «Москва! Полмиллиона человек...»

Гурго, оставивший его вечером возбужденным, утром приходит, чтобы писать под диктовку, но находит императора внезапно помрачневшим: «Какое воспитание дадут моему сыну? Будут ли внушать ему отвращение к отцу? Страшно подумать!» Когда Лас-Каз, кончив переписывать главу о Ватерлоо, сожалеет, что победа ускользнула тогда от Наполеона, император не возражает ему ни слова, но, обращаясь к его сыну, говорит голосом, «словно доносящимся издалека»: «Сын мой, принесите нам «Ифигению в Авлиде» Еврипида, она нас успокоит». Или велит почитать ему вслух из «Андромахи» Расина. И слышит эти стихи:

Я прихожу туда, где сын мой милый
 пленен лежит: лишь на миг
 моим слезам с его дозвоьте слиться!
 Одно лишь это мне осталось
 от Гектора и Трои. Потерпите,
 что я раз в день приду его увидеть...
 Тут император не выдерживает:
 — Хватит! Оставьте меня одного!

XIV

Он император и останется им несмотря на все унижительные издевательства врагов. Чтобы выразить свой протест против титула «генерал» и против незаконного пленения, Наполеон в первое время, когда еще выезжал, показывался на острове в карете, запряженной шестеркой лошадей, и с эскортом. Мужчины его свиты являются к нему в генеральском или придворном мундире, никто не заговаривает с ним первым, приближаются к нему в саду только, если он даст знак подойти, о визитерах генерал-адъютант

докладывает, находясь при шпаге. Если Гурго вскакивает, когда в комнату входит графиня Монтолон, император выговаривает ему за нарушение этикета.

И тут же сам иронизирует над всем этим, с улыбкой именуя Гурго «мой великий штальмейстер» или кричит через стол: «Я помазан Папой, — значит, я епископ и могу каждого из вас рукоположить в священники!» Или дразнит присутствующих, замечая, что они все, вероятно, пропечатаны в «Альманахе изменников», на что Гурго осмеливается сказать, что император и сам входит в их число. Наполеон скидывается: «О, почему же?»

— Потому что вы, Сир, признали республику, а потом все же надели корону.

— Вы правы... А все же лучшей республикой была империя!

Теперь императору приходится чаще обуздывать себя, чем когда-либо раньше. Он спокойно читает ответ губернатора на жалобу Бертрана, что никакого императора на острове нет. И когда Гурго на вопрос патрона о его лошади отвечает, что не видел ее три дня, потому что кузнец затребовал за работу три наполеондора, император заставляет себя промолчать. На следующий день спрашивает сердитым тоном: «Почему вы оскорбили меня, заговорив о счете кузнеца!» Жуткие минуты! Нечеловеческим усилием Наполеон подавил гнев, но за сутки мучений переломил гордость. Фраза раздосадованного адъютанта подействовала на императора не меньше, чем предательство Австрии.

Желание отомстить тоже приходится подавлять. Когда на стол однажды подали отвратительное мясо, он промолвил только: «Я лично не стал бы страдать от этого, знай я наверняка, что однажды кто-то прскричит на весь мир о нашем унижении, дабы покрыть позором виновных!»

«Я живу здесь как бы под грузом, который сжимает пружину, но не может ее сломать. Примиряться с судьбой — вот в чем истинное господство разума, подлинный триумф души». К такой аксиоме пытается пробиться этот властный человек: «Несчастье тоже имеет свою светлую сторону, оно учит нас истине... Только теперь я могу размышлять о смене времен как философ».

Только теперь Наполеон может наблюдать настоящее

со спокойной душой. Однажды он прогуливается с молодой и красивой англичанкой, болтая с ней о вредном воздействии здешнего климата на цвет лица, об Оссиане, о плантациях. Дорогу им преграждают рабы-негры, несущие тяжеленные ящики. Дама кричит им: «Прочь с дороги!» А император замечает: «Мадам, подумайте только, как тяжела их ноша!»

Дама вздрагивает. Дорасти до таких слов Наполеону было дано лишь на Святой Елене.

Император старается привыкнуть к такому скромному обиходу, которого ему не пришлось испытать даже в дни лейтенантской бедности. Когда несколько дней у них не было почти никаких продуктов и повару пришлось обойтись одними зелеными бобами, Наполеон ел их с восторгом и хвалил и повара, и бобы.

— В Париже я бы мог прожить на двенадцать франков в день: обед за полтора франка, абонемент в читальный зал, вечером билет в театр, комнату я снимал бы за 20 франков в месяц. Одного слуги вполне хватит. Я бы общался только с такими людьми, у которых так же пусто в кармане, как у меня: в любом положении можно быть счастливым. У моей колыбели никто мне не предсказал, кем я стану. И сдается, господин Бонапарт был бы не менее счастлив, чем император Наполеон. Все в жизни относительно.

В его присутствии доктор внезапно падает в обморок. Когда он приходит в себя, слуг в комнате нет, а на коленях рядом с ним стоит император и протягивает ему флакон с уксусом. Сорочку ему он уже расстегнул и отнес его на кровать. Когда слуга-корсиканец Киприани лежит при смерти, его господин спрашивает врача, не вдохнет ли он жизнь в умирающего, если сам поднимется к нему в комнату.

— Он умрет от волнения.

— Тогда я не пойду.

Играя в карты, Наполеон устраивает общую кассу выигрышей. Для кого? Эти деньги пойдут на выкуп самой красивой рабыни на острове. Как-то вечером приближенные застают его медленно и осторожно сшивающим страницы рукописи.

Однако изредка мечты императора оживают и начинают тихонько раскачивать прутья решетки.

— Мне бы очень хотелось, — внезапно заявляет он без всякого перехода, — чтобы меня поместили на пустынный остров, куда я мог бы взять две тысячи человек по своему выбору, ружья и пушки. Я бы основал там великолепную колонию и счастливо окончил бы свои дни в этом прекрасном краю, там мне не пришлось бы беспрестанно бороться с устаревшими взглядами. — И тут же диктует, сколько денег и припасов понадобилось бы для осуществления этой затеи.

В первые недели на острове Наполеон однажды поехал верхом с Лас-Казом куда глаза глядят. «Когда мы подъехали к полю, — пишет тот, — император увидел крестьянина, идущего за плугом. Он спешился, взял из рук пахаря плуг и с невероятной быстротой вспахал длинную и безупречную борозду. При этом он все время молчал и, только кончив, велел мне дать крестьянину наполеондор. Потом мы поскакали дальше».

Не говоря ни слова, по-гомеровски величественным жестом Наполеон берет в руки плуг и вспахивает прямую борозду — быстро и в то же время точно, как он делал все, — в этой почве, насыпанной англичанами на лаву скалы. Так император Европы оставляет на одиноком, бедном клочке земли, затерянном в Атлантическом океане, благословенную печать гения, и если на этом поле и сто лет спустя все еще произрастает зерно, то пласт земли, которая его укрывает и гонит в рост, некогда был взрезан и перевернут руками Наполеона, как была им перевернута вверх дном вся Европа. Что же до пахаря, который, дивясь, молча стоял, сжимая в руке золотую монету с портретом пленного императора, то он оставит ее своим внукам, чтобы они знали, как выглядел тот чужестранец с холеными руками, который когда-то взял плуг из мозолистых рук их предка.

XV

«Никто не виновен в моем падении, кроме меня самого. Я сам творец своей судьбы».

Этим самым глубоким из всех его признаний Наполеон показал, что окончательно преодолел в себе цезаристские

помрачения. Был бы он верующим христианином, эта исповедь завершила бы епитимью изгнания. Но поскольку его душа ощущает ответственность не перед Богом, а только перед самим собой, то эти его слова — последний расчет великого человека с судьбой. Однако одновременно это — последний упрямый крик его чувства собственного достоинства, ибо Наполеон никак не мог понять, что его свергли силы более могущественные, чем те, какие он в себе ощущал.

И сказаны эти слова не случайно, в минуту уныния. Еще в последние годы своего властвования Наполеон неоднократно говорил своим приближенным о совершенных им ошибках. Теперь, на острове, такие признания учащаются. Среди них есть и взволнованные, и спокойные, в этих расчетах с самим собой перемежаются фантазия и реальность. Как покаянный вопль звучит, например: «Как закрою глаза, все содеянные мной ошибки чередою ко мне являюся: сущий кошмар!» Или: «Я хотел слишком многого... Слишком туго натянул тетиву лука и слишком понадеялся на свое счастье».

Спокойнее перечисляет император случаи, когда ошибался в людях. Только теперь приходит он к пониманию того, что тонкие наблюдатели видели еще в период его могущества.

— Я считал императора Франца хорошим человеком, но на самом деле он — простофиля и орудие моего уничтожения в руках Меттерниха... Талейрана мне следовало бы оставить на его посту. Какое мне дело до того, что он крал секретные документы! Нужно было только за ним неусыпно следить. Покуда он видел, что возле меня можно неплохо зарабатывать, он служил мне верой и правдой. Сохрани я его, я и сегодня сидел бы на троне... Ах, если этот Фултон был в самом деле прав и его пароходу принадлежит будущее, я же мог бы стать владыкой мира! А эти ученые тупицы насмехались над его изобретением, равно как и над электричеством. А в том и другом таится небывалая мощь!

Наполеон раскаивается в том, что в Тильзите сохранил династию Гогенцоллернов; в том, что слишком рано переправился на другой берег Мемеля в 1812 году, не завершив дела в Испании; в том, что вопреки совету Карно слишком

рано начал последний поход, и потом, в Ватерлоо, слишком долго не пускал в бой старую гвардию; а особенно часто в том, что под конец доверился Англии, а не царю или — еще лучше — Америке. Каждый раз, как приходят известия об очередном кризисе во Франции, он раскаивается, что не уехал в Америку:

— Оттуда я бы мог оградить Францию от унижений из заграницы и от сил реакции внутри страны, хватило бы одного страха перед моим возвращением. Там, в Америке, я бы создал новый французский центр. Через год вокруг меня собралось бы шестьдесят тысяч человек... Там я нашел бы самое естественное пристанище, там перед глазами расстилаются необозримые пространства, там дышишь воздухом свободы. А нападет на тебя меланхолия, сядешь на лошадь, проскачешь сотни миль и как частное лицо испытываешь все радости путешествия. Там можно потеряться в толпе. А в Европе я был слишком известен... Я мог бы, пожалуй, сбежать в чужом платье и добраться до Америки, но счел это все недостойным меня... Больше всего я надеялся, что французский народ в час опасности поймет, кто ее спаситель. Потому я и сидел до последнего в Мальмезоне и Рошфоре. И оказался здесь именно из-за этих чувств.

Эта мысль мучает Наполеона больше всех остальных. Другие ошибки приводили к такому множеству сложных последствий, что он не может представить себе, как бы сложилась его судьба без этих ошибок. И только последнее решение, принятое в Рошфоре, неотвратимо приведшее к изгнанию на этот скалистый остров, занимает его без конца.

Сильнее всего впечатляет его самокритика своих династических помыслов. То, что в последние годы пребывания на троне Наполеон лишь намеками давал понять своим приближенным, теперь вырастает до запоздалого признания:

— По отношению к своим родным я был просто тряпкой, после первого взрыва возмущения они могли своей настойчивостью добиться от меня всего, чего хотели. Каких чудовищных ошибок я тут наделал! Ежели бы каждый из моих братьев дал тем массам людей, которые я им доверил, какую-то общую для них всех идею, мы бы дошли до

Северного и Южного полюса!.. Мне повезло не так, как Чингисхану, чьи четыре сына состязались в преданности отцу. Стоило мне кого-то из них возвести на королевский трон, как он сразу ощущал себя королем Божьей милостью: так разлагающе действует это слово. Я обретал в нем не моего наместника, а нового врага, и, вместо того чтобы служить мне, он стремился к независимости. Только я один впоследствии стеснял его. Все они быстро становились подлинными королями и все под моей защитой наслаждались королевской властью. Тяжесть этой ноши ощущал я один. Бедняги! После того как я пал, враги даже не оказали им чести свергнуть их с престола.

На этой теме заканчивается раскаяние Наполеона. Даже в минуты самой острой самокритики он ни разу не пожалел о том, что возложил на себя корону и хотел передать ее по наследству. Наоборот, император неоднократно возвращается к своей основополагающей социальной идее:

— Я был естественным посредником в борьбе между революцией и отжившим строем, моя империя служила как интересам властителей, так и интересам народов. Социальное возрождение Европы! Это дело моей жизни судьба прервала, не дав завершить.

Совершенно в королевском духе Наполеон сожалеет о том, что казнили Мюрата: им бы следовало показать народам, что на королей не распространяются их законы, более того, он, кому только казнь Людовика XVI и открыла путь наверх, осуждает этот акт — не потому, что он считает Бурбонов способными править страной, а потому, что считает необходимой стабильность власти.

Не пролетарий, не владетельный князь, а просто обедневший дворянин, он чувствовал себя как бы зажатым между двумя классами. Раскрывая свое классовое чувство и веру в право победителя в разговоре с англичанами, Наполеон нападает на английских аристократов:

— Нацию образует не горстка аристократов или толстосумов, а народная масса. Правда, когда чернь берет верх, она начинает называть себя народом. Ежели она терпит поражение, то несколько бедняг отправляют на виселицу, называя разбойниками и бунтовщиками. Так уж устроен мир:

чернь, разбойники, бунтари или герои — все зависит от исхода борьбы.

А когда в другой раз после чтения вслух трагедии Вольтера «Цезарь» Наполеон рассказывает, что в юности сам хотел стать Цезарем, и один из присутствующих с придворным двоемыслием замечает, что он им и стал, император смеется ему в лицо: « Кто, я? Бедное дитя! Для этого мне нужен был бы полный успех! Справедливо лишь то, что Цезарю так же мало удалось, как и мне, потому что его убили».

Наполеон упорно защищает свои поступки, считающиеся преступлениями, — отравление в Яффе, расстрел герцога Энгиенского. Одному английскому судовому доктору он вдруг рассказывает о деле герцога: поскольку тот намеревался убить его самого, бывшего тогда Консулом, то ему пришлось нанести контрудар.

Как-то ночью Наполеон велит позвать к нему Монтолона, чтобы диктовать тому внезапно пришедшие от бессонницы мысли, и долго расписывает, как он всегда был склонен к миру и перед войнами и после побед всегда первым начинал переговоры. Или же сравнивает две революции — во Франции и в Англии — и добавляет:

— Но Кромвель появляется на виду уже в зрелом возрасте и достигает высшей ступени власти только с помощью хитрости и лицемерия, Наполеон же врывается в общественную жизнь зеленым юнцом, и его первые шаги осияны славными подвигами... Чью кровь я пролил? Кто может похвастаться, что в моем положении поступил бы иначе? Какая эпоха может при таких же трудностях предъявить столь же невинно достигнутые результаты?.. Сдается мне, что в истории просто нет примера, чтобы простой человек достиг столь удивительной власти без преступления. Я и перед лицом смерти не мог бы дать иного объяснения.

Однако потом происходит нечто совершенно неожиданное. Вместо того чтобы, занимаясь этими обобщениями, на которые судьба отвела ему шесть лет безделья, валить вину за свои неудачи на других и врожденное человеконенавистничество возвеличивать до небес, Наполеон в изгнании оказывается способен на справедливость. Человек, всю свою жизнь объяснявший поступки людей только

их неумными страстями и обращавшийся с ними соответственно, под конец жизни становится осторожным аналитиком, деспот превращается в философа.

Теперь Наполеон заявляет, что люди — существа скорее благодарные, чем неблагодарные, просто мы обычно ожидаем большей благодарности, чем стоила услуга. Самое сильное недовольство, сообщает Лас-Каз, теперь выражается у него молчанием. Он защищает тех, кто его предал: Ожеро и Бертье просто оказались не на высоте своего положения, своих братьев он тоже извиняет. Кажется, слышишь голос Сократа в тюрьме, когда читаешь такие строки:

«Трудно быть справедливым к людям... Разве они сами себя знают? У тех, кто меня покинул, в годы счастья даже и мысли не возникало, что когда-нибудь они смогут от меня отвернуться. Последние испытания, выпавшие на нашу долю, превосходят человеческие возможности. Меня не предали, а скорее просто бросили на произвол судьбы — так, как святой Петр отрекся от Христа. Может быть, они уже пролили слезы раскаяния. А у кого было в мире больше друзей и приверженцев? Кого любили больше, чем меня? Моя судьба могла бы быть намного суровее!»

XVI

Приближенные пишут дневники. Император знает об этом, как-то раз заглядывает в один из них и ничего не говорит. Будучи реалистом, Наполеон прикидывает в уме денежную стоимость этих тетрадей и, когда назначает всем жалованье, от которого некоторые отказываются, предсказывает, сколько они заработают после его смерти этими записками, и лишь занижает суммы. Кроме того, он дарит часть своих собственных мемуаров тому, кому их надиктовал.

Иногда император по пять дней не выходит из комнаты, не читает и не пишет: в такие дни он продумывает всю свою жизнь, и в течение ста часов его пронзают такие душевные потрясения и такие вспышки интеллекта, каких до него не приходилось на долю смертного: такое напряжение сильнее, чем при Аустерлице: это чувства связанного по рукам и ногам Прометея.

На остров привозят книгу, обобщающую все его манифесты и декреты. Наполеон полистал ее, потом резко отложил в сторону, начал ходить из угла в угол и наконец сказал Лас-Казу:

— Любому историку придется воздать мне по заслугам. Факты говорят сами за себя. Я заткнул глотку анархии и пресек хаос. Я очистил революцию от грязи, возвысил народы и упрочил троны. Я стимулировал все таланты, вознаградил все заслуги и расширил границы славы... Против каких обвинений историк не мог бы взять меня под защиту?.. Обвинения в деспотии? Он докажет, что диктатура была необходима. В подавлении свободы? Он докажет, что анархия стояла у порога. В страсти к войне? Он докажет, что я всегда только оборонялся. В стремлении к мировому господству? Он докажет, что оно возникло случайно, под давлением обстоятельств. В том, что я был излишне честолюбив? Да, это так, но честолюбие мое было самого благородного толка: я хотел основать империю разума, дать людям возможность полного развития всех заложенных в них способностей. Здесь историк, пожалуй, будет сокрушаться, что такое честолюбие не смогло до конца осуществиться. — И, минуту помолчав, заключает: — Вот вам, дорогой мой, вся моя история в нескольких словах.

В этом резюме Наполеон только защищается. Но нигде — ни здесь, ни в других выводах — он не восхищается своими победами. За шесть лет он ни разу не воздал хвалу полководцу Бонапарту! Вот как он пишет о целях, к которым стремился:

«Слава моя не сводится к сорока выигранным битвам и не объясняется тем, что я навязывал королям свою волю. Ватерлоо сотрет память о всех моих победах, последний акт заставляет забыть о первом. Но что пребудет вовеки, это мой Гражданский Кодекс, это протоколы моего Государственного совета, это переписка с моими министрами... Мой Кодекс благодаря своей простоте принес больше добра, чем все прежние, мои школы и методы обучения формируют новое поколение, при мне преступность уменьшилась, в то время как в Англии увеличилась... Я хотел основать общеевропейскую систему: общеевропейский свод за-

конов, общеевропейский кассационный суд. Европу населял бы один народ!»

Однажды он прочитал в какой-то английской газете, что Наполеон держит спрятанными в тайнике неисчислимые сокровища. Вскочив с места, император продиктовал тому, кто оказался рядом, такие восхитительные строки:

«Вы хотите знать, где спрятаны сокровища Наполеона? Они велики, это правда, только они лежат на поверхности, их может увидеть каждый. Гавани Амстердама и Флиссингена, вмещающие крупнейшие флотилии и никогда не замерзающие, гидравлические сооружения в Дюнкерке, Гавре и Ницце, огромные доки в Шербурге, гавань в Венеции, шоссейные дороги от Антверпена до Амстердама, от Майнца до Меца, от Бордо до Байонны, перевалы через Симплон, Мон-Сени, Корниш и Мон-Женевр, открывающие доступ к Альпам в четырех направлениях и превосходящие все строительные шедевры римлян. Затем — шоссе от Пиренеев до Альп, от Пармы до Специи, от Савоны до Пьемонта, парижские мосты, а также мосты в Севре, Туре, Лионе... Канал Рейн-Рона, осушение Понцианских болот... Восстановление разгромленной церкви, создание новых видов промышленности, новый Лувр, пакагузы, дороги, снабжение Парижа водой, набережные... Восстановление ткацких фабрик в Лионе, более 400 сахарных заводов, украшение королевских замков за 50 миллионов и их меблировка за 60 миллионов из моих личных средств, выкуп единственных оставшихся бриллиантов короны, те драгоценности, что были заложены у берлинских евреев за три миллиона. Затем: музей Наполеона, приобретший все экспонаты путем покупки или в результате мирных договоров, многие миллионы франков на поддержку земледелия и коневодства. Вот они — сокровища Наполеона, стоящие миллиарды франков! Это — памятники мне, способные свести на нет любую клевету... История не преминет подчеркнуть, что все это было создано во время беспрерывных войн и без всяких займов!»

В тесной комнате, в маленьком домике на скале посреди моря — как он защищает дело своей жизни и как его великодушная память валит в одну кучу шоссе, сахарные заводы, бриллианты короны и католическую церковь! Как он пред-

видит, что скажет о нем история, чувствуя правду о себе, хотя прошло еще сто лет, прежде чем мир начал видеть в нем не только полководца, чьи победы затушеваны Ватерлоо.

Однажды вечером после ужина Наполеона спрашивают, когда он был наиболее счастлив. Император отвечает, что, когда женился и когда родился сын, он был доволен: «Не могу сказать, что счастлив, но доволен определенно был».

— А когда вы стали Первым Консулом?

— Тогда мне не хватало необходимой уверенности в себе.

— А при коронации?

— Мне кажется, я был счастлив в Тильзите. Тогда я как раз почувствовал на себе изменчивость судьбы, Прейсиш-Эйлау меня предостерег. И несмотря на это, я держался там как победитель, диктовал условия мира, русский царь и король Пруссии улеживали меня изо всех сил. Но нет, не это было самым прекрасным. Счастливей всего я был после моих первых побед в Италии, когда толпа встречала меня ликующим хором: *Evviva il liberatore!* Да здравствует освободитель! И это — в двадцать шесть лет! Тут я увидел, кем я еще смогу стать! Тут земля как бы исчезла у меня под ногами, и я взлетел на воздух!

Внезапно Наполеон обрывает рассказ, начинает тихонько напевать себе под нос итальянскую песенку, потом встает: «Десять часов, пора ложиться спать».

Наполеон преувеличивает политическую ценность своего мученичества, династию он не смог спасти. А вот просветительскую значимость последнего акта своей жизни он не сумел провидеть. Перед его взором все время маячит солдатская смерть на поле брани, за ней он гнался в последних сражениях, когда скакал прямо под пули. Наполеон вновь и вновь перелистывает в памяти страницы своей жизни, дабы выискать в ней этот упущенный им романтический момент, и часто об этом говорит. Словно драматург, он ищет высшую точку своей судьбы:

— Мне следовало бы умереть в Москве. До Москвы моя слава не ослабевала... Вот если бы Небо послало мне пулю, когда я был в Кремле! Тогда моя династия осталась бы у власти, история поставила бы меня на одну доску с Александром Великим и Цезарем. А теперь я почти никто.

Потом думает, что смерть у самой цели потрясает потомков с еще большей силой:

— Погибни я под Бородином, я уподобился бы в смерти Александру Великому. Пасть смертью храбрых под Ватерлоо тоже было бы совсем неплохо. А может, лучше все же в Дрездене. Нет, все-таки нет! Ватерлоо было бы лучше! Любовь народа, всеобщий траур...

XVII

Восход солнца. В белом сюртуке, красных шлепанцах и шляпе с широкими полями — в таком одеянии стоит человек перед дверью спящего дома, в одной руке — лопата, другой рукой звонит в большой колокольчик, сзывая на работу. Нужно насыпать земляной вал, удлинить ров, отвоевать у моря немного суши — такова цель. Тут открываются двери дома и палаток, со всех сторон сбегаются люди, хватают лопаты, топоры и грабли, и работа кипит согласно плану господина, который их всех разбудил.

Наполеон похож на столетнего Фауста.

Начинается последний год его жизни, теперь император полон решимости — что бы ни случилось — остаться на этой скале, а поскольку никто не помогает ему озеленить этот участок лавы, то он после года упорных стычек набросал план сада. Полукруглый вал должен защитить его от солнца, пассатов и взоров стражников. Для сбора дождевой воды устраиваются резервуары, внутри полукруга, огражденного валом, насыпается земля, в которую сажают цветы и кусты, двадцатичетырехлетние персиковые и апельсиновые деревья, а перед его окном — дуб. Английские артиллеристы доставили эти деревья в Лонгвуд с мыса Доброй Надежды. Основную работу делают китайские садовники, индийские кули, французские слуги и английские конюхи, им помогают доктор, Монтолон и Бертран. И когда к работающим приближается английский дежурный офицер, он видит, как император берет из рук своего маршала кусок дерна и тщательно укладывает на склоне.

Эта работа продолжается семь месяцев. Сад, с такой ско-

ростью выросший на скале, считается чудом, и даже дочь губернатора тайком приходит, чтобы взглянуть на него. Этот сад — последний подвиг Наполеона.

Именно потому, что император заметил, как силы покидают его тело, он решил прожить остаток дней более приятно. Иногда слышат, как он тихонько бормочет себе под нос строку Вольтера: «Еще раз Париж увидеть? На это нет надежды». Свой день рождения Наполеон объявляет последним, одаривает детей. «Когда мы все сидели вокруг него за столом, он сиял, словно добрый отец семейства в кругу родных».

Осенью он впервые за четыре последних года покидает пределы четырехмильной зоны ради последней дальней поездки вверх.

Теперь Наполеон лишь изредка диктует в бессонные ночи. Это комментарии к битвам Тюренна, Фридриха Великого и Цезаря, заметки о «Магомете» Вольтера, об «Энеиде», о самоубийстве, которое он осуждал еще лейтенантом. Его лучших секретарей — Гурго и Лас-Каза — давно уже нет рядом с ним. Частенько видят его подолгу барабанившим по стеклам двери на веранду, глядящим на чаек или следящим глазами за облаком. Император больше не высматривает в подзорную трубу, не пришел ли корабль в гавань, он ждет только смерти.

Вот почему он не испытывает никакого волнения при известии о новом заговоре против Бурбонов, зародившемся в армии и захватившем широкие слои общества. Вот почему он в последние полгода отклоняет два плана побега: «Звезды говорят мне, что я должен умереть здесь. В Америке бы меня либо прикончили, либо забыли. Только мученичеством я могу спасти свою династию. Поэтому я предпочитаю остаться на Святой Елене».

Смертельная болезнь усиливается. Что он умрет, как и его отец, от заболевания печени, Наполеон знал еще в тридцать лет, а тут ужасный климат острова, разрушающий и здоровую печень, ускорил этот процесс. Император говорит, что желудок у него горит огнем, во время приступов он катается по полу и чувствует острую боль как бы «от укола перочинным ножом» в двух дюймах ниже груди. Одновременно его знобит так, что шесть компрессов в постели

не могут согреть. Наполеон сгорает изнутри и мерзнет снаружи: так его тело следует за душой.

Император постоянно наблюдает за своим состоянием, догадываясь о значении разных симптомов, не принимает неизвестных ему лекарств, однако стонет:

— Я так полюбил свою кровать, что не променял бы ее ни на какой трон. До чего же я дошел! Я, вечно страдавший от бессонницы, теперь живу как в летаргическом сне. Мне нужно усилие воли, чтобы открыть глаза. А ведь, бывало, я диктовал совершенно разные тексты сразу четырем секретарям. Вот тогда я был Наполеоном.

Его настроение колеблется между пафосом и иронией. Когда слуга докладывает, что в небе появилась комета, император роняет: «Это знамение перед смертью Цезаря». Но когда доктор утверждает, что ничего такого не видит, больной цедит: «И без кометы получится».

Этот доктор Антомарки недавно прибыл с Корсики. После конфликта с губернатором больной целый год оставался без врача, и мать наконец добилась, чтобы на остров отправили доктора, а также двух священников, слугу и повара. Только теперь, спустя много лет, император узнает подробности о жизни матери и однажды простыми словами выражает то, что она для него значит: «Всем, кем я был и кем стал, я обязан матушке, она внушила мне свои жизненные принципы и привила привычку к труду».

Теперь возле покинутого почти всеми Наполеона оказалось пятеро корсиканцев. Доктор Антомарки молод, заносчив и неопытен. Однако уже одна внешность соотечественников пробуждает в императоре воспоминания о родном острове, и в конце жизненного пути в нем вновь просыпаются чувства, которые он душил в себе, решив обрести во Франции новую родину. Наполеон родился итальянцем — им и умрет.

Теперь император опять много говорит по-итальянски, вставляет сочные обороты родного языка во французскую речь и, прочитав о злобном выпаде одного сенатора, заявившего, что Франция поставила над собой выходца из народа, которым римляне пренебрегали настолько, что даже не брали из него рабов, считает этот выпад лестным для корсиканцев, «ибо римляне знали, что этот народ невоз-

можно заставить себе служить... Кстати, Корсике, расположенной между Францией и Италией, вполне подходит быть родиной человека, владевшего той и другой».

— Ах, доктор, где прекрасное небо Корсики? Я хотел бы там укрыться, народ встретил бы меня с распростертыми объятиями и стал бы моей семьей. Как вы думаете, удалось бы союзным державам схватить меня там? Вы знаете наших горцев, знаете, как они мужественны, как горды! Я помню там каждую речку и каждое ущелье!.. Там все лучше, даже запах земли. Я узнаю ее с закрытыми глазами, нигде в мире я такой не встречал... Ах, потерять отчий дом, родные места — это то же самое, что потерять родину!

Врач-корсиканец отнюдь не симпатизирует императору, в его болезнь не верит, считает ее политической хитростью, дабы добиться возвращения в Европу, отсутствует при самых тяжелых приступах.

Число преданных Наполеону людей тает, как бы еще раз доказывая правоту императора, всегда придерживавшегося не слишком высокого мнения о людях. Теперь, в последние недели перед смертью, узника покидают и уезжают в Европу еще четверо слуг и старик священник, двое других слуг заболевают, а два последних его сподвижника — Монтолон и Бертран — подумывают об отъезде. Монтолон переписывается с женой, прося замены, а Бертран собирается наконец уступить настояниям своей семьи и уехать. Чтобы его удержать, Монтолону приходится доказывать, что император говорит о тяжком недуге не для того только, чтобы на него повлиять. И когда Бертран объявляет, что остается, больной облегченно вздыхает и оживает. Только Маршан, камердинер, никогда не думал о возвращении домой. «Если и дальше так пойдут дела, — говорит император, — то в конце концов тут останемся только мы с тобой. Ты будешь по-прежнему заботиться обо мне и закроешь мне глаза».

Силы покидают Наполеона, и, ища опоры, он впервые делает то, чего всю жизнь избегал: просит родных о помощи. Диктует письмо к Полине, которую любил больше всех, описывает в нем свое состояние и заканчивает словами: «Император твердо надеется, что Ваше Высочество сообщишь влиятельным англичанам положение дел. Он уми-

рает, покинутый всеми, на этом ужасном острове. Его борьба со смертью ужасна».

В середине апреля, за три недели до смерти, он за запертыми дверями диктует Монтолону свое завещание. Потом тот диктует ему тот же текст, чтобы его собственный почерк исключил какие бы то ни было подозрения. Пять часов кряду, обливаясь холодным потом, пишет император свое завещание. Этот документ дает оценку всей его жизни.

XVIII

Первым делом Наполеон признает себя католиком — он родился в католической семье, восстановил католическую церковь в стране и всегда ее защищал, но в душе был неверующим. Потом пишет с решительностью француза, обретшего вторую родину во Франции: «Желаю, чтобы мой прах покоился на берегах Сены, среди французского народа, который я так любил».

Затем идут мысли о сыне. Ему император завещает все права, всю собственность и все надежды, какие может лелеять человек на будущее после своей смерти. Он заверяет «горячо любимую супругу» в своих нежных чувствах к ней и советует сыну, которого воспитывают как австрийского принца, никогда не забывать, что рожден он французским наследником престола, и завещает ему не становиться орудием в руках триумвиров, угнетающих Европу, самым жестким из которых является его дед.

Даже следует удар кинжалом по врагу: «Я умираю до срока, убитый английской олигархией и ее наемными убийцами». Однако дерзким тоном трибуна добавляет: «Английский народ отомстит за меня». И далее объясняет свое поражение «предательством Мармона, Ожеро, Талейрана и Лафайета, когда у Франции еще было достаточно резервов». И когда добавляет: «Я их прощаю», то сразу за этими словами христианского всепрощения следует: «Пусть грядущая Франция простит им, как прощаю я».

Потом он благодарит — вполне в патрицианском стиле — возлюбленную матушку и всех родных за их сочувствие и прощает Людовику только что появившуюся

враждебную статью. За этим следует распределение наследства.

Основу его составляют сбережения за четырнадцать лет «цивильного листа», а также все, что он сам приобрел для своих дворцов — драгоценности, мебель, столовое серебро, — и его собственность в Италии. Наполеон оценивает все это в 200 миллионов франков, подчеркивает, что не было закона, отчуждающего его собственность, и половину завещает ныне живущим офицерам и рядовым, участвовавшим в походах с 1792 по 1815 год, в долях, соответствующих их жалованью, а вторую половину — городам и деревням провинций, пострадавших от оккупации. Этим распоряжением император хочет подчеркнуть и моральную неправоту нового правительства, которое до сих пор удерживает за собой золото и прочие ценности, конфискованные у него при отречении. Так Наполеон обеспечивает себе соответствующее отношение армии и народа и втайне надеется, что оно пойдет на пользу его династии, как пошло на пользу Антонию завещание Цезаря.

Далее следуют 97 пунктов, посвященных персонально поименованным лицам. Списки этих лиц составлялись в течение десяти дней. «Его ум, — пишет приближенный, — непрерывно занят изысканием адресатов для проявления своей щедрости, каждый день ему приходят на память имена старых слуг, которых он хотел бы вознаградить». Эти пункты Наполеон завещает выполнить за счет небольшого капитала в 20 миллионов, в сохранности которого он более уверен, чем в наличии главного императорского состояния, и из которого он при отъезде шесть миллионов наличными положил в банк.

Кто же эти лица?

Монтолон наследует два миллиона, Бертран и камердинер Маршан по полмиллиона франков. Только этого камердинера Наполеон называет «своим другом» и добавляет, что хотел бы, чтобы тот породнился путем женитьбы с семейством одного из его гвардейцев. Маршана он наряду с Монтолоном и Бертраном назначает исполнителями своей последней воли и просит всех троих скрепить своей печатью каждый лист завещания. Так последний документ, написанный рукой Наполеона, заверен тремя печатями:

императорским орлом с распростертыми крыльями, гербами двух родовитых аристократов и простой подписью слуги, заслужившего эту высочайшую честь: «Он служил мне так, как может служить только друг».

Значительное состояние получает каждый из слуг на Святой Елене, а также каждый врач, одного из которых Наполеон называет самым добродетельным человеком, какого он когда-либо встречал. Далее следуют равные суммы бывшим генералам, с которыми он был близок, секретарям, двум литераторам, гвардейцам, служившим на Эльбе, детям павших на поле боя генералов; затем перечисляются конюхи, камердинеры, связные офицеры, егеря, один фрейтор из Египта, один привратник, один библиотекарь; дети или внуки корсиканских друзей его родителей, дети или внуки его нянюшки, если они, несмотря на прежние дары, испытывают нужду в деньгах, дети или внуки его учителей в Оксонне, генерала, командовавшего гарнизоном в Тулоне, первым давшего ему право приказывать, депутата, в ту пору добившегося принятия его плана касательно Тулона в Комитете общественного спасения; дети или внуки его погибшего в бою адъютанта Мюирона, именем которого он некогда назвал судно, а потом — временно — и себя самого. Далее следуют: унтер-офицер, обвинявшийся в том, что задумал убить Веллингтона, но вышедший на свободу: «У него было столько же оснований для убийства этого аристократа, как у этого аристократа, пославшего меня умирать на каменном острове Святой Елены: ведь это была его идея. Если бы унтер-офицер убил его, то был бы оправдан по тем же самым причинам: он действовал в интересах Франции».

Этим революционным выкриком заканчивается список наследников. В инструкции для исполнителей завещания перечислены среди прочего следующие источники: малахитовая мебель из России, золотой столовый сервиз — дар города Парижа, небольшая молочная ферма на острове Эльба, купленная на деньги Полины, если ее уже не будет в живых к моменту его смерти, запас ртуты в Венеции стоимостью пять миллионов, состояние венецианского патриарха, если он его действительно завещал императору, золото и драгоценности, находящиеся в тайнике в Мальмезо-

не, которые не были подарены Жозефине и, вероятно, еще целы. Фантастический список властителя и авантюриста.

Матери Наполеон завещал маленькую серебряную лампу, при свете которой он проводил бессонные ночи в течение шести лет на острове, братьям и сестрам — маленькие сувениры, Жозефу и Люсьену, прохладно относящимся друг к другу, «вышитый плащ, сюртук и панталоны» каждому — после того как от живого императора один получил корону, а второй — предложение ее получить.

Но подлинным наследником Наполеона является его сын. Ему завещает он все свое оружие, седла, шпоры, табакерки, ордена, книги, белье, походную кровать и добавляет к этому точному списку высокомерную фразу: «Пусть это небольшое наследство будет ему дорого как память об отце, о котором ему расскажет весь мир». В инвентарных описях, включающих даже две пары ночных исподников и две наволочки, в отдельных местах вдруг попадают такие блески: «Моя шпага, которая была при мне под Аустерлицем, золотой несессер, которым я пользовался в дни Ульма, Эйлау, Фридланда, Лебау, Москвы, Монмирая, четыре табакерки, обнаруженные на столе Людовика XVIII в Тюильри 20 марта 1815 года, мой будильник, принадлежавший Фридриху Великому, который я прихватил в Потсдаме (коробка номер 3), синий плащ тот, что был на мне в Маренго, шпага Первого Консула, лента Почетного легиона». Каждая инвентарная опись заканчивается именем доверенного лица, который должен все это хранить, пока его сын не достигнет шестнадцати лет и не сможет вступить во владение.

Далее Маршану предлагается сохранить волосы Наполеона и изготовить из них браслеты с золотыми застежками для его матери, сестер и жены. За этим следует приписка: «Самый большой браслет должен получить мой сын». Упоминаются также различные города, где должны найтись люди, помнящие его, которые могут когда-нибудь представлять интерес для его сына: «Память обо мне будет славой его жизни. Всех, кто может составить его окружение в этом смысле, нужно будет собрать для него. Если счастье повернется к нему и мой сын сядет на трон, то исполнители моей последней воли обязаны объяснить ему, в чем со-

стоит его долг по отношению к служившим под моим началом офицерам и солдатам, а также к моим преданным слугам». Мать и сестры с братьями должны писать ему, когда он немного подрастет, дети его офицеров и слуг — пойти к нему в услужение. А матушка пусть «завещает ему что-нибудь драгоценное, к примеру ее портрет или портрет моего отца, либо какие-то драгоценности, которые смогут напоминать ему о его дедушке с бабушкой».

Такими простыми чувствами оканчивается его жизнь, такими трогательными словами о бабушке с дедушкой, но за ними следует еще одна фраза, раскрывающая зияющую пропасть: «Моему сыну следует предложить вновь принять имя Наполеон, как только он достигнет совершеннолетия и сможет это сделать без помех».

И после этой лихорадочной тревоги о судьбе единственного законного сына в пункте N37 следуют четыре строчки, содержащие пожелание императора, чтобы маленький Леон стал чиновником, а Александр Валевский — офицером. Написавший их не мог предвидеть, что спустя десятилетия после ранней смерти законного сына Леон окончит свою никчемную жизнь в Америке мужем какой-то кухарки, зато граф Валевский станет министром и будет стоять у кормила власти, своей одаренностью и красотой показывая, от какой великой любви он был рожден.

Сыну посвящено еще одно завещание. За две недели до смерти император среди ночи послал за Монтолоном, преданно ухаживавшим за больным в последние недели. «Когда я пришел, он сидел в кровати, и глаза его горели таким огнем, что я испугался нового скачка температуры. «Я не чувствую себя хуже, — сказал он, — но после того, как поговорил с Бертраном о том, что следует передать на словах моему сыну, продолжаю об этом думать... Мне хочется лучше уж записать свои советы сыну. Пишите, я буду диктовать».

Далее следуют 12 печатных страниц, представляющих собой политическое завещание императора. В нем нет ни слова о войне и много — о мире, о Европе: почти все главные идеи века, начавшегося под его властью. Здесь речь идет о столь важных вещах, как принципы правления, которых он стал бы придерживаться, приди он еще раз к вла-

сти, а также гордая критика сделанного им, предвидение новых форм государственного устройства, предостережение XX столетию, призыв к объединению Европы, признание себя сторонником взаимопонимания между народами и призыв ценить свободу, равенство, культуру, таланты и торговлю. Все это сформулировано умирающим Наполеоном в одну из его последних ночей.

«Мой сын должен думать не о мести за мою смерть, а о том, как извлечь из нее пользу... Все его устремления должны быть направлены на то, чтобы править без войн. Если же он просто из желания подражать мне и без острой необходимости захотел бы вновь развязать войну в Европе, он был бы только карикатурой на меня. Продолжить мое дело — означает признать, что я ничего не довел до конца... Нельзя одно и то же делать дважды в течение одного века. *Я был вынужден утихомирить Европу, прибегнув к оружию. Ныне ее нужно убеждать...* Я насадил во Франции и в Европе новые идеи, которые невозможно отменить. Пусть мой сын вырастит урожай, посеянный мной...

Возможно, англичане, дабы уничтожить память о своих преследованиях, будут благоприятствовать возвращению моего сына во Францию. Но чтобы жить в согласии с Англией, нужно любой ценой учитывать ее торговые интересы. Эта необходимость включает в себя две возможности: либо победить Англию на мировом рынке, либо поделить его с ней. Сегодня существует лишь вторая возможность, внешние отношения еще долго будут во Франции важнее, чем внутренние. Я оставляю в наследство сыну достаточно власти и народной симпатии, чтобы продолжить мое дело лишь с помощью великодушной и миролюбивой дипломатии...

Пусть мой сын никогда не садится на трон благодаря иноземной помощи. Его целью не должна быть власть ради власти, он должен стремиться к тому, чтобы заслужить похвалу потомков. Пусть он, как только представится возможность, познакомится поближе с моей семьей. Моя матушка напоминает женщин античности... Управлять французами легче, чем любой другой нацией, если только взяться за дело правильно. Никакая другая нация не может сравниться с французами быстротой и легкостью восприя-

тия. Французы мгновенно различают, кто действует для них, а кто против. Но нужно всегда обращаться к их чувствам. Если этого не сделать, их беспокойный дух приводит души к брожению, за которым следует взрыв...

Пусть он не вмешивается в партийные распри и видит только народ. За исключением предателей родины, пусть он забудет прошлое всех остальных людей и вознаграждает только за таланты и заслуги в чем бы то ни было...

Франция — страна, где родовитость сама по себе мало что значит. Опирайтесь на аристократию — значит строить на песке. Во Франции можно совершить великие дела, только опираясь на народные массы...

Я опирался только на совокупный интерес нации и дал первый образчик правления, благоприятствующего интересам всех... Раскалывать интересы одной нации означает породить гражданскую войну. Деля то, что по своей природе неделимо, — только портить дело. Я не придаю большой важности Конституции... Однако основой основ должно быть всеобщее избирательное право...

Новая, созданная мной аристократия отнюдь не будет опорой для моего сына...

Моя диктатура была неизбежна, это доказывается тем, что мне всегда предлагали больше власти, чем я хотел... С моим сыном дело будет обстоять иначе, его власть будет оспариваться, ему придется идти навстречу всем свободолюбивым устремлениям... Задача суверена — не просто властвовать, а содействовать распространению образования, нравственности, филантропии. Всякая ложь — тоже плохая помощница...

Французский народ имеет две одинаково сильные страсти, которые кажутся взаимоисключающимися и тем не менее проистекают из одного и того же источника: любовь к равенству и любовь к отличиям. Обе эти потребности правитель может удовлетворить, только проявляя высшую справедливость. Для правителя главное не в том, какой теории следовать, а в том, чтобы строить из имеющихся материалов. Ему нужно уметь приспособливаться к обстоятельствам и обращать их себе на пользу...

Свобода прессы может стать в руках правителя могущественным союзником в распространении разумных взгля-

дов и правильных принципов по всей империи вплоть до самых отдаленных уголков. Предоставить прессу самой себе — это все равно что задремать на краю пропасти... С риском для жизни нужно либо всем руководить, либо всему препятствовать...

Мой сын должен быть человеком новых идей и того дела, победы которого я добивался повсеместно: объединения Европы с помощью нерасторжимых федеративных связей...

Европа движется к неизбежным преобразованиям. Стремление их остановить означало бы раздробление сил в бесполезной борьбе. Стимулирование их привело бы к укреплению надежд и воли всех европейцев...

Положение моего сына будет отягощено неизмеримыми трудностями. Пусть он делает с общего согласия то, что под давлением обстоятельств я был вынужден добиваться силой оружия. Останься я победителем в русском походе 1812 года, проблема мира на сто лет вперед была бы решена, я разрубил бы гордиев узел вражды народов. Теперь нужно этот узел развязать. Серьезные вопросы будут решаться уже не на севере Европы, а в Средиземноморье. Там хватит всего, что нужно для удовлетворения честолюбия всех держав, и за несколько клочков пустоши можно было бы купить счастье цивилизованных народов. *Пора королям уразуметь: в Европе больше нет причин поддерживать ненависть между народами.*

Но все, что вы скажете моему сыну, все, чему он научится, принесет ему мало пользы, если в сердце у него нет того святого огня, той любви к добру, которые только и могут вершить великие дела. Надеюсь, он будет достоин своего предназначения...

Когда вам не разрешат поехать в Вену...»

Тут силы внезапно покидают его: как бывает у духовидцев, речь прерывается посреди фразы. То, что умирающий формулировал как наказ бедному своему мальчику, может и через сто лет служить наказом Европе. Государственные вопросы наших дней, как бы их ни решали, здесь получили ответ из уст уникального гения.

XIX

После этого искрометного фонтана духа источник иссякает. Вокруг императора начинают кружиться приятные видения, кажется, что судьба уготовила ему эвтаназию: в тот день, после этого последнего наказа, он лежит, не испытывая ни болей, ни тревог, овеянный легкими туманами надежды:

— Когда я умру, вы все вернетесь в Европу и увидите со своими женами. А я тем временем встречу на Елисейских полях с моими солдатами. Все они бросятся мне навстречу: Даву, Дюрок, Ней, Мюрат, Массена, Бертье, и мы поговорим о наших общих подвигах. Я расскажу им о последних событиях своей жизни. Когда они меня увидят, к ним вернется их прежний подъем духа, их прежняя слава. Потом мы станем беседовать о наших войнах со Сципионом, с Ганнибалом, с Цезарем, с Фридрихом. Нам это доставит большую радость. Только бы здесь, на земле, не перепугались, увидев сразу так много вояк!

Так грезит умирающий. Нигде больше, в тысячах его жизненных проявлений, не видна так отчетливо наивность этой души, раскрывающейся здесь в полузабытьи: как подетски представляет себе этот изошренный ум Небеса, населенные героями, а своих генералов — в одном ряду с военачальниками Древнего Рима, как он оживляет райскую идиллию беседами о пушках. Пока Наполеон все это говорит, в комнату входит английский доктор, которого он в конце концов все же допустил к себе.

В тот же миг флейты, звучавшие в душе императора, умолкают, в ней вновь раздается барабанный бой, государственный деятель осознает происходящее, без всякого перехода меняет регистры и тотчас объявляет официально о своей смерти в такой блистательной речи:

— Войдите, Бертран, и переведите этому господину слово в слово что я скажу. Моя смерть является следствием оскорблений, достойных руки, которая их мне нанесла. Я вверил себя британскому народу, чтобы скоротать остаток дней у его очага. Вопреки международному праву меня заковали в цепи... Англия уговорила других властителей Ев-

ропы, так что мир увидел небывалое зрелище: четыре великие державы набросились на одного-единственного человека. Как они обращались со мной на этой скале! Не было такой низости, до какой они бы не опустились, дабы меня оскорбить! Меня здесь медленно умерщвляли, холодно и расчетливо. А негодяй-губернатор был просто моим тюремщиком и слугой ваших министров. Я гибну, как гордая венецианская республика. И завещаю позор моей смерти правящей королевской династии Англии.

После этой вспышки Наполеон валится на подушки. Доктор стоит в полной растерянности, растеряны и приближенные императора. Что это было? Эпилог, протест, проклятье? Это было политическим действием. Ночью он просит почитать ему из книги о походах Ганнибала.

На следующий день, 21 апреля, за две недели до смерти, Наполеон зовет аббата-корсиканца. С самого приезда император только ему разрешал служить воскресную мессу, но к себе не подпускал. Теперь он говорит:

— Знаете ли вы, что такое Светлейший катафалк? Случалось ли вам провожать его в последний путь? Нет? Ну, тогда проводите мой.

Далее следуют подробные указания:

— После моей смерти поставьте алтарь возле кровати и служите мессу со всеми обычными церемониями, пока меня не захоронят.

Вечером священник остается с Наполеоном почти час. Поскольку аббат пришел и ушел без всего, что требуется в таких случаях, в течение этого часа он мог только поговорить с императором, но исповедаться тот никак не мог — хотя бы потому, что ни разу за сорок лет не причащался.

Больной совсем ослабел, последние недели не мог побриться, лицо осунулось и потемнело. Теперь он просит перенести его кровать в гостиную: спальня кажется ему слишком тесной. Его трясет озноб от страшных болей в желудке. Когда боль утихает, ему вновь приходят на ум имена людей, которым он хочет что-то завещать. То и дело погружается в дрему, в полусне ему видятся разные знакомые женщины, но Марии Луизы среди них нет: «Я видел мою славную Жозефину, но она не захотела меня обнять... Она не изменилась, так же полна любви ко мне. Сказала,

что мы с ней скоро увидимся, чтобы больше уже никогда не расставаться. Она уверяла меня... А вы ее видели?» Со всем как сон о его генералах — словно в детском раю или в сказочной стране.

Когда Наполеону лучше, он просит почитать вслух новые газеты, из-за какой-то враждебной статьи приходит в волнение, велит принести завещание, скрепить которое своей печатью стоило ему больших усилий, вскрывает его и молча дописывает туда трясушейся рукой:

«Я приказал арестовать и судить герцога Энгиенского потому, что это было необходимо для безопасности, интересов и чести французского народа — в то время граф д'Артуа оплачивал шестьдесят наемных убийц в Париже».

Словно два призрака смотрят друг на друга: мертвый Бурбон и умирающий Бонапарт.

27 апреля он вновь велит принести ему завещание, чтобы через силу заново его запечатать, а также составить инвентарную перепись ящиков и шкафов, разложить по конвертам аккредитивы и самому их надписать. В промежутках между рвотой и коликами просит всех присутствующих скрепить все это своими печатями и запротоколировать перечень почтовых отправлений. До такой степени он не доверяет Англии.

Что еще остается сделать? Вещи, не учтенные в инвентарной описи, лежат на его одеяле. «Я очень слаб, у меня остается мало времени. Нужно покончить с этим». С чем именно? С бриллиантовым колье Гортензии, сверкавшим на ее точеной шейке в дни празднеств в Тюильри, которое она вшила ему в пояс в последний день в Мальмезоне: он дарит колье Маршану, своему камердинеру. А также с золотой табакеркой без инициалов владельца: с невероятным усилием он выцарапывает перочинным ножом на крышке свое «N» и протягивает табакерку врачу со словами:

«Я категорически требую, чтобы мой труп вскрыли, в особенности желудок. Думаю, что у меня та же болезнь, от которой умер мой отец. Потребуйте от брата Людовика подробное сообщение об этом и сравните его со своим заключением, чтобы хотя бы мой сын мог спастись от этой ужасной болезни. Объясните ему, как он может заранее обезопасить себя и по крайней мере избавиться от того страха, который меня охватил».

Шесть лет Наполеон обвинял климат острова в обострении болезни печени, еще несколько дней назад он по этой причине обвинял Англию в своей смерти. Требуя вскрытия, император рискует, что эта гипотеза рухнет, более того, он на это надеется. Все это делается для сына. Он хочет спасти его молодую жизнь принятием мер против наследственной болезни.

Ну, наконец-то все собрались? Можем поработать? Стоп, нужно еще составить официальное сообщение властям. И он диктует следующее послание:

«Господин губернатор! Император Наполеон умер..... вследствие длительной и тяжелой болезни. Имею честь поставить Вас об этом в известность. Прошу Вас сообщить мне, какие распоряжения сделаны Вашим правительством касательно транспортировки его тела в Европу, а также в отношении сопровождавших императора лиц».

— Подпишите это потом, граф Монтолон.

Он продиктовал за свою жизнь 60 000 политических писем. Это последнее — сообщение о собственной смерти с открытой датой — пожалуй, самое удивительное. Ибо ни он сам, ни кто-то другой не мог предположить, что судьба предоставит этому человеку, смотревшему смерти в лицо в огне шестидесяти сражений, столько времени и душевного покоя. Так хочется, чтобы это жуткое послание не было последним.

Оно и не было! 29 апреля он диктует — после ночи в жару — два проекта: один — об использовании Версаля, второй — о новом размещении национальной гвардии. Но оба эти проекта уже не были адресованы ни военному министру, ни министру строительства. Он диктует названия этих проектов: «Греза первая», «Греза вторая». Потом говорит: «Сейчас я себя так хорошо чувствую, что мог бы проскакать пятнадцать миль». На следующий день температура резко падает и становится ниже обычной. Он погружается в бред, который длится пять дней, до самого конца.

Однако жизненные силы Наполеона Бонапарта не так легко подорвать. В течение этих пяти дней в его сознании случился последний просвет, и он немедленно использовал его для приказов и признаний:

— Если я потеряю сознание, ни в коем случае не под-

пускайте ко мне английского доктора... Вы останетесь верны моей памяти и не сделаете ничего, могущего ее запятнать. Я положил в основу всех моих законов и действий строжайшие принципы. К сожалению, обстоятельства были столь суровы, что я не мог проявлять милосердие и вынужден был откладывать много добрых дел. Потом начались несчастья. Я не смог сильнее натянуть тетиву лука. Вот как случилось, что Франция не получила тех либеральных учреждений, какие я хотел ей дать. Но она помнит о моих добрых намерениях, любит мое имя и мои победы. Поступайте и вы так же! Оставайтесь верны нашим принципам и нашей славе!

Мысль его все еще кружит вокруг дела жизни. Грустным взглядом умирающего созидателя он видит, что успел выполнить лишь часть, и из последних сил старается передать своим, что было задумано.

На следующий день Наполеон опять грезит: то о юности, то о Корсике, и все это вперемешку с желанием быть полезным сыну, его ум придумывает несуществующие владения на острове, и Маршан послушно записывает то, что диктует ему в горячечном бреде хозяин:

«Завещаю моему сыну дом с флигелем в Аяччо, два дома в окрестностях Салины с садами и все мои поместья вокруг Аяччо, способные принести ему пятьдесят тысяч франков ренты. Завещаю...»

Это последнее распоряжение Наполеона. Полмира он завоевал и утратил, но в предсмертном жару ему видится дом его матери на острове предков и рядом — его сын, которому он хотел оставить в наследство полмира. Но тут обе мелодии сливаются в одну, и он завещает сыну дом, которого у него нет, чтобы тому не пришлось мыкать нужду. Потом его ум отвлекается от дел семейных, он вновь солдат и совершает свой первый поход в Италию, перед ним проносятся старейшие его соратники, он кричит:

«Дезе! Массена! Победа близка! Вперед! Быстрее! Мы его...»

На следующий день аббат приходит к нему без приглашения, старается спрятать что-то под мирской одеждой, требует, чтобы его оставили наедине с умирающим, через некоторое время выходит и говорит: «Я соборовал его. Святого причастия не мог бы принять его желудок».

Ужасная последняя ночь! Под утро его последнего дня слышат, как он произносит в жару:

— Франция... Армия... Глава армии... Жозефина...

Это были последние слова Наполеона.

В следующий миг император вдруг вскакивает, с чудовищной силой хватает Монтолону, дежурящего у его ложа, и валится вместе с ним на ковер, сдавливая его так, что тот не может ни позвать на помощь, ни тем более защищаться. Аршамбо, прибежавшему на шум, приходится освободить его из цепких как клещи объятий. Никому неизвестно, кого из своих врагов император хотел задушить в последней схватке.

После этого Наполеон спокойно лежит весь день. Знаками он, вероятно, просит пить, но, поскольку глотать уже не может, ему подносят ко рту губку, смоченную в уксусе. Вокруг дома — туман, дождь и испарения. Родовитый граф и сын рабочего стоят у постели умирающего.

После пяти часов дня юго-восточный пассат поднял дикий вой и вырвал с корнем два молодых деревца перед домом.

Одновременно длительный озноб начал сотрясать тело Наполеона. Без признаков боли, с открытыми глазами, уставившимися в одну точку, словно в глубокой задумчивости, он вдруг задышал с хрипом. И когда тропическое солнце опустилось в море, сердце императора остановилось.

XX

На столе кабинета лежит освещенный ярким полуденным солнцем и крестообразно рассеченный окровавленный труп Наполеона. Пять английских врачей, три английских офицера и трое французов стоят вокруг стола. Вскрытие произвел врач-корсиканец. Теперь он поднимает вверх разрезанную печень императора и демонстрирует, словно в студенческой аудитории, совершенно опустошенную, изъеденную часть желудка, спаянную с печенью. Что из этого следует, господа? Климат Святой Елены усилил заболевание желудка и тем самым привел к преждевременной смерти императора.

Голосование: Англия против Франции. Большинство объявляет внутренности здоровыми, в то время как корсиканец проворно протыкает пальцем дырявую стенку желудка. Протокол.

Когда забальзамированное тело императора прикрыли шитым золотом плащом из-под Маренго, весь гарнизон выражает желание подойти к телу и попрощаться. Все, кто его видел, свидетельствуют, что его черты выражали покой и безмятежность. Его лицо, располневшее после коронации и ставшее похожим на лица цезарей, таинственным образом вернулось к молодой худощавости. Англия отказывает в транспортировке тела в Европу. В овраге подле источника, затененного двумя ивами, выкапывают могилу. Процедура похорон такая же, как у английских генералов: три слабеньких залпа и колышущиеся на ветру флаги, на которых перечислены английские победы в Испании. Губернатор на похоронах — главная персона, он объявляет, что простил императора.

Шесть каменных плит от артиллерийских платформ закрывают могилу. Поскольку покойник был артиллеристом, ему полагается не шесть, а семь. Но седьмой не нашлось, поэтому взяли три кафельные плитки от кухонной плиты одного нового дома и положили их сверху. Губернатор запрещает написать на могиле имя «Наполеон» и настаивает на «Наполеон Бонапарт». Поэтому могила остается безымянной. Мебель продается с молотка, дом покупает фермер, превращающий его в мельницу, а две комнаты, в которых император прожил шесть лет, становятся тем, чем и были раньше, — хлевом для коров и свиней.

Лишь одно сделала Англия, дабы почтить память покойника: к могиле выставляется часовая. В течение девятнадцати лет часовые на этом посту будут сменять друг друга: потом тело императора будет перевезено в Париж.

После похорон все возвращаются в Европу.

Сын Лас-Каза избивает губернатора Святой Елены прямо на улице Лондона. Ему удается бежать, умирает он в неизвестности. Всемогущий министр, на совести которого эта ссылка, в приступе меланхолии вскрывает себе вены. Теперь вдруг вся Англия протестует против Святой Елены.

Врач-корсиканец едет в Италию. Люсьен отказывается

его принять. В Парме Мария Луиза делает то же самое. Летицию врач находит в ее дворце в Риме. Ему приходится рассказывать три дня кряду. Врач вручает ей серебряную лампу и возвращается на свой остров. Летиция сидит у камина и оплакивает судьбу своего второго сына Наполионе.

Она проживет еще пятнадцать лет. И переживет своих дочерей Элизу и Полину, умершую с зеркалом в руках, а также несколько внуков и трех Пап. Она наполовину парализована. И ослепла. Ее всегда сажают в кресло лицом к бюсту сына. Ее дух и ее печаль неизменны.

Словно коронованная особа принимает Летиция в своем дворце всех, кто был предан императору. Кроме ее слуг, никто в Европе уже не носит его цвета, кроме ее кареты, ни на чьей нет его герба. Иногда к ней приходят вести из Вены о внуке, но юноше не разрешают навестить ее. Он умирает в двадцать один год. После его смерти Мария Луиза пишет свекрови. Та не отвечает. Под конец ей предлагают вернуться на родину, Летиция отказывается, потому что ее дети не получили такого права.

Через девять лет после смерти императора Бурбонов свергают, на троне теперь Орлеанская династия. Новый король, зная силу бонапартистов, приказывает вновь водрузить на Вандомскую колонну статую Наполеона, снятую пятнадцать лет назад. Когда Жером извещает об этом парализованную мать, она выздоравливает и встает с кресла. Впервые за многие годы Летиция присоединяется к своим родным, собравшимся в зале, ее слепые глаза обращены к тому месту, где стоит бюст императора. И она произносит:

— Император вновь в Париже!

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Писать историю личности и излагать историю эпохи — два дела, различных и по замыслу, и по исполнению. Тщетными остались попытки их объединить. Плутарх отказался от второго, Карлейль — от первого, поэтому оба мастера счастливо достигли своей цели. Пример Плутарха не нашел подражателей: написать историю великой души на строго исторической основе с той поры никто не ставил своей главной задачей.

Она не относится к сфере деятельности историков, так как исследование истины требует иных талантов, чем искусство художественного изображения. Литераторы же либо свободно трактовали исторические личности в драме, либо скатывались к безвкусной мешанине исторических романов, о таких и Гете, и Наполеон говорили, что они валят все в одну кучу.

Труднее всего дается попытка такого изображения, когда не произведения, а деяния того или иного исторического лица являются вехами его жизненного пути. Цезарь, Фридрих Великий, Наполеон обрели величие только благодаря своим победам в сражениях, однако сражения эти становятся все более чуждыми для потомков: Фарзалус, место битвы между Цезарем и Помпеем, Росбах, где Фридрих Великий победил французов, а также Аустерлиц имеют историческое значение только для военных училищ. Никто из этих трех деятелей не овладел бы умами последующих поколений сильнее, чем Красс, Зайдлиц или Массена, будь

они лишь полководцами, как эти трое. Только политический гений поднимает их на иной уровень. Ибо на своей высшей ступени политик становится носителем общенародной судьбы. Где гений и характер пересекаются, там и находится «горячая точка» для исследователя души.

В этой книге я попытался написать историю души Наполеона. Поскольку его личность проявляется в каждом его шаге, то его идеи как основателя государства и законодателя, его позиция между революцией и легитимностью, его отношение к обществу и к проблеме Европы стали главными средствами изображения. Мне показалось несущественным исследовать ход сражений и то или иное положение европейских государств, поскольку они выражаются лишь в коалициях или противостояниях, изменчивых, как погода.

Любой конфликт с его братьями или женой, любой приступ меланхолии или гордости, вспышки гнева и внезапная бледность, хитрые уловки и щедрая доброта, каждое слово, обращенное к генералам или женщинам, как их донесли до нас его письма или беседы, засвидетельствованные современниками, казались мне важнее, чем боевые порядки войск под Маренго, условия Люневильского мира или подробности континентальной блокады. То, что мы узнавали о нем в школах и университетах, здесь сведено к минимуму. И наоборот — здесь детально изображено все, чего не было там: не только интимная жизнь Наполеона, преимущественно описывавшаяся во Франции, а именно вся его личность в общественном и частном спектре как притча о Человеке. На одной и той же странице говорится о его государственных делах и любовных интрижках, ведь они случились в один день, происходят из одного источника и обуславливают друг друга, а душевное смятение человека часто позволяет глубже проникнуть в его великие планы, чем все расчеты тактика.

Образ Наполеона, имеющий так же мало общего с нацией, ради которой или против которой он сражался, равно как и с моралью, в этой книге не трактуется как чудо, но и не членится на отдельные понятия. В эпизодах его жизни я пытался уловить внутренние мотивы, из которых последовательно и в высшей степени естественно выросал его путь наверх, вплоть до Святой Елены. Постоянно взгляды-

ваться во внутренний мир этого человека, объяснять его поступки и страдания, его фантазии и расчеты, следить за чередой его чувств — было моей целью.

Поэтому пришлось даже исключить из изложения портреты его генералов: *эта* книга не должна была включать ничего, не бросающего свет на историю души *этого* человека.

Кто вознамерился дать картину столь перенасыщенной жизни, должен следовать ее темпу. При этом он связан подлинными словами своего героя, а цитировать его можно без конца. Ибо лучше всего человек раскрывает себя сам. Даже там, где он заблуждается или лжет.

Только сочувствуя своему герою, автор может вызвать в сердцах людей сходное чувство. Холодный анализ встретится в книге лишь один раз, ближе к концу: разбирать мотор можно, лишь когда он не работает.

Такое изложение благодаря своей образности возбуждает подозрение в вымысле, в чистом сочинительстве. Дабы полностью отделить используемые здесь средства от средств художественной литературы, необходима постоянная верность историческим фактам. Если следуешь логике событий и не допускаешь случайностей, остережешься заретушировать какой-то уголок. И не станешь обходить стороной какой-то год или документ только потому, что по стилистическим причинам о них лучше бы умолчать.

В этой книге не выдуман ни один факт, исключением являются лишь «разговоры с самим собой». Пусть мой труд заслужит ту же оценку, какую Гете дал мемуарам Бурьена: «Весь нимб святости и все иллюзии, какие журналисты, историки и поэты приписали Наполеону, рассеиваются перед ужасной реальностью этой книги. Но ее герой не становится от этого мельче, наоборот, он увеличивается в масштабе... Как великолепно правда, если кто-то решится ее высказать».

Пусть перед читателем этой книги вновь возникнет трагедия, какую смертный человек сделал из своей жизни. Такое случается раз в тысячу лет. Наполеон доказал, чего может достичь человек благодаря чувству собственного достоинства и мужеству, страсти и фантазии, трудолюбию и воле. Ныне, в век революций и безграничных возможностей, трудно найти более сильный пример.

ТАЙНА ГИБЕЛИ НАПОЛЕОНА

Бен Вейдер
президент Международного Наполеоновского общества,
г. Монреаль, Канада

Историки многих стран вот уже в течение десятилетий ведут спор о причинах безвременной кончины Наполеона, сосланного англичанами на затерянный в Атлантическом океане остров Святой Елены. Перед ссылкой французский император отличался завидным здоровьем, ему была свойственна высокая жизненная активность в сочетании с умеренностью в привычках. Он воздерживался от употребления часто вредных для организма лекарств, которые рекомендовались врачами в ту эпоху. Закономерно возникает вопрос, почему здоровье этого человека, которому не исполнилось и пятидесяти лет, в ссылке так катастрофически разрушалось?

Сам Наполеон за шесть дней до кончины говорил своему врачу: “После моей смерти, ждать которой осталось недолго, я хочу, чтобы вы произвели вскрытие моего тела... Особенно рекомендую вам внимательно исследовать мой желудок и изложить результаты в точном и подробном отчете, который вы вручите моему сыну... Я прошу, я обязываю вас провести такое исследование”. В своем завещании он сделал сенсационную запись: “Я умираю преждевременно от руки английской олигархии и нанятого ею убийцы”.

Что это было — интуиция или просто желание нанести последний удар по своим тюремщикам-англичанам? Ответ должна была дать аутопсия (вскрытие трупа для установления причин смерти и изучения патологических изменений органов и тканей). Семеро врачей, присутствовавших при вскрытии, не смогли прийти к единому мнению о причине смерти Наполеона. Ее приписывали гепатиту, амебиазу (заболеванию, вы-

зываемому амебам), воспалению печени, мальтийской лихорадке, малярии и другим болезням. Причиной некоторых из них могли быть суровость климата или плохое качество воды. Хотя ни один из врачей не диагностировал рак как таковой, в историю вошла версия, будто Наполеон умер от рака желудка. И никто не задался почему-то вопросом: может ли больной набирать вес при этой болезни? Ответ очевиден: рак — это изнурительный недуг, ведущий к резкой потере веса. Наполеон же умер очень тучным.

175 лет тому назад у французов появилась возможность раскрыть тайну гибели своего великого соотечественника. После того, как тело Наполеона было эксгумировано и перевезено в Париж, следовало провести новое, более скрупулезное исследование прекрасно сохранившегося тела. Это сделано не было, и версия о раке как причине смерти Наполеона продолжала бытовать до наших дней. Многие историки придерживаются этой версии и сегодня.

Однако в 50-х годах нашего столетия произошло событие, давшее толчок новым поискам ученых, которые привели к иной, единственно верной, версии причины гибели французского императора. Ключ к ней дали мемуары преданного слуги Наполеона Луи Маршана, опубликованные по стечению обстоятельств лишь в 1955 году. Они вошли в историю как “бомба замедленного действия” и помогли разгадать тайну смерти Наполеона.

Исключительная точность, тщательность записей Маршана в дневнике, а он вел его аккуратно, день за днем подробно описывая все, что имело хоть малейшее отношение к его господину, можно сравнить с медицинской картой, в которую внимательный врач записывает мельчайшие детали прогрессирующего ухудшения неизлечимо больного пациента. Эта информация сняла покров с преступления, которое могло остаться нераскрытым “идеальным убийством”.

После смерти Наполеона Маршан вернулся во Францию и привез прядь волос своего господина, сбритых с его головы 6 мая 1821 года. Запечатанные в конверт с надписью “Волосы императора”, сделанной рукой Маршана, они бережно хранились его потомками. Но ни сам Маршан, ни кто-либо другой из его товарищей, отправившихся в ссылку вместе со своим кумиром, не могли предполагать, что уже после того, как они покинут этот мир, содержимое конверта расскажет людям больше, чем многочисленные книги и мемуары свиты сосланного императора.

Одним из тех, кто внимательно ознакомился с мемуарами Маршана, был большой почитатель Наполеона, мой шведский коллега д-р С. Форсхувуд. Сопоставив досконально описанные проявления болезни императора, его каждодневное состояние, Форсхувуд пришел к мысли, что на о. Святой Елены могло произойти преступление — отравление узника англичан мышьяком. Он ждет, что кто-нибудь из специалистов по наполеоновской эпохе придет к тому же выводу. Напрасно. Ученые продолжают повторять старые теории: рак и пр., будто мемуары Маршана не открыли им ничего нового.

И тогда Форсхувуд решает действовать самостоятельно. Раздобыв один волосок Наполеона, сбритый на следующий день после его смерти, он отправляет его в отделение судебной медицины университета Глазго и вскоре получает ответ, в котором сообщается, что масса мышьяка в волосе Наполеона в 13 раз превышает норму. Похоже, что подозрение Форсхувуда оправдалось! Эту мысль подтверждали воспоминания и других очевидцев, проживавших, можно сказать, бок о бок с императором на о. Святой Елены. Описывая его болезнь, они упомянули 30 из 34 ныне известных науке симптомов мышьячного отравления. А разве не о том же свидетельствовало прекрасно сохранившееся тело Наполеона, не подвергшееся разложению за 19 лет нахождения в могиле на о. Святой Елены? Хотя мышьяк обладает способностью убивать, но он же и отлично сохраняет живые ткани.

В дальнейшем Форсхувуду пришлось не раз отстаивать свою точку зрения, проводить новые исследования. В частности, наличие большого количества мышьяка в волосах Наполеона подтвердили исследования, проведенные в Харвеллском институте ядерных исследований близ Лондона — одном из наиболее авторитетных в своей области, участвовавшем в создании английской атомной бомбы.

Противники версии Форсхувуда возражали ему, заявляя, что мышьяк мог попасть в волосы Наполеона из обоев, воды, лекарственных препаратов или, наконец, из крема для волос, которым он пользовался. Если бы эти предположения были верны, то мышьяк попадал бы в волосы постоянно и равномерно, поскольку перечисленные гипотетические источники мышьяка воздействовали на Наполеона каждодневно. Однако это было не так.

Как известно, волосы вырастают примерно на один дюйм (2,54 см) за каждые два месяца. Поскольку волосы Наполеона

были срезаны до самых корней и их длина составляла 3 дюйма, они могли многое рассказать о течении болезни Наполеона в последние шесть месяцев его жизни. Оказалось, что насыщенность волос мышьяком была крайне неравномерной — от 2,8 части на миллион до 51,2 части на миллион (при норме 0,08 части на миллион). Это доказывает, что Наполеон подвергался отравлению не ежедневно, а в определенные временные отрезки. Цель такой тактики — не допустить быстрого отравления, которое могло быть выявлено врачами, сделать так, чтобы гибель жертвы можно было бы объяснить “естественными причинами”.

В 1974 г., когда я познакомился с Форсхувудом, мы решили совместно добиться того, чтобы раз и навсегда рассеять сомнения общественности в отравлении Наполеона. С этой целью мы составили два временных графика. На первом перечислили симптомы, упомянутые непосредственными свидетелями болезни Наполеона в своих книгах и мемуарах. Эти симптомы стали основой расписанного по дням графика, покрывающего последние месяцы жизни императора.

Очевидцами всех перипетий его болезни были сопровождавшие узника на о. Святой Елены маркиз Лас-Каз, работавший с Наполеоном над историей военных кампаний; барон Гаспар Гурго, один из преданных ему офицеров; д-р Барри О’Мира, английский врач ирландского происхождения, лечивший узника на острове; д-р Франческо Антомарки, итальянский врач, направленный из Рима семьей Наполеона, чтобы заменить О’Миру, возвратившегося в Англию; гофмаршал Анри-Грасьен Бертран, более 15 лет состоявший при Наполеоне; еще один французский офицер граф Шарль-Тристан де Монтолон, назначенный Наполеоном своим главным душеприказчиком; Луи Маршан, верный слуга императора в течение десяти лет; два английских врача — Генри и Стокоу, непродолжительное время наблюдавшие Наполеона. Все они имели регулярный доступ к императору, ежедневно делали записи в своих дневниках и в разное время опубликовали эти дневники.

На втором временном графике мы отмечали уровни мышьяка, выявленные в результате секционного анализа волос Наполеона в Харвеллском институте. Оба графика совпали. В те дни, когда очевидцы сообщали о проявлении симптомов, характерных при отравлении мышьяком, харвеллский график показывал высокий уровень мышьяка в волосах. Позволю себе в качестве примера привести симптомы, описанные од-

ним из очевидцев. Личный врач Наполеона Антомарки записал в своем дневнике 26 февраля 1821 г.: “Император внезапно слег. Сухой кашель, рвота, ощущение жжения в кишечнике. Общее возбуждение. Беспокойство. Почти невыносимое ощущение жара, сопровождающееся сильной жаждой”. На следующий день он записывает: “Император еще хуже, чем вчера. Кашель усилился, и болезненная тошнота не прекращалась до семи часов утра”. Записи очевидца подтверждаются анализом волос Наполеона, показавшим очередной пик содержания мышьяка в те дни. Таким образом, исследования, проведенные современными научными методами, подтвердили, что симптомы болезни, отмеченные очевидцами много десятилетий назад, свидетельствуют об отравлении мышьяком. Это уже не предположение. Это — научно обоснованный факт.

Хочу напомнить, что при вскрытии врач очень редко подозревает мышьячное отравление, если только его заранее об этом не предупреждают. Так было в 1821 г., так происходит и ныне. Мне довелось встретиться с главой токсикологической лаборатории парижской полиции профессором А. Гриффом, у которого накопился богатый опыт расследования мышьячных отравлений. Я задал ему вопрос: как объяснить тот факт, что многочисленные врачи не посчитали возможной причиной гибели Наполеона отравление мышьяком? Гриффон ответил, что ни в одном случае убийства с применением мышьяка ему не встретился врач, который правильно диагностировал бы отравление как причину смерти. Поэтому мы едва ли имеем основание винить лечащих врачей Наполеона в том, что они, не будучи специально обучены, не сумели распознать в его болезни действие мышьяка, практически не имеющего ни запаха, ни вкуса. К тому же симптомы острого и хронического отравления мышьяком совсем не похожи.

Со своей стороны хочу привести лишь один пример, подтверждающий мнение Гриффона. В 1967 г. в Ванкувере (Канада) после продолжительной болезни скончалась Э. Кастеллани. Спустя несколько месяцев королевскому прокурору позволила женщина и заявила, что она знает, как была убита Кастеллани, и если она получит защиту суда, то откроет имя убийцы. Прокурор ей не поверил, поскольку заключение о вскрытии гласило, что смерть наступила в результате “вирусной инфекции и сердечного приступа”. Однако женщина настаивала и в конце концов получила индульгенцию от судебного преследования. Тогда она рассказала, что вместе с мужем умершей, Р.

Кастеллани, отравила ее мышьяком. Отравительница решила исповедаться потому, что соучастник убийства, обещавший жениться на ней после получения страховых денег, передумал, хотя сам деньги получил.

Тело умершей эксгумировали и провели исследование ее волос — такое же, как и в случае с Наполеоном. Уровень мышьяка оказался достаточно высоким, чтобы убить человека. Муж убитой был арестован, признан виновным и приговорен к 25 годам тюремного заключения.

Во время суда д-р Московитц, лечивший Кастеллани, сказал, что ни он, ни другие специалисты, которых он приглашал для консультации, никогда не рассматривали возможность мышьячного отравления, поскольку ни один из более 125 клинических анализов, проведенных за время лечения Кастеллани в больнице, не идентифицировал мышьяк. Московитц добавил, что у мышьяка много проявлений и они легко вводят в заблуждение. Именно так и случилось с О'Мирой, который посчитал, что Наполеон страдает от дизентерии, цинги, подагры, язвы и других недугов. Рассматриваемые порознь, мышьячные симптомы не позволяют установить верный диагноз, поскольку очень напоминают симптомы многих распространенных заболеваний. Если врача заранее не подтолкнуть к мысли о возможности мышьячного отравления, ему самому и в голову не придет такая мысль. Только рассмотренные все вместе, симптомы дадут правильную картину.

Убийцы Наполеона не отважились избавиться от опасного узника, посыпав ему большую дозу яда. Быстрая смерть императора вызвала бы взрыв возмущения во Франции, возможно, бунт в вооруженных силах, все еще преданных своему кумиру. Поэтому убийцы прибегли к “классическому методу” XIX века — отравлению двумя этапами: косметическим и летальным.

Косметический этап начался в середине 1816 г., хотя есть свидетельства, что постепенное отравление Наполеона происходило уже за несколько месяцев до его ссылки на о. Святой Елены. Наполеона травили медленно и постоянно, подрывая его здоровье и создавая впечатление, что он угасает в результате естественных прогрессирующих болезней. Чтобы добиться успеха на этом этапе, убийца должен был иметь доступ к пище или напиткам императора, но в то же время ему следовало обезопасить себя и окружение Наполеона. Еду, приготовленную для узника, употребляли все из его окружения. Что же касается напитков, то Наполеон всегда пил одно и то же южно-

африканское вино из Констанции, которое доставлялось в бочках и разливалось на месте в бутылки, предназначенные только для Наполеона. Те, кто разделял с ним стол, пили другие вина. И не было ничего проще, как подсыпать яд в бочку перед тем, как разлить вино по бутылкам. При этом решались сразу две задачи: не только постепенная интоксикация жертвы, но и, что более важно, — в заранее рассчитанных дозах. Иногда, при случае, в бутылку подсыпалась дополнительная порция, дававшая картину более острого отравления. То, что именно вино использовалось отравителем, доказывает и такая деталь. Наполеон изредка дарил кому-нибудь бутылку своего вина, и тот почти всегда заболел.

Второй, летальный, этап отравления начался в марте 1821 г., и, если бы не достижения современной судебной медицины и не исследования наполеоноведов-энтузиастов, тайна гибели императора могла бы остаться нераскрытой (“идеальное убийство”). На этом этапе преступник взял на “вооружение” такие токсичные средства, как рвотный камень, а затем оршад и хлористую ртуть. Антомарки пишет, что 22 марта 1821 г. Наполеону дали лимонадный напиток с рвотным. В последующие дни он вновь принимал рвотное средство.

Учитывая ограниченный уровень медицинских знаний того времени, не следует удивляться тому, что врачи использовали для лечения рвотный камень. Они надеялись таким путем вывести из организма больного вредные токсины и избавить его от болезни, не поддающейся лечению иными средствами. На самом деле результат был совсем другим. Рвотное разъедает слизистую оболочку желудка и лишает организм способности выбрасывать токсины. Вероятно, на это рассчитывал отравитель, и именно так и случилось, ибо врач действительно рекомендовал Наполеону это классическое лечебное средство своего времени.

22 апреля Наполеону впервые дали оршад — напиток с привкусом апельсина, в состав которого включается масло горького миндаля, содержащего синильную кислоту. Оршад должен был утолять жажду больного. Кстати, жажда — также один из симптомов хронического мышьячного отравления.

В дневнике гофмаршала Бертрана говорится, что 25 апреля в особняк, где жил Наполеон, доставили корзину горького миндаля. До этого дня горького миндаля на острове не было. Очевидно, отравитель начинал беспокоиться, что нужное ему средство не поступает вовремя. Об этом можно судить по за-

писи в дневнике Бертрана, который упоминает, что кто-то (он не называет имени) попросил его сына Артура собрать немного хлоритового сланца и оставить его в кладовке. Упомянутый хлоритовый сланец может быть применен в тех же целях, что и горький миндаль, поскольку также содержит синильную кислоту.

Гофмаршал свидетельствует в своей книге, что за несколько дней до смерти Наполеона, в ночь со 2 на 3 мая и весь следующий день, больной испытывал сильную жажду и выпил большое количество оршада. В свою очередь Антомарки сообщает, что был озабочен тяжелыми запорами у больного (а это тоже симптом мышьячного отравления). Популярное средство тех дней для избавления от этого недуга — хлористая ртуть.

А вот еще одна очень важная запись, сделанная в дневнике Маршана. Он пишет, что 3 мая в 17 час. 30 мин. без его ведома Наполеону дали в качестве слабительного десять кристаллов хлористой ртути — лошадиную дозу, в 40 раз превышающую нормальную. Со слов Антомарки мы знаем, что он был решительно против применения этого средства, но на этом настаивали три врача-англичанина, участвовавшие в консилиуме. Разногласия были вынесены на суд пользовавшегося благоклонностью императора графа Монтолона, который принял сторону англичан. То был необратимый момент последнего, летального, этапа, непосредственно приведший к смерти Наполеона. Хлористая ртуть, сама по себе безвредная, в сочетании с оршадом образует токсическое соединение, которое здоровый желудок исторгает. Однако употребление Наполеоном напитка, содержащего большое количество рвотного камня, подавило рвотный рефлекс. А если желудок тотчас не выбрасывает ядовитую смесь, смерть неизбежно наступает через день-два. Смертельная комбинация хлористой ртути и оршада, вводимых в организм, предварительно обработанный рвотным, была хорошо известна профессиональным отравителям того времени. Современный медицинский иллюстрированный словарь “Лярусс” объясняет токсические проявления хлористой ртути и оршада и предупреждает об опасности, которую представляет их сочетание при лечении.

Что же произошло дальше? Гофмаршал Бертран пишет: “Вскоре после этого он впал в беспамятство. Тотальный паралич мышц произвольных движений привел к полной неподвижности. Он не мог даже глотать”. Через 48 час. после приема хлористой ртути Наполеон скончался.

Вскрытие, произведенное Антомарки в присутствии многих других лиц, в том числе английских врачей, показало, что слизистая оболочка желудка была глубоко разъедена, а на привратнике образовалась кольцеобразная опухоль. Антомарки — единственный патологоанатом — пришел к заключению, что причина смерти Наполеона — “условия, ведущие к раку”. Но мы знаем, что человек не может умереть от условий, ведущих к раку, он умирает от самого рака.

Любопытно, что д-р Уолтер Генри сразу после аутопсии отметил, что на теле умершего не было волос. Этот признак хронической мышьячной интоксикации, увы, не подтолкнул его к верному выводу. А маркиз Анри де Моншеню, назначенный Людовиком XVIII представлять Францию на о. Святой Елены во время ссылки Наполеона, на следующий день после его смерти докладывал, что “из пяти врачей, присутствовавших при аутопсии, никто не знает точной причины его смерти”. В действительности Наполеон умер в результате отравления цианистой кислотой, последовавшего после длительной мышьячной интоксикации.

Находился ли отравитель на острове все время пребывания там Наполеона? Несомненно. Чтобы доказать это утверждение, обратимся к фактам. 24 февраля 1818 г. мажордом Наполеона корсиканец Сиприани, который на самом деле был его давним доверенным агентом и отличался крепким здоровьем, неожиданно заболел. Он жаловался на сильные боли в желудке, сопровождаемые ознобом. Именно таковы симптомы острого мышьячного отравления. Спустя два дня Сиприани умер и был немедленно похоронен.

Местный морской агент и поставщик Ост-Индской компании Вильям Бэлкомб, ставший на о. Святой Елены другом Наполеона, подозревал, что Сиприани был отравлен, и настаивал на эксгумации тела и его исследовании. Однако аутопсию проводить не пришлось — тело Сиприани исчезло из могилы. Совершенно очевидно, что те, кто решил избавиться от ближайшего помощника Наполеона, не могли допустить аутопсии, которая неизбежно привела бы к их разоблачению.

Итак, если Наполеон был отравлен и преступник находился где-то совсем близко к узнику, кто же совершил это тщательно подготовленное и глубоко законспирированное убийство? Пора назвать имя убийцы. При этом следует исходить из того, что преступник находился на острове в окружении императора все пять с лишним лет, ибо в течение всего этого

периода у Наполеона наблюдались одни и те же симптомы болезни.

В своих поисках убийцы мы с Форсхувудом начали с того, что из числа подозреваемых исключили тех, кто, не живя в особняке вместе с Наполеоном, мог отравить его только со всеми остальными домочадцами. Среди них — все англичане, а также те французы, кто находился на острове не весь срок изгнания Наполеона, поскольку мы уже знали, что узник получал яд постоянно. Тем самым снимались подозрения с тех, кто покинул остров задолго до смерти Наполеона. Из списка подозреваемых исключался также гофмаршал Бертран, так как его жена-англичанка не желала слишком тесно общаться с французами и потому супруги жили в другом доме. К тому же гофмаршал не занимался хозяйственными вопросами и к императору являлся по вызову. Из слуг постоянно обслуживал императора только Маршан. Вторым человеком, постоянно общавшимся с Наполеоном, в том числе за обеденным столом, был граф Монтолон.

Мы обратились к прошлому каждого из них и попытались понять, что заставило их сопровождать опального императора на о. Святой Елены.

Маршан служил Наполеону всю свою сознательную жизнь. Он всегда был рядом с Наполеоном, в том числе на Эльбе, и совершенно естественно, что он отправился на о. Святой Елены. Ни сам Маршан, ни его семья никак не были связаны с роялистами.

Другое дело — представитель старой французской аристократии Монтолон. Будучи офицером, он никогда не участвовал в сражениях и не имел никаких причин быть признательным Наполеону. Скорее, наоборот: император отказал ему в продвижении по службе и не дал согласия на его брак с любимой женщиной. А когда Монтолон ослушался, его уволили. У него были прекрасные связи в роялистских кругах (его отчим был близким другом Людовика XVIII), что помогло ему в период первой реставрации Бурбонов получить чин генерала. Любопытно, что тогда же его обвинили в присвоении казенных денег — 6 тыс. франков, но он так и не предстал перед военным трибуналом благодаря вмешательству графа д'Артуа, не раз покушавшегося на жизнь Наполеона. Впоследствии д'Артуа стал королем Франции Карлом X. В свите Наполеона Монтолон оказался лишь после Ватерлоо, когда наступил финал наполеоновской эпопеи.

Почему 32-летний граф решил добровольно провести лучшие годы своей жизни вдали от светского общества в услужении человеку, который дважды нанес ему глубокие душевные раны? Объяснить этот поступок можно только тем, что, будучи обижен Наполеоном, он отправился с ним на о. Святой Елены, исполняя поручение Бурбонов — расправиться с ненавистным императором. Монтолон заранее знал, что ему не придется провести на острове ни 20, ни 10 лет. Но вернуться, не исполнив замысла Бурбонов, он тоже не мог. Поэтому, когда его жена покинула остров, он остался.

На о. Святой Елены Монтолон занимался снабжением продовольствием и, в частности, вином. У него находились ключи от погреба — он имел прямой доступ к вину, которое пил Наполеон. Барон Гурго вспоминал в своих мемуарах, что он предупредил императора о возможности его отравления путем добавления яда в то вино, которое он употреблял фактически один. Однако Наполеон не принял всерьез предупреждения.

Другое немаловажное наблюдение. Бертран в письме кардиналу Фешу сообщил, что через несколько дней после смерти Сиприани еще два человека — служанка Монтолону и ребенок — умерли с теми же симптомами. Не могло ли случиться, что они съели или выпили что-либо, предназначенное Монтолоном для Сиприани? Мы никогда не узнаем об этом, но странное совпадение наталкивает на такую мысль.

Еще одна деталь. В своих мемуарах Монтолон пишет, что за время болезни Наполеон был сильно истощен и умер исхудавшим. Эта лож понадобилась графу, чтобы подкрепить мнение о смерти императора от рака. Все остальные очевидцы, присутствовавшие при кончине Наполеона, свидетельствуют, что он был чрезмерно толст. Симптомы болезни Наполеона, сообщенные Монтолоном, также резко расходятся со всеми остальными свидетельствами.

Когда в 1848 г. вышли в свет мемуары Монтолону, из всего окружения Наполеона на о. Святой Елены оставался в живых только Маршан. Ознакомившись с книгой графа, он сказал, что либо автор — лжец, либо его подвела память.

Итак, наши исследования завершились. Мы пришли к выводу, что граф Монтолон был послан Бурбонами на о. Святой Елены с заданием физически устранить Наполеона, чтобы полностью исключить возможность повторного возвращения из ссылки великого сына Франции. Королевский агент преуспел в своей миссии.

Ни один патологоанатом или токсиколог по сей день не смог опровергнуть это утверждение. Тем не менее не все истории соглашаются с выводами, изложенными выше. В частности, попытка опровергнуть их была предпринята в сентябре 1994 г., когда ФБР исследовала “волосы Наполеона”, представленные французским историком Жаном Фишу, и не обнаружила в них избыточного количества мышьяка, превышающего норму. Из этого делался вывод, попавший и на страницы российской печати, что версия об отравлении Наполеона ошибочна. Однако вскоре выяснилось, что волосы, исследованные ФБР, никакого отношения к Наполеону не имеют.

Летом 1995 г. я обратился в ФБР с просьбой провести аналогичное исследование имеющихся у меня волос Наполеона. Они были переданы сразу после его смерти Бертрану, из чьей семьи перешли в семью знаменитой французской писательницы Жорж Санд, а последние 30 лет хранились в моем доме. Результаты этого исследования были опубликованы в сентябре 1995 г. в канадской и американской печати. Глава исследовательской группы химико-токсикологической лаборатории ФБР Р. Мартц сообщил об обнаружении в волосах французского императора большого количества мышьяка, многократно превосходящего норму. В его письме на мое имя, в частности, говорится: “Количество мышьяка в представленных волосах соответствует мышьячному отравлению”.

Письмо Мартца дает мне право утверждать, что в долголетнем споре историков о причинах кончины Наполеона поставлена последняя точка.

ХРОНОЛОГИЯ

КНИГА I

- 1769 15 августа родился Наполеон.
- 1779 Отъезд в школу в Бриенне.
- 1784 Поступление в военное училище.
- 1785 Получение звания младшего лейтенанта артиллерии.
- 1789 Возвращение на Корсику.
- 1791 Апрель — старший лейтенант в Валасе.
Октябрь — возвращение на Корсику.
- 1792 Мятеж в Аяччо. Ссылка.
- 1793 Капитан. Взятие Тулона.
- 1794 Февраль — бригадный генерал.
Август — арест.
- 1795 Июнь — принят на службу в военное министерство.
Октябрь — подавление парижского восстания.
Назначен командующим внутренними войсками.
- 1796 2 марта — командующий Итальянской армией.
6 марта — обручение с Жозефиной Богарне.

КНИГА II

- 1796/97 Сражения под Миллезимо, Кастильоне, Арколе,
Риволи, Мантуе.
- 1797 Заключение мира в Кампо-Формио.
- 1798 До мая в Париже, 19 мая отбыл в Египет.
Битва у пирамид.

- 1799 Яффа, Акр, Абукер.
7 октября — высадка во Франции.
9 ноября — государственный переворот 18 брюмера.
24 декабря — Первый Консул.

КНИГА III

- 1800 14 июня — битва при Маренго.
24 декабря — покушение.
- 1801 Люневильский мир. Конкордат с Пием VII.
- 1802 Мир с Англией. Пожизненный консул.
- 1804 21 марта — расстрел герцога Энгиенского.
18 мая — присвоение императорского титула.
2 декабря — коронация.
- 1805 Октябрь — Трафальгар.
Ноябрь — взятие Вены.
2 декабря — битва при Аустерлице.
Пресбургский мир.
- 1806 Создание Рейнского союза.
Жозеф становится королем Неаполя,
Людовик — королем Голландии.
14 октября — сражение при Йене.
Берлин. Континентальная блокада.
- 1807 Сражения при Прейсиш-Эйлау и Фридланде.
9 июля — Тильзитского договор.
Жером — король Вестфалии.
- 1808 Рим. Мадрид. Байонна.
Жозеф — король Испании,
Мюрат — король Неаполя.
- 1809 Изгнание Папы.
Битвы при Асперне, Эсслинге, Ваграме, Вене.
- 1810 Январь — развод с Жозефиной.
Апрель — обручение с Марией Луизой.
- 1811 20 марта — рождение сына.

КНИГА IV

- 1812 Смоленск, Бородино, Москва.
Декабрь — возвращение в Париж.
- 1813 Апрель — сражения под Люценом и Бауценом.

- Июль — Дрезден.
16 —18 октября — Лейпциг.
- 1814 Сражения при Бриенне, Ла Ротьере, Шампобере, Монтеро, Бар-сюр-Об, Лаоне, Арси-сюр-Об.
6 апреля — отречение в Фонтенбло.
20 апреля — отъезд на Эльбу.
- 1815 26 февраля — отъезд с Эльбы.
13 марта — объявление вне закона.
20 марта — прибытие в Париж.
Июнь — сражения при Линьи и Ватерлоо.
23 июня — второе отречение.
31 июля — пленение.

КНИГА V

- 1815 17 октября — прибытие на остров Святой Елены
1821 5 мая — смерть.

ЭМИЛЬ ЛЮДВИГ

НАПОЛЕОН

РЕДАКТОР

И.Е. Богат

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

О.Г. Дмитриева

ТЕХНОЛОГ

М.С. Белоусова

ОПЕРАТОР КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ

И.В. Соколова

КОРРЕКТОР

Л.О. Кройтман

OCR - Давид Титиевский, март 2017 г., Хайфа

Издательская лицензия

№ 101053

от 4 апреля 1997 года.

Подписано в печать

12.11.97.

Формат 60 × 90/16

Гарнитура Миньон.

Печать офсетная.

Объем 37 печ. л.

Тираж 10 000 экз.

Изд. № 566.

Заказ № 640

Издательство «ВАГРИУС»

103064, Москва, ул. Казакова, 18

Отпечатано с готовых диапозитивов
в Государственном

ордена Октябрьской Революции,

ордена Трудового Красного Знамени

Московском предприятии

«Первая Образцовая типография»

Государственного

комитета РФ по печати.

113054, Москва, Валовая, 28.

Napoleon

1792

Napoleon

1795

Napoleon

Milan 1796

Napoleon

Egypte 1798

Napoleon

1804

Napoleon

Austerlitz 1805

Napoleon

Berlin 1806

Napoleon

Tilsit 1807

Napoleon

Madrid 1808

Napoleon

Schoenbrunn 1809

Napoleon

Dresden 1813

Napoleon

14 Juillet 1815

Napoleon

Erfurt
1813

Napoleon

Fontainebleau 1814

Napoleon

Ile d'Elbe 1814

Napoleon

Longwood 1816

ФОРЗАЦ

Эмиль Людвиг родился в 1881 году
в семье еврея - глазного врача.

В 1902 году крестился.

Изучал юриспруденцию,
много путешествовал.

Журналист.

В 1-ую мировую войну был
корреспондентом в Лондоне,
Константинополе и Вене.

Позже жил как свободный
литератор в Швейцарии и США.

Посещал время от времени

Москву, где, например,

в 1931 году

ему дал большое интервью

И.В.Сталин.

Это было первое интервью,
которое генсек дал иностранцу, -
один из самых интересных
документов сталинского времени.

Умер в 1948 году.

Мастер психологического анализа

на основе тщательного изучения

документальных источников,

Эмиль Людвиг прославился

во всем мире

биографиями о великих людях:

Гете (1920,

сокращенный русский
перевод - 1965 в ЖЗЛ),

Рембрандт (1923),

Наполеон (1925),

Бисмарк (1926),

Линкольн (1930),

Рузвельт (1939),

Бетховен (1943),

Сталин (1945) и др.

*«С 11 лет я люблю Наполеона,
в нем (и в его сыне)
все мое детство и отрочество и юность -
и так шло и жило во мне не ослабевая,
и с этим - умру.*

Не могу равнодушно видеть его имени...

*Знаете ли Вы гениальную книгу о нем
Эмиля Людвига?*

*Единственную его гениальную,
даже не понимаю, как он ее написал -
принимая во внимание все блистательные,
но не гениальные -
лучшую книгу о Наполеоне,
а я читала - все».*

Марина Цветаева

*(из письма Анне Тесковой,
Кламор,
2-го февраля 1934 г.)*

*«С 11 лет я люблю Наполеона,
в нем (и в его сыне)*

*все мое детство и отрочество и юность -
и так шло и жило во мне не ослабевая,
и с этим - умру.*

Не могу равнодушно видеть его имени...

*Знаете ли Вы гениальную книгу о нем
Эмиля Людвига?*

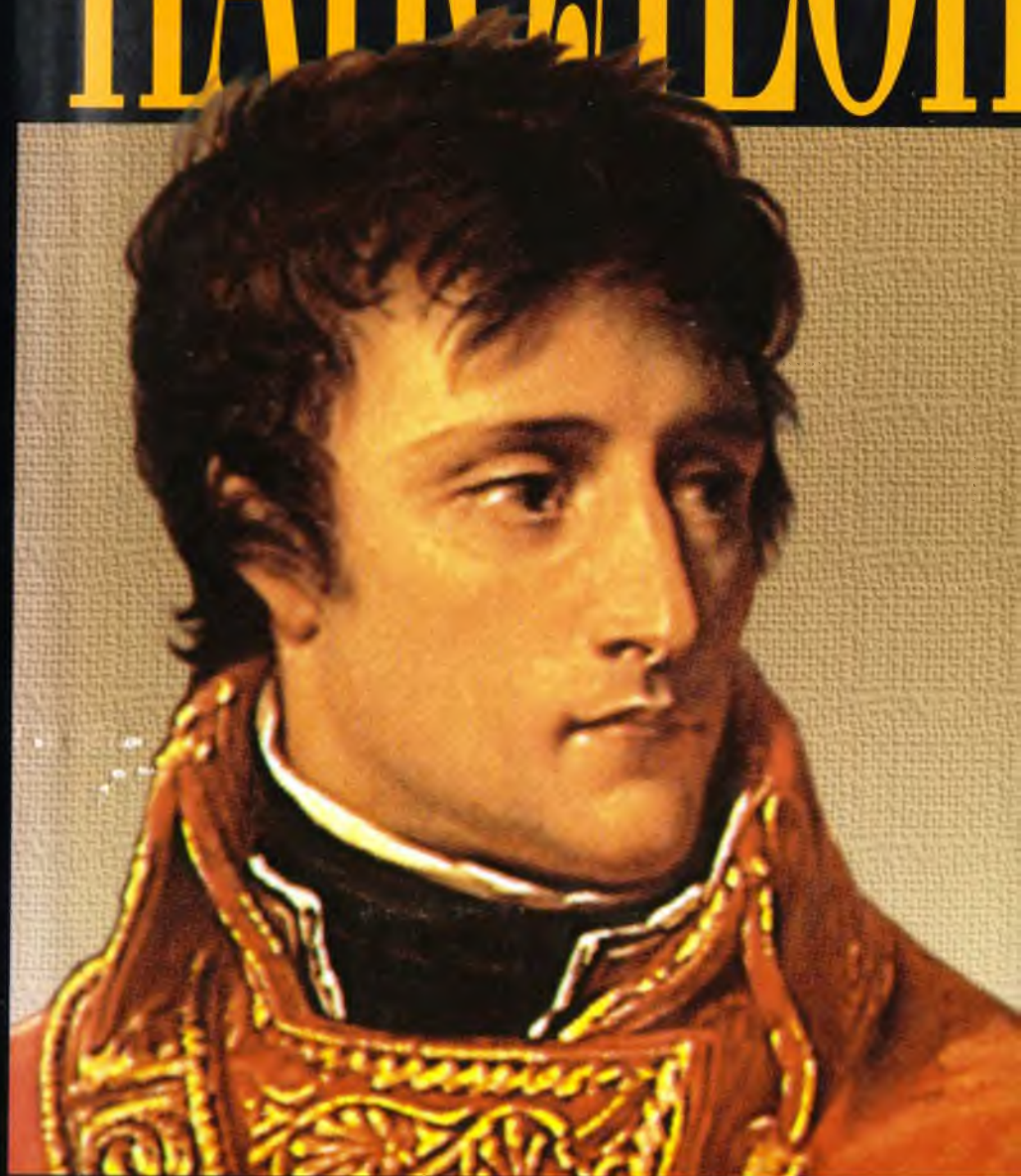
*Единственную его гениальную,
даже не понимаю, как он ее написал -
принимая во внимание все блистательные,
но не гениальные -
лучшую книгу о Наполеоне,
а я читала - все».*

Марина Цветаева

*(из письма Анне Тесковой,
Кламор,
2-го февраля 1934 г.)*

ЭМИЛЬ
ЛЮДВИГ
НАПОЛЕОН

НАПОЛЕОН



•ВАГРИУС•
•ЗАХАРОВ•

СУПЕРОБЛОЖКА

ЭМИЛЬ ЛЮДВИГ